С-59

АНАТОЛИЙ СУББОТИН

ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

Анатолий Субботин

За землю русскую

Исторический роман

БИБЛИОТЕКА
Инв. №
Хорезм. Гос. пед. института

Советский писатель
Москва 1963

Роман «За землю Русскую» посвящен тому периоду русской истории, когда раздробленной на мелкие феодальные княжества Руси угрожала смертельная опасность: с юго-востока наступала Орда, с запада — ливонские рыцари в союзе со шведскими и датскими рыцарями.

Действие романа развертывается в Великом Новгороде, на новгородских землях, на реке Неве, Чудском озере, в городе Пскове. Главным героем романа является Александр Невский, который объединил народные силы и возглавил борьбу против иноземных захватчиков.

В книге показаны культура, быт тогдашней Руси, классовые отношения.

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

ВОЗЫ С ОБОНЕЖЬЯ

Боярин Стефан Твердиславич метался всю ночь. С вечера, перед сном, поел он груздей в сметане, попробовал сига отварного с луком, жареную тетерю... Невелика еда, а вроде бы от нее приключилось. Стефан Твердиславич пил квас грушевый, настоянный на мяте, овсяный сулой — густой, терпкий, как сквашенное молоко, а сон не шел. Высока и мягка перина, а Стефану Твердиславичу она хуже стланой мостовой на Пискупле[1].

Чутко насторожились хоромы: не скажет ли чего боярин, не позовет ли кого? Беда в тяжелый час показаться ему на глаза. Окула, верного холопа, ключника своего, выгнал из горенки. Тянется ночь, конца ей нет.

Под утро лишь боярин затих. Окул послушал в щелочку, зашипел:

— Шш... Уснул. Ступайте, кто там!

Сам он примостился на узеньком конике в переходце. Зевнул, перекрестил рот.

Забрезжило утро.

Очнулся Окул в поту: стучат щеколдой в ворота. «Охти, не ко времени!» Выбежал на крыльцо.

— Якунко!

На зов показался Якун, воротный сторож, огромный, с рыжею бородою мужик.

— Кто стучал?

— Возы с данью из Обонежской вотчины... — стараясь говорить тихо, загудел Якун, показывая на ворота.

Окул замахал на него:

---

[1] Улица в новгородском Детинце.

— Уймись! Экое ты... Не голос, колокольный зык у святой Софии. Что на возах-то? — спросил мягче.

— Холсты, бают, да рушники, меха лисьи и куньи, воск топленый, меду две бочки... Пускать?

— Постой, укажу.

Окул скрылся в хоромах. Не успел притворить за собой дверь, из горенки донеслось:

— Окулко-о!

Окул спешит на зов. Под ногами поскрипывают половицы.

— Звал, осударь-болярин?

— На дворе... почто шум?

— Из Обонежья, осударь... Дань привезли мужики из тамошней вотчины. Холсты да рушники, воск да мед, меха... — Окул повторил все, что слышал от Якуна.

— Ну-ну, — добрая весть смягчила боярина. — Вели — ждали бы, возов не развязывали... Взгляну ужо.

Долго томились на морозе, хлопали рукавицами обозные, переговаривались, гадали: скоро ли свалят кладь? Колокола в церквах отзвонили, студеное зимнее солнце давно лизало мутным языком крыши хором, когда на крыльце вновь появился Окул. Взглянув на возы, на застывших рядом с ними обозных мужиков, задрал голову и, как радость великую, поведал:

— Осударь-болярин жалует.

Обозные сдернули колпаки, склонились в пояс. На крыльцо выплыла шуба малиновая, шапка кунья. На губах у боярина довольная усмешка. Чем ниже кланяются ему люди, тем ласковее его глаза.

— Окулко, щами вели накормить их, — показал рукавом. — Велики ли нынче возы?

— Для твоей милости старались, осударь-болярин, — снова кланяясь, ответил за всех обозный староста. Он стоял близко к крыльцу. Облепленные ледяными сосульками, борода его и усы казались белыми. Крашенный ольховой корой нагольный тулуп подпоясан холщовым поясом. — Кладь привезли, осударь, и дар есть тебе.

— Ну-ну, дар... — боярин совсем подобрел.

— Будешь доволен, осударь, — продолжал обозный. — Игнатец, — повернулся он к соседу в сермяжной дерюге, наброшенной поверх зипуна. — И ты, Микулец... Несите что там, на возу!

Двое обозных бегом пустились к возам и принесли что-то запеленатое в рогожу, тяжелое. Опустили перед крыльцом. Боярин медленно, со ступеньки на ступеньку, сошел вниз, тронул дар ногой.

— Разболоките!

Обозные развязали узлы. Из рогожи, будто плаха осиновая, вывалилась огромная замороженная щука. У боярина замаслились глаза. Этакой щучины не приходилось видать. Окул и тот раскрыл рот, как бы собираясь ахнуть, да взглянул на боярина — поджал губы.

Неуместно холопу впереди быть.

— Добра, — налюбовавшись, вымолвил Стефан Твердиславич. — Кто изловил этакую?

— Здесь он, ловец, осударь, — ответил обозный. — Дерно целовал в твою кабалу [1].

— Позови!

Вдали, у крайнего воза, молодец в дерюге и овчинном колпаке. Обозный махнул ему. Не спеша, переваливаясь с ноги на ногу, молодец подошел ближе. От испуга, знать, что так близко видит боярина, он не снял колпака и не поклонился. Лицо его казалось совсем юным. Оно даже как-то не шло к его плотной, коренастой фигуре. Опустив глаза, молодец стоял молча, одеревенев.

— Ты поймал сю рыбицу? — боярин указал на дар.

— Я, — промычал молодец.

Обозный в тулупе толкнул его локтем: сними-де колпак, дурень!

— Добра рыбица, — еще раз похвалил боярин. — Окулко, вели снести ее на поварню! А ты упрям, зрю, неуважлив, — повернулся к молодцу. — Чай, не отвалилась бы голова от поклона. Нынче за рыбицу прощу такое, а после...

Боярин помолчал, выжидая, что скажет молодец, но тот не шелохнулся.

— Покамест при хоромах будешь.

Вокруг затихло. Настороженно и зорко смотрят глаза Окула. Боярин, не глядя ни на кого, тронулся к возам. Сейчас будет он смотреть и щупать добро. Молодец будто теперь лишь понял, что рассердил боярина непокорством; шагнул вперед, заслонил боярину путь.

---

[1] Т. е. дал кабальную клятву.

— Отпусти меня, болярин!

— Не рано ли просишься, паробче? — остановился Стефан Твердиславич. — Сказывают, дерно ты целовал в кабалу.

— Не за себя, болярин, за людей целовал. Погост наш вольный, подле твоей вотчины. В запрошлом лете горели мы... Корочки не осталось, ни крыши, ни угла. Все пошло дымом. Брали жители после хлеб в вотчине. Грамотку писал правитель: за кадь хлеба вернуть долгу полторы кади, а покуда не обелим себя, в кабалу одному из погоста. Я-то безродный, ни поить, ни кормить мне некого. Просили меня жители — и принял я за всех кабалу. А лето нынче неурожайное, от долга жители не обелились — самим кусать нечего. Послал меня правитель вотчинный в Новгород... Отпусти, болярин, по чужой нужде я...

— То-то бы не по нужде, от радости бы такое-то...

Боярин тронулся вперед, но молодец как присох на пути.

— Вольным рос я, помилуй!

— О чем просишь, холоп? Боек ты на язык, не попович ли?

— Не попович. По зверю промышлял мой родитель.

— Ишь ты, говоришь, как стелешь. Не придумаю, в какой угол посадить умника, — боярин насмешливо скривил губы. — Не лозы ли велишь нарубить, да за непокорство задрать сподницу...

— Не стращай, болярин! Ни лозой, ни боем не отнимешь воли.

Стефан Твердиславич отступил от молодца. Краска бросилась в лицо. Обозные в страхе жались к возам.

— Воли не отниму? — задыхаясь, тяжело вымолвил он. — Окулко! — топнул боярин по снежной наледи. — В тенета холопа! Попустил дурню, простил непокорство, а он... В жерновую клеть его, на чепь!

Не успел никто глазом моргнуть — воротные сторожа, рыжий Якун и Тимко, спутали молодца. Боярин не полюбовался на привезенное добро, ушел в хоромы.

— Тронутый он, бедовый, — как бы объясняя упрямство холопа перед оставшимся на дворе Окулом, сказал обозный староста. — И у себя в погосте, бывало, ни перед кем колпака не сломит.

В ЖЕРНОВОЙ КЛЕТИ

В дальнем углу двора, скрытая частоколом от жилых хором, темнеет жерновая изба. От давности она покосилась и осела на переднюю стену. На соломенной крыше, по скатам ее, вытянулись черными ребрами хвосты жердей. Спичники, которые поддерживают жерди, до того одряхлели, что спицы еле держатся в гнездах.

Срублена изба на два жилья — людское и работное. В людском вдоль стен тесаные полати: пахнет лежалой соломой, потом. Волоковые окошки, узкие как щели, затянуты бычьим пузырем. Сбитая из глины печь, с напыльником над черным «челом», широко расселась в углу и потрескалась.

В нижней, работной, клети душно от мучной пыли. Двумя рядами, из конца в конец, установлены жерновые камни. Верховоды их обтянуты лубяными шинами. У каждого камня работный холоп. Держась за возило — колышек, верхний конец которого упирается в гнездо матицы, врубленной под потолком, — холоп кружит верховод, растирая зерно.

Нет горше и утомительнее работы, чем в жерновой клети. За вины свои перед боярином садятся холопы к жернову. Кто сел, тому нет выхода из-за частокола, разве что вынесут на рогоже, когда глаза закроет.

У жернова, в конце заднего ряда, молодец с Обонежья. Недавно в клети он, а с лица спал: щеки ввалились, в подглазинах легла темная синева. Круг за кругом тянет рука верховод, позвякивает от движения железная змея цепи. Сухо и нудно шумит камень. Тело у молодца как чужое.

Днем, пробиваясь в узкие щели окошек, еле брезжит мутный, как бы невзначай проникший в клеть, рассеянный свет. Ряды жерновых камней, люди около них — все кажется серым и одноликим. Ночью на все углы мигает кошачий глаз жирника. Теплится он в глиняном горшке и невыносимо коптит.

Ведет рука круг, а перед глазами — стоит молодцу закрыть их — будто наяву искрится легкой рябью приволье Лач-озера. Желтые обрывы песчаных берегов от-

ступают вдаль и тают в сизой прозрачной дымке. Шумят вековые боры; высматривая добычу, скользят над озером чайки; зверь подошел к водопою... Воля!..

Спохватился — ни летнего солнца, ни бора, ни озера впереди. За стенами зима. Вокруг пыльная жерновая клеть. Не бор шумит, а обвитые лубяными шинами каменные верховоды.

— Притомился, паробче?

Вздрогнул молодец: рядом Окул. Покашливает в горсть, спрашивает:

— Почто остановил камешок? Ладно ли? На то и у жернова ты, чтобы камешок не стоял.

— Думы пали...

— А ты не болярин, не тебе думать. На что дума холопу? Не свербила бы понапрасну, поучу тебя. Боярскою волей, с утра завтрашнего десять тебе батожков... По десять дён так.

Придумал Окул наказание молодцу и, не оглядываясь, засеменил к двери. Серая бороденка у него — кочетыгом. Молодец не сразу понял, что пообещал ключник, до того ласково говорил тот; когда догадался — хотел бежать вслед, но цепь... Звякнула она и остановила.

— Что повесил буйную, паробче? Испугался старого упыря?

— Нет, — молодец поднял глаза. Будто впервые увидел он, что рядом, через проход от него, кружится жернов, что там стоит холоп в холщовой рубахе без опояски, рукав на плече у рубахи оборван. Спутанная борода работного до того забита пылью, что напоминает скатанный из шерсти потник. Желтое, как старый воск, испитое лицо холопа кажется страшным. Молодец опустил голову. — Не житье тут, в кабале, — проворчал он. — Легче головой о камень!

— Полно-ко, — как бы укоряя молодца за горькие слова, промолвил холоп. — Молод ты, силы много. Как тебя по имени-то?

— Ивашко я.

— Доброе имя, а мое Конуша. Ты вот послушай, что молвлю, — Конуша подвинулся ближе и заговорил шепотом. — Огнем-то прошуметь аль себя кончить — легче легкого это, а кого утешишь? Весны две тому минуло,

стоял у жернова молодец. Годами — вроде тебя, ростом был повыше и силой не обижен. Брал он оба камня у жернова и поднимал себе на грудь. В сердцах бросил он как-то злое слово Окулу, тот — зверем. «Якунко, кричит, батожья псу!» Тешился Якунко над холопом, а молодец не простонал, не попросил милости. Поднялся, взглянул в глаза рыжему да и огрел его кулачищем. Как ветром сдуло злодея: лежит он, руки раскинул, на губах красные пузырьки. Сведал о том болярин наш, люто огневался. Спутали молодца пеньковыми тенетами и в порубь, под Софийскую звонницу. Так-то, Ивашко! Хочешь воли — бейся не силой, а хитростью. Простачком прикинься, поклоны бей упырю, а свое помни. Не легко оно, ведаю, зато Окулко-упырь чепь с тебя снимет. Тут и лови свой случай! Уйдешь — беги на Суздаль, а то на вольные земли к Хлынову, в Заволочье... Сказывают, места тамо — жить только.

— А ты... Сам ты сделал бы так?

— Время мое ушло, — помолчав, глубоко вздохнул Конуша. — Молод был — не уразумел, нынче — куда уж! Последние топчу лапотки.

Конуша закашлялся. От кашля что-то мокрое и тяжелое хлюпает у него в груди. Обнаженное плечо вздрагивает и трясется сухим мослаком.

ГЛАВА 3

ВОЛЯ

Хилым стручком рос Окул, боярский ключник. Ничего так жадно не искал он в жизни, как дородства. Жил — завидовал чужой силе, в зависти и старость пришла. Высох, плечи к груди свело. И ростом притоптался Окул, и морщины легли на лицо, как темные сошные борозды. Сидеть бы убогому с нищею братией в проезжих Спасских воротах на Пискупле-улице, просить Христовым именем на свои немощи, да нет... Окул — ближний ключник боярский, правитель в хоромах. Глядя на него, ахают люди: диви, в чем бог тепло держит?! А Окул как клещ: весь день на ногах, ни хвори на него,

ни усталости; ко всему он холоден: ни слова у него доброго, ни жалости в сердце.

Приметил он Ивашку. Работлив холоп. Раз побывал Окул у Ивашкина жернова, другой... Ивашко как бы не видит. Складную песню играет жернов, сыпь ровный, мука течет мягкая, без дробинок. По лету уже услыхал как-то Ивашко Окулово покашливание... Приостановись на секунду жернов, не миновать бы беды. Но жернов кружится, как положено.

— Сними-ка железы с молодца, — велел Окул рыжему. — А ты, — Окул тронул Ивашку, — не греши! Ох, велика милость болярская!

В жерновой клети ближе всех Ивашке Конуша. Ночью, когда поднимались наверх, они рядом спали в людской. Улегшись, иногда перебрасывались словами. Конуша рассказывал Ивашке о себе. Так Ивашко узнал, что Конуша в молодых летах жил на воле. Не новгородец он. Родился Конуша в Суздальской земле, в Залесье. Займище имел там родитель. Хлеб сеяли, лыко драли, промышляли зверя. В те годы кровь горячим ручьем играла в жилах Конуши, не сиделось ему, не жилось тихо. Кликнул князь Юрий Всеволодович поход, пристал молодец к княжему полку.

— И зачем шел — не ведаю, — каялся он Ивашке. — Думалось, худо жить в лесу, тоскливо; свет захотелось увидеть. Не знал я, Ивашко, куда мне силу девать. А тут поход. Добро бы против чужих, против врагов иноземных... Не-е-ет, свои. Князья Юрий и Ярослав Всеволодовичи искали склонить всю Русь перед Суздальской землей, как было при старом Всеволоде, а противу Юрия и Ярослава брат их Костенкин да тесть Ярославов поднялись, да брателки двоюродные... Сошлись рати на речке Липице. Жестоко бились. Меня конь смял в той битве. Конец пришел, думал, а нет, выжил. Но лучше бы, Ивашко, пасть мне, лучше бы черное воронье клевало глаза мои! Князья Юрий и Ярослав бежали с поля. Счета не знали полону Мстислав Мстиславич и Костенкин Всеволодович. Дружинник Горша, из Мстиславовой рати, привел меня в Новгород. На торгу продавали полоняников. Упырь Окулко за две ногаты серебряных [1]

[1] Новгородская ногата — около 26 коп.

взял меня для болярина. Спервоначалу я в вотчине жил, на Мсте. Почто не ушел тогда — не ведаю. А как бросил меня Окулко в жерновую клеть, тут, у жернова, знать, и жизнь кончу.

Конуша умолк. Ивашко ворохнулся на соломе, подвинулся ближе, шепнул:

— Уйдем! Возьмем волю.

Горькая судорога свела лицо Конуши.

— Куда я, — прошептал он. — Силы прежней уж нету.

— Помогу.

— Поздно, Ивашко. Конец скоро. Сам погибну и тебе руки свяжу.

Закашлялся. Глухо, надрывно кашлял, потом долго лежал ничком. Ивашко зажал уши. «Уйду, — думал. — Увижу волю». Страшнее смерти казалась ему судьба Конуши.

И тот день начался, как начинались все дни в жерновой клети. Гудели, кружась, верховоды, сушила горло пыль. Около полудня принесли ушат с похлебкой. Овощное зелье да рыбьи кости в вареве, но и от того будто свет блеснул. Наведался в клеть Окул.

— Кончай-ко работу, паробче, — сказал, поравнявшись с Ивашкиным жерновом. — На торг пойдешь, с возами. Небось горазд мешки таскать.

Открыты створы ворот, возы тронулись. Ивашко позади. В той же рубахе он, в какой стоял в клети, босой, без колпака, осыпанный мучной пылью. На улице опьянел от простора. Все думы свои забыл. Глаза не видят ни хором островерхих, ни стены Детинца. Опомнился, когда миновали Великий мост, свернули на торг, к мучному ряду.

Шумен и люден торг в Новгороде Великом. В ушах у Ивашки звон от многоголосого гама, от толкотни, от всего не виданного им у себя, в Обонежье, на берегах Лачозера. Зазевался он, толкнул ненароком лоток с рыбой вяленой. Баба в широком красном сарафане вытаращила на Ивашку глаза, завизжала на весь торг:

— Подлая чадь! Держи его, люди добрые! Рыбу рассыпал...

Что дальше кричала она — Ивашко не слышал. Людская толпа замкнула его, понесла. А где-то, близко:

— Сбитень горячий, сбитень... Сам пил, язык проглотил...

Неподалеку от вымола[1] толпа обступила юродивого. Кто смеется, глядя на него, кто утирает жалостные слезы. Юродивый — босой, в веригах, простоволосый, с мокрой от слюны бороденкой — подпрыгивает то на одной ноге, то на другой; трясет зажатым в кулаке, похожим на медное яблоко шаркуном, визжит:

— И-го-го! В рай поведу, ворота́ открою, ангелов позову... И-го-го!

— Угодник божий, Прокопушко!.. За нас грешных вериги терпит.

Оглянулся Ивашко — возы с боярской мукой пропали из виду. Один он в шумной, крикливой толпе. Ткнулся в одну сторону, в другую — не видно телег. Ивашко назад было, к мосту, а толпа бросила его ближе к вымолу, туда, где покачиваются на волне причаленные у настила заморские ладьи.

Река, хотя и мутная она, напомнила Ивашке Лач-озеро. Он остановился любуясь.

— Что, паробче, хорош старый Волхов? — кто-то тронул Ивашку сзади. — И то молвить, нет нигде реки лучше.

Рядом с Ивашкой чужой житель. Зипун у него нараспашку, колпак сдвинут на затылок; колечками вьется тронутая инейком русая борода, глаза светлые... Чудно смотрит на Ивашку, будто раньше знавал его.

— Наше озеро краше, — похвалился Ивашко.

— Где оно есть, ваше озеро?

— Там... — начал Ивашко и осекся. Не дворский ли, не из боярских ли хором житель?.. Представилось Ивашке, схватят его сейчас, спутают в тенета, поведут на боярский двор... Увидев его, покашляет, смеясь, упырь Окулко и тихим голоском своим осудит на муки.

Ивашко отступил от жителя, круто повернулся и, расталкивая толпу, потонул в ней.

Одно в думах — бежать! Перед глазами неожиданно встало испитое лицо Конуши. И торг и реку — все заслонило оно собою. Воля! При этой мысли даже солнце выпуталось из облачка, заиграло над городом.

---

[1] Пристань.

В стороне от торга меньше людей, но зато самого издалека видно. Рядом паперть Егорья в Кожевниках. Ивашко скрылся за церковным двором, отдышался. До вечера просидел он в зелени молодых тополькoв у Егорья. Стало уже темно, когда покинул убежище. Долго, где прямо, где задворками, кружил около жилья, пока не очутился на Ильиной.

Скорее... Вон из города!

Близко конец улице. Выбраться в поле, а там — ищи ветра. Вдруг у чьих-то ворот показалась рыжая борода. Напомнила она Ивашке рыжего Якуна. Если б дождик хлестнул из ясного неба, Ивашко и тогда не скрылся бы так резво, как сейчас, в тени, под ближним деревом. Отдышался, перебежал через улицу, в темноте толкнул кого-то.

— Не тесна ли тебе, паробче, улица широкая?

Взглянул Ивашко и замер. Перед ним давешний житель, что встретился на торгу. И тот признал молодца. Смеется.

— К дому ли спешишь? — спрашивает. — Близко ли дом-от?

Он отступил от Ивашки, помолчал, как бы любуясь им, и добавил:

— Жилье ищешь? Заходи! У меня тихо. Для дела моего надобен молодец.

Ни тогда, ни после Ивашко не сумел бы открыть, почему он поверил жителю. В голосе ли его уловил сочувствие себе или подкупило открытое лицо незнакомца, но Ивашко не побежал прочь.

— Напиться бы, — чуть слышно промолвил он и оглянулся: не видно ли где рыжего?

— Не страшись, паробче, — приметив Ивашкин опасливый взгляд, сказал житель. — На Ильиной тебя не обидят. Ремесленные мы. Кто ты — не спрашиваю, сам в беде бывал... Пойдем! В кузне у Никанора за питье рубашку не сымут.

Прожил Ивашко у Никанора до зимы. На первых порах опасался он выходить на улицу, но прошло время — привык. На лице у него мягким пушком кудрявится борода, на плечах — не посконная рубаха, а суконный зипун. Одного роста он с Никанором, одёжа с Никанорова плеча ему впору. Качал Ивашко мех у горна в

БИБЛИОТЕКА
Инв. № 93705
Хорезм. Госпед. института

кузне, белое железо бил молотом. Учил его Никанор своему ремеслу.

Святки. Зимний праздник. Мороз жжет щеки, щиплет носы и уши белыми пальцами, а на торгу в Новгороде на святках шумно и людно. В Пробойном и Сыром рядах — куда ни повернись — не протолкнешься. На Гулящей горке скоморошьи забавы: игры и прибаутки ряженых; звонкие голоса петрушек...

Вышел Ивашко на торг и — забылся. Мороз нипочем молодцу. То и беда, что один, не с кем словом перекинуться. Уж и день к вечеру, того и жди — рассыплются над городом звезды в потемневшем небе, хлестнет звонче мороз студеной ременницей по углам изб. А чем крепче мороз, тем больше веселья. Да и кто не любит на Руси старуху зиму! Вот она — в теплой шубе, в белых рукавицах, в меховом колпаке, опушенном сканью инея.

— Дальний ли, молодец? Где побывал, что повидал?

Оглянулся Ивашко. Он... Якунко рыжий.

— Где был — тебя не спрашивал, — отступил Ивашко от боярского приспешника. — Куда иду — моя воля. Не становись поперек, Якунко!

— Да уж ты ли это? — ухмыляется Якунко. — Искали тебя и искать бросили, а ты на-ко, сам, нежданно... Иди на боярский двор.

Сказал и положил руку на плечо Ивашке.

— Не пойду.

— Честью не пойдешь, приставов кликну.

На какой-то миг вспомнилась Ивашке жерновая клеть, забулькал в ушах страшный кашель Конуши... Неужто снова цепь и позор неволи? Люди столпились вокруг, смеются. Чужой Ивашко на Новгороде; кто станет спорить с боярином, что не по праву — по умыслу злому лишил молодца воли.

— Эх! — дернул плечами Ивашко. Сбросил руку Якункину, кого-то сбил с ног на пути... Якунко голоса не подал, а Ивашко уже далеко. Опоздал, то кричи не кричи — шум людской на торгу не перекричишь.

— Вязать бы тебе гулящего, чего ждал? — смеются над Якунком люди.

— Он-то связал бы, да руки вишь коротки на вольного молодца.

— Ветер в поле не холоп ли твоему боярину?

Никто не заступил Ивашку, когда держал его Якун, а ушел — смелость по душе вольнице.

Ивашко добрался на Ильину, к Никанору.

— Нет мне житья в Новгороде, — поведав обо всем, что было на торгу, сказал он. — Не гибели страшно, Никаноре, неволи. Уйду я.

Рассказ Ивашки встревожил кузнеца.

— Жаль мне тебя, Ивашко, способен ты ремеслу, — помолчав, заговорил он. — Но твоя правда, иди! Вольным рос ты, не холопью и долю тебе искать. Уйдешь, торных путей опасайся, не привелось бы здороваться с заставами; на заезжих дворах не ночуй. Будешь далеко от Новгорода, найдешь приют, обоснуешься. После, как переждешь время да наведаешься в Новгород, не проходи мимо. Днем ли, ночью ли — приму гостем.

ГЛАВА 4

НА ДАНИЛОВОЙ ПОЛЯНЕ

Долго, проселками и бездорожьем шел Ивашко. Иззяб он, оголодал. Искал пропитание себе по глухим займищам. Теперь, когда Новгород далеко, выходил Ивашко и на торные пути, не прятал лица, как прежде. Однажды, на отзимье уж, разгулявшаяся метель загнала Ивашку на заезжий двор в погосте на Ступинке. Близко полуночи его разбудил шум, донесшийся с улицы. Ивашко накинул тулуп и выглянул за дверь. Под навесом бранились какие-то люди. «Не пристава ли?» — обожгла догадка. Не считая ступенек, Ивашко нырнул с крыльца в сугроб; прячась в тени, пробрался около тына к воротам и пропал за ними.

Покинув погост, Ивашко сперва шел по малоезжей тропе, но скоро сбился с нее. В бору ветер казался тише; Ивашко, не разбирая ничего, колесил по целинному насту. Первый испуг прошел. Теперь Ивашко жалел: не зря ли бежал с заезжего? Под навес он не заглянул, а может, не пристава бранились. Не вернуться ли? Но по времени, какое шел он, погост остался далеко, да не хотелось и петлять по старым следам. На заезжем слышал,

говорили люди, будто поблизости, в Шелонских борах, есть займище доброго жителя.

— Как по имени-то? — зевнув спросонок, спросил кто-то.

— Данилой зовут займищанина. Бортник он. Поляна у него расчищена и на борти хитер. В лесу ищет, и около займища есть у него пчелки... В колодах живут, обрусевшие.

Миновали полдни. Короток день, а Ивашко как плутал, так и плутает в бору. Ни просвета не видно впереди, ни жилья. Метель, загнавшая его вчера на заезжий, понесла злее. Шумят, раскачиваясь от ветра, столетние сосны, осыпая вниз навязшие в вершинах охапки снега. Одно время Ивашке чудилось, что напал он на какой-то след; будто на лыжах прошли бором. Но след потерялся. От усталости деревенеет тело. Не приведется ли коротать ночь в глухом одиночестве? Пересиливая искушение сесть и замереть неподвижно, Ивашко брел наудачу.

Поляна открылась так неожиданно, что Ивашко остановился. Мутно и бело кругом. По-прежнему зло трясет снежный хвост неистовый ветер. Шагнул, а след уже замело. Миновал редкий осинничек. Бора стало не слышно, словно и его смело вихрем. Впереди что-то темнеет. Жилье! Ивашко ободрился. Скоро он очутился перед занесенной снегами хороминкой. Пробираясь вдоль ограды, отыскал воротца и постучал. На стук никто не отозвался. Ивашко подождал, забарабанил сильнее.

В хороминке тускло осветилось оконце. Слышно, скрипнула дверь. Кто-то кашлянул, и, как бы в ответ на это, одна за другой проголосили ступеньки.

— Кто там, крещеные, ломится? — спросили из-за ограды.

— Погода застигла в борах, — срывающимся голосом отозвался Ивашко. — Пусти обогреться!

— Один аль сколько вас?

— Один.

Тесаная створа воротец качнулась. В просвете показалась высокая фигура человека в коротком, до колен, овчинном тулупе. Лица его Ивашко не рассмотрел. Человек держался рукою за створу, как бы не решаясь открыть ее.

— Проходи, — осмотрев гостя, сказал он. — Пе-

ший?.. Эко снегов на тебе... Счастье, паробче, что набрел на займище, а то вишь она — кусается погодушка.

Он прикрыл створу и опустил засов. На крыльце Ивашко снял рукавицы, похлестал ими себя, обивая снег.

В избе обдало теплом. Прошло некоторое время, прежде чем Ивашко огляделся. Займищанин зажег о дымивший огарок лучину, вщемил ее в железную лапу светца. Стало светлее. Ивашко увидел теперь черные стены, скользкие и блестящие от давней копоти; печь, над «челом» которой на вскинутом козырьке напыльника сложена горка сухих поленьев. Рядом с печью, у кутней стены, рубленый залавочник, на нем — копылками, в опрокидку — глиняная и долбленая посуда. Ближе к окошку — дубовая кадь с водой, полуприкрытая черной, как все в избе, широкой доской, ребро которой рябит приметными надрезами и зарубками. Под воронцом, у приступка печи, трехногая лохань; над нею, на лыковом плетешке, глиняный рукомойник. Рыльце у рукомойника обито, тонкое горлышко перевито — ряд на ряд — берестяной лычиной.

— Разболокайся, паробче, да садись, — сказал займищанин. — Не серебро у тебя, чаю, в ногах.

— Спасибо.

В тепле Ивашко острее почувствовал, как он устал и иззяб на ветру. Долго дул на окоржавевшие, словно чужие, пальцы. Сбросив колпак, принялся распутывать завязки тулупишка.

— За воротами гость-от чуж-чуженин, а вошел в избу — честь ему и место, — говорил займищанин. — Так оно судится, паробче, по-нашему, по старине.

Ивашко осилил завязки. Бросив на воронец тулуп, подошел к светцу и вытянул над пламенем руки, потирая их.

Шум, вызванный появлением гостя, разбудил кого-то на полатях. Там послышалась возня.

— Татко, — прозвучал сонный голос. — Кого привел?

— Олёна, ай не спишь? Погляди, какого удалого молодца занесло ветром на займище.

— Уж ветром...

Соскользнула с полатей. В длинной рубахе из грубого холста, с взлохмаченными со сна волосами, худень-

кая, гибкая, как осинка, остановилась перед Ивашкой, молча, в упор, посмотрела ему в лицо.

— Тебя как зовут? — спросила.

— Меня-то? — усмехнулся Ивашко и не утерпел, протянул руку, чтобы дернуть за вихор девчонку.

— Не балуй! — погрозила. — Не давай воли ручищам!

Смешно перебирая озябшими на холодном полу босыми ногами, она то и дело потирала их одна о другую. Темные, как у отца, спутанные волосы вьются колечками на висках.

— Тебя как зовут? — упрямо повторила она.

— Зовут Зовуткой, позовут и откликнусь.

— Не ври.

— А ты угадай!

— Угадаю.

— Ну-ко, ну!

Девчонка подумала и вдруг, весело засмеявшись, сказала громко, нараспев, как сказку:

— Зовут тебя Зовачком, Иванушкой-дурачком.

— Олёна, не обижай гостя! — остановил дочь займищанин, но, не утерпев, усмехнулся сам.

— Не обижаю, татко. Он велел угадать.

— И угадала, — признался Ивашко. — Поп меня Ивашкой крестил.

— Ивашкой, — повторила девчонка, переступив с ноги на ногу. — Откуда пришел?

— Издалека.

— Страшно было одному-то в бору, ночью?

— Страшно.

— А я не боюсь, — похвастала девчонка. В черных с синеватыми белками глазах ее, полуприкрытых длинными, загнутыми вверх ресницами, сверкнули торжествующие огоньки. — Всякое место в бору знаю, — добавила она.

— Не тутошний я, дальний, — как бы оправдываясь, сказал Ивашко. — Шел бором, а куда принесли ноги — не ведаю.

— К нам, на поляну, — строго сказала девчонка, словно обидясь на то, что Ивашко не признал поляны. — Слыхал про Данилу-бортника?

— Слыхал, — ответил Ивашко, догадавшись теперь, куда выбрался. — Сказывали добрые люди.

— Он татко мой, — с гордостью показала на отца Олёна. — И поляну нашу зовут Даниловой поляной.

Ивашко взглянул на займищанина. Черная борода, брови и волосы так плотно закрывали его лицо, что оно казалось заросшим ими, как мхом. Плечи займищанина немного сутулились, движения его медлительны и спокойны. Поддерживая огонь в светце, он молчал, присматриваясь к захожему.

— Ты что умеешь делать? — не унималась Олёна.

— Мало ли что.

— Зверя умеешь брать?

— Приходилось.

— Не умеешь, — решительно заявила девчонка. — Бором шел, а ни стрелы у тебя, ни рогатины.

— Полно-ко, Олёна, словами играть, — прервал займищанин болтовню дочери. — От слов сыт не будешь. Принеси-ко хлеб да медку сотового. Сперва накорми гостя, а после спрашивай.

Девчонка взглянула на отца, потом на Ивашку и, не промолвив ничего, бегом скрылась за печью. Скоро, как в сказке, на столе очутился хлеб, соль в липовой «утке», украшенной хитрой резьбой, мед в берестяном «бураке»; на заверсть Олёна вывалила на стол пригоршни вяленой репы и принесла долбленый жбан с квасом.

Ивашко как будто даже испугался изобилия снеди. Глаза его широко раскрылись. Ему казалось, что все сытное и сладкое, очутившееся перед ним, сейчас исчезнет. Неподвижно, не зная, что молвить, смотрел он на снедь, не прикасаясь к ней.

— Садись, паробче! — поняв нерешительность Ивашки, сказал займищанин. — Что на столе, то и бог послал. Не гнушайся хлебом-солью!

Не жирна снедь, но Ивашке кажется, не бывало вкуснее еды в гридне боярской. Хлеб тяжелый, отзывает мхом, но, намазанный медом, тает во рту. Ивашко не чувствовал усилия, с каким двигались его челюсти. Все желания и чувства его сосредоточились на единственном радостном ощущении — он ел. По мере того как утолялся голод, Ивашко стал забывать усталость, сугробы снега, пургу, злобный гул бора. Стаи тараканов,

как рыжее золото, рассыпанное по божнице, не пугали, а как бы дополняли собою ощущение довольства, охватившее его.

Олёна убралась на полати. Она полежала, выглядывая из-за воронца, но скоро голова ее опустилась. Девчонка уснула, свернувшись под теплой овчиной.

— Издалека ли твой путь, паробче? — спросил займищанин, видя, что Ивашко отвалился от еды.

Ивашко вздрогнул, с опаской поднял глаза. А что как, узнав гостя, велит ему займищанин бежать со двора?

— Из Великого Новгорода, — промолвил.

— Путина добрая. Идешь-то своей ли волей?

— Своей.

— Не складно, знать, жилось на Новгороде?

— Всего было.

— То-то вот... Не каждому журавлю в болоте раздолье, так, что ли? — усмехнулся займищанин. — Бывал я на Новгороде, повидал... Ивашкой тебя звать-то?

— Да.

— Меня зови Данилой. Бортник я... Живем мы с Олёной далеко, людей видим редко и вести не часто слышим. Бор наш как стена каменная, раменный бор. Мне хорошо, люблю я лесное житье, а вот ей, — Данила показал на полатцы, — покуда не вошла в годы — ладно, а после нелегко будет...

— Смышленая она.

— Смышленая. Правда твоя, паробче. На охоте ли по зверю, борти ли искать — на все ловка. С Олёнина дня шестнадцатая весна ей. А селюшной-то год тяжел стался. Лето было дождливое, хлеб помок, меду мало взяли. Зима сумная, пурга да вьюги. Олёна векшу да дичину промышляет, а я, паробче, доброго люблю зверя: куницу черную[1] аль лису; переведаюсь и с болярином в мохнатой шубе. А на красного-то зверя нынче как заговор. Осенью, из-за непогоды, берлóжки не приметил.

Данила говорил не повышая голоса. Он не сетовал, никого не винил — говорил о том, что занимало его думы. Но когда упомянул о лесном боярине, Ивашко оживился.

Перед вечером уже, блуждая в борах, очутился он

---

[1] Соболь.

на глухой прогалине в буреломах. Разбросались по снежному угорку елочки, между ними, как старое жнивье, торчали из снега малинники, кусты ивы, хвелая жимолость; близ елочек — лунка за лункой — лисий строченый след.

За прогалиной, возле неглубокого овражка, поднялась, как на лапах, сухая валежина. Ворохом взгорбился над нею снег. За валежиной снова бор. Ни просеки нигде, ни дорожки. Перебираясь через валежину, Ивашко оступился, не устоял на ногах. Поднявшись, он оглянулся и... застыл от страха. Будто горсть снегу бросили ему за воротник тулупишка. Рядом с собой, ближе к корневищу, на снегу — бурый венчик наледи.

Зверь!

Не помнит Ивашко, как бежал от валежины. Стыдно ему признаться в трусости, но как утаить находку?

— В бору-то... Есть берложка, — сказал.

— Как не быть, есть, — усмехнулся Данила. — Только и беды, что место неведомо.

— В буреломах... видел.

Данила поправил лучину.

— Правду молвил?

— Истинную.

— По времени... Когда было?

— Сумерки опускались. Полянка, ельничек там...

— Недалеко, знать, — как бы рассуждая с собою, произнес Данила. — Круг-то не обложил?

— Нет. Страшно стало.

Искренность, с какою Ивашко признался в своем страхе, убедила займищанина в том, что гость сказал правду. Подумав, он решил:

— Погода *вьет селюшки, а гадаю:* след твой не замело в бору. Утром, коли стихнет пурга, сходим по броду, поищем.

Он отломил от горящей лучины медно-красный, потрескавшийся уголь, бросил его в ладейку; подождал, пока уголь «уснет», и заговорил мягко, не спеша:

— Дальний ты житель, паробче, и кто ты — не ведаю, а сдается мне — не своею волей попал в боры. Не скрывайся-ко, молви: в чьих был холопишках?

Ивашко понурил голову. Словно боясь, что его может

услышать еще кто-нибудь, кроме чернобородого займищанина, прошептал:

— В Твердиславичих.

— Болярина Стефана?

— Да.

— Слыхал о жительстве болярина, — сказал Данила, уставясь взглядом на огонек лучины и будто вспоминая о чем-то полузабытом, нерадостном для себя. Потом тряхнул плечами, поднял голову. — Тяжел болярин, ох тяжел... А ты не тужи! Ушел и ладно. Для меня ты гость, а холоп аль вольный — дела мне до того нет. Ложись почивать, настанет утро — разбужу.

ГЛАВА 5

ТРОПЫ НЕХОЖЕНЫЕ

Заря над бором не брезжила, когда проснулся Данила. Долга нынче показалась ему ночь. Шутка ли, ввалился в избу нежданный гость и смутил тем, будто набрел вблизи займища на берложину. И верил и не верил тому Данила. Если не пустого сугроба испугался молодец, то-то игра будет!

Светает.

Данила встал, набросил овчинный тулуп, в котором встречал ночью Ивашку, и выглянул на дво́рец. Как и ждал он, ветер утих, но зато мороз к утру щипался крепче. День предвещал быть ясным.

Данила вернулся в избу, высек огонь и зажег лучину. За ночь в избе выдуло; на пазах, в переднем углу, белой куделью застыл иней. Данила зачерпнул из кади воды, выпил. Вода студеная, со льдинками, как из проруби. Приготовил в поход еду и разбудил Ивашку.

— Вставай, паробче, пора!

— А?!

— Ох, гостенечка осподь послал! — посмеялся Данила над сонным. — Болярин-то в борах жде-е-ет.

Ивашко до слез натер глаза. Старается раскрыть веки, а они тяжелые, как намерзшие лапти. С трудом вспомнил, как выбрел вчера к займищу, как хлеб-соль рушил.

— Не сплю я...

— То-то вскочил воробышком. Не будил бы тебя, да спозаранку поход легче.

Давно, и не помнит Ивашко о том времени, когда он спал так же крепко, как сегодня, на займище у Данилы. От черных стен избы, от светца, в котором потрескивает и пускает вверх белые рожочки горящая лучина, от облика займищанина, от всего, что видел Ивашко, веяло таким простым и задушевным спокойствием, что забылся и гнев боярский, и страх скитания в борах, и то, что нет у молодца ни жилья, ни родни на свете.

Данила принес из запечья рогатину, попробовал, крепко ли держится на схваченном железными кольцами ратовище заржавевшее от времени перо [1].

— Ветер утих, и утро чистое, — сказал он Ивашке. — Скоро добежим на лыжах.

На дворе сухой снег громко скрипел под лаптями. Восток золотился холодным блеском зимней зари. Окружающий поляну бор, казавшийся Ивашке неприютным и страшным во вчерашней ночной вьюге, теперь посветлел. В кустах, позади займища, осыпав с веток снег, встряхнулась ворона. Не богато зимой житье птице! Набивает зоб мерзлыми почками орешника; редко-редко полакомится падалью или подберет кое-что близ жилья.

Крр... Крр... — каркнула вдогонку, точно спрашивая: зачем рань-раньскую из теплого жилья выбрались жители?

То прямо, то петляя между дерев, уходит вчерашний Ивашкин след. В голубой утренней мгле приветливо гудят сосны. Снег рыхл, как песок. Данила впереди, Ивашко еле поспевает за ним. Не ноги — осьминные ходули после вчерашнего, гнетет спину топор, заткнутый сзади, за опояску.

— Умаялся, паробче? — подождав Ивашку, спросил Данила. Наклонился, черпнул ладонью снег, лизнул. — По броду твоему примечаю, шел ты вчера буреломами на Сухой мари, а к займищу кружил стороной. Селюшки-то нам прямиком способнее. Недалеко тут дорога езжая на Шелонский городок. Выбежим на нее, версту сделаем, а там свернем к буреломам. Дойдешь ли?

---

[1] Наконечник копья, стрелы.

— Дойду, — расхрабрился Ивашко, поправляя съехавший на лоб колпак.

— То-то, путина не легкая.

Вышли на дорогу. Вьется она, как ручей, разрезая бор. Слежня корытом осела в снег. Ивашко сбросил лыжи, поднял их на плечо. Дорогой, хоть и перевита она, идти легко; не заметил, как отмахали конец. Бор сменился разнолесьем. Дорога пошла под угорок, где внизу прячется в глубоких снегах лесная речонка. На высоком юру, по ту сторону ее, лохматится, как попадья, старая ель. Охапки снега, точно копны, пристыли к опущенным лапам. Под ними, как под шатром, хоть жительство складывай.

— Берись-ко за лыжи, паробче, отсюда нам на целик.

У Ивашки запуталась нога в веревочной петле лыжины, еле устоял. Поправился, ступил шаг... Лыжина угодила в тенето ивняжника. Чуть видно его из-под снега. Данила ждет на опушке. Ивашкина неудача его рассмешила.

— По-твоему-то, молодец, и корова на льду ходит.

Ивашко сердится на себя за неудачу. Старается освободить лыжину, — она как прилипла. А под ногами еще пень дряхлый...

Неожиданно из-за елового поймища впереди показался всадник. Выехав на косогор, он придержал коня, оглянулся, махнул кому-то и стал спускаться к речонке. Данила недовольно кашлянул: не помешали бы чужие люди! Ивашко, увидев всадника, оробел. Не холопы ли Твердиславича рыщут в борах? Нет, всадник не похож на холопа. Он проехал речонку, поравнялся с Ивашкой и, бросив повод, спешился. С уважением, как старшему, поклонился Даниле, кивнул Ивашке.

— Здешнего краю жители? — спросил.

— Тутошние, — еле ответив на поклон, хмуро пробурчал Данила.

— Места у вас привольные, — сказал всадник. — Жильцов мало, леса да пустыри. Куда путь держите, добрые люди?

— Идем по своему делу, витязь.

Сурово и строго лицо Данилы. Не привык он перед каждым встречным выкладывать на ладонь душу.

А всадник словно не замечает этого. Он молод. Мягкий пушок бороды обложил подбородок. Под распахнутым овчинным тулупом виден синий кафтан заморского сукна, успевший побуреть от долгой носки. Полы кафтана в золотой тесьме. Кожаный пояс украшен наборными медными бляшками. К седлу приторочено легкое копье — сулица. В левом ухе витязя золотая серьга, в которой искрится и играет прозрачными гранями зеленый камушек.

— Не на ловища ли по зверю? — спрашивает.

— Может, и так, — ответил Данила. — Не люблю, витязь, языком лен чесать, на то щеть есть. Вотчины наши не указаны, что промыслим, тем и живем,

— Не ласков ты, житель, — молвил витязь, но не закричал, не зашумел, будто не слышал обидного слова. — Сказывали мне, что в борах люди приветливы, — добавил он.

На повороте за елью, с той стороны речонки, показался еще всадник. Не в пример первому, на нем, поверх серого из домашнего сукна короткого кафтана, блестит медная чешуя бехтерца, на голове шелом; олущенные усы серебрятся инеем.

— Что ты отстал, Ратмир? — встретил седоусого молодой витязь. — Уж не конь ли притомился?

— Без дела едем, без дела и путь долог, — проворчал в ответ старый витязь. — Не пора ли на городок повернуть коней?

— Ехали без дела, а вот добрых людей встретили, — как бы оправдываясь, промолвил молодой. — Если не спесивы жители, будет и нам потеха.

— Как тебя по имени, витязь, как величать по отчеству? — полюбопытствовал Данила у молодого.

Витязь взглянул на бортника, оглянулся на седоусого, засмеялся.

— Княжие дружинники мы из Великого Новгорода, — сказал. — Городки на Шелони смотрим. Что бы тебе, житель, порадовать нас, взять в ватажку. Что добудем, за себя не положим.

— Ого, востер ты, — усмехнулся Данила. — Бор велик, снега не топтаны, а наша тропка по зверю матерому. Не жалует он, как придешь к нему с бездельем.

Вспыхнуло лицо витязя. Казалось, вот-вот сорвется гневное слово. Но он сдержал себя.

— Не чурайся, житель, — не повысив голоса, сказал Даниле. — Твое счастье не уйдет от тебя, а нам не впервые гулять в борах. Дозволь потешиться!

По сердцу Даниле скромная речь.

— Взял бы, — молвил. — Да пройдешь ли бродом в бору?

— Сам не пройду, а коню снег не страшен.

— Так ли?

— Не привык я, житель, неправду сказывать. Не добыча дорога — потеха.

Данила помолчал, раздумывая; переложил из руки в руку рогатину.

— Быть по-твоему! Но помни, витязь, не на пир идем. После чтобы не знать обиды.

— Не обидчив я, а за ласку — спасибо.

Зеленая россыпь ельника окружает берлогу. На прогалинке, у снежного шатра, прикрывшего валежину, показался молодой витязь. Где-то, неподалеку, за зеленью елок, Ратмир и лесные жители. Данила отдал витязю рогатину; хватит ли умельства у молодца принять на нее зверя?

Отоптал перед берлогой снег. Сердце бьется так сильно, что кажется, тесно ему в груди. Ветер качает изумрудные вершины елочек. Солнце поднялось высоко, под лучами его снег горит и искрится. Взглянешь — в глазах темно от нестерпимого блеска. В Новгороде Великом небось уже обедни отпеты, на княжем дворе начались забавы ратные, а то в снежки бьются дружинники с дворскими девушками.

— Пора!

Перо рогатины глубоко в снежном бугре. Пошевелил. Тихо.

Тронул сильнее. Из бугра донеслось недовольное глухое ворчание. Услышав его, витязь забыл Новгород, забавы дружиничьи, — забылось все, о чем тревожились думы. Страха нет. Еще миг... Снежный бугор затрепетал, как живой.

Витязь упал на колено, прижал к земле ратовище рогатины.

Он... Зверь. Огромный, с проседью на спине. Сверкнули желтыми искрами налитые кровью глаза.

«Не поднялся на задние лапы, — сухой холодок тронул витязя. — Старый... Злой... Кровь ведает».

Выбравшись из берлоги, зверь отряхнулся и тут же, раскрыв пасть, с ревом, разваливая грудью снег, точно купаясь в нем, ринулся на охотника,

Витязь не шелохнулся. Рука крепко сжала ратовище. «Сейчас... Вот-вот навалится». Грудь зверя коснулась железа.

На мгновение зверь замер. Не гребет лапами, не жмет на рогатину. «Ну!» — готов крикнуть витязь. Кажется, протекло много-много времени. Вдруг под страшным ударом мохнатой лапы, будто хрупкая ольховая веточка, треснуло ратовище, переломилось. Перо рогатины взвилось ввысь и, сверкнув на солнце, зарылось в снег.

Не легко остаться безоружному, один на один с рассерженным зверем, но витязь не растерялся. Он сделал то, что только и мог сделать: бросил в пасть оставшийся в руке обломок ратовища, отпрянул в сторону.

Зверь поиграл обломком. Витязь, не спуская глаз с врага, медленно пятился к стене плотного ельника. От старых медвежатников слыхал он: придет нужда биться со зверем безоружному — не беги. Побежишь, не унесешь ноги. Кости сломает. Лучше упади. Надвинется зверь, ты ему кулак в открытую пасть... На язык дави. Много смелости и бесстрашия надо иметь охотнику, чтобы отважиться на единоборство, но, бывало, задыхался зверь, падал.

Витязь сорвал с себя широкий сыромятный пояс, обвил им руку. Зверь рядом. Поднялся. Будто горящей головней ударили по плечу. Рука в пасти. Давит язык... Глубже...

Зверь мотнул башкой, стиснул зубы. Крепка обвивающая руку сыромять пояса, но и сквозь нее велика боль. Ободрано плечо. Лохмотья кафтана окрасились кровью. Стоек витязь, упрям; не крикнул, не позвал на помощь. Не придется ли старому другу и лесным жителям снимать колпаки над молодым дружинником?!

...Очнулся. Зверь не нападает. Небо голубое вверху, кругом зелень елок. Неужто ушел? Нет, рядом он, на снегу. Из раскроенной башки льет кровь. Рядом с неподвижной тушей зверя Ивашко. В руке у него топор. Лицо у молодца белее снега.

Проваливаясь по пояс в сугробах, спешат к месту поединка Ратмир и займищанин. Витязь поднялся, тронул ногой тушу зверя, повернулся к Ивашке и при Ратмире, при займищанине — поклонился.

— Спасибо, молодец! — молвил. — Случится побывать на Новгороде Великом — приходи на княжий двор, одарю, чем могу.

Сказал и покачнулся. Ратмир обтер снегом кровь с его лица. Не ахнул, не удивился тому, что случилось.

— Молодца-то, витязь, на займище ко мне снесем, — сказал Данила. — Недалеко. Раны обмоем. Зверь старый, хитрый; злой, как шатун [1]. От такого никто не ушел бы подобру.

ГЛАВА 6

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

От моря Варяжского и от земли Лопи до гор Каменного Пояса [2] простирается Новгородская земля. Богата она пашнями и лугами, реками многоводными, лесами дремучими, ловищами звериными и рыбными. Меха, воск, мед, лен тонкопрядый, железо кричное, жемчуг речной, рыбий зуб — всем богата земля. Реками и волоками, обозами по зимним дорогам везут жители дары своей земли в Великий Новгород.

Пятью концами, на берегах старого Волхова, раскинулся город. Точно застывшие в крепком пожатии руки, перекинулся через реку Великий мост. Широк он — в два проезда; дубовые ряжи под ним пенят Волхов.

Сердце города — каменный Детинец. Над его стенами, отражаясь в Волхове, поднялись тяжелые шеломы

---

[1] Медведь, не залегший в берлогу на зиму.
[2] Уральские горы.

святой Софии. Лучи городовых улиц разбегаются от Детинца к воротам Кромного города. Улицы вымощены тесаными мостовинами и круглым лесом. Вдоль улиц — посадами — хоромы рубленые, с узорными крыльцами, с резными наличниками окошек, огороженные тынами с воротами тесовыми. Над крутыми скатами крыш возносятся каменные звонницы церквей и соборов. Сильные монастыри, обнесенные валами со столпием и высокими стрельницами, сторожат пути к городу.

Славен Новгород святой Софией, звонницей вечевой и Великим торгом. Идут на новгородский торг гости с товарами из Византии и из-за Каспия, из свейских и немецких земель. Все есть на торгу: тонкие паволоки из Византии, узорные аксамиты из Хорезма, сукна ипские и лангерманские, вина фряжские, изделия из стекла... В обжорном ряду — дичь и рыба: живая, в садках, и уснувшая.

Искусными мастерами ремесленными славен Новгород. Продают на торгу свои изделия кузнецы по железу и меди, по золоту и серебру; щитники, лучники, котельники, колпачники, бочешники... Нет, кажется, на Руси торга богаче и многолюднее, нет и города краше Господина Великого Новгорода.

Отошла обедня у святой Софии. Владычный пономарь Говорко Сухой, щуплый, красноглазый мужичишко, с выкатившимся, как жбан, животом, впереди всех выбежал из собора, махнул колпаком:

— Звони «Во вся»! Отмолилось людие.

Говоркова знака давно ждали звонцы на звоннице. Не опустил Говорко колпака, как ударил «большой» владычный колокол, в подзвон ему сиповато ухнул «меньший». И вдруг, точно стая воробьев поднялась со стен Детинца, — речисто, с подпевом закалякали подголоски. Звонят «Во вся довольно».

На софийский звон отозвались в городовых концах колокола церквей и соборов. Прогудел стопудовый — это у Николы в Дворищах, степенно, не торопясь, басит у Покрова, прихрамывая, дребезжит расколотым боком у Апостолов на пропастех.

Шел пятый час поутру. Резво, на выхвалку, стараются звонцы. Тинь-тала-лам-лам-лам... Тини-тини-лон, тини-лон... Плывет звон над городовыми улицами, переулками, тупиками; уносится на простор, в ближние пригороды, падает медным охом со звонниц у Антония, в Юрьеве, на Перыни...

В Спасских проезжих воротах — проступу нет. Не со всей ли Руси собралась тут убогая и нищая братия? Дрожат посиневшие куски телес, гноища, гниль... Таращатся, жалобят. Вопль и вой на всю Пискуплю.

Перед воротами Прокопко-юродивый. Сквозь лохмотья одежд видно дряблое, желтое тело. Крутится он на снегу, под одежишкой звякает железо вериг; визгливо, брызжа слюной, частит скороговоркой в лад звонцам:

— Ай, хорошо! Ай, хорошо! Болярам-ту по бобру, попинам по пирогу, черному людству — Спас подаст.

— Милостыньку, благодетели наши, Христа ради!

— Слепенько-о-му-у подай-те-е!

— Убо-го-му-у, безно-о-го-му-у...

С визгом, с выкликами бьется на земле баба. Опухшее лицо ее в синяках и ссадинах. Рядом — «убогий». У левого плеча его обнаженный огрызок руки. Взгляд его пуст. Качаясь взад-вперед, он гнусаво и монотонно тянет:

— Бон-дя-а, бон-дя-а...

Ни одного звука больше. Кажется, ничто мирское не трогает «убогого».

— Бон-дя-а...

Баба затихла. Облизнув языком сухие, потрескавшиеся губы, закрыла глаза. «Убогий» покосил взглядом в ее сторону. Не меняя ни выражения лица, ни положения тела, он согнул колено и быстрым, еле уловимым движением толкнул бабу. Уста его прошептали выразительно:

— Ори, дура! Жалоби!

В стороне, но так, что его отовсюду видно, сидит слепец. Очи его устремлены вверх, ветер колышет седую бороду... Гнусаво, как положено, он складывает:

...Окиян-море — всем морям море.
Обошло тоё море окол всей земли;
окол всей земли, всеё подселенные.

Во тоём море во окияне —
самой пуп морской.
Всеё-то реки, всеё моря
к окиян-морю собегалися,
окиян-морю приклонилися,
никуда вон не выходили...

Неподвижны очи старца. Кажется, читает он где-то, в далекой синеве неба, голубиные слова и складывает их в большой стих. Время от времени голос старца прерывается тоненьким подголоском поводыря:

Отцы наши, батюшки,
пречестные наши матушки,
подайте милостыньку на наше сиротство!

Отстояв обедню, шествует Пискуплей боярин Стефан Твердиславич. Размяк и притомился он от долгого стояния. Важен боярин, ни туда, ни сюда головы не повернет, слова ни с кем на пути не молвит, — тешится он своими думами. А о чем думать боярину, как не о хоромах богатых, о вотчинах дальних и ближних. В вотчинах у него ловища на красного зверя; ржи, ячменя, тонкопрядого льна угодья. Холопы и половники — женки и мужики — хлеба собирают, зверя ловят, борти ищут. Зерно, лен и холст, мед и воск, меха, смолу, крицы железные везут из вотчин обозные в Новгород. Вокруг хором Стефана Твердиславича на боярской Пруской улице частокол что город; терема срублены из валдайского дуба, рундуки у теремов резные; гридница в хоромах — другой, лучше ее нет на Великом Новгороде. В медуше — бочки с медами вареными и сыченими, с заморскими мальвазеями; в кованных железом сундуках — казна и узорочье, меха лисьи, бобровые, темнокуньи. И свои и заморские торговые гости жалуют на двор к боярину, торгуют и берут добро. Пол-Новгорода в долгу у боярина. Как же ему не смотреть свысока на людей, не потеть в тяжелой шубе лисьей?!

— Калачики-калачики, пряжье рассыпчатое! Дай калачик, болярин!

Поднял очи Стефан Твердиславич — на пути перед ним Прокоп.

— Приходи в хоромы, юрод, лопотину велю дать!

Рыжий Якун, завидев боярина, широко распахнул ворота. На дворе встретил поклоном Окул, проводил на

крыльцо. Стол убран в гридне. Стефан Твердиславич, как вошел, наперво осенил грудь перед темным ликом «Премудрости», снял шубу, бросил на руки холопу.

На столе, посредине, возвышается медная братина с медом крепким; в ней без малого полведра. Вокруг братины пироги: слоеные, сладкие, луковые. На огромной тарели плавает в жире бок копченого осетра, рядом — разварной карп, окорок вяленой; подальше — «рябь», жаренная в сметане, сыр белый, похожий на ком снега, горой — медовые калачи.

Стефан Твердиславич не сразу принялся за еду. Он поднял братину, осушил добрую половину. От питья кровь бросилась в голову. Подвинул к себе осетра и принялся за еду. Ел не спеша, облизывая пальцы; а чтобы не пропала охота, заедал снедь головками чеснока.

С лица градом льет пот. Боярин снял пояс. Попробовал Стефан Твердиславич и пироги, и окорок, и медовый калач... Еле дотащился в спальную горницу.

Казалось, только бы прилечь — и разморит сон, а лег — не спится. Грех сказать, после обедни — мерещится боярину красная девица. Близко она, покойного братца Вовзы Твердиславича падчерица. Девка — сирота, живет в хоромах у боярина из милости, все одно что холопка.

Перевалился на другой бок — не идет сон. Стефан Твердиславич протянул руку к самшитовому посоху, стукнул о пол. В горнице показался Окул.

— Что велишь, осударь-болярин?

— Беги в терем... — завел речь боярин, но не успел вымолвить: со двора донесся стук колотушки. — Кто там? — задохнувшись от гнева на то, что помешали ему, прошипел боярин. — Ломятся ордой некрещеной. Чужой кто, спроси — чей, свои — вели батожьем драть.

— Гонец от владыки архиепископа, осударь, — вернувшись, поклонился Окул. — Велел владыка звать тебя на совет в Грановитую [1].

---

[1] Совет господ — высшее административное учреждение в древнем Новгороде, олицетворявшее власть боярской олигархии. Он состоял из верхушки вотчинного боярства. Председательствовал в совете владыка, который избирался пожизненно. Как епископ, он стоял во главе церкви новгородской, как председатель совета господ — во главе управления.

Боярин погладил бороду.

— Не буду тамо... Недужится мне...

Помолчал.

— Прокопко-юрод, может, зайдет, — вспомнил Прокопа. — Брось ему зипунишко какой ни есть. Пускай молится за наши грехи.

ГЛАВА 7

СНЫ ДОЛГИЕ, ДЕЛА ТЯЖКИЕ

Сумерки спустились над городом, когда открыл глаза Стефан Твердиславич. Потянулся спросонок, широко, до боли в груди, зевнул.

В узкую щель оконницы, сквозь розовую тонкую слюду, как сквозь сито, падал вечерний мягкий свет. Боярин спустил с перины густо заросшие волосами и испещренные синими жилками ноги. За стеною слышны голоса. Хотел послушать, о чем говорят, да не разобрал.

Набросил на себя домашний кафтан и, стуча посохом, тронулся в гридню. В переходе подвернулась под ноги дура-карлица. Обругал, замахнулся на нее посохом:

— Пошла прочь, тварь!

Вспомнив о том, как томятся и зевают сейчас в Грановитой бояре, Стефан Твердиславич не сдержал усмешки: рад тому, что велел давеча сказать о недуге.

В гридне, перед ликом «Премудрости», мерцает серебряная лампада с чернью и травами — «неугасимая». Стефан Твердиславич посмотрел на огонек, оправил светильно и обтер о волосы пальцы. На столе припасена братина с медом. Поднял ее обеими руками, не торопясь отпил, облизал губы. В гридню вошел Окул.

— Где пропадал? — боярин сдвинул брови, будто ждал холопа.

— В клети, с работными людишками был, осударь.

— Что в хоромах слышно? Приходили ли гости с торгу?

— Нет, осударь, ни свои, ни заморские не заглядывали.

— А ты бы порадел болярину, послал холопа на торг... Воску и мехов полны клети... Сдуй-ко огня!

В хоромах Окул — ближний холоп, ключник и наперсник. Он резво, точно юноша, подбежал к поставцу, взял огниво, кремень, плошку с трутом, высек огонь и зажег восковую свечу. Легче было бы взять огонь от «неугасимой», да не любит того боярин.

— Жалеешь ты батогов, Окулко, — медленно, будто не хотелось говорить ему, произнес боярин, когда Окул поставил на стол железный подсвечник с зажженной свечой. — Холопов у нас полон двор, а они без дела. Дура-карлица давеча... Под самые ноги ко мне в переходце.

— Жалею, — на сморщенном, желтом, как сухое бересто, лице Окула появилось что-то напоминающее улыбку. — Не взыскиваю, да и как взыщешь? Пожаловать дурака полусотенкой — он в хворь, а от хворого, что от убогого. Я полусотенку-то не сразу, а по десять батожков утречками...

— Утречками... Ах ты пес! — Размяк и повеселел Стефан Твердиславич. Сложил руки на животе, спросил: — Как жили нынче?

По памяти, как по записи, выложил Окул перед боярином все, что случилось за день в хоромах и на дворе. Кто что сказал, с кем перемолвился, кто в работе отстал, кого маяла хворь. Сказал и о том, кого наказал он, чьи вины оставил на суд боярина. Слушая ключника, боярин изредка ронял:

— Батожьев псу!

Окулу не напоминай вдругорядь. Не слово — взгляд запомнит.

— Ефросинья что делала? — спросил Стефан Твердиславич.

— Да ничего, осударь-болярин... Посередь дня с девками в бирюльки тешилась, после выпила сбитню горячего с пряжонами, на дворе гуляла. Встретила там нашего болярича. Таково-то он соколино глянул и вроде бы словцо молвил.

— Ондрейко? — перебил боярин.

— Болярич. Наш чернобровый сокол.

Боярин в сердцах толкнул пустую братину, она упала

на пол и загремела. Окул бухнулся ниц. Боярин ударил его носатым сапогом.

— Позови Ондрия!

Окул, не поднимаясь с колен, начал пятиться к дверце.

— Неправду молвил — на чепи сгною! — пообещал боярин вдогонку холопу.

Боярич Андрей собрался почивать, когда, словно из-под земли, перед ним явился Окул.

— Буди здрав, сокол наш светлый! — заговорил он кланяясь. — Осударь-батюшка зовет тебя, что повелишь молвить?

— Скажи, сейчас буду, — ответил Андрейка, надеясь, что скорым согласием своим выпроводит вон вестника, но Окул не шелохнулся.

— Гневен нынче батюшка, — шепотом поведал он.

— С чего гнев? — спросил боярич. Он накинул на плечи кафтан и теперь застегивал пояс.

— Осподь о том ведает, соколик. Не нам, холопам, про то знать.

Гнев, охвативший боярина при вести о встрече Ефросиньи с Андрейкой, успел остыть. Сгоряча велел он Окулу позвать сына, а теперь не знал, о чем говорить с ним. Не послать ли Андрейку в дальнюю вотчину, в заонежские леса... Хорошо ли так-то? Скажут, не пожалел, не по-родительски наказал. Пусть лучше Андрейка послужит Новгороду Великому. По душе пришлась боярину эта мысль. И сказывать ничего не надо будет, и похвалиться Стефану Твердиславичу найдется чем.

— Звал, осударь-батюшка? — Войдя в гридню, Андрейка поклонился отцу.

— Звал...

Боярин залюбовался на сына. Рядом жили, а вот не заметил он, как вырос Андрейка. Смотрит Стефан Твердиславич и будто не узнает пригожего молодца.

Потрескивает нагоревшая свеча, капая воск. От скудного света в углах гридни ткут серую паутину длинные тени. Не различишь ни венцов рубленых, ни узоров и колец медных на резных ларцах.

— Стань ближе, Ондрий!

Боярич ступил ближе, снова поклонился отцу.

— Полно, мечи поклоны перед святою «Премуд-

ростью», — произнес боярин, и глаза его потеплились на огонек «неугасимой». — Гляжу я на тебя, Ондрий, и дума мне в голову: женить бы впору, да не ко времени.

— Твоя воля, осударь-батюшка.

— Знаю, моя. Вырос ты молодец молодцом, а живешь без заботы. Пора, Ондрий, ума набираться. Нынче думаю пожаловать тебя: отпускаю на ратное дело.

— Осударь-батюшка!

— Отпускаю, Ондрий, — повторил боярин. — Велю тебе в завтрашний день ехать на Ладогу, к воеводе Семену Борисовичу. Друг мне Борисович, чаю, примет. Нынче же выбери в ружнице кольчугу, щит, чтобы по росту, меч острый, шелом... Спроси о том у Окула. Коня возьми и все, что надо... Понял мое слово?

— Понял, батюшка.

— Ну-ну... На деле велю тебе стоять крепко, выносливу быть в поле ратном; что бы ни сталось с тобою — не забывай — мы, Осмомысловичи, не жалели животов своих за святую Софию.

Склонив голову, слушал боярич наставление родителя. Свеча в железном подсвечнике оплыла и почти догорела.

— Спасибо, осударь-батюшка, за волю!

— Иди, Ондрий! Собирайся и отдыхай, поутру благословлю.

ГЛАВА 8

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Ночью Окул не спал. Было поздно, когда он, проводив боярина в опочивальню, пришел к себе, лег и до третьих петухов ворочался и вздыхал. Сам не знает, зачем оговорил он боярича. Добр и ласков к нему всегда был Андрейка. Крепок кряж, старый боярин, но два века он не протянет. Придет время — боярич останется господином в хоромах. Как-то взглянет он тогда на верного слугу? О встрече Андрейки с Ефросиньей Окул сказал боярину, не ожидая, что это обернется худом. Казалось, поругает Стефан Твердиславич боярича, поворчит, а может, посмеется только. Андрейка у него один.

Долгой показалась ночь и бояричу. «За что огневался батюшка?» — спрашивал себя; искал и не находил за собою вины...

Матушки своей не помнил Андрейка. В зыбке качался он, когда умерла боярыня. Перед смертью две недели томилась она в огневице. Андрейку вырастила старая нянька; и той давно не стало на свете. Но не забыл боярич, как нянька играла ему песни, сказывала складные сказки и побывальщины. Из всех нянькиных сказок и побывальщин Андрейка особенно любил «Сказание о Новгороде». Бывало, просит:

— Нянька, скажи, откуда пошел Новгород?

— Оттуда, откуда пошел, — смеется нянька беззубым ртом. Голос у нее ласковый; говорит она, будто теплою ладонью по голове гладит. — Сколько раз уж сказывала-то и — диви — не настыло.

— Скажи, нянька!

— Ладно, — соглашается она. — Закрой глазки, слушай!

Андрейка лежит тихо-тихо, не спит.

— В стародавние-давние времена, — начинает нянька, — стоял во те поры на славном на Волхове велик град, назывался тот град Словенском. Храброй и сильной народ жил в тоем городе. Любили словене и торг торговать, любили и в поле ходить; далеко, во все стороны, от моря до моря, славились они умельствами и силою богатырской. Поднялись как-то словене походом на края низовые, искать добычи и славы своей земле. Долог ли, короток ли был поход, но в ту пору напала на Словенск-град чудь белоглазая. Разорила чудь Словенск. Избы сожгли, мужей побили, молодых баб да чадушек малых увели в полон. Вернулись словене к Волхову, а там, на месте града их, черные головешки... Шумят репей да крапива. На другом берегу Волхова, насупротив старого города, срубили словене новый город и назвали его Нов-Город. А чудь словене повоевали.

— Словене-то откуда, нянька?

— О том не все пытано, а старые люди так сказывали, — начинается новая побывальщина. — Привели де словенский род от полуденных морей, от Истры-реки [1],

[1] Дунай.

двое больших воевод — Словен да Рус. Дальше шли бы словене, да река преградила путь; широкая она, быстрая. Переправились — кто конем, кто вплавь, — осмотрели себя: все племя цело, нет лишь младого богатыря Волхва, любимого сына Словенова. Подошел тогда воевода Словен к реке, черпнул пригоршней воды, испил и молвил: «Быть тебе, река, отныне рекою словенскою! Сына любимого ты взяла у меня, пусть его имя станет твоим; назовешься ты Волхов. На твоем берегу стоять граду нашему». Была у воеводы Словена дочь — Ильмерь прекрасная. Пошла она с подружками вверх по Волхову и увидела озеро. Широко и глубоко оно, как море. Синие волны бегут по нему, плещут белыми гребешками в зеленые берега. Назвали словене то озеро Ильмень, по имени Словеновой дочери. Воевода Рус срубил город на другой стороне озера, у родников соленых. Город назвали — Руса. Реки тамошние нарекли: одну по жене Русовой — Полиста, другую — по сестре его — Порусня.

...Промаялся Андрейка ночь в думах. Еле забрезжило утро, он уже на ногах. Пора!

Поклоном встретил Окул боярича. Глаза у старого ласковые, речь гладкая. Примерил Андрейка бехтерец мелкокольчатый, выбрал шелом и меч.

— Охти, свет ты мой, Ондрий Стефанович, — ахает, умиляется Окул. — Богатырь ты наш! Когда уж ты вырос, в силушку когда вошел? Я-то, худой, думаю: молоденец боларич, чадо малое; не доглядел, как зеленый дубочек вымахал, плечики богатырские расправил. То-то батюшка взглянет светлыми оченьками на ясного сокола, то-то возрадуется осударь-болярин.

И Андрейке любо взглянуть на себя. Горькое чувство и страх, что томили ночью, исчезли. Может быть, и впрямь не горевать надо, а спасибо душевное сказать родителю за волю? Хочется Андрейке в воинской справе пройти по городу; пусть видят люди, каков он. Не голубей гонять собрался, на ратное дело.

Андрейка сказал о своем желании Окулу, тот потакнул:

— Иди, соколик, покажись! В полудни благословит батюшка.

В броне, с мечом у пояса вышел Андрейка за ворота. Надолго расставаться ему с Новгородом, не в последний ли раз придется взглянуть на Волхов, пройти по Великому торгу?

Играет солнышко на зеленых шеломах церквей, распустили наст его золотые стрелы. У палисадов, вдоль тропок, кучи золы, свертышки бересты, щепа, уголь. На юру, у колодца, вытаяло старое решето с прорванным ситевом, кое-где, как вешки, торчат в снегу черные головни; вытаяли черепки битой посуды, все, что выброшено было зимой. Снег принимал, морозил, прятал. Под вешним солнцем разволгло мусорище.

С Пруской улицы Андрейка свернул к Гончарам. В Гончарах нет ни хором островерхих, ни расписных теремов. Тянутся посадом шатровые избы с прирубами, норки оконниц желтеют на солнце натянутым в них сухим бычьим пузырем. И дорога вдоль улицы не накатана. Колют небо длинные стрелы журавлей над колодцами, в подызбицах кричат петухи. Белыми стайками поднимаются вверх струи дыма, — точно на привязи держат они жилье.

За Гончарами — мост через Волхов. На том берегу Великий торг. Прошел Андрейка мимо лавок в торговых рядах. Супротив Нутной улицы, на Гулящей горке — шум. Глазеют люди на скоморошьи забавы. Андрейка набрел на то веселье, протолкался ближе.

— Круг шире!

Выбежал на средину ражий детинушка, остановился. Сбросив колпак, повязал на голову черный плат, ссутулился, как старушонка.

В келье старица лежит,
перед ней холоп стоит,
таки речи говорит:
— Уж ты, старица, встань,
ты, спасенная, встань, —
скоморошины идут,
всяки игры несут...

Эх! — пошел колесом по кругу.

— Уж и встать-то бы мне,
поплясать-то бы мне, —
стары ноги поразмять...

— Бес, право, бес!

Детинушка перевел дух.

— У кого серебро за пазухой — сыпь, не жалей! — крикнул он. — Скоморохи — люди веселые, на язык тароватые, на девиц красных, на молодушек-лебедушек глазастые...

— Братие!

На высокой клади у вымола показался тощий старик, в длинном — до пят — подряснике и скуфейке.

— Братие! — простирая вперед руки, надтреснуто завопил он. — Реку бо аз страха ради вашего. Возмятеся и возмутися весь град. Бубны и сопели, плескание и скакание, игрища непотребные... Изжените прочь бесов и гудение их! Сеют бо непотребцы плевелы и вонь греховную. Братие, да не зрят очи ваши наваждения сего, ни хребтов вихляния, ни ног скакания... Приидет судия судити, — гневно задребезжал голос старца, сжатые кулаки поднялись вверх: — зачтет он во грехи ваши мразь сию...

Толпа отшатнулась от скоморохов. Тот, что недавно изображал «старицу», кинул в сторону «обличителя» презрительный взгляд, проворчал:

— Скрипишь, старая луковица!

Посадский житель в сермяжной чуге, высокий как жердь, оглянулся вокруг, отступил и растерянно молвил:

— Старец Ена, с Перынь-богородицы... Накличет беду грешным.

Людская волна отбросила Андрейку к Готскому двору. Перед воротами, у частокола, ограждающего хоромы иноземных гостей, шумно, как на ярмарке. Статный молодец в распашной чуге вышел впереди всех, поднял руку и что-то крикнул. За шумом Андрейка не разобрал слов. Вдруг словно ветер подул:

— Тише! Дайте сказать Спиридоновичу! Говори, Василий! Бывал ты и в Висби и у свеев, молви за всех слово!

Когда шум притих, молодец приосанился, сдвинул на затылок куний колпак, сказал толпившимся у ворот иноземцам:

— Ольдермена, старосту вашего, желаем видеть.

Из ворот вышел плотный мужчина со светло-рыжей, мягкой и прямой, похожей на недолежалый лен, пышной бородой. Темная просторная одежда его отличалась от других серебряной цепью, знаком достоинства и богатства; колпак на голове — низкий и плоский сверху — заканчивался широкими полями, скрывающими верхнюю часть лица. Остановясь на расстоянии, какое приличествовало его высокому положению, он сказал:

— Иоганн Мундт, ольдермен Готского двора и ганзейских гостей. Чем вызвано недовольство ваше?

— Обманом, учиненным гостями из Любека, — резко сказал Спиридонович. — Продали они сукно сидельцам Великого ряда полукипами, в каждой по семнадцати кусков. На показ дано сукно ипское, а в кипах грубое, и мера кусков меньше указанной.

Ольдермен бесстрастно, точно речь Спиридоновича не касалась его, выслушал обвинение.

— Мы ведем торг честно, почтенный гость, — ответил он. — Продаем не кусками, а кипами и полукипами, как уставлено грамотами договорными Готского двора с Великим Новгородом. Наша ли вина в том, что в кипе нашелся кусок меньшей меры? Так бог судил. Что имелось в кипе, то и есть.

Замолчав, он поправил на груди цепь и плотно сжал губы. Потому лишь, что Спиридонович выше его на голову, ольдермен не смог взглянуть сверху вниз на новгородца.

— Не бог судил, а кто продал сукно, тот обманул, — возразил Спиридонович. Ветер распахнул полы его чуги, под нею Андрейка увидел красный кафтан с золотым поясом почетного гостя.

— Так ли, гость, — не согласился ольдермен. — Кто продал и кто купил не смотрели товар в кипе. Свое счастье у каждого.

— Бывает и счастье, — усмехнулся Спиридонович, не отступая перед иноземцем. — Намедни, близ масленицы, брали наши прасолы у свейских гостей рыбу соленую. Разбили бочки, а там наполовину рыба, наполовину потрохи рыбьи да головы. Звали мы тех гостей на торговый суд к тысяцкому. Велел суд за обман покрыть убытки прасолов и указал обманщику: не ходил бы он по три

лета со своим товаром к Великому Новгороду. И нынче — не решится спор подобру — позовем на суд.

— Где то сукно, нашим ли клеймом оно мечено? — понизив голос, спросил ольдермен.

— Есть и сукно и клейма на нем ваши... Покажи, Афанасий Ивкович, образец, по которому сукно брал, и то, подметное, что нашлось в кипах!

Афанасий Ивкович, сухой, с прищуренными глазами и проседью в бороде, опускавшейся на грудь клином, выдвинулся вперед, развернул сукно перед ольдерменом. Тот долго щупал, советовался с готскими гостями, вглядывался в клейма, будто не узнавая их.

— Не пойдем на торговый суд, почтенный гость, — вымолвил наконец. — Решим по-любовному, миром. Сколько в кипе кусков не той доброты и не той меры?

— Семь, — ответил Афанасий Ивкович.

— Сбавлю я цену на сукно, но и вам, гости новгородские, время бы сбавить цеку на лен и на воск. Брали мы у вас осенью по ряде меха черевьи, пять сороков, а среди черевьих дали нам четверть сотни лапчатых... Мы не ходили в торговый суд, срядились на том, что будет нам за ту прогаль — сколько лапчатых, столько же горностаев. Мы везем товар в Новгород морем, много везем, а вы, гости новгородские, не все, что есть у вас, нам даете, сами ходите с мехами и воском на ладьях на Готланд, в Висби. Мы торговые пошлины даем Новгороду, а прибыли берем мало. Все, чем торгуете вы, примем в Новгороде, по хорошей цене. Наши гости на море живут, привыкли к морю, а вам... Зачем вам ходить на ладьях? Море наше бурное. Разобьет буря ладью, погибнет товар.

— Наши ладьи не страшатся бури, — поняв хитрость ольдермена, сказал Спиридонович. — Не будет честного торга на Готском дворе — не возьмем ваш товар; сами пойдем в Висби, и в Любек, и в франкские города.

Время к полудню. Слушал бы Андрейка спор новгородских торговых гостей с иноземцами, да ждет небось батюшка. Может, и конь оседлан и припасы приторочены. Далеко Ладога, не сладкая жизнь ждет там. Жаль молодцу покидать Новгород. В дорогу нынче... Где-то приведется ему скоротать ночь?

ВОЕВОДА РАТМИР

Тихо в княжем тереме. От свечей, что горели ночью, пахнет в покоях топленым воском. Пройдет ближняя девушка... Осторожно, так, чтобы не скрипнула половичка, и снова тихо. Галки и те не хлопочут над крышами, не горланят, как прежде; словно чуют — не до них.

Только воевода Ратмир нет-нет да и нарушит тишину. И дома, как на ратном поле, никто не видал его без кольчуги.

Явится в терем — беда! Евпраксеюшка, старая мамка, которую привезла княгиня с собою из Полоцка, заслышав Ратмира, издали семенит навстречу.

— Осподи, бурелом-от! Князюшка в хвори мается, а ты ну-ка! В железáх вошел, в сбруе... Поопасился бы!

— Не учи, старая! — отмолвится Ратмир, но Евпраксеюшка чем дальше, тем грознее ворчит.

— Куда уж мне учить, — начинает она, поправляя на голове каптур. Руки у нее желтые, сморщенные. — Рад конем въехать в терем.

В первые дни, как привезли его с Шелони, князь Александр не вставал с перины. Припарки ему ставили, чистовым настоем поили, дурную кровь открывали. И не диво — лесной лохматый боярин «приласкал» витязя, содрал кожу с плеча на плечо, руку помял.

Утром нынче выпил Александр квасу грушевого, подслащенного сотовым медом, поел лукового пирога и тертой ряби, потом задремал. Княгиня Прасковья Брячиславовна села у изголовья с рукодельем бабским. Рукоделье ее — шитье серебром по белой паволоке. Инеем ложится хитрый узор. Но не столько шьет она, сколько смотрит в лицо сонному. Исхудал Александр. На щеках кровь чуть-чуть играет краской. На лбу, на висках, сквозь тонкую кожу просвечивают голубые жилки.

На шее у княгини жемчуг низаный, батюшкин дар; каждое зерно в орех — цены нет тому жемчугу. Искрится он поверх летника, отливает розовыми огоньками. Давно княгиня передумала все ближние думки. Год скоро, как она замужем, а живет не своею думой — слушает, что скажет мамка. Укорял ее в том Александр, и самой не

хочется так-то, но правду сказывают: старые дрожжи живучи. Зимой собиралась княгиня в Полоцк к батюшке, князю Брячиславу, Александр отговорил ее, сказал: настанет великий пост, сам провожу. Но вот уж и пост к концу, снега тают, а в Полоцк не собрались. Поехал Александр Ярославич смотреть городки на Шелони, а вернулся в Новгород — прибавил горя.

— Ой, кто там?

В тишине хором каждый звук как в колоколе.

Княгиня вскочила, хотела сказать, чтобы унялись, но шум разбудил Александра.

— Параша! — позвал он.

Приподнялся на локте, смотрит в лицо ей. Не разберет княгиня, что у него в глазах, ласка или упрек.

— Останься, не ходи!

Взял ее руку. Взгляд совсем как прежде. Притянул к себе, шепчет:

— Молви что-нибудь!

Радостно забилось сердце. Склонилась к нему, спросила:

— Больно тебе?

Не ответил. Пристально смотрит в лицо. От жаркого взгляда его княгиня покраснела.

— Может, сбитню выпьешь? — сказала и знает сама, не этих слов ждет он.

— Не надо...

Руки его крепче обвили тонкий стан Прасковьи Брячиславовны. Словно жаркий град упал на нее: Александр целует уста, очи... Летник у княгини распахнулся, косы развились и осыпали теплой, душистой волной плечи.

— Милый мой!..

И смеяться хочется ей и плакать от счастья.

— Параша, там воевода Ратмир, — отпустив ее, сказал Александр. — Позови!

— Что ты, как можно! — смутилась и запахнула летник.

— Слово молвить надобно.

— Мамка не пустит, — не в силах противиться его просьбе, попыталась отговориться.

— Ты не спрашивай, ты княгиня...

В рубахе из тонкого льняного холста, украшенной красными мережками и шитьем, перетянутой в талии

серебряным поясом, Александр сидит на лавке у стола. В слюдяную оконницу струится солнечный свет. Напротив Александра Ратмир. Витязь снял шелом, но, как бы не желая расстаться с ним, держит его на коленях. Брови воеводы нахмурены. Кажется, хочет он в беседе с князем сказать о чем-то ином, более важном и необходимом, чем разговоры о погоде, о здоровье, об играх дружиничьих.

— Таишься ты, Ратмир, — прерывая воеводу, недовольно промолвил Александр. — Не все сказываешь.

— Что мыслю, то и сказываю.

— Так ли? — взгляд Александра, устремленный на воеводу, стал еще пристальнее и пытливее. — Давно не слыхал я о том, что говорят люди, как живет Великий Новгород, о чем дальние вести слышно?

— Недужишь ты, княже, впору ли вспоминать о вестях?

— Впору. Я здоров, а ты, как старая мамка, ворчишь о хвори, — сморщив переносье, произнес Александр насмешливо. — Ей пристало так-то, а тебе ладно ли? Как бы ни горька весть — не склоню головы.

— Не хвались, Александр Ярославич, — возразил Ратмир. — Хворь страшнее врага.

— Случись с тобой то, что со мною, стал бы ты валяться в горнице, как пухлая болярыня?

— Может, стал бы.

— Не верю. Не твою речь слышу, воевода. Сказываешь чужую, как ученый ворон...

Кровь прилила к лицу Ратмира. Он промолчал, принялся лишь тереть рукавом чело шелома, словно поблазнило там ржавое пятнышко. Бросив обидное слово, Александр пожалел, что не сдержал себя. Он знал прямой и открытый характер Ратмира, любил и уважал старого воеводу. У Ратмира Александр учился мужеству и доблести ратной. Наставник и близкий друг ему витязь. Во многих походах бывал Ратмир, во многих битвах рубился он с врагами Руси. Дед Александра, великий князь Всеволод, отличал витязя, отец Александра, князь Ярослав, называет Ратмира своим другом.

— Не гневайся, Ратмир, на то, что молвил тебе, — нарушив молчание, снова заговорил Александр. — Не ты ли учил меня не скрывать от друзей правды? Не хочешь

о большом молвить, пусть будет так, как ты хочешь, но открой малое: что сталось с тем молодцом, который в Шелонских борах поразил зверя?

— Там он, где и жил.

— Звал ты его на Новгород?

— Звал. Может, правду, может, не всю чистую, но займищанин, у которого ждали мы возок из городка, сказывал: от болярского холопства ушел молодец. А за кого бился он со зверем — не ведает; и займищанину не открыл я твоего имени.

Слова Ратмира напомнили Александру ясный солнечный день, снежную полянку в зеленом ожерелье молодых елочек, сугроб, белым шатром покрывший валежину. Вывалился из логовища зверь, отряхнулся... Зло рыча, напал... Сломал ратовище рогатины. Не случись близко молодца или испугайся он, опоздай на миг к зверю — не сказать, чем кончился бы поединок. Как сейчас перед глазами Александра: стоит молодец по колено в снегу и словно бы оробел того, что поразил зверя. Это пришлось по душе Александру. «Скромен, а скромность сестра храбрости», — подумал. Не спрашивая, кто он, позвал молодца в Новгород. «Поступиться ли теперь своим словом?» Александр взглянул на воеводу, сказал ему о том, что думал.

— В том, что сказано тобою, нет худа, Александр Ярославич, — молвил Ратмир. — И нужды нет тебе рушить слово. Возьмет молодец клятву перед стягом дружины, добрым отроком будет. А что до того, кем был он, не станем судить. И великий Всеволод и батюшка твой, князь Ярослав, не раз, бывало, брали в дружину из меньших. Не родом и не вотчинами хвалятся дружинники, а мужеством и доблестью в битвах. А поднимут грай вотчинники, с ними и поспорить не грех. Не пора ли вспомнить...

Сказав это, воевода умолк, будто не найдя нужных слов.

— О чем велишь вспомнить, Ратмир? — спросил Александр.

— Не хотелось мне тревожить тебя, Александр Ярославич, горькой речью, да ее не удержишь. Много зла сведал ты от болярства вотчинного, от тех, что сидят в

совете господ, чьи вотчины обширнее и богаче иных княжений удельных. Не люб ты вотчинникам.

— Ведаю о том.

— Не все ведаешь, Александр Ярославич. Худые толки идут от верхних: пусть-де князь Александр берет ряду, какую укажет Новгород, а не возьмет — другого поищем князя.

Опираясь о стол, Александр медленно поднялся, прошел в дальний угол горницы и долго, точно впервые видел их, смотрел на чудные изразцы, украшающие гладкий выступ печи. Изразцы привезены из Киева, изделие они тамошних мастеров. Давно, двенадцатый год шел тогда Александру, жили они в Новгороде с покойным братом Федей и матерью, княгиней Федосьей Мстиславовной. Княжие бояре — Федор Данилович и Ратмир — правили княжее дело. В ту пору начали шум верхние бояре-вотчинники. «Поруганы суздальским Ярославом вольности новгородские, — говорили в хоромах, на папертях церковных, в совете господ. — Своею волей поставил Ярослав в Новгороде своих сыновей, а кто они? Малолетки. Стерпим волю Ярослава — наденем на себя суздальское ярмо». Поверили новгородцы наветам, с оружием пошли на друга княжего, тысяцкого Вячеслава, разграбили его двор. Посадили тысяцким боярина Нигоцевича, Бориса Олельковича. «Не любы суздальцы Великому Новгороду!» — орали на вече горячие головы. Послы совета господ пришли в Переяславль к Ярославу и сказали: «Ты, князь наш, не рушь клятвы, княжи на всей воле нашей; или — ты по себе, а мы по себе». Княжичи Федор и Александр, вместе с матерью и дружиной, перед самой распутицей, ночью бежали из Новгорода к отцу.

Совет господ не искал мира с Ярославом. Новгородские послы ушли в Чернигов, звать на княжение в Новгород Михаила Черниговского.

Ярослав выступил с войском. Он сел в Торжке и остановил хлебные обозы, которые шли к Новгороду из низовых земель. Верхние не познали голода, а среди меньших людей, ремесленных и иных, начался голодный мор. Горько поплатились новгородцы за то, что поверили наветам вотчинников. Голод и страх осады заставил их схватиться за топоры. Поднялись против верхних, взяли

«на поток» хоромы посадника Вовзы Твердиславича, а самого Вовзу приволокли на Великий мост и свергли в Волхов. Горели бы хоромы и других бояр, если б владыка с попами, с хоругвями и в облачении не вышел из Детинца. Затихло буйство. Чтобы защитить себя и хоромы свои, положили верхние искать мира с Ярославом. Отправились в Торжок послы совета господ с повинной грамотой. Ярослав принял повинную, открыл путь хлебным обозам. Сам он не поехал в Новгород; на княжение новгородское, как и было, посадил сыновей своих.

— Другой князь люб Новгороду, — вернувшись к Ратмиру, промолвил Александр. — Забылась память о том, что было при Вовзе и Борисе Олельковиче?

— Память свежа, не забылась, Александр Ярославич, но время стало иное, — ответил Ратмир. — Силу свою чуют верхние. Суздальская земля разорена Ордой, князь Ярослав не соберет войско, не выступит противу Новгорода; на то надеются вотчинники. Закроем-де криком о поруганных вольностях новгородских глаза меньшим людям, поднимем их против князя. Александр горд, не покорится, уйдет в Переяславль. А не станет сильного князя в Новгороде, тогда вся воля будет верхним.

— Что делать, Ратмир? Ждать боя или миром велишь решить? — спросил Александр.

— Не боем, мудрой волей утверждается княжая власть, Александр Ярославич, — подумав, прежде чем ответить, сказал Ратмир. — Не то зло, что вотчинники в совете господ ищут распри с князем, а то зло, что этой распрей откола ищут они от Руси. Быть ли Руси единой, под стягом великого князя? И дед твой и прадед, возвышая княжую власть в земле Суздальской, ломали силу вотчинного боярства в старых городах — Ростове Великом и Суздале. В мире с городовыми людьми и сельными шли против вотчинников, тому и у нас быть...

Ратмир внезапно умолк. В приоткрывшейся двери показался черный каптур Евпраксеюшки. Мамка выплыла в горницу и всплеснула руками.

— Долго ли будешь, воевода, сказки свои рассказывать? — подступила она к Ратмиру. — Просила, толковала — не тревожь хворого, а тебе горя нет.

На лице воеводы отразились растерянность и виноватая беспомощность. Появление мамки и то, что Рат-

мир отступил перед нею, развеселило Александра; он не выдержал, засмеялся. Евпраксеюшка отшатнулась в испуге.

— Не бранись, мамка, — сквозь смех, с трудом вымолвил Александр. — Не вини воеводу. Он сказал мне то, что знать надобно. И хвори у меня больше нет.

— Слава тебе, осподи! — подперев рукой щеку и покачивая из стороны в сторону каптур, заговорила Евпраксеюшка. — И не хвор, и боек, и на ножки резвые встал... Смутил-то он чем? — Евпраксеюшка обожгла взглядом Ратмира. — Пусть-ко идет из терема!

Не начинать же при князе ссору с упрямой мамкой. Ратмир взглянул на Александра, молча развел руками: «Не вини, мол, княже, ухожу».

ГЛАВА 10

ГОЛУБИНАЯ ВЕЖА

О старшем брате Федоре у Александра осталось воспоминание, как о тихом, задумчивом юноше. Федор рос серьезным не по летам, но в играх и в учении он уступал меньшому брату. Лицом Федор был похож на мать, княгиню Федосью Мстиславовну; от нее же унаследовал он и свой кроткий характер. Александр лицом напоминал отца, а характером — деда своего, князя Всеволода Юрьевича. Горячий, настойчивый во всем, за что бы ни брался, Александр оказывался заправилой всех игр и затей, чем постоянно огорчал мать. Много раз он давал себе слово быть таким же послушным, как Федя. Пока не выбегал на улицу — терпел, сдерживал себя, а на улице забывал обещание; возвращался домой исцарапанный, в разорванной рубахе. Дома он, сознавая горечь того, что сделал, покорно выслушивал упреки и наставления матери.

Федя не любил военных игр, которые затевал Александр, охотнее проводил время на голубиной веже. Книжное учение давалось Александру легко. В двенадцать лет он бойко читал псалтырь и октоих; Федя подолгу зубрил церковные песнопения, прежде чем запоминал их, — Александр повторял их будто не уча. В од-

ном он уступал брату — Федя лучше его водил голубей. Это Александр признавал и во всем, что касалось голубей, слушался его советов.

Когда Федя поднимался на голубиную вежу над крышею терема, голуби садились к нему на плечи, на голову, клевали с его ладоней зерно. Втайне Александр огорчался тем, что с ним голуби вели себя осторожнее. Случилось как-то — голубь опустился к нему на плечо; Александр поймал птицу, прижал к себе и, лаская, погладил.

— Не трогай голубка́, Сано! — воскликнул Федя, увидев, что делает брат. — Отпусти!

Александр отпустил голубя, но все же спросил:

— И погладить нельзя?

— Нет. Захиреет он.

Александр знал все грачиные и вороньи гнезда вокруг Городища, где жил летами княжий двор, знал, в каком гнезде сколько яиц, из всех ли вылупились птенцы; наблюдал, как росли птенцы, оперялись, как из некрасивых, голых и желторотых становились похожими на взрослых птиц. На голубиной веже, повинуясь Феде, он не трогал гнезд. Гаврилка, сын дворского Олексы, сказал как-то, что яйца в голубиных гнездах похожи на галочьи. Александр не поверил. Весь день он не поднимался на вежу, но вечером, когда там не было Феди, не утерпел, заглянул. Гаврилка сказал правду. В голубином гнезде все было так же просто, как и в гнездах других птиц.

Каждую неделю Федя и Александр вместе с матерью ходили в Десятинный монастырь. Ходили туда пешком. Княгиню и княжичей сопровождал ближний боярин Федор Данилович. Он славился на весь Новгород своей бородой. Густая она у него, черная, с серебряными слоечками. Александр в те годы завидовал Феде, воспитателем и наставником которого был боярин Федор. Наставник Александра воевода Ратмир Всеславич бороду брил. Никто в Новгороде не видал его ни в шубе, ни охобне — воевода всегда ходил в железной кольчуге.

В монастыре Александру нравилось, как сестры-монахини кланялись его матери. За левым клиросом, где обычно становилась княгиня, расстилали на каменном полу червонный коврик. Сестры-монахини Федю и

Александра ласково называли «ангельчиками». Это забавляло Александра. Но почему у него, хотя ему постоянно твердили о сходстве с отцом, волосы мягкие и светлые, как у матери, а у Феди, похожего на мать, волосы темные, как у отца? Глаза у Феди тоже отцовские, темные, у Александра материны — голубые.

— Федя не ангельчик, — не вытерпев, сказал однажды Александр матери, когда они были в Десятинном.

— О чем ты? — спросила она, не поняв сына. — Федя добрый, хороший.

— Не ангельчик, — насупясь, упрямо повторил Александр. — У ангельчиков волосы светлые.

Мать смутилась, но не стала разуверять Александра, она только сказала:

— Глупый ты. Молись, бог сделает тебя хорошим и умным.

Александр последовал совету, но только начал молиться, внимание его привлекло пение клирошанок. Он заслушался и забыл о том, что без молитвы бог не даст ему ума. А зачем монахини ходят в черных одеждах? Мать, когда идет в монастырь, тоже одевается в черное. Так, должно быть, угоднее богу, — решил он. И что так угоднее — Александру не понравилось. Он любил все светлое и яркое. Снова стал слушать клирошанок. Голоса их звучали стройно и проникновенно. Покосился на Федю, заметил, что тот слушает пение, закрыв глаза. Александр поступил так же, но с закрытыми глазами ничего не видно вокруг, не видно и тоненькой, как тростинка, черноглазой девочки, которая стоит на клиросе; голос ее Александр отличал среди голосов других. По тому, как она, оглядываясь, смотрела на него, Александру казалось, маленькая клирошанка рада его приходу в Десятинный.

Как-то зимой после обедни княгиня разговаривала с подошедшей к ней игуменьей. Ожидая мать, Александр равнодушно смотрел на послушниц, гасивших свечи и лампады на кандилах. Церковь почти опустела. От запаха ладана, от спертого, пахнущего сыростью воздуха кружилась голова. Александру хотелось скорее выйти на улицу, где под ногами поскрипывает морозный снег, деревья и даже каменные монастырские церкви сверкают

белым, инеем. Вдруг кто-то сзади тронул его. Александр оглянулся. Она! Увидев клирошанку, одно мгновение Александр стоял неподвижно. Придя в себя, протянул ей руку. Почувствовал — рука у нее холодная и чуть-чуть вздрагивает.

— Как тебя зовут? — спросил Александр.

— Манефа, — ответила она еле слышно.

Подобное имя он слышал впервые. Издали клирошанка казалась ему высокой, чуть ли даже не выше его, а теперь, когда стояла рядом, она еле достигала его плеча.

— Ты ходишь на гору, за Гончары? — спросил он.

— На какую?

— Где катаются на ледянках.

— Нет, нельзя мне.

— Почему? — удивился Александр. Он не представлял себе, как можно зимой не ходить на снежную гору.

— Матушка не пустит, — сказала клирошанка и взглянула на стоявшую неподалеку игуменью.

— Не пустит?! А ты не спрашивай, приходи! Высокая-высокая там гора.

— Манефа! — неожиданно раздался громкий и резкий голос игуменьи. — Иди в мою келию!

Александр взглянул на игуменью, потом на мать. Та стояла рядом с черной старухой и укоризненно смотрела на него. Клирошанка исчезла. Игуменья что-то говорила, обращаясь к нему. Александр не слушал. Строгий голос старухи раздражал его. Он не понимал причины ее гнева на клирошанку, которая так смешно краснела, разговаривая с ним. Выпрямившись, он быстрыми, решительными шагами вышел из церкви.

— Сано! — окликнул его Федя. Александр не оглянулся. За оградой он дождался, пока из церкви выйдет мать. Всю дорогу молчал, а дома ушел в свою горницу и до вечера просидел там в одиночестве. Ни в тот день, ни позже мать не заговаривала с ним о происшествии в Десятинном, но в следующий раз, отправляясь на богомолье, взяла с собой одного Федю.

Наступила весна. Волхов отшумел половодьем. Однажды, когда Александр был один, в горницу к нему пришел Ратмир. Воевода посмеялся над Александром,

над тем, что сидит он в горнице, словно страшится весны, а потом сказал:

— Весна для поля пора добрая, не пора ли и нам делом заняться, княже. Весточка у меня есть — волчий выводок гуляет в угодьях, недалеко от Шелони. Обложим тот выводок, тетерь да куропаток половим перевесищами, а в подарок матушке-княгине добудем окорочек кабаний.

Глаза Александра зажглись радостью. Он верил и не верил тому, что открыл Ратмир. Александр бывал в поле, но только на ловищах перевесищами, а нынче Ратмир сказал и о волках и о кабанчике. Александр молча смотрел на воеводу, в груди росло чувство уважения и нежности к своему наставнику. «Данилович не скажет такое Феде», — подумал.

— А матушка... Не отпустит на волков, — спохватясь, растерянно пробормотал он.

— Княгиня-матушка просила взять тебя в поле, — успокоил его Ратмир. — Пора, сказала, привыкать к походам. В охоте на зверя, как на брани, храбрость нужна витязю, ловкость и сметливость.

— Когда выедем? — с трудом сдерживая рвущуюся наружу радость, как можно спокойнее спросил Александр.

— Послезавтра соберем поезд.

Послезавтра!.. Александр готов был рассердиться на воеводу за медлительность сборов. Шутка ли, ожидать две ночи! Ратмир, как бы не замечая его нетерпения, говорит о том, что надо припасти с собою в путь.

— А Федя... Пойдет с нами? — вспомнил Александр о старшем брате.

Спросил и ждет, что скажет Ратмир. Как Александр ни любил брата и никогда, ни в тайных, ни в явных думах, не желал ему зла, все же сегодня хотелось бы знать, что его, а не Федю, отпустила матушка с ватагой ловцов. В этом, казалось ему, было признание того, что он витязь. Услышав, что Феде недужится, что он остается в Новгороде, Александр еще больше повеселел. Теперь он готов был простить воеводе его долгие сборы.

— Яков Полочанин с нами? — спросил о ловчем княжего двора.

— Яков готовит ловецкую снасть.
— А Гаврилка? — вспомнил о своем друге.
— Пусть и Гаврилка, — согласился Ратмир.

Александру не удалось взять волка, но он стоял с копьем в поле, видел зверя, когда тот бился и щелкал зубами, запутавшись в тенетах; видел, как Полочанин ударил волка ножом и усыпил. Александр вместе с ловцами ел у костра на берегу Шелони уху и жаренную на березовой спице, пахнущую дымком тетерю; спал на войлоке, раскинутом на земле, слушал рассказы о давних походах... Было так хорошо в поле, что не хотелось возвращаться на княжий двор. Перед отъездом в Новгород воевода Ратмир затеял игру: кто дальше и метче бросит копье. Александр и Гаврилка бросали копья, натягивали лук и пускали стрелу. Ратмир учил их, как копье брать, как с разбегу метнуть его, как стрелу целить. Лицо у Александра потемнело и огрубело от солнца. На пути он косил взглядом на ехавшего рядом с ним воеводу и, что ни делал тот, старался во всем ему подражать.

В Новгороде, в княжих хоромах — горе. Пока гуляли ловцы на Шелонских угодьях — умер Федя. Весть о смерти брата до того поразила Александра, что он долго не мог поверить, что Федя, тихий, ласковый и любимый брат, лежит в гробу на столе в большой гридне. Запах ладана и еловых веток, разбросанных на полу, казался чужим. Монахиня из Десятинного, которая гнусаво и нараспев тянет слова псалмов, олицетворяла сейчас самую страшную гостью, когда-либо посещавшую княжий двор. Александр видел, как плакала мать, плакали все дворские, ближние и сенные; черная борода Федора Даниловича стала как будто реже, спуталась, и почему-то Александру ясно запомнилось: в бороде у Даниловича торчала невесть как застрявшая в ней золотистая соломинка.

Александр готов был тоже плакать, но мысли его никак не сосредоточивались безраздельно на великом ощущении горя. Он думал о живом Феде, вспоминал его голос, глаза... Что теперь делать с Фединими голубями? Александр, как в тумане, бродил по терему; он

избегал оставаться в одиночестве (одному становилось страшно). Во время похорон Александр стоял рядом с матерью, слушал рыдающие песнопения, но даже не взглянул вокруг. Как будто со смертью брата в душе умерло все старое, все, чем Александр жил до сих пор. Он почувствовал себя старше, думал и верил своим думам, что будет теперь суровым и жестоким, никто не увидит больше улыбки на его лице.

На другой день после похорон Александр поднялся на голубиную вежу, махнул на голубей. И когда те закружились в воздухе, полет их острее и глубже всего напомнил об умершем брате. И тут, среди птиц, Александр заплакал. Горько и больно плакал он, но, кроме голубей, никто не видел его слабости. Осушив глаза, спустился вниз, там разыскал Гаврилку, сурово и строго сказал ему:

— Возьми себе Фединых голубей, Гаврилка! Владей.

Щедрость Александра до того поразила Гаврилку, что он с изумлением уставился на княжича.

— Не время мне играть голубями, — еще строже произнес Александр. — Бери!

ГЛАВА 11

ЧЕРНЕЦ-КНИЖНИК

В запыленной от долгого пути черной одежде монаха он так ловко сидел в седле, будто всю жизнь не расставался с конем. Дворские с любопытством рассматривали необычного гонца.

На крыльце появился боярин Федор Данилович. Гонец сошел с коня и, держа его в поводу, приблизился к боярину.

— Из каких мест, с какою вестью прибыл ты в Новгород, отче? — спросил Данилович.

— По указу князя Ярослава Всеволодовича, с грамотою его, — ответил гонец.

Боярин велел отрокам взять у чернеца коня, а самого позвал в хоромы.

Александр находился у себя в горнице. Горе его еще

не улеглось. Он не хотел думать о смерти Феди и потому мучительнее и тяжелее переживал утрату.

Занятый невеселыми думами, Александр не слыхал, как в горницу вбежал Гаврилка.

— Гонец... — запыхавшись, выпалил он. — Из Переяславля.

— Что ты мо́лвил? — переспросил Алекса́ндр.

— Из Переяславля, от князя... Чудной!.. Чернец, а на коне. Велик, чуть не со звонницу, и борода как деготь...

— От батюшки? — перебил Александр. Он оживился. От волнения порозовели щеки.

Должно быть, Гаврилка где-то замешкался, опоздал вовремя принести весть, или матушка отложила на завтра разговор с гонцом, но когда Александр — возбужденный, раскрасневшийся — влетел в светлицу матери, там кроме нее находился лишь боярин Федор Данилович. Он читал княгине вслух батюшкино послание.

— «Чернец тот зело учен книжной премудрости, — услыхал Александр голос боярина. — Разумеет он речь и письмо греческое и латинское. Сам бывал в тех заморских, чужих землях; ведает искусство и хитрости ремесла. Поставь его в учители Олександру. Пора сыну нашему разуметь в совершенстве учение книжное, греческое писание и латынь...»

— Не хочу латыни! — не стерпев, крикнул Александр, перебивая боярина.

Княгиня строго взглянула на сына. Она как будто удивилась внезапному появлению его в светлице. Сделав знак боярину, чтобы тот помолчал, сказала:

— Юн ты, Александр, судить указ родителя. Чернец, что прибыл сегодня, будет твоим наставником, с тем и послан он в Новгород. Не о своей, о твоей пользе печется батюшка.

— Князь Ярослав пишет, что осенью будет он в Новгороде, — напомнил Федор Данилович.

Весть, что батюшка указал учиться латыни, глубоко раздосадовала Александра, но он не посмел спорить, — батюшкин указ непреложен.

Вечером, в сопровождении боярина Федора, в горницу Александра вошел монах. В дверях он ударился головою о притолоку и при этом так забавно склонился,

что Александр не мог удержать смех. Казалось бы, монах смутится своей неловкости, но он, ничуть не обескураженный, расхохотался вслед за Александром громко и раскатисто.

— Низки двери рубят в Новгороде, не по мне, — промолвил он. — Не обессудь, Ярославич, — просто назвал он Александра. — Притолока пострадала, но, зрю, уцелела. О том, кто я, скажет тебе болярин.

Александр не мог бы объяснить почему, но появление монаха не удивило его и не испугало. Длиннополый книжник внес с собой столько здоровья, силы, непринужденной искренности, что Александр забыл о латыни, которой должен учиться у него. В представлении юноши ученый книжник рисовался благообразным старцем с пышною белой бородой; говорить он должен мягко и ласково, переступать медленно и держать в руке посох; а книжник, пришедший с Даниловичем, не похож на старца. Ни одного седого волоса не белеет в его бороде; в том, что он говорил и как вел себя, тоже ничто не напоминало о строгостях иноческой жизни и благообразии мудреца.

— Отче Макарий прибыл в Новгород Великий по указу князя Ярослава, батюшки твоего, Александр Ярославич, — размеренно, не спеша произнося слова, начал Федор Данилович. — Избран он князем Ярославом в наставники книжные. Пишет князь, что ждет от тебя прилежания высокого и охоты к учению примерной.

Александр выслушал наставление. Почему-то казалось, что чернец не будет строгим учителем, что он прост... Черные одежды монаха не погасили в нем веселого нрава.

Родина Макария — Суздаль. В ранней юности, оставшись сиротою, нашел он приют в монастыре, где научился книжному чтению и искусству иконописи. Приняв монашество, он, по желанию игумена, трудился над росписью стен строившегося на месте разобранной по древности церкви Рождества нового собора. Там он увидел хитрое искусство суздальских мастеров-камнерезов. Увлекшись новым для него ремеслом, Макарий стремился постичь его. Ничто не мешало юноше стать искусным мастером, но игумен монастыря, сугубо приверженный византийскому укладу, увидев каменное изображе-

ние праведника, сделанное Макарием, обвинил чернеца в том, что искусство его воскрешает память о «старых богах», исходит от язычества; что оно есть искусство еретика, неугодное церкви. В гневе игумен изгнал Макария из монастыря, и это спасло чернеца от церковного суда. Макарий ушел в Киев. В киевских монастырях от монахов-греков он перенял греческую речь и письмо. За Макарием начала утверждаться слава книжника и искусника иконописания. Он мог наслаждаться покоем. Но не о тишине монастырской келии задумывался неспокойный чернец. Он стремился глубже познать тайны искусства греческих мастеров, услышать мудрых книжников патриаршего двора. Движимый этими желаниями, Макарий ушел из Киева.

Совершив длительное и опасное путешествие сушей и морем, Макарий увидел Византию, но не нашел там, чего искал. Двор византийского патриарха находился в Никее. Захваченная латинскими крестоносцами, Византия оказалась главным городом Латинской империи. В Византии Макарий был дружески принят латинскими монахами. Не мало сил положили они, чтобы расположить к католичеству чернеца-русича, искусного в книжном чтении и ремесле. Общаясь с латинскими монахами, Макарий постиг латинскую речь. Но ни лесть, ни обещания высокого духовного сана не сломили его упрямого характера. Он не мог примириться с тем, что унижало в нем русича. После двухлетнего пребывания в Византии Макарий отправился в Никею.

В Никее Макарий поселился в патриаршем монастыре, где совершенствовал познания свои в греческом чтении. И то, что узнал он, не утолило его жажды.

В Византии, когда Макарий жил там, латинские книжники гордились перед ним могуществом римской церкви. «Рим — колыбель знаний и мудрости», — говорили они. После нескольких лет жизни в Никее Макарий не выдержал — оставил патриарший монастырь. На корабле торговых гостей, шедшем в Рим, отплыл туда.

Ни слова мудрого книжника, ни то, что познал он в своих странствиях, не изменили душевных влечений чернеца и его упрямого, независимого характера. Обогатясь знаниями, он остался русичем. Кажется, теперь сильнее, чем в юности, полюбил он обычаи, искусства и язык

сродичей. Он гордился и радовался тому, что в Византии и Риме не все могло сравниться с тем, что есть на Руси, что составляет богатство городов русских. Своими путями идут и Киев и Владимир, Новгород и Смоленск, но их объединяет преданность обычаям, своему языку, тому, что выше рубежей удельных княжений, что выражается одним радостным словом — Русь.

Пройдя через земли немецкие и угорские[1], Макарий вернулся во Владимир. К горечи своей, при дворе митрополита-грека ученый чернец не встретил того, что давало ему силы терпеть нужду и лишения в скитаниях своих на Востоке и Западе.

Среди книжников, окружавших стол митрополита, Макарий нашел пренебрежение к Руси. Ему показалось, что вся мудрость митрополичьих книжников направлена к тому, чтобы гасить проблески жизненности в иконописании и других искусствах. Все то, что в книжном искусстве было присуще русской речи, той, какою сложилась она, какою общались люди друг с другом и которую понимали, то, что отражало величие и обычаи предков, вносило в искусства образ и облик русский, — все это митрополичьи книжники полагали языческим и греховным, противным церкви.

Владыка Леонтий, епископ Ростова Великого, благословил Макария наблюдать строительство и роспись стен возводимой в Ростове соборной церкви Успения. Макарий исправил чертежи церкви, получившие митрополичье благословение; владыка Леонтий одобрил начинание чернеца. С вдохновенной радостью трудился Макарий, но дело, начатое им, оборвалось.

В Ростов прибыл митрополичий монах Феогност, родом грек, человек непомерной заносчивости и упрямства. Сделанное Макарием привело его в неистовство. Феогност потребовал изгнания еретика из собора. Епископ Леонтий удалил Макария в Авраамиев монастырь, где чернец и жил под строгим присмотром, в бездействии.

И случилось, что в эти дни Ростов посетил князь Ярослав Всеволодович. В беседе с ним епископ Леонтий упомянул о судьбе искусного чернеца.

— За ересь и нарушение митрополичьего благослове-

[1] Угры — венгры.

— Не заблуждаюсь я, княже. Не славы ищу себе, а делаю то, что нужно по разумению моему.

— Упрям, — как бы размышляя с собою, промолвил Ярослав. — По роду своему чей ты и откуда?

— Из Суздаля, княже. Родитель мой пономарем был в соборе у Рождества.

— Где постиг науку книжную, ремесло свое и искусство?

— Ходил по земле, по Руси и по чужим краям.

— За время хождения своего далеко ли побывал и в каких землях?

— Во многих, княже. В Рязани был, в Чернигове, Северской земле и Киеве. После видел Византию и Никею; видел Рим и иные города. В восточных монастырях познал греческое письмо, у латинских монахов в Византии и Риме сведал латынь...

— Олатынился? — перебил чернеца Ярослав. — Почто нужна тебе латынь?

— Не мне нужна, княже, — точно упрекая князя, строго произнес Макарий. — Мне нужен хлеб и ковш воды. Чтобы блюсти Русь, язык и обычаи наши, надо знать чужие языки и обычаи. Мудрость Востока и Рима не заглушили во мне любви к отчизне. Ни на Западе, ни на Востоке не нашел я земли краше Руси. Ни гнев владыки-митрополита, ни опала, ни заточение, ни более тяжкое наказание, кое мне предстоит, не заставят меня поступиться моей верой. Кару за то, во что верую, приму с радостью. Иным, чем тот, какой есть, не стану.

— Пусть так, — промолвил Ярослав. — Но истинным ли путем идешь ты? Тебе предстоит суд церковный, заточение в монастыре... Что останется людям от исканий и трудов твоих?

— Останется моя истина! — горячо воскликнул чернец. Яркий живой блеск вспыхнул при этом в его глазах. — Истина, как бы глубоко ни заточили ее, какими бы муками ни терзали и ни убивали, она разрушит тернии, взрастет и распустится дарами. Не во тьме и восприятиях чуждого, противного нам, сила Руси, а в познании себя и всего, что окружает нас. Крепок и могуч корень наш, княже. Ни огни, ни воды, ни ветры, ни бури, ни вражья зависть, ни злоба не сломят и не сокрушат Русь. Я монах, связан тенетами, но ты, княже, ты силен... По-

чему не заступишь то, что несет славу тебе и земле твоей?

— Смел, чернец, — помолчав, медленно вымолвил Ярослав. — Не льстив язык твой; в лицо мне бросил вины мои. Но лучше слушать горькую правду, чем лесть. Ростовский владыка страшится митрополичьего гнева и, наипаче того, гнева митрополичьих книжников. Мало у нас своих ученых людей, инок. Русской церковью правят греки... Терпим зло, но о том другой сказ. А ты, — Ярослав пристально взглянул на монаха, — иди в Новгород Великий, учреди там в княжем Нередицком монастыре иконописную и учебную палаты, учи других своему искусству и книжному чтению. И еще есть мое желание, но о нем скажу, когда услышу о согласии твоем.

Макарию показалось, что он ослышался или не так понял князя. Смелый монах вдруг растерялся, опустил глаза.

— Отказываешься от того, о чем прошу? — спросил Ярослав.

— Нет, княже, не знаю, что молвить. Владыка-митрополит...

— Скажи, на что ты волен, — Ярослав перебил чернеца, — а с митрополитом сам решу. В Новгороде мною поставишься ты, передо мною будешь в ответе.

— Суздальский я, княже, буду чужим в Новгороде.

— И я князь суздальский, какими были отец и дед мой, но я не обегаю Новгорода. В суздальских городах велика власть митрополичья над монахами, Новгород не имеет того. В Новгороде ты сможешь быть тем, кем желаешь.

— Пусть будет твоя воля, княже, — с доверчивой и затаенной радостью взглянув на князя, произнес Макарий. — Но приведется мне идти в Новгород, дозволь взять с собою мастеров из Ростова!

— Почто? — на губах Ярослава заиграла усмешка. — Много ты ходил по земле, чернец, многое познал, а того не ведаешь, как богат искусством и ремеслом Великий Новгород.

Епископ Леонтий, по просьбе князя, отпустил Макария с княжим поездом. Ярослав велел приготовить чернецу возок, но Макарий отказался. «Буду на коне, княже», — сказал. Легко поднялся в седло и дорогою

сидел в нем так плотно, что, увидев чернеца среди дружинников, Ярослав воскликнул:

— Тебе, отче, копье и меч в руку, шелом на голову вместо скуфьи... Не впервые, знать, сел на коня.

— Бывало, княже, — признался Макарий. — Но копья и меча не держал.

Во Владимире Макарий пробыл недолго. Ярослав говорил о нем с находившимся там владыкой-митрополитом; тот не снял опалы с чернеца, но желанию Ярослава не перечил, отпустил опального в Новгород.

— Готовься, отче, к делу, на которое посылаю тебя, — перед отбытием сказал Ярослав Макарию. — По осени буду в Новгороде и все укажу. Сю грамоту, — Ярослав подал Макарию свиток, — отдай княгине моей. Пишу я: держали бы тебя на княжем дворе. Владыке новгородскому тоже есть грамота: не чинили бы тебе угнетения. И еще наказ. Важное дело и неотложное. Горе меня посетило. Умер старший сын мой Федор, в Новгороде остался князем Александр. Молод он годами, но смышлен. Хочу я видеть в нем мужа способного, в познаниях сведущего, чтобы не только мечом, но и хитростью ума своего мог заступить Русь. Научи его тому, в чем сам способен. Не жалую я латынь, но сыну моему надобно ее знать; когда придется ему вести речи с латинами, чтобы своим умом думал; чтобы не по роду своему, а по способностям и умельству величался князем.

Весть, что прибывший в Новгород суздальский чернец без благословения владыки поставлен наставником и учителем к Александру, всполошила владычий двор. «Чем обольстил чернец князя Ярослава? — сетовали владычные попы. — Ликом не благообразен, неучтив. Почитай, неделю живет в Новгороде, а не видели его у святой Софии».

Донеслась в Новгород весть и о митрополичьей опале, о заточении Макария в ростовском монастыре. Это породило новые догадки, вызвало новое возмущение. То, что сведущ чернец в языках иноземных и что князь Ярослав указал ему обучить Александра латыни, — все это обратилось против суздальского книжника, явилось в глазах владычных попов укоряющим доказательством

его нечестия. Втихомолку и вслух, отплевываясь, высказывали опасения: не привержен ли суздалец латинской ереси? Передавали даже, что, живя в Риме, отрекся чернец от восточной церкви и патриархов, что латинская ересь была причиной заточения книжника в монастырь.

— Чужд, зело чужд, — говорили о нем. — Смутит соблазнами ереси своей княжича.

На пятый или шестой день по приезде Макария призвал к себе владыка, долго наедине беседовал с ним. Макарий отвел возводимые на него наветы и сказал, что не преступит слова, данного князю.

— Не смирилась в тебе гордыня, инок, — молвил владыка, выслушав чернеца. — За то осуждают тебя.

Легкий румянец показался на щеках Макария.

— Не ведаю зла и не возношусь сердцем, — произнес он. — Не стремлюсь ни к славе земной, ни к почестям, довольствуюсь тем, чего достиг трудами своими.

— Искренне ли слово, тобою сказанное? — губы владыки покривились еле заметной улыбкой. — И ко мне не пришел, звать привелось.

— В том мой грех, владыка. По неведению моему и незнанию обычаев новгородских.

— Прощаю твое неведение, но не забывай, что добрый сеятель добрые пожинает плоды труда своего.

С этими словами владыка поднялся и отпустил Макария.

В тот же год, осенью, когда Ярослав находился в Новгороде, владыка при встрече с князем напомнил ему о Макарии.

— Молод чернец, — сказал он. — Не прилежен обычаям монашествующих. Не пора ли, княже, дать в наставники княжичу мудрого старца, искусного в книжной премудрости, ревностного отцам и учителям церкви нашей.

Слова владыки не поколебали у Ярослава доверия к Макарию. Владыка тоже не возвращался больше к разговору о чернеце. Александр рос. Макарий любил своего ученика за зрелость ума, за способность быстро схватывать и запоминать услышанное. В каждое дело, за какое бы ни взялся он, Александр вносил страсть, горячее стремление довершить начатое.

Так прошло два года.

О ТОМ, ЧЕМУ НЕТ НАЗВАНИЯ

В половине лета тысяча двести тридцать шестого года князь Ярослав Всеволодович прибыл в Новгород. Александр несказанно обрадовался приезду отца, но при встрече с ним дичился, хмурил брови, нехотя отвечал на все, о чем его спрашивали.

— Никак ты обижен, Олексанко? — спросил Ярослав, изумленный необычным поведением сына. — Аль не рад мне?

— Ничем не обижен, батюшка, — ответил Александр, избегая смотреть отцу в глаза.

— Вижу, сердит, — промолвил Ярослав. — После буду говорить с тобой, а нынче — уволь. Устал я. Сутки не сходил с коня.

Александр не смог бы объяснить, что встревожило его при встрече. Он так стремительно мчался из терема, таким полным и радостным чувством билось его сердце, что, не считая ступенек, прыгнул с крыльца. Прежде Александр бросился бы отцу на шею; ему и хотелось сделать это, но в последнее мгновение остановила мысль: «Разве так поступают витязи?» Александру хотелось предстать перед отцом не слабым юношей, а смелым и сильным богатырем. Пока он раздумывал, как ему поздороваться, Ярослав отступил немного, любуясь сыном, и широко улыбнулся.

— Эка ты вытянулся, Олексанко, — сказал. — Гляди, перерастешь меня.

Он подошел к сыну и погладил ему голову. От ласки у Александра подогнулись колени.

Александр любил отца и гордился им. Ему нравилась его высокая, сильная, немного сутулая фигура с широкими плечами и крепко посаженной головой. Движения Ярослава были угловаты и тяжелы. От его «ласкового» прикосновения всякий раз чувствовалась боль и оставались синяки.

То, что отец приласкал его так же, как ласкал прежде при встречах, смутило Александра. Радость, с какою мчался он из терема, померкла. Александр стоял угрюмый и неловкий, не зная, что молвить.

Прошла неделя, как Ярослав в Новгороде, но Александр встречал отца или когда тот был вместе с матерью, или когда принимал в гридне дворских и иных людей. Вечерами Ярослав до вторых петухов беседовал с боярином Федором и Ратмиром. Почему-то Александру представлялось, что в гридне говорят о нем. Прежде он влетел бы в гридню, послушал. Ярослав не скрывал своих мыслей, беседуя со своими доверенными боярами, от имени его и Александра правившими в Новгороде княжее дело. Но Александра не звали в гридню, идти без зова — не несли ноги. Он бродил по хоромам, редко показывался и на дворе, опасаясь, что кто-нибудь из прибывших с отцом старших дружинников встретит его так, как встретил воевода Чука.

Случилось это в день приезда Ярослава.

Смущенный и раздосадованный неудачей встречи с отцом, Александр не последовал за ним в хоромы, остался на дворе. Дружинники, прибывшие из Переяславля, узнавая старых друзей в дружине новгородской, шумно выражали свои чувства, оглушая криком и смехом друг друга.

Неожиданно кто-то ударил Александра по плечу.

— Чука! — узнал Александр.

— Ай да княжич, признал Ерофея Чуку, а сколько лет и зим не видались. Помню тебя вот этаким, — Чука склонился к земле и показал рукой. — А нынче ты что дубок молодой. Ну, а крепко ли в землю вцепился?..

Чука схватил под мышки Александра, легко, словно тот был невесом, подкинул выше себя, опустил и чмокнул в самые губы.

В воскресенье Ярослав стоял обедню у святой Софии, после обедни ушел на трапезу к архиепископу; окончив трапезу, чуть ли не до вечера сидел в Грановитой. Дел было так много, что не хватало времени на домашнее. Возвращаясь из Грановитой, Ярослав встретил Александра, остановил его.

— Вутре на Городище поедем, Олексанко, оттуда в Юрьев монастырь. Готовься, разбужу рано.

Александр проснулся чуть свет. В хоромах тихо. Александр собрался к походу и стал ожидать, когда выйдет отец. Но тот не спешил. Солнце уже поднялось

над теремами, когда в горницу донесся голос отца. Александр выбежал на крыльцо.

— Олексанко?! — воскликнул Ярослав, увидев готового к походу сына. — Молодец! Не заставил себя ждать.

Ярослав сегодня веселый. Александр втайне тревожился: а вдруг вместе с ними в Городище соберется мать с младшими Андреем и Славкой? Не усадили бы тогда и его в материн возок. Подумать больно. Но нет. Вывели оседланных коней. Мать вышла на красное крыльцо в домашнем летнике. Не едет. Теперь, кажется, все хорошо. И надо же случиться непредвиденному!

Все, кто с Ярославом, готовы к выезду. Дворский Олекса подвел Александру Бояна — гнедого, с пышным завесом коня. Александр взялся было за стремя, но его остановил неожиданный шум за воротами.

Ярослав, не ожидавший помехи, сдвинул брови.

— Чука, — резко прозвучал его голос. — Погляди, кто там?

Чука побывал за воротами; скоро вернулся и объявил:

— Ремесленные мастера говорить с тобой желают, княже.

— Ремесленные... — на лице Ярослава показалась усмешка. — Экой народ, где бы раньше сказать о своем приходе или подождать, когда позову, они сами... Надумали и пришли. Откройте ворота! — крикнул Ярослав воротным и добавил тише: — Коней отвести пока!

В открытых воротах показалась ватага ремесленных: кузнецы с Ильиной и Раздвижи, кольчужники, щитники, лучники... На крыльцо вынесли дубовую скамью, покрытую медвежьей шкурой. Ярослав сел. Около него воевода Ратмир и Чука.

Разговоров — не переговоришь в сутки. Из всех ремесленных, что, сняв колпаки, теснятся перед красным крыльцом, Александру запомнился высокий, седобородый, которого и Ярослав и другие называли мастером Онцифиром. Ремесленные жаловались Ярославу на то, что худеет их ремесло в Великом Новгороде, нет спроса на бранные изделия... Княжий двор не берет за себя, а бояре норовят купить за полцены.

— Не в печники ли нам, оружным мастерам, идти, княже? — стоя у самого крыльца, говорил Онцифир, ста-

роста братчины оружейных мастеров в Великом Новгороде. — А то, может, в плотники аль горшки делать? Надобно ли наше ремесло? На что велик кузнец Никанор: перо ли к копью, другое ли что из его горна — крепко и остро, как огонь. Кольчужки Никанор вяжет — хитрым мастерам на зависть. А нынче что делает? Ухваты гнет бабам. Ладно ли так-то, княже?

— Худо, Онцифире, — согласился Ярослав. — Зело худо.

— Мы, Ярослав Всеволодович, не о себе печемся, — продолжал Онцифир. — Чай, не нам сказывать тебе — готские-то гости ни железа, ни брони не везут в Новгород. Тканые изделия, бочки с мальвазеей да романеей на их ладьях... Ни меча не везут, ни стрелы, ни копья. А ну как поход! Нам только на своих мастеров надёжа. Справились бы мы, княже, дали бы войску оружие, но когда Никанор гнет ухваты, на Раздвиже куют сковородники; я наместо лучного ремесла пойду избы рубить, что будет? Велика слава плотников новгородских, да то худо — не привелось бы этою славой встречать недругов... Вели, княже, оружным мастерам на своем деле стоять: лить оцел[1], ковать мечи да топоры боевые, вязать кольчужки, делать копья острые, луки гибкие, чтобы дальше, чем у врагов, стрела летела.

— Верное слово твое, Онцифире, быть так, — Ярослав поднял руку. — Всем мастерам оружейным велю крепко беречь свое ремесло, не гасить горны. Нужда в чем, притеснит кто — идите на княжий двор, не будет мастерам обиды. Оружие, какое сделано, возьму за свою казну.

Солнце давно опустилось за полдень, тени от тополей, что выстроились зелеными сторожами вдоль тына, стали резкими и длинными. Александр сердился на ремесленных: помешали ехать сегодня рядом с отцом на коне. Но любопытно и слушать, о чем идет толк. Нравилось Александру, что ремесленные стоят перед красным крыльцом терема, обнажив головы, а Ярослав сидит на скамье, покрытой медвежьей шкурой. Каждое слово Ярослава, когда он говорит, слышно на весь двор, и то, что скажет он, никто не перебивает. Александру хоте-

[1] Сталь.

лось подражать отцу, который во всем, что бы ни делал он, умеет оказать силу свою и свою власть.

На следующее утро Александр проснулся поздно. В горнице светло. Кто-то осторожно, чтобы не скрипнула, открыл дверь. «Ратмир», — догадался Александр. Он закрыл глаза и притих. Неожиданно жесткая и тяжелая рука легла на его лоб...

— Батюшка!

Хотел вскочить, обрадованный, что видит отца, но Ярослав сказал:

— Лежи, будем говорить так. Вижу, чуждаешься меня, Олексанко, а не домыслю, в чем провинился перед тобой? Сказывай, как жил? Ростом высок, послушаю, научился чему.

Александр молча, словно не понимая слов, смотрел на отца.

— Почто молчишь? Аль недоволен, что сон нарушил? Ратмир сказывает, ты и на коне молодцом и копьем владеешь... Правда то?

— Правда, батюшка.

— Книжную премудрость разумеешь ли?

— Разумею, — бойко ответил Александр. И будто для того, чтобы отец лучше понял его, добавил: — Все, что уставом и полууставом писано, разбираю без указки.

— От чернеца Макария слышал, будто обучался ты успешно латыни; не перехвалил Макарий твое умельство?

— И по-книжному и по-письменному читаю, батюшка, и речью владею.

— Радует меня твой ответ, Олексанко. Велика польза книжной премудрости, — Ярослав сел рядом с сыном. — Прадед твой, великий князь киевский Владимир Мономах, многие языки знал, умом и знаниями своими удивлял мудрецов византийских и латынян; мудр был и дед твой Всеволод. Я, сын мой, не достиг того, но глупцом и невеждой не жил. Хочу, Олексанко, чтобы в жизни и делах своих был ты достоин имени Мономаховича. Учись! Книжное учение возвышает всякого, кто владеет им. Скоро предстоит тебе самому ведать княжее дело в Новгороде. Мыслил об этом?

— Не мыслил, батюшка. Я... — Александр, как бы стыдясь того, что сказал, умолк и опустил глаза.

— Не скрываешься передо мной — хвалю за то, — усмехнулся Ярослав. — Не страшно ли тебе остаться князем на Новгороде?

— Быть ли мне князем, на то воля и твое слово, батюшка, — вспыхнув, голосом, вздрагивающим от волнения, произнес Александр. — Но я, — он упрямо сверкнул глазами, — чести своей не порушу, за обиду готов на брань. Где слово мое невнятно, готов я копьем и мечом доказать правду.

— Так ли? — в глазах Ярослава проиграли теплые зарницы. — Велишь верить себе?

— Да, батюшка, — Александр вскочил и стоял теперь перед отцом. — Не посрамлю ни себя, ни имени своего.

— Горяч ты, Олексанко, — рассмеялся Ярослав. — Боем грозишь за обиду, а князю то не пристало.

— Батюшка!

— Прежде, чем звать на бой, князю силу свою надлежит знать. Его честь — честь отчизны. Перед нею, перед людьми — и старшими и меньшими — держать ему ответ. Отныне, пока я в Новгороде, будешь ты во всяком деле со мной, и в суде княжем и в Грановитой. Так-то вот... А теперь погляжу, каков ты на коне... Пора нам.

Ярослав пробыл в Новгороде конец лета и зиму. Как обещал, он всюду брал с собой Александра. Тот ни во что не вмешивался, но наблюдал, как Ярослав держит себя на людях, что говорит, когда тих или когда гневается. Александру нравилось быть с отцом, сидеть с ним об руку; и кто мог предсказать, что в те дни юношу встревожит новое, неизведанное им прежде чувство.

В последний день масленицы Александр с другом Гаврилкой вышли за ограду двора, к княжей веже, где еще за неделю до праздника налили гору. Молодые дружинники и дворские девушки катались на ледянках.

— Княжич Сано! — окликнули сверху, когда Александр появился у вежи. — Скорей на гору! На ледянку с нами...

На вершине ледяной горы девушка в шубке из белых лис. Александр узнал ее: Любаша, дочь Якова Полочанина.

Александр вбежал на вершину. Любаша уже на ледянке — широкой, гладкой доске с подмороженным низом. За Любашей — Анка, круглолицая, с высокой грудью и густым грудным голосом; за ними еще двое. Щеки Любаши розовеют от мороза, а глаза искрятся таким неудержимым весельем, что нельзя не улыбнуться, глядя на них. В своем белом одеянии Любаша напомнила Александру снегурочку, ту, что живет в сказках.

Александр втиснулся между Любашей и Анкой. Тесно, но ему так хорошо чувствовать их близость. Тяжелая льняная коса Любаши щекочет лицо.

— Держись за меня... Крепче! — приказала Любаша, когда Александр коснулся ее. С каждой секундой ледянка быстрее и быстрее скользит вниз. Ветер бросает в лицо колючие снежные иглы. Все летит мимо. Вихрь движения, близость Любаши опьянили Александра. Не сознавая того, что делает, он с такою силой сжал девушку, что она покачнулась. Ледянку в этот миг подкинуло на ухабе, занесло, и все, кто были в ней, живым клубком вывалились в сугроб. Это было еще неожиданнее, еще веселее. Александр не разжал рук, не слышал, как сзади вскрикнула Анка. Только горячие глаза Любаши видел он близко от себя. Девушка не пыталась освободиться. Губы его сами собою коснулись ее щеки...

— Княжич Сано!..

Любаша вскочила. Александру представилось, что сейчас убежит она и никогда больше не позволит прикоснуться к ней. Но Любаша — взволнованная тем, что произошло, раскрасневшаяся — стояла рядом. С восторгом и изумлением, как будто впервые видит он девушку, Александр смотрел на нее. Все в ней было ново и неожиданно сегодня: заразительный блеск глаз, полуоткрытые губы... Казалось, кроме лица девушки, исчезло все перед Александром — и вежа, и ледяная гора, и шумная ватага катающихся. Будто стоят они с Любашей где-то далеко-далеко, в занесенной снегами пуще.

— Княжич Сано, приходи вечером за Гончары... Масленицу жечь, — сказала Любаша. Она отряхнула с себя снег, губы ее улыбались.

— Приду, — молвил он и шагнул к девушке, словно

за тем, чтобы лучше рассмотреть и запомнить ее лицо. — А ты... будешь?

— Буду, — коротко ответила Любаша и стрелой побежала на гору, догоняя подруг.

Ярослав пировал в гридне с ближними дружинниками. Пир длился со полудня. Без устали ходили круговые чаши. Не всякому по силе княжая чаша, особенно когда счет им перевалит за дюжину. Тех, кто не выдерживал, волокли в боковушу, отливали холодной водой.

На лавках, о плечо с князем, воевода Ратмир. Ни одна чаша не обошла витязя; и не то что лицо — седые усы воеводы, кажется, и те порумянели от выпитого. Напротив князя — Чука. Он распахнул малиновый кафтан; на обнаженной груди воеводы виден налившийся кровью старый рубец. Чука не говорлив. Сдвинув брови, он хмуро посматривает вокруг, точно не радуют его веселый смех и буйные клики пирующих.

— Почто молчишь, Чука? — покрывая голосом шум пира, крикнул Ярослав воеводе. — Почто, как бывало, старое не вспомнишь, новое не судишь? Аль тебе не люба масленица, не по сердцу пир? Скажи молодым, как ты в походы хаживал, из каких рек воду шеломом пил?

— Ко времени ли вспоминать старое, княже? — не поднимая бровей, буркнул Чука. — Мой шелом проржавел на полавочнике. О чем вспоминать, о каких битвах сказать витязям? Не битвами хвалятся витязи нынче, а зайцами, что в поле выловлены.

— Строго судишь, Чука, — вспыхнуло и потемнело лицо Ярослава. — Не забыл ли ты масленицу русскую? Не забыл ли, что не попы звонят в колокола масленице, а на веселых пирах круговые чаши?

— Чашей круговой и я тешусь, княже, — продолжал свое Чука. — Да речь моя не о том, — он положил на стол руки и раскрыл ладони, как бы показывая нечто такое, что должно всех удивить. — Вот она, масленица — широкая, обжорная; и чаша сладка, да звон ее не громок.

— Что еще молвишь? — спросил Ярослав.

— То и молвлю, что мы скачем в поле за зайцами, а

Литва жмет на Полоцк да на Смоленск, Пскову-городу грозят лыцаришки немецкие. Полоцкие князья доброю волею пустили лыцаришек, а те обманули полочан, захватили земли ливов и эстов, машут кулаком Руси. Били с тобою, Ярослав Всеволодович, мы тех лыцаришек, мир им давали. Клялись нам лыцари, да клятвы их дешевле сбитню.

О том, что сказал Чука, Ярослав и сам задумывался. Тревожили его вести из Смоленска и Полоцка, косо посматривал он за Псков, к Варяжскому морю, где засел жадный до чужих земель, воинственный враг. Правду молвил Чука — дешева клятва рыцарей! Неспокойно и на южных украинных землях. Десять лет минуло с той поры, когда русские полки, вместе с половцами, бились с Ордой на реке Калке. Памятна та битва. Половцы бежали с поля, не приняв боя. Русские князья шли в поход каждый сам по себе. Не стояло над войском одной головы. Князь Мстислав Мстиславич с Данилой Романовичем вырвались вперед со своими полками, первыми начали бой, искали легкой победы. Но не победу нашли, а положили в битве полки. Стояла Орда на рубеже Руси и, не перешагнув его, повернула вспять, за Каспий.

Ныне половцы, как и встарь, тревожат набегами украинных, но половцы не страшны; не трудно их отогнать и самим погулять в половецкой степи. А если вновь появятся перед русскими рубежами ордынские конники... Слухи о сборах Орды к походу есть из-за Каспия. О! Собрать бы вокруг суздальской рати полки удельных... Во главе этого войска Ярослав не испугался бы померяться силой с ордынянами. А соберешь ли? Раздроблена, обессилена Русь. Князья дрожат за свои уделы, не сговоришь. Нападет Орда, некому заступить рубежи. Поэтому и горько слушать речи Чуки. Когда тот умолк, Ярослав окинул нахмуренным взглядом витязей, приподнялся, в глазах его сверкнул гнев. Стало тихо. В гневе Ярослав не всякое слово и не от всякого, кто скажет, стерпит.

— Правду молвил Ерофей Чука, — медленно, будто с трудом давались ему слова, произнес Ярослав. — Перечить не буду. На радость врагам сидим в безделии, в домашних распрях. А не будет того! — Тяжелый кулак князя с силой опустился на стол. Дубовая доска столеш-

ницы надломилась, чаши и медные ендовы заговорили звоном. — Не будет, — повторил он. — Справим масленицу и в путь, в Переяславль...

...Александр не поднялся на гору вслед за Любашей. Чувство, которое захватило его, было так глубоко, так ново, что Александру хотелось побыть одному. Он вернулся в терем. Одиночество показалось еще тягостнее. Скорей бы наступил вечер, скорей бы проводы масленицы! Из гридни доносились клики и шум пирующих. Александр приоткрыл дверь, заглянул туда. Громко раздавался голос отца. Александр услышал последние слова о скором походе. Поход! До сего дня батюшка не говорил об этом. Спросить бы. Но тут пошла круговая. Кто-то крикнул «славу». Ярослав выпил первым и опрокинул чашу. Александр подвинулся немного вперед, и вдруг глаза его встретились с глазами отца. Ярослав позвал:

— Олексанко, подойди сюда!

Александр повиновался. Подошел к столу, спросил:

— Что велишь, батюшка?

Ярослав наполнил медом чашу, поднял ее и протянул сыну:

— Пей!

Александр замешкался. Неловко взять чашу в кругу витязей и стыдно: не выпьет, что скажут о нем?

— Батюшка!

— Велю... Пей! — приказал Ярослав.

Александр принял чашу. Закрыв глаза, стараясь не дышать, опрокинул ее. Будто жгучие искры пробежали по телу. Ударило в голову. Ярослав смеется:

— Каков сынок! Выпил — не поморщился. Ехали в Новгород, ждал — мальца встречу, ан, зрю, Олексанко мой витязь на славу. На коне сидит, копьем володеет и ростом вытянулся. В меня пошел, только волосом рус, в материнскую стать. Небось, Олексанко, скучно тебе с нами, со стариками, — повернулся к сыну. — Иди на двор! С молодшими дружинниками веселее... А может, зазноба чернобровая сердце тронула, а? Покраснел... То-то!

Вечером, как стемнело, на холме, за Гончарами, зажгли костер. Выложен он из поленьев и плах, как терем. Внутри сухие веники, березовая «скала» — все, что не-

делю до масленой собирали по дворам. На князьке «терема» — масленица. Рожа у нее — пестерь, вениками опушенный, сама из соломы, поперек кол, на нем два снопа — руки растопырены. Вокруг костра девушки ведут хоровод. Горит масленица, горит зима студеная, яркое пламя брызжет искры высоко-высоко, в темную глубину украшенного звездами неба.

Александр пришел вместе с Гаврилкой, но скоро остался один. Гаврилка увязался в хоровод. Туда бы и Александру, да ждет он... Придет ли, не обманет ли снегурочка?

— Княжич Сано!

Не усмотрел, как подошла.

— Любаша!

— Ждал?

— Да.

— Не ждал, так и не пришла бы.

— Неужто из-за меня?

И снова, как там, у ледяной горы, когда упали с ледянки, радость залила сердце. Держась за руки, отошли от костра. Любаша что-то говорила. Он смотрел на ее лицо, на выбившуюся прядку волос, на темные, точно вычерченные углем, тонкие брови... Александр обнял девушку. Не так кружилась у него голова в гридне от чаши меду пенного, как закружилась, когда губы его коснулись губ Любаши. Александр не знал, что сказать. Он смотрел в глаза девушки, и казалось, где-то глубоко, за полуопущенными ресницами их, скрывается огромное, неведомое и желанное счастье.

ГЛАВА 13

ЛЮБАША

Чувство к Любаше захватило Александра. Он постоянно думал о девушке, вспоминал встречи с нею. Сладостное ощущение первого поцелуя, кажется, на всю жизнь осталось на его губах. Александр не замечал, что творится в тереме, не замечал приготовлений к отъезду отца, не замечал и того нового, что предстояло ему в жизни, что словом сильного князя решил Ярослав.

Сразу же после масленицы начали готовиться к отъезду князя. На этот раз, покидая Новгород, Ярослав брал с собой княгиню и младших детей.

Отъезд княжего поезда положен на воскресенье. Ярослав спешил до распутицы одолеть путину. В вечер накануне отъезда он послал за сыном, велел звать в гридню.

— Сядь, Олександро, — сказал, когда Александр, войдя в гридню, задержался у входа. — Поутру ухожу в Переяславль, прежду там распутье, а как просохнут дороги, снаряжу поезд в Киев. По воле великого князя, брата Юрия, и по старшинству своему, сяду князем на Киеве. Ты, Олександро, останешься в Новгороде. Пора тебе ведать княжее дело. Будешь судить суд и брать дань с волостей, какая положена князю. В суде будь неподкупен, всякое дело решай по чести, по грамотам судным и по обычаям. Помни — правда больно бьет, но ее уважают. Дань бери вовремя, полною мерой — и житом, и льном, и воском, и мехами мягкими, и крицами железными.

В словах Ярослава было что-то суровое, наставительно-строгое, точно не с сыном говорил он, а держал речь перед советом господ в Грановитой. Он ни разу не улыбнулся, сидел прямо, выпятив грудь; взгляд его, устремленный на сына, был так выразителен, что как будто досказывал то, для чего не находилось слов. При вздрагивающем свете восковых свечей борода отца казалась чернее, чем всегда, и отливала густым матовым блеском.

— Храни силу дружины, — продолжал Ярослав. — Дружина опора тебе в городе и на поле бранном. Полюбится молодец — не отвергай, прими в отроки. Не по роду цени дружинника — по силе и смелости; не страшился бы он пролить кровь за Русь под твоим стягом. Юн ты, Олександро, а стол новгородский не гладок, не сломлена в Новгороде сила боляр вотчинных. И князю Андрею Юрьевичу, и деду твоему, великому Всеволоду, и мне боем довелось оберегать новгородский стол. Не любы вотчинным болярам суздальские князья, за то не любы, что возвышаем Суздальскую Русь над другими землями русскими. Будь и ты, Олександро, смел, не клони голову в совете господ, но и на рожон не при; учи-

нится брань по твоей вине — не прощу. В борьбе с вотчинниками опирайся на город, на гостинных людей и ремесленных. Им, городовым людям, люба единая Русь, чтобы вольный торг был всюду. Сила Руси в ее единстве, во власти великокняжеской, которую держит род наш. Помни о том, Олександро! Дед твой, великий Всеволод, оставляя меня на княжение новгородское, как я тебя оставляю, передал мне дар и завещал передать тот дар тебе. Возьми и не расставайся с ним, пока не придет время отдать дар прадедовский твоему сыну, а моему внуку.

Ярослав вынул из уха золотую серьгу с зеленым камушком, которую носил всегда, и продолжал:

— На славу и счастье береги этот дар, Олександро! Дарена ся серьга великому Всеволоду его матерью, княжной половецкой, дочерью хана Аспы, друга Владимира Мономаха. Доведется, Олександро, тебе на бранном поле встретить врага — не посрами головы. В бою будь храбр, но молодечеством не хвались. Не в пустой похвальбе сила. Дружбой с умом и мудрой хитростью сильна храбрость. Дружиничьим воеводой на Новгороде останется воевода Ратмир, а болярин Федор — ближним советником тебе в делах княжих. Полагайся на него; близки они роду нашему и разумом не обижены...

Замолчав, Ярослав пристально взглянул в лицо Александра.

— Хмуришься, Олексанко? Не рад, что остаешься на Новгороде?

— Не рад...

— Почто так?

— За твоею волей, батюшка, легко я жил, тревоги не ведал... Не умею складные речи вести.

— Ой ли! Не обижай себя, Олексанко! Помни, о чем я молвил, и не роняй достоинства своего, поступай так, как надлежит поступать князю. А теперь вели-ка принести ендову меду старого да пошли сказать Даниловичу и Ратмиру, что хочу им слово молвить...

Затихли княжеские терема. Отбыла в Переяславль Федосья Мстиславовна с младшими детьми; ушла с княжим поездом и большая дружина.

Перед тем как отбыть поезду, владыка отслужил

обедню у святой Софии; юрьевский игумен Нифонт, друг Ярослава, провожал поезд до Торжка.

Непривычная тишина хором в первые дни пугала Александра. Со всех сторон навалились на него заботы. Не гуляет он, как прежде, с другом Гаврилкой, не ходит в боры и на катания на гору за Власием. И Гаврилка стал степеннее; надел он синий дружиничий кафтан, Александра величает князем, Ратмира воеводою.

Жить остался Александр в том же тереме, где жил при матери. Две горенки просторны для одного. Люди говорили с ним на дворе или в большой гридне. Сказал как-то Александр Ратмиру, чтобы тот переселился в терем, Ратмир отказался, сказал: «Не привык я, княже, спать на мягких перинах».

Дни становились длиннее. Солнце все выше и выше гуляло по небу, начал притаивать снег. На карнизах хором по ночам намерзали длинные, хрупкие сосульки. Прежде Александр любил сбивать их; падая, сосульки искрящимися брызгами вспыхивали на солнце. Хорошо бы и нынче позабавиться, но... Он — князь, а князю ли тешиться детской забавой! На четвертой неделе поста распустило дороги: ни пройти никуда, ни проехать. Настала ростепель.

В один из этих дней Александра захватила хворь, но он крепился, даже воеводе Ратмиру не поведал. Утром ходил к княжей веже, где собирались дружинники на стрелецкую потеху. Александр тоже брал лук, опускался на колено, целил стрелу в вороний глаз. Чья стрела падала мимо меты, того Ратмир заставлял обежать дальний круг.

В горнице у себя Александр прилег: авось, думал, отойдет немочь. Но близко вечер, а хворь разыгралась, мучила сильнее. Вечером Александр не пошел на игру, где его ждала Любаша. Знал — рассердится, но как ему, хворому, показаться девушке?

Сквозь слюдяную створу оконницы доносится со двора шум. Знать, игру затеяли дружинники. Там ли Любаша? Александр старался отличить ее голос. Нет, не слышно. Неужто и с нею что-нибудь неладное? Стало страшно одному. Позвать бы Ратмира... Подумал и вспомнил: воеводы нет в хоромах, ушел к оружейным

мастерам на Торговую. Александр закрыл глаза, долго лежал неподвижно.

— Княжич Сано, — то ли во сне, то ли наяву услышал шепот. Никто не зовет его так ласково, кроме Любаши. Он замер. Хотелось дольше, дольше продлить сон. — Сано! — снова шепот. — Здоров ли? Ой, да никак у тебя жар...

Почувствовал прикосновение ее руки. Неужто она?..

Открыл глаза. Любаша, встревоженная, в тонком летнике с наброшенной на плечи шубкой, склонилась над ним.

— Любаша!

Взглянул в глаза девушке, и что-то огромное, поднявшееся из самой глубины сердца, встало перед ним. Оно наступило так властно, было так неожиданно и сладостно, что Александр не мог, не находил сил и не хотел противиться. И после он никогда не мог объяснить того, что было. Помнит, как бы в ответ ему, сияющее изумление сверкнуло в широко открытых глазах девушки. Она коротко вскрикнула, улыбнулась:

— Сано!..

...На праздниках Купалы Любаша призналась Александру, что она понесла. Ни для нее, ни для него это не явилось горем. Любаша ничего не требовала, она хотела только одного, чтобы Сано любил ее. Александр сказал Ратмиру, старому наставнику своему, что любит девушку, и о том, что связывает его с нею. Ратмир не напал с упреками, напомнил об одном: не честь витязю играть девичьим счастьем.

— И то правда, княже, — сказал он. — Прежние князья в Новгороде не раз брали в жены тутошних. Мстислав Владимирович, сын Мономаха, Всеволод Мстиславич, Святослав Ольгович... Женились на новгородках. Нашлось и твое счастье — не обегай!

Не горе — злое несчастье сгубило Любашу. Напилась она квасу грушевого с ледника, и будто наговор чей был положен на тот квас. Металась в жару, бредила, звала Александра, а приходил он — не узнавала, встречала, как чужого.

Неделю маялась так, под конец вошла в память.

— Княжич Сано! — позвала.

Долго, точно навсегда хотела запомнить, смотрела Любаша на его лицо. На бледных, осунувшихся щеках ее выступил прозрачный румянец. Вся она в этот миг казалась такой чистой и легкой, что напоминала солнечный луч, который неожиданно ворвался в горницу.

— Прощай, Сано! — прижимая к груди его руку, промолвила она тихо-тихо. — Не сказать, как любила тебя, а вот...

Схоронили Любашу в Десятинном.

Вернувшись к себе, Александр закрылся в горнице. Утром спросил коня и умчался на старый княжий двор в Городище.

Чувство, какое переживал Александр после смерти Любаши, напоминало то, что испытал он, увидев в гробу Федю, — но теперешнее было еще острее, мучительнее. Горе ворвалось неожиданно, когда Александр был так полон радостью первой любви. Он не хотел никого видеть, не хотел ни с кем говорить, — жил один, наедине со своим горем.

Стояла жара. Солнце сушило землю, раскаленный ветер подымал тучи желтой, тонкой пыли. Стланые мостовые на улицах под копытами коней трепетали рассохшимися мостовинами. В хоромах от жары трудно дышать.

Из окружающих Александра людей только воевода Ратмир остался все тем же невозмутимо спокойным и как бы равнодушным к горю князя. Он входил в горницу, садился на лавку, говорил о городовых делах, обо всем, что, по его мнению, нужно знать князю. Александр слушал молча, уставив в сторону холодные глаза, и нельзя было понять — слушает он, о чем говорит воевода, или все сказанное скользит мимо ушей, как вода у заснувшего берега.

Пронеслось лето. Александр все еще жил в Городище. Начались холодные, моросные дожди; непогода оправдывала нежелание Александра покидать горницу, видеть людей. В один из таких дней, когда ветер завывал особенно яростно, напоминая об осенней поре, перед вечером уже, в горницу заявился Ратмир. Он прошел вперед, неловко, боком, сел на лавку, снял шелом и принялся тереть рукавом его кованое чело. Глаза Александра оживились. Снял воевода шелом, значит, он чем-то встре-

вожен, случилось что-то выходящее за пределы обычных дел.

— Злые слухи, княже, — наконец вымолвил Ратмир. — Новгородские гости ходили с товарами на Низ[1], сказывают: большой силой идет на Рязань Орда.

— Князьки половецкие? — подал голос Александр.

— Не половцы, княже, орды Чингисовы, — Ратмир опустил шелом и словно забыл про него. — Побьют они Рязань, а побьют — тронутся на Владимир.

— Неужто ни Рязань, ни Владимир не преградят дорогу ордынянам? — сказал Александр, встревоженный вестью.

— Велика и сильна Русь, княже, но не едина она, какою была при старых князьях киевских. Нынче князья сидят в уделах своих, о себе лишь помнят. Пусть войско суздальское, рязанское, смоленское, черниговское и других земель русских выступит в поле, пусть будет один стяг над всеми и одна голова.

— Если не будет того? — вопрос замер на губах Александра.

— Орда Чингисова по прутику веник сломает, — ответил Ратмир. — Далеко Новгород от Рязани, но пора и нам, княже, думать о Чингисовом нашествии.

ГЛАВА 14

БЕДА БЕЗ ПОБЕДКОВ НЕ ХОДИТ

Гонец от великого князя Юрия Всеволодовича привез весть о падении Рязани.

Александр принял гонца в своей горнице. Кроме князя в горнице были воевода Ратмир и ближний боярин Федор. Гонец передал Александру грамоту князя Юрия и сказал:

— Войско рязанское побито, княже. Камня на камне не оставили ордыняне от городов рязанских и церквей их. Жители кои иссечены, кои в полоне. Князь рязанский, Юрий Игоревич, и княгиня его, и княжата — все

[1] Владимиро-Суздальская земля; так ее называли в Новгороде.

мертвы. Погибла слава Рязанской земли. Пепел да камни остались от городов ее и селищ.

— Не легко слышать твою весть, — выслушав гонца, промолвил Александр. — Тяжка судьба Рязани. Скажи: где великий князь Юрий и полки суздальские?

— Князь Юрий Всеволодович в Ярославле, собирает войска. Из Ярославля послал он меня к тебе, княже, — ответил гонец.

— Что на пути слышно?

— Испуганы жители. Как был я в Дмитрове, прибежали туда люди из Коломны. Сказывают: сожгли Коломну ордыняне. Вместе с рязанцами бился в Коломне владимирский полк воеводы Глебовича. Жестоко бились. Пали костьми и воевода и войско.

— Коломна близко к Владимиру... Скоро ли продвигается ордынское войско?

— Конно идет Орда. Есть, княже, у ордынян огненный бой и пороки стенобитные. Тяжелые камни мечут. Не миновать беды стольному Владимиру.

В первые дни, когда слухи о нашествии Орды достигли Новгорода, Александр не представлял еще себе глубины опасности, нависшей над Русью. Слишком свежо и тяжело было его горе. Александр жил памятью о Любаше. Все, что слышал он об Орде, казалось ему таким незначительным, что никак не могло сравниться с горем, какое переживал он. Вот уже скоро полгода, как схоронили Любашу, а горе не утихает, не забывается боль. Как будто вместе с Любашей схоронены все радости, все надежды. Но вести с каждым днем становились тревожнее. Александр старался не думать о них, убедить себя, что опасность не так страшна, как говорят о ней. «Велика Русь, — думал он. — Богаты и сильны города наши». Александр принадлежал к той линии Мономаховичей, которая вела начало от сына Мономахова Юрия, прозванного Долгоруким. Александр вспоминал походы старых князей — Святослава Игоревича и Владимира Святославича, потрясших своими полками стены Византии; вспоминал походы деда своего, великого Всеволода, битвы отца с латинскими рыцарями. Не в позоре и поражениях вставало перед ним будущее Руси, а в силе великой и славе.

Близкое соседство с рыцарями Ливонского ордена меченосцев и католической Швецией постоянно угрожало Новгороду иноземным вторжением. Воинственные стремления рыцарей поддерживались католической церковью.

К тому времени, когда Русь отражала нашествие Орды, папство достигло расцвета своего могущества. Подчиняя себе светскую власть в западных католических землях, святейший престол призывал к наступлению на восток. Еще при деде Александра владимирском князе Всеволоде Юрьевиче папа Иннокентий III потребовал от русских князей принятия католичества и подчинения русской церкви Риму. Требование папы было отвергнуто. Но подчинение святейшему престолу богатой и обширной Руси сулило папскому Риму неисчислимые выгоды, и поэтому происки папства не прекращались. Захватнические цели католической церкви совпадали с замыслами немецкого и шведского рыцарства. Наступая на восток, рыцари истребляли славянские племена, захватывали их земли. Святейший престол неустанно призывал правителей католических стран к «крестовому походу» на Русь; он объявлял в посланиях своих «инаковерующих русов хуже язычников», требовал прекращения торговли с Русью.

Опасность иноземного вторжения и враждебность вотчинного боярства с юных лет приучили Александра к осторожности в поступках. Он сознавал свою силу, ни перед кем не опускал глаз, говорил прямо то, что думал, но не избегал и хитрости. В совете господ, в беседах с владыкой-архиепископом, там, где нужно было оказать свою волю, Александр то проявлял уступчивость, как бы даже во вред себе, то становился несговорчив и упрям. Он мог выслушать, не склонив головы, горькие истины, но когда то, что говорилось, не трогало его, уходил не дослушав.

...Отпустив гонца князя Юрия, Александр развернул грамоту, прочитал ее молча, молча же положил на поставец. Ратмир и боярин Федор не нарушали тишины горницы.

— Великая беда грозит Владимиру, — как бы размышляя с собою, промолвил Александр. — Князь Юрий собирает рать. Он не просит помощи, но не подумать ли

нам о том. Князь Юрий в Ярославле, возьмем путь на Переяславль и Ростов. Встретим большой полк суздальский и соединимся с ним.

— Тяжек будет поход, княже, — насупясь, произнес Ратмир. — Мало времени, а ждать, когда соберем большое войско, некогда. Выступим с дружиной к Торжку. Захватит в пути весть, что пал Владимир, станем в Торжке, заслоним дорогу на Новгород.

Александр взглянул на воеводу и так крепко сжал подлокотники кресла, что скрипнуло дерево.

— Не устрашился ли ты Орды, Ратмир? — резко спросил он. — Не велишь ли ждать, пока Орда побьет князя Юрия?

— Не бегал я от врагов, княже, и не ведаю страха, — не повышая голоса, спокойно возразил Ратмир. — Вели мне выступить — пойду немедля. Не себя берегу я, Александр Ярославич, иное тревожит — то, что встречаем Орду малыми ратями. Смоленск и южные украинные города русские в стороне. В том и сила ордынян, что не в силе, а в храбрости и смерти бранной славу ищем. Дальний поход наш откроет Орде путь к Новгороду.

В словах воеводы прозвучало что-то новое, о чем раньше не задумывался Александр. Не в смерти ли бранной и он ищет славы воинам? Александр взглянул на Федора Даниловича. Тот сидел молча, как будто не слушая, о чем говорилось в горнице.

— Что ты молвишь, болярин Федор? — Александр обратился к нему. — Соберем ли войско, поспеем ли на помощь князю Юрию?

— Не воин я, княже, нужен ли мой совет?

— Скажи! Твой совет — совет мужа. Тебе ли не знать Новгород, силу нашу?

— Горькое слово не легко молвится, Александр Ярославич. Новгород не соберет войско. И посадник и бояре в совете господ мыслят: далеко, мол, Новгород, не достанет Орда, отсидимся. И то памятую, Александр Ярославич, Орда идет конно. Новгородское войско не сможет еще подойти к Торжку, когда — либо ордыняне разорят Владимир, либо князь Юрий поразит их. А поход твой развяжет руки вотчинникам.

— Пусть! — возразил Александр. — Себе не ищу мира.

— Позовет Новгород другого князя, — будто не слыша восклицания Александра, закончил свою речь Федор Данилович.

— Так ли? Не по догадкам ли судишь, болярин?

— Нет, княже, не по догадкам. Покуда в Новгороде дружина твоя — в твоих руках сила, уйдет дружина — осилят верхние.

— Не сложатся в одну речь с верхними городовые концы. Не скажет Новгород распри.

— Скажет, Александр Ярославич, — произнес Федор Данилович так просто и уверенно, что нельзя было не прислушаться к его словам. — В страхе живут люди, а страх пуглив, — продолжал он. — И совет господ и вече молвят: бежал Ярославич, некому оберечь Новгород. Вотчинные дружины боем станут против тебя, и владычный полк с ними. Великому князю Юрию Орда руки связала, батюшка твой, князь Ярослав, далеко, в Киеве... Будет распря, тебе не найти помощи, не жди...

Оставшись один, Александр открыл окно. Осенняя прохлада полной струей влилась в душную горницу. Неподалеку белеет освещенный мягким солнцем зеленый шатер звонницы древней церкви в ограде Городища. Две сотни лет стоят ее каменные стены. Мстислав великий, сын мудрого Ярослава киевского, будучи князем в Новгороде, велел разобрать сохранившиеся от старины каменные хоромы и на месте их заложил церковь. За нею темнеет заросший кустарниками, осыпавшийся вал, а дальше, за валом, просвечивая сквозь опаленную осенью редкую уже листву берез, серебрится и играет Волхов. Дубовая роща на том берегу как бы выступает из вод реки; рядом с рощей — стены и позолоченные кресты Юрьева монастыря.

Горькая боль сжимает сердце Александра. Легко ли сознавать бессилье свое, когда ордынские конники топчут родную землю, льется кровь мужей русских, дым пожаров застилает погосты и города. «Прав болярин Федор, — думает Александр. — Жестокую, холодную правду молвил он: не даст войска Новгород. Выступлю с дружиной — мала будет помощь князю Юрию и не найти без боя обратного пути на Новгород».

СЛОВО ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Восковые свечи в кованых подсвечниках оплыли от жары. Длинные неровные тени бегут по росписи каменных сводов Грановитой палаты, где собрались славные богатством и вотчинами верхние люди новгородские на совет господ.

— Пронесло бы грозу мимо! — послышался чей-то вздох.

— Пронесет. В Новгород далеки пути, — молвил боярин Нигоцевич; молвил и еще выше поднял бороду. — До зимы Орде не одолеть путину, а зимой вьюги заметут следы. О том не грех умом кинуть, славные мужи: суздальцам Орда крепко связала руки.

— Не полки ли новгородские велишь послать на помощь суздальцам, Борис Олелькович?

— Не о том я... Не потатчик я суздальцам. Иное бы молвил...

— По-иному-то сладим ли с Ордой?

На слова, брошенные кем-то из худородных, Борис Олелькович и не повернулся, продолжал говорить то, что начал.

— Иное бы, — повторил он. — От Орды у себя отсидимся, а не пришло ли время, славные мужья, заступить себя Великому Новгороду? — В напряженной тишине палаты голос Нигоцевича прозвучал негромко, но так ясно и внятно, что его слышали все. — Подумать бы, мужи, да и молвить князю Александру, не люб-де ты, уходи!

— Твое слово, болярин, не слово Великого Новгорода, — вскочил Никита Дружинич, кончанский староста со Славны. — Нет и слова Новгорода, нет и воли, чтобы гнать Александра.

— Зачем гнать? — Нигоцевич кинул насмешливый взгляд в сторону Никиты. — Честью молвить: уходи, не люб!

— А тебе, болярин, легче позор и разорение принять от Орды, чем видеть в Новгороде Ярославича? — выкрикнул Дружинич.

Лицо Нигоцевича потемнело. Ему ли, именитому вотчиннику, терпеть хулу? Не по роду, не по вотчинам —

по кончанству лишь своему величается Дружинич боярином.

— По месту-то след молчать бы тебе, Никита, — нравоучительно произнес Борис Олелькович. — Верхних послушай! Всему Новгороду ведомо, не по нашей воле сел Александр на княжение. Навязал его Ярослав, а мы терпим. Не пора ли, славные мужи, подумать о вольностях Великого Новгорода?..

— Не вольности — кабалу ищешь Новгороду, Борис Олелькович, — перебил Нигоцевича боярин Сила Тулубьев. — Не распрей, а дружбой с князем нашим крепок Новгород.

Широкоплечий, неуклюжий Тулубьев выступил вперед. Пышная русая борода его спуталась. Размахивая руками, все повышая и повышая голос, Сила Тулубьев продолжал, обращаясь к совету:

— Орды боимся, мужи, а под боком не видим врага. Забыли походы Ярославовы. Лыцаришки ливонские давно ждут распри Новгорода со своим князем. Кто против суздальцев и княжей власти? Вотчинники. Город, торговые люди и ремесленные как стояли, так и стоят грудью за Александра. О том подумаем, а ну как нападут лыцаришки, с кем идти против них?

Сила Тулубьев — кончанский староста Людина конца. Говорил он так же нескладно, неуклюже, каким был сам. Громкий голос его словно разбудил бояр. Шум и недовольные выкрики с каждым словом Тулубьева становились напряженнее. Стараясь перекричать друг друга, бояре трясли кулаками, кое-кто вытирал оплеванную бороду. Того и жди — выбьется шум из Грановитой на улицу... Кто-нибудь, не стерпев, зазвонит набат в вечевой колокол. А станется так — боя не миновать. И когда казалось, что нет силы, способной усмирить расходившиеся страсти бояр, владыка, сидевший перед тем неподвижно, открыл глаза. Медленно-медленно поднялись сухие двоеперстия старческих рук.

— Мужи новугородстии, — тонкий, похожий на женский, голос владыки устрашающе взвился под каменные своды палаты. С воздетыми ввысь руками владыка обвел взглядом бояр. Наступила тишина. Владыка-архиепископ в Новгороде Великом — глава совета господ; не княжее, не боярское слово громко в Грановитой, а то,

что произнесут уста старца в черной мантии. — Не в пору, мужи новугородстии, брань с князем, — продолжал он. — Не яростью возвеличится ныне святая София, а тишиной. Мир и благодать да пребудут с нами!

Черные попы подхватили владыку под плечики, помогли спуститься на землю. Словно вода, пролившаяся в бушующее пламя, речь владыки усмирила спор. Бояре расселись по лавкам. Владыка благословил продолжать совет.

В тот же день вечером боярин Нигоцевич с кумом Лизутой и Стефаном Твердиславичем сидел у себя в гридне. И Твердиславич и Лизута, встревоженные упрямством Бориса Олельковича, пытались образумить его, не поднимать шум против князя.

— Тебе, посаднику, и нам придется держать ответ перед Новгородом, — прищурив узенькие щелочки глаз, говорил Лизута. — Не случилось бы с нами того, что было с посадником Мишей: затеял он шум, а после пил воду со дна Волхова.

— Миша дураком жил, Якуне, — стоял на своем Борис Олелькович. — Он на рожон лез, а рожном добра не взять. Надо с умом, хитростью.

— Хитрость — не сила. Не сладко стоять с непокрытой головой после, — молвил Твердиславич. — На что умен и хитер был Вовза... Брат он мне. За упрямство за свое принял беду, не устоял.

— Помню о том, Стефане, — Нигоцевич обратил к Твердиславичу красное, потное лицо. — Жалею Вовзу, но того ли нам ждать? Не сила хитрость, а каменные стены рушит. Выкатим бочки с медом да олуем мужикам-вечникам, и будет у святой Софии и на Ярославовом дворище наше слово словом Великого Новгорода. В страхе народ, а в страхе люди на посулы падки.

— Трудно начинать, Борис Олелькович.

— Нет, Стефане, не трудно, не нам ждать беды. Поднимем вече против Александра, скажем волю, как в старину говаривали князьям.

— Великое дело задумал ты, кум, — вздохнул Лизута. — Попытать бы у владыки совета.

— Владыка не заступник Александру, тебе, Якуне, болярину владычному, о том ведомо, — не отступал от своего Нигоцевич. — Страшусь я, покуда спорим — время

пачники и бочешники... На вечевой степени, возвышающейся над площадью, стоит, опустив руки на красные перильца, Игнат-гвоздочник, за ним Тимош-серебряник, лучник Онцифир. На степени — ни впереди, у перилец, ни позади — не видно боярских шуб. Лучник Онцифир, староста братчины мастеров оружейных, велел Никанору звонить вече. По старому обычаю новгородскому каждый вольный житель волен подняться на Ярославову звонницу и бить набат.

Вокруг степени шумно. Точно Ильмень в бурю, темными, крикливыми волнами колышется площадь. В шуме слышны голоса:

— Рязань-ту отбила Орду.

— Ох, правда ли?

— Правда. Верные люди сказывали.. Бежали ордыняне за Каспий.

Светлеют лица. Хороший слух каждому дорог, но не успел он затихнуть, как Офоня, сиделец из колпачного ряда, передал:

— Не Орда, братцы, страшна Новгороду. Орда далеко. Князь Ярослав с суздальскими полками в Торжке.

— Почто идти Ярославу?

— Идет.

— Не в колпачном ли ряду его видели, Офоня?

— Видели. Люди прибежали из Торжка... Как станут на зиму в Новгороде суздальцы, хоть не живи после.

Никому не хочется верить Офоне. Любит он похвастать перед людьми и соврать походя. Не верят, но время тревожное, а вдруг да на этот раз правду Офоня молвил?

— Ярослав княжит в Киеве, — оттеснив Офоню, сказал кузнец Страшко. — Офоня врет, а вы заслушались.

Вдруг толпа качнулась. Не говор уже — смех слышно:

— Антон-дегтярник идет, сторонись, люди добрые!

— Снял бы ты свою епанчу, Антон! За версту от тебя дух, как от дегтярни.

— Без дегтю, мужи, телега скрипит, — отшучивается Антон, пробираясь ближе к вечевой степени.

— Мужи новгородские! — подняв руку, призывая к тишине, выступил вперед Онцифир. Седая борода закры-

вает грудь лучника. — Ведомо ли вам, мужи, что верхние люди, боярство вотчинное, замыслили измену Новгороду; ведомо ли...

Голос Онцифира пропал, словно растаял в криках и гуле толпы.

— На вечный суд... Кто изменник?..

— Имя... Имя молви, Онцифире!

— Велику ли измену замыслили?

— Посадника!.. Куда сокрылся Бориска от Великого Новгорода?

— Нагулял сало на сладких хлебах.

— В вотчинках у него с голоду мрут холопы...

— Пусть выйдет на степень, скажет вины свои Новгороду!

Слова как искры. Будто из ночной мглы, вырываются они из людского гула.

— Князя не видно. Давно не слышно голоса его перед Великим Новгородом.

— В Городище послать... Ну-ка, братцы, скороходы-молодцы, кому сапогов не жаль, разомните ноги!

— Орда-то, чу, у Торжка... Где полки новгородские?

— Разорит Орда Новгород...

— Посадник... Нигоцевич в измене.

— Посадника!.. Пусть скажет!

— Скрыл от веча глаза Бориска.

— Найдем! Близко Великий мост...

Потряхивая медным шаркуном, вблизи степени очутился Прокопко-юродивый. Скачет на одной ноге, гремит шаркуном.

— Дон, дон, из Суздаля звон. В Суздале Орду встречали, в Суздале Орду за стол сажали: иди, Орда, в Нов-Град, зори, Орда, Нов-Град, бери, Орда, Нов-Град!..

— Уймись-ко, божий людин! — прикрикнул на Прокопа Шумило-плотник. — Язык у тебя бархатный, а слово худое... Сунешься под горячую руку, не испить бы ненароком воды из Волхова.

Взглянул Прокопко на хмурое, в рябинках, лицо плотника, прикусил язык. Бочком оттерся в сторону, пропал.

— Кто не по обычаю, а по лихоимству своему берет дань с ремесленных? — крикнул Онцифир. И подождав,

пока утихомирится шум, ответил: — Степенный посадник, болярин Нигоцевич. По его вине и ремесло наше и воля в опале. Выше Новгорода поставил себя Борис, и лад у него не с Господином Новгородом, а с верхними людьми, с болярством вотчинным; воля от него вотчинникам, а меньшим людям ярмо и неволя. Не болярина, не гостя именитого карает суд посадничий, а черных людей, у кого мошна пуста, кто не несет за себя мзды. Подаст болярин черствую корку голодному и по клятве кабальной ввергнет за корку в кабалу. Терпеть ли, мужи, поругание Новгороду Великому от посадника нынешнего и боляр вотчинных? Не время ли меньшим людям молвить слово...

— Время, Онцифире!

— Спросим Бориску, не тяжела ли ему гривна посадничья?

— Спрашивала кукушка ястреба, да крылышки потеряла.

Шум нарастал. Гнев, что годами долгими накапливался в людских сердцах против верхних, вырвался наружу; тесно ему у вечевой звонницы. Точно Волхов весною, когда, взломав ледяную крышу, буянит и пенится полой водой, зашумел Новгород.

— На суд веча Бориску Нигоцевича! — крикнул Антон-дегтярник. Сбросив с плеч епанчу, в длинной холщовой рубахе, сухой, жилистый, казался он еще выше, чем в то время, когда пробирался к степени.

Крик дегтярника подхватил плотник Шумило:

— Сказан суд... С Великого моста в Волхов!

— На поток Бориску!..

Это крикнул Игнат-гвоздочник.

— На по-то-о-ок!

В единый крик слился шум. Словно люди на вече ждали слова, какое услышали от гвоздочника. «На поток!» Было в этом крике что-то неотвратимое. Все споры, все недовольство, вся ненависть к верхним вырвались из сдерживающих преград. «На поток!» Нет больше места ни терпению, ни страху. «На поток!» — это суд веча, суд Великого Новгорода.

— На по-то-о-ок Бориску!

Огромная толпа, заполнявшая все пространство перед вечевой звонницей, колыхнулась; с шумом, с угро-

жающими выкликами двинулась на Великий мост, на Софийскую сторону. Впереди Антон-дегтярник. Он с непокрытой головой, в длинной холщовой рубахе; на плече у него поданная кем-то на пути ослопина. За Антоном — Игнат-гвоздочник, Страшко-кузнец...

...Нигоцевич, Якун Лизута, Стефан Твердиславич, с боярами и гридями, шествовали на вече, когда навстречу им, из-за Волхова, донеслось:

— На по-то-о-ок!

Толпа бояр попятилась. Нигоцевич и Лизута первыми повернули к Детинцу. Со скрипом захлопнулись тяжелые ворота. На надвратных стрельницах показались красные щиты ратников владычного полка.

— Холопей, гридей загодя бы обружить, уняли бы, — промолвил Нигоцевич.

Ему никто не ответил.

— На по-то-о-ок!

Не спасет от суда Новгорода ни сила холопья, ни золотая гривна посадничья. Жив в памяти новгородцев большой «поток» при покойном князе Всеволоде Юрьевиче. Чуть не половину боярских хором сожгли на Пруской и на Чудинцевой. В Детинец, к святой Софии, не вломятся отчаянные головы, а на городских улицах — один суд: с Великого моста в Волхов.

Шумило-плотник, поплевав на ладони, достал из-за опояски топор и обрушил его на дубовую створу ворот у хором боярина Нигоцевича.

— Выходи, Бориска! Добром не выйдешь, огнем достанем.

ГЛАВА 16

ПОЛОЦКАЯ КНЯЖНА

Пал Владимир. Разрушен и предан огню стольный город. Земля залита кровью павших мужей, жен и детей. Княгиня и многие жители, укрывшиеся от ордынян в соборе Кремника, сожжены заживо.

Не знала предела жестокость ордынян. Пылали города и селища в Суздальской земле. Спасаясь от меча

и полона, жители скрывались в леса. В страхе перед нашествием росла ненависть. Люди брались за топоры и копья, складывались в ватаги. Всюду, куда ни шел враг, его стерегли зоркие глаза. Ордынские воины — кто отстал или вперед ушел — исчезали бесследно. Ватаги русичей нападали на вражеские обозы с хлебом, уводили коней. Жители сжигали зажитья, оставляя в добычу врагу пепел и смрад.

Хан Батый послал многочисленное войско с воеводой Бурундаем на север, на поиски рати великого князя. На пути войско Бурундая сожгло Суздаль; пепел зажитий и кровь людей русских взывали о мщении там, где проходили ордынские конники. Минуя Ростов Великий, орды Бурундая повернули к Волге, переправились через нее по льду и окружили стан великого князя, стоявший на речке Сити.

Наступала весна. Днем припекало солнце, а по ночам злились морозы. В пятом часу поутру, на четвертый день нового [1], тысяча двести тридцать восьмого года началась битва. В малом числе бились с Ордою русские ратники — один против десятерых. Никто из русичей не бежал с поля. Многолюдством своим сломили ордыняне суздальские полки. Озлобленные упорством русичей, потеряв в битве больше воинов, чем было людей в русских полках, ордыняне рубили и топтали конями побежденных. Сражавшийся рядом со своими воинами князь Юрий Всеволодович пал в битве.

В те дни, когда войско Бурундая опустошало север Суздальской земли, орды с воеводой Киданем, захватив и предав огню суздальские города — Москву, Дмитров и Тверь, — вступили на Новгородскую землю и осадили Торжок. Мало в Торжке ратных людей, воевода стар, — ордыняне не ожидали сопротивления. Но посадские жители, торговые и ремесленные люди, встали на защиту своего города. В их рядах бились и смерды, бежавшие в город из ближних погостов и займищ. Ордыняне пробовали взять город боем, жители отразили врагов. Окружив Торжок, воевода Кидань велел бить пороками стены. Две недели пороки ордынян кидали камни, но

[1] В древней Руси (до конца XV в.) началом года считалось 1 марта.

жители Торжка не открывали ворот, крепко стояли на стенах.

Ждал Торжок — даст ему помощь Великий Новгород.

— Пошлем рать — в Торжке нас побьют ордыняне, как после обороним себя? — говорили бояре в совете господ. — Сохраним войско, отсидимся в городе от ордынян.

Новгород не дал помощи. Торжок пал.

Под Владимиром, в битве на Сити, в бесконечных сражениях с неуловимыми ватажками русичей скрывающимися в лесах, орды хана Батыя потеряли много людей и коней. Не было и добычи. Ордынские воины варили и ели мясо павших от голода коней. Поход в снегах, по разволгшим весенним дорогам, не сулил выгод. Хан Батый вернул войско Киданя, шедшее к Новгороду, и, соединясь с ним и ордами Бурундая, пошел через разоренную Рязань на юг, в Черниговскую землю.

Мужественно сопротивлялись ордам Батыя русские люди. Семь недель все войско хана стояло на берегу Жиздры, у города Козельска. Четыре тысячи ордынских воинов пало под его стенами. Не город — обожженные развалины достались врагу.

— Злой город, — сказал Батый.

Он велел сровнять с землей все, что осталось от Козельска, и перебить всех жителей города, никого не щадя.

А впереди сильные русские города, сильные рати Новгород-Северского, Чернигова, Киева, Галича. Ослабленное и поредевшее в битвах с русичами в Рязанской и Суздальской землях ордынское войско повернуло в землю булгар, ушло за Волгу.

После гибели брата Юрия князь Ярослав Всеволодович, живший в Киеве, прибыл во Владимир и принял великое княжение.

Новгород избежал нашествия, Александр Ярославич жил на княжем дворе в Городище, редко бывал в городе. Он не ссорился с вотчинниками, но в совете господ и у себя в гридне держался гордо и неприступно.

В тот день, когда Новгород взял на поток хоромы боярина Нигоцевича, буйство города встревожило княжий двор. Не против князя, против бояр вотчинных, врагов княжих, поднялся Новгород. Заступить ли вотчинников князю или остаться ему в стороне?

Из Новгорода выступили по последней санной путине и через неделю вошли в Полоцк. Князь Брячислав ласково принял князя новгородского. Весь вечер в гридне без устали ходили круговые чаши. Спал Александр в светлой горнице, вместе с Гаврилой Олексичем. Александр проспал до полудня, а Олексич спозаранку проведал дружину, поглядел на конюшне, что жуют кони. Вернулся, разбудил Александра.

— Вставай, княже, пора! Гляди, к обеду кликнут.

— Аль поздно? — Александр поднял голову.

— За полдни перевалил час. Дружину я проведал, людей тутошних посмотрел... Добро живут. Вчера, после пира, воевода Ратмир с князем Брячиславом беседу вели, и нынче они давно в гридне... Будто ряду ведут.

— Что еще видел, Олексич?

— Еще... Видел княжну полоцкую. Спрашивала она меня...

— О чем?

— Где, говорит, ваш князь, витязь? И в Новгороде он до полуден спит? Хорош, пригож, сказывают. Я, чтобы подразнить ее, хорош, говорю, да на ногу хром, строен, говорю, да немного кривобок, лицом пригож, да бородавка с кукиш.

— Ха-ха!.. Что ж ты, Олексич, охаял меня? Смеется небось надо мной княжна.

— И пусть! Увидит — перестанет. А хороша княжна, Ярославич, и бойка. Такую бы, как она, нам да во княгини...

— Не болтай пусто!

— А может, не пусто, — усмехнулся Олексич. — Слышал я чуть-чуть, о чем Ратмир с Брячиславом толкуют... Вроде ты тебя сватают.

— Полно!

— Ей-ей так. Который уж год ты во князьях, а ни в Новгороде и нигде тебе по сердцу невесты нету. Старое-то горе только памятью горько. Не за тем ли нынче поход наш в Полоцк? Знаешь ты, Александр Ярославич, о чем писал князь Ярослав воеводе Ратмиру?

— Не ведаю.

— То-то, а Ратмир Ярославову грамоту показывал Брячиславу.

Скоро позвали к столу. Стол сегодня по-домашнему — княгиня будет принимать гостя. Вошел Александр в гридню, в глазах у него зарябило от сарафанов и летников. Князь Брячислав поднялся навстречу, повел Александра к княгине и сказал:

— Князь Александр новгородский, сынок великого Ярослава владимирского...

Александр склонился перед княгиней. Она ласково прикоснулась губами к его лбу и промолвила:

— Рада видеть сына Ярославова. Хорош молодец, в батюшку. Параша, здоровайся с гостем!

Параша! Вот как зовут княжну. Александру вспомнился недавний разговор с Олексичем. И смешно ему: как взглянет на него княжна после того, что насказал ей Олексич? Увидел Ратмира. Воевода сидит с краю стола, мочит в чаше усы, словно не слышит ничего. Из пестрой толпы девушек отделилась одна в голубом летнике. Вышла вперед, поклонилась князю и княгине, затем, так же низко, Александру.

Правду ли молвил Олексич, расхваливая Александру полоцкую княжну? Сказал он, что бойка, а она опустила очи, не взглянула. Только и видел Александр русую, точно свитую из живого золота косу да вошвы, которые чудным и ярким узором играют на летнике. На голове княжны легкий жемчужный убор с серебряным ободком, украшенным мелкой зернью; от ободка, закрывая виски, спускаются золотые колты; в них, на узорном поле, играют драгоценные смарагды и лалы.

За княжим столом в Полоцке не новгородский обычай. Случись стол у Ярослава — сидел бы Ярослав на первом месте, а в Полоцке первое место княгине. Князь Брячислав по ее правую руку, по левую — Александр. Княжна рядом с отцом, наискоски Александра. Вокруг *стола войско стольников и чашников. За столом воевода* Ратмир, ближние дружинники Александровы и ближние бояре полоцкие.

Непривычно Александру пышное убранство стола. Пил он из золотой чаши, рыбу и дичь ставили перед ним на серебряных торелях. Кулебяки с налимьей печенкой, пироги слоеные и медовые... От чаши романеи, золотистой, как янтарь, что поднесла гостю княгиня, у Александра кружилась голова.

Ласковы с гостем Брячислав и княгиня, выше бы всех поднимать Александру заздравную чашу, а он опустил глаза. Впервые увидел он полоцкую княжну, а кажется, давным-давно знает ее. И она — взглянет украдкой на гостя, будто искрами осыплет из-под длинных ресниц. Развязались за чашами языки. За шумом и говором не расслышал Александр, как княжна, взглянув на него, сказала что-то отцу, князю Брячиславу.

— Хо-хо-хо! — смех Брячислава раскатился на всю гридню. — Веселые хлопцы у тебя, Ярославич, — сказал он через стол Александру. — Чего ани дочке́ моей про тебя насказали... Хо-хо-хо! И хром-де ты, и кривобок... Ана поверила. То-то, молвил ей давеча, что сговорился я с князем Ярославом отдать ее тебе в жены — слезы лила, а увидела... Хо-хо! Молчу. Не сердись, дочка́!.. А ты, Ярославич, скажи-ка и ты перед всеми, по серцю невеста?

Александр не знал, что ответить. К лицу его хлынула кровь. А Брячислав не унимается, продолжает свое, будто не замечает смущения гостя.

— О том, что дочка́ думает — не пытаю, сам разумию, за кого отдаю, а тебе, князюшка, не за батьку, за себя решать...

На один миг глаза Александра встретились с глазами княжны. Как и что он молвил? Догадался о том, когда снова услышал голос Брячислава.

— И мне ты по серцю, Ярославич, — поднимаясь со скамьи, торжественно произнес Брячислав. — Коли так, ты, князь, и ты, дочка́, встаньте рядом... Ой-ой, покраснела невеста. Уж довольна ли? Будто не сокола выбрал ей. Благословляй, княгиня!

ГЛАВА 17

ЛЕСОВИКИ

Весна шла в блеске: с синими чуткими ночами, холодными, хрустящими, как сухой песок, яркими утренниками. Движение ее было медленным, но с каждым днем на поляне открывалось что-либо новое, невиданное доселе, дарованное весной.

Первые черные отметины на снегу появились на кромке обрыва. Вскоре лапы проталин поползли вверх по плоскому увалу. На обрыве, низвергаясь к реке, засияли многочисленные ручейки. Снег начал оседать. Под ним в каждой впадинке скапливалась вода, отчего наст как бы сплющивался, становился плотнее.

Лопнули почки на вербах. Ветки их покрылись пушистыми, светлыми коконами. Потом зацвели березы, распустив темно-желтые хрупкие серьги; точно мохнатые жуки, жесткие и тяжелые, набухли почки осин. Сосновый бор, плотной стеной окружающий поляну, загадочный и таинственный, каким он казался зимой, посветлел и позеленел. Хотя внизу, под деревьями, лежало еще много снега, но в бору уже исчез тот обманчивый зимний покой, каким совсем недавно здесь было насыщено все.

В одно из тихих и ясных утр на проталине у обрыва появились грачи. Строгие в своих черных уборах, они прохаживались по оттаявшей земле, о чем-то спорили, пачкали клювы в свежей, влажной россыпи. Казалось, птицы решали: остаться ли им здесь или, отдохнув, лететь дальше, туда, где искони чернеют в ветвях гнездилища предков.

Как-то вечером в избу влетела Олёнушка. Глаза ее искрились и сверкали так, словно вместе с нею ворвался в дверь весь простор поляны. В избе был Ивашко. Держа у колен сухой березовый пласт, Ивашко надрубал его по торцу, отщепывая во всю длину тонкие прямые лучины.

— Слушай, братец! — позвала Олёнушка. — Слушай-ко!

Ивашко затаил дыхание, но не услышал ничего, что было бы новым и необычным. Олёнушка помедлила, наблюдая за выражением его лица, потом спросила:

— Ну, что?

— Ничего.

— Ничего? Эх ты! .. Скворец играет.

— Да ну? — на губах Ивашки показалась улыбка.

— Играет... Тот самый, летось который жил.

Поляну кутает тонкая серая мгла прозрачных весенних сумерек. Над крышею займища, на гибкой жердин-

ке, словно нераспустившийся цветок на длинном сухом стебельке, выдолбленная из чурбаша и обернутая берестой скворечня. В сумерках еле виден черный, круглый «глазок» ее. Березовые ветки, привязанные к скворечне, топорщатся в стороны, напоминая поставленную на развилке веху.

Ивашко послушал.

На лесной поляне как-то по-особенному, вольно и хорошо, звучала песнь скворца. Полная весенних запахов тихая вечерняя мгла застыла очарованная. Рядом с Ивашкой Олёнушка. Взгляд ее устремлен вверх, куда-то в синюю глубину потемневшего неба; полуоткрытые губы вздрагивают в лад песне. Ивашке кажется, что Олёнушка понимает голос птицы, знает, о чем поет скворец, и песнь его близка ей. Недаром росла она в бору, знает лесные тайны. И Ивашко полюбил бор. Никогда не жилось ему так хорошо и привольно, как на займище у Данилы. Кроме Данилы и Олёнушки, нет и не было ему никого ближе на свете.

Перед началом весенней распутицы Данила спустился в клеть, под полом избы. Надо было поднять оттуда кадь с житом. Данила опасался: не подступила бы в клеть вешняя полая вода. Качнул кадь — тяжела. Решил выгребать жито и мерками поднимать наверх. Он было принялся за дело, но тут вспомнил, что наверху, в избе, остался Ивашко.

— Ивашко, жив ли, молодец? — крикнул Данила.

— Жив, — отозвался тот.

— Иди-ко, не осилю кадицы...

— Сейчас.

Спускаясь, Ивашко сосчитал пять ступенек лесенки. Свет из открытой «западни» тускло падал вниз, на утоптанный земляной пол, и был до того слаб, что Ивашке не видно ни кади, ни стоящего около нее Данилы.

— Сюда! — позвал займищанин. — Подавайся на голос!

— Нашел.

— Темно. Погоди чуть, огонь высеку.

Звякнуло о кремень кресало. В темноте брызнули яркие сухие искорки. Когда трут затлел, Данила принялся легонько раздувать его, пытаясь зажечь лучинку.

Лучинка, видимо отсырев, таяла красным угольком, но не занималась. Ожидая, Ивашко попробовал приподнять кадь. Она поддалась. Придерживая левой рукой за обручи, а правою подхватив под дно, Ивашко поднес кадь к «западне» и выставил наверх.

Данила бросил лучинку. Красной ниточкой сверкнул уголек и исчез.

— Ну, паробче, — Данила подошел к Ивашке. — С твоею силушкой не в лесах жить.

Ивашко не знает сам, откуда у него сила? Рос он сиротою. Вольным жил, но ел не сладко. По нечаянности, из-за того, что безродный, попал в боярскую кабалу и столько хлебнул горя, что на дюжину молодцов впору. Не хвалился он силой, но на полюбовном кругу, в погосте на Лач-озере, не находилось ему супротивников.

Скворец умолк. За рекой, над вершинами бора, блестят подгорающие снизу края облаков. Оглянулся, Олёнушка исчезла. Ивашко собрался было идти в избу, но откуда-то издалека, из-под обрыва берега, донеслось:

Стоит во поле липинка,
под липинкою бел шатер...

— Олёнушка! — крикнул Ивашко.

Встрепенулся умолкший скворец, испуганный криком. Облетел вокруг скворечни и угнездился под ее кровлей.

— Олёнушка! — повторил Ивашко.

Тихо. Умолкла песня о липинке... Олёнушка не отозвалась.

Дружен Ивашко с дочерью займищанина. Как на милую сестру смотрит он на девчонку, а она зовет его братцем. Данила не перечит их дружбе. Молода Олёнушка, но бойка и умна. Доверяет она все тайные мысли братцу... Но вдруг, в погожий день, когда особенно хороши и река, и поляна, и все вокруг — Олёнушка потемнеет, задумается о чем-то... Скроется в бор и, сколько ни зови ее, не подаст голоса.

Ничего не страшится она — ни бора, ни хищного зверя, ни темной ночи.

ВЕСНА В БОРАХ

Не успела зазеленеть на опушке лиловая поросль березняков, как во мхах, на лесных прогалинах, засверкали голубые искры подснежников; следом за ними на обрыве у Шелони желтыми огоньками вспыхнули одуванчики; во впадинах, около реки, в тихих застоявшихся водах, расцвели белые как снег кувшинки, а на поляне, около соснового подлеска, показались золотые с зеленым налетом первые шарики дикого мака.

Весна.

Данила в эти дни пропадал в борах. По затесам и узлам на деревьях находил он старые борти. Осмотрев дупло, прикладывал к нему ухо, прислушивался: живы ли пчелы? Найдя новую борть, Данила, чтоб заметить место, завязывал узлы на ближних кустах, потом осторожно вырезал стенку дупла и, поставив вырез обратно, закреплял лычиной. На поляне, в осиннике перед займищем, стоймя, на козелках, темнели вытесанные наподобие дупла, накрытые берестяной «скалой» колоды. Чтобы «скала» держалась, сверху на ней укреплен камень. В эти колоды Данила переносил молодые рои. Борти в осиннике давали больше меду, чем лесные, в дуплах; легче были к добыче.

Ивашко немало дивился, когда увидел в осиннике колоды с пчелами. На погостах и на займищах у Лачозера, где Ивашко жил до той поры, пока не попал в боярскую кабалу, бортники знали только лесной промысел, не ставили колод около жилья, не подбирали молодых роев, вылетевших из бортей. Борти в осиннике — хитрость Данилы. Про нее говорили люди на Шелони и на Мшаге, но редко-редко кто подражал займищанину, — искали борти, как в старину деды искали.

Весною Ивашко не раз бывал в борах с Данилой, но не занимал его промысел бортника. Скучно идти бором, высматривать дупла, слушать их и стучать по ним обушком. Иногда из дупла доносились шорох и царапанье. «Векша», — узнавал Данила. Он сильнее стучал обушком по дуплу, и тогда Ивашко видел, как мелькал в воздухе пушистый, тронутый весенней рыжиной хвост и

исчезал в густой зелени на вершине. Бывало, ходят день, стучат по дуплам, слушают, а вернутся на займище — ни одной новой борти не затесано.

С Олёнушкой Ивашко ходил в бор на ловлю птицы и зверя. Брали птицу перевесищами, стреляли из лука. Ивашко завидовал девчонке и изумлялся ловкости, с какою, припав на колено и уперев рог кибити в землю, Олёнушка клала на тетиву стрелу. Пущенная стрела с тонким свистом сверлила воздух.

— Кривая стрела была, братец, — смеялась Олёнушка, когда Ивашкина стрела летела мимо.

— Твоя метче, — дразнил Ивашко девушку. — Перышки у твоей опали.

— Стрелю и без них. Сучочек, крайний тот, видишь?

— Вижу.

— Стрелю его.

Олёнушка, оголив хвост стрелы, наложила ее на тетиву. Миг... Сбитая веточка упала наземь.

— Не стрелить тебе, как я, братец, — хвалилась Олёнушка. — Не взять птицу в глаз.

Как-то были Ивашко с Олёнушкой в бору. Но то ли день выдался неудачный, то ли счастье покинуло Ивашку, — он шел с пу́стом. Солнце поднялось над вершинами сосен, а Ивашко ни разу не наложил на тетиву стрелы; будто и зверь и птица покинули бор. Около полудня Ивашко перебрался через неглубокую впадину, одолел плотную заросль орешников, вышел на лесную полянку и вдруг...

— Ах ты, неладна!

Он споткнулся о заросшую густой травой старую колоду, упал. Стряхнув с ладоней прилипшую к ним хвою и другую падаль, огляделся. Черный ствол давно упавшего дерева врос в моховище. Ивашко встал на колодину, снял колпак и тульей его вытер лоб.

Прямо перед ним возносятся ввысь стволы могучих сосен. В ярких бликах солнца, прокрадывающихся сюда сквозь живую твердь зеленых вершин, сосны кажутся покрытыми бронзово-серой, звенящей чешуей. Вверху шумит ветер. Сосны покачиваются, гудят вершинами. Иногда, когда ветер рвет крепче, стволы их вздрагивают. Дождем сыплется вниз высохшая чешуя, жесткие хлопья лишайников, усики сухих, золотистых игл. В глазах

Ивашки отразилось вдруг такое восхищенное изумление, будто все, что окружало его здесь, он увидел впервые. В кажущемся однообразии лесной жизни перед Ивашкой раскрылось столько чудес, столько неповторимых красок, что он, как зачарованный, смотрел на раскинувшееся перед ним несказанное великолепие бора. И работная клеть, и долгое блуждание в борах — все его недавнее прошлое отступило, стало таким далеким и невозвратным, что еле-еле цеплялось где-то, в темном уголке памяти.

Спрыгнув с колоды, Ивашко подбежал к ближней сосне, раскинул руки и попытался сплести пальцы, обняв ее. Это не удалось. Руки его едва дотянулись половины охвата.

— Ох, матера, голуба! — восхищенно вслух произнес он, оставив попытку обнять сосну. В глаза ему бросилась слеза янтарной смолы, застывшая на шершавой чешуе. Ивашко отковырнул смолу, размял и тем движением, каким бросают камушки по воде, кинул вдаль.

С каждым шагом его зеленая пустыня бора становилась приветливее. Вот он различил, как в торжественный гул вершин ворвался монотонный, сухой стук: черный дятел примостился, знать, где-то неподалеку, на сухостоине. Крикливо, как сбитенщицы на торгу, хлопочут сойки. На мшистой прогалине мирно и тепло отдыхают солнечные лучи. Сквозь пышный мох пробиваются на свет тонкие иголочки трав, а на солнцепеке, посредине прогалины, у старого, источенного муравьиными лазами серого пня рассыпались белые слезы цветков земляники. По стволу пня и там, где стоит Ивашко, взад-вперед снуют муравьи — черные, тоненькие, как тычинки зверобоя. Ничем не напоминают они красно-бурых лесных великанов, чьи жилища, сложенные из хвои и сухих веточек, подобны рубленым теремам.

По гладкому стволу сосны взмыла вверх векша. От неожиданности Ивашко оторопел. Он остановился, всматриваясь в вышину, но векша исчезла. Ах, вот она! Распустив хвост, рыжий, как прошлогодняя трава, паутина которой застилает темно-зеленые брызги брусничника, векша прильнула к сухому, почти скрывающему ее обломку сучка. Черные бусинки ее глаз с любопытством и недоумением пристально уставились на Ивашку. Он

схватился за лук, но, не наложив стрелы, опустил. Нет! Не вяжется свист стрелы с доверчивыми глазами зверька, да и на займище — посмешище для охотника принести из бора рыжую весеннюю векшу.

— Ах ты, рыжая! — погрозил Ивашко. Векша напомнила ему об Олёнушке. Где она? «О, да никак я заплутал».

Мысль о том, что он заблудился, встревожила Ивашку. Показалось, все вокруг его вдруг потемнело, нахмурилось.

Сложив трубою ладони, он приложил их ко рту, крикнул:

— О-о! Олёнушка!

В бору отозвалось и погасло эхо. Ивашко повторил крик, эхо подхватило громче.

Ивашко заторопился, побежал вперед, высматривая что-либо знакомое, что указало бы путь на займище. На бегу он нырял в плотные заросли, распахивал, как ворота, сцепившиеся ветки кустов, волком прыгал через валежины. Кажется ему, что и солнце светит не так ярко, как прежде, и ноги потеряли резвость, а бор все тот же — бесконечный, безлюдный.

Перебрался через пересохший овражек. Крутыми скатами, заросшими путаной, корявой ольхой, орешником и иным мелколесьем, овражек прорубается в глубину бора. Ивашко пошел берегом, надеясь выйти к Шелони, но тут представилось, что овражек ведет в сторону. Ивашко свернул к видневшимся впереди высоким дубкам... Вроде когда-то видел их. За дубками — небольшая полянка, а за нею... снова бор.

Ивашко устал. Во рту у него сухо, томит жажда. Куда идти? Повернул обратно к овражку и тут недалеко от себя увидел Олёнушку.

Она сняла стрелой глухаря. Большое черное тело птицы, цепляясь крыльями за колючие ветки, упало на землю. Стрела при падении сломалась. Опираясь на опущенную кибить, девушка, не отводя глаз, смотрела на добычу.

— Олёнушка! — позвал Ивашко.

— Братец! — Олёнушка обернулась к нему. — А я боялась — пропал ты... Заплутал. То-то бы искать тебя...

Ивашко подошел ближе.

— Стрелой стрелила? — спросил, любуясь на птицу.

— Нет! — Олёнушка посмотрела на Ивашку и засмеялась. — За хвост ловила...

Она подняла добычу. Птица была так велика, что распущенное крыло ее касалось земли.

— Пора на займище, — перестав смеяться, сказала Олёнушка. — Татко ждет.

ГЛАВА 19

ГОСТЬ

Из бора выбрались на езжую дорогу. Олёнушка убежала вперед. Уставший за день Ивашко шел медленно. У березняков, разросшихся по давней гари, недалеко от поляны, Ивашко увидел в стороне незнакомого старца. Старец сидел на траве около зеленых вересков; ломая небольшими кусочками хлеб, клал их в рот и медленно жевал. Заметив, что Ивашко смотрит на него, старец положил хлеб на кошель, привстал и поклонился.

— Век жить, век здравствовать, добрый молодец! — неожиданно тонким и высоким голоском сказал он. — Не слыхал, паробче, в здешних лесах живучи, где тут есть Данилова поляна?

— Тут она, близко, — ответил Ивашко.

— Ах, как добро! — обрадованно засуетился старец. — Не ждал, не чаял, что рядом сижу.

Он поднял кошель, надел на плечи и завязал на груди лямки.

— Сам-от, молодец, не там ли живешь?

— Там.

— Ах, добро! Гляди-ко, проводишь... Давно не видались мы с Данилой, не признает и лица поди...

На пути Ивашко с любопытством присматривался к шагавшему рядом с ним старцу. Тот был вовсе не так древен, каким показался издали. По одежде своей он напоминал безместного попа... Немало их бродит по Руси! Но что-то, чего Ивашко не мог понять, отличало

старца от безместных. Темная стеганая скуфейка покрывала его не то рыжие, не то выцветшие на солнце волосы. Плотно, как железный шелом, для виду обшитый крашениной, скуфейка прилегала к голове. Вытертый и потрескавшийся от долгой носки кожаный пояс туго перетягивал сшитый из той же крашенины, что и скуфейка, длинный зипун. На груди и спине старца зипун вздулся, как тегилей. Плетенный из липовых лык кошель тяжестью своей оттягивал плечи. Лицо старца — безбородое и безбровое, — несмотря на солнечный день, казалось до того серым и невыразительным, словно осыпали его когда-то пылью, да запыленным и пустили на свет божий. Когда старец молчал, тонкие губы его плотно смыкались, так что исчезал рот; около уха, на левом виске, лепилась темная бородавка с торчащими из нее длинными, жесткими, как ость, ржавыми волосками.

Данила стругал скоблем тесину, когда Ивашко с гостем подошли к займищу. Он оглянулся на скрип воротины; увидев вошедших, опустил скобель. В глазах его отразилось недоумение и любопытство.

Старец истово положил на себя крест, подошел ближе.

— Здрав буди, раб божий! — поклоном приветствовал Данилу.

— И тебе поздорову! Будь гостем, коли забрел...

— Не признал меня, раб божий? — после недолгого молчания спросил старец Данилу, который взялся было снова за скобель.

— Не узнаю, — выпрямился Данила, вглядываясь в лицо гостя. — Вроде приметный лик, а не припомню, где видел.

— Истинно сказываешь, — согласился с Данилой старец. Он снял с плеч кошель и опустил на землю около своих ног. — Много путин в мире — не счесть, не сложить их. Во все концы, во все края разбежались путиночки, а из всех-то нашлась и нам единая, столкнула на перепутье.

Данила старался вспомнить, где видел он этот стертый, безбровый лик? Старец напоминал ему кого-то. Но если встречались они, то, по-видимому, так давно, что память сохранила лишь смутное представление о человеке.

— Не припомню, — произнес наконец. — Чем гадать, лучше ты обзовись, отче!

Тонкие губы старца зашевелились. Они, как черви, ползали по подбородку, изображая улыбку. На дворе смолисто пахло свежей щепой. Сладкими пряниками рассыпана она около тесины, где мастерил бортник.

— Семена Глину не припомнишь часом? — негромко спросил старец.

— Семена?!

Глаза Данилы пристальнее уставились на гостя. Имя Глины напомнило молодость, то время, когда Данила жил далеко от поляны, рядом с вотчиной боярина Нигоцевича. Знал он тогда Глину; попом был Семен в вотчинной церкви. По милости Глины, которому полюбилось займище Данилы, согнала вотчинная стража займищанина с занятой им земли, расчищенной и обжитой; взяли землю в вотчину, пригрозив судом боярским за старые «злодейства». Вовремя ушел Данила. Набрел он тогда на поляну у Шелони, построил новое займище; а старым займищем его Нигоцевич одарил попа.

Не помнится старая обида, но все же появление Семена встревожило Данилу. Будто несчастье сулит встреча.

Недолго владел Семен Даниловым займищем. За наветы и лихоимство привелось ему пострадать от половников вотчинных. Займище спалили, сам еле жив остался. После объявился он в Новгороде, в хоромах боярина Нигоцевича. Когда брали новгородцы на поток Нигоцевичевы хоромы, вместе с боярином пропал из Новгорода и Семенко Глина.

— Семен, ты это?

— Я, Данилушка. Не признал, зрю? Истинно сказано: не красят годочки лик человеческий.

— Не зипун бы твой, может, признал бы, — сказал Данила. — Не ждал в мирских-то странниках тебя видеть.

— В каком пойдешь образе, в том и жив будешь, Данилушка, — сладко и нараспев прогнусавил Семен.

— По земле ходишь?

— Хожу. Велика она и чудна дивно! Побывал и в Плескове граде, и в Торжке, и в Твери, и в стольном Володимере. Много навидался, больше того наслушался.

— Откуда нынче бредешь, Семен?

— От киевских угодников, от пещер тамошних... Иду к Великому Новгороду.

— Шелонь-то и не по пути будто из Киева?

— Не по пути, — живо согласился Семен. — Я Русу посетил, Данилушка. Чуден град.

Бесцветные, похожие на кружочки высохшей осиновой коры глаза Глины вдруг вспыхнули огоньком и прищурились. Он вздохнул и переменил разговор.

— Обиду свою на меня помнишь?

У Данилы потемнело лицо. Ивашко, который стоял в стороне и слушал разговор займищанина с гостем, даже оторопел. Показалось, возьмет сейчас Данила старца, поднимет его и перебросит через ограду. Но Данила не тронулся. Глухо, как бы сам для себя, буркнул:

— Давно было, Семен, не помню.

— По-божьему молвил, Данилушка. Кой раб имеет зло в сердце своем — не возлюбит его господь. И не виноват я. То и было моей вины, что принял я жительство твое по воле болярина. Слышал небось, как подлая чадь надо мной надругалась? И хоромину, в коей жил я, спалили, и сам, не будь мне милости божией, жизни лишился бы.

— Знаю, — произнес Данила. — И о том слышал, жил ты после у болярина на Великом Новгороде.

— Истинно, Данилушка, жил.

— Хоромы Нигоцевича взял на поток Новгород при тебе ли, Семен?

— Не нам, Данилушка, судить болярина, — вздохнул Глина. — Умен и горд Борис Олелькович. Суздальскому княжичу он не покорился, за то и несет крест.

— Неужто жив он? — недоверчиво уставясь на лицо гостя и будто впервые слыша о боярине, изумился Данила. — При потоке-то, сказывали, свергли болярина с Великого моста.

— Нет, Данилушка, не попустил господь. Живет нынче Борис Олелькович в чужих краях, во граде Рыге.

— Бежал?

— Неведомы, Данилушка, пути господни. Может, нынче болярин в чужом краю, а завтра во славе вернется на свою отчину.

Поужинав, Глина улегся на лавку. Ивашко и Олёнушка давно спят: Ивашко на полатях, Олёнушка в горенке за кутней стеной. Тихо и темно в избе, но Данилу не берет сон. Разбередил в нем гость старое. Не верится, что бредет Семен из Киева, от печерских угодников, что мирским странником ходит он по земле. «Не из Рыги ли, не с вестями ли шествует от болярина Нигоцевича? Может, не вывелась в Новгороде измена?» Жаль Даниле, что при встрече, на горячую руку, не спросил о том Семена. «Теперь гость он в избе, а гостю — друг он или недруг — почет». Старым обычаем на Руси так положено.

Заснул Данила лишь под утро, но и сон его не успокоил. Снилось, будто Семенко Глина — не тот, худой, с серым лицом, каким явился вчера на займище, не в крашенинной скуфейке, а в высоком колпаке лисьем, преследует Данилу. По гнилым буеракам и падям бежит займищанин. Ему не видно Глины, но по тяжелому дыханию, которое слышно позади, знает: это Семен. В руке у Семена обнаженный засапожник. Обессилев, Данила упал и... проснулся.

С улицы струится в окошко утренний свет. Он падает на столбушку — тесаный брус около печи; рядом, у своего изголовья, Данила увидел Семена. Трогает он займищанина за плечо:

— Проснись, Данилушка! Простимся!

— Ты что, Семен?

Данила не сразу оправился от сна. Смотрит он на попа, как бы дивясь, что тот вновь превратился в серенького и невзрачного, не угрожает засапожником.

— Ухожу, Данилушка, — говорит. — Спасибо за приют!

— Почто рано, Семен, гостил бы...

— Пора. Птица в бору проснулась, и мне в путину время.

Он отошел, перекрестился на божницу, достал с полавочника скуфейку, надел ее...

Данила, проводив гостя, закрыл ворота.

— Ох-хо! — вздохнул. — Худое что-то в мыслишках у тебя, Семен: и взгляд немилый и правды на языке нет. Темный, чужой; прошел мимо — и будто радость выпил.

Миновала еще неделя. Поляна убралась в буйную

зелень трав. Всю неделю с утра до ночи Данила пропадал в борах, Ивашко почти не встречал его.

В субботу Данила вернулся засветло. Ворота на дво́рец оказались закрытыми; колышек, приставленный снаружи наискосок створы, показывал, что жители отлучились. Данила не пошел в избу. Он обогнул тын и направился к реке.

Ивашко стоял на самом краю высокого обрыва и, не отрываясь, смотрел на дальний берег, где в тихом голубом плесе застыла в воде сонная зелень берез. Увидев Ивашку, Данила хотел было крикнуть, испугать молодца, но вместо крика осторожно раздвинул кусты и позвал:

— Ивашко!

— А? — оглянулся тот.

— О чем кручинишься? Не с Олёной ли побранились? — высказал Данила первую пришедшую в голову догадку.

— Нет... В бору она, не видел сегодня... И не о чем нам браниться. На душе тяжко, Данила. Смотрю вот... Река, березы будто купаются в ней...

— Смутен ты, молодец, — присматриваясь к Ивашке, сказал Данила. — Тревожишься. — Он опустился на обрыв. — Устал я за день. Не сердит на меня, так откройся всей правдой... Может, послушаю да совет дам.

— Идти мне пора с займища, — промолвил Ивашко, но так тихо, что Данила еле разобрал.

— Далеко?

— Не знаю... Надо.

— Загадками толкуешь, — Данила упрекнул Ивашку. — Загадка хороша, когда с веселым сердцем загадывается, а у тебя на сердце веселья не вижу. Не тошно ли стало на займище? Не хочешь жить на поляне — воля твоя с тобой, иди! Только вот — дожидаются ли где хоромы рубленые?

— Нет у меня хором.

— Знаю, потому и молвил. Не с кошелем ли за плечами надумал бродить по свету, как Семенко? С тобой он явился на займище, не его ли судьба смутила? Знаешь ли о том, кто он?

— Не ведаю.

— Враг он мой, — говоря это, Данила понизил го-

лос. — С займища, с места обжитого, по вине и наветам его был я изгнан. Не уйди вовремя — лучшей доли, чем доля холопа болярского, не знал бы. Поселился я на поляне... С той поры тихо жили мы с Олёной, дочкой моей. Старое утихло, нового не ждал горя, а увидел вот Семенка, с того часу в груди будто огонь.

Ивашко не понял, что хотел сказать Данила, вспоминая о попе. С недоумением и каким-то страхом смотрел он на займищанина. Видел Ивашко, встретил Данила Семена как друга, а теперь помрачнел, вспоминает как о враге. Так как Ивашко молчал, Данила спросил:

— О чем твои думки, паробче?

— Семенко... Поп этот — враг? Ведал бы, не привел его.

— Не легка встреча с ним была мне, Ивашко, но, может, так-то лучше. Знаю теперь, жив он, что душа у него черная, какой и была. Я своим врагом считал его, а думается, селюшки не одному мне он ворог.

Данила подвинулся ближе к Ивашке, речь его зазвучала тише.

— В Новгород идет Семенко, — сказал он. — Прежде-то попом в вотчине болярина Нигоцевича жил он, вместе с болярином и бежал в Рыгу. Ходил я в борах и думал: нынче-то зачем здесь Семен? Не гонцом ли от Нигоцевича бежит в Новгород, не замышляет ли болярин в дружбе с лыцарями зло на Русь? Сдается, Ивашко, что так. Гостем вошел ко мне Семенко, и я принял гостя, не спросил ни о чем, не нарушил обычай.

— Догнать бы и спросить, — промолвил Ивашко.

— Поздно. Много времени утекло. Семенко небось близко уж к Новгороду, а там найдутся хоромы, укроют.

Данила помолчал. Где-то в бору, будто жалуясь на одиночество, тоскливо стонет кукушка.

— Уйдешь, какую судьбину, на каких дорогах встретишь? — не глядя на Ивашку, произнес Данила. — А я не гоню тебя. Останешься на займище — живи. Не обуза мне.

— Спасибо на добром слове, Данила, — встрепенулся Ивашко. — Любо мне займище. Как отца уважаю тебя, а Олёнушка... Сестру кровную не любил бы так, как ее. Но нет мне судьбы в борах...

Они сидели на самом краю обрыва. Неподалеку, заслоняя выступок мыса, зеленеют молодые дубки; среди них, словно одинокие сторожа, охраняющие тишину поляны, подняли ввысь острые пики вершин молодые елочки. Внизу, под обрывом, разлилась Шелонь; точно серебряная птица, распластала она крылья свои в зеленых берегах, блестит, переливается светлой рябью. Кусты ив, цветущие матовым пухом рябины, березы, сбегающие к самой воде, убирают реку в весенний наряд.

— В Новгороде, как ушел я из болярской клети, — продолжал Ивашко, — жил я лето в кузне у мастера Никанора на Ильиной. Учил он меня молотом бить, ковать железо... Сулил Никанор передать мне свое умельство. Зима прошла, солнышко весеннее греет, а я не забыл, как стоял у горна, дул мехом. Раскалится железо, выкинет Никанор его на наковальню, крикнет: «Эй, Ивашко, ударь!» А сам ручничком постукивает... Может, снова найду то, что однажды давалось в руки.

Рассказ Ивашки тронул Данилу.

— Найдешь, — сказал он и помолчал. — Вспомни-ко берложку на буреломах. Пристали к нам на пути к ней двое витязей... Звали они тебя в Новгород, на княжий двор. Старый, как уходил с займища, спрашивал о тебе, не велел обегать совета. На добрый бы тебе путь, Ивашко, то, что молвил витязь. Может, ремесло обретешь, может, иное придет счастье. Иди, благословлю тебя в путь заместо родителя. А ты не забывай поляну... Оглянись-ко, — Данила показал вокруг. — Погосту впору стоять на ней, а то городу.

ГЛАВА 20

СЛОВАМИ НЕ ПЕРЕДАТЬ, МЫСЛЯМИ НЕ ОБНЯТЬ

История не знала более страшной войны, более жестокого разрушения, чем то, какое совершили орды хана Батыя, злою, как черная смерть, жадной до крови вьюгой пронесшиеся по великой русской равнине. После битвы у Козельска орды Батыя отошли за Волгу. Через год, пополнив убыль, осенью тысяча двести тридцать

девятого года Батый начал поход на южные русские земли. Пали Переяслав русский и Чернигов, хищное воронье вьется над пепелищами старого Киева; пал Галич... Воют бездомные ветры над заросшими бурьяном и колючим осотом нераспаханными нивами Суздальщины и Рязанской земли. Нет счета храбрым витязям, отдавшим свои живо-ы в битвах с Ордой. Казалось, некому защитить Русь от недругов, не высохнут никогда горькие слезы уведенных в Орду полонянок.

Тяжкая шла пора. И не сказать, в каких тайниках, в каких древних и лохматых дебрях сохранилось неистребимое величие народного духа! Ни огонь войны, ни смерть, ни полон и рабство не поколебали мужества людей русских; ничто не сломило их, не растоптало их силы, не иссушило гордую жажду к воле.

Не зажили еще, кровоточат глубокие раны от острых ордынских сабель, а в лесах, около старых печищ, встают срубы новых погостов и займищ, отстраиваются наново города. Еще не свалила гроза, а покрытые пеплом, казавшиеся мертвыми, развалины — ожили, перекликаются звонкими голосами топоров.

Жива земля Русская!

Уйдя с займища, Ивашко кружил по окольным дорогам. Страшно было идти в город. Так и очутился он в Заильменье, на пути к Торжку.

Сто верст от Новгорода, а может, больше; путь долог, не мерен. Пуст он. Ни конного навстречу, ни пешего. Близок вечер. Солнце опустилось к земле, лижет оно трепетными багряными языками холмы и вершины деревьев. Ивашко устал, но близ дороги ни хороминки нигде, ни шалаша. Перебрался вброд через бойкую речонку, за нею пашня непаханная зеленеет колючими, горькими травами. Около дороги падаль, кости лошадиные. Их всюду немало видел Ивашко. Пал конь в пути — куда его? Высушит ветер кости, дождик обмоет их, и, как вехи, лежат они вдоль проезжей.

Дорога ползет на взлобок крутого холма. Ивашко поднялся на вершину, и от того, что увидел, потемнело в глазах.

Раскинулись перед ним большие печища, должно быть, погост стоял. Ни трубы, ни кола вокруг, ничего не осталось от жительства; репьи да крапива, как лес. Про-

шел пожар, да такой — земля горела. На пути кости, железо ржавое. У крайнего крапивища — череп. Страшно смотрит он на Ивашку провалившимися глазницами. Ивашко отбежал в сторону, к одинокой вербе, невесть как сохранившейся среди всеобщего разрушения. А там черепа и кости — грудой...

Прогретая солнцем земля дышит теплом. Под ногу Ивашке, когда он бежал от вербы, попалась ржавая кривая ордынская сабля, неподалеку от нее — медный кистень, весь в зеленом инее. Железная цепочка, на которой висел кистень, проржавела и рассыпалась, но дубовая рукоятка цела. Ивашко наклонился, поднял ее. От времени и дождей она облупилась и заершилась. Куда бы ни ступил Ивашко, всюду следы жестокого побоища. Кое-где на рассыпавшихся и успевших уже выветриться костях сохранились остатки одежд. Вперемешку с костями валяются черепки битой посуды, обломки домовой утвари; там, где шла улица погоста, темнеют кучи спекшейся золы... И вдруг Ивашко почувствовал, что от костей, от черепов, от обнаженных черных глазниц их, от кустов разросшейся малинниками крапивы, — от всего, что видит его взгляд, начал струиться холод. Солнце опустилось ниже, свет его стал чужим. Будто не оно ярким багрянцем последних лучей ласкает печища, а светятся кровавыми холодными лучами незахороненные кости.

То, что почувствовал Ивашко, нельзя назвать страхом. Страх — это слишком понятно, это просто и привычно. Ивашку охватило чувство одиночества, страшного одиночества. Никогда еще он не переживал и не чувствовал такого глубокого, леденящего душу холода, какой нашел здесь, на этой земле. Он ступал на кости людские, и, казалось, они взывают к нему. Чок, чок — стучат сухо, с хрустом. Ивашко блуждал, как во тьме. И солнце скрылось, сумерки стали гуще, звуки острее и тоньше.

Не помнит, как выбрался прочь. Временами раздраженный слух ловил звуки, напоминавшие грохот и шум битвы, вопли и стоны людские, треск рухнувших в огонь стропил, ржание коней, смех, торжествующие выклики победителей.

В лесной чащобе, где очутился Ивашко, он вздохнул спокойнее. Наступила ночь. Чтобы переждать ее, Иваш-

него плывут лебеди — белые облака. И словно бы шелест оттуда долетает на землю, — это лебеди-облака трогают крылами серебряное зеркальце месяца. Звенит оно, дрожит, то и дело стыдливо прячется в лебяжий пух. Слушает Ивашко — нет, не от месяца звон; течет ручей где-то, булькает вода, ведет разговор с каменьем. Ночью далеко слышно. Птица ли сонная ворохнется, зверь ли осторожно пройдет мимо...

И не месяц то и не ручей плещется — тихий говор за тыном. И воротца на выход приоткрыты. Ивашко спустился вниз.

На брошенной у тына колоде, служившей когда-то для пойла коней, сидят двое. Ближе к воротам широкоплечий старик в холщовом зипуне, с непокрытою белою головою. Он что-то рассказывает безбородому молодцу в заломленном на затылок колпаке.

Ивашко прислонился к тыну.

...Велика, отроче, тая битва была,
рудою горячей налилась Калка-река;
побитому полку счету не было,
а жив кто — в полон полонен.
И клали полонянников на сыру землю,
накрывали их ордыняне колодами,
и на тех колодах хан со дружиною
пир пировал и в пиру плясал.
И не встали полонянники со сырой земли...

— Страшная битва была, дедушка?

— Всякая битва страшна, отроче, — ответил старец, не опуская и не поворачивая головы. — А жили в ту пору богатыри на Руси, не стоять против них нынешним.

— Неужто так? — не утерпел, спросил Ивашко.

— Истинно, отроче, — ответил старец. — Много на своем веку я путей-дорог исходил, с горем рядом сиживал, с радостью пир пировал. Слово скажу — не в поле брошу, скажу, что сердце велит. Тяжек полон, а полонить ли душу народную? Явятся богатыри на Руси, орлами взлетят на высокие горы, что поднялись над морями синими, над лесами, над лугами просторными, побьют недругов...

Долго еще говорил старец. Знает мудрый все, чем мир живет, на чем уставлен. И от слов его загрустилось

Ивашке. Вырвался на волю, а белый свет широк, не обмеряешь. Вспомнился рыжий Якун, Окулко-упырь, наперсник Твердиславичев; будто снова увидел их перед собою. Куда идти? Счастье ли находкою лежит на пути или злосчастье стережет? Вырвался из огня, не довелось бы узнать полымя. Старец словно почуял смутные Ивашкины думы.

— Что закручинился, отроче? — спросил. — Какое лихо тебя тревожит?

— Так я... Худое вспомнилось.

— Худое надо помнить, но вспомнишь, хоть и горька память, а ты головы не вешай, — посоветовал старец. — И думой и очами вперед возносись. Чую, отроче, волей живешь ты, нет у тебя ни хором, ни приволоки, ни лесов, ни поскотинок. Воля, отроче, дороже золота. Ни казною, ни узорочьем ее не оценишь. Велика земля наша, ох, велика! Конца и края ей нет, а ты взгляни на нее и думай: мое все — и реки многоводные, и леса темные, и луга зеленые, и поля золотые, — все, что очи видят. Подумаешь так-то — жить легче станет. Ох-хо! Время к утру никак, — старец переменил речь. — Вам, отроки, не горе ночи не спать, а мне отдохнуть пора. Старые кости немощь чуют.

Он поднялся, положил крест на четыре стороны и пошел в воротца.

ГЛАВА 21

БУЯН-ЛУГ

Велика и шумна на Великом Новгороде улица Буяна. Начинается она от Волхова, от Буян-луга, уходит в пригороды.

Весна. Гулянье на Буян-лугу. Скрипят качели, песни «голосовые» льются. На лугу, у Волхова, хороводы ведут, горелки тушат. Разбежится пара... Если любят, то и оленю в борах так не бегать. Посреди луга — потехи молодецкие. Удалые головы силу к силушке примеряют. Стенкою ли, кулачным ли боем; а то борьбу затеют и за «пояски» и в «охапки».

Где потехи молодецкие, там и Омоско-кровопуск.

Омос — мастер на все руки. Красной девице он поворожит, удалого молодца насмешит, старому да немощному «руду» отворит. И заговор наговорит Омос, и загадку скажет, и песню сыграет. Только показался он на Буян-лугу — кругом стеною толпа. Волос седой в бороде у Омоса, а он с молодыми — молодец, со старыми — стар. Обступили люди Омоса; он лаптем притопывает, сыплет побасенками:

На миру, на юру
дело склалося;
на миру, на пиру —
разнималося.
Чуф,
чуфатырь,
на краю-то пупырь,
не охоженный, не обороженный.
Добрым людям — слава!
А мне, молодцу,
меду горшок,
хрену мешок!

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!

— Ай да Омос!

— Веселый мужик.

— А ну, Омос, потешь добрых людей! Скажи!

— Давно бы сказал, да сказки растерял, — смеется Омос. — Слушай, не сторонись, а послушаешь — поклонись!

В Нов-Городе жил болярин,
в расписных хоромах за оградой...
Хоромы рублены из камыша,
ограда у хором соломенная.
Ох-хти, хти, хти,
лапотки в чести,
сапожки в углу,
на печи овес —
на семь верст пророс.

На том лугу очутился Ивашко. Хоть и пусто у него в брюхе, а живчики в крови играют: не перестарок, не урод. Не беда, что худа рубашка да ноги в лапти обуты; когда волосы вьются, то и лапти ноги не трут.

— Эй, молодец, что нос повесил? — раздалось у него над самым ухом. — Аль не найдешь по силе супротивника?

Ивашко оглянулся. Стоит перед ним молодец в куньем колпаке с малиновой тульей, в чуге распашной, смеется.

— Не ищу супротивника, — молвил Ивашко.

— Заносчив, жаль. Косарь бы на перевязь богатырю заместо меча, то-то испугал бы, — не отстает молодец.

— Не ты ли ищешь супротивника?

— Уж не боем ли рад спор решить?

— Хоть бы и так.

Сам себе дивится Ивашко: откуда взялись у него складные речи? То ли весна разожгла, то ли шумное и веселое гулянье на Буян-лугу. Молодец, что пристал к нему, скинул чугу, стоит в легком кафтане.

— Поиграем!

Ивашко не отступил. Изловчился, ударил супротивника. Молодец от Ивашкиного кулака не шелохнулся. Ударил Ивашко еще... Молодец смеется.

— Куда спешишь? — спрашивает. — Не горит.

Стоек молодец на полюбовном кругу, и Ивашко не клонит голову. Вокруг толпа. Ахают, приговаривают: «Гляди, люди добрые, силища с силою встретились!»

Чуть-чуть замешкался Ивашко, не успел отвести кулак, и будто гром его оглушил...

«Неужто бит?» — гвоздем уколола мысль. Хотел вскочить, снова начать бой, но чует — не подняться. «Бит». Не силой выигран бой, ловкостью.

Молодец, с которым бился Ивашко, рядом. Не смеется, не потешается над побежденным.

— Стоек ты, паробче, — говорит Ивашке. — И ловок и силен, но бой начал, а не спросил, с кем бился.

Он протянул руку, помог Ивашке подняться.

— Кто ты? — спросил Ивашко.

— Впрямь не знаешь?

— Впервой вижу.

— Недавний, знать, житель ты в Новгороде Великом, что не признал. Зовут меня Василием, по родителю — Спиридоновичем. Не сердись, молодец, на то, что не выстоял противу меня. Миша-гончар один на стенку хаживал, а в бою со мной целовал устами землю. Не знаю я в Новгороде супротивника на полюбовном кругу.

— Своя похвальба не в честь, Василий Спиридонович, — ответил Ивашко и поморщился на хвастливую

речь. — Умеешь ты вести бой, но и я не вереею крещен. Хочу поквитаться. Выйдем снова на круг, возьмемся в охапки, поборемся.

— Рад бы, — усмехнулся Спиридонович, — да боюсь, неравно поскользнешься, а земля на лугу жестка.

— Авось не поскользнусь, — упрямится Ивашко. — Не пришлось бы тебе жалеть, что соломка не постлана.

— О! — порумянел Спиридонович. — Задорен. Был у нас рябой петух, со всей улицы петухов гонял, а сядет на нашест, у самого в крови борода.

— Не квитаешься?

— Тебя жалеючи.

— Честью прошу.

— Просишь? Изволь, потешу.

Встали лицом к лицу. По-новому началась игра. Тесней обступила их вольница.

— Долго ходишь, Спиридонович, не томи молодца!

— Круг бы размести...

— Не пора ли Омоса звать?

— Припарки поставит, руду отворит...

Молча ходят богатыри на кругу. Пробовал Спиридонович силою взять Ивашку — не дается; пробовал хитростью — устоял против хитрости. Ловок, гулящий, цепок. Будто репей завился в волосы, и ни гребнем его оттуда, ни пятерней.

А на лугу шумит вольница. Подняла всех весть: борется Василий Спиридонович с незнакомым молодцом, сила с силой схлестнулись.

Княжих дружинников и тех привлекла забава. Передний рассыпал плечом толпу. Синий кафтан распахнулся, кудри вьются из-под алого колпака.

— Сильней! На себя... На себя бери!

Будто не руки супротивника, а железные обручи сжимают в объятьях Ивашку. Еле дух перевел. Ох! Ввязался в поединок, а награда — смех да прибаутки обидные. Уж не растерял ли он свою силу на дорогах? Скользнул взглядом по толпе, а там... Витязь. Тот, что в Шелонских борах лежал на снегу, смятый зверем. Он... И серьга золотая в ухе...

Увидел Ивашко витязя, и словно бы от того силы прибавилось. Стиснул он объятья. Пошатнулся Спиридо-

нович и вдруг... Не Ивашко — Спиридонович лежит на лопатках.

Притих круг. Не верят люди глазам.

Поборол Ивашко в полюбовной игре богатыря, а на душе нет радости. Словно провинился он в чем-то перед вольницей. Помог встать Спиридоновичу. У того насуплены брови, но глаза смотрят не зло. Поднял Спиридонович чугу, стряхнул пыль да сухие соринки, приставшие к полам; набросил чугу на плечо.

— Не в обиду, добрый молодец, по чести дозволь слово молвить, — сказал.

— По чести и я рад слушать, — ответил Ивашко.

— Дружбой крепка слава на Великом Новгороде, — начал Спиридонович. — Не положим меж собой зла, не будем искать бранй.

Протянул Спиридонович руку, Ивашко подал свою. Камень рассыпался бы от их пожатия.

Ожил Буян-луг.

От шума и криков со звонницы у Климента галки трубою взвились в небо. Стоявший впереди витязь сорвал с головы алый колпак, бросил ввысь.

— Слава!

Протолкался к Ивашке.

— Здравствуй, добрый молодец, — молвил. — В бору от зверя оборонил ты меня, нынче на Буян-лугу оказал умельство.

От Ивашки витязь к Спиридоновичу, того чествует. Спиридонович смущен похвалою.

— Слава и тебе, княже, — говорит. — Спасибо на слове!

Налетел с Волхова ветер, как пятернею взъерошил Ивашкины волосы. «Не ослышался ли?» Князь...

Под «славу» и громкие крики взвиваются к небу колпаки.

— Слава! — крикнул Ивашко. Эх, и он бросил бы колпак, да нет его, замяли в потехе, рукавицу бы бросил — рукавицы нет. Рубашка на нем, да портки, да лапти стоптанные.

Теснее вольница обступает князя; ближе, ближе к нему. Спохватился он, да поздно. Передние скалят зубы, не отступают.

— Не обессудь, Ярославич!

— Дедами так положено.

Отбивался Александр от вольницы, да где тут! Ра-аз! Две дюжины рук разом подбросили его в поднебесье. Два!..

После князя кидали вверх Ивашку и Спиридоновича. У девицы на сговоре не пылают так щеки, как вспыхнули они у Ивашки; на грех еще — оборы у лаптей развились. Еле потом выбрался на чистое место.

Синей рядниной повис над Волховом вечер. День минул, а Ивашко с утра не жевал хлеба. Утром пробирался он в кузницу к Никанору и не дошел, задержался на Буян-лугу. Пока был там — не чувствовал голода; и о недругах своих забыл, а теперь, когда один на берегу Волхова... Ивашко пожалел, что попал на Буян-луг. Может быть, рыжий Якунко или другой холоп Твердиславичев видели его...

От Васильева погоста Ивашко шел к Новгороду с каличьей ватагой. Вчера, минуя город, калики взяли путь к Юрьеву монастырю. Ивашко не пошел с ними, он провел ночь в ракитнике за вымолом, — знать, и нынешнюю придется там коротать.

Озираясь, шел берегом. Миновал уже Великий мост, дальше путь мимо торга, по вымолу. Не успел Ивашко поравняться с Верхним рядом, как услышал:

— Погоди, молодец, постой!

Кто зовет? Торговые сторожа?.. А может, Якунко...

— Дождись!

О, это старый витязь, который в борах был.

— Умаял ты меня, — догнав Ивашку, признался витязь. — На Буян-лугу ищу — нету, людей спрашиваю, а ты будто в воду. Князь Александр Ярославич велел тебя звать...

Ивашко не знал, что молвить. И страшно и радостно ему слышать. Знает ли витязь, кого он позвал? Не пришлось бы после Ивашке головой отвечать, что не сказал вовремя, как очутился в борах; и нынче, если бы увидел и узнал его на лугу Якунко рыжий... Не жить тогда Ивашке на воле в Новгороде.

— Что молчишь, паробче? — спросил витязь. — Не рад зову?

— Рад, но как я, в моем лапотье, покажусь на княжем дворе?

Ульяну Степановну; году не исполнилось Васене, когда осиротела.

Молодость не обидела Онцифира ни силой, ни удалью. Славился он на Буян-лугу. Битвы были, и веселье было.

Памятен Онцифиру день, когда бились за посадника Семена. Торговые концы и Неревский ставили Семена против воли совета господ. Не сложились в одну речь, решали спор боем. Спустя год бились за Твердислава; большим боем бились.

В том бою гридя из софийской ватаги огрел Онцифира медовым безменом. От удара свету не взвидел лучник. Небо перевернулось в очах. С той поры, к погоде, постреливает у Онцифира в поясницу.

Нынче с утра трясет Онцифира лихорадка. Лежит на полатях, под овчинным тулупом, а знобит его, как на ветру. Мысли путаются, нет-нет и покажется ему, будто проваливается все, что есть около. В бреду бормочет Онцифир несвязные слова: то вспомнит Ульяну Степановну, то о городовых делах скажет, а то — к страху Васены — песню начнет играть.

Да был некаков вольщичек,
да молодой-ет гудощничек...
Да как стал он на торгу гулять,
да как стал он в волынку играть...

Умолкнет и долго лежит неподвижно. Войдет в память — Васена поит его отваром из сухих березовых почек. Морщится Онцифир от горечи, но терпеливо глотает питье.

В середине дня он заснул. Васена прибралась в горнице. Она делала все осторожно, боясь потревожить батюшкин сон. Думы у нее короткие: «Скоро ли батюшка встанет?»

Не слыхала, как перевалил через порог Омоско-кровопуск. Вошел он в горницу, осмотрелся, положил поклон в красный угол и, притопывая лаптем, начал скороговоркой:

На окошке груздок,
груздок легок,
а не взять груздок
ни попам,
ни дьякам,
ни гороховикам.

— Здравствуй, красная девица! Отгадала загадку?

Васену испугало шумное вторжение Омоса, но не знает, как сказать, чтобы умолк.

— Склалося — не сложилося, на ступеньку село — покатилося, — продолжал свои прибаутки Омос. — Лаплапоток в сапожках гуляет, себя восхваляет: хорош лапоток, да на тот ли росток. Онцифир-ту где? — перебивая себя, спросил Омос.

Васену как опалило. Ответила шепотом:

— Заснул он... Все утро метался в жару.

— Ну?! — присмирел Омос. — С какого часу приключилась хворь?

— С ночи.

Ступая на носки, Омос подошел к полатям, заглянул наверх.

— Ты, девица, не кручинься, — посмотрев на Онцифира, зашептал он. — Омос веселый, как и батюшка твой. Не люблю тех, у кого глаза на мокром месте. И загадку загану и песню сыграю. Молодыми-ту с Онцифиром ох куролесили!

Сказал и лаптем притопнул, знай, мол, каков! Потом еще раз заглянул на Онцифира, прислушался.

— С ветру напала хворь, — будто подумал вслух. — С ветром пришла она, с ветром уйдет. Встанет детинушка, ополоснется, на резвые ножки ступит... Кш, проваленные! Кш, за дубовую дверь, за тесовы ворота, во чисто́ поле! Омос пришел, всех лихоманок нашел, всех сестриц: ты Трясовица, ты Огневица, Знобея и Паралея, Горькуша и Кликуша, Чернетея и Пухлея — кш, неслушницы! От того ли Онцифира вон пошли, во леса ушли...

Омос проскакал по полу на одной ноге, распахнул дверь, схватил лежавший около приступки голик, принялся махать им.

Скок, поскок,
на полу гудок...
Шарю, пошарю,
хворь замету,
в руки возьму,
за море брошу,
огнем опалю...
Кш... Проваленные!

Бросил голик, прикрыл плотно дверь. Не оглядываясь, все так же, на одной ноге, проскакал к бочке

Проснулся в пятом часу пополудни. Долго лежал один, пытаясь вспомнить, что с ним было вчера, рано ли от кума в свои хоромы вернулся? В голове шум, будто не в горнице у себя боярин, а на Великом торгу. Увидел на столе торель с кислой капустой. Должно быть, Окул поставил. Знает пес, что хорошо боярину на похмелье. Стефан Твердиславич подвинул к себе торель, поел. В хоромах так тихо, что кажется, пробеги таракан — тараканий топ будет слышно.

Боярин широко, со стоном, зевнул, перекрестил рот; потянулся, приходя в себя, поскреб ногтями грудь, заросшую жестким, как болотный мох, серо-зеленым волосом.

— Окулко! — позвал.

Не затих в переходах голос, Окул уже в горнице; сломил перед боярином спину.

— Где пропадаешь, пес? — заворчал на него боярин. — Небось на поварне с сокачихами[1] лясы точил?

— Тут я, за стеночкой был, осударь-болярин.

— То-то... — боярин помолчал, пожевал губами. — Говори-ко, что без меня в хоромах сталось?

Окул согнулся еще ниже: не дай бог рассердить нынче Стефана Твердиславича! Рассердится — падет в голову ему тогда все выпитое и съеденное накануне, все гостевое и хмельное... Начал сказывать. Боярин слушал, мотал головой. Но вот услышал и поперхнулся.

— Ну-ну, — с трудом выдавил. — Видели?

— Видели, осударь. Ходит Ивашко по Новгороду на всей воле.

— Почто не взяли его?

— Не взяли, осударь-болярин. В силе он.

— В силе... — лицо боярина потемнело. — Как ты смог вымолвить этакое? Кто видел холопа?

— Якунко с Тимком, воротные сторожа. Рогожи с торгу несли.

— По полусотне ременниц им, а ты... — будто не зная, какое наказание придумать холопу, боярин умолк.

Не дожидаясь, что молвит в гневе Стефан Твердиславич, Окул еще ниже сломил спину и скороговоркой,

---

[1] Поварихи.

словно боясь, что не успеет сказать все, о чем надо знать боярину, зачастил:

— Идет он, осударь-болярин, холопишко твой Ивашко, в кафтане дружиничьем, на себя не похож... Насилу признали.

— Что ты молвил? — боярин поднял брови. — В дружиничьем кафтане? Ну-ну!

— В дружиничьем, осударь. И Тимко и Якунко — оба видели.

То, что Ивашко ходит в Новгороде в кафтане дружиничьем, до того поразило боярина, что он покрестился на образ. Хоть и князь Александр, но ведь и он не о двух головах. Перед черными людьми и холопами старые князья заступали вотчинников. Так и Александр поступал прежде. Когда брали на поток хоромы Бориса Олельковича, не бояре — княжая дружина усмирила буйство.

— Окулко! — позвал боярин. — Узнай, как сталось? Проведай на княжем дворе. Врут Тимко с Якунком — побрани холопов, правду молвили — прощаю, что раньше им дадено. Суда у князя спрошу.

Сказав это, боярин повеселел. Он огрудил пальцами на торели остатки капусты, положил в рот.

— Офонаско Ивкович не заглядывал в хоромы? — спросил.

— Был, осударь. И вчера и нынче поутру наведывался.

— Ну-ну, о чем сказывал?

— Приму, молвил, меха и воск, а торг буду вести с осударем-болярином. Наведаюсь-де ввечеру.

— Наведается, ишь ты! Не укажешь ли мне, внуку Осмомыслову, ждать Офонаску, за стол сажать в гридне? Обошел он меня, а я по слабости по своей терплю. Явится ввечеру — велю со двора гнать.

Не первый год боярин Стефан ведет торг с торговым гостем Афанасием Ивковичем. Упрямы оба, прижимисты. В торгу Стефан Твердиславич слово с плеча рубит, Ивкович слово кладет мягко, будто соглашаясь с боярином, а цены не прибавит. Скуп, ох, скуп Стефан Твердиславич, а Ивкович, бывало, на запись да на бирки долговые увозил из боярских клетей и меха, и воск, и лен. На слово боярина о том, чтобы гнать Ивковича, Окул покашлял в кулак.

— Воля твоя, осударь, — поклонился. — Не открою ворот гостю; укажи, что молвить ему?

— Молви... Плут Офонаско, из плутов плут. Нет у меня к нему нужды. Немецким гостям на Готский двор отдам и меха и воск.

Сказал боярин и довольно усмехнулся. Словно бы видит он, как явится ввечеру к хоромам Афанасий Ивкович, Окул выйдет к нему навстречу и скажет, что велено. Рассердится Ивкович, ох, рассердится, а уйдет от боярских хором с тем, с чем пришел. Боярин не изменит своего слова: велит звать иноземных гостей. Они рады будут взять и меха и воск по той цене, какую скажет боярин.

На улице моросит дождь. Слышно, как за оконницей, в вершинах тополей, шумит ветер. «В этакую непогодь, пожалуй, не придет Офонаско», — подумалось Стефану Твердиславичу. Почему-то стало жаль, что не придет, не услышит от Окула боярского слова. Явятся в хоромы иноземцы, по своему обычаю они колпаков не сломят, не поклонятся боярину, а так себе, мотнут головой. «По-людски-то небось слова не молвят, стошнит от их речи», — поморщился боярин, будто теплого квасу испил. Опорожнят клети, и меха, и воск, и лен свезут к себе, а вроде и не было торгу. Ни голоса на них не повысишь, не обругаешь. Бывало с Ивковичем... Неделю ходит гость на боярский двор, покуда напишут ряду. В этакомто торгу есть на чем отвести душу.

Вспомнил Стефан Твердиславич Ивковича и пожалел: не погорячился ли давеча, велев Окулу не открывать ворот гостю? «Плут, Офонаско, — думает боярин. — Обманет. По своей цене возьмет добро, но зато хорош будет торг». Подумал так Стефан Твердиславич, и лицо у него посветлело, на губах показалась улыбка. Не оборачиваясь к Окулу, который застыл около двери, крикнул:

— Окулко!

— Что повелишь, осударь?

— Ввечеру... Придет Офонаско — пусти. Не век, молвлю ему, за моей спиной, моим добром торг торговать.

Отпустив Окула, боярин посидел неподвижно, затем, зевая и потягиваясь, нехотя, словно бы по нужде неотложной, всунул в сапоги ноги и надел домашний кафтан.

Пригладив ладонями остатки волос, подошел к дубовому ларцу на лавке, в переднем углу, вложил ключ в пружинный замок и надавил. Достав из ларца долговые грамоты, Стефан Твердиславич положил их перед собой и начал перекладывать, как бы сличая одну с другой; потом принялся вслух, по складам, разбирать их. Были в ларце у боярина грамоты торговых гостей из Великого ряда, из мучного и обжорного. Горсти «бирок» в боярском ларце; на «бирки» даны железные крицы ремесленным людям.

По прошлому лету, собираясь на ладьях за море, брал Афанасий Ивкович у боярина Стефана на долговую грамоту меха и серебро весом, полста гривен. Рядились — в полузимье вернет он боярину полста и еще пять гривен и бочку мальвазеи заморской. Дал Ивкович в срок, как положено, пять гривен и мальвазею, а долговую грамоту не покрыл.

«Мягок я, — держа перед собою грамоту Ивковича, вздохнул боярин. — Добра у меня не счесть, а прибыль от торга гостям да гридям. Явится Офонаско — пригрожу, велю нести долг».

ГЛАВА 24

КНЯЖИЙ СУД

Все изменилось в жизни Ивашки. Сбылось то, чего в думах не чаял. Надел он кафтан из синего сукна, обшитый по вороту и полам серебряной тесьмой, пояс кожаный, наборный, шапку с высокой тульей... Увидел бы Ивашко в этом наряде себя — не узнал бы.

Все дальше уходит из памяти старое. В потехах воинских на княжем дворе учился Ивашко копье метать; учился мечом владеть и пускать стрелу. Если и вспомнится старое, то кажется ему теперь: не приснилась ли жерновая клеть, не во сне ли ковал его цепью рыжий Якун. И впрямь так думалось бы Ивашке, если б не память о Конуше. Не в силах он забыть булькающий кашель работного холопа. Как живой стоит Конуша перед Ивашкой: худой, с воспаленными от пыли и недуга гла-

зами, в жесткой, как луб, посконной рубахе с разорванным рукавом на плече. Еще в Новгороде, когда жил у Никанора, слышал Ивашко, что не пережил Конуша холопства; сложил он кости вскоре, как ушел из клети Ивашко.

Грустно становится от горьких дум. Но вдруг раскинется перед глазами поляна в бору, река под обрывом. В осиннике, около бортей или на мятой пашне, оторвется от дела Данила, позовет Ивашку. Из бора выбежит Олёнушка. Хочется Ивашке подойти к ней, а она скрылась.

— Не догнать тебе меня, братец, — слышит ее голос.

И не догнать. Будто не касаясь земли, мчится Олёнушка.

Вспомнит — и родным кровом кажется Ивашке займище; и Шелонь ближе ему дальнего Лач-озера и бор вокруг поляны дороже резных хором.

Навестил Ивашко кузницу на Ильиной, но не застал дома Никанора. Аниса Мардальевна приветливо встретила молодца, расспрашивала о том, как жил он, уйдя из Новгорода; и всплакнула она над судьбою Ивашки и поахала. От Мардальевны Ивашко узнал, что уехал Никанор на Мшагу, в Медвецкий погост, за железными крицами к тамошним домникам.

На пути к княжему двору задержался Ивашко на Великом мосту. У вымола играют красками ладьи готских гостей. У одних ладей нос и корма как лебединые шеи, у других как чудища невиданные. Словно баюкая, покачивает их легкой волной старый Волхов.

— Давно ли, молодец, вернулся к Новгороду? — неожиданно прозвучал сзади Ивашки насмешливый голос. — Соколом вроде взлетел, не пора ли вороной сесть?

Якунко! Встряхнул Якунко за плечами куль с рогожами, ощерил рот, ухмыляется в лицо Ивашке.

— Проходи! — коротко бросил Ивашко. — Где сяду, тебя не спрошу.

— Так ли? Как бы не достала болярская рука.

У Ивашки сжались кулаки. Якунко кожу готов содрать с холопа, лишь бы угодить боярину. И за свои, и за чужие обиды полетел бы сейчас хвост боярский с моста в Волхов, да не пристало княжему дружиннику шум поднимать; и без того собрался около круг зевак.

В тот день до вечера не выходил Ивашко из дружиничьей избы; не легко было ему забыть встречу с Якуном. Напомнил холоп о длинных боярских руках, может, и вправду так. Не обережет от боярина кафтан дружиничий.

Опасливо взглянул Ивашко на воеводу Ратмира, когда тот спросил:

— Что не весел, паробче? Чем обижен?

— Обиды не знаю, — начал Ивашко и запнулся. Ратмир посмотрел на него; голос воеводы прозвучал строго и требовательно.

— Пристало ли, паробче, княжему дружиннику скрывать свои думы? Скажешь, — может, помогу, совет дам.

Рассказал Ивашко воеводе о своей встрече на Великом мосту.

— Достанет меня рука болярская, не миновать тогда цепей железных и Волхова, — закончил он.

— Не пустой ли твой страх, Ивашко? — рассмеялся Ратмир. — Брось кручину! Твоя честь — честь дружины, а обида дружиннику — князю обида. Дружиничий кафтан, Ивашко, легок, но дороже он болярской шубы. Не упадешь сам, никто не столкнет тебя. Знает болярин Стефан уставы и обычаи дружиничьи, не поднимет руку, и ты забудь обиды. Покаркает ворон на своем суку и умолкнет.

В воскресенье, после обеден, Александр Ярославич принимал иноземных гостей и судил суд на дворе у святой Софии. Он сидел на покрытом красным сукном высоком княжем месте; ниже его место посадничье и владычных бояр. Позади князя воевода Ратмир, боярин Федор Данилович и ближние дружинники. На Александре шитая золотом корч [1] с золотою пряжкой на плече, под корчью алый кафтан с золотою тесьмой и золотой пояс. Весеннее солнце ослепительно играет на броне и шеломах дружины, на золотых поясах новгородских торговых гостей.

Гости из Висби, которые осенью и зимой вели торг в Новгороде, собираясь плыть в свою землю, сегодня

[1] Плащ, знак княжеского достоинства.

прощались с князем. Один из них — высокий, статный, в широком, черном, опускающемся до земли плаще, обращаясь к Александру, долго говорил о выгодах, какие имели гости в Новгороде; говорил о благополучии торга, о справедливом торговом суде тысяцкого.

— Ни притеснений, ни обид не знали мы на вашей земле, король Александр, — говорил он. — Честно и на веру торговали с нами новгородские гости на меха и на серебро весовое и чеканное, на куны и ногаты; пошлины брали в меру. Если останется милость к нам Великого Новгорода и твоя, король Александр, осенью снова придем мы в Новгород ладьями из Висби. В том, чтобы не стало утеснений нашему торгу, просим дать твою грамоту.

— Новгород Великий даст грамоту, — выслушав иноземца, сказал Александр. — Как твое имя, гость?

— Генрих Христиансен, Генрих из Висби, так зовут меня на Готском дворе и на торгу.

— С каким товаром придешь осенью к Великому Новгороду, почтенный гость? — спросил Александр.

Гость замялся, как будто что-то мешало ему сказать о товарах, какими собирается он торговать в Новгороде. Отвечая, ниже склонился перед князем.

— Привезем вино фряжское, сукна ипские и лангемаркские, украшения из стекла и все, что производится в нашей земле и в земле франков и германцев.

— Мы ценим ваши товары, гость. Так ли судит Господин Великий Новгород? — Александр обратился к посаднику и боярам.

— Великий Новгород принимает иноземных гостей с малыми пошлинами, — сказал первый владычный боярин Якун Лизута.

— Так и я молвлю, — продолжал Александр. — Великий Новгород принимает гостей из Висби и других городов иноземных; воля им на торгу новгородском продавать свои товары нашим ли гостям или гостям из Византии и из-за Хвалынского моря[1]. От нас везут к себе, в Висби, Любек и иные города, готские гости — лен, воск, меха... И ведомо тебе, почтенный Генрих из Висби, что наши товары ценнее тех, какие сулите вы привезти в Нов-

[1] Каспийского.

город. Не слышу я о товарах, какие потребны нам больше, чем вино фряжское и сукна. Нет в ваших ладьях изделий железных и медных. Новгород Великий желал бы иметь их.

— О, король Александр! — воскликнул Генрих из Висби. — Не требуй от нас того, чего привезти мы не сможем.

— Трудно везти изделия, Новгород примет железо, медь, олово и другие металлы в слитках и крицах.

— Не можем, король Александр. Ведомо Новгороду и тебе, что законы наши запрещают везти на Русь металлы и изделия из них.

— Ваши законы нам ведомы, но хорошо ли, что ваши ладьи идут к нам с тем, в чем мы меньше нуждаемся? Будут на ладьях металлы и изделия из них, торгуйте ими за хорошую цену. Ни Готский двор, ни вы, гости, не слушаете нашего голоса.

— Не по нашей вине, король Александр, — с поклоном ответил Генрих из Висби. — Торговали бы мы и железом, и медью, и изделиями, но христианнейшие короли шведов, датчан и франков, властители земель германских и братья Ордена рыцарей-меченосцев чинят препятствия торгу. За кусок металла, обнаруженный в ладье, у гостя берут все товары и имущество, а самого подвергают смерти. Интердикт святейшего римского отца отлучает непокорного гостя от церкви, осуждает его на вечные муки. Мы рады торговать и железом и изделиями, но законы наши и католическая церковь связывают эти желания. Не суди нас, король Александр! Милость божия и удача — привезем осенью и меди и железа; привезем столько, сколько можем укрыть в ладьях.

— Будет так — торговать тебе, гость, и товарищам твоим в Новгороде беспошлинно, в том наше слово; а за сукно и за вино фряжское меньше дадим льна и воску на ваши ладьи...

Молча, провожаемые сотнями глаз, удалились иноземные гости со двора святой Софии. Когда шум, вызванный уходом гостей, затих, вперед выступил пристав княжего суда и выкликнул:

— Челобитчик Фома-котельник! Выйди и сказывай свою челобитную!

От толпы отделился заросший бородой тяжелый мужик в длинной холщовой рубахе, подпоясанной плетеным поясом. Рукава рубахи засучены по локоть. Следом за котельником вышел верзила саженного роста, с длинными спутанными волосами, которых словно никогда не касался гребень. Остановясь рядом с Фомой, он уставил взгляд куда-то вперед, мимо княжего места, и ухмыльнулся, показав темную прогаль на месте трех передних зубов. «Васька Сухой», — прошелестел над толпой шепот.

— Жалоблюсь, княже, на Ваську, — заговорил Фома, показав на своего соседа. — В позапрошлое воскресенье бились мы с ним на Буян-лугу, полюбовно бились. Я хоть не верзила стоеросовая, как он, а кулак держу крепко. В бою выкрошил я ненароком Ваське три зуба передних, а вчера, на торгу, напал он на меня... По голове бил и словом худым обозвал. За голову ему прощаю, а за худое слово прошу заступы, княже!

— Кто твой послух[1], Фома? — не дожидаясь, что скажет Александр, спросил боярин Лизута.

— Игнат-гвоздочник, — Фома показал на Игната, стоявшего в толпе. — Видел он бой и то, что вчера было.

— Говори свой послух, Игнат! — предложил Лизута.

— Все так и было, как сказал Фома, — подтвердил гвоздочник. — Охальник Васька. Сказывали мы перед боем Фоме, не связывался бы со стоеросиной...

— Васька добрый звонец на звоннице у святой Софии, — вымолвил Лизута. — Есть ли, молодец, на твоей стороне послух? — спросил он Сухого.

— Нет, — продолжая ухмыляться, ответил Сухой. — Мало ли толкнет кто кого или обзовет словом...

— Толкал его, бил на торгу? — Лизута показал на Фому. — Ругал?

— Толкал и ругал, — шире осклабился Сухой, чувствуя в вопросах боярина не гнев, а защиту.

Александр молча, из-под нахмуренных бровей, смотрел на челобитчика и стоявшего рядом с ним Сухого. Фома сказал правду. Васька охальник, кто не знает этого на Великом Новгороде? Но за то, что никто не может, как он, делать переборы искусного софийского звона, в милости Сухой у владыки архиепископа. Владыку

[1] Свидетель.

огорчит осуждение звонца, недаром боярин Лизута напомнил об его умельстве.

— На Великом торгу, при многих людях, толкал Васька Фому и словом худым обругал, в чем сам вину принял, — сухо произнес Александр. — За те обиды платит Васька Фоме полтретья гривны. И по указу нашему быть так всем обидчикам на Великом Новгороде.

— Ладно ли, княже, о Ваське, отпустить бы, — прикрыв рукой рот, чтобы не слышно было в толпе, промолвил Лизута.

— Суд сказан, болярин. Велим приставу княжего суда исполнить.

Лизута недовольно нахмурил брови, отвернулся. Васька Сухой бросил исподлобья растерянный взгляд в сторону князя и отступил в толпу. Он не ожидал осуждения себе и еле сдержался, чтобы не крикнуть что-либо злое и непотребное; сверкавшие на солнце позади княжего места копья дружинников заставили его вовремя прикусить язык.

Время приближалось к вечерням. Александр готов был подняться и покинуть место суда, но из толпы бояр выдвинулся вперед Стефан Твердиславич. В лисьей шубе и шапке из черных куниц, он тяжело пыхтел, отдуваясь от жары. По пылающему гневом лицу боярина катился пот. У Лизуты при виде рассерженного кума округлились глаза: не вымолвил бы в сердцах Стефан Твердиславич неположенное...

— На твой суд, княже, — начал боярин. Он стоял и говорил так, словно заранее знал — не посмеет Александр перечить ему, именитому вотчиннику. — На молодца того, — сверкавшим перстнями пальцем Стефан Твердиславич показал в сторону княжих дружинников.

— В чем тебе обида, болярин Стефан, от моей дружины? — спросил Александр.

— В том, княже, — лицо Твердиславича зацвело багряными пятнами. — Жил на моем дворе холоп, непокорный из непокорных, Ивашко именем. По своей воле принял он кабалу. Холопы мои сыто живут и обид не ведают. Пошел тот непокорец Ивашко с возами на Великий торг и сгиб. Пропал, змей. Грамоты давали о нем по волостям... А нынче, зрю, стоит он в твоей дружине, княже,

в броне и сбруе. Обида мне в том, и на ту обиду жалуюсь!

Стефан Твердиславич склонился, опустив к земле руку.

То, что сказал он, прозвучало настолько неожиданно, что боярин Лизута, как ни быстр и хитер он умом, не сразу понял, о чем речь. Людей на Софийском дворе полно. Сотни пытливых глаз смотрят на Александра, ждут, что решит он. Александр с бесстрастным, точно каменным лицом, выслушал челобитную, не улыбнулся, не повел бровью. Бояре перешептывались между собой, у всех одно в думе: велик соблазн учинился для холопов.

Ивашке не видно лица князя. Он понял из слов боярина, какая грозит беда. Стоит не шелохнувшись. Увидеть бы воеводу Ратмира. Но Ратмир близко к князю, не обернулся. «Бежать», — подумал и вздрогнул Ивашко. «Нет», — отверг он трусливую мысль. Стяг княжей дружины целовал он на верность и правду и не нарушит целование. Из жерновой клети, от тяжкой жизни холопьей бежал он; нечего было ему жалеть, а теперь... Пусть судит князь...

— Холопишко-то, болярин Стефан, что признал ты, здесь будто? — услышал Ивашко голос Лизуты.

— Вот он, — Твердиславич показал на Ивашку.

— Есть ли у тебя послух, болярин? — снова спросил Лизута. Пользуясь молчанием Александра, он говорил по своему праву первого владычного боярина. О послухе же спросил потому, что, по обычаям княжего суда в Новгороде Великом, без послуха — свидетеля не чинится суд.

— Есть послух, — ответил Твердиславич, уверенный в правоте своего челобития.

— Позови!

— Якунко! — Твердиславич поманил из толпы воротного сторожа. — Иди и свидетельствуй!

Якунко рыжий выдвинулся вперед и остановился позади боярина.

— Правду свидетельствуй, послух, — предупредил Лизута.

— Почто врать, болярин. Вот он, холопишко наш, — Якун показал на Ивашку. — По зиме, на святках, схватил было я его на торгу...

— Грозил он худым словом болярину?

— Грозил.

— Хитер и злобен непокорец, — махнув на послуха: «молчи, мол», сказал Лизута. — Суди, княже!

Снова взоры всех обратились на Александра.

— Не сносить головы удалому, — вздохнул кто-то в толпе. — Изопьет воды со дна Волхова.

— Неужто скажет то Ярославич? — усомнился и сказал громким шепотом Фома-котельник.

— Скажет. На боляр погляди, глазищами-то зрят...

— Жаль молодца! — громко, так, что все слышали, высказал свое сочувствие Ивашке Игнат-гвоздочник.

В этот самый страшный для Ивашки час Александр усмехнулся.

— Как сказано тобою, болярин Стефан, имя молодцу? — спросил он Твердиславича.

— Сказывал я... — начал было издалека Твердиславич, но, взглянув на спокойное, строгое лицо князя, заспешил: — Ивашко, княже. Из моей обонежской вотчины. Рос непокорец вольным, по охоте своей кабалу и холопство принял.

— В дружине моей ты его опознал?

— Вот он, — еще раз показал на Ивашку боярин, но Александр не обернулся.

— В княжей дружине нет холопов, болярин Стефан, — произнес Александр и отвернулся от боярина. — Ведомо ли о том Великому Новгороду? — спросил он, повысив голос.

— Как стоит Новгород, не бывало холопей в дружине княжей, — отерев пот, подтвердил слова князя Твердиславич.

— Как думают боляре?

Лизута только было собрался открыть рот, чтобы ответить князю, но перебил Никифор Есипович.

— Вольные люди в дружине, — сказал.

— Правду ты молвил, болярин, — одобрил Александр Есиповича. — Высоко место дружинника, под стать болярскому. Ведомо, чаю, о том болярину Стефану? И о том ведомо: обида дружиннику — мне, князю, и всей дружине обида; наипаче горька она, что слово свое болярин Стефан сказал по гневу, без послуха.

— Не глух ли ты, княже? — забыв и место и степенство свое, выкрикнул Твердиславич. — Не повторить ли послуху моему, что сказано им, аль другого позвать?

— Один послух свидетельствует на суде княжем, мне ли напоминать тебе, болярин Стефан, обычай старый Великого Новгорода, — отчетливо выговаривая каждое слово, произнес Александр. — Позвал послуха, а послух тот — холоп твой. Забыл ты, болярин Стефан, что, по обычаям и грамотам судным Великого Новгорода, в княжем суде холоп не свидетельствует против вольного; наипаче же не свидетельствует, когда сказывает не свое слово, а слово болярина своего. Этот молодец, коего ты винишь, болярин Стефан, по слову моему взят в дружину. А кто принял броню и копье, целовал крест и стяг дружины на верность Великому Новгороду и всей Руси, тот не холоп. Стяг дружины снимает холопство. Силою взят был молодец в твою кабалу, почто нынче упрямство тешишь? Почто звал послуха-холопа противу отрока дружины княжей, почто облыжье твое на дружину? Я, Александр, князь новгородский, сужу тебя, болярин Стефан: за облыжье, за обиду дружине — платить тебе, болярину Стефану, десять гривен серебряных в казну новогородскую; приставу княжего суда велю исполнить суд мой накрепко.

Александр поднялся. Сопровождаемый дружиной, пошел со двора.

— Что скажем мы, боляре? — первым пришел в себя Лизута, проводив глазами князя.

Молчание. Стефан Твердиславич как стоял, так и замер с растопыренными руками и открытым ртом; не успел даже разгневаться он. Лизута продолжал. Окинув взглядом притихшую толпу бояр, снова спросил:

— Справедлив ли, боляре, суд сказан?

— По старым обычаям и грамотам молвил князь Александр, Якуне, — высказал мнение свое Никифор Есипович. — Вольно болярину Стефану рушить обычай.

— Не о том судишь, Никифоре, — перебив Есиповича, задыхаясь и тяжело ворочая языком, вымолвил Стефан Твердиславич. — Не мне горек суд. Как стоит Новгород, не знал он того, что довелось узнать нынче ему, Господину Великому.

— То-то Новгород и кричит «славу» Ярославичу, — довольный решением княжего суда, усмехнулся Никита Дружинич.

— Не к тебе ли, Никита, в науку пойти... Мне, внуку Осмомыслову? — Твердиславич опалил взглядом Дружинича. — Не у тебя ли спросить совета?

— Полно, болярин! — насмешливо улыбаясь, ответил Дружинич. — Мне ли, худородному, советовать.

— Не время словами тешить себя, боляре, — прекращая спор, поднялся со своего места Лизута. — Вечерни скоро.

ГЛАВА 25

НА ВЕЛИКОМ ТОРГУ

Страшно было Ивашке, когда на княжем суде оговорил его боярин Стефан, но по справедливости судил князь; принял боярин кару за облыжье. С того дня Ивашко повеселел. Ходит он по Новгороду не оглядываясь, прямо смотрит в лицо людям, не опускает глаза.

После кулачной потехи на Буян-лугу Ивашко не встречал Василия Спиридоновича. Хоть и ласков был после боя Спиридонович, но далеко стоял он от Ивашки. Впору ли было тогда гулящему молодцу назвать другом богатого торгового гостя? А нынче? Нынче на Ивашке кафтан дружиничий, нынче ро́вня он гостю. Не стыдно Ивашке на Великом торгу потолкаться в шумной толпе.

Прошел Ивашко мимо торговых рядов, спустился вниз, к вымолу, и там, у Волхова, нечаянно набрел на Спиридоновича.

Гости из дальнего Поморья привели в Новгород ладью с рыбьим зубом, мехами белых и черных лис. Ивашко остановился, послушал, как торгуется с ними Спиридонович; берет он за себя все, что есть на ладье.

— До вечерен возьму товар ваш на возы, — сторговавшись о цене, сказал Спиридонович поморцам. — Идите на Нутную, мой двор там всякий укажет.

У вымола покачиваются на волне ладьи готских гостей. Ивашко собрался было повернуть к ним, но Спиридонович, узнав его, окликнул:

— Поздороваемся, витязь! Не забыл, как на Буян-лугу играли?

— Не забыл, — усмехнулся Ивашко.

— Одолел ты, но зла на тебя не таю. Приходи в хоромы мои, приму гостем.

— Спасибо! И у меня нет зла, — сказал Ивашко. — По дружбе встретились, полюбовно.

На лугу, близ Корыстного ряда, старый Лугота с гуслями. Его окружила шумная ватажка повольников. На пути к торгу Ивашко и Спиридонович задержались около игреца.

— Стар гусельник, а гусли его будто выговаривают струнами, — послушав, молвил Ивашко.

— Стар, — согласился Спиридонович, — да стать молодая. Давний житель на Новгороде Лугота. Люди сказывают, было время, когда у Луготы кудри вились; на быстрых ушкуях с ватагой повольников ходил он и по Сухоне и по Кубине, волоками, реками дальними; ходил в Хлынов, за Югру, до Каменного Пояса. Послушаем, что сказывает!

Еле касаясь пальцами струн, Лугота говорил протяжно, нараспев:

Гой вы, молодцы-молодчики,
удалые ребята новогородские;
не старую быль стародавнюю,
я сказал бы вам песню новую,
что о тех краях, о тех краинах, —
о дальней стороне полунощной.
Сказал бы я, что видел сам,
что видел сам, о чем слыхивал;
да страшусь — по времени ль
слушать вам песнь удалую?
А и как вам славы искать,
а и как вам рати складывать?..

— А ты молви, Лугота!

— Почто, я не скоморошина, не мне гулящие головы тешить.

— Завел сказ — досказывай! — шумит ватага.

— Аль гуселюшки не звенят?

Огромным пчелиным роем гудит и шумит Великий горг. Близко, за шеломами Николы, высится Ярославова звонница. На ней, под зеленым шатром крыши, славный вечевой колокол.

— Сам-от, Лугота, не в поле воевал, а с лягушами в болотине, — наступает на гусляра ватага. — Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты; мы-ста, да я-ста — славу-де славили.

— Не занять ли нам, ребята, у того, у Луготы, силушки?

Взбунтовал Лугота молодецкую кровь. Упрямится он, а можно ли оборониться от удалой ватаги! Ухмыляется гусляр в седую бороду.

И вот положил он на колени гусельки, пробежал пальцами по струнам. Зазвенели струны серебряным говором, словно галочья стая поднялась над Волховом. Притихли ватажники.

Рокочут струны. То как гром они, то дождиком теплым разольются. Играют струны славу Великому Новгороду.

Под перебор их начал Лугота:

Было то, ребята, во времечко не селюшное,
собрались во поход витязи хоробрые,
во далекие края, во дальние.
Прощалися витязи с Нов-Городом,
с церквами — соборами, с старым Волховом.
Лесами шли,
волоками шли, —
реки быстрые путь указывали.
Позади сторона Обонежская,
позади и Заволочье...
А леса стоят непроходимые;
за теми лесами Югра-река.
А за Югрой той самоядь живет,
за той самоядью — край полунощный,
где земле конец.
А в краю полунощном люди не хаживали,
сороки-вороны не летывали.
Над лесами глухими, над озерами
ходят тучи, тучищи черные.
Навалит одна — векши падают,
бель пушистая, будто град наземь;
другая туча поднимается —
падают малые веверочки;
третья идет — не дождем плеснет —
черными куницами.
Из четвертой тучи — младые оленцы...
По земле идешь, все по россыпи,
по россыпи, да по каменью;
а каменья те алмазные,
смарагды самоцветные.

Придет молодец из Нов-Города,
из Нов-Города, со святой Руси,
не чрез полста лет, не чрез полтысящи,
подымет он клады великие:
все каменье ему откроется,
все тучи к нему собегутся...
И будет витязю слава и честь!
Великому Нов-Городу — слава!
А и мне, гусельнику, — слава!
А и тем, кто слушал, — слава!
По чаше меду сыченого,
крепкого меду, стоялого.

Ждут Спиридоновича поморские гости. Пора завершать торг, свои товары показывать. Ивашку манили скоморошьи забавы на Гулящей горке. Расставшись с ним, Спиридонович по дороге к хоромам задержался на Козьей бородке, за Ярославовым дворищем. Людно там, как в велик день.

— Не торжище ли нынче на Бородке? — спросил.

— Милостивец наш уходит из Новгорода, на грехи наши огневался.

На паперти у Успения — Прокопко-юродивый; за плечами у него кошель, набитый каменьями, в руке посох.

— На вольный дух, на Обонежье ухожу, — трескуче, потрясая посохом, выкрикивает он. — Прощайте, люди добрые! Тошно мне на Новгороде от вонищи суздальской. Пряжьё напекли — зуб не берет. Потрогай-ко, — Прокоп повернулся кошелем к бабе, стоявшей у паперти. Уголком платка, повязанного сверх повойника, она утирала глаза. — Гати мостят тем пряжьём.

— Угодник наш, — взвыла баба, ощупав камни в кошеле у юродивого. — На кого останемся без твоей заступы?

— Поднимется буря, угонит вонищу, — прорицающе возгласил юродивый. — Не станет Новгороду зла от суздальцев — вернусь.

Спиридонович готов был посмеяться над тем, что увидел и услышал на Бородке, но сдержался. Засмейся он — пуще прежнего начнется шум. У Ярославова дворища, перед вечевой звонницей, откуда ни возьмись, Омоско-кровопуск навстречу.

— Мир на пути, удача-молодец! — завел он, преградив путь. — Бойко идешь, легко ношу несешь. Не вороны ль каркают на Софийской?

— Отстань! — Спиридонович отмахнулся, как от овода. — Свои воробьи у Успения на Козьей бородке хуже ворон.

— А я, удача-молодец, сказочку припас, послушай!

— Брешешь аль нужное?

— Не мне, а тебе, Василий свет Спиридонович, судить о том. — Омос сдвинул на затылок колпак, открыв прыщеватый, в рябинках, лоб. — Хожу по городу, в белые, черные хоромы заглядываю, что надо примечаю. Слушай — не перебивай! Омос говорит — ума набираться велит. Однова-недавно, не вечером, не поутру, ходил молодец по городу, на красных дéвиц, на молодок-лебедок поглядывал, а заветной не видел. Не вывелись ли на Новгороде дéвицы-красавицы, не выцвели ли их очи синие, русые косы не развились ли? Шел молодец по улице Редетине да ненароком заглянул на паперть ко Власию. И встретилась тут ему красна дéвица. Очи у той дéвицы звезд ярче, сама что статна, что повадлива. Загрустил добрый молодец. Не знает, не ведает, кто была дéвица, в чьем дому живет... Люба ли сказочка, Василий Спиридонович?

— Открой, кто она? — спросил Спиридонович.

Омос хитро прищурил глаза, смотрит на гостя.

— Может, и знаю, а близко не стоял. Зелен куст — не обожжен. Слыхал, как сорока стрекочет, гостей ворожит, так и язык у Омоса. Живет дéвица в болярских хоромах, а не болярышня, не вдова она и не жена мужняя. По-иному бы молвил, да молчу.

— Не скрывай, скажи!

Спиридонович сорвал с себя пояс, протянул Омосу. Ремни на том поясе из белой сыромяти, тонкие, как сафьян.

— Не надо мне твоего добра, Василий Спиридонович, — засмеялся Омос. — Сказку поведал тебе, а за сказки дань не берут. Что сказал, то сказано, а больше не спрашивай! Придет час — скажу, а может, сам встретишь пригожую, без моей присказки узнаешь.

Шла с торгу Васена. Лесную дичь брала она для батюшки в Охотном ряду. Только стала спускаться по косогору к овражку и — ах! — поскользнулась. Упала и —

на беду — коленом о камень. Хотела вскочить, а нога как в огне. Ни встать, ни шагу ступить.

— Загляделась, молодушка! Не остереглась на косогоре.

Близко стоит молодец, скалит зубы.

— Загляделась, да не на тебя, — рассердилась Васена. — На насмешки горазд, а в глазах слепота куриная.

— Не сердись, моло́душка, не со зла смеюсь.

— Не рано ли моло́душкой величаешь?

Молодец притих. И в самом деле, как не приметил он девичью косу, не признал, что на косогоре внизу упала не моло́душка, а девица красная.

— Прости, девица, обознался, — сказал. — А что смеюсь, так уж больно резво ты руками взмахнула, будто лететь собралась.

— Самому бы так-то...

— Может, упал бы, да рядом не стоял. Дозволь, помогу!

— Сама обойдусь.

— Ой ли! Не волк, чай, не съем.

И впрямь, не страшен молодец. По одежде — дружинник княжий. Боль утихла. Васена сама готова теперь смеяться над своей бедой.

— Не волк, а не ведаю, кто ты.

— Люди зовут Ивашкой...

На один только миг поднялись темные ресницы, Ивашко увидел серые, ясные, как день, глаза. И от того ли, что не ждал этого взгляда, или его испугали сдвинувшиеся к переносью тонкие девичьи брови, но он неловко умолк. Впервые видит девушку, а кажется ему — знает. Что-то непонятное, недосказанное почудилось Ивашке в ее взгляде. И не передать, как случилось, что Ивашко подбежал к Васене, поднял на руках, перебежал через овражек и, не опуская, поднялся на высокий берег. Так легка казалась ноша, что и день и ночь шел бы с нею — не утомился.

— Ой, почто так-то!

Васена закрыла рукавом лицо. И сердиться хочется на дружинника и смешно ей.

Ушла... Не оглянулась.

НЕ СКАЗКА — БЫЛЬ

Оборол Онцифир хворь. От Васены узнал он, что являлся в хоромы Омоско-кровопуск, заговор шептал, водою с наговоренного уголька брызгал. Онцифир так рассердился за эту весть, что в краску вогнал дочь. Не жалует лучник ворожбецов. Долго ворчал на Васену, а потом, когда успокоился, велел истопить баню.

Высоко играет над шатровыми крышами вешнее солнышко. Золотистою паутиной лучи его цветут на голубых и зеленых шеломах церквей и соборов. По небу плывут легкие облака. Вон то, что над Николой в Дворищах, похоже на скачущих всадников, а то, что над Молотковым, как ладья легкоструйная. Кажется Онцифиру: мчится ладья далеко-далеко, за леса и горы, к бурному морю Русскому [1].

Онцифир постоял на крыльце, любуясь на галок да голубей, что вьюном вьются вокруг шатровых звонниц. Подумал вслух:

— Откуда ее пропасть-непропадимая развелось птицы на Великом Новгороде?!

В передней стене бани темнеет узкая, как ладонь, щель волоковой оконницы, закрытой изнутри полозком. В предбаннике, куда вошел Онцифир, его обдало теплом. Он прикрыл дверь. С надворья показалось темно: еле-еле различил на лавке дежу с квасом. Липовый ковш, уцепившийся крючком рукоятки за край дежи, плавает поверху. Онцифир зачерпнул ковшом, попробовал. Ах, матёр квасище! Старалась Васена для батюшки. На лавке, рядом с дежой, припасен веник березовый, чистовый. Онцифир снял и повесил на кляпчик, торчавший в стене, епанчу, скинул рубаху, забрал веник... Тяжелая, сбитая из сосновых пластин дверца скрипнула на подпятках. Онцифир пригнулся, шагнул внутрь бани.

От ржаной соломы, раскинутой мягким ковром на полу, медовый дух, как от омета. Онцифир вытянул в темноте руку и ощупью, как ходит слепой, добрался

[1] Древнее название Черного моря.

к красной стене; там он нашарил зарубку полозка, оттянул его.

Сквозь туго натянутый сухой бычий пузырь в баню проникла струя желтоватого света. Возможно стало различить полóк, гору каменки и около кадь с водой, нагретой брошенными в нее раскаленными камнями. Камни еще не успокоились, они издавали то глухой рокот, то протяжно всхлипывали. Онцифир болтнул ладонью воду. Добра! Взял шайку, зачерпнул ею и, как бы невзначай, плеснул воду на каменку. Зачерпнул еще и еще...

Столб пара — огня жарче — с шипением и свистом вырвался вверх, ударил в потолок и, оседая, цепко схватил в объятия лучника. Жар так плотен, что казалось, стены баньки не выдержат его напóра. Вот-вот банька, под всхлипы каменки, оторвется от земли, взлетит в необъятную высь и лопнет там, как пузырь, устлав соломой и щепою двор. Онцифир похлопал себя по бедрам, потер грудь, руки. Тело его покрылось пóтом, стало легким, будто десяток-другой годин свалилось с плеч. Растомясь в жару, Онцифир прилег на полóк, намочил веник и вдруг с такой силой начал хлестать им себя, словно хотел избавиться этим от жаркой пытки.

— Ну-ка, твари! — приговаривал он. — Проваленные лихоманки... Ох, дойму вас!

Хлестался до тех пор, пока у самого не захватило дух. Кажется, не сошел он, а скатился с полкá. После первого веничка хорошо отдохнуть на ржаном ковре. Буйно клокочет в жилах кровь. Дышишь — надышаться нельзя.

Крепок пар, но Онцифиру он впору. Кажется ему тот пар теплым ветерком, что дует в Петров день из-за Ильменя. Еще поддал на каменку, поднялся на полóк, и снова гуляет, обдавая жаром, чистовый веник.

Но вот и у Онцифира не достало терпежу. На соломе пришел в себя. Не натешился ли паром, не пора ли честь знать?..

Дотянулся, нащупал скобу, толкнул дверцу. Огненною тушей вывалился в предбанник. Постоял, вздохнул во всю богатырскую грудь, подвинулся к деже, взял ее за ушки и, приподняв, отпил через край. Иному кому на

этом бы и конец бане, но Онцифиру мало; несыто зудит у него спина.

С дежою впереди себя вошел он в баню. Выпрямился, голова еле-еле не трогает теменем матицу. Опрокинул на себя половину дежи. Липко сковал тело ледяной квас, на груди, на руках, ощерясь, заершился волос... Подхватив под уторы дежу, Онцифир плеснул остальной квасище на каменку.

Баня точно остыла. Каменка издала тихий стон, будто всхлипнула она от страха. Стон этот усиливался, рос, и вдруг, обезумевший от липкой студеной влаги, вырвался пар. Нет, не пар! Раскаленные добела камни обрушились на Онцифира.

Но хитер лучник. Он припал к полу, переждал первую струю. А жар крепнет, заполняет собою все — рукой не шевельнуть, слова не молвить.

Железо гнется в квасном пару. Натянуть лук — стрела у ног падет, — кибить в пару, как тесто, не держит тетиву.

Тут-то Онцифир и схватил веник. Со страстью, что есть сил, принялся хлестать и плечи, и лопатки, и бедра...

Будто кожу сдирает веник, но Онцифир не сдается. Сползет с полка, отойдет на соломе, и снова рука тянется к венику.

А и то баня! После нее будто снова родился Онцифир. В глазах у него голубой огонь вспыхнул, морщины на лице разгладились; рушником натерся так, что кровь рада брызнуть.

Жизнь живовать да песни играть Онцифиру Доброщаницу на Великом Новгороде!

ГЛАВА 27

ГОСТИ

В вечеру пришел к Онцифиру кузнец Никанор. Принес он наконечники к стрелам. Поздоровавшись, Никанор свалил на пол тяжелый кошель, сказал:

— Любуйся, Онцифире, на твою охоту даю.

— Ой, хвастаешь, Никаноре! Все вы, кузнецы-хитрецы, на язык тароваты. Недаром колдунами зовут вас.

— Колдовство наше в руках да в умельстве, — ответил Никанор. — Жаль, не обучен, похвастал бы перед тобой. В кузне у горна стою, у горна-то стуку много, вестей мало слышно. А к тебе не впервые за порог ступил.

Никанор сказал правду: нет нужды хвастать ему своими изделиями. Кто сумеет сковать и закалить перо тоньше и легче, чем он? Остро и гибко перо, звенит оно при полете; в кость ли, в железо ли ударит стрела — перо не согнется. Кует Никанор и топоры боевые и шестоперы... На что уж светец — Никанор согнет его так искусно, что только в праздники жечь в нем лучину. Вяжет Никанор и кольца к броне. Мелко и ровно тянет колечко, подбирает ряд к ряду, как бисером шьет.

Онцифир не спеша перебрал наконечники. Каждый осмотрел, ни в одном не нашел изъяна. Никанор, посмеиваясь, наблюдал за лучником. Ищи, мол, ищи, знаю, что принес; не чужие — свои руки делали. И то, что лучник не навалом взял его изделия, радовало кузнеца. Онцифир пересчитал все, убрал и тогда лишь молвил:

— Мало куешь, Никаноре! Две недели не был, а принес меньше полутораста. Шумит ли горно в твоей кузне? Много нынче надо оружия, того и жди — приведется отбивать врага.

— Откуда враг? О чем толкуешь, Онцифире?

— Ты никак и впрямь не слышишь ничего у себя в кузне, — усмехнулся Онцифир. — Не по-нашему так-то, Никаноре, не по-ремесленному.

— Слышу, да не прислушиваюсь. Орда далеко. Не князья ли чьи зарятся на Новгород аль сами собираемся походом? Было так-то при удалом Мстиславе... Шуму давно не стало.

— Да, Никаноре, тихо живем, молчим, не звоним вече. Князь молод, по молодости-то любы ему пиры да ловища; нападет враг, кто поведет полки новгородские? Не того ли ждать, что приведется искать поле не у рубежа, а на Гзени[1]?

— Полно о худом-то загадывать, Онцифире, — возразил Никанор. — Князь Александр молод, да умом ги-

[1] Река на западной окраине Новгорода.

— Дозволим — сговорятся. Мало среди них честных мужей, кои крепко, как вон Сила Тулубьев да кончанский Дружинич, думают одну думу с городовыми людьми. Но беда — не имениты Дружинич и Сила, не старого они роду. Далеко сидят в совете господ. Не скажем, Никаноре, мы своего слова, дадим волю верхним, будет с Новгородом то, что сталось с ливью, эстами и летголой. Ремеслу нашему придет конец, торговый суд скажут не у тысяцкого в Опоках, а на Готском дворе.

Синеют в окошке вечерние сумерки. В горнице стало темно. Никанор собрался уходить, когда заскрипели ступеньки крыльца.

Вошли двое. Передний — под матицу головой, в чуге, другой — в дружиничьем кафтане.

— Буди здрав, Онцифире! — сказал передний. — Что-то нынче в потемках сидишь, ни жирника, ни лучины не теплится.

По голосу Онцифир узнал Василия Спиридоновича. По родителям в свойстве приходится ему молодец.

— Не знал, что поздние гости отворят дверь в горницу, — ответил Онцифир. — Нам-то с Никанором и невдомек, что у добрых молодцов в темноте волосье встает дыбом.

— Знаю, скажешь: прежде жили богатыри, — засмеялся Спиридонович. — Слыхано о том, Онцифире.

— Как же не слыхано, когда о том весь Новгород ведает?

— Придет час, и нынешние скажут слово.

— Скажут, да что толку, ежели слово их придется не ко времени. Не в обиду молвлю, Василий Спиридонович: будем мы — ремесленные да гостиные — по запечьям сидеть, дождемся лиха. Не приметим, как склонит голову Новгород перед латинами. Вотчинники и при папистах останутся вотчинниками, а на нас, ремесленных, да на гостей торговых колодки наденут. Бориско Нигоцевич выйдет на степень с гривной посадничьей на груди. Пора, молодцы новгородские, вам поиметь заботу.

Онцифир подождал ответа. Спиридонович молча сидел у стола, склонив голову. Горькие слова лучника задели его за живое. Онцифир достал с полавочника жирничек, высек огонь. Когда вспыхнул свет и озарил горницу, лучник усмехнулся:

— Что-то гости молча сидят, не на хозяина ли гневаются? Скажу-ко Васене, медку ендову нацедила бы; говорят, где мед, там и языку воля.

Он постучал в тесовую перегородку и крикнул дочери, чтобы принесла мед. Вернулся к столу, поправил светильно жирничка. Спиридонович поднял голову.

— За речь твою спасибо, Онцифире, — сказал. — Слыхал я о том, что ты поведал... Ну, что ж, придет час — постоим.

Никанор, когда вспыхнул жирничек, поднял глаза на Спиридоновича, потом перевел взгляд на пришедшего с ним дружинника. Смотрит тот на Никанора, улыбается, словно рад встрече.

— Ивашко! — узнал Никанор.

— Я, Никаноре. Ждал, признаешь аль нет.

— То-то, ждал... Помню молодца у себя в кузне, а нынче он в дружине княжей. Что же ты на Ильину, в кузню к Никанору, дорожку забыл?

— Был, Никаноре, не застал тебя.

— *Слышал от Мардальевны и не знал, правду молвила, посмеялась ли...*

В горницу вышла Васена. Она поставила перед гостями мед, поклонилась:

— Не побрезгуйте хлебом-солью!

Ивашко забыл, о чем спрашивает его Никанор, о чем сам говорил с ним. Лицо его вспыхнуло так густо, словно стыдно молодцу чего-то, и он сам не знает чего, и не может вспомнить свою вину. Она! Упала в овражке, ее нес на руках... «Васена», — сказал Онцифир. Кажется, нет в мире звучней и красивей имени. «Васена... Весна красная». По тому, как поднялись и задрожали ее ресницы, Ивашко догадался — узнала его девица, помнит встречу...

— Из твоих рук, сестрица, мед слаще сахара, — улыбаясь девушке, сказал Спиридонович. — Пей, Ивашко, порадуй молодую хозяйку. Румяней и краше Васены не встретишь на всей Лубянице.

— Полно, братец! — тонкие брови Васены сдвинулись к переносью, кровь гуще прилила к лицу.

— Не красней, девица, — выпил и опрокинул на стол чашу Никанор. — По совести и по правде молвлю: не обознался Василий Спиридонович. Скоро ли вот кашу

позовешь пировать да не красною девицей, а молодою княгиней велишь себя величать?

Ни жива ни мертва Васена от вольных речей, а батюшка весел, смеется:

— Кашу пировать мы не прочь, Никаноре, — говорит. — Была бы честь по душе да гость по товару.

— Этакой товар не залежится, — Никанор подмигнул молодцам на Васену. — Не далеко, чаю, придется гостя искать, не за синим морем... Да небось и есть чернобровый на примете...

Никанор не договорил, а девушки уже нет в горнице.

Ивашке казалось, что Васена скрылась из-за него; сердится она, не хочет видеть охальника. Больно думать об этом. Ивашко пожалел, зачем он пошел с Василием Спиридоновичем к Онцифиру. Позвал Спиридонович, а он не отказался. Лучше бы не знать, где живет девушка, не знать ее имени, не знать, кто она...

ГЛАВА 28

ЛЕГЕНДА

На второй неделе после княжьего суда на владычное крыльцо поднимался боярин Лизута. Он шел, опираясь на посох, выпятив вперед грудь. Подбитые медными скобками сапоги гулко постукивали на каменных ступенях лестницы.

Одолев ступени, Лизута остановился. Теснит грудь одышка. Навстречу ему выбежал владычный служка.

— Болярин Якун, — поклонился Лизуте. — Владыка архиепископ велел тебе быть в келии святителя Иоанна.

Пухлое розовое лицо служки напоминало девичье. Стан у него строен, под темными дужками бровей — полуприкрытые ресницами, потупленные глаза. Лизута еле сдержался, чтоб не ущипнуть отрока. Сердито повел бровями:

— Веди!

Келия, куда служка привел боярина, узеньким переходцем отделяется от Грановитой палаты. Низко навис сводчатый потолок; прохладно и сыро, точно в подклети.

Пол в келийке сложен из широких сосновых пластин, выщербленных от времени; черный он, как земля. В узкой окончинке на ржавом железном крючке висит медный рукомойник. Рыльце у него отломано, измятые бока покрылись зеленью. Всюду, куда падает свет, видны лохмотья пыльной паутины. Давно никто не прибирает келийку; изъеденные плесенью стены лучше слов говорят о заброшенности ее и необитаемости.

Лизута остановился у порожка. Он недоумевал: почто вздумалось владыке звать в эту мрачную келию первого своего боярина? Неужто нельзя принять в житьих покоях? Келия святителя Иоанна — старое и страшное место, памятное новгородцам.

В ту пору, когда жил архиепископ Иоанн, помнили еще в Новгороде жертвы Велесовы, втай, под покровом ночи резали петухов, носили кровь петушиную и сыр на гору за Гончары, где прежде было Велесово капище. Как-то, в полунощный час, стоял в своей келийке на молитве архиепископ Иоанн, а проклятый бес, ради соблазна и страха святителя, начал плескать воду в рукомойнике. Догадался владыка о бесовом соблазне, подошел к окончинке и закрестил вход в рукомойник. Застрял бес, ни туда ни сюда ему. Взмолился о пощаде.

За дерзость и искушение владыка повелел бесу: «Перенеси меня в Иерусалим, ко гробу спасителеву, и в сию же ночь возверни обратно, тогда отпущу тебя!» Кряхтел бес, однако выполнил повеление. На обратном пути, в Тверской земле, уронил владыка клобук. Спустя время на том месте, где упал клобук, поселились люди и срубили монастырь «клобуков».

Скрипнула половица. Лизута не заметил, как в гладкой стене келии, неподалеку от божницы, открылась потайная дверца и в серых сумерках келии показалась черная тень.

— Мир ти, болярин Якун! — раздался голос. Звучал он хрупко, и было похоже, что тот, кто говорит, находится вне келии, а голос проникает сюда сквозь трещины свода.

— Благослови, владыка! — Лизута собрался с силами, шагнул навстречу.

Владыка отодвинулся от стены. Просторные складки темной мантии, казалось, безжизненно висят на его вы-

сохшем теле. Рядом вырисовывается источенный червями сосновый чурбашок, вытесанный наподобие аналоя; над ним, в углу, икона, но лик на ней до того темен, что краски слились в одно густое пятно.

— Болярин Якун, — начал владыка, — поклянись перед аналоем святителя Иоанна, что все, открытое тебе, не выдашь ни под огнем, ни под железом, ни под устрашением смертным; что не соблазнишься ни златом, ни серебром, ни соблазнами прелестными. Аще же соблазнишься или под страхом греховным откроешь тайну, быть ти, Якуну, погубленну во гресех на веки векóм.

Владыка поднял руку, коснувшись двоеперстием каменного свода келии. Изрытое глубокими морщинами, неподвижное, будто восковое, лицо старца напоминало лица угодников, сошедших с древних византийских изображений на стенах святой Софии. Лизута упал ниц перед аналойчиком.

— Повторяй за мною слова! — произнес владыка.

Лизута слушал и говорил, как во сне. Не отдавая отчета в сказанном, он, вслед за владыкой, повторял клятву. Казалось, в эти минуты весь мир вдруг сосредоточился здесь, на утлом пространстве келии, в этом замкнутом каменными сводами, посеребренном плесенью сыром мешке. Лизута лежал в прахе, словно не шуба бархатная у него на плечах, а нагольный тулупишко, надетый шерстью вверх. Наконец владыка умолк. Сказаны слова клятвы, но у Лизуты нет сил подняться. Лысый, обнаженный череп его, как сияющий шар, кажется пустым.

Владыка помог подняться боярину, потом снова отодвинулся в угол и застыл около аналойчика. Лизуте видно, как пальцы святителя медленно перебирают катышки кожаной лестовки.

— Болярин Якун, — неожиданно окрепшим голосом произнес владыка. — Ведомо тебе, что великий князь суздальский Ярослав Всеволодович своею волей навязал Новгороду на княжение сына своего Александра. Юн отрок, но сердцем упрям. В делах княжих Александр идет по стопам деда своего Всеволода, боем, гладом и смертью смирявшего мужей новгородских. Сильны, Якуне, суздальские князья. Опора их — городовые люди и

смерды. Всю Русь, все города желают они сложить под властью великокняжьей, а эта власть несет гибель боярству старому. Смиримся ли? Последуем ли примеру Ростова Великого и Суздаля?

Владыка умолк. Лизуте показалось, что по щеке старца скатилась слеза. Она тускло сверкнула, упав на ремешок лестовки. Лизута воскликнул:

— Холопишки мы твои, осударь владыка!

— Не унижай степенства своего, болярин Якун, — резко, будто сердясь, оборвал владыка боярина. — Разорение и гибель старому боярству несет суздальское княжение. Того и жди, княжие и дворские люди сядут на малые вотчинишки. Пора, болярин, возвысить голос, сказать, что не смирится Нов-Град, не склонятся бояре новугородстии перед князем.

— Пора, ой, пора, владыка, — оправясь от пережитого страха, сказал Лизута. — Совет господ давно ждет твоего слова.

— Не словом решится спор Нов-Града Великого с суздальскими князьями, а боем, — произнес владыка. — Бог, — рука святителя снова коснулась двоеперстием свода келии, — заступит отчину святой Софии. Римский патриарх благословил католических властителей на поход. Недалек день, когда войско лыцарское войдет во Псков...

— А из Пскова... не выступят ли лыцари к Великому Новгороду? — тревожно спросил Лизута.

— Не страшись того, болярин Якун! — голос владыки прозвучал мягко, успокаивающе. — Болярин Нигоцевич, что жительствует в Риге-граде, прислал грамоту. Пишет Борис Олелькович: ждут нашего слова изгнанники новугородстии с князем псковским Ярославом Владимировичем. Болярин Борис с лыцарством и епископом тамошним о многом договорился. Дадут лыцари и войско свое и помощь.

На один миг в уголках глаз Лизуты сверкнуло выражение торжества. Облеченный в святительскую мантию немощный старец с ясными глазами юноши предвосхитил сокровенные желания верхних людей новгородских.

КНЯЖАЯ ПОТЕХА

Князь Александр Ярославич с ближней дружиной ушел на ловища в Заильменье. По ряде, какую дает князьям Великий Новгород, князю и дружине его не велена охота ближе шестидесяти верст от города. В Заильменье князь нарушил ряду: в угодьях боярина Водовика заполевали кабана. И Александра и дружинников развеселила удача. Мед развязал у витязей языки.

— Смирно живем, негде плечи размять, некуда копье бросить, — пожаловался Олексич. — Прежде воевода Ратмир горазд был на потехи, нынче и он приуныл.

— Дай срок, Олексич, — откликнулся на жалобу Александр. — Найдем веселье.

— В чьих угодьях? — усмехнулся Олексич.

— Не в ловищах потешимся, а забавою воинской.

— Не верится, ей-ей, не верится, княже, — сказал Олексич. — Сами никуда, и великий князь не трогает нашу дружину. Не знает небось, что копья и мечи у нас заржавели. Кликни-ко поход, Александр Ярославич!

— Придет час — кликну, — серьезно произнес Александр. — Отточим мечи и копья поднимем. А покуда, Олексич, не о походе нам думать, а силу ладить, набираться умения да ловкости. Молви, Ратмир, что делать дружине!

Воевода Ратмир строгим, неулыбающимся взглядом посмотрел на витязей.

— У кого дома меч не остер аль копье заржавело, тому и в бою погибель, — промолвил он. — Олексич хвастает силой да ловкостью, а хвастливым словом врага не побьешь, о том надобно знать витязям.

Ратмир помолчал и, когда взгляд его смягчился, добавил, усмехаясь в усы:

— Праздник русалий скоро на Великом Новгороде, людно и шумно будет на Буян-лугу; к тому дню изготовим потеху.

— О какой потехе речь, воевода? — спросил Олексич.

— Силой померяемся, — объяснил Ратмир. — Возьмем луки и попытаем, чей глаз метче, а лук туже; копья

бросим, поглядим, кто в беге горазд. Гораздым из гораздых — слава первая. С вечера завтрашнего станем ловкость искать, бросать копья, стрелы целить...

Ратмир не закончил речи, когда к пирующим подошел незнакомый житель в длиннополой крашенинной чуге. Одно плечо у него выше другого, реденькая борода не закрывает на щеке давнего рубца. Житель молча поклонился в пояс.

— Кто ты, зачем пожаловал? — спросил Александр.

— Ключник я, правитель вотчины здешней, — ответил житель. — Именитого болярина Водовика эта земелька. А пожаловал я за тем, что вы, удалые повольнички, заполевали зверя на ловищах болярских.

— А я-то думал, ключник болярина Водовика пришел в гости к себе звать, — засмеялся Александр.

— Не смейся, молодец, — кося разбегающимися в стороны глазами, строго сказал ключник. Он, видимо, не узнал или не хотел подать виду, что узнал новгородского князя. — Спросить хочу тебя: по чьей воле чужие ловища тревожили, чужого зверя брали?

— Стар твой болярин, ему ли забота о ловищах?

— Старость — не обида, молодец, — возразил ключник. — Заполевал ты зверя на болярских угодьях, а то, что было болярским, болярским и пребудет.

— Добычу рад отнять?

— Не отнять, а взять по праву вотчинному.

— Дозволь, Ярославич, мне молвить, — вскочил Олексич. — Не уймется ключник, дозволь с крутояра его да в воду!

— Постой, Олексич, не горячись, — остановил Александр. — Всех, кто не с тобой в одно слово, не перекидаешь. Где по делу спрос, там и я не супротив. А ты, ключник, помни: не зверь нам дорог — потеха. Зверя бери себе да кланяйся им болярину.

...Княжие гонцы с утра оповестили в городовых концах — и на Софийской и на Торговой — о военной потехе. Людно на Буян-лугу. Весь Новгород Великий поднялся взглянуть на забаву.

Потеха еще не началась. Пляшут, шатаются в толпе ряженые; над лугом крик, визги. Праздник русалий — старый праздник. В святцах он не отмечен, и колокола

не звонят ему. Зимою — масленица обжорная, весною — русалии.

На берегу Волхова хоровод девичий. Льется над рекою песня:

Не ходи, холост, поздно вечером,
вдоль по улице, вдоль по широкой
не маши, холост, рукой правою,
не отсвечивай золотым перстнем,
дорогою вставкой с красным яхонтом;
коли я тебе полюбилася,
полюбилася, показалася —
засылай, холост, свата к батюшке,
болярина важного,
меня, девицу, сватати...

Лугом скачет «козел». Борода из мочалы, рога берестяные; тулупишко у «козла» шерстью вверх, лицо в саже... Зубы блестят да глаза.

Вбежал «козел» в хоровод, заблеял, запрыгал... Девичьи летники разлетелись от него, как пух. «Козел» копытищами машет. Голос у него трескучий, как горох на горячей сковороде.

Щука шла из Нова-Города,
она хвост волокла из Бел-озера;
как на щуке чешуйка серебряная,
голова у щуки унизанная...

Потопал «козел» и ускакал к Раздвиже. Снова пошел хоровод, закружился цветным колесом; падают на Волхов девичьи голоса:

У похмельного у молодца головушка болит;
а вы, девицы, девицы красные,
вы несите меду, меду крепкого,
во ендове во серебряной,
опохмельте мо́лодца...

Набежал «гусь». Хвост у него соломенный, голова под зипуном, руки вверх в одном рукаве. Из рукава — полено — шея гусиная; на конце полена — веретено. Машет «гусь» веретеном, не отскочишь — клюнет.

Ой со вечера трудна была,
со полуночи недужна вся...
Расходился недуг в голове,
разыгралися утки в хвосте...

На кругу Омоско-кровопуск. Пристают к нему:

— Омос, загадочку загани!

— Скороговорку скажи!

Омос — «руки в боки», ломается:

— Сказал бы, да горло перехватило, борода не целована.

— Скажешь — поцелую.

Кто молвил? Катерина Славновна, молодая вдова. С Василья Капельника второй год пошел, как она вдовеет.

Вел Тит, муж Славновны, обоз с солью из Русы, в пути, на раскате, воз опрокинулся, придавил грузом гостя. Набежали обозные, высвободили Тита, но был он не жилец на свете. Грудь раздавило. Простонал на заезжем до утра и затих. Убивалась горем по муже Катерина Славновна, причеты горькие причитала, а прошло время — стерлось, потускнело горе. Молода она, красою не обижена и на язык таровата.

Не знает, как сорвалось у нее слово, а Омос пристал, вьется вокруг паутом:

— Не поцелуешь, молодушка, побрезгуешь! Не тем, скажешь, запором крещен, не той дубиной богу молился. Голова, скажешь, у Омоса лысая, борода облезлая... Куда те, хилому, до меня!

Но не такова Катерина Славновна, чтобы слово нарушить. Любо ли ей, не любо ли, а сказала — стоит на своем.

— Вот те крест, Омос, поцелую.

— Обманешь, а за обман обманками платят.

— Ой ли!

Выступила она вперед, щеки — кумача жарче, глаза темны, как дно у Волхова. Встала перед Омосом.

— Поцелую, Омос, не онемей!

Как ни боек Омос, но и он оробел перед Славновной. А как да и впрямь прижмет к груди... На груди у Славновны камень растает. Вокруг хохочут:

— Радуйся, Омос! Дождался светлого дня.

— Наблазник говорóк на путаную голову.

Славновна рядом. Облаком взвились паволочитые рукава. Вдруг будто медом крепким обожгло губы, а открыл глаза — Славновна далеко... Утирается рукавом.

— Жив, Омос?
— Ай да молодушка!
— На голову вырос.
— Не зевай, засылай сватов!
Омос сбросил колпак, подпрыгнул на одной ноге.
— Курочка короткопаперотненькая, — прочастил он скороговорку. — Шли три попа, три Прокопья попа, говорили попы про Прокопья попа, про Прокопья попа, про Прокопьевича... Кто боек — переговори!
— Ха-ха-ха!
— Не язык у Омоса — шило. Как про попа-то?

По плешивому капну,
по плешивому хлопну,
выну сто холстов,
на сто концов?..

— Легко загадал, Омос, отгадали.
— Отгадали — скажи!
— Блин... Блин загадал.
— Говори другую!

— Стару бабу
за пуп тянут?

— Дверь... Не замай, Омос, хитрее загадывай!

— Отец не родился,
сын в лес ходит?

...Шум у Великого моста. Идет на луг князь Александр с дворскими и дружиною. Толпа отхлынула от Омоса.
— Князь... Ярославич.
Дружинники очистили на лугу круг для потехи. Александр идет рядом с княгинею. Следом за князем, впереди дружины, воевода Ратмир; за дружиною отроки несут копья для потехи, луки и тулы со стрелами. Александр с княгинею прошли на переднее место. Ратмир поднял руку. Выбежали на круг скороходы, сбросили сподницы. Ноги у них босы. Встали в ряд, ждут.
Рожечники заиграли веселую, дудки с сопелями засвистели. По знаку Ратмира сорвались с мест бегуны, помчались ветром по указанному кругу. Кто придет пер-

вым, тот возьмет копье из княжих рук, будет бегуном над бегунами в Великом Новгороде.

Любо молодым витязям с ветром спорить, любы и старым удалые забавы, — посмотреть на молодых, свое время вспомнить.

Точно в медные латы обрядило солнце плечи у бегунов. На бегу ноги не касаются земли, не мнут под собою траву.

Первым прибежал Олексич. Приблизился он к княжему месту. Александр отдал победителю бегунов копье.

— Слава Олексичу! — возгласил он.

— Слава! — понеслось над лугом. Красные девицы рукавами закрываются, смотрят одним глазком. Позади княгини — черный каптур Евпраксеюшки. Недовольна она. Губы сложила сердечком, вздыхает, то и дело поправляет на голове каптур. Наконец не стерпела, покосилась на Ратмира, плюнула в его сторону.

— Старой ты греховодник! Эко удумал... Голых жеребцов пустил на показ людям! — Наклонилась Евпраксеюшка к княгине, шепчет: — Прости, осударыня! Шла сюда — думала: как и у людей все будет, а ну-ко такое-то... Срам! Ох, насмотрелась, нагрешила — не отмолишь.

На круг вышли копейщики. В ста локтях впереди — мета, чурбаш тесаный. Бросить за сто локтей и вонзить копье в чурбаш — сила и умельство надобны.

Чурбаш раскололся от богатырских ударов. Но не все копья брошены, никто из копейщиков не взял копья с красным ратовищем. Перо у него тяжело, как топор, ратовище охвачено железными кольцами.

Выступил вперед воевода Ратмир, взял красное ратовище, отставил ногу и, как был, в бехтерце и шеломе, — метнул. Тяжелое копье пролетело далеко за расколотый чурбаш, на пол-локтя в землю впилось.

Играют рожечники, свистят дудки и сопели, вызывают витязей на потеху.

Победителю в копейном бою награда — плат паволочитый, шитый княгинею.

На кругу Василий Спиридонович. Потрогал одно, другое копье — нет ему копья по силе.

— Дозволь, княже, не копье — камешок метнуть, по старинке.

— Твоя воля, Спиридонович!

Выбрал Спиридонович камешок, весом в пуд без малого, встряхнул на ладони, будто орех.

Расставил ноги, метнул. Ветер пробежал по Волхову, посеребрил его чешуей.

— Слава Спиридоновичу! — прокатилось по лугу.

То, что сделал Спиридонович, раззадорило Ивашку. Бывало, брасывал он камешки.

— Дозволь, княже, и мне метнуть камешок, — попросил он.

— Метни, да не опозорься перед Спиридоновичем, — усмехнулся Александр. — Не положено княжему дружиннику быть ниже торгового гостя.

Выбрал Ивашко камешок, равный тому, что бросил Спиридонович. Рожечники играют без устали, свистят дудки и сопели. Метнул Ивашко камень, упал тот рядом с вехой Спиридоновича, но глубже в землю врылся.

— Слава витязю!

Силен и ловок дружинник, знать, и быть ему победителем в копейном бою, носить на рукаве белый княгинин плат. Ждут, сейчас скажет Александр «славу».

Но нет, играют рожечники. Кто еще выйдет?

Пока судили да гадали, на круг выбежал витязь. Узнали — ахнули. Александр Ярославич. Взял он копье, с разбегу взмахнул им. Упало копье дальше вехи Ратмировой.

— Слава!

Рожечники заиграли веселую. Поднял Александр камешок, встряхнул на ладони, бросил...

Под «славу» и крики вольницы опустился Александр на колено перед княгинею, повязала она на рукав победителю паволочитый плат...

После копейной прокричали «славу» стрелецкой потехе. Но как только засвистели стрелы, Ивашко исчез с Буян-луга. Не пускал он стрелы, не видал никто, где он, с кем встретился, чьи глаза его приманили.

И в самом деле, нечаянная встреча заставила Ивашку забыть о потехе. В тот миг, когда бросал камень, Ивашко увидел лицо знакомое. Он, тот старец, что ночевал на займище у Данилы.

И показалось Ивашке, не на Буян-лугу он, а в бору на Шелони. Сорвался где-то ветер, с гулом и визгом

промчался по-над верхом. Не вчера ли Ивашко ходил в бор, не вчера ли видел, как Олёнушка держала за крыло снятую стрелой птицу?.. В тот день встретился Ивашке захожий поп, Семенко Глина, приспешник перевета Нигоцевича. Ивашко узнал крашенинную скуфейку, зипун, перехваченный вытертым и побелевшим кожаным поясом; вспомнилось, что рассказывал о попе Данила.

Ивашко стал пробираться в толпе к Глине, но поп исчез. Это изумило Ивашку. Он вытянул шею, высматривая, не мелькнет ли где скуфейка? Нет. Протолкался к Раздвиже, и там не видно. С Раздвижи Ивашко вновь, через луг, к Великому мосту. В Опоках, близ Ярославова дворища, вроде кто-то похожий... Нет, обманули очи. Побежал к Волхову. Навстречу ему молодуха с ведрами на коромысле. Ивашко к ней:

— Не видала ли, часом, попа в скуфейке? — спрашивает.

— Под мостом, молодец, воду черпала, не видала, — сказала она. — А как шла с пустом, на острову, к водяным воротам ровно бы бежал кто-то.

— Рыженькой?

— Не видно издалека... Может, и рыженькой.

Не успела сказать, Ивашко уже на мосту. Посудачила бы молодуха, да полные ведра на коромысле. Велика, знать, нужда до попа у молодого дружинника.

ГЛАВА 30

КАТЕРИНА СЛАВНОВНА

Дни летние как дороги дальние, — медленно тянутся они. Но еще тише плетется день, когда сердце неспокойно. Сто дум передумается, сто забот потревожат. Пора бы опуститься вечеру, а солнце словно забылось: и блеск его ярок и земля, согретая им, тепла. Нет конца дню! Разве что надвинется туча, закроет синей полою солнце и прольется упругим, обильным ливнем...

Закончилась потеха на Буян-лугу. Гаврила Олексич, проводив князя, отстал от дружины. Прошел он мимо

девичьего хоровода на берегу Волхова, мимо Мстиславова дуба, поднялся берегом пересохшего ручья вверх, к качелям...

Не весел Олексич, забавы его не радуют.

А так ли жить доброму молодцу? Олексич строен и высок. Кафтан на нем обшит серебром, наборный пояс стягивает тонкую талию, по плечам — темные кудри кольцами. Пройдет мимо — красные девицы заглядываются. Брови у Олексича соколиные, борода... Разве мягкий, вьющийся пух назовешь бородою? В забавах ли ратных, на ловищах ли в борах — везде ловок и смел Олексич. Жил, не знал кручины, а вот...

Ехал Гаврила Олексич из Городища.

Над городом только что прошел дождь. На Славне, на немощеных улицах, куда, сокращая путь, свернул Олексич, разлились полыньи мутных луж. И только Олексич выбрался к Кожевникам, как под ним оступился конь... Прянул в сторону, заплясал на скользкой обочине, обдав нечаянно грязью встречную женку.

— Пешком бы тебе ходить, молодец, — спасаясь от брызг за полуприкрытую створу ворот, махнула она на всадника длинным рукавом. — Не впервой ли на коня сел?

— Угадала, — усмехнулся Олексич.

— То-то он спотыкается у тебя.

— А ты не сердись! Не конь виноват, дорога худа в Кожевниках.

— Не сержусь... В другой раз поедешь мимо — за воротами постою.

Пора Олексичу, а он остановил коня. Глаза у незнакомой как ночь, на румяных щеках круглые ямочки. Белый плат покрывает голубую, шитую жемчугом и бисером кику.

— Здешняя? — спросил Олексич. И от того, что сорвалось не то слово, какое хотел молвить, он покраснел.

— У своих ворот стою. Почто тебе знать, молодец?

— Может, встречу когда...

— Где уж! Сиротою живу.

— Непохожа будто на сироту.

— На людях я веселая, а тоску храню про себя. Не знаешь ты Катерины Славновны.

С той поры и не стало покоя Олексичу. Встречал он Катерину Славновну, не избегала его молодая вдова, но и ласковым словом не дарила. Вчера, перед сумерками уже, побывал Олексич в Кожевниках. Издали увидел: стоит Катерина Славновна у своих хором, будто бы ждет кого. Узнала Олексича — не скрылась за воротами, но и не обрадовалась встрече. Куда пропала ее веселость! Кажется Олексичу, лицо у Катерины Славновны осунулось, румянец на щеках поблек; и не улыбается она. Скажет слово и стоит забывшись, будто затаила что-то...

— Уж не обидел ли кто сироту? — усмехнулся Олексич.

— Может, и так. Заступить меня некому.

— Назови обидчика!

— Зачем? Силен он и ловок.

— Хоть царь морской, — разгорячился Олексич. — Назови!

— Уж не ты ли заступишь? — подарила взглядом.

Тронуло за живое Олексича. Неужто сердится за нечаянность первой встречи? А она... Подняла глаза и вдруг — улыбнулась.

— Никто меня не обидел, молодец, а за то, что сказал ты — спасибо!

Помолчала. И чего не ждал Олексич — подошла к нему, остановилась близко-близко.

— По душе коли, — услышал он жаркий шепот, — да не зазорно — ввечеру завтра буду ждать...

Ушла. Со скрипом захлопнулась тесовая створа, гулко, точно ударили в колокол, звякнула железная щеколда.

Олексич не сразу опомнился. Звала ли его Славновна, не послышалось ли? Придешь немилым, а немилому гостю от ворот поворот...

Не привык Гаврила Олексич к насмешкам. Не ему, другу княжему, краснеть от стыда.

...Солнце близко к закату. У Катерины Славновны в горнице прибрано, как на праздник. Надела Славновна летник паволочитый, на шею, поверх летника, ожерелье бобровое; тугие косы, как золотой венец, уложила вокруг головы, убрала их жемчугом. Тяжелые серебряные серьги играют мелкой, как песок, зернью.

Днем, на Буян-лугу, видела она Олексича, видела, как с бегунами бежал он, как копье бросал. Радость была у нее в сердце: и молод он, ее милый, и силен, и краше его, казалось, нет молодца на Великом Новгороде.

...На крыльце встретила гостя Катерина Славновна, провела в горницу.

— Думала, не забыл ли тропочку нехоженую, — говорит. — Не скучно ли доброму молодцу глядеть на вдову непригожую?

Усадила гостя за стол, а Олексич что ест, что нет. Рассказала ему Славновна, как не сладко жить сиротою, как трудно, молодой, добрую славу блюсти, не давать простора бабьему сердцу.

— Смирного да не спесивого, как ты, впервой встретила, — говорит. — Помнишь, конь у тебя споткнулся. Посмеялась я, а ты покраснел, как девица, оробел... Вправду так?

— Вправду. А ты рассердилась?

— Нет. Если бы рассердилась, слова не молвила. Один живешь?

— Один.

— Неужто сердце ни о ком не болит? — спрашивает и смеется. — Не каменное ли оно? Дай руку, погадаю!

Сели рядом. Узка показалась Олексичу сосновая лавка. Тесовый пол в горнице накрыт узорным ковром, под потолком, у матицы, растопырил золотистый хвост сплетенный из соломы голубок; словно парит он, покачиваясь на шелковинке.

— Горяч ты сердцем, а живешь один, — говорит Славновна, глядя на ладонь Олексича. — Вижу, не близко, не далеко, а есть тебе удача. Встретишь нечаянно, полюбишь, не зная кого.

Опустила руку.

— Не скажешь, кого любишь? — спрашивает.

— Зачем? Гадалки сами отгадливы.

— Может, отгадала, да боюсь, угожу ли ответом.

На подоконок, в открытый волок оконницы, впорхнул воробей, заглянул в горницу. «Чи-вик, чи-вик» — чивикает недовольно. Привык он к тому, что Славновна сыплет на подоконок хлебные крошки.

Славновна накрошила хлеба, бросила птице. А как вернулась к столу, наполнила медом чашу, пригубила... Поднесла гостю.

— Выпей, добрый молодец, на счастье!

Принял Олексич чашу, испил глоток и отставил.

— Крепок мед, да к питью горек, — сказал.

— Ой нет! Не квас наливала, сама пробовала.

— Не квас, а будто на репею настоян.

Зарумянилась Славновна, опустила очи. Как стояла она, так и не ворохнулась. Воробей поклевал крошки и улетел. Двое друг перед другом в горнице, ясным днем юность раскрылась перед ними. На улицах стихает шум, лишь трещотки и оклики решеточных сторожей нарушают тишину вечера.

ГЛАВА 31

БОЯРСКАЯ БЕСЕДА

Вечером, как отшумела княжая потеха на Буян-лугу, владычный боярин Якун Лизута навестил хоромы Стефана Твердиславича.

Хозяин и гость сидят в гридне.

Ярко, по-праздничному, горят восковые свечи и медные жирники. На столе перед боярами жбаны и ендовы с медами крепкими и сыченьми, кунганы с мальвазеей заморской, снедь горою — и жареная, и вареная, и пряженая, и сладкая, и моченая, — овощь всякая и пряное зелие. На Твердиславиче домашний кафтан, опоясанный тканым поясом; меховой колпачок покрывает голое темя. Лизута в шубе бархатной на молодых оленцах; шапка на нем оторочена бобром. Бабы-сокачихи с ног сбились бегаючи да подаваючи. Подолами браных рубах всю пыль размели в переходах. В гридне, привалясь к косяку двери, замер Окул; он как «статуй», вырубленный из дерева. Шипит индюком на сокачих: шуму-то, стуку-то — на торгу будто, а не при именитых боярах.

Беседа течет давно. Твердиславич говорил мало. Он потел от жары; поддакивая да поднукивая, слушал кума.

— Напасть, кум! — говорил Лизута. — Слышал, княжецкие-то людишек меньших мутят, вся Торговая сторона на дыбках перед Александром. А что уж! Правду молвлю: поддались мы, кум! Прежде жили не так, не сидели по гридням, а нынче каждый по себе, словно и нужды нет. Были у нас Мстиславичи, при них вотчинное боярство волю и голос имело. Не поднимемся — оборотят нас пятки лизать Ярославу владимирскому.

— Чудно́, кум, чудно́ твое слово, — молвил Стефан Твердиславич.

— Правду сказываю.

— Ну-ну! Горько слушать, да без горечи и хмель не вьется. Добро бы сложить концы городские в один голос, дать ряду князю.

Лизута вытер пот, отпил из чаши, поставил ее, отломил кусок пирога с визигой, заел питье.

— Так и я мыслю, — снова заговорил он. — Слушок есть, — Лизута понизил голос. — Будто бы Ярослав во Владимире у себя стакнулся с Ордою и веру ордынскую взял... Владыка архиепископ зело о том печалится. Под пятницу, на прошлой неделе, видение открылось святителю. Задремал он на вечерней молитве и вдруг видит: идет со стороны Торжка на Великий Новгород превеликое войско. Стоны и плач кругом, небо все в заревах да багряницах. И будто бы князь Александр, как шпильман[1], скачет перед тем войском. Со страху владыка проснулся мокреньким и так хворью скучал, что ближние попы отмаливали его от огневицы.

— Небось за вечерней трапезой под пятницу жажда одолевала владыку, — еле заметно, одним глазом усмехнулся Твердиславич.

— Ты о чем, кум? — словно не поняв намека, переспросил Лизута.

— По-житейскому сказываю, — ответил Твердиславич. — Хлебнул владыка с устанку медку лишнего, а на сухие косточки много ли потребно? Я осушу ендову и по одной половичке пройду, не покачнусь, а владыке с постной-то пищи потребно питья, что голубю. Покойный родитель мой, болярин Твердислав, степенным сидел

[1] Плясун.

в Новгороде, а вот каялся однажды: переложил, говорит, мальвазеи, всю ночь после, до заутрень, с чертями да с голыми девками плясал.

— Не греши, кум! — Лизута заерзал на лавке, выражая недовольство догадкой Твердиславича. — Тебе я, как другу, тайну открыл.

Твердиславич наполнил чаши, поднял свою.

— Пригубь, Якуне! Для дорогого гостя старую бочку велел разбить в медуше.

Лизута хлебнул, пощелкал языком, смакуя напиток.

— Крепок! — похвалил.

Он разгладил усы, полюбовался на то, как огонек свечи отлунивает на поверхности питья, поднял чашу и осушил ее. Твердиславич последовал примеру гостя. Выпив, он поймал пальцами скользкий, синеватый, как сухой снег, соленый груздь, не жуя, проглотил.

— Окулко! — позвал холопа.

— Что велишь, осударь?

— Выдь из гридни! Да никто бы не вошел сюда. Кому падет нужда неминучая — явись сам, со словом...

Отослав холопа, Стефан Твердиславич не сразу высказал то, о чем желалось ему перемолвиться с кумом. Молча оторвал крылышко жареной в тертом луке тетери, приел моченым яблоком.

— Боляришки-то, кум, как мыслят? — спросил.

— Что толковать о том, Стефане, — Лизута пожевал губами, как бы выискивая нужные слова. — Сам ведаешь — куда голова, туда и хвост. Все будет так, как молвит владыка.

— Ну-ну, как владыка мыслит?

— Сказывал уж о том, Стефане, нет добра Новгороду Великому, и особливо болярству нашему, от суздальских князей. Тянут они все под свою руку: великое-де княжение наше, вся власть князю. А кем силен Новгород? Болярством вотчинным. Не стоять Новгороду без совета господ. Уступим — раздробят суздальские князья вотчины наши, раздадут их по кусочкам дворским своим да дружинникам.

Стефан Твердиславич оттопырил губу, хоть перстень клади на нее.

— Как стоит Великий Новгород, Осмомысловичи не бывали противу, — просопел.

— Хм!.. — Лизута уставился взглядом на кума, на бородавку, что выкатилась горошиной над переносьем у Твердиславича, и сказал: — Не миновать на вече шумства.

— Не страшно ли тебе шумства, Якуне?

— Не пуглив я. Тревожусь — не сложится в одну речь Новгород.

— Бывало, бывало, Якуне... Пристало ли Новгороду ходить под худыми вечниками?

— Твоими устами, Стефане, да мед пить, — усмехнулся Лизута, довольный тем, что заставил разговориться кума.

Будто спохватясь, не сказал ли он чего лишнего, Твердиславич взялся за ендову.

— Что-то ни меду, ни мальвазеи не губишь ты, кум, ну-ко, испей!

Лизута наполнил чашу, но прежде чем поднять ее, молвил:

— Никита Дружинич, кончанский славненский, горой за княжую власть. Послушать — без меду хмель в голову.

Лизута пошарил за пазухой шубы, словно там спрятаны у него Никитины козни, и добавил:

— Худая слава про него, Стефане.

— Ну?! — только и вымолвил Твердиславич.

— Пошлины с сребровесцев и с иноземных гостей не в казне новгородской нынче, а в ларце у Дружинича.

— Что ты молвил, Якуне? — побагровел Твердиславич. — Знаешь про воровство и таишь. Неладно, кум, грех.

— Каюсь, Стефане. Жалел дурака худородного.

— Повинись! — будто и впрямь веря словам Лизуты, посоветовал Твердиславич. — Меч не сечет повинную голову. Зазвоним набат у святой Софии, с вечевой степени повинись. Послуха выставь!

— Спасибо за совет, Стефане! — Лизута даже приподнялся и поклонился Твердиславичу. — Глядишь, по твоему-то совету и уберем Никитку. Поможет святая София, — Лизута покосил глаза на лампаду, вздохнул и принялся усердно вытирать потное лицо. Вдруг, будто сейчас лишь вспомнил, спросил: — Андрейку, крест-

ника моего, Стефане, за какие вины снарядил ты на Ладогу?

Твердиславич нахмурился, недовольно пожевал губами.

— Не за вины, Якуне. Вырос Ондрий, пусть ратному делу обыкнет.

— Оно так, — протянул Лизута. — А ну как поход... На рубеже Ладога, Стефане.

— Мы, Осмомысловичи, не щадили животов за святую Софию, — громко, напетушась, возгласил Твердиславич. — И Ондрию, кум, пора не голубей гонять да на румяных молодок поглядывать...

— Оженить бы молодца любо.

— Оженить и я не прочь, Якуне, невесты нет; не соберусь выбрать.

— Намедни с Никифором Есиповичем вспомнили Андрейку, — сказал Лизута. — Дочка его чем не невеста?

— Рябая, сказывают, да и годками постарше Ондрия. Чуть ли ему не в матушки.

— Не воду пить с лица, Стефане, о том попомни: одна она дочка у Есиповича, все богатство пойдет с нею...

Помолчали.

— Скажи, Якуне, поведал тебе владыка, кого звать князем на Новгород? — нарушил молчание Твердиславич.

Лизута так резко повернулся к куму, что свеча, стоявшая неподалеку, мигнула и погасла.

— Сказывать ли? — протянул он ломаясь.

— Скажи, чаю, поведал?

— Поведал, Стефане, но не благословил покуда сказать Великому Новгороду. Молвил: пусть-де своим, а не владычным словом назовет Новгород имя князя.

— А тебе, кум, кто люб? Близко живешь к владыке, небось кидал умом?

Лизута поломался еще, так как знал, что имя, которое назовет он, примет и Твердиславич и другие вотчинники.

— Мстислав черниговский, — сказал.

— Княжич, что живет с матерью в Чернигове, у дяди своего?

— Да. Разумен, сказывают, и покладист.

— Сирота он, Якуне, и молоденек. Ни удела, ни добра не осталось ему после родителя.

— Молод, твоя правда, Стефане, одних он годов с Александром. Да ведь с молодого-то и спрос меньше.

— Спрос не запрос, кум. Мало спросится, мало и сделается. С Александром маемся, не пришлось бы маяться с Мстиславом?

— Не то, Стефане, — Лизута повысил голос. — Не то! Мстислав не суздальского роду, не от корешка Юрия Владимировича. Александр умен, знаем о том, настойчив, но княжескую власть он ставит выше совета господ; дедов характер у него, крутой. А Мстиславу, Стефане, не до характера, корм ему надобен, — Лизута смахнул ладонью на пол скопившиеся на столе перед ним кости дичи и хлебные крошки. — Одной думой со старым боярством жить ему, — добавил.

— Так-то бы сталось.

— Станется, Стефане. — Лизута довольно потер руки, поняв из последних слов Твердиславича, что тот не противоречит ему. — Снарядим послов в Чернигов, к княгине матери, попросим ее благословить сына на княжение.

— Красно толкуешь, Якуне, — словно завидуя красноречию Лизуты, промолвил Твердиславич. — А как ты скажешь: Ярослав-то владимирский не заступит сына? Не шагнет с суздальскими полками на Новгород? Помнишь, чай, как было после Липицы, или когда при посадничестве братца моего покойного княжичи Федор и Александр бежали из Новгорода?

— Думал о том, Стефане, — ответил Лизута. — Думал. Не до распри с Новгородом нынче Ярославу. После Орды-то на Суздальщине не залечены раны. О вольностях новгородских скажем на вече, которые поругали-де суздальские князья... Пристанет Новгород к нашему голосу.

В гридне потрескивают и чадят нагоревшие свечи и жирники. В углу, за окованным узорным железом ларем, немолчно свиристит сверчок. Суровый лик Софии Премудрости, освещенной «неугасимой», равнодушно взирает неподвижными очами на хмельных, разомлев-

ших от жары бояр. Из необъятных просторов своей шубы Лизута извлек свернутые в трубку тонкие листы бересты, протянул Твердиславичу.

— Глянь, Стефане! Идучи к тебе, нацарапал.

Твердиславич взял листы, разгладил их, посмотрел на разбегающиеся по тонкой бересте нацарапанные костью письмена и вернул куму.

— Хитро пишешь, Якуне, — сказал. — Не разберу. Огласи сам!

Лизута подвинул подсвечник, напоминавший лоток в виде сложенных пригоршнями ладоней, в середине которого, кольцо за кольцом, вьется змейкой гнездо со вставленной в него свечой. Поплевав на кончики пальцев, оборвал нагар. От слюны пропитанное воском светильно громко заверещало.

— «Благословение от владыки, поклон от посадника нашего, тысяцкого, от всего Великого Новгорода, государыне-княгине Федоре Изяславовне, — вытянув руки ближе к свету, гнусавя и певуче растягивая слова, начал чтение Лизута. — Просим тя, осударыня, отпусти княжича своего Мстислава Мстиславича во княжение на Новгород Великий, по уставу нашему старому, по всему обряду, как от дедов положено. А ряда ему, княжичу Мстиславу, такая: Великий Новгород держать по старине, по пошлине; волости все и пригороды держать мужами новгородскими, а князю иметь от волостей дань; без совета господ, без посадника ему, князю, никого не судить; волостей не раздавать, вотчин княжих на Новгороде Великом не иметь и в свои волости мужиков не выводить и закладников не принимать; охотою ему, князю, промышлять за шестьдесят верст от города; дружину ведать, землю Новгородскую от недругов и воровства всякого оберегать; войны без благословения владыки и мимо совета господ не объявлять. А если холоп или раб станет жаловаться и клеветы сказывать на своего господина, холопов тех и клевет их ему, князю, не слушать и веры не давать. И целует он, князь, в том крест на сей грамоте и на всех старых грамотах у святой Софии, как повелось в Новгороде...»

Ручьями льет пот. Снять бы шубу, копной давит она плечи, да не пристало без шубы сидеть в гостях. За едой да за разговором Лизута и без того отступил от

обычая: расстегнул серебряные пуговицы, распахнул полы.

Легкими стали жбаны и ендовы. Стоек на еду Стефан Твердиславич, Лизута ему под стать. Перепробовано все, что положено и поставлено на столе. На заедки Лизута пожевал красной рыбы соленой, что привезена из дальней обонежской вотчины, поел долгого киселя в сусле... Всему оказана честь.

На полночи уж подняли холопы под ручки боярина Якуна и не вели, а несли размякшую тушу к своим хоромам.

ЧАСТЬ
ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

ЗА ВАРЯЖСКИМ МОРЕМ

Крестоносное шведское войско вторглось в пределы земли озер. Огонь и меч без устали истребляли язычников, неся им «познание и радость истинной веры». Весной тысяча двести сорокового года стан шведов располагался в замке Обо. Войско готовилось к походу на инаковерующих русов. Огромная, сказочно богатая Новгородская земля сулила неисчислимые дары победителям. Папа Григорий IX благословил крестовый поход на Русь и заранее отпустил крестоносным воинам все их грехи.

Старый замок ожил от множества населивших его людей. Запущенные покои увидели в своих стенах цвет шведского и норвежского рыцарства. Биргер из Бьельбо, зять короля и правитель государства, внедрял среди язычников верность христианнейшему шведскому королю. Над обращением язычников трудился отец Биорн, духовник правителя. Трупы обезглавленных и удавленных язычников гнили в лесах и окрестных болотах.

Восточная часть замка, где жил Биргер, сохранилась лучше других. Стены ее сложены из тяжелых гранитных плит. Позеленевшие от времени лепестки черепицы круглым, словно обточенным, шатром кровли возносятся ввысь. Узкие щели, сквозь которые проникал внутрь покоев тусклый свет, напоминали не окна, а пробитые в камне боевые амбразуры.

Миновав стражу, отец Биорн вошел в покой правителя. Весеннее солнце, ярким блеском заливавшее окрест-

ности замка, не оживляло холодный полумрак, царивший здесь. Прикрыв за собой дубовую дверь, отец Биорн остановился. Его охватило чувство невольной робости, точно ступил он на край глубокого колодца, открытый люк которого страшным, черным пятном зияет среди каменных плит пола. Но плиты лежат ровно. Свежевыбеленные стены пахнут известью. Середину пола устилает жесткий ковер, сплетенный из морской травы.

— Мир и благодать господа нашего тебе, государь! — почтительно склонив голову, произнес отец Биорн, приветствуя правителя.

Биргер находился в глубине покоя. Отец Биорн сначала различил высокое, грубо сколоченное кресло и, как бы слившийся со спинкой его, лысеющий спереди лоб правителя. Биргеру не больше тридцати лет, но лысина и сутулая, с приподнятыми плечами, угловатая фигура старили его. Серые неподвижные глаза, устремленные на вошедшего духовника, казались такими холодными, словно в эту минуту правитель ничего не ощущал и никого не видел. Редкая с рыжеватым отливом борода и опущенные вниз усы придавали ему выражение надменности и той суровости, какая бывает у людей, привыкших к поклонению окружающих.

— Какие вести принес, святой отец? — устало спросил он.

— Добрые, государь, — тем же возвышенным тоном, каким произносил приветствие, ответил отец Биорн. — Трое язычников, — отец Биорн поднял к небу глаза, — оставили заблуждения и возвратились в жилища свои покорными слугами церкви и христианнейшего короля, да хранит его бог!

— Что слышно в войске?

— Войско, государь, ждет повеления обратить силы и оружие свое на совершение апостольского подвига — обращения в лоно истинной римской церкви язычников и еретиков по ту сторону моря, в земле русов.

Что-то напоминающее улыбку тронуло сухие губы правителя, неподвижный взгляд его ожил. Лысина отца Биорна, пока говорил он, потемнела, приняла голубиномягкий, фиолетовый оттенок.

— Продолжать войну, таков твой совет, святой отец? — спросил Биргер.

— Нет, государь! — стараясь придать как можно больше искренности своему голосу, воскликнул отец Биорн. — Христос заповедал нам нести всюду имя его, поражать силою крестною тьму неверия и ересей. Упорствующие в грехе своем язычники и еретики — слуги зла и диавола. А что может быть выше радости для верного сына церкви, чем радость обращения заблудших! Пусть погибнет сто грешников, но благословение божие осенит воинов святого креста, если один обращенный будет крещен. Крестоносное войско, истребляя грешников, несет избавление от вечных мук раскаявшимся. Не война, государь, предстоит войску нашему на Руси, а путь славы и торжества истинной веры. Именем Христа образуется великая католическая Швеция от Кальмара до Новгорода.

Лицо Биргера с застывшей на губах еле уловимой усмешкой казалось невозмутимым. Как будто правитель погрузился в свои думы, далекие от того, о чем убежденно и горячо говорил отец Биорн. Это не смутило святого отца. Он хорошо знал характер правителя; знал, что под внешней невозмутимостью его скрывается ненасытное властолюбие. Биргер презирал людей. Все, что ни делалось им, преследовало цель возвышения его могущества и его власти.

— Велико бремя, возложенное на нас церковью и святейшим престолом, святой отец, — выслушав отца Биорна, произнес он. — Оправдаются ли труды наши?

— Неисчислимы, государь, силы крестоносного войска... — начал было отец Биорн, но Биргер остановил его.

— Войску христианнейшего короля не страшны русичи, — сказал он. — Но предусмотрительность — не слабость, святой отец. Русь людна, пространства ее обширны... Святейший престол, стремясь подчинить русскую церковь главенству Рима, благословил союз наш с королем датским и рыцарями духовного Ордена меченосцев. Начав поход, мы поразим русичей, но найдем ли выгоды, которые желаем иметь? Наше войско на рубеже Руси, а датчане и меченосцы медлят с началом похода. И если, не ожидая их, войско христианнейшего короля выступит на Русь, войдет в Новгород, благословит ли святейший престол успех похода к выгодам нашим?

— Мудрость и истина в ваших устах, государь, — сказал отец Биорн, поняв, какие мысли тревожат правителя. — Обширны пространства Руси и полны многих сокровищ. Когда войско наше, поразив русичей, волею божией вступит на эти пространства, святейший престол благословит Новгород и другие города русские, земли, леса и воды в вечный лен христианнейшему королю, да хранит его бог! Людям, населяющим пространства Руси, коих мы называем русами, сам бог, по милосердию своему, предопределил жить рабами и данниками. Под властью христианнейшего короля свет истинной апостолической церкви озарит Русь, даст милость заблудшим и вечное спасение раскаявшимся. Ныне, государь, все благоприятствует походу крестоносного войска. Орды диких кочевников угрожают Руси порабощением и пленом. О государь! Меч со знаменем креста, врученный вам святейшим престолом, явится на Руси не мечом брани, а мечом помощи и свершения воли божией.

Биргер не ответил на речь духовника, который, замолчав, склонился перед ним. Слабым движением головы он дал понять, что желает остаться один. Отец Биорн попятился к выходу. Когда он готов был скрыться за дверью, Биргер промолвил:

— Не огорчайся, святой отец! Мы желаем победить и не отступим от своих намерений. Клянусь апостолами, храброе войско наше скоро покажет силу свою.

— Я буду молиться, чтобы сказанное вами, государь, совершилось! — остановясь, воскликнул отец Биорн. — Да благословит вас бог!

Отцу Биорну перевалило за пятьдесят. Приземистый, точно притиснутый сверху, несмотря на полноту и кажущуюся оттого некоторую тяжеловатость, отец Биорн был очень подвижен. В молодости голову его покрывали густые светлые волосы, теперь же обнаженная голова святого отца напоминала гладкий розовый шар. Все в нем было круглым, степенным и ровным. Даже морщины не тронули его лица. И если отец Биорн все же утратил некоторые дары юности, эту потерю ему возмещал легкий и неутомимый язык. В зрелом возрасте отец Биорн со-

хранил мудрость, бесценные сокровища красноречия и не омраченную неверием совесть проповедника.

Проповеди отца Биорна, полные божественного лукавства и страсти, пробуждали возвышенные чувства; как целительный бальзам, воздействовали на больных духом; подобно сладкому греховному яду, успокаивали страсти. И если не ведавшие грамоты евангельские рыбаки и земледельцы заговорили на многих языках, то что можно сказать о святом отце, изучавшем богословие и философскую мудрость в Упсале!

Биргер ценил своего духовника. Дар красноречия отца Биорна был необходимым и естественным украшением властолюбивых замыслов правителя государства. Когда шведское войско вступило в землю озер, Биргер кроме трудов над обращением неверных возложил на отца Биорна обязанности первосвященника войска и верховного судьи.

Вернувшись от герцога, отец Биорн, сидя в покойном кресле, погрузился в размышления. Казалось, он задремал.

В тишине чуть слышно скрипнула дверь. Бесшумно ступая кривыми, будто нарочно вывернутыми в суставах, коротенькими ножками, в покой, не постучав, вошел горбатый уродец. Длинные руки его достигали колен, огромная голова казалась случайно приставленной к тщедушному телу. Лицо горбуна изжелта-серое, с довольно правильным, лишь немного задранным вверх носом и крупными, мясистыми губами, напоминало застывшую маску.

— Что случилось, Роальд? — спросил отец Биорн.

Горбун подвинулся вперед. В глазах его вспыхнул и тут же погас зеленоватый, лихорадочный блеск. Словно боясь, что его могут услышать чужие уши, сказал шепотом:

— Стража схватила неизвестного бродягу, ваша милость.

— Где он?

— В охотничьей зале. Начальник стражи намерен сказать о пленнике его милости герцогу.

— Как? — изумленно поднял брови отец Биорн. — Нужно ли тревожить герцога из-за какого-то бродяги?

И ты, Роальд, не предупредил об этом. Кто начальник стражи?

— Рыцарь Ингвар Пробст, вассал из рода Торгильсов. Он ожидает благословения вашей милости.

Лицо отца Биорна смягчилось. Он поднял глаза к распятию, которое виднелось в углу, набожно вздохнул:

— Пробст — благочестивый католик. Передай ему, что я поговорю с незнакомцем.

Горбун направился к выходу, но отец Биорн его задержал.

— Рыцарь Олаф Карлсон в замке?

— Да. Вчера он снова встречался с госпожой Хильдой. Муж ее, смотритель Трок, был пьян и храпел так, что перепугал коз, которые паслись в долине.

Розовый шар головы отца Биорна налился кровью.

— О, сможет ли когда-нибудь молчать твой язык, Роальд? — Отец Биорн подавил вздох. В голосе его прозвучал скорбный упрек.

— Ваша милость приказали мне говорить обо всем, что совершается в замке, — оправдываясь и как бы не сознавая своей вины, угрюмо произнес горбун. В полутьме, издали он не видел лица святого отца и поэтому не знал, что выражение скорби в глазах отца Биорна сменилось выражением гнева.

— Я не просил тебя рассказывать о греховных утехах рыцаря Карлсона, — не скрывая раздражения, резко произнес отец Биорн. — Мне дела нет до этого неисправимого грешника... Долго ли пробыл он в покоях Троков? — помолчав, спросил более мягко.

— С заката до полуночи.

— Боже милосердый, настанет ли конец долготерпению твоему?! — устремив взгляд на распятие, воскликнул отец Биорн. — Сокрушаюсь при мысли о том, как велика будет горечь почтенного ярла Улфа, когда узнает он о недостойном поведении своего сына. Сожалеет ли Карлсон о совершившемся?

— Не думаю того, ваша милость. Он весел, смех его звучит так же громко, как и всегда.

— Нераскаявшийся грешник хуже язычника, — произнес свой приговор отец Биорн. — Трок все время спал, покуда жена его предавалась греховным сладостям?

— Как мертвый.

— Счастливец! Завидую его неведению, — отец Биорн на минуту умолк. — Но велико милосердие божие, Роальд, оно указывает нам путь к спасению заблудших, — снова начал он, и теперь голос его звучал уже не сокрушением, а откровением истины. — Рыцарю Карлсону поможем воинскими подвигами смягчить участь, ожидающую его... Госпоже Хильде ты передашь: пусть, когда утихнет замок, войдет она в мой покой. Искреннее раскаяние спасает и неверных. Да не забудь дать Троку вина. Пусть втайне для него совершится милосердие божие. Госпожа Хильда, очистясь покаянием, получит отпущение греха и вернется к мужу целомудренною и чистой, какою знал он ее в первую брачную ночь.

ГЛАВА 2

ГОСТЬ ИЗ ВИСБИ

Охотничья зала, куда Пробст ввел пленника, находилась в западной половине замка. Она представляла собой обширный покой с массивными каменными стенами. Дневной свет еле проникал под ее своды. Крохотные щелки окошек терялись где-то в вышине. Строителем замка, святым королем, эта зала предназначалась для игр и пиров. Она лишена каких-либо украшений. Единственное, что оживляло ее, — вбитые в стены железные консоли, которые поддерживали плошки, освещавшие залу. И плошки и консоли изъедены ржавчиной.

Ни в одной из частей замка запустение не оставило таких глубоких следов, как в этом, по преданию, любимом покое святого короля, досуги которого украшали благородные дамы и прославленные храбрыми подвигами рыцари. Строгость убранства залы, следы чего сохранились и поныне, отражала суровую эпоху первых рыцарских войн за мировое господство католической церкви.

Ныне покрытые плесенью стены зала зияют впадинами от вывалившихся камней. Во впадинах гнездятся летучие мыши. В углах, на темных перекрытиях свода,

всюду, словно забытые кем-то лохмотья пыльных одежд, сереет паутина. От древнего убранства, кроме ржавых светильников, сохранилось несколько пар покоробленных с распавшимися отростками оленьих рогов. Они расположены полукругом над высеченной из гранита нишею очага.

Когда в верхних пролетах кровли свистит ветер, а за стенами грохочет и бьется рассерженное море, охотничья зала оживает, наполняется древним, как и сама она, величественным гулом. Кажется тогда, что под сводами ее рождается старая сага, сложенная безвестным скальдом на пиру конунга:

Мудрый Один! Свет и тьму, воды и ветер
держишь рукою, как повод коня боевого;
послушно воле твоей стихий безумие,
солнце восходит, луна и звезд легионы,
свершая начертанный круг над землею.
О седовласый! Взгляни с высоты на потомков
Ингвара и Брет-Ямунде — доблестных нейров;
крылья пошли молодого орла им и ястреба когти,
громы закрой и ветер и дождик уйми!..
Пусть рассеются тучи, волн успокоится бег;
застыв, утихнет море —
зеленая чаша соленой воды...

Пленник стоял около очага. При появлении отца Биорна он шагнул навстречу, но тут же остановился в нерешительности.

— Кто ты, откуда пришел в замок? — спросил отец Биорн.

— Прошу выслушать меня, ваша милость!

— Говори, — разрешил отец Биорн.

— Я живу в Висби, — начал пленник. Он оправился от первой неловкости. Высокая фигура его, откровенный и прямой взгляд и даже свалявшаяся клочьями борода показывали, что этот человек знал лучшие дни. — Шли мы на трех ладьях с товарами из земли русов, из Великого Новгорода, — говорил он. — Богат и обширен торг в этом городе. Много там торговых гостей из ганзейских городов и из Византии, из-за Каспия. Везли мы дорогие меха, лен, воск и иное добро. Радовались удачному торгу. Если бы плавание наше завершилось благополучно, собрали бы хорошую прибыль. Но надежды наши не сбылись...

— Русы напали на вас в пути и захватили ваше добро? — довольный внезапно пришедшей догадкой, спросил отец Биорн.

— Нет, ваша милость. Иное несчастье постигло нас, — голос пленника дрогнул. — На второй день, как вышли мы из протоки в море, поднялась буря. Остаток дня и всю ночь боролись с волнами. Не знаю, что сталось с моими товарищами. Море нас раскидало. Перед утром ладью, в которой шел я, разбило о камни. Очнулся я на песке. Волна выбросила меня. Увидев замок, я пошел искать пристанища. Я мирный торговый гость, ваша милость. Меня схватила стража замка, и до вас никто не пожелал выслушать несчастного, претерпевшего столько неисчислимых бед.

— Бог вознаградит сторицею все, что ты потерял, почтенный гость, — отец Биорн поднял глаза, как бы призывая на потерпевшего несчастье гостя милосердие свыше. — Ты счастлив тем, что находишься среди своих, в крестоносном и непобедимом войске нашего христианнейшего короля, да хранит его бог! Поведай мне и войску обо всем, что довелось увидеть тебе в стране еретиков и отступников; поведай обо всем не страшась.

— Мне нет нужды что-либо скрывать, ваша милость, — сказал гость. От ласковых, обнадеживающих слов отца Биорна он ободрился и выглядел теперь не так жалко, каким показался сначала. — Но прежде прошу, ваша милость, дать мне немного пищи.

— Ты получишь все необходимое. Как твое имя?

— На торгу меня называют Генрих из Висби, Генрих Христиансен.

— Долго ли пробыл ты в Новгороде?

— Осень и всю зиму.

— Сын мой! — с этими словами отец Биорн повернулся к Пробсту. Тот, опираясь на копье, стоял, прислонясь спиной к испещренной многими зарубками и другими знаками деревянной колонне. Он равнодушно наблюдал за тем, что происходило в зале, и, казалось, не слышал, о чем говорил духовник правителя с потерпевшим кораблекрушение гостем. — Твое благочестие давно служит примером для воинов, — после небольшой паузы продолжал отец Биорн. — Скажи Роальду, чтобы он приготовил гостю из Висби ужин и платье.

Пробст удалился вместе с пленником. Отец Биорн остался в зале. Он стоял задумавшись, устремив взгляд на холодную нишу очага. Генрих Христиансен неожиданным появлением своим и рассказом о злоключениях, выпавших на его долю, напомнил отцу Биорну о Новгороде, о вожделенных мечтаниях, которые в глубине своего сердца лелеял почтенный духовник правителя.

Как велико будет торжество церкви, когда он, Биорн из Упсалы, взойдет на ступени дома святой Софии, когда апостольский свет Рима озарит пламенем истинной веры заблудшую страну. Война вознесла отца Биорна на пост духовника правителя шведского государства, она же возложит на отца Биорна паллиум епископа, главы католической церкви новгородской.

Быть первым католическим епископом Новгорода — какое желание может быть сладостнее для смиренного проповедника?!

ГЛАВА 3

ОТЕЦ БИОРН ТОРЖЕСТВУЕТ

На следующий день, утром, отец Биорн велел Роальду позвать к нему Христиансена. Ночь не оставила на лице святого отца следов утомления. Исповедь госпожи Хильды не расслабила его. Пропели третьи петухи, когда Роальд проводил Хильду в покои смотрителя замка. В замке сегодня не слышно ее голоса.

— Хорошо ли ты отдохнул, сын мой, можешь ли теперь говорить? — спросил отец Биорн, когда Роальд ввел к нему Христиансена.

— О да, ваша милость! По доброте вашей я не лью больше слез о потере. Так было угодно богу.

— Ты прав, и я радуюсь, что услышал от тебя слова истины, — набожно скрестив на груди руки, промолвил отец Биорн. — Кто верит в милосердие творца, — продолжал он, — не сетует и не ропщет в несчастии, тот с избытком приобретает все, что он потерял. По воле творца всего — море возвращает сокровища, погребенные в пучинах его, земля отдает плоды, долины рек пи-

тают тучные стада. Помолимся, сын мой, тому, кто повелевает небом и землею, кто дарует жизнь и утешение ею.

Отец Биорн прочитал молитву. Христиансен опустился на колено и застыл так, склонив голову.

— Давно ли отбыл ты из Новгорода? — окончив моление, спросил отец Биорн. Он сел и в привычной позе скрестил на животе руки.

— Совсем недавно, ваша милость. Мы отплыли, как только открылся путь морем. Если бы не несчастие, постигшее нас, мы радовались бы теперь завершению плавания.

— Какие обиды терпели вы в земле русов?

Христиансен не понял вопроса святого отца. С изумлением взглянул он на своего покровителя и сказал:

— И в Новгороде и всюду, где довелось бывать нам, не знали мы ни притеснений, ни обид.

— Правду ли я услышал, сын мой?

— Истинную правду, ваша милость. Торг богат в Новгороде, и мы имели многие льготы.

Отец Биорн с сокрушением вздохнул.

— Потворство еретикам и язычникам есть кощунство, — нравоучительно, сухим тоном произнес он. — Нет прощения грешнику, скрывающему от лица церкви козни врагов. Спрашиваю тебя, сын мой, — голос отца Биорна прозвучал жестче и требовательнее, — скажи, не скрывая ничего и не утаивая, о всех утеснениях, перенесенных тобою и товарищами твоими в земле русов.

То, что сказал отец Биорн, смутило Христиансена. Он не мог объяснить причины внезапной суровости духовника правителя. Хотя Христиансен и не чувствовал за собою вины, но при напоминании о «прощении церкви» невольный страх заставил его вздрогнуть. Он хотел еще раз сказать о льготах, какими пользовались в Новгороде гости из Висби, о приветливости князя Александра, который говорил с ними перед отплытием, но при взгляде на сурово хмурившееся лицо святого отца спохватился. Вместо желанных слов Христиансен принялся бормотать:

— Я не лгу, ваша милость. В Новгороде никто не чинил нам зла, не утеснял. И мне и товарищам моим оказывали почет по положению нашему...

— Замолчи! — резко произнес отец Биорн. — Бог совершил чудо, спасая тебя от морской пучины, Генрих из Висби. Когда смерть в образе бури витала над тобою, он, всемогущий, повелел стихиям выбросить тебя на берег. Участь твоих товарищей миновала тебя. Но ты, как вероотступник, не радуешься милосердию творца. Уста твои извергают похвалы еретикам русам. Ты восхваляешь то, что ввергло тебя в несчастие, превозносишь доброту тех, чье слово подобно блевотине. Торг с неверными и еретиками развратил и погубил твою душу. Уйми гордыню свою, Генрих из Висби! Скажи все, что испытал ты, и я, служитель церкви Христовой, отпущу твой грех.

Каждое слово отца Биорна колючками шиповника вонзалось в сердце Христиансена. Лицо его побледнело. Отец Биорн говорил о лжи, о потворстве еретикам, но он, Генрих Христиансен, не повинен ни в том, ни в другом. Он всегда был добрым католиком и все, что положено, давал церкви от своих доходов. Генриха Христиансена никто еще не обличал во лжи. И в Висби и всюду, где приходилось бывать ему, честность его ставилась в пример другим. Тем неожиданнее и горше прозвучали тяжкие обвинения, которые услышал он из уст духовника всемогущего герцога.

— Я несчастен в несчастии своем, ваша милость, — желая восстановить истину, произнес Христиансен. — Но я не лгун и никогда не был им. Я готов все, что сказал, подтвердить клятвами.

— Не клянись! — снова оборвал Христиансена отец Биорн. — Диавол хитростями своими ослепил тебя, — не гнев, а сокрушение о чужих грехах слышались теперь в голосе священника. — Рука Промысла указала тебе путь и привела в стан крестоносного войска, чтобы поведал ты правду о земле по ту сторону моря. Велика и обильна она, но люди, населяющие ее, хуже язычников. Отпав от единой апостолической церкви и святейшего престола, они погрязли во грехах и беззакониях. Как бездомные псы, скрываются они в лесах, грабят и убивают мирных путников. Достойно ли верного сына католической церкви взирать без душевной скорби на козни диавола! Войско нашего христианнейшего короля, да хранит его

бог, несет мир и спасение заблудшим. С именем пресвятой девы и со знаменем креста вступит оно на землю русов. Почтенный Генрих из Висби, сможешь ли ты забыть то, о чем говорил мне? Во имя бога и славы его пусть уста твои произнесут приговор еретикам и отступникам! Ты скажешь, что обездоленным и несчастным явился к нам из пределов новгородских, что разбойники русы отняли у тебя добро и схватили твоих товарищей. Святая церковь благословит тебя...

Голос отца Биорна ласкал слух. Пальцы его рук, сложенные на животе, шевелились, словно перебирая невидимые четки. Христиансен не мог оторвать от них взора. Безотчетный страх охватил его. Из слов отца Биорна он понял одно: именем бога и святой церкви священник требует от него лжи. Может ли он, Генрих Христиансен, противиться этому? Не явится ли в глазах церкви упрямство его потворством еретикам? Христиансен мучительно думал, стараясь понять и осмыслить положение, в каком он неожиданно очутился. И чем дольше длилось его молчание, тем сильнее тревожил страх перед могуществом церкви. Мрачная картина жизни в стране, которую он недавно покинул, нарисованная священником, перестала наконец смущать его совесть. Христиансен решил, что глаза его и уши могут лгать; гостеприимство, каким пользовался он и товарищи его в Новгороде, — не есть ли обман и заблуждение памяти?

— Понял ли ты, сын мой, какой тяжкий грех совершаешь, упорствуя велению святой римской церкви? — спросил отец Биорн, внимательно наблюдавший за той душевной борьбой, какая отражалась на лице Христиансена.

— Да... Я готов поведать. Я скажу, что сталось со мною и моими товарищами в земле Новгородской; скажу так, как советуете сказать вы, ваша милость.

Отец Биорн, благословляя Христиансена, поднял руку.

— По милости божией да совершится истина! — провозгласил он. — Не умалчивая ни о чем и ничего не утаивая, поведай правителю и войску о бедствиях своих в стране варваров. Пусть слово твое обострит меч рыцарей креста, поможет истреблению неверных и еретиков,

а обращенным в лоно римской церкви откроет путь к спасению. Не наступит еще зима, когда ты, Генрих Христиансен, возвратишься в Новгород не как иноземец, а как господин, и с лихвою возместишь все, что потерял.

ГЛАВА 4

ВЕЧЕ У СВЯТОЙ СОФИИ

Зазвонили набат у святой Софии. Набатный звон вырвался из-за стен и стрельниц Детинца, поплыл над городом, созывая на вече Софийские концы.

Идут на зов люди из Неревского и Людина концов, идут загородские; шествуют бояре с Пруской улицы и Легощи. На вечевой степени посадник степенный и тысяцкий. На груди степенного золотая гривна посадничья. За степенным — владычные бояре и старые посадники[1], среди них первым — Стефан Твердиславич. Шапка у него опушена бобром, острая тулья рытого бархата. За старыми посадниками — бороды кончанских и уличанских старост. Все боярство новгородское на софийском вече. У святой Софии — не на Ярославовом дворище, у вечевой звонницы. У святой Софии первое слово посаднику да вотчинникам.

Махнул степенный рукавом — стих набат. По толпе прокатился гул и замер.

— Мужи новгородские! — выступив вперед, начал речь владычный боярин Якун Лизута. — Старшие и меньшие и что на посадах. Великие беды обрушились на Русь. Низовые земли разорены поганой Ордой и обезлюжены, черный пепел на месте городов их. Зарится Орда и на Великий Новгород. От моря Варяжского грозят свеи и лыцари, придется Новгороду Великому самому постоять за себя; помощи ждать неоткуда. Великий князь Ярослав Всеволодович во Владимире, на Суздальщине, да что в том! Суздальской земле самой до себя, не до нас. Наш князь, Александр Ярославич, по юности своей, не уважает обычаев новгородских, установленных

[1] Бояре, избиравшиеся раньше посадниками.

издревле старым уставом нашим. Княжая дружина в играх таровата, в копейных да стрелецких потехах на Буян-лугу, а как да, на грех, поход? Игрою врага не устрашишь. И князь Александр намедни, в потеху новгородцам, чуть ли не в сподницe на круг вышел, копье метнул... Можно ли с таким-то князем отвести беду? Кто будет рать править? Нет у князя Александра степенства княжеского, мудрого совета обегает он. Владыка архиепископ зело печалится о том сердцем святительским. Ждать ли нам, мужи, заступы от Александра? Нет, нечего ждать. Пора сказать о том свое слово и в грамоты записать. Не поискать ли иного князя? Совет верхних людей в Грановитой положил, чтобы пришел князь к Новгороду не чужим, а по ряде нашей, чтобы княжил он и судил по воле Господина Великого Новгорода и целовал бы в том крест на старых грамотах наших у святой Софии.

Речь владычного боярина прозвучала до того неожиданно, что замешкались, не подали голоса и завзятые говоруны. Тишину нарушил Стефан Твердиславич.

— Болярин Якун, — промолвил он, — о том поведай: кого благословил владыка звать на княжение Новгороду Великому?

Лизута погладил бороду, ответил не спеша и с таким степенством, словно то, что говорит он, не его мысль, а решение вече:

— Есть и о том сказ, болярин Стефан. Указано мне поведать Новгороду, что время спросить князя Александра, оставит ли он упрямство свое, остепенится ли, примет ли волю Господина Великого Новгорода. Коли не поступится он перед Новгородом властью княжей, поставит, по примеру суздальских князей, княжую власть выше совета верхних, то блюсти нам тогда, мужи, самим вольности наши. И чтобы слово наше было крепко, с владычного благословения, заслать послов в Чернигов, к матери-княгине Федоре Изяславовне, спросить ее — не даст ли сына своего Мстислава к нам на княжение? От родителя его много знал добра Новгород.

— Князь Александр близко, спросить бы его прежде? — послышался чей-то растерянный голос. — Иное-то как бы к худу не привело.

— Суздальские князья не раз заступали Новгород, — прозвучало громче. — Давно ли на Омовже Ярослав суздальский отбил охоту лыцарям воевать землю нашу?

— Знать, княжич Мстислав зело способен княжему делу, — говоривших за Александра поддержал выкрик из задних рядов. — Что-то не слыхали о нем!

Сквозь глухой шум толпы, заполнившей всю площадь перед святой Софией, все громче, настойчивее прорываются голоса сторонников Александра. Воля вече еще не сложилась. Шум разрастался. Он подобен волне в бурю на Ильмене, когда она, ударясь о берег, рассыпается белой пеной.

— Не чесать бы нам после головы, мужи, как откажем Александру! — кричит один. — Не сведали, что великий Ярослав скажет.

— Кому не люб Александр? Верхним людям. Вотчинникам он не потворствует.

— Пусть Мстислав сидит в Чернигове. О походе свеев да лыцарей сказал болярин Якун, уж не Чернигов ли поможет Новгороду?

— Есть князь на Новгороде, не волим другого!

Сторонники Александра, выкрикивая его имя, теснее окружают вечевую степень. Кто за Мстислава — отвечают бранью. Чаще, с угрозами, вздымаются кулаки. А ну как побоище! Стыд... На софийском-то вече! Вольно шуметь торговым концам на Ярославовом дворище, а не боярским у святой Софии. И быть бы побоищу, да догадался боярин Лизута, подал знак звонцам. Гулом раскатилась над Детинцем тяжелая медь большого владычного колокола. Это охладило головы. Шум стал затихать. Не спорить же Новгороду со святой Софией!

Поднял руку степенный.

— Мужи новгородские! — крикнул он. — Мы все, и в совете верхних и по особи, любим князя Александра. Пусть княжит он на всей воле новгородской. Любее князя не ищем...

Речь степенного смутила людей. И прежние князья брали ряду, почему не взять ее Александру? Новгород — не Владимир, не княжеский город. Послышались голоса в похвалу степенному. Казалось, поговорят-поговорят, да и велят дьякам писать грамоты. В это время на вечевой степени появился Никита Дружинич. Нарушив обы-

чай, вошел он на степень — Славненский конец на Торговой стороне. Дружинич промолчал бы, но его возмутила хитрая речь степенного. Решит вече так, как сказал степенный, уйдет князь Александр. Он — не Мстислав, не корм себе ищет на княжении.

Увидев Дружинича, боярин Лизута побагровел от гнева. Никита краснобай и хитер, сторонник он суздальцев. Скажет слово — жди, всколыхнет вече.

И только бы Дружиничу открыть рот, как Лизута, выбежав вперед, оттолкнул его, встал сам на его место. Забыв о лысине, снял шапку, показал голое темя.

— Мужи новгородские! — не крикнул, а истошно взвизгнул боярин. — Слово у меня на сего злодея, — Лизута размашисто показал на Дружинича. — Он, Микитка, ворует казну новгородскую; собирает пошлины с сребровесцев у святого Ивана[1] и берет те пошлины себе. Пусть скажет о воровстве его Василий Сухой, звонец владычный, и клятвою закрепит слово.

— Почто, как пес, брешешь на меня, болярин? — отступив, крикнул Лизуте Дружинич. — Уж не в том ли мои вины, что слово имел противу тебя?

Шум заглушил речь Дружинича. Смертное обвинение в воровстве, брошенное Лизутой, примирило всех. Напрасно кричал, надрывая голос, Дружинич, — голоса его не слышно.

— Судить вора!

— В Волхов с Великого моста.

— Васька Сухой... Где он?

Разыскали Сухого. Прежде чем поставить на степень, повели к Волхову.

— Испей, Василий, воды из Волхова да поведай, как серебро воровали!

Подняли на степень, поставили рядом с Дружиничем.

— Брал серебро Микита?

— Брал, — ответил Сухой.

— Дань и пошлины присваивал?

— Присваивал.

---

[1] Церковь Иоанна в Опоках, при которой были торговые склады и купеческие братчины; там же взвешивалось серебро при торговых сделках и разбирал тяжбы торговый суд.

— Стращал кого да сажал в поруб?

— Стращал и сажал.

Сухой соглашался со всем, о чем его спрашивали.

— Облыжье на меня, мужи новгородские! — выступив вперед и перебивая Сухого, крикнул Дружинич. — По подкупу свидетельствует Васька...

Сухой покосился на Никиту. Некоторое время он стоял молча, как бы прислушиваясь к тому, о чем кричат в толпе. И не успел никто понять, что задумал «чадушко», Сухой схватил в охапки Дружинича, поднял его перед собой на вытянутых руках и опустил на головы тех, что стояли внизу, у степени.

— Ха! — ухмыльнулся он, показывая прогаль на месте передних зубов. — Не ходи, медведь, на Софийскую сторону!

ГЛАВА 5

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Отзвонили к вечерням, когда боярин Лизута вернулся с вечевой степени в свои хоромы. В ушах все еще стоял шум и крики собравшихся на вече жителей Софийских концов. Устало, не спеша переступая со ступеньки на ступеньку, поднялся на резное крыльцо. От красных сафьяновых сапог с высокими каблуками у боярина отекли ноги. Точно не мягкий сафьян на ногах, а давят и жмут их дубовые брусья из нижней клети для холопов непокорных. Сбросив на руки подбежавшему холопу шубу, Лизута, прихрамывая, тронулся по переходу в жилую горницу, но, не дойдя до нее, остановился, толкнул дверь в гридню.

— Меду! — не оборачиваясь, велел коротко.

После уличной пыли и духоты в просторной гридне казалось прохладно и чисто. Лизута покрестился на образ в темном, с облезшей позолотой, тяжелом киоте, прошел в передний угол, к столу, и, отвалясь в кресле, вытянул перед собой ноги.

— Ох, потрудился за святую Софию!

Боярин закрыл глаза. Вошел холоп, молча поставил на стол медную ендову и, пятясь к двери, исчез.

— А боляре-то... — вдруг, подняв голову и рассуждая сам с собой, произнес Лизута. — На что боек кум Стефан, а нынче будто воды в рот взял, не обмолвился. В гриднях у себя петухами ходят, бранят князей суздальских... И Ярослава, а паче того Александра. Главою-де желают стать над Новгородом, пора, мол, напрямки о том молвить. А на вече, перед людством, языки присохли. Не умею я за спиной у других стоять, за то и страдаю... Из-за характера своего, из-за прямоты. За всех старых боляр молвил.

Лизута поежил плечами, усмехнулся и, сквозь зубы, точно выдохнул:

— Не пришлось бы с повинной-то головой одному стоять.

Подвинул мед. Не наливая в чашу, пригубил прямо из ендовы.

И оттого ли, что хмель бросился в голову, или потому, что боярин один в гридне и нет ему нужды соблюдать степенство свое, он повеселел.

— Сильны князья суздальские, — снова подумал вслух. — Нынче не на Торговой стороне, а у святой Софии орали за них вечники. Не переборешь... А мы попытаем, — Лизута выпрямил грудь. — Не с голой рукой и не с пустой головой выйдем... На лыцарей обопремся.

Замолчал. Вспомнилось боярину, как вышел на степень Никита Дружинич, староста Славненского конца. Не ищи он слова перед Новгородом, Лизута умолчал бы, не назвал его имени. К месту и ко времени вспомнил Лизута, о чем беседовал недавно с кумом Стефаном. Заткнул рот худородному. Небось ноги подкосились у него со страху, как услышал о дани с сребровесцев.

Били Никиту. Брань, крики, стоны неслись из «великой кучи», что безлико ворошилась у степени. В пылу не разбирали ни своих, ни чужих. А Никита ушел... Искали его после боя среди поверженных — не нашли. Выскользнул, как угорь из сети.

Опустел Детинец, а дьяки не писали грамот. Не сказал слова своего Великий Новгород.

И оттого, что не писали дьяки ряды князю Александру, боярин, неожиданно для самого себя, вдруг почувствовал какое-то удовлетворение. Княжеские люди небось обо всем, что говорилось и что сталось на вече, пе-

редали на княжий двор. Говорилось, да в грамоты не записано сказанное. А нет грамот — и распри нет. На словах-то мало ли что скажется. То, что молвил Лизута на вече, он готов до слова повторить в лицо Ярославичу. Как был главой на Новгороде совет господ, так ему и быть, а князю — войско ведать, не сказывать суда своего без посадника, брать дань с волостей, как указано будет по ряде, в грамотах договорных.

С улицы донеслись в гридню какие-то крики, они словно разбудили боярина.

Вечер. В гридне не видно ни ларей кованых на лавках, ни изразцов, ни киота в переднем углу. Лизута стряхнул думы, встал, потянулся так, что хрустнули суставы, заглянул в оконце. Потемневшее небо, казалось, отодвинулось от разомлевшей в дневном зное земли. Лизута хотел было крикнуть, чтоб принесли свечи, но передумал. Допил мед и шумно опрокинул на стол ендову; потом вышел в переходец и неторопливой поступью направился в терем боярыни.

Скрипят в переходе сосновые половицы. Скрип их напомнил боярину Якуну о злой хвори, истомившей Настасью Акимовну. И время давно забыто, когда жила она, красовалась телом пышным, лицом румяным; когда и на улице и в церкви божией удалые молодцы оборачивались на нее, завидовали Лизуте. Нынче она высохла, от худобы одежда на ней висит неприглядно; темные, глубокие, как рвы у Детинца, морщины искоробили лицо. Обострившийся нос вытянулся, расцвел черными точечками, губы ввалились. Ничего не осталось на этом лице от былой красы Настасьи Акимовны, черные брови и алые губы которой околдовали когда-то юного боярина Якуна.

Шестнадцать лет только-только исполнилось Настасье Акимовне, когда Якун Лизута ввел ее из-под венца в свои хоромы. Не из богатого роду пришла Настасья, но красота ее была Якуну дороже всего, чем владел он. В любви жил он с боярыней. Лизута смолоду нетерпелив характером, а боярыня Настасья кротка и тиха. Ни в чем, ни в большом, ни в малом, не перечила она мужу. Может быть, вся жизнь их прошла бы счастливой дорогой, если б не беда... Видно, не в добрый час встали они под венец, в недобрый час рука в руку обошли во-

круг налоя; год прошел после свадьбы, другой, а боярыня Настасья не понесла. Огорчало Лизуту бесплодие боярыни, но он не бранился, не укорял ее: молода Настасья, авось как возмужает, и придет радость. Каждый день с надеждой входил он в светлицу к боярыне, ждал — не обрадует ли? Нет. А годы уходили: чем дальше, тем неуютнее, холоднее становилось в хоромах, больнее, тоскливее обида: почто за красу ненаглядную полюбил он девицу! Останется Настасья бездетной, оборвется на Великом Новгороде именитый род боярина Якуна, внука Внездина.

Ничего не жалел Лизута — ни серебра попам на заздравные молебны, ни милостыни убогим: молились бы божьи люди за разрешение от бесплодия боярыни Настасьи. Ходили с Настасьей пешком на богомолье в монастыри, прикладывались к мощам угодников новгородских, но ни молебны, ни молитвы убогих, ни мощи чудотворные не тронули своей милостью боярыню. Тонкий и гибкий стан ее цвел, как березка на зеленом лугу. Какою вошла она после венца в хоромы боярина Лизуты, такой и жила и красовалась.

Однажды, в храмовый день, побывала Настасья Акимовна на богомолье в Ситецком монастыре. Старец Агафангел, игумен ситецкий, с полудня до вечера, с глазу на глаз, вел душеспасительную беседу с молодой боярыней. И до того растрогал он своими речами Настасью Акимовну, что после (год, почитай) каждую неделю бывала она на богомолье в Ситецком, обретя в наставлениях старца утешение своему горю. Старец Агафангел в ту пору был полон телесных сил. Горячо, с верою молился он с Настасьей Акимовной за разрешение ее от бесплодия.

В тот год и понесла боярыня. Ни с чем не сравнима была радость в хоромах Лизуты, когда Настасья Акимовна в полном благополучии разрешилась от бремени дочерью. Новорожденную назвали Софьюшкой. В уходе и бережении росла она; Лизута не чаял души в дочери, Настасья Акимовна дышала и надышаться не могла на Софьюшку. Дрожала над нею, страшилась, чтобы лишним ветерком не обдуло чадо. И сама боярыня после родов располнела и распышнела. Не стыдно стало Якуну Лизуте показаться на люди со своей боярыней.

Софьюшке шел седьмой год, когда черный мор посетил Новгород. Каждый день разносился над городскими концами заунывный звон, напоминая о бедствии. Попы служили молебны, кропили освященной водой жаждущих исцеления. Но смерть не внимала мольбам. Ничьих хором не обошла, ничьих не пощадила. На торгу и на улицах умирали люди. Осужденные за воровство и лихие проступки черные люди, с колодками на шее, скованные цепями, убирали умерших, поливали смолой место их смерти.

На дворе боярина Лизуты все лето наглухо были закрыты ворота, дубовые двери замыкали терема. Казалось, ничто не проникнет внутрь, ничему нет доступа. Но не обошел мор хоромы. Не оберегли ни замки, ни дубовые двери. Под осень уже, на Успеньев день, захворала Софьюшка. Гнойными вередами и чирьями покрылась она. Мучилась Софьюшка три дня, а на четвертый утихла, будто заснула. Белый сосновый гроб стоял в светлице, курили над гробом ладаном, еловые ветки устилали переходы и двор. С той поры от горя и тоски по дочери начала таять Настасья Акимовна. Исхудала, постарела. И чем-чем не пользовали ее, каких-каких отваров не пила боярыня, какою-какою водою не мылась — ничто не излечило недуга. Живет Настасья Акимовна на лихо себе.

Нынче на улице вешняя теплынь, а в тереме у боярыни жарко натоплены печи. В углу, перед образом, тлеет огонек лампады, тускло освещая убранство светлицы. Пахнет душистой мятой.

Боярыню знобит. Высохшее, тощее тело ее не держит тепла. Прилегла она на перину, накрылась одеялом пуховым.

Лизута вошел к боярыне и осторожно прикрыл за собою дверь. Боярыня не пошевелилась, не повернула лица. Глаза у нее открыты. Безжизненный взгляд их точно прикован к выбеленному известью низкому потолку.

Лизута постоял у двери. Ждал — не позовет ли? Но не только голоса боярыни — дыхания ее не слышно.

— Настасья! — окликнул ее, выходя на средину горницы. Узорный ковер, раскинутый на полу, скрадывал его шаги. — Жива ли?

— Жива, — ответила боярыня еле слышно. Голос ее — хриплый, задыхающийся — прозвучал глухо, будто донесся из-за стены. — Ты, Якун? — спросила.

— Я. Не отмучилась, зрю?

— По грехам моим и муки мои, Якуне, — чуть приподняв голову, промолвила Настасья Акимовна. Взгляд ее оторвался от потолка, и прямо перед собой боярин увидел темные, провалившиеся глазницы. — Рада отмучиться, Якуне, а по грехам-то... Не посылает бог за моей душенькой.

— Молилась бы...

— Молюсь. Покоя не ведаю. Тебе-то, Якуне, тяжко из-за меня.

— Тяжко, — поморщась, признался Лизута.

— Недолго... Потерпи!

Настасья Акимовна закрыла глаза, голос ее чуть слышен.

— Терплю, — промолвил Лизута с сокрушением. — Ни смерти тебе, ни живота. Который уж год так-то! Доколе, Настасья?

— Божья воля, Якуне.

— И в горнице у тебя духотища, живому человеку мочи нет.

— Знобит меня... Жду милости..

— Нету, — перебил Лизута, — нету милости, Настасья. Молитва не достигает, подумала бы... Сама... Не во грех оно... Отмолим. Сто сорокоустов по тебе закажу, сколько воску лежит в клетях — весь велю перетопить на свечи, во спасение души твоей раздам в милостыню...

— Не торопи! Скоро ведь...

— Ты Маланье молви, — Лизута наклонился к боярыне. — Она... Легкая у нее рука.

Настасья Акимовна не открыла глаз. Силится что-то сказать, но с шевелящихся губ не слетает ни одного слова.

— Не могу, — наконец разобрал Лизута. — Не могу, Якуне.

— Легче будет, — боярин продолжал уговоры. — Мученица ты, ангелы-то рядом, ждут... Слышишь, Настасья?

Настасья Акимовна не ответила. Ни слова, ни стона от нее, только хриплое дыхание тяжело вырывается из груди. Лизута склонился ниже. «Тоща-то, осподи! Каждая косточка наяву».

— Настасья! — позвал. — Настасья!

Тихо. В полутьме горницы кажется, что губы Настасьи Акимовны глубже ввалились в беззубый рот, нос обострился еще резче.

Ступая на носки, стараясь не скрипеть половицами, боярин Якун выбрался в переход. Неподалеку, на конике, дремлет Маланья, ближняя наперсница боярыни. Увидев Маланью, боярин выпятил грудь, на поклон холопки не глядя бросил:

— Заснула болярыня, не буди!

ГЛАВА 6

КНЯЖИЕ БОЯРЕ

С вечера еще Александр Ярославич сказал воеводе Ратмиру, чтобы утром седлали коней.

— Соберусь в Городище, — сказал он. — Выедем рано, по росе...

Александр давно не был в Городище; собираясь туда, он намеревался побывать и на Нередице, у чернеца Макария. Макарий звал князя посетить учительную палату в монастыре, послушать отроков, обучающихся искусству книжному и письменному. «И зайди, княже, в дом спасов, — писал Макарий, — где трудами моими закончено изображение великого князя Ярослава Всеволодовича; огляди и скажи: достойно ли творению моему быть среди искусных изображений, созданных мастерами новгородскими?»

Утро встало солнечное. Ни одного облачка не видно на ясном голубом небе. Собираясь к выезду, Александр надумал взять с собой и княгиню, Прасковью Брячиславовну.

— Собирайся в Городище, Параша, — сказал он княгине, навестив терем. — Велел я возок готовить.

— Ой, да как же? — от радостного волнения смутилась княгиня. — Мамка!

— Уволь, князюшка, мы не поедем, — вступилась мамка. — Ну-ко сколько-то верст по городу, да по мостовым, да по ухабам...

— Тесаные мостовые, не тряски, — возразил Александр. — И ухабов на пути нет, не зима...

— Нет, княже! Колдобины да рытвины на дороге, — упрямо твердила мамка. — Погляди-ка на княгинюшку, куда она такая-то!..

Княгиня была в просторном летнике, но и он не скрывал выпуклую округлость ее живота. От последних слов мамки Прасковью Брячиславовну бросило в жар. Стыдно! Такой-то, брюхатой, да как ей показаться рядом с Сашенькой! Александр понял ее смущение, засмеялся:

— И впрямь, Параша, мамка дело молвила. Тяжела ты...

Он поцеловал ее в лоб, потом в губы, обнял и покружил по горнице мамку. Хлопнула за ним дверь. Евпраксеюшка, охая, опустилась на скамью.

— Ох, уморил! Ну-ка, меня да в круги...

— Не ворчи, мамка! Стыдно мне перед Сашенькой...

— Какой же стыд, что ты, осударыня! В твоем-то виде на людей на всех тебе свысока глядеть, а не стыдиться. Не девка, чай.

...В горнице у себя Александр застал Ратмира. Воевода стоял у открытой оконницы, шелом он держал в руке, и забегавший с улицы ветерок ворошил на голове седые волосы.

— Что случилось, Ратмир? — зная, что старый витязь задаром не обнажит голову, спросил Александр.

— Набат, княже... Звонят у святой Софии.

На пути сюда Александр слышал частые нестройные удары колокола, но не подумал о набате. Он все еще не мог сдержать улыбки, вспоминая растерянность княгини при встрече с ним, ее стыдливо покрасневшее лицо. Казалось, только сегодня, когда зашел в светлицу и увидел Парашу, понял, что она будет матерью. Теперь, после слов Ратмира, Александр прислушался к звону. Улыбка сбежала с его губ. Тонкая, еле приметная морщинка пробороздила лоб.

— Почто звонят? — спросил.

— Вече... Зовут Софийские концы.

— Пусть! С той ли вестью шел ты?

Ратмир взглянул в лицо Александра. Ни движением, ни жестом князь не выдал своего беспокойства.

— Может, и не с той, да вороны, княже, нынче громко каркают.

— Перестанут.

— Тише будет... — Ратмир помолчал и, как бы вспомнив о вести, с которой пришел к князю, сказал: — Митрополичий монах прибыл на Нередицу. Бранит и хулит все, что сделано там новгородскими мастерами.

— Грек? — Александр поднял брови.

— Не ведаю. Сказывают, близок монах владыке.

— Не к славе нашей иноземные книжники, — высказал Александр то, что думал. — Давно ли монах на Нередице?

— С заутрени.

— Бранит и хулит?

— И хулит и осуждает, княже.

— Не к славе, не к славе нашей, — повторил Александр прежнюю мысль. — Как повелось от Киева, что византийский патриарх ставит на Русь митрополита грека, так и осталось. А едет митрополит на Русь с оравой монахов греческих и афонских. Русь — не Афон, богата. Не пора ли жить нам своим умом, по-своему думать, по-своему городовой и церковный уклад ставить?

— Не монах я, княже, не учен в книжной премудрости; худой буду советчик.

— А ты от сердца молви: почто иметь на Руси митрополита грека, ездить с поклоном к византийскому патриарху?

— Вера наша пошла от греков, — не зная, что молвить иное, сказал Ратмир.

— Пусть! Но вера — не обычаи, обычаи свои на Руси.

— Не о вере я хотел судить, княже, другая весть...

— Постой! — Александр остановил воеводу. — И я не о вере. Горек, но не страшен спор с греками, худшее зло грозит от латынян. Римский патриарх благословил крестовый поход на Новгород; римские попы трубят: хуже-де язычников русичи. Из-за Ладоги свеи, из-за Пскова лыцари немецкие и датские тщатся на землю нашу. Союзные грамоты меж собой и римскими епископу-

пами писали они. Ты, Ратмир, был в батюшкином походе на Омовжу. Били там лыцарей. По миру, который дан им, клялись лыцари в вечной дружбе с Русью. А нынче? Двух лет не минуло с той поры, как гостил на Новгороде магистр ливонский. Памятно и тебе и мне: просил он верить в дружбу, клялся на том, что ливонские меченосцы не помышляют о походе. Не о том ли он думал клянясь, чтобы завязать нам глаза? На словах — мир, а в делах — союз с свеями и датчанами противу Руси. Каждый час жду вести, что за Ладогой или за Псковом поруганы наши рубежи. Давнее зло таят на Русь латыняне. Недаром торговые гости из немецких и иных латинских городов не везут в Новгород ни железа, ни меди. Молвил я намедни гостям из Висби, везли бы к нам не сукна, не мальвазею, а железо и медь... В жар бросило гостей от тех слов. Ложь, сугубая ложь на устах латынян. Повсюду в западных землях неумельцами называют нас, о том лгут, что хуже мы варваров. Неумельцы! А за кольчужки, что наши мастера вяжут, и в Висби, и в Любеке, и у франков ни золота, ни серебра не жалеют. Наши хитрецы из своей руды железо варят; своими мечами и копьями обряжаем полки.

— Правду молвил ты, княже, — когда Александр умолк, сказал Ратмир. То, что он услышал сейчас, его взволновало и обрадовало. Таким вот, каким стоит сейчас перед ним Александр, Ратмир и хотел его видеть. — Не привыкли мы спиной встречать врага, — продолжал воевода. — Не забыли, чаю, и лыцари, остры ли наши мечи. Ныне скажу: будет поход — доведется ли в поле решать битву? Не станут ли наши полки перед городовыми стенами? А стены — хоть и дубовый острог — копьем не достанешь. Стенобитные пороки, кои камни мечут, нужны войску. О том и речь. Отыскал я, Александр Ярославич, на Новгороде умельцев порочного дела... Жирослав, да Андрей, да Петр с Холопьей улицы в Неревском искусны в стенобитном ремесле. Нынче хитрые мастера избы рубят. Вели, княже, не плотниками быть тем мастерам, а взяться за свое ремесло.

— Стены чужих городов собираешься рушить? — усмехнувшись и довольный тем, что услышал от воеводы, спросил Александр.

— Не диво, что и так, княже. И в старых походах брали русичи города.

— Не спорю, твоя воля, строй! Бери умельцев.

Александр взглянул на Ратмира и, как бы вспомнив о чем-то, тревожившем его, спросил:

— Свейское войско в земле Суми, близко от рубежей наших. Сторóжи от моря какие шлют вести?

— Нет вестей, Александр Ярославич. И с Ладоги воевода Божин не шлет гонцов.

— Стар он, неповоротлив, досмотрит свеев, когда ладьи их подступят к Ладоге, — недовольно морщась, проворчал Александр. — Пелгусий, ижорский староста, которому писан указ стеречь путь с моря, давно не дает знать о себе.

Отъезд в Городище задержался, да и желание ехать исчезло. Набат затих, но ни владыка, ни посадник не дали вести на княжий двор о софийском вече. Ратмир надел шелом. Он готов был проститься с князем, чтобы, не откладывая, идти на Холопью, к Жирославу и его товарищам, но ему помешал боярин Федор Данилович.

— Прости, княже, что без зову к тебе, — ступив в горницу и словно бы спеша скорее выложить все, что знал, начал Данилович.

— Рад видеть тебя, болярин, — сказал Александр. — Какою вестью обрадуешь?

— Не обрадую, княже... Верхние созвонили вече у святой Софии.

— Набат слышно на княжем дворе. Не в поход ли собрался Новгород? — Александр насмешливо покривил губы.

— Совет господ и все верхние распри́ с тобой ищут, — сказал Данилович. — Ряду и грамоты договорные желают писать, чтобы не княжить тебе в Новгороде, а наемником быть совета господ. Возьмешь ли ту ряду, Александр Ярославич?

— Нет, — резко произнес Александр. — Не будет на то воли.

— В том и умысел вотчинников. Распря с тобой — распря с великим князем. Господства своего в Новго-

роде желают вотчинники. Не сильный князь им нужен, а который возьмет ряду.

— Чье называют имя?

— Мстислава черниговского.

— Кто слабей да бедней, тот и люб. Не рано ли Новгород начал грозить стольному Владимиру? Хочу слышать, что ты молвишь, Федор Данилович, и ты, Ратмир.

— Не по мне хитрые речи, княже, — первым подал голос Ратмир и искоса взглянул на Даниловича. — Одно молвлю: не пора ли на распрю ответить распрей? Дружина сильна, не словом — мечом остудим горячие головы.

— Воеводе Ратмиру не впервой боем решать споры, — промолвил Федор Данилович. Голос его звучал спокойно и рассудительно. — О том не подумать ли, в чем ныне силу обрели вотчинники? — продолжал он. — Дома их сила или за рубежом ищут ее? И ты, Александр Ярославич, и воевода Ратмир, не забыли, чай, старого посадника Бориса Нигоцевича? Звал он когда-то Новгород противу князя, да шею сломал. Тем живот спас, что бежал в Ригу, под защиту епископов и лыцарей. Спрашивал я позагодь ливонского магистра, как гостил он в Новгороде, почто дали приют Нигоцевичу? Почто лыцари и епископ оказали дружбу изменнику-перевету? Магистр ответил: перед епископом рижским и перед лыцарством не виноват Нигоцевич; приют ему оказан не по дружбе, а из милости; оказывать-де помощь нуждающимся в ней учит римская церковь.

— Ложь! — не утерпев, воскликнул Александр. — Союзника обрели себе ливонцы в Борисе Нигоцевиче.

— Под Медвежьей головой Владимирко псковский с переветами под лыцарским стягом стоял противу русичей, — напомнил Ратмир.

— Истинно, — подтвердил Федор Данилович. — Начнут поход ливонские меченосцы, не диво будет, если воевода Ратмир встретится в поле с Нигоцевичем как с врагом. Кто начал с измены — изменой и кончит. Верхние боляре на Новгороде не отреклись от Нигоцевича. Поклоном от него кланялся магистр владыке и боярам. И ныне не угасли надежды верхних на епископов латинских и на лыцарей. Бывало так-то, Александр

Ярославич. В Галицкой Руси вотчинное боярство в дружбе с угорцами билось против князя Романа. Ты, княже, силен в Новгороде дружиной своей, страхом вотчинников перед полками суздальскими, потому и не люб.

— Довольно, болярин! — Не в силах сдержать гнев, Александр вскочил с лавки, вышел вперед и остановился рядом с боярином Федором. — Ищут нам гибели вотчинники...

— Владычный болярин Якун Лизута молвил о тебе, велел звать на княжение Мстислава.

— Его ли слово стало словом вече? Ждать ли нам, пока скажет Новгород — уходи!

— Не скажет, не услышим того, княже. Вели лучше накрепко затворить ворота на княжем дворе, — посоветовал Ратмир.

— Не время биться, Ратмир. — Александр помолчал, решая, как ему поступить. — Сделаем так, как делывал батюшка: выступим на Торжок, сядем там, остановим обозы с хлебом. Не Новгород будет тогда писать нам договорные грамоты на княжение, сами напишем грамоты Новгороду. Вели готовить поход!

— К чему спешить, княже, повременим, — возразил Ратмир.

— Нет. Хочет Новгород распри, пусть возьмет распрю.

— Верхние боляре ищут распри, а не Новгород, — не согласился Ратмир. — Набат был на Софийской стороне, а на Торговой — ни Славненский, ни Плотницкий концы не сказали слова.

— Выступим, — упрямился Александр.

— Молвил ты, княже, что не время биться, — вмешался Федор Данилович. — И я молвлю — не время. Нынче о распре речь, а завтра Новгород за тебя скажет слово. Уйти легко, а как будет твоя дружина в Торжке, свеи да лыцари безнаказанно войдут в Новгород... Что тогда скажет великий князь Ярослав? Чаю, не похвалит за то, что без боя пустили врагов на Русь?

— Мудро слово болярина Федора, Александр Ярославич, — поддержал Ратмир Даниловича. — Опала твоя

Новгороду — меньшим людям обида. Не станет хлеба, не вотчинники изведают беды. Вели-ко лучше подавать коней, чернец Макарий давно ждет тебя. Данилович скажет слово в совете господ, решим спор где страхом, где миром.

ГЛАВА 7

ТИХОЕ УТРО У ОМУТА

Палаты иконописи и учительная в Нередицком монастыре, списание псалтыри с изображениями поглощали у чернеца Макария все время. По вечерам, при желтоватом свете жирника, Макарий подолгу сидел, склонясь над пергаменами. Так было и в эту ночь. Над бором играли первые блики утренней зари, когда он оторвался от пергаменов, обтер досуха чернила на тонкой тростниковой каламе[1], которой писал, отложил ее.

— Время ко сну. Утро близко.

Не снимая одежд, Макарий прилег на доски, покрытые войлоком, служившие ему постелью.

С первым солнечным лучом, заглянувшим в горницу, Макарий проснулся. В открытый волок оконницы лился утренний холодок; в горнице было свежо и знобко. Макарий плотнее запахнул одежду, полежал так, но скоро, страшась поддаться соблазну сна, вскочил с жесткого ложа и, не задерживаясь в горнице, вышел наружу.

Утро было чудесно. Холм, на котором высится монастырь, бор у реки — все кругом горит и сверкает в искрящемся блеске солнца. Где-то высоко-высоко, в светлой голубизне неба, звенит жаворонок. От ворот монастыря тянется дорожка к бору. Склон холма, в сторону от нее, зарос мелким леском. Березы, черемуха, ольшаник, спутанные паутиной жимолости и желтой акации, разрослись так плотно, что зеленая стена их кажется непроходимой.

С холма дорога сбежала на луг. Зеленое половодье его улыбнулось навстречу Макарию раскрывшимися

[1] Палочка для письма.

весенними цветами. За лугом, у опушки бора, застыло широкое плесо реки. Напоминает оно упавшее в зелень прозрачное и горячее серебряное озерко. Лугом, оставляя позади на влажной траве следы сбитой росы, Макарий свернул к омуту. Добравшись к нему, чернец сбросил одежды и вошел в воду; оплеснув себя, он глубоко нырнул. Очутясь на поверхности, Макарий сильными взмахами, широко и свободно рассекая воду, поплыл к песчаной отмели на другом берегу.

Солнце успело нагреть песок. Мелкий и чистый, как бархат, он легко, будто струйки воды, пересыпался между пальцами. Сухая валежина, принесенная откуда-то весенним паводком, своею вершиною опустилась в воду. Там, около хрупких веток, бойко шныряли стаи мелких рыбешек. Макарий бросил песком. Вода около валежины замутилась и мгновенно опустела. Но скоро рыбешки появились вновь; они резвились, как будто не было рядом с ними человека с заросшими темными волосами щеками и подбородком, который, нежась на песке, изредка поднимал руку и лениво бросал в воду песок.

За рекой темнеет бор. Он огибает холм, на котором стоит монастырь.

Отсюда, с отмели, Макарию видно соборную монастырскую церковь Спаса. Она сверкает на солнце ослепительной белизной. Всякий раз, когда Макарий бывал на песчаной отмели у омута, он не мог не полюбоваться на дивное создание хитрецов новгородских. Одно огорчало чернеца, что не довелось ему увидеть мастера, по начертаниям которого строилась церковь. Мастер Василий почил в год окончания строительства.

Не умолкая, звучит древний гул бора. Как бы рождаясь в этом гуле, льется теньканье и соловьиная трель. Высокие, стройные сосны выстроились вдоль опушки, напоминая вылитые из бронзы ярые свечи. Солнечные зайчики, пробиваясь сквозь шатер вершин, многоцветными узорами играют внизу, на травах и мхах. Это придает бору, обступившему монастырь, непостижимое и таинственное очарование.

Свежесть раннего утра, солнце, прохлада реки согнали усталость. Макарий поднялся с отмели. Раскинув руки, он вздохнул так глубоко, словно хотел вместить

в себя все — и блеск солнца, и прохладу реки, и запах цветов, и благоухающую зелень трав. Макарий посмотрел на песок, где отдыхал, на рыбешек, шныряющихся около утопленной валежины. Не хотелось ни о чем думать. Он чувствовал свое здоровое, сильное тело; ничто сейчас не напоминало в нем ученого чернеца-книжника.

Время возвращаться на свой берег, но Макарию не хотелось плыть к кустам ветляка, где он разделся; прямо к берегу ближе. В середине реки, на быстрине, его понесло. Борьба с течением наполнила Макария новой упрямой радостью. Он фыркал, сильнее взмахивал руками; то держался против волны, то, будто устав, опускал руки, отдаваясь на волю стихии...

За лугом, на дороге к монастырю, показался мастер иконописной палаты Дмитро Иевлич. По озабоченному лицу и торопливой походке видно, Иевлич чем-то встревожен. Он прошел берегом к бору и, остановясь у кустов, позвал:

— Отче Макарий, отзовись!

Макарий был недалеко. Разросшийся ивовый куст скрывал его от мастера. Услыхав оклик, чернец вышел навстречу.

— Почто звал, Иевлич? — спросил.

— Монах от владычного двора прибыл, отче Макарий.

— С добром аль с бранью? — усмехнулся чернец.

— Не ведаю. Сказывает: хочу видеть книжника Макария.

Весть о появлении монаха не обрадовала Макария, она затемнила радость, только что пережитую им.

— Чую, не с добром явился монах на Нередицу, — сказал он Иевличу, когда они поднимались на холм к монастырю. — Не с добром.

— Почто идти ему к нам со злом, отче? — отозвался Иевлич. — С виду монах прост, и говор у него ласков. Увидит, что сделано нами, возликует.

— Так ли, Иевлич? Прост он, молвил ты, а нам ли верить личине? Не скрывается ли за ласковым словом монаха осуждение нам?

— Но кто оценит искусство наше? — спросил мастер, которого встревожили последние слова Макария.

— Оценит тот, кто познает хитрость искусства и по-

любит его всею силою души своей. Многих монахов встречал я, но мало видел среди них сберегших чистоту чувств. Сменятся годы, сменятся поколения людские, а красота ремесла нашего останется. Не хулителями и врагами вознесется труд наш.

— Хитро ты молвил, отче Макарий, — сказал Иевлич. — Не все открылось и не все понятно мне. Ты видел Рим и Византию, есть ли там мера искусству?

— Наше искусство иной меры, Иевлич, — немного помолчав и стараясь говорить так, чтобы слова его были понятны мастеру, произнес Макарий. — Рим гордится искусством древних. Оно чудесно и совершенно. Но искусство древних разрушено и поругано римской церковью. Пало и искусство Византии.

Макарий и Дмитро Иевлич поднялись на холм. В тени, у ограды монастыря, стоял, поджидая их, тучный монах. Взглянув на пухлое с обвисшими щеками, лишенное растительности бабье лицо его, Макарий невольно замедлил шаги. В тучном монахе он узнал митрополичьего книжника Феогноста.

Феогност тоже узнал чернеца. Широко улыбаясь, вытянув приветственно руки, он шагнул навстречу.

— Зело рад видеть тебя, отче Макарие, во здравии, — начал он, — не отягченного немощами, неусыпного в трудах учительных.

— Рад и я тебе, отче Феогност, — приветствовал Макарий монаха. — Не ведал, что ты в Великом Новгороде.

— В Новгороде недавнее пребывание мое, отче Макарий, — ответил Феогност, сохраняя приветливую улыбку на пухлом лице. — Владыка митрополит послал меня передать пастырское послание свое новгородскому архиепископу... Твое имя, отче, не забыто.

— Достоин ли я того? — склонил голову Макарий.

В выцветшей на солнце со следами красок одежде, с огрубевшим голосом Макарий мало чем напоминал ученого чернеца, способного к беседе с митрополичьим монахом.

С уст Феогноста пропала улыбка.

— Владыка митрополит указал мне быть у тебя на Нередице, — сухо произнес он, и от слов его повеяло

властным холодом человека, облеченного доверием церкви.

Сопровождаемые молчаливо шедшим позади мастером Дмитром, Макарий и Феогност направились в ворота монастыря.

ГЛАВА 8

КНЯЗЬ И МОНАХ

Происки вотчинных бояр против княжей власти вызвали гнев Александра. Ему ли, внуку Всеволодову, принять унижающую его ряду, быть князем-наемником, исполнителем воли совета господ! В гневе Александр велел Ратмиру готовить в поход дружину, но советы ближних поколебали решение. Вспомнилось, что говорил Ратмир о Нередицком монастыре и о митрополичьем книжнике. Не желая еще признаться в том, что он готов отменить поход, Александр сказал:

— Утром пойду на Нередицу... Вернусь, тогда и решу, как быть.

Утром следующего дня Александр сел на коня. Сопровождать князя Ратмир велел Ивашке. В городе Александр не сдерживал коня; гнал его крупной рысью. Когда миновали вал и частокол острога, Александр пустил коня шагом. Дорога пересекала заболоченный луг, покрытый кочками, заросший мелким, жестким ивняжником и темно-зелеными вересками. За лугом начались поля. Зеленые волны ржи, только что выбросившей колоски, наплывали на дорогу, словно готовились затопить ее. Скоро ржаное поле сменилось воронымн гривами овса, среди которых светлеют приглаженные струившимся ветерком, ровные и чистые полосы льна. Лен идет в «елочку» и вот-вот зацветет.

В поле солнце припекало сильнее. Ни одно облачко не тревожило простор чистого, будто умытого неба. Впереди, за Волховцем, сквозь прозрачную сизую дымку видно вдали синюю гряду нередицкого бора.

Простор, раскинувшийся перед глазами, зелень полей, хмельный ветер, несущий буйные запахи трав и лесной смоли, оживили Александра. У брода через Вол-

монах, смотрел писанное мной и отроками моими. По зиме ты, княже, видел и любовался ликами праотцев, а монах опалил гневом труд мой. С любовью, как сердце указывало, изобразил я Авраама, готовящего в жертву сына единственного, а монах сказал, не на праотца-де, не на пророка древнего похож мой Авраам, на мужика новгородского. Жалость, сказал, есть в лице его, а глаза как у безумца. Я, Александр Ярославич, изображая Авраама, искал, насколько умения моего стало, показать горе отца, а монах хулит за то; и за то хулит, что в изображениях моих пространство есть и округлость. Тяжко, княже, слышать суд неправый. Чем овладел я в своем искусстве — не откажусь от того и не смирюсь.

Александр, не прерывая, выслушал речь мастера, которого ценил и о чьем таланте с похвалою отзывался Макарий.

— Что желал видеть монах в иконописной палате? — спросил.

— То, княже, чтобы не отступало искусство наше от греков, чтобы время и умение наше пребывали в недвижности, как мертвецы.

— Справедливо ли понял ты суд? Не обида ли говорит твоими устами на то, что не восхитился монах твоим искусством?

— Седая борода у меня, княже, — ответил Дмитро Иевлич. — Не обидой скорблю, а тем, что преграждает хулитель путь искусству.

Александр помолчал. Его возмущало поведение митрополичьего книжника. Чтобы облегчить скорбь мастера, он сказал:

— Будь таким, каков ты есть, Иевлич! Не хулителями ремесла твоего поставлен ты, не перед ними и ответ держать тебе. Придет нужда — решу сам и скажу за тебя слово перед владыкой.

Макария и митрополичьего книжника Александр нашел в соборной церкви Спаса. После залитого солнцем дня прохладный полумрак церкви был как-то особенно плотен и ощутим. Неподражаемая по совершенству и хитрости замысла роспись стен, выполненная чуть не полста лет назад новгородскими искусниками, создавала впечатление мрачного, но чудесного, поко-

ряющего красотой волшебного мира. Войдя в церковь, Александр остановился у входа. До слуха его донесся незнакомый голос:

— Не исправился ты от заблуждений, отче Макарий, упорствуешь в своей ереси...— Того, кто говорил, не видно Александру; голос доносился из-за столпа, поддерживающего свод, и, подхваченный голосниками, заполнял собою пространство церкви.— Не кощунством ли,— голос зазвучал еще выше,— не отступлением ли от установлений церковных внушена мысль о написании лика Ярослава владимирского, лика грешника, на месте, где подобает быть лику праведника...

— Какой мерой измерены грехи князя Ярослава?— выступая из-за столпа и остановясь перед монахами, громко произнес Александр.— В чем ты, монах, в изображении Ярослава нашел отступление от установлений церкви?

Ни Феогност, ни Макарий, занятые спором, не заметили, когда вошел Александр. Высокая фигура его в безлюдной полутьме церкви возникла перед монахами так неожиданно, что Макарий невольно отодвинулся в сторону, а Феогност поднял руку, как бы ограждая себя. Смущение его при виде Александра усиливалось тем, что позади князя во всю стену раскинулось изображение страшного суда, написанное мастером Фомой, прах которого покоится ныне рядом с церковью. Грозные полуфигуры архангелов с изображения суда, казалось, спустились со стены и, следуя за разгневанным князем, приближаются к чернецам.

— Не зрелое суждение книжника, а голос пристрастия слышал я,— не скрывая возмущения своего тем, что услышал он от приезжего монаха, продолжал Александр.— Что есть противного церкви у ктитора сего?— Александр показал на изображение Ярослава.— В чем мера греха?

— В отступлении от канонов церковных, установленных вселенскими отцами и патриархами,— оправясь от неловкости, вызванной появлением Александра, нравоучительно произнес Феогност. Безбородое, обвисшее лицо его снова приняло выражение надменности.— Тебе ли, князь, заступать то, что осуждено богом и его церковью?

Последние слова Феогноста прозвучали жестким упреком. Порицая неосведомленность Александра в делах веры и церкви, монах тем самым отрицал право князя на участие в споре.

Александр приблизился к полукруглой нише, в глубине которой виднелось изображение Ярослава. Несмотря на полутьму, усугубляемую мрачной росписью, покрывающей стены церкви, фигура Ярослава в украшенной кругами и искусным узором красной одежде, в княжей шапке, опушенной черной куницей, на фоне зелени земли и голубого свода неба, радовала взор яркостью красок и совершенством письма.

— По обычаям нашим иконописные мастера не раз изображали в росписи церковной лики людей, коих желали возвеличить. Было это в Киеве, есть в Новгороде и во Владимире. Никем не осуждено написанное, — сказал он.

— И я порицаю не написание лика, — ответил Феогност. — Было бы то на хорах или в переходах, позади молящихся, услышали б и писец и ты, княже, мою похвалу сделанному. А здесь? — Феогност показал на нишу. — Место ли быть лику сему?

— И ты требуешь уничтожить изображение? — спросил Александр.

— Не я требую, а вера и церковь, — ответил монах. — Изображение грешника во храме монастыря на месте, кое впереди и пред очами молящихся, найдет осуждение владыки новгородского и владыки митрополита.

— Пусть владыка своими устами молвит о том, — давая понять, что он не намерен продолжать спор, сказал Александр. — Изображение ктитора останется там, где оно есть. Я поставлен в Новгороде отцом моим и в том, что решу, ему дам ответ. Отче Макарий, проведи книжника в училищную палату нашу... Или вы обозрели ее?

— Нет, княже, — ответил Макарий. — Смотрели мы иконописную палату; отче Феогност строго судит наше искусство.

Сопровождаемый монахами, Александр вышел из церкви. Хмурая озабоченность, отражавшаяся на лице

его, исчезла. Позвав Ивашку, Александр велел ему пустить коней на луг, а сам направился к срубленной в глубине монастырского двора просторной избе, в которой обучались юноши книжному искусству.

— Какое число отроков обучается грамоте, отче Макарий? — спросил Феогност, когда они, следуя за князем, подошли к училищной палате.

— Сорок семь отроков, — ответил Макарий, — знают они азбуку нашу, читают по складам псалтырь и могут начертать слова.

Изнутри палаты, в открытый волок оконницы, доносилось многоголосое, нестройное пение. Александр остановился у крыльца, послушал. Макарий и Феогност, как и раньше, держались позади.

— Без тебя, отче, кто обучает отроков чтению и что читают они? — спросил Феогност, обратясь к Макарию.

— Обучает здешний чернец Иона, а читают отроки псалом двадцать второй, — ответил Макарий.

Из оконницы неслось:

— У-глаголь-он — уго... уго, твердо-он — то... то, угото, веди-аз — ва... ва, уготова, люди-ер, уготовал; есть-слово-иже — еси... еси, уготовал еси; покой-арцы-есть — пре... пре, добро-он — до... до, предо; мыслете-наш-он — мно... мно, ю — мною; уготовал еси предо мною; твердо-арцы-аз — тра... тра, покой-есть — пе... пе, трапе, земля-у — зу... зу, трапезу. Уготовал еси предо мною трапезу...

В училищной палате на лавках, на полу, по пятеро над одной раскрытой псалтырью сидят отроки. В каждом пятке один водит указкой по строчкам, и все нестройно и громко выпевают «склады»: слово-он — со... со, покой-арцы-он — про... про, сопро, твердо-иже — ти... ти, сопроти, веди-ер, сопротив...

Плотный, с красным лицом монашек в крашенинной рясе и скуфейке, которая сидит у него на самой макушке, с тяжелой указкой в руке, ходит среди голосящих отроков и время от времени сам подпевает общему хору. Александр с любопытством смотрел на голосящих.

Отроки были в том возрасте, когда на верхней губе и подбородке начинают пробиваться борода и усы. Среди всех особенно выделялся крепкий и рослый юно-

ша с русыми волосами, в длинной, ничем не опоясанной рубахе. Он так громко и истово выпевал «склады», что лицо его раскраснелось, на высоком лбу выступили капельки пота. Александру понравился юноша.

— Как зовут отрока? — показав на юношу, спросил Александр.

— Саввой. Прилежен и зело настойчив к учению, — объяснил Макарий.

— Из чьих он? Попович?

— Нет, княже, здешний, с Плотницкого конца, Антона-дегтярника чадо.

— Хорош молодец! Такому кольчугу на плечи да копье в руки заместо указки.

— Обучен он владеть копьем, княже. С воеводой Ратмиром не раз играли отроки в копейные и стрелецкие потехи.

— Ратмир... Догадался воевода, — рассмеялся Александр. — Доведется рать кликнуть, в училищной палате найдем десяток добрых воинов.

— Сколько болярских отроков обучаются книжному искусству? — спросил Феогност.

— Болярских детей нет в палате, отче. Учат их грамотеи в своих хоромах, поповичей и иных духовных наберется десяток, прочие отроки из ремесленных и сироты, — ответил Макарий.

— Что слышу я, отче! — возмущенно воскликнул Феогност. — Святейший Герман, патриарх Византии и Никеи, коему благословил бог блюсти церковь на Руси, давно, тому лет десять минуло, указал владыке митрополиту нашему, что непозволительно обучать грамоте холопов и черных людей. Владыка митрополит благословил училищные палаты в монастырях для обучения книжному и письменному искусству детей болярских и поповичей. Ты, отче Макарий, нарушил благословение владыки и послание святейшего патриарха, обучаются у тебя безвестные сироты и подлая чадь. Так ли надо пещись о научении книжном? Грех непослушания воле святительской ляжет на тебя и на игумена здешнего...

— Будет и на мне грех, монах, — Александр резко прервал речь Феогноста.

— Ты, княже, — осклабился монах, — в свете живешь, чужд священства и сана иноческого. Я молвил о

людях духовных, коим бог и святая церковь его вверили попечение о стаде Христовом...

— Мною указано обучение отроков, и как указано, так и будет на Новгороде. Владыка новгородский благословил учение.

— Не пристало княжей власти вершить дела духовные, — растягивая слова, назидательно произнес Феогност. Лишенные растительности обвислые щеки его побагровели. — Князю свое, земное, положено ведать, людям духовным — пасти души людские. Учение книжное — дело церкви. Зрю здесь гордыню и непослушание монашествующих велению святейшего патриарха...

— Довольно, монах! — громко, зазвеневшим от негодования голосом Александр оборвал Феогноста. — Кто дал тебе власть судить меня и людей, поставленных мною? Труд учительный выше понимания твоего. Оставь этот дом! Ради сана твоего отпускаю тебя без зла.

— Не по злу я судил, княже, — мягче, чем говорил до того, начал было Феогност, оправдываясь, но Александр не дослушал.

— И я сужу не по злу. Нарушишь указ мой — покараю ослушание, не пощажу.

ГЛАВА 9

СТОРОЖЕВОЙ ГОРОДОК НА ВОЛХОВЕ

Ратник Михайло проснулся после полуночи. Высвободив из-под окутки руку, сунул ее под изголовье. Огнива, где Михайло всегда оставлял его, на месте не оказалось. Михайло привстал в темноте, послушал, что на улице.

— Крутит, ох крутит ветрило! — проворчал он.

Ощупью, шаря рукой по лавке, двинулся в куть. Земляной пол отсырел, был холоден. Михайло шел, высоко поднимая босые ноги, точно боясь наступить на что-то, еще более неприятное. Раздался звон кресала о кремень. Когда затлел трут, Михайло приложил к нему лучинку, раздул ее и зажег жирник. Поставив его на полавочник, ратник достал с напыльника, что поднялся

козырьком над челом печи, просохшие онучи и стал надевать лапти.

— Разыгралась погодушка, — бормотал он. — Чую, ладьишки чьи-либо покидает Волхов; ину на берег, ину на камень.

Перевив оборами онучи, Михайло натянул стеганный на кудели тегилей, открыл дверь.

На улице ветер валит с ног. Начиналось утро — серое, мозглое. Обрызганная дождем трава блестит, как низанная бисером. Тяжело нависшие рыхлые облака заволожили все небо. Дождь шумит в зеленой листве берез, словно ищет среди них что-то. За городовым тыном, по склону крутого холма, скользит вниз тропинка. Она тянется, вихляя мимо кустов. Около сторожевой избы, откуда вышел Михайло, ветер скулит особенно зло и особенно напористо; будто рвется он на холм, чтобы разметать по бревну избенку и по крутизне скатить ее в Волхов.

В дожде и утренних сумерках реки не видно, но там, где, огибая скалистое подножие холма, она описывает излучину, слышно, как яро кипят и ревут волны, разбиваясь о берег.

— Ярится Волхов, ох ярится, — вслух подумал Михайло. — Плюнет на скалу ладьишку — щепок не соберешь. Костер бы зажечь наверху, на камне, да где тут... Не раздуть углей на дождике.

— О-о-о!

Михайло насторожился. Голос чей чудится или воет ветер?

— О-о-о! — повторился крик.

Михайло принялся всматриваться в мокрый туман, стараясь что-либо разглядеть в нем. Но там, где внизу ярится Волхов, не видно ничего, кроме серой, непроглядной мути.

— О-о-о! — крик донесло явственнее. У Михайлы невольно замахнулась рука, чтобы положить крест... Не приняла, знать, кого-то река.

Ратник вернулся в избу.

— Васюк, гей! — громко позвал он. — Под скалой, у Волхова, люди никак.

— Мм... Охота, право, тебе, Михайло!

— Вставай! Может, ино, живой кто... Поищем.

— Бог с ними! Этакая непогодь...

— Пойдем! — не унимался Михайло. — Веревку захвати!

В избе синеют бледные утренние сумерки. В плохо прикрытую дверь задувает ветер. Михайло нахлобучил на голову шелом, потрогал копье, но отложил его и взял ослопину с окованным железом макошником.

— Ветер крутит, дождище... — проворчал Васюк, не трогаясь с места.

— А ты баба аль ратник рубежной? — рассердился на Васюка Михайло. — Вставай!

— Куда мы?.. Не обойдутся без нас-то?!

— В гридню пойдем, хмельной мед пить, — пошутил Михайло.

— О-ох, мед!

— К меду твоя голова не бедна.

Васюк сполз на пол. Он оказался тщедушным, узкогрудым, с серенькой — клочьями — бороденкой и подслеповатыми глазами. Жалко выглядел он рядом с Михайлой. Тот — богатырь. Без малого пуд ослопина в руках у него, а Михайло играет ею, как былинкой.

Облекшись в тегилей, прикрыв шеломом темя, Васюк поплелся следом за Михайлой. Когда выбрались за тын, Михайло, чтобы не терять времени, начал спускаться с холма не тропинкой, а прямиком. С кустов лила капель. Лапти промокли. Васюк чувствовал, как холодные струйки воды, стекая с шелома, царапают шею.

Он поскользнулся на крутизне и ободрал о кусты ладонь.

— Гей, Миша! — позвал.

— Не отставай!

Голос Михайлы слился с воплями ветра. Васюку кажется, не Михайло отозвался ему, а рычит в уши непогодь. В душе Васюк проклинал и дождь, и людей, что не сподобились Волхова, и то, что сам он, послушавшись Михайлы, выбрался в этакую гнилую погоду из теплой избы.

— Круча-то какая, беда-а! — жаловался он.

— А ты горошком, Васюк, — смеясь, советовал Михайло.

— Скользко.

— Вольней так-то, будто на вощеном полу.

— Тебя бы в вощеную горницу.

— Ничего, и тут не скулю. Глянь-ко на Волхов, Васюк!.. Силища-то, о!

Огромные волны, тряся рыжими гривами, одна за другой катятся к берегу и, окатив его брызгами, отступают с глухим ворчанием. Ветер клонит к земле молодые березки на склоне, неистово свистит в уши. Васюк вдруг остановился.

— Волхов... Гляди, Миша, — выкрикнул он трясущимися губами. — Обратно... Ей-ей, обратно! Течет-то к Ладоге...

Михайло насупился. Он тоже заметил необычное течение реки. Угрюмо буркнул:

— Ино, безгоды жди, Васюк, перед безгодою он супротивничает.

— Не Орда ли валит на Новгород? — предположил Васюк.

— Не каркай, ворон! — не оборачиваясь, сердито огрызнулся Михайло. — Мимо шла Орда, а не достигла Новгорода. Нынче Орда далеко, бают, за рубежом... В Угорской земле она.

— Бают, да кто о том ведает? Намедни старец через Ладогу к Валааму шел, страшное сказывал.

— Чем стращал-то твой старец?

— От мощей, от киевских угодников шел. Пуста, сказывал, Русь. Грады разрушены, погосты выжжены, люди скитаются по лесам. Так он и молвил: не одолеть Руси Орду, быть разоренну и Великому Новгороду. В одном, сказывал, спасение: идти на союз с лыцарями, звать их на защиту...

— Ну, завел, жужелица! Жж... Жж... — Михайло повертел пальцами около своего лба. — Не тебе бы, рубежному ратнику, молвить о зле, не мне слушать. Ино, чьим пенькам молился твой старец.

— Чудной ты, Миша! Бывалый старец, не грех такого послушать.

— Хм... — насмешливо хмыкнул Михайло. — Не грех послушать, только от слов таких, как у твоего старца, дух поганый... Жаль, не слышал; попытал бы, чей он «угодник»?

Михайло стоял возле самого обрыва, опираясь на рукоять ослопины, как на меч. Разговаривая с Васюком, он смотрел на бушующую внизу реку, поджидая: не донесется ли оттуда давешний голос?

Страшен и гневен в бурю старый Волхов. Кажется Михайле — не волны катятся к берегу, а табуны диких коней, разметав ковыли-гривы, мчатся по простору. Не ветер свистит в ушах, а с визгом и воем скачут лихие вороги. Не белая пена играет на гребнях волн — блестят хищно оскаленные зубы. Вал за валом мчатся они, а на берегу моросит дождь. Тысячами тонких, как иглы, прозрачных стрел падает он на землю и исчезает, впиваясь в нее. Уже не вмещает земля влаги, опилась она; бегут с холма мутные струи потоков, сливаясь в Волхове.

Холм, на котором срублен сторожевой городок, находится ниже порожков. В излучине у холма путь реке преграждает скала — она далеко выдалась вперед. Катится волна, ударит с разбегу о камень и, точно облаком, окутает его брызгами. Спадет волна, и скала снова возвышается над рекой, темная и неподвижная. Словно бы не волна лютует над нею, а кто-то, играючи, плеснул воду на ее каменный бок, поиграл с травяным колпаком на макушке, согнул редкие березки, что зелеными перьями торчат из расщелин.

— Не разобрал я давеча, с какой стороны голос шел, — с сомнением произнес Михайло. — Не попритчилось ли на ветру? Голоса-то не слышно, Васюк!

— Не слыхать, — ответил Васюк и покосился на спуск. — А может, принял Волхов?.. Нешто и нам мокнуть, пойдем в избу, Миша!

Не затихли последние слова Васюка, как совсем близко ветер выбросил из-под обрыва:

— О-о-о!

— Голос, слышь, Васюк! — оживился Михайло. — Ей-ей, голос!

— Н-не знаю, — оробел Васюк. — Христос с ним, Миша! Что кому написано — не обойдешь.

— Молчи, живые там люди.

— А может, и нет, — усомнился Васюк. — Может, бес заманивает.

Крик повторился. Васюк перекрестил грудь. В мути дождя лицо его выглядело серым, как зола. Отступил дальше от обрыва.

— Пойдем, Миша!

— Погоди!

— Чего годить? Не видали ничего, не слыхали...

— Стой здесь, а я...

— Куда ты?

— Спущусь к воде, узнаю, — Михайло показал под обрыв.

— Брось, Миша, скользко, несдобровать.

— Авось...

Михайло пошел к обрыву. На самом краю его он остановился. Грозен Волхов. Не старые ли боги[1] взволновали его, не им ли скулит мольбище ветер?

Васюк не мог бы сказать, долго ли пропадал Михайло. Если б не стыд, он давно ушел бы в сторожевую избу. Дожидаясь Михайлу, сердито ворчал и бранил его.

— Силен, ишь каков... Смоет волна, тогда небось ко мне с зовом... Не пойду. Назло не пойду... Да и ждать не стану.

Васюк решительно поправил шелом и стал подниматься на холм. Там, где стоял он, рябит на земле след от лаптей — клетка в клетку. И только Васюк почувствовал было себя молодцом, как нечаянно поскользнулся. Лежит на мокрой траве во весь рост.

А дождь льет и льет, сильнее сгибает ветер деревья на крутояре. Васюк не опомнился от падения, как рядом оказался Михайло.

— Эх, жужелица! — смеясь над неловкостью ратника, Михайло протянул ему руку, помог встать. — Пойдем, гость ждет. Ему, ино, не слаще твоего.

Позади Михайлы кто-то незнакомый. Одежда на нем смокла, лицо посинело от дрожи.

— Кого привел, Миша?

— А кто его знает! Свей аль другой иноземец. Лопотал что-то. Обогреем в избе, тогда спросим.

---

[1] Древнеславянские, языческие.

В избе Михайло первым делом затопил печь, приготовил просяную похлебку и поставил ее к жару. Васюк расстегнул тегилей, сел ближе к огню, посматривая искоса на незнакомца.

Незнакомец примостился на лавке, около входа. Длинный черный плащ, в который кутался он на улице, распахнулся. Оружия на госте не видно, по осанке же можно без труда угадать, что он владеет мечом лучше, чем веслом на ладье. Из всего, что до сих пор сказал он, ратники поняли одно слово «Новгород». Должно быть, незнакомец объяснял, что плыл он в Новгород, что был не один в ладье, что товарищи его погибли, когда волна бросила ладью на скалу.

Мокрые белокурые волосы обрамляли лицо гостя. Глаза серые, с голубизной; они внимательно присматриваются ко всему в избе, но во взгляде их отражается не столько любопытство, сколько высокомерие, даже пренебрежение к людям, оказавшим помощь потерпевшему бедствие.

В печи пылают сухие дрова. Волоковое окно с натянутым на крестовину сухим бычьим пузырем пропускает внутрь слабую полоску блеклого света. На улице день, в избе же темно, как в сумерки. Михайло подошел к рукомойнику, вымыл руки; поманив Васюка, сказал:

— Поглядывай за гостем, Василий!

— А что? — обеспокоился ратник.

— Незнакомый гость, ино, страшнее медведя.

Похлебка упрела. Михайло поставил горшок на стол, выложил из поставца хлеб, нарезал его ломтями, принес ложки.

— Садись-ко! — показал на еду гостю. — Поснидаем!

От горшка валил пар. Запах похлебки раздражал ноздри. Глаза гостя сверкнули голодным блеском. Он молча подвинулся к горшку, взял ложку; давясь и обжигаясь, начал есть. Его, видимо, нисколько не тревожили косые взгляды ратников. За едой морщины на лбу его разгладились, выражение лица смягчилось. Васюк беспокойно ерзал на лавке, но суровая сосредоточенность Михайлы сдерживала ратника от попытки заговорить с незнакомым.

Положив ложку, гость кивнул в знак благодарности и задремал. Васюк тоже прилег было на лавку, но скоро вскочил.

— Миша, куда мы его? — показал на заснувшего.

— На Ладогу, к воеводе, — ответил Михайло. — Отдохнет, и проводим.

— Отпустить бы, бог с ним!

— А ты узнал, кто он? — усмехнулся Михайло. — На воеводском дворе авось найдется, кто спросит, с чем, с каким товаром явился молодец из-за моря?

— Я не пойду с ним, Миша, — заранее отказался Васюк. — Может, тать он, вор...

— Сам провожу, — сказал Михайло и начал переобувать намокшие лапти.

ГЛАВА 10

ДУЮТ ВЕТРЫ С ЗАПАДА

Тучею ходит воевода Семен Борисович. Рыбаки с Ижоры на пути в Новгород остановились на Ладоге переждать бурю. От них пошел слух: неспокойно в заморской Карелье. Будто бы на море, вблизи от берегов Руси, видели ладьи шведского войска.

Семен Борисович не поверил ижорянам, но слух о походе шведов все же встревожил воеводу. В порубежном полку у Семена Борисовича до полусотни ратников. Нападут шведы, как напали прежде при посаднике Нежате, — не устоять ладожанам против большого войска. Разорят и сожгут город. И помощи ладожанам ждать неоткуда. Княжая дружина в Новгороде невелика, князь молод, не бывал в походах... Семен Борисович накричал на рыбаков, выгнал их с воеводского двора, но покоя не обрел. На ранних сумерках прилег было он отдохнуть, и только смежил глаза — его разбудили.

— Из сторожевого городка за порожками ратник Михайло привел иноземца, — сказал слуга воеводе. — Бурей ладью иноземную бросило на скалу. Михайло с Васюком взяли гостя из воды...

— А в чем посольство его — не сказывает, о том-де откроюсь князю, а здесь просит не спрашивать, — закончил рыбак пересказ чужой речи.

— Как зовут лыцаря? — спросил воевода.

Рыбак передал слова воеводы гостю, тот ответил.

— Лыцарь Карлсон, так сказал он, — перевел рыбак.

— Карлсон... Эк его, не выговоришь натощак, — усмехнулся Семен Борисович.

Появление шведского посла сильнее, чем давешний слух, встревожило воеводу, однако Семен Борисович и виду не подал; он позвал посла к столу и велел Никифору быть там же: слушал бы и пересказывал речи воеводы рыцарю, а речи рыцаря воеводе. За трапезой в воеводской гридне лились мед и мальвазея. Семен Борисович только махал руками, когда гость заговаривал о дороге. Рыцарь захмелел. Пришлось нести его на руках в боковушу и уложить на перину.

Семен Борисович, как только рыцарь покинул гридню, мигом протрезвел. Отослав всех, он ушел к себе в горницу и что-то долго-долго писал на пергамене. Закончив писание, он свернул грамоту, привесил к ней свою печать, положил свиток за образ на божнице, потянулся и, позвав отрока, велел сказать Андрейке, чтобы тот готовил коня; закончив все эти дела, вышел на крыльцо.

Тихо. Ветром разнесло облака, и в небе ярко блестят рассыпанные по темно-синей тверди светлые горошины звезд. С крыльца видно раскатную воротную стрельницу — тяжелое двухъярусное строение, сложенное из тесаных каменных плит и булыжин. Стрельница как бы начинала собою и замыкала неправильный четырехугольник городовой стены. Семен Борисович спустился вниз и пошел к воротной, но, не дойдя — передумал, направился в людскую палату.

В людской темно. Жирничек в углу мигает тускло и неровно. Пламя его вздрагивает то ли от ветерка, забегавшего в открытый волок оконницы, то ли от храпа, раздававшегося в людской. Семен Борисович присмотрелся. На лавке, положив под голову тегилей, спит Михайло. Семен Борисович потрогал его:

— Вставай-ко, паробче!

Михайло открыл глаза. Несколько мгновений взгляд его бессмысленно блуждал по стенам. Узнав воеводу, ратник вскочил.

— Что велишь, болярин?

Семен Борисович наказал ратнику, чтобы он, как только минет ночь, отправлялся к себе в городок, зорче смотрел за Волховом.

— Пусть зверь не пробежит, птица не пролетит без твоего глазу, — наказал он. — Ветер нынче на Ладоге неспокойный, коли что — загодя подай весть. Ладьи торговых гостей пропускай беспрепятственно, а если будут в большом числе и людны — дай о том весть на воеводский двор.

— Буду так делать, осударь-воевода.

— То-то! Смотри, Михайло, на тебя, на умельство твое надёжа.

Из людской Семен Борисович вернулся в гридню; там ждал его Андрейка.

Не много прошло времени с той поры, когда Андрейка прибыл на Ладогу, но в загорелом, окрепшем юноше нелегко стало признать боярича, который недавно еще без дела жил за батюшкиной спиной. Казалось, голова его никогда не знала иного убора, кроме шелома, а плечи не носили иной одежды, кроме кольчатого бехтерца. Смело смотрит Андрейка навстречу воеводе.

— Готов ли конь, Ондрий?

— Готов, осударь-воевода.

— Добро.

Семен Борисович подвинул к себе чашу, отпил глоток, поставил чашу, вытер бороду.

— Скачи, Ондрий, — начал Семен Борисович, — прямыми дорогами, не задерживаясь, на Великий Новгород, грамоту мою передай князю Александру Ярославичу.

Семен Борисович сходил к себе в горенку, принес оттуда свиток с вислой воеводской печатью.

— Возьми! — протянул он свиток Андрейке. — Пуще очей своих храни сю грамоту — зело важны в ней вести. А на словах, если спросит тебя князь, обскажи все, что слышно у нас, на Ладоге, о свеях и о том, что гостит у меня свейский посол. Спьяну хвастал-де посол воеводе,

будто свеи начали поход на Новгород. Понял, Ондрий, что указал тебе?

— Исполню, как велено, осударь-воевода.

— Начнет светать, садись на коня и — с богом! Будешь на Новгороде — батюшке своему, болярину Стефану, поклон от меня отдай, да сам-то не гуляй долго в городе, — предупредил напоследок воевода. — Как ответ будет — скачи на Ладогу. А то ведь, — воевода усмехнулся, — мало ли на Новгороде лебедушек белых...

ГЛАВА 11

В ХОРОМАХ СТЕФАНА ТВЕРДИСЛАВИЧА

К полудня Стефан Твердиславич сидел на совете господ в Грановитой. Наступал уже вечер, когда боярин медленно, тяжело дыша и отдуваясь, возвратился в свои хоромы. Якунко, открывая ворота, передал весть, что в хоромы прибыл с Ладоги боярич.

— Спешил, знать, болярич наш на Новгород, — сказал он. — Приехал как, поднялся к себе в терем, упал на перину да и заснул. Будили к ужину — не добудились.

— Пускай не тревожат до утра, — велел боярин.

У крыльца Стефана Твердиславича не встретил Окул. Поднявшись в горницу, боярин сбросил шубу. В открытую оконницу с улицы доносился шум. Стефан Твердиславич открыл дверь в переходец и крикнул сенной, бежавшей мимо, наложила бы ставень.

В горнице, как и в гридне, горит «неугасимая» перед киотом. В мягком, похожем на тихий шелест свете ее, голые — за локоть — руки девушки казались розовыми и будто пахли чем-то, напоминающим свежее яблоко. Покатые плечи закрывала сдавленная проймами синего сарафана рубаха, — белая, с мелкими сборками на груди и тоже отливающая розовым. Одной рукой девушка держала ставень, другой силилась наложить засов.

— Как зовут? — спросил Стефан Твердиславич, когда девушка, закрыв ставень, обернулась к боярину и

стояла, опустив руки, ожидая повеления сгинуть в тартарары.

— Ульяной, осударь-болярин, — не сказала, а словно выдохнула она и зарделась. В серых глазах ее застыл испуг.

— Ульяной, ишь ты, — повторил боярин. — Что-то не видал тебя в хоромах.

— Недавно я...

Грудной, певучий голос девушки оборвался и замер.

— Из какой вотчины?

— Со Мсты.

— Со Мсты, — повторил боярин и почмокал губами. — Подойди-ко ближе, Ульяна!

Девушка стояла неподвижно, будто не слышала или не поняла того, что велено.

— Ну! — боярин повысил голос.

— Б-боюсь, — вымолвила еле слышно.

— Дура! — боярин усмехнулся. — Не учена, не стегана. Открой-ко перину! — ласково подтолкнул девушку. — В ближних будешь.

Стемнело. Пуст и тих Новгород Великий. Дворовые собаки пролают спросонок, да постучат колотушками решеточные сторожа. Начал накрапывать дождь; в темную, дождливую ночь только по неотложной нужде покажется кто-нибудь на улице.

Отпустив Ульяну, Стефан Твердиславич полежал на перине. Мигает, дрожит огонек «неугасимой». Светильно нагорело и коптит. На столе темнеет жбан с квасом. Боярин потянулся к нему. Жбан оказался пустым.

— Эй, кто там? — крикнул.

На зов прибежал Окул.

— Где пропадаешь, пес? — сердито спросил боярин.

— Был на Перыни, осударь-болярин, — низко, касаясь рукою пола, согнулся Окул. — У старцев тамошних. Старец Мисаил, игумен перыньский, благословение свое послал тебе, осударь. Меня, немощного, к ручке своей допустил. За обедней-то я проскурочку за твое здоровье вынул... Превелики проскуры пекут на Перыни!

Окул развязал узелок, достал просфору и положил ее перед боярином.

Стефан Твердиславич надломил просфору, но не съел. Голые, обросшие жестким серым волосом ноги его вытянулись вперед. Они посинели и отлунивали мертвенной белизной.

— Оправь-ко светильно у неугасимой, — сказал. — Чадит.

Окул послюнил пальцы и оборвал ими нагар. Огонек вспыхнул ярче.

— Болярич наш, Ондрий Стефанович, пожаловал нынче... Гонцом прибыл от ладожского воеводы к князю.

— Ну-ну, слышал. Почивает он?

— Почивает, осударь, — ответил Окул. — Прибыл как — о батюшкином здоровье печалился.

— Печалился, эко диво молвил! Небось рад, что вернулся. Утром, встану как, скажи, чтобы в горницу шел.

Боярин помолчал. С улицы донесся стук колотушки. Зевая и крестя рот, Стефан Твердиславич вспомнил:

— Жбан пустой на столе. Принеси квасу да наведайся в терем к Ефросинье, не отлучалась бы из светлицы, может, соберусь, навещу.

С той поры, как после смерти отчима, боярина Вовзы Твердиславича, привезли Ефросинью в хоромы Стефана Твердиславича, редко выходила девушка за порог светелки. Сходят в праздник с мамкой к обедне ко Власию, и снова замкнется девичья жизнь. Сегодня, как вчера, рукоделье да игры с девушками, гадания да сказки мамкины. Семнадцатая весна миновала ей. Поверить Ермольевне, так краше Ефросиньи нет другой девицы на Новгороде.

Лицом Ефросинья в покойную матушку. Смуглая, с темными, как ночь, глазами, стройная и гибкая, как молодая вишенка. В какой бы наряд ни нарядилась она: рясы ли жемчужные, колты ли золотые или серебряные с мелкой зернью, каптур ли мамкин закрывает ее чело, — все идет к ней.

Стефан Твердиславич ласков с нею, ни в чем не знает она нужды в его хоромах. Но почему, как только вспомнит о боярине Ефросинья, сердце замирает от страха? При встрече с боярином — глаз не смеет поднять.

Неожиданный отъезд Андрейки на Ладогу испугал и огорчил девушку. Редко видела она боярича, мало слов сказано между ними, но Ефросинья любила Андрейку так, как любила бы братца кровного. Андрейка уехал, не простился с нею.

Стаял снег. Старый клен перед окном девичьей светлицы давно опушился первой листвой; но не радует весна Ефросинью. Тоскливо-тоскливо у нее на сердце. Сядет к окошечку, смотрит на весеннюю зеленую красу, а у самой морщинки соберутся у переносья, губы не обронят улыбки. Словно и не весна нежится в смолистой зелени старого клена, а ненастная осень дрожит на ветру.

— О чем журишься, сударушка, радость моя? — услыхала Ефросинья шепот мамки. Не видела, когда старая вошла в светлицу.

— Так я... Грустно что-то, — не оборачиваясь, шепотом же ответила Ефросинья.

— Что ты, мать моя! В семнадцать-то годков да грустно... Уж не боярича ли вспомнила?

— Нет. Сама не знаю, отчего грусть. Будто идет беда нежданная.

— Да что ты! — всплеснула руками мамка. — Откуда беда? Возьми рукодельице бисерное, развей думки.

— Не надо, не хочу рукодельничать.

— С девушками поиграй! Ну-ко покличу...

— Не хочу. Одно и одно, каждый-то день.

— Ах ты, боже ты мой! Чем же нам развеселить себя? — Ермольевна, хитро прищурив глаза, взглянула на Ефросинью. — Коли не о болярiче тоскует сердечко, так не другой ли уж молодец приглянулся?

— Что ты, мамка! — испуганно отшатнулась Ефросинья. — Не знаю я никого.

— А ты не красней, не пугайся слова! С твоей-то красой век ли одну косу плести? — не унималась Ермольевна. — Приглянулся молодец, так дознаться надо, кто он? Не по пригожести выбирают суженого, а по роду-племени.

И оттого ли, что угадала мамка девичью тоску или глупое и смешное что-то было в ее словах, Ефросинья засмеялась.

— Ой, чудная ты, мамка! Куда уж мне о суженом думать?

— Отчего же не думать, — довольная тем, что развеселила девушку, бойчее заговорила Ермольевна. — О том я тебе молвила, чего матушка родная пожелала бы. В чужом дому живем, чужую хлеб-соль едим. Угла у нас с тобой своего нету.

— Я в монастырь пойду.

— Полно, моя сударушка! Сирот, как мы, в монастырях не привечают. И бог с ними! Стара я, а не посоветую. Ну-ко, сказывай, где встретила? Не стыдись, ведь я на руках носила тебя.

— На святой... За обедней как были... — опустив глаза, прошептала Ефросинья и зарделась вся. — Кто он — не ведаю.

ГЛАВА 12

МСТИСЛАВОВ ДУБ

На улицу Ивашко вышел вместе с Гаврилой Олексичем. Звал Олексич Ивашку с собой в хоромы к Катерине Славновне.

— Ладная моя Катерина, Ивашко, — улыбаясь, хвалил Славновну Олексич. — И меду хмельного ендова и слово приветливое найдется у нее для дорогих гостей.

— Не знаю ее, Олексич, как же идти без зову?

— Придешь — не обидится, тебе же на радость шепнет словечко. Один живешь, а что за жизнь одному... Сосватает тебя Катерина — хочешь девицу красную, хочешь лебедушку молодую... О твоем счастье хлопочу, не отказывайся!

— Нет, Олексич, может, в другой раз.

— Полно! Уж не нашлось ли в Новгороде голубки чернобровой, не присушила ли молодца?

— Никого у меня нет... Иди, Олексич, чай, заждалась тебя Славновна.

Расстались у моста. Ивашко постоял на берегу. Напомнила ему река Шелонь, Данилову поляну, займище... Как-то живет займищанин? Небось ищет он теперь борти в борах. А Олёнушка?.. Давно ли, ка-

жется, вместе с нею искали в бору зверя и птицу. Рядом жили... Далеко она теперь. Поглядеть бы, спросить: помнит ли о братце? Взглянуть бы на Шелонь снова. Знает ее Ивашко зимнюю, под снегом, и разлившуюся мутным весенним половодьем. Теперь река в берегах. Вот и обрыв, откуда-то издалека-издалека доносится песнь:

Стоит во поле липинка,
под липинкою бел шатер...

Не затихла песнь в ушах, а перед глазами не Данилова поляна — овраг у Нутной. Ивашко усмехнулся, вспомнив, как упала там Васена, как взглянула в лицо ему, когда нес ее на руках... Потом встретил Васену в хоромах лучника Онцифира. Смутилась девушка. Слова не молвила. Видел Ивашко Васену и в хороводе на Буян-лугу... Прошла мимо, опустила глаза.

Не хочется Ивашке думать о Васене, а думы сами идут. Не по себе дерево подрубил, не по себе пиво сварил. От невеселых дум и на сердце горько.

На Буян-лугу людно. Скрипят качели, смех и шутки у забав скоморошьих. И Ивашко явился нынче на Буян-луг не в лаптях, не в посконной рубахе. Сапоги у него синего сафьяна с высокими каблуками, полы у кафтана обшиты серебром. Осмотрелся — не видно лица знакомого. На полюбовном кругу борцы ходят. Поглядел — не стало веселее на сердце. Молодушки окружили Омоса, потешает он их сказками да прибаутками. Ивашко прошел мимо, не остановился. На берегу Волхова в горелки играют: будто цветы расцвели белые, голубые, алые девичьи летники.

За Рогатицей, ближе к устью ручья, разрослась густая зелень ракитника, а на самом устье раскинул богатырские лапы Мстиславов дуб. Сказывают, посажен этот дуб князем Мстиславом еще в те дни, когда мастер Петр строил собор Николы в Дворищах. В ту пору будто бы на устье и дальше, по ручью, шумела роща березовая. Роща давно погибла; не осталось и людей в Новгороде, которые помнят ее. Но дуб стоит. Среди зелени ракитника вознес он гордую свою грудь.

Ивашко пробрался через ракитник к дубу и остановился, пораженный открывшимся зрелищем.

Впереди — раздолье Волхова. День тихий, многоводная река так спокойна, что смотришь — и кажется: ничто не способно всколыхнуть ее застывшего лона. Напротив, через реку, темнеют стены Детинца. Золотые шеломы святой Софии, поднимаясь над стенами, как бы сливаются с ними в одной величественной и нераздельной силе. Даже дубки и липы, зелень которых скрывает с непроезжей стороны ограду Детинца, и те будто извечно стоят тут.

От причала на перевозе в Неревском конце отвалила ладья. Забирая против течения, она шла к этому берегу. Ивашке видно, как всплескивают, ударяясь о воду, крылья весел. И при каждом всплеске их над водой дрожат белые искорки брызг. Отражая голубую твердь, река выглядит такою же бездонной, как и небо, раскинувшееся над нею.

На берегу, позади Ивашки, послышались девичьи голоса. Ивашко оглянулся. Близко, совсем близко от него девушка в алом летнике, на голове венок... Васена!

— Здравствуй, добрый молодец! Один на берегу, не любо, знать, тебе гулянье... А может, ждал кого?

— Н-нет, — промолвил. — Не ждал.

— Так ли?

— Не ждал, — повторил Ивашко. — Любуюсь на Волхов...

— Ой, тебе ли, княжему дружиннику, в стороне, скрываючись, веселье искать? — упрекнула Васена. — Не собрался ли куда?

— Не знаю, — сорвалось слово, а какое — и не подумал.

— Может, на ушкуях в Заволочье? — улыбнулась насмешливо.

— Нет.

Ивашко справился с неловкостью неожиданной встречи. После того, что сказала девушка об ушкуях, он даже рассердился на нее.

— Смеешься ты... Чем я повинен? — спросил.

— А ты не смеялся надо мной в тот день, на торгу, — сказала Васена и вдруг, покраснев, опустила глаза. — Встретила когда тебя. Смешной казалась.

— Не смешной, а...

— На том спасибо, если правду молвил.

— Васена!

— Ой, и зовут как — вспомнил... За то, что из беды выручил, я не сержусь, а нес когда — боялась.

— Чего?

— Не уронил бы...

Васена убежала, догоняя подруг.

ГЛАВА 13

НА ВЕЛИКОМ МОСТУ

тром Андрейка побывал у батюшки. Стефан Твердиславич ласково его встретил: обнял, потом, отступив, полюбовался на статного молодца, словно не верил, что перед ним сын, Андрейка. Вырос тот за прошедшую весну, загорел, возмужал.

— Слышно, Ондрий, гонцом ты с Ладоги от Семена Борисовича? — спросил Стефан Твердиславич.

— Да, батюшка. Поклон велел передать тебе Семен Борисович.

— Ну-ну, ишь как! Зрю на тебя и дивлюсь — витязь витязем. Встретил бы на улице — не признал. Небось гнал коня, рад, что в Новгороде?

— Спешил и коня гнал... Наказ о том был от воеводы.

— Что слышно на Ладоге? У нас досужие языки плетут, будто свейское войско на рубеже, поход будто собирают свеи?

— О том и на Ладоге слух, батюшка. Посол свейский у воеводы...

— Не гость ли торговый заместо посла? — усмехнулся Стефан Твердиславич.

— Не гость, лыцарь свейский. Шел он к Новгороду, да ладью в бурю разбило на порожках. Следом за мной будет он в Новгороде.

Стефан Твердиславич помолчал. Из того, что сказал сын, следовало: грозит Новгороду беда шведского нашествия. Но боярин не показал тревоги. «Может, правда, а может, зря судачат на Ладоге», — думал.

— Как тебя князь Александр принял, Ондрий? Знает он, чей ты? Спрашивал?

— Сам я о том молвил.

— Сам... Ну-ну. Пусть ведает, не повольник, не худой смерд перед ним, а витязь из рода Осмомысловичей. Стар, Ондрий, наш род на Великом Новгороде, не раз Осмомысловичи проливали кровь за святую Софию и за вольности наши. Не безродному воину, а тебе, Осмомысловичу, воевода Божин велел ехать гонцом на Новгород. Не вспоминал ли обо мне князь Александр?

— Была речь. Умен, сказал, и славен твой батюшка, да не той дорогой идет, — ответил Андрейка, смутился и опустил глаза.

— Ишь ты, — довольный тем, что услышал, сказал боярин. — Дорога у меня своя. Не глуп Александр, помнит.

— Звал меня на княжий двор, — продолжал Андрейка.

— Не в свою ли дружину? — встревожился боярин.

— О дружине не сказывал, гостем звал.

— В княжей дружине нам, Осмомысловичам, не место, — задрав бороду и глядя сверху вниз, вымолвил боярин. — Довольно того, что ты в полку Божина, воеводы на Ладоге. Семен-то Борисович беден, но род его стар, в полку у него быть тебе не зазорно. А коли в хоромы гостем звал князь Александр — иди. У меня с ним свои счеты, а ты молод... Случится поход — ближе к княжему стягу будешь. Долго ли в Новгороде гулять наказывал Семен Борисович?

— Велел скорее быть на Ладоге.

— И я так мыслю, Ондрий; долго гулять на Новгороде не время. Сегодня и завтра конь отдохнет, а послезавтра благословлю в путь. Охота тебе — не неволю сидеть в хоромах, посмотри людей, себя покажи... Дозволяю пойти на княжий двор, но блюди себя, как подобает блюсти Осмомысловичу... Не якшайся с безродными. До осени живи на Ладоге, а в мясоед позову. Оженить пора тебя. Невесту я присмотрел, болярина Никифора Есиповича дочка. Годами постарше она тебя, да так-то лучше; ума больше и одна она у родителя. Велики вотчины у Есиповича — и близко, и в Бежичах, и в Обонежье; ладно будет, коли с нашими-то сольются.

Невесел вышел Андрейка от родителя. Не гневен нынче Стефан Твердиславич, слова обидного не промолвил; осталась бы у Андрейки радость от встречи, не вспомни батюшка о мясоеде да о невесте. Видал Андрейка дочку боярина Есиповича. Богат и именит боярин, слов нет, но кто не знает, что дочка у него перестарок, рябая ликом...

От батюшки Андрейка направился было к себе в терем, но передумал, вышел за ворота. Скользкая мостовая блестит мутными лужицами. Не вернуться ли в хоромы? Нет, страшно вернуться. Кажется Андрейке — ждет его в хоромах рябая девка. Обнимет, станет слова шептать...

Горька воля батюшки, а как поперечишь? Кому молвить о неожиданном своем горе? Разве князю?.. Князь Александр молод, немногими годами старше Андрейки, поймет. Вступится он в Андрейкину беду, попросит батюшку. Как ни горд и ни своенравен боярин Стефан Твердиславич, все же и ему не легко будет отказать князю. Не любит боярин суздальцев, а давеча сказал — умен Александр.

Андрейка побывал на торгу, обошел все ряды, поглядел на скоморошьи забавы на Гулящей горке... Нет на сердце радости. Не лучше ли было остаться в хоромах, проведать Ефросинью... А что скажет батюшка? Не жалует он дружбу Андрейкину с Ефросиньей; узнает, что виделись, осердится. Идти на княжий двор, но и там рады ли будут?

Под вечер уже Андрейка очутился на Великом мосту. Опускалось солнце. Огромное, ярко-оранжевое, замерло оно над дальними рощами, золотя края облаков. Они то расстилались широкими светлыми равнинами, то играли сказочными теремами, зубчатой бахромой частоколов. А внизу, отражая и небо и облака в своей глубине, привольный Волхов. Легкий туман, будто рассеянный дым костра, поднимается над водой и медленно-медленно плывет вдаль, теряясь за излучиной. На мысу у ручья, в конце Буян-луга, сторожа покой вольной реки, возвышается Мстиславов дуб.

Андрейка остановился на мосту. Словно впервые видит он сегодня и Волхов, и каменные стены Детинца, и блистающие на закатном солнце шеломы святой Со-

фии. Рядом с Андрейкой молодец в дружиничьем кафтане. Опустив руки на перекладину перилец, ограждающих мост, он, как и Андрейка, любуется на Волхов, на яркий закат, на золотящиеся, сказочные облака.

Мимо идут люди. Не заметил Андрейка, как позади него оказался верзила в крашенинном, прорванном на локтях зипуне. Он осклабил рот, обнажив черную прогаль на месте передних зубов, и толкнул Андрейку.

— Сторонись! — крикнул насмешливо. — Васька Сухой идет.

Андрейка пошатнулся от толчка. Не задержись он вовремя за перила, свергнулся бы вниз, в темную воду реки.

— Цепок, — Сухой дохнул перегаром в лицо Андрейке. — Железную рубашку надел, жаль, не искупался в Волхове.

— Почто пристал к молодцу, Васька? — вступился за Андрейку дружинник. — Идти бы тебе, куда шел.

— Батюшки ро́дные, не приметил молодца, — насмешливо осклабился Сухой. — Не отдал поклона.

Не успел Андрейка понять, что задумал Сухой, как тот, отступив, взмахнул кистенем. Дружинник извернулся, вовремя отпрянул в сторону. Кистень, ударясь о перила моста, раздробил перекладину, и в тот же миг, оглушенный кулаком дружинника, Сухой пошатнулся, упал и соскользнул с моста. Снизу донесся всплеск.

— Туда и след псу, — промолвил дружинник. Он снял шапку и вытер пот. — Как в битве, кистенем надумал играть.

— Не видел я, как он подошел, — словно оправдываясь, промолвил Андрейка, удивляясь ловкости, с какой дружинник уклонился от кистеня и сам оглушил Сухого.

— Боя искал он, — сказал дружинник. — А тебя видел я на княжем дворе, когда прискакал ты с Ладоги.

— Кто ты? — спросил Андрейка. — Век не забуду, что заступил меня.

— Заступил, обороняя себя. Кистень-то в мою голову метил, — усмехнулся дружинник. — А каков род мой — у батюшки своего спроси, авось помнит Ивашку.

СОВЕТ ГОСПОД

В Грановитой палате собрались на совет верхние люди; сидят молча, ожидая выхода владыки.

От долгого ожидания ко сну клонит Стефана Твердиславича. Как ни старается он сохранить на лице выражение достоинства и сановитости, а палата нет-нет да и задернется перед глазами рыжим туманом. Неподалеку от Твердиславича, ниже его, боярин Водовик. Голова у Водовика склонилась набок, рот открыт, ноги в сафьяновых сапогах вытянуты вперед. Всхрапнет он, пожует губами во сне и снова обвиснет.

Два черных попа ввели под руки владыку. Поднялись вверх черные крылья владычной мантии, благословляя совет. Твердиславич очнулся от дремы. Вначале он различал впереди только зелень «скрижалей» и яркие, точно огоньки, струи «источников» на мантии; потом, как из тумана, выплыли перед глазами сморщенные, будто выточенные из сухой коры, старческие двоеперстия. Под сводами палаты прозвучал тонкий, высокий голос владыки:

— Благодать и мир да пребудут с вами, мужи новугородстии! Во имя отца, и сына, и святаго духа!..

— Аминь, — ответил за всех первый владычный боярин Якун Лизута. Он появился в палате вслед за владыкой.

Служки зажгли восковые свечи.

— Владыка архиепископ недужит нынче, мужи, — опускаясь на свое место, рядом с местом архиепископа, нарушил молчание Лизута. — Благословил он мне, болярину своему, начать совет.

— О чем совету быть, болярин Якун? — спросил Никифор Есипович. Лицо его с выдавшейся вперед редкой бородой выражало не то недовольство, не то удивление тому, что услышал он от владычного боярина.

Лизута ответил не сразу. Он помолчал, как бы ожидая, о чем еще молвят верхние? Но так как никто из бояр не открыл уст, Лизута привстал и заговорил:

— Есть тревога, Никифоре, у Великого Новгорода. Иноземные гости, что сидят на Готском дворе, жалу-

ются на пошлины наши, — молвил и прищуренным взглядом обвел палату. — И на то жалуются, — продолжал, — обегают-де нынче на Новгороде сукна ипские и лангемаркские, мало берут соленой рыбы и мальвазеи. Мало-де и своих товаров дают новгородцы на иноземные ладьи. В клетях у новгородских торговых гостей много воску, льна и мехов дорогих — всего, в чем нуждаются иноземцы, но гостиное добро не идет на торг; новгородские гости сами собирают ладьи в Висби. И боярство вотчинное, чьим умом и силою славен Великий Новгород, тоже запирает ворота перед иноземцами. Ломятся от богатой дани с вотчин боярские клети, но добро из клетей идет не на торг, а житым людям да гостям новгородским. Правда, ох правда, мужи, в жалобах иноземцев, — вздохнул Лизута. — Милостивы мы к своим. Иноземцы за воск, за лен, за железные крицы дают серебро и дорогие товары, а мы, по неразумию своему, отдаем добро житым людям и гостиным по долговым грамотам. Давно ли слышали на княжем суде, как князь Александр винил гостей из Висби за то, что не везут они на торг в Новгород железа и меди. Все мы слышали княжее слово и молчали, не молвили, что и сами не даем железа на иноземные ладьи, браним иноземцев. Болярин Стефан намедни, — Лизута остановил взгляд на Стефане Твердиславиче, — чуть ли не боем выгнал иноземных гостей со своего двора.

Стефан Твердиславич даже приоткрыл рот, слушая Лизуту. Он готовился поддакнуть куму, сказать, что у него, как у всех верхних людей на Новгороде, много в ларце долговых грамот и бирок гостей новгородских. Не пора ли вотчинному боярству брать за товар серебро, а не долговые записи. И сказал бы о том Стефан Твердиславич, но, услышав, что Лизута назвал его имя, — забыл обо всем, что думал. В жар бросило боярина.

— Не о том ли твердишь, кум, что не волен я над своим добром? — насупив брови и подавшись вперед, перебил Твердиславич гладкую речь Якуна Лизуты. — Были у меня гости с Готского двора, слышал я их речи. Рта мне не дали раскрыть. Только заикнулся о цене — они перемигнулись по-сьоему и с поклоном: возьмем-де, осударь-болярин, и воск, и меха, и другое добро по тво-

ей цене... Не по мне, славные мужи, торг с иноземцами, — сказал и, как бы ища сочувствия себе, оглянулся на бояр. — Не по мне. Не гнал я иноземцев, не ругал их, а ворота перед ними велел открыть холопам. Подобру пришли гости, подобру и ушли.

— А меха и воск, Стефане, ты отдал Афанасию Ивковичу, — усмехнулся на слово Твердиславича Есипович.

— Отдал, Никифоре, — подтвердил Твердиславич. — Побранил его и со двора велел гнать, а отдал.

— За серебро отдал-то?

— За толику серебра и за грамоту долговую.

— Горяч ты, Стефане, — примирительно произнес Лизута. — Нынче что скажем, мужи, о жалобе иноземных гостей?

— Не торговали иноземцы на Новгороде без пошлин, Якуне.

— Слух был, будто двор святой Софии и ты, боярин Якун, приняли иноземцев, дали им воск и железо кричное, — поднявшись и выступая вперед, неожиданно промолвил боярин Сила Тулубьев. — Ладно ли так, мужи? Чаю, князь Александр не спуста намекнул о железе и меди гостям из Висби. Немцы и свеи хвалятся железными умельцами, а железных изделий своих на Русь не дают. По совести ли, боляре, везти нам железо на ладьи иноземные?

— В торге всяк волен, — побагровев и махая руками, Лизута остановил Тулубьева. — Пора бы тебе, Сила, ведать о том.

— Прости, болярин, худородного! — Тулубьев, подражая Лизуте, схватился за поясницу. — По худородству-то своему не пойму гнева твоего на правду.

— Не о правде толк, а не дело ты молвил. Как бы совету нашему за малыми делами больших не обойти.

— Велишь снять пошлины с иноземцев?

— Пекусь не о пошлинах, а почто иноземных гостей гнать со двора без торгу! — выкрикнул Лизута.

— Как же оно, Якуне, — не вытерпел, снова подал голос Стефан Твердиславич. — Не ослышался ли я? Не твое ли слово было, что в торге всяк волен?

— Мое. Что молвил я, то и молвил. К выгодам дому святой Софии даны на готские ладьи железные крицы.

Иная у совета господ забота нынче: даст ли Господин Великий Новгород льготы гостям иноземным, послушает ли их жалобы?

— И отцы и деды брали пошлины, как стоит Новгород.

— И торг был.

— Не перечит совет господ торгу, а пошлины... Какие брал Новгород с иноземных гостей, таким и быть.

— О том и я молвил, мужи, — всем своим видом стараясь показать, что слово его — слово совета господ, начал Лизута. Он понял, что верхние люди не против торга с иноземцами, но пошлин не снимут без воли веча и князя. — Решим, как молвили, и запишем в грамоты. Еще малое слово есть у меня, мужи: книжника, прибывшего в Новгород от владыки митрополита, князь Александр Ярославич выгнал из Нередицкого монастыря и грозил изгнать из Новгорода. Не сталось бы в том обиды митрополичьему двору? Примет ли княжий грех Великий Новгород? Терпел Новгород беды от Всеволодова и Ярославова княжения, князь Александр характером пошел в деда...

— Не чтит ряды Александр Ярославич, — поддержал Лизуту чей-то угодливый голос.

— Может, княжие, может, иные чьи люди в моей вотчинке на Маяте, в Заильменье, кабана заполевали и лужок вытоптали, — не разобрав, о чем говорят в палате, подал голос Водовик. — Искать с кого, не знаю.

— Ох! — насмешливо вздохнул Сила Тулубьев. — Изловил князь зайца в лугах болярина Водовика, то-то горе Великому Новгороду.

— Не о лужках, не об охотничьих забавах быть слову совета господ, — боясь, как бы в мелких спорах не забылось то, о чем сказал он, строго произнес Якун Лизута. — Поклонимся ли, мужи, старыми вольностями нашими перед князем? На вече у святой Софии молчали мы, не сталось решения и грамот не писали...

— На вече слово черных людей, а слово Великого Новгорода в совете господ, — хмуро, сердясь на Лизуту за давешнюю обиду, не обращаясь ни к кому, молвил Стефан Твердиславич. — Не нам, верхним людям, рушить старый обычай.

— Истинно молвил, Стефане, — одобрил речь Твердиславича Никифор Есипович. — Боярством старым и святой Софией славен Новгород, Господин Великий. Без боярских вотчин не было б торгу, не по что стало б идти на Новгород иноземным гостям. Мои вотчинки, кроме ближних, и в Бежичах, и на половине Обонежья, а на вече мой голос рядом с крикуном, у коего всего добра язык да воля.

— Не своим ли богатством и вотчинами, болярин, думаешь заступить Великий Новгород? — заслоняя Есиповича, спросил у него Сила Тулубьев.

— Заступлю. Не приду у тебя молить подмоги. В твоих-то вотчинках, Сила, на уповоде обернешься, а мои в год не объехать.

— То-то и не люб тебе князь Александр! — выкрикнул Тулубьев. — Не от врагов иноземных, а от князя, от дружбы с Суздалем заступаешь Новгород.

— Ну-ну, полно, Сила! — вступился за старое боярство Стефан Твердиславич. — И мне, как болярину Никифору, люб вольный Новгород, Господин Великий, а вам, чьи вотчинки свились на сорочьем хвосте, как и гостиным людям и ремесленным, люб союз с суздальцами.

— Нам люба, болярин, Русь великая, — выпрямясь, как бы с высоты роста своего громко произнес Тулубьев в ответ Твердиславичу. — Нам любо, чтобы все русские города и люди русские сложились в одно слово, чтобы не вотчинами боляр своих возносились земли русские друг перед другом, а торгом русским, силой воинской и единой волей...

— А головой над Русью сел бы суздальский Ярослав! — оборвав Тулубьева, крикнул Лизута. — Что ж, мужи, послушаем Силу, поклонимся худыми вотчинками нашими и Великим Новгородом Ярославу!

Тишина. Будто туча грозовая поднялась над Грановитой. Коротка и насмешлива речь Лизуты, первого болярина владычного, но сказал он то, что горше всех бед тревожило сердца верхних людей новгородских. Казалось, вот-вот разразится буря. Много горьких слов будет сказано, много обид выплеснется. Ни мира, ни дружбы не знать после. В этот миг владыка, казалось безучастно слушавший речи бояр, вдруг приподнялся,

Черные попы подхватили его под плечики. Подняв костыль, владыка троекратно стукнул им о пол.

— Довольно, мужи новугородстии, бесов тешить! — громко и отчетливо прозвучал в тишине палаты его тонкий и высокий голос.

— Твое слово и твоя воля, владыка, — воспользовавшись тем, что владыка повременил, прежде чем продолжать свою речь, начал было Лизута, но тут в палате появился взволнованный, запыхавшийся служка. Он, не задерживаясь, пробрался к Лизуте и что-то шепнул. Боярин изменился в лице.

— Не опознался ли ты, отроче? — спросил.

— Истинно, болярин. Еле забежал вперед, чтобы поведать.

Лизута отстранил служку. Волнуясь и глотая слова, он произнес:

— Мужи новгородские, князь Александр Ярославич жалует на совет.

ГЛАВА 15

КНЯЖЕЕ СЛОВО

Склонив голову под низким косяком двери, в палату вошел Александр. На мгновение он задержался у входа, потом решительно шагнул вперед, приблизился к архиепископу и преклонил колено.

Владыка поднялся навстречу. Черные попы подхватили было его под плечики, как всегда делали это на людях, но владыка оградился от них костылем.

— Благословен грядый во имя господне! — произнес он, осеняя двоеперстием Александра. Ни во взгляде, ни в облике владыки ничто не напоминало больше сурового святителя, только что словом своим остановившего в совете шум и распрю. — Высоко место твое в совете господ, княже, — продолжал владыка. — Слову твоему да возвеселится и возрадуется всяк сущий.

Рядом с темной фигурой старца юный князь казался выше и привлекательнее. Красный из ипского сукна каф-

тан, надетый на князе, сверкал золотой тесьмой, кожаный пояс, украшенный чеканным медным набором, туго обвивал тонкую талию; красные же, как и кафтан, сафьяновые сапоги с высокими каблуками и узкими, словно выточенными носками, придавали одежде князя тот особый блеск, который отличал его от застывших по лавкам бояр. Ни драгоценные перстни, ни золото, ни камни не украшали одежду князя. Только легкая, тонкая серьга с оправленной в нее прозрачной зеленой каплей, старый батюшкин дар, выдавала в нем воина и князя, держащего власть. Он безоружен; лишь короткий нож привлекал внимание черной, со вставками из серебра и рыбьего зуба, резной рукоятью.

Неожиданное появление Александра в Грановитой смутило бояр. Никто не ждал его. Пока он стоял перед владыкой, Якун Лизута, вытирая взмокшую лысину, бросал тревожные взгляды на сидевших по лавкам бояр: не обмолвился бы кто по глупости противу. Стефан Твердиславич упер глаза в пол, да так и застыл; насмешливо ухмыляется, глядя то на Лизуту, то на Твердиславича, Сила Тулубьев.

— С чем пожаловал, княже, к владыке и совету нашему? — вымолвил наконец Лизута, поняв, что не время сегодня вспоминать о распре. — Рады мы слышать слово твое, — добавил он.

Строгое выражение лица Александра, его испытующий, сосредоточенный взгляд, морщинки, собравшиеся над переносьем, — все говорило о том, что не распря с боярством, не городовые дела, а что-то иное, более значительное встревожило князя.

— С нуждой и докукой я к Великому Новгороду, — приблизясь к княжему месту, начал Александр и запнулся, точно опасаясь, не слишком ли громко и вызывающе прозвучал в тишине палаты его голос.

Никто не шелохнулся. От настороженных взглядов бояр, устремленных на него, казалось, раскалился воздух. Александр почувствовал, что у него краснеет лицо, на лбу выступил пот.

— Ведаю, многим не люб я, — продолжал он тише, слегка приподняв пред собой руку. — Не люб! — повторил резче. — Но тревожусь я, мужи новгородские, не о

себе. Не с радостной вестью стою в Грановитой. Ведомо ли вам, мужи, о кознях, какие чинятся врагами Руси? Чаю, ведомо. И о том ведомо, что ливонские лыцари-меченосцы, короли свейский и датский, с благословения римского патриарха-папы, главы церкви латинской, вступили в союз противу Великого Новгорода. Грозятся латыняне поработить землю нашу, нарушить язык и обычаи, подчинить церковь русскую Риму, а народ русский ввергнуть в полон и рабство. Давно слышали мы о тех замыслах, — голос Александра зазвучал сильнее. — Ныне, мужи новгородские, враг не словами грозит нам — походом. Люди с Ижорской земли, что близко от моря, принесли весть от старосты тамошнего Пелгусия, которому указал я смотреть морские рубежи наши, и Божин-воевода послал гонца с Ладоги. Пишет Семен Борисович и ижоряне сказывают: на море, у рубежей наших, ладьи свейского войска. Ведет латынян воевода их Биргер, правитель свейский. Не на то ли уповает он, начав поход, что Господин Великий Новгород не найдет себе помощи? Не потому ли, не дождавшись союзников своих — датских и ливонских лыцарей, — спешит с боем, что верит: не будет у Новгорода времени искать помощь? Захватят свеи Ладогу, оттуда близок путь к Новгороду. Горька весть, но горше она оттого, что свейское войско готово к битве, а Новгород не собирает полков. Будем ждать — застигнут нас свеи и поразят. И о том помнить нам, мужи: ливонские меченосцы угрожают Пскову, датское войско, кое стоит в земле чуди, готовит поход к Новгороду от Колывани по Луге... Захватят латыняне Новгород, нарушат торговую гостьбу нашу, поставят римских попов над святой Софией. Не Новгород будет господином на торгу у себя, а Готский двор. Свейские, ливонские и иных земель лыцари поделят землю нашу на лыцарские вотчины, воздвигнут замки; люди русские станут рабами и холопами их.

Александр помолчал, окинул взглядом бояр.

— Покорится ли Великий Новгород свеям и попам римским? — произнес он так громко, что даже боярин Лизута вздрогнул от неожиданности. — Станем ли челом бить врагам Руси или соберем рать и выступим навстречу, в поле? Мне, князю новгородскому, и вам,

но не вышел вперед, промолчал. Неожиданно, к изумлению всех, поднялся старый Обовьяник. Давно не слыхали в совете его голоса.

— Не дело баешь, Стефане, — промолвил он. — Не дело. Не до Новгорода Великого нынче князю Ярославу. Смел и крылат был Ярослав прежде; парнишком, таким вот, — Обовьяник вытянул перед собой дрожащую руку, — помню его. Смел был. А нынче он, бают, не охочь стал к делам ратным.

— Не пустить ли уж свеев на нашу землю, не в колокола ли звонить им да хлебом-солью встречать на Великом Новгороде? — не стерпел, крикнул Тулубьев.

— Не кидайся словами, Сила! — покосил на Тулубьева взглядом Стефан Твердиславич. — Не твоим умом жить Новгороду.

— С твоим-то большим умом, Стефане, все в прах ляжем.

— Ну-ну! Увидят свеи Силу-богатыря, со смеху помрут...

— Не час для споров и перекоров, мужи, — прекращая шум, вновь заговорил Александр. — Болярин Стефан молвил слово: звать-де нам князя Ярослава с войском на помощь Новгороду! А что самим делать — о том не обмолвился. Скажу я — на помощь надежды нет. Покуда ждем суздальское войско, свеи будут в Новгороде. Воля Новгороду — немедля ладить полки: соберем городовое ополчение, возьмем посошных ратников... Одного от десяти сох из ближних волостей. Хлеб велим собирать для войска и куделю на тегилеи...

Речь Александра хотя и отрезвила бояр, но вымолвить то, чего он требовал, никто не решался. Скажешь согласно с князем, того и жди, накинутся именитые вотчинники, а против князя пойдешь — худа не было бы.

— Быть ли Новгороду Великому под свеями, спор о том в поле решим, — так и не дождавшись ответа, произнес Александр. — Укажу нынче звонить большое вече, послушаем слово Новгорода.

Сказал, окинул взглядом палату, молча повернулся и быстро, как и вошел, направился к выходу.

КРЕПКА РУБАШКА — ТОПОР НЕ БЕРЕТ

Шведское войско на рубеже Руси. Шведы хорошо вооружены. О выносливости их и умении владеть оружием давняя идет слава. Знают они и путь к Новгороду. Каждое лето ладьи шведских гостей приходят по Волхову к Гаральдову вымолу; торгуют гости и в Новгороде, и в Русе, и в Торжке.

Перед советом господ в Грановитой Александр сказал о готовности своей встретить врага в поле, не ожидая его к городу; теперь, размышляя о предстоящей битве, не встречи с врагом опасался он, а того, что силы его слабее шведов. Дружина в Новгороде малочисленна, в городовом ополчении не все ратники копье умеют держать в руках. Шведы опираются на союз свой с ливонскими рыцарями и датчанами; помогают им князья немецких земель и франкский и английский короли... Некогда Новгороду искать помощи, некогда собирать и свои большие полки.

Александр ждал, что верхние люди, перед лицом вторжения сильного и воинственного врага, забудут распри, ждал, что бояре-вотчинники снарядят в полки дружины из своих вотчин, что на снаряжение войска будет у него и золото и серебро из городовой казны. Но не услышал он о том слова совета господ, не услышал и наказа защищать Новгород от нашествия шведских крестоносцев.

Побывав в Грановитой, Александр всю ночь не сомкнул глаз. Велика ответственность его перед Русью. Не легкими надеждами тешил он себя, а представлял самое мрачное и тяжкое, что может случиться в походе.

Сказал он в Грановитой, что выйдет с полками навстречу шведам, а не лучше ли запереться в городе? Валы острога и каменные стены Детинца — надежная защита; в поле шведы искуснее и сильнее новгородцев. Но если враг достигнет Новгорода, можно ли исчислить беды и несчастья, какие обрушатся на город и на землю Новгородскую?

Утром, чуть свет, Александр позвал с собою Гаврилу Олексича и отправился к бронникам и кузнецам на Ильину. Кто ухваты гнул, тому велел калить рогатины, раздувать сильнее горны там, где ковали топоры. Весь железный лом перерыл. Дольше, чем у других, Александр задержался в кузнице у Никанора. Низал тот кольчужку, кольцо к кольцу; и до того мелко колечко, что ни стрела не возьмет рубашку, ни тонкий кончар.

— Хороша рубашка, Никаноре, — похвалил Александр, осмотрев изделие, — но тонка. От меча и топора не прикроет.

— Так ли, княже? — хитро усмехнулся Никанор.

— Рассеку одним взмахом.

— Нет, Александр Ярославич, не рассечь.

— Рассеку. Ровно колечко в рубашке, того и жаль, что легко.

Никанор усмехнулся.

— Мордки не возьму за пробу, махни топором!

Никанор бросил наземь кольчужку. Александр взял топор, размахнулся. Брызнули искры, как от костра. Ударив, бросил топор, поднял кольчужку. Как он ни вертел ее перед собою — цела, ни одно колечко, ни одну заклепочку не порвал топор и не рассыпал.

— Моя правда-то, Александр Ярославич, — довольно ухмыльнулся Никанор. — На топор взгляни — остер был, а теперь в зазубринках.

— Цены нет рубашке, — признался Александр, продолжая рассматривать тонкие и мелкие кольца. — Смел ты, Никаноре, не пожалел изделие, под топор бросил... А ну как рассыпал бы...

— Нет, Александр Ярославич, рубашка моя топора крепче.

Александр встряхнул кольчужку, поднял ее перед собой, взглянул «на свет». Там, где пришелся удар топора, видны царапинки. Спросил:

— В чем ее хитрость скрыта, Никаноре?

— Не хитростью крепка кольчужка, Александр Ярославич. Железо в ней силу имеет.

— Кто в Новгороде умеет вязать кольчужки почтоему?

— Противу моей?.. Не слыхал других мастеров. На

Мшаге, у домниц тамошних, есть кузнец... Кольчужки не вяжет, а топоры его с моей рубашкой поспорят.

— Хорошего мастера зови на Новгород, Никаноре, — посоветовал Александр. — А за такое вот изделие, — он снова встряхнул кольчужку так, что она зазвенела, — горячего коня не жаль.

— За коня, княже, не отдам рубашки.

— Мало? Золота хочешь аль серебра?

— Ни золота, ни серебра не возьму, а пришлась по сердцу — возьми в дар.

— Не откажусь, Никаноре, — Александр улыбнулся и передал кольчужку Олексичу. — Будет случай — отдарю тебя. Еще хочу молвить: хороши твои изделия, да мало их. Возьми, Никаноре, двух или трех молодцов, обучи их ковать железо по-твоему!

Давно миновали полдни, когда Александр вернулся на княжий двор. Не заглянув к себе, он прошел в терем к княгине. Евпраксеюшка, увидев князя, всплеснула руками и обмерла.

— Люди добрые, где же ты побывал, князюшка светлый? Чай, пыли да сажи на Новгороде не осталось, все на себе принес. Оглянись-ко, посмотри на себя!.. Осподи мой ты боже! Неужто нет у нас воевод, некому дело делать? Вели им, а сам князем сиди! В теремах-то светлее станет.

— Худому учишь, мамка, — нахмурился Александр, но все же осмотрел себя, поморщился. — А делаю то, что надо делать. Параша, скажи хоть ты мамке, не ворчала бы, — подошел он к княгине.

— Мамка и на меня ворчит, — промолвила княгиня так, словно и она не одобряет князя.

— Княгинюшка-то... Что она скажет? — не унималась мамка. — Отроду не видано того, чтобы князьям в черном теле жить. Княжее место в тереме да в гридне думной. Князю слово молвить, а дьякам да боярам слово исполнить. К нам, на княжий-то двор, именитые бояре носу не кажут, и дела княжеские никто не вершит. Ты по кузням нынче, а в утре свейский посол прибыл на Новгород. День к концу, а небось, князюшка светлый, не слыхал о свее?

— О свее?..

— С делами-то он не с важными ли?

— Спасибо, мамка, напомнила, впрямь не слышал. Прости, Параша, пора мне...

Александр обнял княгинюшку, чмокнул в щеку. Не успела она опомниться, шаги его уже стучат в переходе.

— Ох! — вздохнула. — Почто ты, мамка, напугала Сашеньку?

В княжей гридне зажгли свечи. Александр в том же уборе, что был в тереме, сидит в переднем углу, на лавках — ближние дружинники. Рядом с князем воевода Ратмир, насупротив — боярин Федор Данилович и Гаврила Олексич.

— Сможет ли Великий Новгород отразить врага, если лыцарское или свейское войско подступит к городу? — сказав о после шведского правителя и о том, что войско шведов стоит у русского рубежа, спросил Александр. Никто не отозвался. — Острог наш крепок, — продолжал он помолчав. — Но на подходе от Луги и Пскова, кроме городков на Шелони, нет у Новгорода ни острожка, ни монастыря. Монастыри новгородские стерегут пути от Торжка, охраняют Новгород Великий от... Суздальской Руси.

С горькой усмешкой он назвал сильные монастыри в Ильменье, у истоков Волхова и по Волховцу.

— От Пскова и с Ладоги, — продолжал он, — открыт путь к городу. Колмово и Аркажа — два убогих монастырька да Тесовский острожек... Не закроют они пути. Пустим врагов к городу, затворимся в остроге и, может, отсидимся, но людям новгородским великое станется разорение. Много невинной крови прольется и хором сгорит много. Быть ли тому? — Александр повысил голос. — Ждать ли врага в городе, укрываясь за его стенами, или в поле идти, встретить на рубеже?

— Успеем ли выйти в поле? Пока собираем рать — свеи будут у Новгорода, — высказал Гаврила Олексич тревожившую его мысль.

— К рубежу далек поход. Путь один — идти на ладьях в Нево, а речная дорога крива, и полки не собраны.

— Не рекой, сушей идти: путь короче вдвое.

Говорили коротко, словно давно было решено не от-

сиживаться за городскими стенами. Александр не перебивал говоривших. Изредка он взглядывал на Ратмира, который, насупясь, молча слушал говор дружинников.

— Что ты молвишь, Ратмир? — спросил Александр воеводу. — В городе сидеть войску или идти в поле?

— В поле, — коротко ответил Ратмир. Он обвел взглядом притихших дружинников и добавил: — Крови меньше. Выступим.

— Тому и быть, — произнес свое решение Александр. — Кто, сидя за стенами города, хочет разбить врага, тот врагу не страшен. Не будем ждать, пока враг придет, ударим первыми. Завтра послушаем, что скажет посол свейский... Болярин Федор, видел ты посла. С чем прибыл он на Новгород?

— Горд он, княже, — ответил Федор Данилович. — Спрашивал я, с какою нуждой прибыл? Не открыл. О том, сказал, поведаю князю.

— Горд и спесив свей, — усмехнулся Александр.

— Да. Будто не он к нам, а мы к нему пришли с поклоном.

— Как его имя?

— Лыцарь свейского войска Олаф Карлсон. Сказывает, что по роду своему близок он королю свейскому.

На другой день в Грановитой палате Александр принимал посла. К тому часу собрались в палату верхние люди новгородские, вотчинные и княжие бояре, старшие дружинники, почетные гости торговые, старосты ремесленных братчин. От множества людей жарко и тесно под расписанными и украшенными резьбой по камню сводами. До полудня Александр пробыл в покоях владыки и ровно в полдень вошел в палату. Следом за ним воевода Ратмир, степенный посадник с золотою гривною на груди, тысяцкий, владычный боярин Якун Лизута. На Александре, поверх сияющего медью и серебром бехтерца, сверкает золотыми позументами корзно малинового бархата с вышитыми по нему кругами, украшенное драгоценною пряжкой на плече. Круглая княжая шапка с малиновым верхом опушена по низу черной куницей. Малиновые же с узором сафьяновые сапоги и золотой пояс на бехтерце довершают убранство. Солнечные лучи, проникая в щели слюдяных окошек, играют на парче, золотых поясах и боярских гривнах.

— Свейский посол ждет твоего повеления, княже, — сказал, поклонившись князю, Гаврила Олексич, когда Александр прошел вперед и опустился на княжее место.

— Пусть войдет посол!

Боярин Федор ввел в палату рыцаря. Длинный — до полу — широкий черный плащ резко выделял шведа среди новгородских бояр и княжих дружинников. Светлые обнаженные волосы прямыми прядями опускались на его плечи. Он громко стучал каблуками, точно шел в пустой горнице, а не перед лицом Великого Новгорода. Чтобы показать достоинство и независимость свою перед «королем варваров», посол высоко держал голову и, лишь остановясь около приготовленного ему места, чуть-чуть, еле заметно, склонил ее в полупоклоне.

— Лыцарь Олаф Карлсон, прибыл с посланием правителя земли свейской к тебе, княже, и к Великому Новгороду, — громко произнес Федор Данилович.

Александр с трудом усидел на месте. Его рассердил пренебрежительный кивок рыцаря, хотелось сказать резкое слово, научить, как подобает иноземному послу приветствовать русского князя. Но вместо готовых сорваться с языка резких слов Александр, будто не зная ничего о воинственных намерениях шведов, спросил:

— С какими вестями прибыл ты, лыцарь, к Великому Новгороду?

Дьяк повторил его слова по-иноземному. Рыцарь выпрямился, заговорил громко, отсекая каждое слово:

— Повелитель непобедимого войска христианнейшего короля, Биргер Магнуссон, правитель земли шведской, земель Суми, Ями и островов, велел сказать тебе, князь, и всему Новгороду, что войско христианнейшего короля стоит на вашей земле. Приди, князь, и поклонись! Если ты, князь, ослушаешься призыва дружбы, то светлейший Биргер, именем христианнейшего короля, велел сказать тебе: «Сопротивляйся! Пленю тебя, князь, и пленю землю твою; город разорю!»

В глазах Александра вспыхнули искры. Хотя в палате находилось много людей, но после речи посла, когда дьяк повторил ее, настала тишина. Лица бояр побагровели, то ли от гнева, то ли от изумления перед хвастливой дерзостью.

Гаврила Олексич, стоявший позади Александра, схва-

тился за рукоять меча. Боярин Стефан Твердиславич наклонился к уху Лизуты и что-то шепнул; после взгляды их пристально уставились на князя: что скажет он, как ответит на дерзкое слово? Невозмутимым осталось только лицо боярина Федора, как будто его не трогала и не возмущала угроза.

— Смел ты, лыцарь, что пришел ко мне и Великому Новгороду без поклона, со злым словом. Не привыкли мы на Руси к дерзкой речи. Припомнить бы правителю земли свейской Биргеру, как стоит Русь — не бегали русичи в битвах. Встретим свейское войско по обычаю нашему.

Александр поднялся, давая этим понять, что сказал все и отпускает посла. Рыцарь, изумленный холодностью князя, поклонился ниже. Идя в Грановитую, он ждал, что после его слов увидит растерянность и испуг на лицах новгородского князя и ближних бояр, но Александр даже улыбался; ни словом, ни намеком не выразил покорности слову правителя. Сопровождаемый Федором Даниловичем, рыцарь покинул Грановитую. Как только за ним закрылась дверь, Александр шагнул вперед, оборвав на плече пряжку, сбросил корзно.

— Так ли, как этот свей, приличествует иноземцу говорить с Великим Новгородом! — воскликнул он. — Хочу слышать ваш совет, боляре.

— Соберем полки, княже, и затворимся в городе, — сказал боярин Лизута. — Велика сила свеев, но за стенами, даст бог, и с малым числом воинов отсидимся.

— В поле свеи побьют наши полки, — вслед за Лизутой подал голос Стефан Твердиславич. — Твоя воля, княже, и посадничья, но совет наш — держать Новгород.

— Подождем, не зря ли пугал свей?

И как всегда в палате — слово за слово, — мирная речь готова перейти в спор. Александр недовольно хмурился, наконец он не выдержал.

— Не ждать врага, — сказал он, и по тому, как прозвучал его голос, всем стало ясно, что решение его неизменно. — Сядем в городе, побьют нас свеи. Следом за ними начнут поход ливонские лыцари и датские полки. Позор обретем себе. Не людно войско наше, но бог не в силе, а в правде. Разобьем свеев, остановим и меченосцев. Не словами, мужи, боем докажем силу Руси.

У ОНЦИФИРА НА ЛУБЯНИЦЕ

Голосили первые петухи, когда постучались в ворота на двор к Никанору. Стук поднял Анису Мардальевну. Что-то ворча, она прошлепала в темноту босыми ногами к еле поблескивавшей слюдой оконнице, послушала. Стук повторился.

— Осподи, наказание! — пробормотала Мардальевна. — *И сон не берет полунощни.ов.*

Она разбудила мужа.

— Вставай, Никаноре! Стучат.

— А? — вскочил Никанор. — Ломятся... В этакую пору.

— Может, нужда кому, — примирительно протянула Мардальевна.

Никанор послушал. Стучат негромко, но настойчиво.

— Схожу,— решил он. — Окликну.

Ночь теплая и темная. По небу быстро несутся рваные облака, и в просветах их горят редкие и, почему-то казалось Никанору, очень крупные звезды. Словно не решаясь ступить босыми ногами на влажную от росы холодную траву, Никанор постоял на крыльце. Когда стук в ворота раздался снова — окликнул:

— Кто там, за воротами?

— Свои, Никаноре.

Никанор не признал голоса, переспросил:

— За какой нуждой среди ночи?

— Дело неотложное, Никаноре.

— Уж не Омос ли?

— Узнал. Открывай, Никаноре, а то сорокой через ограду переметнусь.

Никанор приоткрыл створу. Омос протиснулся внутрь и, видя, что Никанор собирается закрыть за ним, остановил:

— В хоромы не пойду, Никаноре. Молвлю словечко и уйду... Мне еще к Страшку на Ильину, да на Рогатицу... Староста Онцифир зовет тебя.

— Онцифир? — изумился Никанор. — Почто ночью?

— Планида такая, Никаноре, не время спать ремесленным, — усмехнулся Омос. — Слышал небось о после

свейском, о том, что в Грановитой, при болярах, молвил свей князю?

— Слышал, да ведь слуху-то, говорят, не всякому верь.

— Не слуху, а мне поверь, не лыко плету. Войной свей грозит... Правитель ихний велел сказать князю: стою, мол, на твоей земле, приди и поклонись! Не поклонишься — пленю тебя и землю твою. Разгневался Александр Ярославич. «Не кланялись свеям люди русские, молвил. На поклон русичи отвечают поклоном, а на бой — боем». Ввечеру после велел князь звонить завтра большое вече, будет он говорить с Великим Новгородом. Вече созвонят со полудня, а наперед, поутру, уличанские скажут слово. Нынче у Онцифира будет ближний болярин княжий Федор Данилович, потому и зовет староста мастеров...

На себя не похож сегодня Омос. На устах у него ни шуток, ни прибауток. Говорит степенно и так, словно своими ушами слышал все, что сказал свейский посол князю и что ответил князь.

— Близко ли свеи к Новгороду? — полюбопытствовал Никанор. — Не сказал о том посол?

— Близко, — уверенно, словно успел он побывать там, где стоят шведы, и повидать их, ответил Омос. — Стан их, Никаноре, на нашей земле.

...Лучник Онцифир был в Грановитой, когда Александр принимал шведского посла. Встретив лучника, Федор Данилович сказал ему, что ввечеру собирается на Лубяницу, и просил Онцифира звать к себе мастеров братчины, лучших из лучших. «Слово есть у меня к ремесленным, Онцифире», — сказал он.

Затемно уже, собираясь на Лубяницу, Федор Данилович позвал с собой Ивашку.

— Вечер хорош, отроче, — молвил. — В такой-то вечер старому не спится и молодому горяча подушка. Проводи меня на Торговую сторону.

По улицам ехали шагом. Пробовал было Ивашко горячить коня, но Данилович остановил: «Будешь в поле, отроче, там скачи вволю, а в городе, на тесовой мостовой, копыта громко стучат». Ивашко не спросил, куда едут, и боярин не сказал о том. Чуть ли не с испугом взглянул молодец на Федора Даниловича, когда тот,

свернув на Лубяницу, остановился у Онцифировых ворот.

На дворе Ивашко, все еще не зная, радоваться ему или сердиться на то, что явился незваным, помог боярину сойти с коня. Данилович передал ему повод, размял уставшие от седла ноги, велел:

— Прибери коня, Ивашко! Может, долго буду в хоромах... Терпенья наберись, а где ждать — твоя воля.

Онцифир встретил боярина на крыльце.

— Спасибо за честь, осударь! — сказал он. — Не погнушался моим жильем.

— Не гостем я, Онцифире, — поднимаясь по ступенькам, ответил боярин. — Совет твой надобен.

— Мне ли в советниках быть, осударь!

— Не мал ты на Новгороде, — усмехнулся Данилович. — Староста ты мастеров оружейных, а ремесло ваше дорого.

— По ремеслу спросишь, болярин, скажу, об ином-то не обучен думать.

— Полно, Онцифире! — поднявшись на крыльцо, Данилович остановился, чтобы отдышаться. — Не занимать тебе ума ни в гостиных, ни в болярских хоромах. С людьми живешь, думы людские слышишь.

На столе, в железном подсвечнике, горит восковая свеча. На передней лавке — Федор Данилович, рядом с ним Онцифир. Лучник в белой холщовой рубахе с красными ластовицами; борода у него, будто рассыпанный овсяный сноп, закрывает грудь. По другую руку боярина — кузнец Никанор, за ним Страшко, Игнат-гвоздочник, щитник Анфим... Позади всех, на краешке коника, кровопуск Омос. Горница в хоромах Онцифира тепла и вместительна, но так как печь в ней топится по-черному, высокий накат потолка, выложенный из круглых бревен, отлунивает в мягком сиянии свечи маслянисто-темным блеском, точно облитый смолой.

В горнице прибрано. Тесовый пол застлан мягкими тканными дорожками; под кутним воронцом играет узорными бранями белый как снег холщовый рушник, другой — накрывает окованную медью дубовую укладку, которая стоит на лавке в красном углу.

Говорит Федор Данилович. Ремесленные молча, не

перебивая, слушают неторопливую, спокойную речь боярина.

— Не с распрей пришел я к вам, добрые мужи, — говорит он, — а хочу перемолвиться словом. Свейское войско переступило рубежи наши. Страшны свеи Новгороду, говорят по-за углам, а не за тем ли говорят, чтобы глаза отвести. В хоромах бояр вотчинных хитрят, выжидают... Тою мыслью тешатся: юн князь, не соберет войска. Не победы ищут ему — позора. С переветами-изменниками Нигоцевичем и Ярославком псковским, кои живут в Риге под крылышком у меченосцев, ведут тайные речи. Довольно терпеть зло, мужи, слушать наветы... Пора хватать наветчиков и казнить за язык их. Завтра, с полудня, по указу князя зазвонит на Ярославовой звоннице вечевой колокол, соберутся на большое вече все концы городские — и софийские и торговые; сложатся ли в одну речь голоса? Князь Александр Ярославич выйдет на вечевую степень, скажет слово о походе противу свеев, а будет ли слово его словом Великого Новгорода?

— Ремесленные мастера не укроются в лес, болярин, не будет среди них супротивников, — подумав, молвил Онцифир.

— За всех ли твое слово, Онцифире?

— Врать я не учился, болярин, и льстить не умею. Будет слово князя словом Новгорода. Отыщется черная душа да покажет вражьи когти — познает она гнев новгородцев. На Великом мосту, над старым Волховом, будет суд. Не о том тревога наша, болярин, не будет распри в Новгороде, иное тревожит: встретятся в поле полки — кто победу возьмет в битве? Силен идет враг, осударь-болярин.

— Кто возьмет победу — битва решит, Онцифире, — ответил Данилович. — Князю и воеводам его о том ведать, как ставить полки. Выступит войско, а мы... Дадим ли оружие воинам? Городовой и княжий запасы не велики, есть ли оружие у ремесленных, у вас, мастера оружейные? Поведай о том, Онцифире!

— Есть, — решительно произнес Онцифир и в подтверждение того, что сказал, пристукнул по столу ладонью. — Дадут мастера копья и рогатины, топоры боевые и луки самострельные, броню и шеломы. То ли

ные ночи, ни стены каменные, ни дубовые частоколы не скроют от его уха и глаза. По рождению Федор Данилович суздалец. Нет у него вотчин на Новгороде. Вотчинные бояре не любят его, но спесью перед ним не возносятся. Нигде не опустит он головы, ни брань, ни распря не переедят ему горла. Навестил сегодня боярин хоромы лучника Онцифира, и не боярин будто, а равный с равными говорит он с ремесленными. Зато знает Данилович, что скажут завтра на вече ремесленные мастера.

Время близко к полуночи. У себя, в хоромах, ждет боярина Василий Спиридонович. И к торговым гостям новгородским будет слово Федора Даниловича.

...Голоса в горнице разбудили Васену. Прислушалась, подождала. Голоса не затихают. Девушка поднялась, накинула летник, подошла к двери, приоткрыла.

У стола, рядом с батюшкой, боярин. Мутно горит свеча, но Васена узнала Никанора и Страшка. Кто-то еще в горнице... В полутьме Васена не разобрала лиц. Хотела отступить, но второпях опустила скобу. Дверь, скрипнув, распахнулась. Боярин, говоривший с ремесленными, прервал речь, оглянулся.

— Долго засиделись у тебя, Онцифире, — сказал он. — Хозяйку твою потревожили. Пора честь знать.

— Не суди мою «хозяйку», болярин, — усмехнулся Онцифир. — Не гонит она гостей; затем пришла, чтобы медом потчевать.

— Полно, Онцифире, пришли мы не мед пить...

— От чаши меду, как и от доброго слова, не отказывайся, болярин. Налей пополнее ендову, Васена!

ГЛАВА 18

ВЕЧЕ

Звонит набат вечевой колокол на Ярославовой звоннице. В городских концах с раннего утра побывали княжие гонцы, оповестили: собирает князь Александр Ярославич большое вече на Ярославовом Дворище, зовет на вече и Софийскую и Торговую стороны.

Давно не знал Великий Новгород того, чтобы все городские концы сходились на один зов. Нынче, как зазвонили набат, потянулись к Ярославову Дворищу люди из Плотников и со Славны, с Неревского конца, из Гончаров; шествуют бояре с Загородского, с Пруской и Чудинцевой улиц. У всех одно на языке: шведское войско переступило рубежи, идет походом на Новгород.

— У Ладоги, чу, свеи. Порубежный полк, что стоит там, свеи побили... Гонец прибыл, сказывал. Того и жди — увидим свейские ладьи на Волхове. Посол свейский в Грановитой так и молвил князю: не покоришься — пленим тебя. Не о том ли и вече нынче, чтоб велеть князю с поклоном идти к свеям?

Говорил, размахивая руками, Офоня-колпачник. Он воровато оглядывался по сторонам; редкая, словно выщипанная, бороденка Офони кажется лишней на его круглом, как румяное яблоко, лице.

— Сам ты, Офоня, слышал посла-то? — спрашивают у него.

— В Грановитой был посол... — увильнул Офоня. — Не велел свей князю Ярославичу идти в поле, побьем твои полки, молвил.

— Сила у свеев, — кто-то тревожно вздохнул.

— Силища! — громче подхватил Офоня. — И у франков, и в немецких землях, и в иных во всех ведают, нет на белом свете сильнее войска свейского.

— А что молвил князь Александр послу?

— То и молвил, — вмешался в разговор Антон-дегтярник. До того он, глядя исподлобья на Офоню, молча стоял в толпе. — Выйдем, молвил, навстречу, побьем вас. Свей грозил полоном, а как услыхал слово Ярославича, прикусил язык. Видано ли то, чтобы русичи кланялись свеям?

— Свеи идут ладьями по Волхову, может, ты, Антош, распялишь руки, заградишь им путь? — насмешливо спросил Офоня.

— Тебе, Офоня, лучше молчать бы, — подвинулся к колпачнику и, сердито сверкнув на него глазами, вступился за Антона Тимош-серебряник. Высокая фигура его в крашенинном зипуне заслонила собой Офоню. — Не пройдут свеи к Новгороду, вот что молвил свею Яро-

славич. А почему не пройдут, пошевели-ко о том, Офоня, под колпаком у себя!

— Мало ль что скажет Ярославич, — не сдаваясь, петушился Офоня. — Не посадский он житель, не ремесленный, не гость торговый... Князь он, не с нами пир пирует.

— То-то тебя не позвал... Именитого вотчинника.

— А кто они, вотчинники? Опора и надёжа Великому Новгороду.

— Опора, да у ремесленных что-то бока болят от этой опоры, — сдвинув на затылок колпак, засмеялся Антон-дегтярник. — Кто на кого оперся? Кажется, не мы на плечи болярские, а боляре на наши шеи оперлись. Князь Александр силен, не кланяется пóходя вотчинникам, вот и занадобилась им опора. За откол Новгорода от Руси вотчинники, так ли?

— Ох, так.

— На княжем дворе так-то! — крикнул Офоня.

— А ты не шуми, Офонюшка! — оборвал его серебряник. — Чешется у тебя язычок — почеши, а врать не ври. Знаем, что князь не ровня ни мне, ни тебе... Не ровня! Но он за всю Русь. И нам, городовым людям, мила Русь. За нее, за Великий Новгород, а не за вотчины болярские проливали кровь отцы и деды наши. О том и колпачникам пора бы знать.

Донесся шум со стороны моста. Показались кузнецы, оружейные мастера. Они привалили на вече всей братчиной. Впереди Никанор и Страшкэ.

— Кузнецы-хитрецы... Эка ватага! — раздались голоса в толпе. — Гей, Никанор, гей, Страшко, много ли копий сковали, много ли топориков боевых?

— Не до копий им было, — насмешливо скривив рот, молвил Офоня в сторону. — Светцы гнули да сковородники.

— Слышь, Никаноре, что люди толкуют: не копья ковали, а сковородники бабам. Ухватами собрались полки снаряжать.

— Языком молоть вольно, ежели рот не замазан! — крикнул в ответ Никанор. — Бывало ль когда, что ходили кузнецы позади всех?

— Шли впереди, а в горнах холодно, — выкрикнул Офоня.

— От кого слышу? Офоня? Громобой-богатырь! Офоне меч легок, ослопину Офонюшке во сто пуд...

— Хо-хо-хо! — смех заглушил последние слова Никанора.

И вдруг словно ветер подул:

— Князь... Князь... Александр Ярославич.

— На коне... С дружиной.

— Посторонись, люди добрые, дайте взглянуть!

— На коне-то прямехонек...

— А дружина... Сто богатырей, молодец к молодцу.

— Как в велик день идет... Ни копья, ни меча — ни у самого, ни у дружинников.

— Не воевать идет Ярославич, слово молвить.

Александр сошел с коня и поднялся на вечевую степень. На высоком помосте степени его видно издалека. Красный с золотою тесьмой кафтан, надетый на нем, перехватывает узорный пояс из мягкой сыромяти. Шил пояс Липко — кожевник с Раздвижи. Позади князя воевода Ратмир и алеют шубы боярские. Молчаливы нынче бояре, да и мало их. Тому занедужилось, тому место у вечевой степени на Ярославовом Дворище страшнее недуга. Обида в боярских гриднях: зачем князь собрал большое вече не у святой Софии?

Александр поднял руку. Занялся шелест у Верхнего ряда на торгу, пробежал по толпе и замер.

— Мужи новгородские! — начал Александр; голос его разнесся по всему Дворищу. — Свейский правитель Биргер послал к Великому Новгороду своего лыцаря. Приняли мы лыцаря, как чести его положено. Велел правитель свейский сказать нам, что ихнее войско стоит на Русской земле, скоро оно будет к Новгороду. Не позорно ли, мужи, слушать хвастливые речи? Римские попы благословили поход свеев, назвали его крестовым, как поход на сарацин и поганых язычников. Неужто так велика сила свейская, что покоримся без боя? Пусть рука моя, — Александр вытянул вперед руку, — не будет держать меча, путь хула и позор падут на мою голову, если поклонюсь свейскому правителю и возьму мир на его воле! Не покорный мир дадим свеям, мужи, а соберем полки и выйдем навстречу. Желаю я, чтобы слово мое стало твоим, Господин Великий Новгород! Не от удальства, не ради славы себе говорю, мужи, а ради

славы Руси, ради мира и вольной гостьбы Великого Новгорода. Свейское войско лодно, но не солома ломит силу. Иду, мужи, навстречу ему с дружиною и всех, в ком сердце храброе, сила не угасла, зову в большой полк! Так ли молвил я, мужи новгородские? Будет ли слово мое словом Великого Новгорода?

Александр умолк и обнажил голову. Не затих еще в ушах новгородцев его голос, а на степени, рядом с князем, встал Василий Спиридонович, торговый гость.

— Волен ли Господин Великий Новгород пасть под чужое ярмо? — выкрикнул он. — Волен ли принять поругание от латинских свеев?

Шум и крики новгородцев заглушили речь Спиридоновича.

— Не волим!

— Не поклонится Новгород свеям!

— Собирай полки, княже!

— Костьми ляжем...

Не слышно голосов супротивных. Красный от надсады Офоня-колпачник машет исступленно руками, кричит что-то, брызжа слюной.

Один Офоня. Качнулась толпа, захватила его, отнесла от степени.

— Не склонимся, мужи, под чужое ярмо, — когда шум утих, раздался снова голос Спиридоновича. — Не время в хоромах сидеть, ждать, покуда гром грянет; время надевать шеломы да идти под стяг княжий. Скажем, мужи, и запишем в грамоте: готовы послужить Великому Новгороду! Кто добром, кто силой, животом своим и волей...

С непокрытой головой стоит Александр на вечевой степени. Ждал он, что его слово станет словом Новгорода, но, поднимаясь на степень, все же тревожился: не начал бы кто окольную речь. Бывало так: скажут небылицу, и зашумит вече... Голос людской толпы как струны у гуслей. Но сегодня кто и хотел сказать против — молчат. Гостиные и ремесленные братчины сложились в одну речь. Скажешь против, а не ровен час — приведется под тяжелую руку...

— Кого воеводою поставит Новгород над своим полком? — крикнул Спиридонович.

— Силу Тулубьева...

— Дружинича...

— Хорош Дружинич, да хвор. Не оправился после боя.

— Князю поставить воеводу!

На степени лучник Онцифир.

— Поставим воеводою гостя Спиридоновича! — крикнул он. — Пригож молодец! Силен, на разум востер и удали вволю.

— Спиридоновича!

— Спиридоновича воеводою!..

На губах Александра улыбка. Дав утихнуть шуму о Спиридоновиче, он призвал к тишине.

— Князю слово!

— Тише! Александр Ярославич скажет...

— Спасибо за волю Великому Новгороду! — Александр ступил вперед и поклонился. — Клянусь перед святою Софией и Великим Новгородом не мириться с врагом, покуда он не побит, покуда стоит он на земле нашей и грозит полоном древним вотчинам новгородским. Будет ли на то слово Великого Новгорода?

— С тобою Новгород, княже, веди полки! — крикнул Игнат-гвоздочник.

— Зови под стяг свой людей ратных! — подхватили новгородцы слово гвоздочника.

— Тебе воля брать в полки и охочих и пёсошных...

Пишут дьяки имена охочих людей в новгородский ополченский полк. Меха дорогие, гривны, куны и ногаты серебряные, копья и рогатины, топоры боевые несут новгородцы. Лучник Онцифир и Сила Тулубьев принимают добро.

Выступил вперед боярин Лизута.

— От своих животов даю двух холопей да пятерым тегилеи...

Стоявший рядом с Лизутой Гаврила Олексич покосился на боярина, оборвал:

— От твоих животов, болярин, мало сулишь. Дружину снаряди! Не жалей ни копий, ни шеломов, ни железных рубашек...

Александр спустился со степени. В толпе, окружающей дьяков, он увидел Никанора. Кузнец стоял и выкрикивал свое имя. Александр позвал его.

— И я сказан в твоем полку, княже, — приблизясь к Александру, сообщил Никанор. — С тобой жили, с тобой и в поле...

— Нет, Никаноре, — резко, будто сердясь на кузнеца, остановил его Александр. — Не тебе идти в полк, будь у себя в кузне.

— Почто, княже? — нахмурился Никанор. — Трусом не бывал...

— И я не ищу в тебе труса, а дорого твое ремесло. Тебе, Никаноре, не копьем биться с врагами, а ковать оружие для воинов, вязать кольчужки крепкие.

Видя, что кузнец собирается возражать, Александр повысил голос:

— Так сказано, Никаноре! Быть тебе у своего дела, в том моя воля и воля Великого Новгорода.

ГЛАВА 19

В СТАНЕ ВРАГОВ

Шведское войско на многочисленных ладьях отплыло из Обо к русскому берегу. Никто из воинов не сомневался в успехе похода. Море было спокойно. Пользуясь попутным ветром, шведы подняли паруса. Легкие ладьи с пешими воинами стаями окружали огромные корабли правителя и конного рыцарского полка. Погода изменилась на полпути. Ветер посвежел, постепенно небо обложили тяжелые темные тучи. Когда передние ладьи начали втягиваться в устье Невы, войско настигла гроза. Ломая пучину моря, будто из самой ее глубины вздымались волны и неслись к берегу, заливая его и дубовые рощи на островах.

Спасаясь от бури, шведы начали высадку. Корабль правителя остановился у устья Ижоры. На холме, видном издалека на низменном берегу, поднялся златоверхий шатер. Вокруг расстилалась покрытая сочной травой поляна. Она начиналась от Ижоры, достигала заросшего низкорослым кустарником болота, шла вверх по берегу и обрывалась у темно-синей гряды глухих ижорских лесов.

Волны, несясь с моря, подняли воду. Скоро она выступила из берегов, залила островки. Недавно еще спокойная река потеряла свои очертания. С шумом и грохотом волны разбивались о подножие холма, на котором возвышался шатер правителя. Зеленые купы дубовых рощ на островах напоминали огромные сказочные корабли на безбрежном пространстве взбунтовавшегося моря.

Промокшие до костей воины радовались твердой земле, ожидая найти на берегу жилье, тепло и пищу. Залитый почти сплошь водою берег реки — рубеж Руси. Отсюда простирается вдаль, за неизведанные леса и болота, обширная, сказочно богатая Новгородская земля.

При высадке шведов на русском берегу никто не оказал им сопротивления. Берег казался необитаемым.

Непогода, какою встретила Русская земля крестоносное войско шведского короля, и то, что рыцарь Карлсон, ушедший из Обо в Новгород с повелением правителя князю Александру, не вернулся, задержало шведов.

А места вокруг дики и неприютны. Топкие болота, темные, непроходимые леса преграждали путь. Собираясь в поход, шведы намеревались плыть на ладьях в озеро Нево [1], взять Ладогу; оттуда «гостиным путем» идти вверх по Волхову до стен Новгорода. Теперь, когда войско близко к озеру, «гостиный путь» казался Биргеру и опасным и долгим. На Волхове шведским ладьям пришлось бы преодолевать порожки, перекаты и мели; если новгородцы станут сопротивляться, то не легкими для шведов будут встречи с береговыми засадами. Поход на ладьях по чужой реке ослабит войско.

Прямой и скорый путь к Новгороду лежит сушей, но он незнаком, а у шведов нет проводников. Жители порубежных погостов и займищ, при первой же вести о появлении шведского войска, бежали в леса; на местах погостов шведы нашли свежие пепелища.

Непогода и нужда в пище сказались на настроении войска. Недовольство прорывалось глухо, но с каждым днем упорнее и настойчивее. Высокое положение духовника правителя обязывало отца Биорна знать обо всем, что думают и что говорят воины. Опечаленный тем, что

---

[1] Ладожское озеро.

он слышал, святой отец во время вечерней беседы с правителем поведал о своем беспокойстве. Биргер выслушал его не прерывая.

— Страх твой напрасен, святой отец, — промолвил он, успокаивая Биорна. — Мы вступили с оружием на эту землю, и ничто не заставит нас ее покинуть. Мы знаем свое войско, и нет у нас сомнений в его храбрости и непобедимости.

— Русы дерзки, государь, упрямы; земля их обширна. Они будут прятаться в лесах и избегать битвы, предпочитая нападать исподтишка. А скрытый враг, государь, страшнее того, который стоит в поле.

— Мы навяжем им битву! — произнес Биргер с такой жесткой решимостью, что отец Биорн невольно отступил. Но через мгновение бледные губы правителя тронула улыбка.

— Скоро вернется рыцарь Карлсон от князя новгородского, — сказал он. — И если русичи не сложат оружия, то не пройдет и двух недель, как крестоносное войско будет у стен Новгорода. Победа вознаградит нас за лишения, испытываемые теперь.

— О том я молюсь, государь, — произнес отец Биорн, набожно скрестив на груди руки. — Но, да простит государь мои слова, не время ли снарядить послов к братьям-меченосцам, известить их о нашем походе и напомнить о тех обязательствах, которые приняты Орденом по соглашению о совместном походе на Русь?

Биргер поморщился. Улыбка, блуждавшая на его губах, не исчезла, но глаза — серые, почти бесцветные — потемнели. Он заговорил устало, как бы нехотя:

— Напомнить Ордену о союзе и совместном походе на Русь — о том сказал ты, святой отец?

— Да, государь. Союз с братьями-меченосцами облегчит победу...

— А что станется после?

— Союз с единоверным Орденом не опасен нам, государь.

— Не опасен для апостолической церкви, но не для Швеции и нашего короля. Разве не пришлось бы делить с меченосцами плоды наших трудов? Мы первыми ступили на землю русов. Новгород и князь новгородский не смогут остановить нас. Я не противу союза с меченос-

цами, святой отец, но то, что повергнется нами, должно принадлежать нам.

— Клянусь четками апостола Петра, государь, я не хочу, чтобы войско христианнейшего короля, да хранит его бог, несло труды на пользу Ордена или дружественного нам короля датского, — подняв к небу глаза, произнес отец Биорн. — Довольно того, что меченосцы станут угрожать русам.

— И за то назовут свою долю, — невозмутимо прозвучал ответ Биргера. — Меч шведов не нуждается в помощи... Пленного руса, — Биргер неожиданно переменил разговор, — который схвачен вчера в лесах, отдаю тебе, святой отец. Пусть этот дикарь станет первым в здешней земле, познавшим свет истинной веры.

— Благословит бог ваше доброе сердце, государь!

Покинув шатер правителя, отец Биорн облегченно вздохнул. Ветер, который все еще дул с протоки, был сегодня теплее и тише; облака рассеялись, образовав в небе рваные голубые просветы, предвещая тем близость ясных солнечных дней.

ГЛАВА 20

ПЕРЕД ПОХОДОМ

Княгиня Прасковья Брячиславовна носила последние дни. Беременность изменила ее. Княгиня подурнела. На щеках исчезли красившие их круглые ямочки, губы поблекли, под ввалившимися глазами и на верхней губе рыжими неровными пятнами обозначились густые тени. Все это придавало озабоченную выразительность и какую-то непривычную строгость ее похудевшему лицу.

Прасковье Брячиславовне исполнилось восемнадцать лет. Почувствовав, что понесла, она испугалась. Но постепенно, по мере того как приближались роды, в молодой княгине просыпалась женщина. Все полнее, ощутимее переживала она радость первого материнства, когда и стыдно того, что есть, и гордость переполняет сердце. Любовь к мужу полно и неотделимо слилась в ней с любовью к тому, не появившемуся на свет существу, ко-

торое носит она и ради которого готова принять муки и счастье материнства.

Редко-редко Прасковья Брячиславовна показывалась теперь из терема. Она стала осторожней, оберегалась резких движений, всего, что могло испугать ее. Александр, появляясь в тереме, обнимал ее, целовал в губы... Лишь в одном изменился: обнимая, не поднимал на руках, не кружил, как прежде, по горнице.

Княгиня смущалась, краснела от стыда. Радость ли князю видеть ее — тяжелую, в широком летнике, нерасторопную...

Как ни оберегала Евпраксеюшка молодую княгиню от всего, что могло бы ее потревожить, но беспокойные вести с Ладоги не миновали терема. Терялась мамка: чей язык в хоромах болтлив? Она сердито ворчала, когда княгиня просила открыть ей правду.

— Что я скажу тебе, осударыня? — нахохлясь и отводя в сторону глаза, твердила она. — Знаю столько, сколько и ты... Память у меня разбило.

— Всегда так-то: как не хочешь молвить, так у тебя и памяти нет.

Для Евпраксеюшки княгиня — дитё малое. Какою была в Полоцке, в девичьем тереме, такой и осталась.

Вечер скоро. Бывало, об эту пору дружинники песни играли, забавами тешились, а сегодня — ни песен игровых, ни забав. «Неужто поход?» — думает княгиня. Тревожнее начинает биться у нее сердце. Ждала Александра — не пришел. Будь она не тяжелой — не горевала бы, не тревожилась. А тут как останется она одна в тереме?

Страшно Прасковье Брячиславовне. Разлилась бы слезами горючими, да стыдно. И Евпраксеюшка — увидит слезы на глазах — пристанет. «Опомнись, осударыня! — скажет. — Глупой бабе впору реветь ничего-то не видя, а ты княгиня».

В сумерках уже, когда Прасковья Брячиславовна перестала ждать мужа, Александр, шумно хлопнув дверью, вбежал в светлицу. Княгиня ожидала увидеть тревогу на его лице, а он весел, как всегда; кафтан на нем в пыли, лицо потемнело от загара, глаза искрятся так, словно совершил он что-то такое, что должно радовать и его и весь княжий двор.

— Потерплю... И не беспокойство мне здесь. Будем одни — делай что хочешь, не поперечу.

Готовя поход, Александр стремился как можно скорее закончить сборы. То же советовал ему и воевода Ратмир. В ополченском полку старые воины рассказывали молодым о битвах, в которых встречались с врагом, учили молодых владеть топором и копьем, как щитом отражать противника. Александр торопил, никому не давал покоя. Он выступил бы немедленно, если бы не нехватка телег и лошадей обозных. Места, где придется идти войску, малолюдны, на зажитьях не найдется хлеба; и хлеб и толокно на «мешанину» надо везти с собой из Новгорода.

Александр указал быть подводам из ближних волостей: с Шелони, со Мсты, из Бежичей. И о том указал грамотами: гнать из тех волостей в большой полк посошных ратников — по одному от двух десятков сох. Были бы посошные одеты, обуты, здоровьем крепки. Тиунам указал строго-настрого выполнять повеление, не щадя животов. А если где — в вотчинах ли боярских или в вольных погостах — будут противиться, не медля слать с вестью о том гонцов в Новгород.

В самый разгар сборов прискакал в Новгород гонец из Заильменья: не поднимается волость, не шлет ни подвод, ни посошных ратников.

Федор Данилович, выслушав гонца, спросил:

— Что говорят ослушники?

— То, болярин, не в пору-де идти в дальний поход. Сенокос настал и хлеба зреют.

— Кто первый начал и не дал посошных?

— Правитель вотчинный болярина Водовика. Подвод и посошных не дал, а, сказывают, на тех, кто охочие были из вотчинных, надел колодки. Глядя на вотчинных, противятся и вольные смерды.

Александр в гневе сжал кулаки. Молча подступил он к гонцу, и не миновать бы тому княжего суда, если б не вступился Федор Данилович.

— Не суди гонца, княже, не его вина, — сказал он.

— Не сужу... Пусть так! — резко, скороговоркой произнес Александр. Плотно сведенные брови показывали, что гнев его не остыл. Помолчав, он заговорил все же более спокойно: — Войско наше малочисленно, а враг

силен; о своем ли доме пещись? Зло, учиненное в Заильменье, — позор и измена. По обычаям нашим, измена карается казнью. Но не того хочу я. Ждать некогда, начнем поход послезавтра. Воины — охочие и посошные — станут под стяг, обозы пойдут за войском...

— Что велишь, княже, сказать ослушным? Не напомнить ли им о воле твоей и Великого Новгорода?

— Справедлив твой совет, болярин, — согласился Александр. — Олексич! — он позвал витязя, стоявшего ближе к двери, позади гонца. — Возьми десять конных отроков молодшей дружины и не медля иди в Заильменье. Воля тебе гнать на Новгород подводы и посошных... Кто сказан в войске и не идет любом, пусть идет нелюбом!

— Владычная вотчина в Зашелонье упрямится, княже, — сказал Данилович. — Богата вотчина, близ тысячи смердов-половников там, да кабальные смерды, да холопы...

— Олексич не пойдет за Шелонь, тебе решать с владычными, болярин Федор, — перебил Александр речь Даниловича. — Нет времени у нас на долгие споры. Владычные вотчины сильнее болярских, и то, что положено с них по указу моему и Новгорода, — взыщи.

ГЛАВА 21

ХИТРОСТЬ ФЕДОРА ДАНИЛОВИЧА

Боярин Якун Лизута от изумления не знал, что подумать, когда ближний холоп сказал ему о приходе княжего боярина. Первой мыслью Лизуты было сказаться хворым, избежать встречи с Федором Даниловичем, но, подумав, отверг мысль о хворости. Не таков боярин Федор, чтобы поддаться на глупый обман; небось он разузнал уже от холопов все, что надо ему знать о владычном боярине, когда явился сюда.

В другое время Лизута не тревожился бы встречей с княжим боярином, волен он говорить с ним, волен молчать, но теперь, когда князь собирает поход, когда все концы новгородские сложились в одну речь и эта речь

поставила князя главою над войском, выше совета господ, теперь Лизута не желал распри. Он велел холопу подать домашний кафтан; накинув его на себя, пошел навстречу гостю.

Вечер еще не наступил, но в гридне, куда боярин Якун ввел Федора Даниловича, горели свечи. Лизута усадил княжего боярина на почетное место, велел нести на стол праздничные серебряные чаши. Пригубив чашу, Данилович хитро завел речь о походе против свеев. Нарочно, чтобы поласкать слух владычного боярина, пожаловался на медлительность сборов, на то, что мало запасено железного оружия и кольчуг, что охочим людям и посошным ратникам, кои приходят в полк, под стяг княжий без рогатин и топоров, доведется идти в поле с *ослопинами*.

— И силен и удал ратник, а с ослопиной противу свейских копий не выстоять, — вздохнув, произнес Данилович. — И собираемся долго... Выступим, бог даст, недели через две. Авось, к тому-то времени свеи не приступят к Новгороду, в пути встретим. Ох, — снова вздохнул Данилович, — невеселые речи сказываю тебе, болярин Якун, да нет иных-то. Изорвется кафтан, как его ни латай, прорехи пялятся хуже бельма. И по времени поход не в пору; сенокос в разгаре... Люди говорят: «В сенокос-от день год кормит».

Речь Федора Даниловича лилась так сокрушенно и убедительно, что Лизута даже растерялся немного. Он готов был заподозрить княжего боярина в том, будто нарочно тот говорит неправду, если бы не успокаивал искренний и правдивый взгляд боярина Федора, откровенное и простодушное выражение его лица. Не выдавая себя, Лизута с гордостью думал: хвастал князь перед советом господ и перед вече храбростью, а как в поход идти, у нас, у верхних людей, ищет помощи.

— Слышно, вяло собираются ратники, — посетовал Лизута, сочувствуя княжему боярину.

— Да, — подхватил Данилович. — И к тебе я затем нынче, болярин Якун... Совет и помощь зело надобны.

— Мне ли советовать, болярин? — прищурив по привычке глаза и устремив на Даниловича пытливый взгляд, сказал Лизута. — Княжие воеводы хитры в войсковом деле, им ли не ведать, как собирать полки.

— Не в том нужда к тебе, болярин Якун, иное у меня... Из ближних вотчин болярских нет подвод с хлебом войску. Тебе, владычному болярину, поторопить бы нерадивых.

— За то, что есть в вотчинах, боляре-вотчинники каждый сам за себя ответчик; ни воли моей, ни власти над болярскими вотчинами у меня нету.

— Знаю о том, Якуне. Вотчинники — каждый за себя ответчик перед Великим Новгородом и перед войском. А ну как задержат подводы, не сталось бы худа после?

— И худо будет, моей вины в том нет.

— Не мне, болярин Якун, искать твои вины, — суше произнес Данилович. — Не мне бы говорить о горьком. Не все ближние вотчины на Ильменье и на Мсте дали подводы, а чей пример был? Не сладко, ох не сладко молвить! Зашелонская вотчина святой Софии, Якуне. Вотчина велика, многолюдна, а ни подвод оттуда, ни посошных. Будто не слыхали у святой Софии ни воли Новгорода, ни указа князя.

— Не пойму, что ты молвил, болярин, — поежил плечами Лизута. — Не пойму, кто во владычной вотчине мог нарушить указ?

Приветливость окончательно исчезла с лица Федора Даниловича. Взгляд его потемнел, в голосе, когда боярин заговорил, прозвучали жесткие нотки укора.

— О том, кто нарушил, ближе тебе ведать, болярин.

— Мне ли?! — Лизута протестующе повысил голос. — Слово легко молвить, Федор Данилович, а я, как и ты, далек от вотчин. Ближние владычные попы вершат вотчинные дела святой Софии. От них, от ближних попов, и мне горе. Легче мир со своями положить, чем сговориться с чернецами. От души каюсь, болярин, страшусь их.

Огоньки, сверкнувшие в глазах владычного боярина, когда он говорил, казалось, выражали и недоумение тем, что услышал он от княжего боярина, и скрытое торжество над ним. Собираясь на владычный двор, Федор Данилович заранее представлял хитрые речи владычного боярина. Гибок у Лизуты язык, отведет беду. И то тревожило Федора Даниловича — не нашлось бы среди верхних друга и союзника врагам Руси; по злобе на князя не послал бы кто гонца на рубеж сказать, что

делает князь, с какими силами и когда выступит из Новгорода. Потому-то Данилович и говорил Лизуте о долгих сборах и о тревоге своей за удачу похода.

— И я страшусь того же, болярин Якун, — будто поверив в искренность слов Лизуты и соглашаясь с ним, промолвил Федор Данилович. — Хитростей и темных дел страшусь, — добавил он. — Слушок есть, — Данилович понизил голос, как бы делясь тайной, — побывал-де в Новгороде чужой поп... От ливонских краев. Посетил, сказывают, этот поп владычный двор. Не привелось тебе видеть его, болярин Якун?

Лизута вытер потное, раскрасневшееся лицо. Пристальный взгляд Федора Даниловича, каким тот, словно бы ненароком, следил за каждым движением владычного боярина, не предвещал добра и мира. Данилович не назвал имени чужого попа, но Лизута догадался, что говорит княжий боярин о попе Семене, приходившем в Новгород из Риги с грамотами Нигоцевича. В памяти Лизуты воскресло серое, выцветшее лицо попа, вспомнилась его неторопливая речь и голос... Тоненький, с хрипотцой. Лизута доверялся ему, и владыка принимал Семена. Нынче попа того нет в Новгороде. Лизута полагал, что Семен благополучно ушел в Ригу, но слова княжего боярина навели на сомнения. «Неужто люди Даниловича переняли Семена? — думал владычный боярин. — Что знает Данилович о попе?» Как ни верен и ловок Семен, но можно ли поручиться, что на княжем дворе, перед боярином Федором, сможет сохранить тайны? Видел ли Данилович грамоты владыки и бояр Нигоцевичу? «Не видел», — тут же уверил себя Лизута. Иначе не намеки на «чужого попа» услышал бы он от княжего боярина, а прямое и резкое слово. Все же Лизута решил в разговоре с Даниловичем быть осторожнее и сговорчивее.

— Доходил и ко мне слух о чужом попе, — промолвил он. — А видеть, если и был он, не привелось. Мало ли бродит их, безместных, пропитания для ради! А когда ждут, болярин Федор, на княжем дворе подводы и посошных из вотчины святой Софии? — заминая речи о попе, спросил Лизута.

— Завтра ополудни.

— Боюсь, успеют ли, а к вечеру будут.

Федор Данилович знал о попе Семене только то, что услышал о нем от Ивашки. Ивашко, не найдя захожего попа в Новгороде, после того как увидел его на Буянлугу, пришел к Даниловичу и сказал о встрече с «чужим попом» на займище у Данилы, о том, что поведал ему после о попе Данила. Федор Данилович побранил Ивашку за опоздание с вестью. Искали Семенка Глину в городе и на путях — не нашли. От Федора Даниловича не укрылось, что сейчас напоминание о гонце Нигоцевича встревожило владычного боярина, стал он покладист и иными словами, чем раньше, заговорил о подводах и о посошных. «Замаран хвост у болярина Якуна, — подумал Данилович. — Не зря приходил поп».

— Ждать велишь завтра, болярин, подводы из владычной вотчины? — спросил Федор Данилович, будто не придав значения тому, что сказал он о Глине.

— В ночь нынче выйдут, — ответил Лизута. — А тех, кто не выполнили княжий указ и повеление владыки, разыщу...

ГЛАВА 22

ДОМНИКИ

Олексич велел дружинникам, которых брал с собой в непокорную волость, седлать коней. Строгий наказ Александра Ярославича не давал времени на сборы. Перед тем как Олексичу и сопровождавшим его отрокам выехать со двора, воевода Ратмир осмотрел сбрую на конях, ладно ли сидят кольчуги, не заржавели ли копья.

— Не велик поход, — сказал он, — да, не ровён час, и на малом споткнется конь. А ты, Олексич, помни: охочих молодцов и посошных возьми с собой в Новгород, ослушников остепени, взыщи с каждого, что положено.

— Все исполню, осударь-воевода, — обещал Олексич.

— И к тебе слово, паробче, — Ратмир поманил Ивашку, стоявшего у стремени оседланного коня. — Подойди! Ты на Шелони жил, ведаешь места тамошние.

Строгий взгляд его, устремленный на Ивашку, был так неприветлив, что молодец смутился, не зная, за какую вину сердит на него воевода.

— Бывал и на Шелони и в борах, — молвил.

— Вместо тебя в Заильменье Олексич возьмет другого отрока, — указал Ратмир. — А тебе, паробче, — взгляд воеводы стал добрее, — идти на Мшагу. На Мшаге, близко Шелони, погост... Запомни — Медвецкий. Живут в том погосте железные мастера, домники и искусные кузнецы. К ним тебе путь.

— По твоей воле, осударь-воевода, — услышав последние слова Ратмира, обрадовался Ивашко тому, что доведется увидеть Шелонь.

— Скажешь мастерам на погосте указ княжий, — не слушая Ивашку, продолжал воевода. — Указал-де князь Александр Ярославич немедля слать в Новгород железные крицы и все оружие, какое сковано — копья и рогатины, топоры и ножи — все везли бы. Успеет ли к походу оружие со Мшаги — с тебя спрос. И о том молвишь: не велел-де Александр Ярославич из погоста ихнего брать посошных ратников, — стояли бы мастера при своем деле. Из Новгорода пойдешь на Ракому, оттуда Шелонь рукой подать.

...Стоявшая недавно еще сырая, дождливая погода сменилась теплыми сухими днями. Временами на небе собирались синие грозовые тучи, громыхал гром. Но, прошуршав по траве и зеленой листве деревьев тяжелыми, как орехи, дождевыми каплями, тучи рассеивались, не успев даже смочить пыль на дороге.

Солнце стояло высоко, когда Ивашко добрался к Медвецкому погосту. Он ожидал увидеть чуть ли не городок, а вместо городка — полтора десятка изб кривым посадом разбросались по крутому берегу Мшаги — лесной, красноводной реки.

Рубленные из сосновых кряжей, почерневшие, обожженные студеными зимними ветрами и летним солнечным зноем, избы подслеповато щурятся волоковыми окошками на свет божий. Вдоль улицы зеленеют густые завесы рябин и черемух. За дворами, прячась в оградах, наливается вишенье. Стаи воробьев, шумно, как вода на порожках, вспархивают и перелетают с места на место, виснут гроздьями в зеленой листве. У околицы, при въезде на улицу, зеленым шатром раскинулся старый дуб. Могучий ствол его покрыт зарубками и ссадинами.

И гулянья веселые, и хороводы девичьи, и мольбища стародавние — все перевидал дуб. Вокруг него — ровная, утоптанная лужайка. В тени, на брошенном чурбаше, сидит плечистый, крепкий на вид старик. Он прилаживает к косью косу-горбушу. Две готовые косы лежат рядом, на земле.

Ивашко спешился. Ведя в поводу коня, подошел к старику.

— Бог на́ помочь! — поздоровался.

Вблизи старик показался Ивашке еще жилистее и крепче, чем издали. Должно быть, в молодости он обладал богатырской силой, да и теперь, по тому, как ловко руки его обращаются с молотком, набивая кольца на пятку косы, видно, что силой и ловкостью поспорит он с молодыми.

— Спасибо на слове! — не поднимаясь с чурбаша, громко ответил старик. Он опустил косу, поправил узенький ремешок, перехватывающий кольцом волосы, и спросил: — Откуда бог несет, витязь?

— Из Великого Новгорода.

— К нам, на погост, аль проездом?

— К вам... С наказом.

— Уж не за данью ли? — спросил старик и потер узловатым пальцем заслезившийся глаз. — Рано, молодец. Хлеба́ и льны зелены, по зиме давали дань крицами... Уж не мало ли дали? — усмехнулся. — Не забывают нас данью: крицы, меха, хлеб даем. За данью в пору, молодец, ходят. Слыхано ли, чтобы в летнюю страду...

Ивашко чувствовал себя неловко под нахмуренным взглядом жителя. Переступив с ноги на ногу, он сказал:

— Не за данью я...

— Так ли? Впрямь, не за данью? Велико ли слово твое?

— Велико. Войско собирает князь Александр Ярославич.

— Охти-и! — вырвалось у старика, и глаза его уставились на Ивашку не то с изумлением и страхом, не то с любопытством.

В солнечном блеске вдоль улицы прошумел вихорек. Точно заяц внезапно порснул. Вихорек пошумел листвою

у дуба, качнул, обнажая, березку по ту сторону пути и, вскинув желтый столб пыли, облачком рассеялся за околицей.

— Не Орда ли идет к Новгороду, не татаровье ли? — спросил старик.

— Нет, не Орда. Орда далеко. От Варяжского моря враг.

— От варягов?..

— Заморские свеи переступили рубежи Руси. И римские попы с ними. Не добра ждать. Князь сказал поход.

Со старых огнищ за Мшагой тянуло жарким и сладким запахом цветущей ржи. Старик снял с головы ремешок, разгладил ладонями волосы.

— Так-то, — прикрывая вновь ремешком волосы, заговорил он. — По делу слово сказано, по делу и ответ. Мы руду варим, кричное железо куем. Доброе наше железо! И топор из него хорош и перо к рогатине.

— На княжем дворе знают о вашем ремесле, житель, — в похвалу домнику сказал Ивашко. — В том и наказ мой: везти вам немедля в Новгород, на княжий двор, рогатины и топоры, наконечники к копьям и стрелам — все, что сковано. За то, что дадите оружие, даст плату казна княжая, и не сказано на ваш погост ни подвод, ни посошных ратников.

Не успел старик молвить в ответ что-либо, как из-за угла крайней избы, задрав хвост, вылетел на улицу гнедой конь-стригунок. Он помчался прямиком к дубу, но на полпути свернул в сторону. Следом за коньком, сверкая босыми пятками, бежал белоголовый парнишко в холщовой — до колен — рубашке, босой. Старик, с которым говорил Ивашко, окликнул:

— Путко, брось-ко пыль пылить, бежи на слово!

Парнишко остановился. Увидев незнакомого витязя, он оробел. В синих, с яркими золотинками в глубине зрачков, беспокойных глазах его отразилось любопытство.

— Карько-то... В капусте был, — промолвил он, словно оправдываясь.

— В капусте... Ишь он! Добро, что согнал. А теперь бежи к старостиной избе, скажи тамо: гонец княжий прискакал на погост. Скажи, пора-де набат бить, народ

скликать. А ты, молодец, — подождав, пока Путко не отбежал дальше от дуба к середине посада, старик сказал Ивашке, — пойдем в избу! Коню твоему сенцо пожалую с наших лугов, тебе — хлеб-соль и кваску нашего изопьешь. Квас у нас не городской, и кисел и сытен. Пойдем, первая с краю моя-то изба; та, со ставешками.

— Спасибо!

— Будешь сыт, тогда и спасай! Покуда соберутся люди — отдохни у деда Левоника.

ГЛАВА 23

ВАСИЛЬКО

Василько только что вернулся из кузни. Сварил он и отковал крицу. Дед Левоник с утра налаживал косы. Василько был один в кузне, один дул в два меха домницу; теперь, вернувшись домой, чувствовал усталость. Марина, жена Василька, собрала на стол снедь. Василько только что взялся было за еду, как на погосте ударили в било. Василько вскочил, отложил надкушенный хлеб, подвинулся на лавке к окошку, оттянул волок, послушал.

— Набат, чу, — сказал как бы сам себе. — Не пожар ли, часом?

Марина, возившаяся в кути, где стояла, там и замерла. В люльке проснулось и заплакало чадо.

— Осподи милостивый, откуда беда на наши головушки? — простонала она. — Далеко ли горит, Василь?

— Не видно. Может, на займище за Мшагой.

Марина облегченно вздохнула.

— Далеко.

— Может, и не на гарь набат, — прислушиваясь к звону сухой кленовой доски, предположил Василько. — Похоже, Марина, что не пожар, а вече бьют. Не слыхала, о чем нынче толкуют люди?

— На улице не была, Василь, — начала было Марина, но, оборвав себя, качнула люльку. — Уймись ты, светик! — заговорила, укачивая чадо. — О-о-о, — протяжно-певуче зазвучал ее голос.

Гибкий шест зыбильна, на котором висела люлька, изгибаясь под тяжестью, при каждом движении люльки постукивал о потолок своим комельком. Чадо, успокоенное качкой и однообразной, бессловесной песнью матери, затихло. Марина помахала над люлькой ладонью, отгоняя мух, поправила полог.

— Сердечушко что-то болит, Василь, — сказала мужу, торопливо, без передышки, уничтожавшему еду. — Не беду ли чует?

— Ну вот, чует... Что ты ее кличешь! — Василько встал, не глядя, пошарил на полавочнике, куда положил шапку, надел ее. — Схожу узнаю, о чем набат?..

У старого дуба собралось мужское население погоста. Кто стоит, кто, подобрав под себя ноги, опустился на луг. Говорят вполголоса. На лицах тревожное ожидание. Никто не знает толком, зачем собралось вече. В дубовой листве, выше всех, нет-нет да и покажется голова Путка. С изумлением и любопытством смотрит парнишко на жителей, на блестящие доспехи Ивашки.

Василько подошел, когда Ивашко уже беседовал с жителями. Не с первого слова кричник понял, о чем идет речь, но, вслушиваясь, наконец догадался, что витязь говорит о полчищах шведов, напавших на Русь, и что грозят эти полчища полоном и разорением Великому Новгороду, погостам и займищам новгородским.

— Страшное твое слово, витязь, — раздалось в толпе. — А как да не переможем?

— Ой, горе!

— Лихая година, лихая! Со всех сторон враги, куда ни глянь...

И ропот, и смятение, и ненависть к врагам в голосах людей. А день ясен. Зелень деревьев, нив, луговых трав пылает под теплыми лучами опускающегося к закату солнца. За Мшагой вьется к небу белый дымок. Словно легкая паутинка струится он в неоглядном просторе, над вершинами бора.

Весть о нашествии свеев черным ветром разнеслась по избам. Кое-где видны заплаканные лица, женщины испуганно прижимают к себе детей, будто ждут, что вот-вот ворвется на погост орава людей — чужих обликом, сердцами, речью, и, озверев, безжалостно уничтожит все, зальет кровью.

— За что напасть? — громко прозвучал голос Василька. — Встали мы поперек горла своим. Как встретить их? Спросим деда Левоника, что он скажет.

Все глаза устремились на старика. Он, как бы поняв ответственность свою в этот трудный час, выступил вперед, поправил на голове ремешок и заговорил. Ивашко даже залюбовался на него. Будто бы и не старик, который недавно налаживал косы, говорил о летней страде, о тяжести княжей дани, ведет речь перед народом, а кто-то другой, крепкий и сильный, как вековой дуб, что стоит у околицы, посреди утоптанного, ровного луга.

— Я молвлю, братцы мои, — начал он. — Прежде не кланялись перед врагами русские люди, кланяться ли ныне? Рогатинами встретим гостей незваных.

— На дороге к погосту поставим тверди, засеки нарубим, — послышался чей-то голос.

— И тверди и засеки кругом погоста — все хорошо, — снова заговорил Василько. Он снял шапку и вытер ею вспотевший лоб. — А ладно ли, если будем дома сидеть, ждать лихих гостей? Так-то, пожалуй, на печи воры застигнут. Страшно? И мне страшно, как всем, а ждать еще страшнее.

— Почто ждать? — сказал дед Левоник, взглянув на Василька. — Головой думает князь Александр Ярославич, собирает он большой полк, наша воля подмогу дать. Соберем и пошлем в утре на Новгород свои железные изделья, кто топоры, кто рогатины аль иное оружие. Посошных ратников не берет князь с погоста нашего, ремесло наше он уважает, а будто нет у нас охочих? Пошел бы я, да голова седа, обузой стану. Силы мало в руках, не осилю боя. Придется, знать, мне на погосте сидеть с бабами, около домницы куковать. А в ком играет силушка да хвост сзади не тянет, тому и путь, тому и встречать свеев.

— И встретим, — тряхнул головой Василько.

— Пойдешь? — будто испугавшись слов Василька, спросил его Олекса и оглянулся на свою избу с высокими тополями в палисаднике.

— Пойду.

— Семья у тебя, пусть кто холостые.

— Моя семья не обуза, — Василько насупил брови и взглянул на напомнившего ему о семье Олексу. — При-

ведет бог — вернусь, а нет — вы, мир честной, не оставьте в нужде жену мою да чадо...

Василько поклонился народу.

— Не тревожься, Василь!

— Идешь с честью, с честью и встретим.

— За мир идешь, Василько, и мир тебя не оставит, — промолвил дед Левоник. — Брата моего ты сын, и покуда жив я...

Олекса тоже спутал было волосы — не хотелось отстать от Василька; но вспомнил, что дома у него шестеро есть просят, — промолчал.

ГЛАВА 24

ЖЕЛЕЗНАЯ КРИЦА

Ночь Ивашко провел в избе деда Левоника. Вечером, когда улеглись, Левоник долго рассказывал ему о ремесле медвецких кричников, о рудных болотах на Мшаге, о домницах.

— Василько-то... Видел молодца? Он племянником мне доводится, братца покойного сынок, — не спеша, рассудительно говорил Левоник. — По душе, без бахвальства молвлю, — лучше Василька нет на Мшаге кричника. В нашем роду все мужики исстари домники и кричники. Хитро оно, кричное ремесло! Посуди-ко: руда в болоте. Поднимешь ее, на огне доведешь, а то года три аль боле лежит она россыпью. Ветер ее продувает, солнышко греет, зимой морозом прохватит, а как дойдет, после заложишь в домницу с угольком. В ямах, под льняным омельем, обжигаем уголь. Прежде, молодым еще когда я гулял, при родителе, закладывали уголь и руду в домницу, запаливали и ждали, когда сварится крица. Домницы били из сырой глины. Сварится крица — ломали домницу. Новая крица, новая и домница. Без дутья варили. Уголь горел мороком, без шума. В кузне родителя моего горно поддували мехом, а приставить мех к поддувалу домницы не додумались. Нынче по-иному; домница большая, из прокаленного камня, железо, как сварится крица, стекает в ложню. Запалишь и в два меха

дашь домнице вольного духу. Все равно что костер на ветру. Чем больше силы в дутье, тем скорее руда железо отдаст, тем крица богаче. Видал, как дуют горно в кузне?

— Сам у горна и у меха стаивал.

— Ведаешь кричное ремесло? — спросил дед Левоник и от изумления даже приподнялся на ложе.

— В Новгороде, в кузне Никанора жил пол-лета и ползимы.

— У Никанора... На Ильиной?

— На Ильиной.

— За крицами бывает у нас Никанор, из нашего железа изделия кует, — пояснил дед Левоник. — И я, молодец, тоже смыслю в железе. Утром, как свет будет, сходим к домнице, поглядим: будет Василько себе и тем, что идут с ним, оружие ковать, чтобы по руке...

Солнце уже поднялось над крышами, когда проснулся Ивашко. Дед Левоник успел обрядить и напоить коня.

— Жив, молодец? — окликнул он Ивашку. — Сладко ты спал, не хотелось тревожить.

— Время мне в путь.

— Будешь и в пути. Конь у тебя добрый, на таком коне легка путина. Наши мужики с изделиями уже ушли в Новгород. Повезли два воза... А тебя-то голодного не пущу. Покуда в избе печь топится да блины старуха стряпает — побываем у Василька, поглядишь на ремесло наше.

Затемно еще пришел Василько в кузню. Заложив уголь и выветрившуюся, высушенную на солнце многолетнюю руду, высек огонь. Когда печь задымила, он принялся за дутье.

Короткий конец коромысла, качающегося вверху на гладком, блестящем, как серебро, железном штыре, Василько соединил крюком с верхней рамой меха. Взявшись за петлю, которая опускалась с другого длинного конца коромысла, Василько качнул его. Рама меха поднялась. Василько опустил коромысло. Пудовые камни, укрепленные на раме, сдавили мех. Воздух, с силою вырываясь из сопла, засвистел в поддувале домницы, наполняя ее шумом. Не останавливаясь, без роздыху, сильными, размеренными движениями Василько принялся

качать коромысло. Лоб его покрылся потом. Над дерновой крышей кузни, из трубы домницы, показались языки синеватого в утреннем свете пламени. Бесчисленные искры, снопом вырываясь в воздух, вычерчивали яркие золотые нити и меркли. Василько дул с такой силой, что шум домницы слышно на погосте.

Ивашко и дед Левоник подошли к домнице, когда руда отдала железо. Василько, бросив коромысло, взялся за изымало — длинные, широко раскрывающиеся клещи с крючьями на зеве, и готов был пробить летку, когда в воротах кузни показался дед Левоник.

— Василько! — окликнул он. — Сварил?

— Сварил, — становясь и размазывая на лице черный пот, ответил Василько. — Крепко дул, добра будет крица.

— Какую руду закладывал, с обжига аль выветрившуюся, старую?

— Старую.

— Добро. В старой руде крепче железо.

Дед Левоник легко, точно годы мгновенно ссыпались с его плеч, подошел к Васильку, взял у него изымало. По всему видно, что тут все, за что ни возьмись, привычно ему и знакомо. Глаза его вспыхнули, движения обрели силу, стали точны, как стрела на тетиве меткого лука. Будто играя, он пробил летку, захватил крючьями изымала крицу и, к изумлению Ивашки, сильным размашистым движением выметнул на наковальню огромный, сыплющий во все стороны искры, пористый, как губка, раскаленный добела ковкий ком железа. Василько, не мешкая, ударил по нему кувалдой; брызнули искры, точно зерно из горсти. Дед Левоник взглянул на Ивашку, подмигнул ему. Ивашко понял. В руках его очутилась кувалда. Вперемежку заходили кувалды по крице. Дед Левоник, в под звук им, пристукивал по наковальне ручником. Казавшиеся раньше выцветшими и бесцветными, его глаза блестели, отражая в глубине зрачков золото искр.

Крица сплющилась, посинела. Дед Левоник бросил ее в открытую летку домницы, раскалил, и снова она на наковальне, снова взялись за дело кувалды...

— Складно бьешь кувалдой, витязь, — сказал Василько, когда откованная крица зашипела в лотке, куда

бросил ее дед Левоник. — Будто бы и прежде ты железо ковал.

— Ковал, видно кричную руку, — усмехнулся и ответил за Ивашку дед Левоник. — В кузне у Никанора.

— У Никанора? — в глазах Василька зажглось любопытство.

— Да, горно ведаю, а домницу вижу впервые; хочу спросить: почему железо из руды в печи рыхло и без кова нет крицы?

— Потому, молодец, что руда в печи с углем. Уголь горит, руда отдает железо. Чтобы слилось оно плотно, без кова, — мало жара для того в домнице. Когда в два меха дуем, меньше куем.

Белые зубы Василька ярко блестят на темном, измазанном сажей и угольной пылью лице.

— Может, в княжем полку встретимся, — сказал он. — Поглядишь тогда на изделие, что из крицы, которую ковал ты, сделаю.

— Рогатину аль топор? — спросил Ивашко.

— Топорик по своей руке. Ни броня, ни шеломы заморские не устоят против него. Железо будет рубить и не зазубрится.

— Никаноровы кольчужки топор не берет.

— Ведаю. В моем топорике та же сила, что в Никаноровой кольчужке. Кую по его науке.

— Не жалуют нынче молодые, что им старые люди советуют, — пристал к разговору дед Левоник. — А совет у меня есть.

— Скажи! — попросил Василько.

— Мыслю я, — начал Левоник. — Тяжко биться пешим воинам с конными лыцарями. Сам лыцарь и конь его в железе, ни копьем, ни топором не достигнешь. Я, Василь, на тот случай по такой бы хитрости сковал топорик. Не тяжелый чтобы, с широким лезвием, а заместо обушка — клевец, вроде того, как багры куем. Насадил бы топорик на крепкое ратовище. Лыцарь к тебе на коне, меч поднимет, а ты изловчись клевцом его за железо, за броню, да к себе. На коне страшен лыцарь, а упал — колода колодой. Голыми руками бери его. Весь в твоей воле. Куй, Василь, топорик, как велю, спасибо молвишь.

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА

Без конца, без края тянутся дремучие шелонские боры. Тропа малоезжая, вьется она, как ручеек. То западет в густых ивняжниках на низине, то зайцем скачет по рогатым корневищам сосен. Взглянет Ивашко вверх — сосны подпирают небо своими вершинами. А небо ясное, голубое. Плывут по нему облачные барашки, как ладьи белопарусные на Ильмене. Высоко и далеко плывут, а смотришь, кажется, вот-вот запутается облачко в сосновых лапах. Страшно и хорошо одному в бору. Страшно зверя лохматого, если выйдет тот неожиданно на тропу, и хорошо, потому что полнее и шире волю чуешь. Воздух, которым дышит грудь, — пьяный и сладкий. Бор шумит, и под шум его лесным ручейком бегут думы.

Давно ли Ивашко бродил в этих борах бездомным и бесприютным? Тогда белели снега. Месил он лаптями сугробы, в дырьё тулупишка прожигал мороз калеными шильями. Голодный шел. Не думал тогда, не гадал, что не минет года, как доведется ему снова быть в шелонских борах; не бездомным и бесприютным, как тогда, а вольным витязем, отроком дружины княжей.

В борах на Шелони нашел Ивашко приют на займище у Данилы-бортника. И будто все счастье, что далось молодцу, принял он от Данилы. Как сына, наставлял его займищанин уму-разуму, поил-кормил, не спрашивал ни о чем. Не набреди Ивашко в ту вьюжную ночь на займище, не случилось бы и встречи с князем, не ехал бы теперь Ивашко по лесной тропе на коне, не величался бы витязем.

На пути из Медвецкого погоста в Шелонский городок надумал Ивашко заглянуть на Данилову поляну. Скорее бы добраться туда, скорее бы постучать в ворота, перемолвиться с займищанином словом.

Но как ни спешил Ивашко скорее быть на поляне, он не понукал коня. Конь идет шагом. Всадник опустил поводья. В голове одна за другой бегут думы. Вспоминается: вечер, трещит в светце лучина. От черного глянца стен веет теплом и уютом. С полатей смотрит, свесив

вниз голову, Олёнушка. Ивашко на лавке. Слушают они неторопливую речь Данилы. А на дворе — ветер; свистит, сердито кидается в стены сухим снегом, заметает следы и тропы. Потом наступила весна. Отшумел ледоход, улеглись в берега полые воды, мягкими травами, бранями узорными расцвела поляна. По утрам Ивашку будил весенний птичий гомон. Олёнушка... Ивашко оглянулся. Показалось, притаилась она где-то неподалеку.

Ах! Внизу, под крутым берегом, раскинулась перед Ивашкой Шелонь; сверкает она серебряной рябью так ярко, что Ивашко зажмурил глаза. У противоположного берега дрожат и ломаются в воде, отражаясь в ней, вершины деревьев. В сонных заводях, около берегов, пышными купаловыми огоньками цветут кувшинки. Кажется, не цветы это, а желтая россыпь солнца купается в воде; круглые листья, похожие на брошенные в воду зеленые щиты, распластались, не шелохнутся.

С той поры как Ивашко не был здесь, бор словно бы стал еще глуше, непроходимее. Временами конь с трудом пробирается сквозь плотные, как стена, заросли. В буреломах зреет малина. Пахнет сосновой хвоей и черемухой. Вблизи от Шелони кусты черемухи разрослись до того цепко и путано, что ветви и молодой подсад напоминают темное, гибкое перевесище. Продвигаясь берегом, Ивашко напал на тропинку. Уходя от реки, теряется она в глубине чащи. Ивашко остановил коня, осмотрелся. Вдруг... Рука его невольно натянула повод. Близко, в зелени подлесья, что-то темнеет. Много верст проехал Ивашко бором — не страшился, а тут взяла оторопь.

— Кто там? — окликнул он. Голос отдался эхом вдали и потонул в гуле бора.

Никто не отозвался. Тот, что темнеет в зелени, неподвижен, как прирос к земле. Ивашко рассердился, тронул коня, подъехал ближе и... Хо-хо-хо! Засмеялся он над собой; от смеха даже глаза затуманились.

— О-хо-хо! — вторит Ивашке эхо, откликаясь в бору.

Давно когда-то молния угодила стрелою в сосну, расщепила, сломала дерево, оставив черный обугленный

пень. Ивашко узнал его; весною, живя на займище, бывал тут. Смешно ему над оторопью своей, над тем, что готов был звать к бою пнище.

Признал Ивашко место. Отсюда, от черного пнища, тропа перевалит через пригорок, за пригорком глубокой щелью ляжет овражек, пролепечет привет осинничек на том берегу, похлещется лапами сосновая заросль, а за нею — поляна.

Трава на поляне густая, под брюхо коню. Ближе к Шелони колышется от ветерка сизое озеро ржи, а рядом с ржаным озером — ровная, светлая зелень льна. Лен усыпан голубыми снежинками. Ивашко вспомнил, как он весною ковырял сошником льняное поле и затем, когда Данила разбрызгал семена в землю, гладил посев ручной волокушей.

Он сошел с коня и, ведя его в поводу, чтобы размять ноги после долгой езды в седле, пошел мимо льнища к займищу.

Ворота в тыну открыты. Ивашко привязал коня к кольцу у прируба. На дворе все по-старому. Даже чурбаш, на котором Ивашко не раз пластал поленья, и тот лежит на своем месте, в стороне от крыльца, изрубленный, похожий на огрызок. Около белеет свежая щепа.

Не прикрыта и калитка в сенцы.

Узнает ли Данила в княжем дружиннике того Ивашку, который, плутая в борах, набрел на займище и жил тут? Узнает — наахается.

Поднялся в сенцы. Рука потянулась к скобе, но... Ивашко отшатнулся.

Кто-то чужой. Расколотым билом дребезжит в избе голосишко, как паут вьется.

Весною был как-то Ивашко в бору. Жарко грело солнце, голова кружилась от пьяных лесных запахов. На лесной полянке, куда вышел он, горели червонным золотом дикие маки, меж них застыли на тоненьких, стройных стебельках лиловые звездочки первых колокольчиков. В воздухе было так тихо, что молчал даже осиновый лист. Медленный и давний гул бора — и он не нарушал тишины. Ивашко прилег на траву. Не приметил, как заснул. Долго ли пекло его солнышко, не

помнит о том; проснулся, почувствовав тяжесть на груди. Спросонок провел рукою. Под пальцами что-то жесткое и упругое, как кибить. Открыл глаза... О! Словно упал на него ледяной ком и, тая, расплылся липкой, холодной влагой. На груди свилась плетеной вожжиной змея. Ивашко вскочил, побежал, царапая лицо о сухие ветки. Вспомнил сейчас о пережитом, как и тогда, брезгливый, неприятный холодок пробежал по телу.

Дернул скобу. Не дверь, кажется, всю избу бросил на себя. Шагнул через порог — остановился, заградив проход.

После улицы в избе показалось темно. Голоса, которые слышал, будучи в сенцах, умолкли.

В горнице — двое. Один из них Данила. Черная борода займищанина гуще прежнего покрывает щеки; точно медвежьи лапы прижал бортник к своему лицу. С недоумением и любопытством смотрит он на Ивашку. Не признал.

— Подобру жить, Данила! — первым заговорил Ивашко. — На перепутье к тебе завернул, примешь ли?

— Подобру, так отдохни, витязь, — поднимаясь навстречу гостю, ответил лесной житель, и лицо его осветилось знакомой улыбкой. — В стороне живу, а люди моей избой не гнушаются. Садись на лавку, гостем будешь.

— Спасибо!

Затянутое сухим бычьим пузырем окошко пропускает внутрь так мало света, что все предметы в избе кажутся тусклыми, теряют свои очертания, расплываясь перед глазами. Но всё на своих местах, как было в тот день, когда Ивашко покинул займище. Те же лоснящиеся от копоти стены, божница в углу; даже горка поленьев на напыльнике будто нетронутою пролежала все дни.

— Уж не Ивашко ли? — присматриваясь к гостю, спросил Данила. — Не врут ли мне очи?

— Не врут...

Не успел Ивашко произнести это, как Данила очутился рядом. Он крепко обнял молодца, потом отступил и, не спуская с него глаз, сказал:

— Покажись-ко! Не ждал ведь тебя селюшки. Стою и гадаю: какой бы это витязь завернул на дымок?

Обрадованные встречей, Ивашко и займищанин позабыли о захожем, что сидел в красном углу. Не видели они и того, как захожий выбрался из-за стола, ужом скользнул вдоль тесовой лавки и, будто камень, сорвавшийся с ремешка пращи, толкнулся в дверь.

— Кто был в гостях у тебя? — спохватился Ивашко. — Не Семенко ли?

— Он... Семенко. Тот, что по весне забрел...

Последних слов Ивашко не слышал — он выбежал следом за попом. Недолго шел сенцами до крыльца бортник, а увидел Ивашку за воротами. Не разбирая пути, мчится он к бору, а впереди, подхватив руками полы крашенинного зипуна, шариком катится Семенко. У первых сосен, что городом окружили поляну, Семенко споткнулся. Ивашко догнал его и что-то заговорил. Семенко встал. Ссутулясь, он, впереди Ивашки, завихлял к займищу. Вдруг...

Не сразу понял Данила, что сталось на поляне. Видел он: обернулся Семенко, каким-то ощеренным, покошачьи гибким движением взмахнул рукой. Ивашко пошатнулся, немного постоял так, вытянув руки, словно пытаясь сжать ими Семенка, и не упал, а как бы, скользя по вощеному накату, опустился на землю.

Семенко скрылся за деревьями. Спохватись вовремя займищанин, нагнал бы он захожего попа. Но Данила забыл о нем. Все его думы сосредоточились на одном желании — скорее помочь Ивашке. Данила подбежал к нему, окликнул:

— Ивашко! Очнись, Ивашко!

Не ответил. Глаза у Ивашки закрыты, руки раскинуты в стороны, резкое дыхание со свистом и хрипом вырывается из груди сквозь сжатые зубы.

Чем поразил Семенко молодца? Тонкая игла кончара[1], только она могла скользнуть в сплетение кольчуги, поразить грудь витязя.

Данила снова окликнул Ивашку. Молчит. Тогда займищанин бережно поднял молодца и на руках понес его к займищу.

---

[1] Нож с длинным и узким лезвием.

БОЛЬШОЙ ПОЛК

Ранним утром выступало новгородское войско. Пешие ратники во главе с воеводами Силой Тулубьевым и Васильем Спиридоновичем собрались у святой Софии; готова к походу дружина.

Дружинники конно построились на княжем дворе, когда из терема спустился Александр Ярославич. Княгиня Прасковья Брячиславовна провожала его до стремени. Она не плакала, не голосила, только ниже опустила на осунувшееся лицо белый плат. Евпраксеюшка стояла на высоком крыльце и не отрываясь смотрела, как княгиня прощается с мужем. Когда глаза мамки застилали слезы, она, будто бы невзначай, смахивала их рукавом. В сенях, позади мамки, толпятся ближние девушки. Железом и медью горят на утреннем солнце шеломы дружинников, сверкающим лесом поднялись копья. Зоркие девичьи глаза издали узнают милых сердцу.

Александр на коне. Склонясь к княгине, он говорит:

— Не печалься, Параша! Себя береги! Вернусь, не будет мне радости в том, что выплачешь свои очи.

— Возвращайся скорее! — шепчет княгиня, не выпуская из рук прохладного серебра стремени. Глаза ее и дрогнувший голос выдают, как много хочется ей сказать на прощание, но сил нет выразить словами то, чем полно сердце.

— Вернусь, — пообещал Александр. — Сильны свеи, но мы на своей земле и сильнее их. Преградим путь и отбросим рать их за море.

— Береги себя! — прижав к груди стремя, еле слышно прошептала княгиня.

Александр тронул коня. За ним, по пяти в ряд, сверкая броней и наконечниками копий, следовали дружинники. За воротами — полно людей. Ремесленные и гостиные, гриди боярские, посадские жители — весь Новгород провожает войско. Александр едет шагом впереди дружины, позади его Ратмир и старшие дружинники. Парчою и золотом горит на солнце княжий стяг.

Зазвонили колокола у святой Софии и в соборах.

Попы, вышедшие с хоругвями, в облачении, служат короткие напутственные молебны, кропят водою обнаженные головы воинов.

Окончены молебны, но колокола не утихают. Из толпы ремесленных выступили навстречу Александру староста братчины оружейных мастеров Онцифир Доброщаниц, за ним кузнецы Никанор и Страшко; у Никанора в руках меч, у Страшка копье. Александр остановил коня.

— Прими, княже, меч и копье боевое — дар ремесленных мастеров Великого Новгорода, — сказал Онцифир. — Наши мастера ковали меч и копье по твоей руке, добро ковали. Не укроют врага от меча и копья твоего ни кольчуга, ни щит, ни броня кованая.

— Спасибо вам, мужи! — ответил Александр. — Дорог мне ваш дар. Будем стоять в поле, не порушим славы Руси и Великого Новгорода.

Никанор, передавая Александру меч, от себя молвил:

— Не взял ты меня в поле, княже, так пусть по мечу и копью узнают свеи, есть ли хитрые кузнецы на Великом Новгороде.

Александр принял меч, сказал:

— И твоя кольчужка, Никаноре, не закроет от этого меча?

— Не закроет, княже. В пять слоев кован и закален меч. Ударишь им по железу — не зазубрится, не выкрошится.

— Верю. Буду в битве — возьму твой меч и копье Страшково. Не я — свеи решат, чьи мечи острее, чьи копья надежнее.

Войско выступило к Ладоге.

Александр спешил. Шли походом с короткими остановками для отдыха. Кто устал — присаживался на следовавшие позади подводы, отдыхал; кого хворь маяла или кто из сил выбился — тех оставляли в попутных погостах и займищах на попечение жителей. К вечеру третьего дня княжая дружина вступила в Ладогу.

Все вверх дном сталось в хоромах воеводы Семена Борисовича. У крыльца и в сенях ратные люди; ночью

князь Александр с ближними дружинниками спали на полу в воеводской гридне. Пахнет сегодня в гридне по́том и сеном. На столе, в переднем углу, не убирается еда: холодная рыба — соленая и разварная, куски лукового пирога, вяленая говядина. Не пересыхает пузатая ендова с медом хмельным. Пустеют запасы в медуше у воеводы. Наедине Семен Борисович морщился на внезапное опустошение, сетовал, но как отказать князю?

Переночевав, войско задержалось в Ладоге до полудня.

Было воскресенье. Отстояв обедню, Семен Борисович, по дороге в хоромы, одарил нищую братию. По воскресеньям в эту пору сходились на воеводский двор убогие люди; по указу воеводы оделяли их на поварне кусками пирога. Сегодня на дворе нет убогих. Когда еще на Ладогу не пришло войско, словно по ветру донеслась сюда весть: не жалует князь Александр Ярославич убогой и нищей братии.

По старым обычаям, в хоромах к приходу воеводы от обедни готов обед праздничный. Боярыня со своими сенными с ног сбилась, ставя снедь. Напечено, наварено полно. Воевода снял шубу, в легком кафтанце прошел в гридню, чтобы поздравить гостя — князя — с праздником, звать его к своему столу.

Ступил Семен Борисович в гридню и обмер. Забыл дверь за собой прикрыть, забыл о том, какое слово собирался молвить. Сидит Александр Ярославич у стола, в красном углу, а супротив, на лавке, не то смерд, не то иной кто из меньших. Окладистая с проседью борода покрывает грудь, на плечах зипун из синей крашенины, онучи на ногах перевиты в тугой замок. Ест этот смерд с воеводского стола, пьет из воеводской ендовы. Распалилось сердце у Семена Борисовича.

— Буди здрав, княже, — начал он, кланяясь Александру. — Хорошо ли ночь почивалась? Гостя твоего не ведаю, как звать-величать, и того не ведаю, ладно ли смерду сидеть в гридне?

Александр повернулся к воеводе. От движения зазвенели кольца бехтерца, на груди сверкнула огнем медная чешуя.

— Долго спал, поздно встал, Семен Борисович! Гости в дому, а хозяина с огнем ищи.

— Не суди, княже! Рано поднялся да по обычаю своему обедню стоял в соборе у Георгия.

— За обедней и мы стоять не прочь, да время нынче — каждый час дорог. В первом часу пополудни войско выступит, пошли-ко гонцов к попам, служили бы молебны да молились о победе нашей. А гостя моего не вини — зело добрые вести принес он. Садись на лавку, слушай, о чем сказывает.

Семен Борисович, хоть и зазорно ему сидеть близко с черным смердом, сел, уважил князя.

— Не гонец ли гость? — спросил.

— Не гонец, а Ижорской земли староста Пелгусий. Не грех бы тебе знать его, Семен Борисович, — ответил Александр, и по голосу его понял воевода — недоволен князь обидой ижорянину.

Пелгусий приложился к ендове, вытер бороду.

— Все уж, почитай, сказано, княже, — промолвил он. — Стан свеев на Неве, на нашем берегу, где впадает Ижора-река. В средине стана, на холме, шатер златоверхий, там король аль князь ихний. Своими глазами не видел его, а люди сказывали: не стар будто, ликом бледен...

— Хворью скован, ежели бледен, — подумал вслух Семен Борисович.

Александр недовольно кашлянул. Разговор о здоровье шведского правителя отвлекал от главного, о чем он хотел знать. Спросил:

— Не слыхал ты, Пелгусий, аль кто из ваших мужей, когда в поход собираются свеи, где они ищут пути к Новгороду?

— Не слыхал и не ведаю, княже, — ответил Пелгусий. — Одно молвлю: примут в проводники видока́ — пойдут ближним путем, тропами, через боры.

— Есть ли на ваших погостах люди, кои ведают тропы к Новгороду? Отыщутся ли изменники-переветы?

Пелгусий помедлил. Он перебрал в памяти всех, кого знал. Редки на островах и в порубежных лесах погосты и займища, жители там смелые рыбаки и ловцы по зверю, — ни об одном Пелгусий не мог сказать худого слова.

— Те, что живут у моря и по Ижоре, не продадутся ворогу, — ответил. — Правду молвлю, Александр Яро-

славич, все погосты и займища спалили жители, сами ушли в леса. В нашем погосте сгиб один молодец. Схватили его свеи...

— Знает он сухие пути к Новгороду? — Александр встревожился при вести о захвате шведами рыбака.

— Знает. По рыбе ли, по зверю ли — умелец. Степанком звать. Ходил он в Новгород и Волховом и сушей. Но за Степанка не страшусь. Скорее он смерть лютую примет, чем сослужит службу свеям.

— Сослужит или нет, а нам спешить надо. У тебя, Семен Борисович, в медуше и подклетях запасов убавили довольно, пора из дому вон. Собирай своих ратных людей!

— Стар я летами, княже, — начал было воевода и поперхнулся.

— Старость — не беда, — перебил его Александр. — В поле совет твой понадобится.

— Не страшусь я поля, — отмолвился Семен Борисович. — Зовешь меня — пойду, лишь немощи мои не обессудь! А теперь прошу в летнюю горницу, не побрезгуйте моим столом!

— Столу окажем честь, — просто сказал Александр. — Хлебу-соли рады, и добру, кое припасено, грешно пропадать.

ГЛАВА 27

НА БЕРЕГУ НЕВЫ

В шведском стане у устья Ижоры никто не помышлял о близкой встрече с русичами. После непогоды воины наслаждались теплом и солнцем. Подоспели ладьи с мукой, утих ропот на безнадежность и лишения похода.

Из шатра отца Биорна в щель неплотно прикрытой полы всю ночь пробивалась наружу слабая полоска света. Отец Биорн бодрствовал. Вечером, как только стемнело, он позвал Роальда и долго слушал рассказы о случившемся за день на стане войска. Зрение и слух горбуна были неистощимы. Он знал обо всем, что свер-

шалось вокруг; эту способность Роальда и всезнайство его святой отец высоко ценил в слуге. Отпустив его, отец Биорн побыл в одиночестве. Размышляя о слышанном, он время от времени поднимал взор на серебряное распятие и сокрушенно вздыхал.

Летняя ночь так коротка и прозрачна, что отец Биорн не заметил, как наступило утро. Он откинул полу шатра, прислушался. На стане тихо. У потухающих костров, опираясь на копья, дремлют сторожевые воины. Над дальними рощами только что показалось солнце. В прохладной дымке нерассеявшегося тумана солнечный шар как бы повис над землей — неестественно близкий, огромный и багровый. Дымки костров, уносясь ввысь, вьются в тихом воздухе, как белые ручейки. Медное зеркало протоки, застыв, блестит в красноватых лучах. Темные купы дубовых рощ на островах в протоке плывут вдаль... Кажется, что они вот-вот скроются из глаз, растают в просторе моря.

Отец Биорн спустился к берегу. Поляна от берега протоки до синей кромки диких ижорских лесов рябит низкорослыми вересками; кое-где среди вересков, как зеленое пламя, возносятся кусты орешника и редкие, словно рассаженные, дубки. Мысок на устье Ижоры острым клином вонзился в сонную гладь реки. На песчаном темени мыска пробиваются кустики полыни; колючие, стройные «вдовцы» гордо подняли к солнцу лиловые, пахнущие медом шарики, приманивая шмелей. На самом острие клина, словно забытая тут, грустит одинокая береза. Покрытый наростами и лишайниками корявый ствол ее расходится горстью. Береза не растет в вышину, она кругла, как шар.

Еле слышно плещет в берег вода, покачивая опустившие паруса ладьи, которые, как и всё в это утро, дремлют на приколе вдоль берега.

Отец Биорн спустился к воде, освежил лицо, потом медленно двинулся берегом Ижоры вверх, к бору. На пути он вспоминал свой вчерашний разговор с правителем. Биргер, как всегда, неожиданно, полунамеком сказал:

— Князь Александр не шлет послов, а пора. Не сговорчивее ли будут русичи, когда увидят воинов святого креста у стен Новгорода?

— Варвары-русичи не понимают иного языка, государь. Только сила крестоносного войска, как олицетворение гнева божьего, способна донести истину и свет веры в сердца нечестивцев и еретиков, — промолвил отец Биорн, молитвенно сложив на груди руки.

Биргер не сказал дня похода, но из того, что слышал из уст правителя отец Биорн, ему ясно стало — день этот недалек. Путь к Новгороду труден, но отдохнувшее войско преодолеет его. Стены Новгорода некрепки, войско новгородское ненадежно и слабо. Поразив русичей, крестоносные воины вступят в город и там вознаградят себя за лишения похода.

О, как сладостно для верного сына католической церкви явиться светочем истинной веры в варварской, заблудшей стране! Римская церковь и святейший престол никогда не забудут имени отца Биорна — первого католического епископа Великого Новгорода и земли Новгородской.

Захваченный мыслями о предстоящих ему трудах по обращению еретиков в лоно истинной церкви, отец Биорн не заметил, как удалился от стана. Неожиданно перед глазами святого отца открылся цветущий луг. В кустах ольшаников, разросшихся по берегу, щелкал, будто настраиваясь на песню, соловей; издалека откуда-то доносилось грустное посвистывание иволги.

Какое счастливое предзнаменование! Таким же прекрасным, ласкающим взор и радующим сердце, как этот луг, яркий и сказочный в роскошном убранстве цветов и зелени трав, будет венец крестового похода на Русь...

На стане просыпались воины. Шум, который доносился оттуда, вернул отца Биорна к действительности. Утомленный прогулкой, он предвкушал, как, возвратясь в шатер, успокоит себя сном. Но почему-то мысли об отдыхе заставили его вспомнить о тщетности попыток своих обратить в лоно истинной веры пленного русича, переданного на попечение святого отца словом правителя. Ни страх плена, ни апостольское сладкоречие отца Биорна не сломили еретика. Пленный или молчал или отвергал то, что вело его к спасению. Вся мудрость отца Биорна оказалась не в силах понять упорства заблуждений грешника. Пленник давно бы понес наказание за

свои грехи, был бы казнен, если б не слово святого отца, что первый еретик, схваченный воинами-крестоносцами на Руси, станет и первым обращенным к истинной вере в этой стране. Как ни обилен поток милосердия проповедника, но ничто не могло ныне заглушить гнева отца Биорна. Смерть, дарованная еретику во имя креста, очищает от заблуждений и ереси душу грешника. Эти слова папы Люция III[1], подтвержденные четвертым Латеранским собором, требуют сурового осуждения язычников и еретиков «для наибольшей славы божией и славы церкви».

Вернувшись в шатер, отец Биорн сказал Роальду, чтобы привели пленного русича. «Если милосердие божие оставило его и он не перестанет упорствовать в ереси, мы поступим с ним так, как велит бог».

Воины втолкнули в шатер изможденного, одетого в грязное, рваное рубище человека. Волосы и борода его всклокочены так, точно никогда не знали гребня. Левый глаз заволокла огромная сине-багровая опухоль, а правый, уцелевший, уставился на отца Биорна с такою ненавистью и страхом в то же время, словно видел перед собою не святого отца, а палача.

При взгляде на вошедшего строгий взгляд отца Биорна потеплел. Пухлые пальцы привычно перебирали жемчужные четки. Некоторое время в шатре длилось молчание, но вот отец Биорн поднял глаза на распятие и глубоко вздохнул.

— Познал ли ты, отступник истины, заблуждения свои и ереси? — спросил он. — Готов ли покаяться в них и очистить себя от греха?

Вошедший в шатер вслед за пленником Генрих Христиансен пересказал речь святого отца на чужом языке. Пленник не опустил взгляда и что-то проворчал.

— Что сказал грешник? — отец Биорн поднял глаза на Христиансена.

— Он сказал, что не знает за собой вины, ваша милость.

---

[1] Занимал папский престол в 1181—1185 гг.

— Как?! — возвысил голос отец Биорн. — Несчастный! Скажи ему, сын мой, не бросит он упорство, то бог оставит его.

Христиансен повторил пленнику слова отца Биорна.

— Скажи своему попу, — ответил пленник, — что я хочу жить так, как умею.

— Бесконечна милость всевышнего, — выслушав ответ, поднял к небу глаза отец Биорн. — Я буду молиться за душу, погрязшую в неверии. Спроси, здешний ли житель пленник?

Христиансен поговорил с пленником на его языке и ответил:

— Он говорит — родился тут. Рыбу ловили братчиной, возили на ладьях в Новгород.

— Знает ли он короткие и удобные пути к Новгороду? Пусть укажет их! В награду получит отпущение грехов и столько сокровищ, что будет богат и забудет о бедах, которые испытал.

— Не знаю я путей к Новгороду, — ответил пленник, когда Христиансен передал ему слова отца Биорна.

— За упорство в вере и за непослушание тяжкое наказание ждет тебя, несчастный!

— Знаю о том и не ищу милости.

— Глупец! — отец Биорн не мог удержать вспышки гнева. — Тебя закуют в железы и, вырвав язык, бросят в воду.

— Если язык мой станет молить о пощаде, я сам вырву его, — ответил пленник.

— Замолчи! — отец Биорн поднялся и резко шагнул к пленнику, точно собираясь ударить его. — Бог отвернулся от тебя, и милосердие его истощилось, — вымолвил он, тяжело дыша, как от усталости. — Эй, стража!

На зов его в шатер вошли воины, в предводителе которых отец Биорн узнал рыцаря Пробста.

— Сын мой, — голосом, полным сострадания, обратился к Пробсту святой отец. — Возьми грешника! Брось его в яму, где обитают жабы и гады земные, не давай ему ни воды, ни пищи. И будут муки его до того часа, покуда не отречется он от заблуждений своих.

— Кричный мастер?

— Так зовут на погосте.

— Сам ли ковал топорик? — Александр показал на оружие ратника.

— Сам.

— Почто железа пожалел? — Александр усмехнулся, но в голосе его прозвучал упрек. — По твоей силе лучше ослопину положил бы на плечо, а не топор, коим впору малым ребятам играть.

— Нет, княже, — не смутясь того, что услышал, сказал ратник. — Легок топорик, да хитер. Сам ковал его, а дед Левоник закаливал; хитрее Левоника, побожусь, нет на Мшаге кричника. Брось шелом — рассеку, а на лезвии зазубринки не отыщешь.

— Правду молвил?

— Врать кричнику не положено, Александр Ярославич. Твой гонец держал в руках топор, хвалил.

— Гонец? Кто по имени?

— Ивашко.

— Где он остался?

— Из нашего погоста ушел борами на Шелонский городок.

— Не о тебе ли сказывал мне в Новгороде кузнец Никанор?

— Никанора с Ильиной улицы знаю, княже, — ответил ратник. — Наши крицы берет он в кузню. У него учились мы хитрости силу давать железу.

Александр взял топор из рук ратника, попробовал лезвие...

— Почто клевец на обушке багром? — спросил.

— Не моя хитрость, деда Левоника.

— В чем она?

— В том, что трудно пешему воину стоять противу конного, особливо, когда тот в железе. Конный разит мечом и копьем, пешему биться с ним не по силе. Дед Левоник сказал: куй, Василь, на обушке клевец багорчиком. Встретишь в битве лыцаря в железах, на коне, багорчиком ты его наземь. Броня у лыцаря тяжелая, не поднимется он на ноги.

— Хитро, — возвращая топор ратнику, промолвил Александр. — Вернемся в Новгород да случится путь ко

Мшаге, погляжу на домницы и на мастерство ваше. На погосте у тебя, молодец, небось хоромы остались, жена молодая?

— Как у людей, княже.

— Искусен ты, мастер, а почему оставил дом и хитрое ремесло свое, пошел в войско? — спросил Александр.

В глазах у ратника, когда он поднял их на князя, сверкнули веселые искорки.

— Дозволь спросить у тебя, княже, — замедлив шаг, молвил он.

— Спрашивай!

— Почто ты, княже, покинул хоромы златоверхие, почто не корзно, шитое золотом, на тебе, а кольчуга железная? Почто не в горнице на пиру тешишься с боярами, а рядом со мною шагаешь в походе? Поведай о том!

— О, хитер молодец! — засмеялся Александр. — Видно кричника. Пусть станется по-твоему, молвлю. Я — князь русской. Отец мой и дед оберегали Русь от недругов, пристало ли мне сидеть в горнице, когда враг грозит Руси?

— Не пристало, — согласился ратник. — И я, княже, русич, и мне дорога земля, в которой кости дедов моих и прадедов.

— Ладно слово твое, молодец, как велишь звать тебя?

— На Мшаге Васильком звали.

...Перевалили вброд через безыменную лесную речонку. Александр остановил войско: переждать знойный час. Задние еще подтягивались, а передние уже запалили костры. Кто жует вяленую солонину, а кто по каше, пуще, чем по дому, соскучился.

С большим полком идет старый Лугота. Накануне похода явился он на княжий двор, разыскал воеводу Ратмира.

— Войско идет в поход, — сказал Лугота Ратмиру. — Возьми меня с собой, воевода, пригожусь на что-либо.

— Немощен и стар ты, — Ратмир взглянул на Луготу. — Поход дальний, идем биться не на Великий мост.

— И ты не юн летами, витязь, — возразил Лугота. — Не юн, а не страшишься похода.

— Я воин, — сказал Ратмир.

— Молод да силен когда был, и я не гусли держал. Нынче тяжело мне копье, а кто на походе сыграет песню воинам, кто их потешит на гуслях? Не смотри на то, что стар... Стар конь, да не изъездился.

— Быть так, собирайся! — согласился Ратмир. — Но пешо тебе не ходить, будешь с обозными.

В походе Лугота помолодел. Стан его распрямился, шапка заломлена набекрень. Мал или велик отдых воинам — Лугота уже тут с гуслями.

И сейчас перебирает он струны.

Ой, и что ты, детинушка, опечалился,
затуманил тоской очи ясные;
аль не мил тебе, детинушке, белый свет,
аль силы в плечах поубавилось?

Отвечает тут добрый молодец:
— Не страх, не тоска, не обида мне —
кровь горячая всколыхнулася,
на злодея-врага, зверя лютого...
Мне бы в поле с ним скорей встретиться,
в поле встретиться, поквитатися...

Умолк, положил руку на струны. Шепот бежит ветерком: что-то Лугота еще скажет?

Снова рокочут струны. Тихо-тихо, будто не песнь начинают они, а сердце свое положил Лугота на гусли. Но звуки растут, громче они, веселее...

У мосточка у калинова
вырос куст репею;
у того ль у репею
жду лебедушку свою.
Уж она-то — зорька ясная —
и румяна-то и ласкова.
На спине у нее горб кошелем,
на глазу — ячмень с бельмом;
лопотье на ней не мятое,
сто заплат на нем с заплатою...

Плясовыми переборами заливаются гусли. Не стерпело сердце у ладного молодца. Выбежал он в круг, топнул лаптем и пошел... Чашу с медом пенным ставь на темя — не сплеснет.

— Эх, выкомаривает!
— Будто в походе не был.
— Не ноги у него, а гусли!
— Откуда такой?
— Наш, со Мсты... Емелей зовут.
— Холоп аль вольный?
— Холопы мы из вотчины болярина Водовика. Как была весть о походе, Емеля охочим вызвался. Душилец, правитель наш — косой злыдень, свет таких, как он, не знал — колодки надел Емеле и в поруб молодца бросил... После княжий воевода Гаврила Олексич прибыл к нам с дружиною, укротил правителя.

А Емеля вприсядку, крутится волчком на одном носке.

К войску прискакал ратник от переднего полка. Осадив взмыленного коня, спросил:

— Где князь? Слово ему от воеводы Спиридоновича.

— Не заблудился ли в борах Спиридонович? — насмешливо спросил кто-то.

— Вижу, кто славы ищет в походе, а кто и оплеушине рад, — гонец обжег взглядом.

Александр стоял на холме, неподалеку от места, где рокотали гусли. Увидев князя, гонец сошел с коня.

— От Василия Спиридоновича поклон тебе, княже!

— С чем послал Спиридонович? — спросил Александр.

Разговоры и смех вокруг притихли.

— Велел Василий Спиридонович сказать тебе, что передний полк перешел Мгу и стоит в Рыбацком погосте. Погост спален жителями. Свеи близко. Наказал Василий Спиридонович спросить: ждать ли в погосте переднему полку большой полк?

— Скажи Спиридоновичу, ждал бы нас там, где стоит, — ответил Александр. — Не оказывая себя, пусть проведает пути к свейскому стану. Пелгусий и жители тутошние, какие встретятся, покажут. К вечеру большой полк будет на погосте.

...Жарок день, а поели воины горячей похлебки, и будто свежее стало. Кто не сыт — мочит сухарь в чистой воде; дедами сказано: слаще сухаря нет снеди в походе.

Заильменские ратники наловили рыбы. Душистая, с наваром сытным, вскипела уха.

Укрывшись в тень, Василько лежит на примятой траве. Глаза его устремлены вверх. Высоко-высоко, в голубой чаше, парит ястреб. Василько следит за его полетом. Кажется молодцу, что и сам он мог бы, как эти птицы, подняться ввысь, и так же зорко смотреть оттуда на бор, на реки чистые, на озера полноводные. Бор напоминает Василько погост на Мшаге, возделанные нивы и луга вокруг, темные пятна только что спаленных огнищ... Домница под горой, у реки. Шумит печь от дутья, сухая руда на пылу отдает железо. Дед Левоник у наковальни. Василько улыбнулся, вспомнив Левоника. Вот он, как игрушку, выхватил из печи полупудовую крицу. Блеск вокруг, золото искр. И кажется Василько, что краше и привольнее, чем свой, нет края на свете.

А места, где идет войско, низки и болотисты; здешние болота рудою богаче, чем на Мшаге. «Поставить бы домницы, — думает Василько. — Большие, на дутье в два меха. Не диво, если б пудовая крица легла на наковальню. Мало обжиты здешние места, а ну-ка иначе... Не сказать, сколько кричного железа варил бы на здешней руде искусный домник».

Звук рога разбудил Василька от дум. Он не понял сначала, зачем трубит рог, но по тому, как всполошился стан, догадался — трубят сбор. Воины спешат к берегу речонки, где на холмике, у старых берез, реет стяг княжий.

На холме Александр Ярославич. Солнце играет лучами на меди бехтерца.

— Терпеть ли нам поругание от свеев? — услыхал Василько голос князя. — Зарятся вороги на Русь, но пусть узнают они силу нашу. В ночь нынче полки достигнут вражьего стана. Не будем ждать, пока свеи поднимут головы, начнем бой и будем биться так, как бьются русичи, как деды и прадеды наши бились. Гибли враги от копий и мечей русских и ныне погибнут...

...Когда войско выступало, отрок Савва, которого Александр взял из училищной палаты у чернеца Макария, запыхавшись от быстрого бега, приблизился к князю. С десятком других ратников Савва шел стороною, в стороже.

— К тебе, княже, — сказал он, — карельский князек Тойво прибыл с дружиною.

— Зови князя Тойво!

Солнце играло и играло. Оно скатилось с зенита, и лучи его ярче отсвечивали на зелени деревьев, на примятой траве. Прошло несколько минут. Из-за кустов вновь показался Савва. Следом за ним трое. Передний в кольчуге и шеломе, с коротким мечом у пояса. Он поднялся на холм к Александру.

— Буди здрав, княже, брат мой, — сказал.

— И ты буди здрав, брате-княже, — ответил Александр на приветствие карельского князя. — Не чаял встретить тебя. С какою нуждой пришел к нашему войску?

Князь Тойво приложил руку к груди.

— Прибежали в наши погосты рыбаки-русичи. Бежали они от свеев. От них узнали мы о походе твоем и сказали своему народу: жили мы одной думой с русичами, в дружбе жили, в дружбе с ними и в поле идем...

— Спасибо за слово доброе! Хоть и не время гостей встречать, но по обычаю русскому не пристало стоя речь вести.

Рядом, как скамья, темнеет в траве колода. Костер не потух около. Александр сел, показал Тойво на место рядом.

— Наш народ, — сказал Тойво, — жил всегда в мире с Новгородом. Мы не спорили, вы не спорили. Беспошлинно поднимались наши ладьи по Волхову, беспошлинно вели мы торг на Новгороде и мехами, и воском, и всем, чем богата земля наша. Не желаем мы, чтобы свеи, разорив земли Суми и Саволакса, воевали Новгород. Падет беда на Новгород, не минует она и Карелу. Сорок воинов пришли со мною. Готовы мы под твоим стягом в поле идти, биться рядом с тобою, искать победу. Не откажи, брате, в той чести, прими нас под свой стяг не данниками, а друзьями.

— Рад твоему слову, брате, — с чувством промолвил Александр. — В трудный час пришел ты, люба и дорога твоя дружба. Осушим чаши на встречу, чтоб и впредь жить нам в мире, как жили, вести торг, как вели, навсегда, нерушимо.

ПЕРЕД БИТВОЙ

К вечеру, как сказал Александр гонцу Василия Спиридоновича, большой полк достиг погоста за Мгой. Шли без остановок. Вся кладь у воинов — оружие да сухари. Обозы отстали — скрипят где-то на лесных путинах. Сотники и десятники лаской и бранью подбадривали уставших.

— Скорей, молодцы! Возьми ноги в руки!

От погоста до стана шведов — ночь пути. На месте жилья темнеют головни. От двух десятков изб осталась одна, уцелевшая от огня.

В погосте Александр не велел войску зажигать костров, на еду мешать толокно. В уцелевшей от пожара избе собрались воеводы. Василий Спиридонович сказал о путях к стану шведов, о том, что на пути есть и болота и топи.

— Свеи близко, — закончил он свою речь. — Трудно идти ночью, но жители здешние ведают все тропки, проведут. На устье Ижоры, где стоят свеи, тихо. Поспеем к утру, спросонок не скоро они поймут, кто свой, кто чужой.

— Ладно ли, Василий Спиридонович, нашему воинству нападать на сонных, по обычаю ли? — спросил Спиридоновича боярин Сила Тулубьев.

— А как ты велишь, болярин?

— Как положено. Выйдем к ихнему стану, затрубим в трубу и скажем: идем на вас! А перед боем, по старому обычаю, двум богатырям преломить копья. Будет на то воля твоя, Александр Ярославич, — Тулубьев встал и поклонился Александру, — дозволь мне выйти на поединок смертный! Послужу животом Великому Новгороду.

— Дело молвил Сила, — поддержал Тулубьева воевода Божин. — «Иду на вы» — говорили встарь врагам своим князья русские. Издавна ведется обычай тот, от славного князя киевского Святослава Игоревича.

Спиридонович подождал — не скажет ли чего Александр, но так как ни князь, ни ближний воевода Ратмир не подавали голоса, Спиридонович не сдержался, высказал то, что думал:

— И я, болярин, послал бы гонца к вражьей рати и в трубу бы трубил, — сказал он, — если б не свеи, а наше войско переступило чужой рубеж. Но мы на своей земле. Когда вор придет в твои хоромы, болярин, — Спиридонович кинул взгляд в сторону Тулубьева, — велишь ли брать медный рог и трубить: не сплю, мол, хочу схватить тебя, вора, обороняйся! Не трубить нам в трубу перед ворами надобно о себе, а внезапно, всею силой навалиться на стан их и иссечь.

— Правду молвил Спиридонович, други, — подал свой голос молчавший до того Александр. — Не нам трубить о себе перед свеями да звать на поединок ихних богатырей. Непрошеные пришли они, по-непрошеному будем и встречать. Но победу взять не легко. Многолюднее нас свейское войско; оправятся свеи, жестоко будут биться. Что ты молчишь, Ратмир? — спросил Александр воеводу.

— То, княже, — отозвался Ратмир. — Не время говорить со свеями, не время и копья на поединке ломать. Иное и по-хорошему славилось встарину, а нынче оно негоже. Ладен поединок в забаве воинской, но мы не на Буян-лугу, не на забаву пришли — на бой смертный. Свеи не страшатся битв, умеют владеть оружием. Помню, говаривал великий Всеволод: «Идешь в поход на день, хлеба захвати на неделю». Не подумать ли нам, княже, как подойти к свейскому войску, всею ли силой начать бой, как молвил Спиридонович, аль не оказывать силу?

— Я навалился бы, — воскликнул Спиридонович. Рассердил его призыв к осторожности, почудившийся в словах Ратмира. — Вели, княже, начать битву моему полку!

— Князь Мстислав Мстиславич Удалой на Калке так-то решал, — будто про себя, промолвил Ратмир. — Выбежал вперед со своим полком и ударил... Устлал поле костями своих воинов, сам еле цел ушел.

— Начать битву большим полком, а полку Спиридоновича быть засадным, — посоветовал Гаврила Олексич.

— Не моему переднему полку, а твоей сотне, Олексич, быть в засаде, — Спиридонович недовольно оглянулся на Олексича.

— Уж не своими ли ратниками без княжей дружины хочешь бить свеев, Василий Спиридонович? — рассердился и Олексич. — Не пришлось бы тебе с позором идти с поля?

И Спиридонович, и Сила Тулубьев, и Гаврила Олексич — все были за то, что нужно поставить засадный полк, но никто из них не хотел стоять в засаде и ждать: понадобится ли в битве его сила? Будь он на их месте, и Александр шумел бы со Спиридоновичем и Олексичем. Громче всех звучал бы его голос. Он желал разбить шведов, изгнать их за рубеж; выступая в поход, давал слово в том Великому Новгороду. Исполнит ли слово — ему, князю, держать в том ответ. Александр верил в храбрость своего войска. Рядом с воинами шел он в походе, знал думы и надежды воинов. «Но чтобы разбить врага, кроме храбрости, нужно искусство воинское, — думал Александр, слушая воевод. — Побеждает не тот, кто, ради храбрости, гибели ищет в битве, а тот, кто, поразив врага, сам жив вернется».

Он вспоминал рассказы отца, князя Ярослава, о выигранных им битвах, вспоминал рассказы Ратмира о сечах, в коих участвовал воевода. Спросить бы и теперь у него совета?.. И спросил бы, но Александр знал упрямый характер витязя; слова не добьешься сейчас у него. Ратмир ждет, что решит Александр, как укажет вести бой. Решит как надо — тогда Ратмир промолчит, только брови насупит, не домыслит Александр — Ратмир посоветует, что делать. «Ударим неожиданно и возьмем верх. Но явится ли полной победа, если свеи сядут в ладьи и бегут? — в голове Александра возникали все новые и новые мысли. — Нет. Сохранив войско, свеи, не пройдет и года, как вновь явятся на рубеже»....

— Скоро выступать войску, — прекращая споры, наконец, сказал Александр. И как только заговорил, он ясно представил себе все, что скажет, о чем давно думал и что решил. — В ночь наши полки достигнут свеев, — промолвил и окинул взглядом притихших воевод. — Переднему полку Василья Спиридоновича, вкупе с шелонскими ратниками и ладожанами, указываю — быть правой рукой...

Заговорив, Александр поднялся. Голос его звучал

твердо, был полон решимости и сознания, что все сказанное должно совершиться.

— Трудна будет путина тебе, Василий Спиридонович, — Александр предупредил воеводу, — но к утру, — голос прозвучал жестче, — быть тебе с полком у Невыреки, правее стана свеев; стать скрытно. Где идти — Пелгусий даст тебе надежных людей, знающих лесные и болотные тропы. Воеводе Ратмиру, — Александр перевел взгляд на воеводу. Ратмир, как и все, сидел молча, но по блеску его глаз, по тому, как он поглаживал пальцами усы, Александр понял: не отвергает Ратмир его замысла. — Ратмиру с дружиной и воинами князя Тойво, — продолжал Александр, — быть левой рукой. Полку левой руки идти дальним берегом Ижоры, поравняться со свейским станом и стать в засаду. Я иду с головным полком; сотнику Устину Иванковичу в головном полку быть впереди, воеводам Гавриле Олексичу и болярину Силе — рядом со мной. Бой начнет головной полк. Пусть думают свеи, что тут вся сила наша. А начнет бой головной и будет теснить свеев, Василию Спиридоновичу, по слову моего гонца, выйти берегом реки на поле, гнать свеев от их ладей и бить нещадно. В ладьях, кои близко, рубить днища. Ты, Ратмир, поведешь дружину, когда свеи притомятся, когда велю трубить в трубы или по слову гонца моего. Биться дружине первее всего с латниками и полком лыцарским. Так сказал я, витязи, и так исполнить! В битве стоять, не жалея живота...

Первым выступил с погоста полк правой руки. На пути у него болота и топи. Не легко одолеть их: оступишься с кочки — нога вязнет выше колена.

В походе у Андрейки пал конь. Горевал молодец о потере, но привелось ему шагать с пешими ратниками. Когда начались болота, Андрейка оказался близко от Василька. С завистью смотрел он на привыкшего к лесным и болотным тропам кричника. Будто не топь, не кочки под ногами у ратника, а тропа торная.

Светла и хороша ночь. Тонкий молочный туман, как прозрачная фата, клубится над топями. Низкорослые березы и сосны, облепленные лишайниками, еле подымают вершины над цепкими зарослями серых ивняков. На кочках зреют бусинки наливающейся морошки,

рассыпая зеленый горошек клюквы. По моховищам — и впереди и в стороны — ягодники брусничника.

В эти последние часы перед битвой Андрейка не помышлял об опасности. Почему-то казалось ему, что сейчас важнее всего не потерять из виду Василька. Вспоминался Новгород. В тумане смутно-смутно показалось впереди лицо Ефросиньи. Девушка словно звала его. Андрейка забылся, ступил вперед и... Что с ним?

Почувствовал — ноги вязнут в топь. Пытаясь выбраться на кочку, Андрейка метнулся в сторону. Ноги не повинуются. Засасывает их глубже.

А ничто, кажется, не изменилось вокруг. Мох, кочки, чахлые березы и сосенки, окутанные прозрачным туманом; в стороне, близко от Андрейки, жесткий и высокий ягодник голубичника, за ним зелень осоки и разводье, обрамленное рыжими метелками быльника. Все как прежде, а между тем страшная беспомощность сковала его. Топь засосала по пояс... Он вскрикнул:

— Тону! Падь сосет...

Ушедший вперед Василько оглянулся. Увидев бледное от испуга, беспомощное лицо Андрейки, кричник поспешил на помощь. С трудом удерживаясь на зыблющейся кочке, протянул ратовище:

— Держись, паробче!

С помощью Василька Андрей выбрался на кочку. Когда почувствовал под собой ее хотя и шаткий, но твердый грунт, он, стыдясь за свою неловкость, растерянно взглянул на кричника. Тот усмехнулся:

— Не свычен ты, молодец, ходить по болотинам, — сказал. — На кочки ты, на самые кочки ступай, — поучал он. — А то — и мох зеленый и травка тут, а ступишь — нога как в кашу. Зыбун.

— Спасибо тебе, помог.

ГЛАВА 30

ВСТРЕЧА

В шатре Биргера в эту ночь долго горели свечи. Правитель уединился с маршалом войска Тордом Канутзоном. Маршал Торд — невысокий, широкоплечий, с седыми, опущенными вниз усами, принадлежал к высо-

кому роду Сигунда Ринга, последнего короля из Ильфадмов. Он — единственный из рыцарей войска — пользовался правом беспрепятственного входа в шатер правителя. Сейчас, сидя в шатре, Торд откровенно высказал Биргеру свое недовольство задержкой похода.

— Что держит нас в здешних гнилых местах? — спросил он. — Войско покорно твоей светлейшей воле, герцог, но мы пребываем в неведении. Варвары русичи, скрывающиеся в лесах, бродят тайно вокруг стана войска...

— Русичей, кои будут схвачены благочестивыми воинами в окрестных лесах, предавать смерти, — мимоходом, не глядя на маршала, обронил Биргер.

— У нас нет пленников, — сказал Торд. — Схвачен один, но и он у святого отца, духовника вашего, который поклялся, что первый русич, появившийся в войске христианнейшего короля, будет и первым обращенным к истинной вере. Войско недовольно...

— Чем?

— Тем, что воины не находят добычи, которой искали, переступая рубежи русичей. Нет вестей и от рыцаря Карлсона, ушедшего к князю новгородскому.

— Мы не знаем причин, задержавших в Новгороде рыцаря Карлсона, — медленно произнес Биргер. — Но мы выступим, маршал.

Лицо Биргера оставалось неподвижным. Казалось, говорит кто-то другой. Торда Канутзона, как и всех, знавших Биргера, поражало умение герцога скрывать свои чувства. Он жесток, но никто не видал его в гневе; он равнодушен к судьбам окружающих, но казался равнодушным и к собственной судьбе. Между тем едва ли кто лучше маршала Торда понимал, что за бесстрастным, ничего не выражающим лицом правителя скрывается себялюбие — жестокое, хитрое, способное на все. Род Фолькунгов, к которому принадлежит Биргер, в вековой борьбе за королевскую власть между династиями Сверкеров и Эриксонов, поддерживал потомков короля Эрика. Когда Кнут Длинный, последний из Сверкеров, изгнал короля Эрика Шепелявого, Биргер прикинулся сторонником Кнута. Во время пиршества, устроенного им для друзей нового короля, Биргер велел своим вои-

нам перебить гостей. Король Кнут бежал, Эрик Шепелявый вернулся в Швецию.

И сейчас маршалу Торду вспомнилось, что Биргер, так же вот, с тем же бесстрастным и холодным выражением лица, с каким говорил о походе, принимал в памятную ночь, приведшую его к власти, друзей Кнута Длинного. Пали жертвами его жестокости ярл Оттар Сигурд, с которым за мгновение до убийства Биргер пил чашу дружбы, ярл Скуле, Смербак Гренеборгский, Инфар Бонде, непобедимый Рольф Гентринзон... Маршал Торд поморщился, вспомнив кровавую ночь, и, чтобы не молчать, так как молчание становилось тягостным, сказал:

— Войско хочет знать день похода, герцог.

— Поход... — Как бы задумавшись на секунду, Биргер концами пальцев прикоснулся к лысеющему лбу. — Завтра готовить ладьи. Займем Ладогу, а оттуда прямыми путями выступим к Новгороду.

...Сотник Устин Иванкович, тяжелый и неповоротливый с виду, в кольчуге и кованом шишаке, вооруженный топором с рукоятью в полроста, вышел на опушку бора. Впереди, перед глазами Устина, открылся поемный луг. Трава, покрывавшая его, была так высока, что в ней терялись верхушки колючих вересков и сухих ивняжников. Редкие кусты орешника, березы и дубки в блеске раннего утра казались ненастоящими; как будто чья-то рука поставила их здесь только затем, чтобы хоть немного оживить скупое однообразие равнины. Отлогий холм, который виднелся вдали, являлся единственной возвышенностью на пойме; она простиралась от опушки бора до самой глубины синего горизонта. Хотя дожди перестали, погода установилась сухая, все же здесь, на зыбкой и сырой почве, под ногами выжималась вода.

Устин Иванкович поставил перед собою топор, оперся на него и осмотрелся. Первое время он не видел ничего впереди, кроме редких деревьев, маячивших в нерастаявшем еще белесом тумане, но вот где-то, левее холма, вдали блеснула вода. Устин приладил козырьком над глазами ладонь. Вода. Сверкает, переливается, играет серебряными искрами. И плесо ее большое — не видно конца. «Что за шут! — подумал Устин. — От-

куда быть озеру?» Никто, кого спрашивал Устин вчера об этих краях, не сказал об озере. По словам Пелгусия и рыбаков, провожавших войско, головной полк должен выйти к реке, на стан шведов. А разве есть реки могучее и шире Волхова?!

— Нева, други! — послышался голос сзади Устина. — Играет на солнышке. Ах, широка!

Устин оглянулся. Говорил Илецко, плотник с Неревского. Илецко славился острым глазом, он всегда различал что-нибудь впереди раньше других. На этот раз Устин не поверил.

— Нева ли? Озерцо небось аль море?

— Нева, — подтвердил Илецко свои слова. — Берег другой вижу, а там, — повел рукою влево, — зеленые кущи. Лес.

Устин не стал спорить. Его внимание привлекло непонятное сияние за вершиной холма. Точно золоченый шелом горит на солнце.

— Глянь, Илецко... От дубка того правей на два локти, — Устин показал на дубок и на холм, за которым виднелось сияние. — Нашел? Что е горит там? Не церквишка ли?

Илецко всмотрелся.

— Не церквишка, — сказал. — Золотая луковица горит на белом шатре. Дымки... Вроде костры палят.

— Костры? — переспросил Устин.

Тени деревьев скрывали вышедших на опушку ратников. Теперь, когда Илецко усмотрел шатер, различил его и Устин. Ему даже показалось, что оттуда доносятся голоса людей.

— Илецко, — помедлив, произнес Устин, глядя в лицо плотника и как-то особенно внушительно выговаривая слова. — Беги к Александру Ярославичу с вестью... Свеи на виду, ближе ближнего.

С первыми лучами солнца рыцарь Ингвар Пробст очнулся от сна. Туман еще не рассеялся. За ночь выпала обильная роса. Она была так густа, что трава и листья низких ивняжников, росших неподалеку, казались серыми, точно бы посыпанными студеным прозрачным пеплом. Пробсту не хотелось вставать, но теперь, когда он

проснулся, его знобило от утреннего холодка. Пробст подвинулся к костру, но тот почти замер. В молочной чаше тумана кое-где двигались воины. Они собирали остатки хвороста, бросали его на костры. Когда огонь вспыхивал, окружали костер и согревались его теплом. Хворост валялся и там, где лежал Пробст. Поднявшись, он собрал все что мог, бросил на тлеющие угли; хворост дымил, но не занимался. Пробст присел на корточки и во всю силу легких принялся раздувать угли.

Согревшись, Пробст почувствовал жажду. Он взглянул на выплывшее из-за дальних кустов огромное, оранжево-тусклое в тумане солнце, поискал глазами около — нигде ни медного, ни глиняного черепка с водой. Тогда, обходя спящих, рыцарь направился с холма вниз, к Ижоре.

Добравшись к реке, он наклонился и, черпая пригоршней воду, стал пить.

Берег Ижоры со стороны шведского стана отлогий и открытый, лишь кое-где мочат в реке листву ветки низких ивняжников да в тихих плесах грозят, торча над водой, черные пальцы камышей. Но противоположный берег лесист и дик. Там, нависнув над водой, непроницаемой крепью выстроились прямые, темные стволы низового ольшаника; немного выше места, где находился Пробст, на излучине, вода подмыла берег, и по обрыву, путаными, узловатыми щупальцами спускаются обнаженные корни дерев, словно под зеленью листвы притаились огромные, неподвижные чудовища. В подлесье видны серебристые ветки хрупких верб, темнеют, словно покрытые лаком, гладкие листья крушины, рассыпается светлая зелень готовика. Уродливый ствол старой черемухи, выступая из заросли молодых побегов, так низко склонился над рекой, что Пробсту казалось, будто черемуха тянется к нему своею вершиной.

Рыцарь собрался было идти обратно, но внимание его привлек шорох, донесшийся с того берега. Черемуха встряхнула листвой. Зверь идет к воде или возится птица. Пробст послушал, но там, в зарослях, снова тихо.

Он не чувствовал страха. Как бы ни опасен был зверь, река надежная от него защита. Наклоняясь пить, рыцарь снял шелом и теперь, не надевая его, наслаждался свежестью легкого ветерка. В излучине, дальше

от устья, ничем не тревожимая вода гладка и тиха. Зеленые лопасти кувшинок, лежа на ее поверхности, держат в приподнятых зеленых чашечках белые огоньки. Звенят стрекозы. Изредка, нарушая тишину, раздастся резкий всплеск. То ли резвясь, то ли спасаясь от пасти хищника, взблеснет над водою уклейка. Покачивая листы кувшинок и ломая отражение кустов, по воде разбегаются тогда привольные круги и исчезают в камышовом шелесте.

Пробст так мало помышлял об опасности, что его не встревожил даже шум, возникший в расположении войска. Но шум не утихал, становился громче. Пробст поднялся выше по берегу. В листве нависшей над водой черемухи что-то блеснуло. О! Глаза рыцаря широко открылись от изумления. В зелени черемухи поблескивал еловец шелома.

Будь в руках у Пробста копье, он метнул бы его в соглядатая. Но Пробст безоружен. Испугала мысль: а что, если чужие воины, пользуясь его одиночеством и тем, что он без оружия, нападут на него? Благочестивому воину оставалось только возблагодарить бога за то, что он даровал ему быстрые, как у оленя, сильные ноги.

...Князь Тойво, скрываясь в зелени черемухи, наблюдал за рыцарем. Он наложил на тетиву стрелу и ждал, как бы раздумывая: послать ли ее вслед шведу? Кажется, еще немного, и Пробст будет в безопасности. Он уже достиг крайних костров. Но тут стрела Тойво, стрела лесного охотника, зазвенела в воздухе. Острое жало ее вонзилось в открытую шею рыцаря, под затылок.

Пробст пробежал еще немного и вдруг, взмахнув руками, словно пытаясь удержаться за что-либо, плашмя, рухнул ничком. Пальцы его, царапая землю, вцепились во влажную от росы траву.

...Александр Ярославич, выехав на опушку, остановил коня. Впереди, на поляне, раскинулся вражеский стан. Тихо там, не видно приготовлений к битве. Шведы не ждут его войска. Александр приставил к глазам ладонь и смотрел на поляну, медля бросать копье — знак начала битвы.

— Пора, княже! — услышал он нетерпеливый шепот позади себя.

Это сказал Олексич. Александр ответил не сразу. Но вот торжественная серьезность на его лице сменилась выражением решимости.

— Пора! — произнес так же тихо. — Начнем!

Он поднял копье, отклонился немного и сильным взмахом руки метнул его.

Копье князя еще вилось в воздухе, не коснулось земли, а на поляну выбежали лучные стрельцы. Прикрываясь щитами, рассеялись они в высокой траве. Через мгновение тучею взвились стрелы, косым и острым дождем обрушились они на шведов. Зазвенели наконечники о железо. За первой тучей пролилась другая. Александр поднял меч.

— За Русь! — будя тишину, прозвучал боевой клич.

— За Великий Новгород!

— За святую Софию!

Головной полк устремился вперед.

ГЛАВА 31

БИТВА

Шум на стане войска разбудил Биргера. Что случилось в этот ранний час? Биргер ударил по медной доске, призывая слугу. Вместо слуги в шатре появился маршал Канутзон. Он тяжело дышал; на лице его волнение и растерянность. Не ожидая, что скажет Биргер, Канутзон воскликнул:

— Русичи... Перед станом нашим!

— Русичи? — скрыв под холодной маской тревогу, вызванную шумом, доносившимся снаружи, и неожиданным появлением маршала, повторил Биргер. — Что я слышу?

— Войско русичей, — забыв о почтительности резко вымолвил маршал. — Там, — он показал в сторону выхода из шатра. — Там битва, герцог!

Лицо Биргера оставалось таким же холодным и бесстрастным, как и при первой вести о появлении русичей.

Казалось, его не встревожила даже мысль об опасности, какой подвергалось крестоносное войско. В каком числе напали русичи? Кто привел их? Без помощи слуги Биргер оделся, накинул плащ. Одеваясь, он все время видел перед собой лицо маршала. В полутьме шатра оно казалось смертельно бледным, а на губах кривилась надменная улыбка. Биргер с такою ненавистью взглянул на это лицо, точно видел перед собой врага. Он молча прошел мимо и резко, с шумом отбросил полу шатра.

...Князь Александр на коне. С места, где стоит он, видно ширь Невы. Взор князя дразнят шведские ладьи, покачивающиеся на волне близко от берега. «Если б добраться к ним... — дерзкая мысль теснит дыхание. — Порубить ладьи, метались бы тогда свеи на берегу, как в мышеловке». Мысль эта до того захватила Александра, что он не расслышал, о чем говорит позади него староста Пелгусий.

— Прости, княже, что тревожу тебя, — Пелгусий повторил настойчивее. — Слово хочу молвить.

— Говори! — не оборачиваясь, коротко бросил Александр.

— Свейские ладьи на Неве, Александр Ярославич, — заговорил Пелгусий. — Сколько их... Свет нам замстили. А ну-ка с топорами бы... Порубить их.

— Хороша твоя дума, староста, — Александр взглянул на Пелгусия. — Одного не домыслю, как возьмешь ты свейские ладьи. На воде они, а впереди стан свеев.

— То и ладно, княже, что ладьи на воде. Люди с них на берегу. Видишь тот островишко? — Пелгусий показал на мыс островка, выступавший из-за извилины реки. — Супротив островишка на нашем берегу речонка есть... В неприступных болотах течет она. Наши рыбаки ладьишки свои в ней сокрыли. Отпусти пяток молодцов, кои на веслах хаживали. Выведем мы свои ладьи на Неву...

— Выведешь ладьи, а ватажка твоя мала; иссекут вас свеи.

— И с малым числом худа не будет, княже, — отводя сомнения Александра, сказал Пелгусий. — Укажи ратников да вели им идти со мною.

...Полк правой руки, одолев болота, вышел к Неве. И здесь, над чахлыми кустами, которыми зарос низменный топкий берег, где остановилось войско, висит нерас-

сеявшийся туман. Осмотрелся Спиридонович — луговинки сухой не видно. Комары и мошкара безумолчно и зло трубят в уши. От укусов их у Спиридоновича вспухла шея, кожа горит, как в огне.

Впереди Нева. На утреннем солнце вода в ней кажется розовой. Дубовые рощи на островках похожи на сказочные сады. Ближе островков, у берега, ладьи шведские. Не счесть их. Одни похожи на гостиные, что приходят с товарами в Новгород, другие как хоромы; по дюжине весел у них с каждого борта, — точно желто-зеленые крылья хищной птицы.

Лесным пожаром пылает кровь в жилах у Спиридоновича. Знать бы, где сейчас князь? Скоро ли начнет битву головной полк? Враг близко. Не пожалел бы ничего Спиридонович, чтоб первым выйти к вражьему стану. Но Александр не велел Спиридоновичу начинать бой, а ждать гонца и, по слову его, теснить шведов от реки. Горек лихому воеводе княжий наказ. Все равно как если бы указал ему Александр смотреть со стороны на побоище.

На стане у шведов тихо. Кажется Спиридоновичу — опоздал головной; заблудился в болотищах. И солнце сегодня, как никогда, медленно-медленно поднимается над землей...

Со стороны шведского стана донесся шум. Будто внезапный вихрь закружился там. Невнятный, но тяжелый гул его нарастает. С трудом, но можно разобрать крики людей. «Началось, — подумал Спиридонович, чувствуя, как в груди забилось сердце. — Начал головной...»

Берегом реки полк правой руки вышел на опушку кустов у поляны. Вражеский стан отсюда как на ладони. На холме, у златоверхого шатра, конное рыцарское войско. Бой за холмом, где начали сечу новгородцы.

— Почто стоим, воевода? Не пора ли размять плечи?

Спиридонович оглянулся. Рядом ратник Михайло. Он вооружен топором; за поясом железный кистень.

— Разомнем, придет час. Где стоят ладожане?

— Близко, у самой воды.

Впереди, на протоке, точно сухой лес, высятся мачты шведских ладей. Издали кажется — цветным узорочьем своим заградили они реку. С тех, что близко у берега, высаживаются копейщики.

— Видишь ладьи, Миша? — Спиридонович показал на протоку.

— Вижу.

— Как скажет княжий гонец: «Пора» — ты с ладожанами беги к берегу, где стоят ладьи, руби причалы, а будет удача, то и днища. Не на чем было бы свеям уйти с поля.

Михайло взглянул на холм, где высится шатер златоверхий, на темную тучу копейщиков и конных рыцарей, еще не вступивших в битву, опустил глаза.

— Не радость, воевода, с деревами биться.

— Не радость, а славное дело, Мища, — сказал Спиридонович. — Рад будет Александр Ярославич услышать о том, что совершили ладожане.

...Вдали, над полем, взметнулся княжий стяг. Он то склонится ниже, то снова гордо реет над битвой. Шведы пятятся, кое-кто из них повернули спины. Новгородцы одолевают.

Но что это? Начали бой шведские латники. Головной полк новгородцев дрогнул. Не шведы, а русичи пятятся к опушке бора. Спиридонович еле сдержался, чтоб не бежать со своим полком на помощь. Вовремя вспомнил воевода княжий наказ. Не на поляне, где бьется головной, быть Спиридоновичу, а гнать шведов от берега, от ладей их, — преградить путь на реку.

— Где воевода Спиридонович? — зовет незнакомый воин. Железная рубашка на нем разодрана, из рассеченной щеки струится кровь.

— Откуда, с какой вестью, удалой молодец? — окликнул Спиридонович.

— К тебе... От Александра Ярославича.

— Что велел Ярославич? — Спиридонович узнал воина. — Ты, Илецко?

— Я... Свей меня поцарапал. Князь велел сказать тебе, Василий Спиридонович, пора!..

Что-то еще говорил Илецко, но того, что сказал он, Спиридонович не слышал.

— За землю Русскую, славные мужи! — крикнул он. — Покажем свеям, как встречают незваных гостей удалые ребята новгородские!

— За Новгород! За Русь нашу! — выбегая на поляну, подхватили воины клич своего воеводы. — За Софию!

...Выйдя из шатра и поняв опасность, угрожающую его войску, Биргер преобразился. Ничто теперь не напоминало в нем надменного, замкнутого в себе, всесильного герцога. В холодных глазах его вспыхнул блеск, голос приобрел силу, движения стали резкими; точность и уверенность их отличала воина.

Русичи напали от опушки бора и успели потеснить шведов. Битва передвинулась ближе к холму. Справа и слева, со стороны Ижоры и болот по берегу Невы, ничто не грозит. Там тихо. Войско русское не людно, лишь неожиданность нападения создала видимость успеха его в битве.

Позади шведского стана река. Около нее, ближе к берегу, должна решиться битва. На ладьях шведы недосягаемы для пеших русичей. Биргер велел стать на холме, у шатра, железному рыцарскому полку, пешим латникам указал место за холмом, ближе к Ижоре. Облачившись с помощью оруженосцев в боевые доспехи, Биргер подал знак подвести коня. В седле, со щитом и копьем, он пристально смотрит на поле.

Ближе, ближе стяг новгородского войска. Шведы отступают, но первая растерянность их прошла. Плотнее смыкаются ряды. И когда все войско русское показалось на поляне, когда стрелы русичей, долетая к шатру, начали царапать доспехи рыцарей, Биргер подал знак пешим латникам. Заглушая воинственными кликами шум битвы, выбежала рать их из-за холма. Русичи смешались. Склонился и исчез во мгле стяг новгородского войска.

Это и видел Василий Спиридонович, когда прибежал к нему Илецко со словом княжим.

Засадный полк воеводы Ратмира скрыт кустами на берегу Ижоры. С обрыва, сквозь зелень деревьев, Ратмиру видно все поле. Рядом с воеводой князь Тойво. Не отрывая глаз, смотрят они туда, где решается исход сражения. Строго сошлись к переносью нахмуренные брови Ратмира, руки опираются на поставленный впереди меч. Не оглянулся витязь на воинов позади себя, слова не молвил.

— Пора, воевода! — не помнит уж в который раз шепчет Тойво. — Поможем князю Александру!

Ратмир молчит. Но вот он шевельнул бровями, но не оглянулся.

— Рано, князь, не время, — молвил. — Не отмахали рук свеи, и от князя Александра нет слова.

— Тяжко князю Александру, воевода, — продолжал недовольно хмурить брови Тойво. — Может, ранен князь, может...

— Нет, вижу на поле стяг княжий, а там, — Ратмир вытянул вперед руку. — Взгляни! Никак начал бой полк правой руки.

Ратники Спиридоновича потеснили шведов. Бой переместился ближе к Ижоре. Ах, как завидует Тойво тем, кто в битве! Но Ратмир неподвижен. Как и прежде, стоит он, опираясь на меч. Изредка лишь приставит к глазам ладонь, защищаясь от солнца, присмотрится, и снова будто замрет.

Тойво прошел в глубину полянки, сказал что-то своим воинам. Нет у него сил ждать. Не за тем пришел он к князю Александру, чтобы издали смотреть на то, как бьются русичи.

А на поле вступили в битву железные рыцари. Чует ли Ратмир, какая опасность нависла над воинами новгородского головного полка и полка Спиридоновича? Чует! Тойво едва не вскрикнул от радости, увидев, что Ратмир повернулся и поманил к себе воина, который стоял неподалеку, у коней.

Сейчас скажет: «Пора!»

— Принеси воды, паробче! — будто он не на поле битвы, а в гридне, за большим столом, промолвил Ратмир. — День жарок, горло высохло, как бычий пузырь.

Воин спустился к реке, зачерпнул шеломом и, не расплескав, поднес воеводе. Ратмир выпил, обтер усы.

— Добро! — крякнул.

Снова зорко смотрит вперед. Не шелохнется.

...Не сомневался в победе Александр, начиная бой, но теперь, когда на поле показались железные рыцари, дрогнуло у него сердце.

Вздыбив коня, прорвался он сквозь стену шведских копейщиков. Перед ним рыцарь в рогатом шеломе, Александр, склонив копье, пустил коня навстречу. Рыцарь не уклонился. Но в тот миг, когда рыцарь изготовился к бою, он неожиданно пошатнулся и не усидел в седле;

уронив копье, рухнул наземь. Рядом с рыцарем Александр увидел разгоряченное боем лицо Василька. Ратник взмахнул топором. «Хитер кричник, доброе сковал оружие», — подумал Александр. И только бы ему крикнуть о том Василько, как близко показался рыцарь на белом коне. Конь мчится легко, голубой щит с медным крестом надежно укрывает от стрел и копий. Вокруг белого коня рыцаря смятение в рядах новгородцев.

Александр крикнул:

— Стой, лыцарь! Прими бой!

Повернул коня и пустил его навстречу.

Копье Александра поразило чело вражьего шелома. Покачнулся рыцарь, еле удержался в седле. Копье его, направленное в грудь Александра, со звоном скользнуло по кольцам бехтерца.

Александр готов еще сразиться, сбросить противника с коня, но между ними выросли стеной латники.

Искусны кузнецы на Новгороде! Копье, что принесли они в дар Александру, пробило шелом рыцаря. Упал шелом на землю. Издали Александру видно врага, его лысеющий спереди череп и окровавленное лицо. Оруженосцы сняли рыцаря с коня и на руках понесли с поля.

Чем отважнее бьются новгородцы, тем жесточе и отчаяннее сопротивляются шведы. Много пролилось вражеской крови, но слабеют и русичи. Кто первым дрогнет в сече? Солнце близко к полудню, а бой не затихает. Стонут и бранятся те, кто от тяжких ран не в силах держать копье.

...На берегу Михайло с ладожскими ратниками.

Три ладьи боем захватили ладожане; кровью шведских воинов окрасилась вода реки.

В сече на берегу ладожане оттеснили защищавших ладьи копейщиков к огромному двадцативесельному кораблю. Выбив копье из рук преградившего ему путь воина, Михайло очутился на корабле. Шведы догадались убрать доски, переброшенные на берег, оттолкнулись. Дюжина врагов навалилась на одного. Стоек и удал ратник, страшен топор в его руках. Окружившие Михайлу копейщики не решаются приблизиться к нему. Но вот шведы вынесли тяжелый самострел. Убережет ли кольчуга от стрелецкого боя? Люто огневался

Михайло на вражью хитрость, напал на копейщиков. Как солому, рубит топор ратовища копий, но шведы не отступают; многолюдством своим и хитростью стремятся взять победу.

— Миша! Стой крепко, брате!

— Васюк!

Когда начался бой на корабле, Васюк, сбросив тегилей, в одной рубахе, вплавь добрался к борту корабля. Появление босого, в намокшей одежде ратника было до того неожиданным, что нападавшие на Михайлу шведы попятились.

— За землю Русскую! — что есть мочи крикнул Васюк, и как бы в ответ ему издали донеслось:

— Руби ладьи, молодцы удалые!

Откуда-то из болот, из неведомых никому, кроме невских рыбаков, заводей, вынеслись на реку легкие рыбачьи ладьи. На передней — во весь рост — Пелгусий. Он с непокрытою головой, в руках ижорянина длинное ратовище топора. Пятеро молодцов ушло с ним, а на ладьях людей больше дюжины.

Рыбаки-ижоряне пристали к ватажке.

В этот-то миг до слуха Ратмира донесся звук боевой трубы. «Пора!»

— Пора, воевода! Время биться засадному!

Это крикнул Савва, прибежавший к Ратмиру со словом княжим. От усталости после быстрого бега он с трудом, задыхаясь, выговаривал слова.

Ратмир оглянулся. Словно вырос он. Поднял руку и крикнул:

— Разомнем плечи, други! Бросай лавы на воду!

Не затих его голос, как поперек Ижоры вытянулись связанные витыми из черемухи и ивы кольцами лавы. Дальними концами они еще висели в воздухе, а Тойво был уже на середине их. Он первым выбежал на перемешанный с обломками раковин, хрустящий под ногами галечник, на том месте, где перед боем пил воду рыцарь. Ратмир, за ним конные дружинники переправились вплавь.

Стремя в стремя, сверкая на солнце блеском брони и копий, показался на поляне засадный полк княжей дружины. Жестоко, не щадя себя, бьются шведы, но сила их сломлена. Теснятся они к берегу. Если б не

широкая синь Невы, многие из шведских воинов, бросив оружие, искали бы спасения в быстроте своих ног.

Под Ратмиром сражен конь. Шведские латники окружили пешего. Тяжел в бою меч старого воеводы. Направо, налево рубит. Близко от Ратмира бьется Спиридонович. Не устояли латники, теснятся к устью Ижоры.

Шведский воин преградил путь Савве. В бою с ним у Саввы сломалось копье. Швед не успел занести топор. Сжав в охапку врага, Савва вместе с ним упал на землю. Швед оцарапал ему лицо, пытался дотянуться зубами до шеи, но Савва отбросил его; боевой топор врага очутился в руках отрока. В схватке Савва уронил шелом, но не ушел с поля; бился с непокрытою головой.

Впереди, за строем врагов, златоверхий шатер. Савва начал пробиваться к нему. Ему казалось, стоит рухнуть шатру, и шведы бегут. Савва с таким ожесточением и силой махал топором, что стража у шатра разбежалась. Шатер пуст, но золотой шар, венчающий белую паволоку, сияет гордо, как и в начале битвы. Савва принялся рубить опоры. И как бы возвещая о победе, златоверхий шатер Биргера рухнул.

Радость охватила новгородцев. Торжествующие клики их заглушили шум битвы.

— За Русь!

— За святую Софию!

К ладье, над которой ветер полощет поднятые паруса, бережно, на руках, оруженосцы несут раненого Биргера. Плотные ряды шведских воинов, отбиваясь от русичей, окружают правителя.

Впереди русских воинов Гаврила Олексич. Оруженосцы подняли Биргера на ладью. Олексичу удалось пробиться сквозь строй врагов. Копыта его коня стучат по доскам, перекинутым с ладьи на берег. Витязь занес меч, когда шведы, заполнившие ладью, оттолкнулись от берега. Олексич вместе с конем упал в воду. Близко от берега, но на глубине броня и шелом неотвратимо тянут ко дну. И пить бы Олексичу прохладную воду реки, если б не Устин. Сотник бежал к ладье следом за Олексичем. Он протянул топор, помог другу.

А на холме, где догорала битва, шведы окружили Александра. Примятая множеством ног трава скользка от пролитой крови. Александр дал волю мечу. Но как ни

бился он, ближе и грознее сдвигаются устремленные на него копья врагов. Горько пасть в битве витязю за миг до победы.

Отмахалась у него рука. Реже поднимается меч, чаще и звончее бьют вражеские копья о железные кольца княжеского бехтерца. Казалось, неизбежна гибель, но шведы вдруг отхлынули...

Окинул Александр взглядом вокруг, и глаза его вспыхнули радостью. Василько и с ним Емеля, ратник со Мсты. Недаром в походе хвалился кричник своим топором. Легок и тонок, но не зазубрился в битве.

Мало уцелело шведов, мало и ладей шведских отвалило от берега. С прорубленными бортами и днищами, со сбитой снастью, плывут они к морю, как хлам. Те, что уцелели, выгребли на середину. Князь Тойво со своими лучниками осыпают их стрелами.

Русские воины столпились на берегу; кто машет оружием вслед бежавшим шведам, кто кулаком.

— Хмелен ли мед пили на Руси? — кричат.

— Сладок ли пир пировали у Великого Новгорода?

— Шли на Русь — похвалялись, назад пошли — спокаялись.

— С тяжкой вестью к тебе, княже, — остановился перед Александром Василий Спиридонович. — На ижорском устье бился я с свейскими латниками рядом с воеводой Ратмиром. Много легло свеев на берегу, многих приняла вода. В сече десятеро навалились на воеводу...

— Где он? — перебил Спиридоновича Александр.

— Там, — Спиридонович показал в сторону устья, где дымится зеленью шар одинокой березы. Не шелохнется она, словно оцепенела от того, что видела.

— Убит Ратмир? — потемнело лицо князя.

— Нет, но...

Александр не дослушал. Молча направился он к устью. «Пал Ратмир». Не верилось в правду этих слов. Пораженный вестью о гибели друга, Александр не думал теперь о радости победы и бежавших шведах.

В тени березы на устье, как бы скрыв себя от зноя в ее тени, среди поверженных шведских латников лежит Ратмир. Глаза его закрыты. При каждом вздохе грудь

поднимается так высоко, точно впервые почувствовал витязь тяжесть кольчатого бехтерца. Трава и песок около окроплены кровью. Она уже запеклась, стала темной и, кажется, потому лишь ярче выделяется на примятой зелени.

Александр опустился на колено. Пристальным, неподвижным взглядом он долго смотрел в лицо воеводы.

— Ратмир, тебя ли вижу в прахе? — шепотом произнес он.

Ратмир открыл глаза.

— Побиты свеи? — спросил.

— Свеев нет на нашей земле. Не многие из них бежали... Слышишь победные клики воинов?

— О! — Ратмир сделал усилие и приподнялся, — Слава воинам! Счастлив я, княже, что умираю не в постели, как ленивый монах, а на бранном поле, как положено воину.

— Ты будешь жить, Ратмир. Со славою вернемся к Великому Новгороду.

— Нет, княже. Рана... тяжка.

Ратмир снова закрыл глаза. Безмолвно стоят вокруг воины. Но вот раненый витязь снова приподнялся, внятно и отчетливо прозвучал его голос:

— Честь и славу Руси храните... други!

Он вытянулся, глубоко вздохнул, словно хотел полнее насладиться свежестью вечера и буйными запахами трав. Александр, склоняясь над ним, не отрывал глаз от лица друга.

— Ратмир! — позвал он. — Слышишь меня?

Не дрогнули веки на закрытых глазах воеводы. Он лежал неподвижно, такой же, каким жил. Александр поднял голову Ратмира и прижал к себе. Воины сняли шеломы. Василий Спиридонович отвернулся, взглянул на тонкий вечерний туман, занимавшийся над рекой, и, будто утирая пот, смахнул слезу.

Бережно, словно боясь причинить боль угасшему витязю, Александр уложил голову Ратмира, поднялся и оземь поклонился праху.

— Други мои! — обращаясь к воинам, произнес он. — Предадим земле павших! Пусть лягут они в броне, с оружием своим, как братья, на рубеже земли Русской. Не легкой рукой, трудами своими, храбростью и силой ору-

жия нашего взяли мы победу. Память о ней навсегда останется устрашением свейским крестоносцам и всем врагам Руси.

— Воеводу Ратмира погребем здесь, княже, у устья, где бился он со свейскими латниками, — промолвил Спиридонович.

— Нет, — решительно сказал Александр. — Братом воинам жил Ратмир, братом им ляжет в землю. Насыплем холм над могилой в память о тех, кто положили жизни свои за отчизну.

Вечер. Ни огонька, ни костра не видно на дальнем берегу, куда скрылись остатки разбитой шведской рати. Русская река — глубокая, величественная — несет свои воды, отражая в них блеск вечерней зари и пламя костров, освещающих затихшее поле битвы.

ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 1

БОЯРИН НИГОЦЕВИЧ

Стук колотушки уличного сторожа разбудил Бориса Олельковича. В тишине хором стук этот отдавался настолько резко, что, открыв глаза, Борис Олелькович не сразу понял причину тревоги. В горнице ник полумрак. Огонек лампады в переднем углу еле освещал тяжелый темный киот, в глубине которого поблескивал серебром и золотыми венчиками образ «Знамения».

— Ох, грехи, грехи! — вздохнул боярин. Он попытался было снова заснуть, но стук колотушки — назойливый, как осенний дождь, — разогнал сон. — Ох, грехи!

Давно ли, пяти весен не прошло с той поры, когда жил Борис Олелькович у себя, в резных хоромах на Легоще-улице в Новгороде Великом. В довольстве и почете жил. На Шелони и на Белом озере лежали его вотчины; Молога на Бежецком верху и Рабанга в Кубенском приозерье склонялись перед именитым боярином. За обеднями у святой Софии стоял он впереди, в совете господ в Грановитой сидел на верхнем месте, близко к владыке.

Кто бы сказал в ту пору, что придется боярину Нигоцевичу искать приюта у ливонских рыцарей, в городе Риге, а вот — привелось. Бежал Олелькович из Великого Новгорода. Пить бы ему воду со дна Волхова, если б не скрылся вовремя в Детинце. «На поток!» — будто сейчас несется крик, заполняя собою все. И ныне каждый звук, даже стук ночной колотушки, доносящийся с улицы, напоминает о нем.

До ночи отсиделся Борис Олелькович в хоромах владыки, а ночью, крадучись, как последний холоп, бежал в Псков, к зятю Нежиле; из Пскова, вместе с Нежилой, ушел в Ригу.

«Прям я на слово, за то и поток принял, — утешал себя думой боярин. — Небось кум Стефан живет белехонек. Бывало, только и слышишь: «Мы, Осмомысловичи...», а почуял беду — бороды не показал перед народом». Не за себя, за все боярство вотчинное принял Борис Олелькович горькую чашу. Не легко пить ее, но и в несчастии он не пал духом. Гордится тем, что не склонился, не унизил себя перед суздальскими князьями.

В старые годы, когда княжил в Новгороде Ярослав Всеволодович, боярин не ладил с ним, но терпел. Силен Ярослав, не легко было перебороть его. Помнит Борис Олелькович, как тяжко обесчестила Ярослава битва на Липице. Казалось, не подняться ему. Будь на месте Ярослава другой князь, сидел бы он после из милости победителей удельным заморышем. А Ярослав словно не знал поражения. Князю Мстиславу, которого приняли новгородцы, скоро пришлось ехать в Галич, а Великому Новгороду просить милости Ярослава.

«Но покорностью ли своей высок перед городами русскими Господин Великий Новгород? — продолжал свои размышления боярин. — Нет. Князь — не господин над святой Софией. Дело князя — править войско, а суд и власть держит совет господ, владыка новгородский и посадник. Верхними людьми, боярством вотчинным славен Новгород. В Суздальской земле княжая власть выше боярской, воля князя выше воли совета господ, — в Новгороде тому не бывать. Как и Ярослав, Александр ищет опору в ремесленных и гостиных братчинах. Пусть! Черным людям не сломить силы старых вотчинников». И чем больше размышлял боярин, тем упрямее непокорная мысль: легче ему, Борису Олельковичу, жить на чужбине, чем поступиться правами верхних мужей в Новгороде.

Не было лучше часу избавиться от суздальских князей, чем тот, когда Борис Олелькович сказал в совете господ слово против Александра. Казалось, все пред-

угадал боярин, и так и этак прикидывал. Ярослав в ту пору княжил далеко, в Киеве, на Суздальскую Русь напала Орда, разоряла она и жгла низовые города; ждал Борис Олелькович — начнется большой шум. Александр, испугавшись, соберет поезд, уйдет из Новгорода без распри. А он?..

— Не склонился, не уступил, — горько усмехнувшись, вслух произнес боярин.

Не против князя — против старых бояр, против вотчинников именитых поднялся Новгород. Княжая дружина усмирила буйство. Не будь сильной воли князя, не одни Нигоцевичевы хоромы пылали бы на Легоще; и на Прускую, и на Чудинцеву перекинулось бы.

«Умен Александр, заступил верхних, а так ли? — думал боярин. — Не боярство вотчинное — власть княжескую заступил».

На чужбине связал свое имя Борис Олелькович с Ярославком, сыном Владимирка псковского. Прежде, в Новгороде Великом, случись боярину встретиться с Ярославком, руки не подал бы княжонку, а нынче?.. Другом своим и князем величает его.

Беседовал как-то боярин с Нежилой, спрашивал: не зазорна ли дружба с Ярославком? «Князем русским» величается Ярославко, а небось слово-то «Русь» ему неведомо. Не русским обычаем живет.

— Обычай его к нам не пристанет, осударь-батюшка, — ответил Нежила. — В Риге епископ и лыцари именем Ярославка ладят поход на Псков. Помогут Троица да святая София, через Ярославков поход и мы вотчины свои возвернем. А как будем на Руси, скажем тогда, давать ли Ярославку ряду на княжение.

— Не о ряде тревожусь, — Борис Олелькович остановил зятя. — А ну-ка, грехи, вернемся на Русь в стае с Ярославком... Жди о себе после худого звону.

— На худой звон узда есть, осударь-батюшка, — возразил Нежила. — И в Пскове и в Новгороде верхние люди будут с нами, а из меньших кто слово противу молвит, для тех, чаю, не вывелись холодные порубы.

— Добро бы так-то.

— Будет так, осударь-батюшка.

Борис Олелькович помолчал. Глаза его, устремлен-

ные к образу «Знамения», выражали обет и покорность.

— Не ведаю я своей вины перед Новгородом, — снова начал он: — Не людей страшусь, себя. Словом и делом стоял за обычаи наши, уложенные богом. Заступили нас лыцари, приют дали, а на походе, ну-ка, грехи, лыцари войдут хозяевами в Псков. От Ярославка не помощь. Не слыхал он звону ни у Троицы, ни у святой Софии, не мочил шелома ни в Волхове, ни в Великой. Лыцарский выкормыш он. Родителя его, князя Владимира Мстиславича, изгнали псковичи за черную измену. Ты парнишком бегал в ту пору, а я... Памятую я, Нежила. Стакнулся Владимирко с лыцарями противу Великого Новгорода, помощью лыцарей хотел утвердить себя князем псковским и новгородским. Псковичи не поддались обману, ополчились на Владимирка и изгнали его. После жил он в Риге, в жены себе взял немецкую девку, племянницу епископа Альберта. От той девки родился Ярославко. В пеленках небось он был, как Владимирко с лыцарством напал на Русь. Под Медвежьей Головой суздальский Ярослав с новгородцами побили лыцарей. Не льщу Ярославу, хуже полыни мне суздальские князья, а все же молвлю: под Медвежьей Головой и после, на Омовже, за Русь он бился. Под Медвежьей Головой пал в битве магистр меченосцев фон Волквин, а перевета-изменника Владимирка Ярослав увел в полон. Ярославко, сынишко Владимирков, рос в Риге, при матери, вчуже обычаев русских. Только и есть у него от Руси — имя княжее. И нынче, гляжу... Ох, грехи, Нежила! Не в кольчуге Ярославко, не в бехтерце, как надлежит русскому витязю, а в немецких латах кованых; шелом на голове у него без еловка — бочка с крестовиной, щит лыцарский — на три угла. Не ждал, не ведал я, что на старости приведется мне стоять под стягом чужого княжонка.

— Троица и святая София заступят нас, осударь-батюшка, — неловко, опустив глаза, словно виноват был в беде тестя, промолвил Нежила. — В Пскове рос я, а и мне не князь Ярославко, но без него не вижу пути на Русь.

РЫЦАРЬ ФОН БАЛК

Рижский князь епископ, поставленный святейшим престолом главой духовного рыцарского Ордена братьев-меченосцев, благословил командора фон Балка на труды в защиту юного князя Ярослава Владимировича. Князь епископ не обмолвился о походе, но фон Балк — умный, смелый воин, ему ли не знать, что не в Риге придется защищать княжеские права сына Владимира псковского.

Ярославко рос при дворе епископа. Чуждое княжеское имя не отлучило его от католической веры и обычаев рыцарских. Ярослав Владимирович — рыцарь по духу и крови, его судьба близка Ордену. Сядет он князем во Пскове — откроется братьям-меченосцам дорога на Русь.

Жестокие поражения, принятые Орденом под Медвежьей Головой и на Омовже, забылись. Ни память о них, ни рыцарские клятвы о вечном мире с Русью не тревожат совесть командора. Старые призраки как мертвецы, им ли преградить путь воину? Фон Балк верил в свою счастливую звезду.

Не прежняя Русь перед ним, не та — сильная и великая, — с какою бился магистр фон Волквин. Ныне Русь разорена, поругана ордами хана Батыя. Жалкой и обессиленной открывается она взору фон Балка.

Но орды Батыя, разорив срединную и украинную Русь, не достигли земель псковских и новгородских. На пути к Новгороду повернул хан коней. Долго ли будет так? Ныне ханское войско разрушило Киев, захватило Волынь и Галицкую Русь; оно у рубежей польских и земли угров. А вернется хан на Русь — перед силою его не устоят новгородцы. Не склонятся они перед Ордою добром, склонятся перед силой. Сядут ханские наместники в Пскове и Новгороде, тогда... При мысли об этом на высоком сухом челе фон Балка выступил пот. Благословляя крестовый поход на Русь, папский престол отдал земли Пскова и Новгорода в вечный лен братьям Ливонского ордена и союзным с ним королям датчан и шведов. Не перед ханами склонят головы нов-

городцы и псковичи, а перед братьями Ордена, перед знамением креста и меча, которое несут меченосцы.

Чувства, волновавшие фон Балка при мысли о ханских наместниках в Пскове и Новгороде, не сравнимы ни с чем, что видят глаза и слышат уши. Только горе и страсть голодного, у которого отняли добытый тяжким трудом хлеб, лишь в слабой и несовершенной мере могут сравниться с горечью и гневом командора.

Готовя поход, фон Балк завоевательные стремления свои прикрывал именем юного Ярослава, сына Владимира псковского. Под стяг Владимировича становились водьские племена, люди, бежавшие из Пскова и Новгорода; даже именитый боярин новгородский Борис Негоцевич протянул руку дружбы Владимировичу, назвал его князем псковским.

Мысли и опасения свои об угрозе Новгороду и Пскову от нечестивой Орды фон Балк высказал князю-епископу.

— Орден меченосцев поможет князю Ярославу Владимировичу вернуть наследие родителя своего, — выслушав командора, сказал епископ. — Святейший римский отец именем бога благословил апостольский подвиг. Иди на Псков, брат командор! Милостью пресвятой девы русская церковь отринет восточных патриархов и воссоединится с апостолической римской церковью, единой истинной.

Войско фон Балка подступило к Изборску, занятие которого открывало крестоносцам ближние пути на Псков. Здесь, под Изборском, командор получил весть о походе шведов. Возмущенный и раздосадованный тем, что шведы выступили прежде, чем его войско утвердится в Пскове, фон Балк приказал немедленно взять осажденный город. Изборяне отбили нападающих. Урон, который понесли меченосцы в битве, был так значителен, что командор, закрыв все пути к городу, решил измором и голодом заставить изборян открыть ворота.

Ни в Риге, ни в войске фон Балка никто не сомневался в победе шведов. Фон Балк с нетерпением ждал вести о поражении новгородцев, но вести о том не было. Гонцы из Риги и из Дерпта отговаривались незнанием. Наконец из Дерпта передали, что при дворе дерптского епископа говорят, будто новгородский князь, избегая

битвы у стен Новгорода, вышел навстречу шведам с дарами и покорностью.

Эта весть огорчила и возмутила фон Балка. Шведам легко, без боя, удалось захватить то, что давно считали своей добычей рыцари-меченосцы. «Трусы! — в гневе восклицал фон Балк, словно бы переживая обиду за неумение русичей стоять в битве. — Таков и князь их». Как сон, легковесны и смешны были теперь фон Балку воспоминания о старых победах новгородцев. Даже то, что стены непокорного Изборска все еще высятся несокрушимо, не трогало командора. Не Изборск, всю Русь хотел видеть он склоненной перед собой.

Слухи, чем они неожиданнее, тем тревожнее. Фон Балк все еще возмущался и негодовал на трусость новгородцев перед шведами, на легкомыслие их князя, когда в войске заговорили, что новгородский Александр встретил шведов на рубеже Руси и поразил их полки. Шведский правитель Биргер с остатками своего войска позорно бежал, спасаясь от плена и гибели. Слухи о позоре шведов с каждым днем становились настойчивее. В войске меченосцев и верили им и сомневались, пока грамота, полученная из Риги, не рассеяла всех сомнений: о бегстве Биргера и гибели его войска писал князь-епископ.

Или войско Александра оказалось сильнее шведов, или жадность и самонадеянность погубили Биргера. Победа на Неве противоречила всему, что слышал фон Балк о Руси, о чем приносили вести немецкие торговые гости, посещавшие Новгород. До битвы на Неве фон Балк не раз слышал и верил тому, что Александр новгородский не сведущ в делах ратных, что войско новгородское слабо и малочисленно. Но теперь мысли о легкой победе войск Ордена над русичами уступили место сомнениям. Фон Балк не был бы воином, если б не понимал, что в битве со шведами Александр проявил доблесть; не многолюдством взял победу, а хитростью воинской. «Александр быстр и смел, — думал фон Балк. — Вышел навстречу шведам, встретил их у рубежа». В поражении шведов фон Балк видел предупреждение себе, неожиданное препятствие успешному походу своего войска.

городцы и псковичи, а перед братьями Ордена, перед знамением креста и меча, которое несут меченосцы.

Чувства, волновавшие фон Балка при мысли о ханских наместниках в Пскове и Новгороде, не сравнимы ни с чем, что видят глаза и слышат уши. Только горе и страсть голодного, у которого отняли добытый тяжким трудом хлеб, лишь в слабой и несовершенной мере могут сравниться с горечью и гневом командора.

Готовя поход, фон Балк завоевательные стремления свои прикрывал именем юного Ярослава, сына Владимира псковского. Под стяг Владимировича становились водьские племена, люди, бежавшие из Пскова и Новгорода; даже именитый боярин новгородский Борис Негоцевич протянул руку дружбы Владимировичу, назвал его князем псковским.

Мысли и опасения свои об угрозе Новгороду и Пскову от нечестивой Орды фон Балк высказал князю-епископу.

— Орден меченосцев поможет князю Ярославу Владимировичу вернуть наследие родителя своего, — выслушав командора, сказал епископ. — Святейший римский отец именем бога благословил апостольский подвиг. Иди на Псков, брат командор! Милостью пресвятой девы русская церковь отринет восточных патриархов и воссоединится с апостолической римской церковью, единой истинной.

Войско фон Балка подступило к Изборску, занятие которого открывало крестоносцам ближние пути на Псков. Здесь, под Изборском, командор получил весть о походе шведов. Возмущенный и раздосадованный тем, что шведы выступили прежде, чем его войско утвердится в Пскове, фон Балк приказал немедленно взять осажденный город. Изборяне отбили нападающих. Урон, который понесли меченосцы в битве, был так значителен, что командор, закрыв все пути к городу, решил измором и голодом заставить изборян открыть ворота.

Ни в Риге, ни в войске фон Балка никто не сомневался в победе шведов. Фон Балк с нетерпением ждал вести о поражении новгородцев, но вести о том не было. Гонцы из Риги и из Дерпта отговаривались незнанием. Наконец из Дерпта передали, что при дворе дерптского епископа говорят, будто новгородский князь, избегая

битвы у стен Новгорода, вышел навстречу шведам с дарами и покорностью.

Эта весть огорчила и возмутила фон Балка. Шведам легко, без боя, удалось захватить то, что давно считали своей добычей рыцари-меченосцы. «Трусы! — в гневе восклицал фон Балк, словно бы переживая обиду за неумение русичей стоять в битве. — Таков и князь их». Как сон, легковесны и смешны были теперь фон Балку воспоминания о старых победах новгородцев. Даже то, что стены непокорного Изборска все еще высятся несокрушимо, не трогало командора. Не Изборск, всю Русь хотел видеть он склоненной перед собой.

Слухи, чем они неожиданнее, тем тревожнее. Фон Балк все еще возмущался и негодовал на трусость новгородцев перед шведами, на легкомыслие их князя, когда в войске заговорили, что новгородский Александр встретил шведов на рубеже Руси и поразил их полки. Шведский правитель Биргер с остатками своего войска позорно бежал, спасаясь от плена и гибели. Слухи о позоре шведов с каждым днем становились настойчивее. В войске меченосцев и верили им и сомневались, пока грамота, полученная из Риги, не рассеяла всех сомнений: о бегстве Биргера и гибели его войска писал князь-епископ.

Или войско Александра оказалось сильнее шведов, или жадность и самонадеянность погубили Биргера. Победа на Неве противоречила всему, что слышал фон Балк о Руси, о чем приносили вести немецкие торговые гости, посещавшие Новгород. До битвы на Неве фон Балк не раз слышал и верил тому, что Александр новгородский не сведущ в делах ратных, что войско новгородское слабо и малочисленно. Но теперь мысли о легкой победе войск Ордена над русичами уступили место сомнениям. Фон Балк не был бы воином, если б не понимал, что в битве со шведами Александр проявил доблесть; не многолюдством взял победу, а хитростью воинской. «Александр быстр и смел, — думал фон Балк. — Вышел навстречу шведам, встретил их у рубежа». В поражении шведов фон Балк видел предупреждение себе, неожиданное препятствие успешному походу своего войска.

Три столетия назад захват немецкими правителями земель залабских славян положил начало движению немцев на восток. Немецкие рыцари истребили славянские племена лютичей и прусов; продвигаясь дальше на восток, захватили земли лэттов, ливов и эстов. Ныне войско Ордена на рубеже Руси.

Как ни тревожила фон Балка весть о битве на Неве, все же она не поколебала веры командора в свою звезду. Шведы начали поход, грозя русичам порабощением и пленом, он, фон Балк, вступит в Псков со словами дружбы. Пусть русичи видят в меченосцах не врагов, а друзей, союзников своих в борьбе с Ордой. «Умная хитрость в делах воинских — путь к победе», — рассуждал фон Балк.

Он снарядил гонца в Ригу; кроме грамоты князю-епископу, гонец повез грамоту боярину Нигоцевичу.

«Спеши, боярин, к войску, — писал фон Балк Нигоцевичу. — Твой глаз и твой ум нужны нам».

ГЛАВА 3

ПОБЕДИТЕЛИ

Новгородское войско вернулось из похода к невскому рубежу. Ликующими кликами встречал победителей Великий Новгород.

Владыка архиепископ с собором попов в облачении и с хоругвями вышел из Детинца навстречу войску. Впереди возвращающихся новгородских полков — князь Александр Ярославич. На встрече он сошел с коня, приблизился к владыке и опустился на колено.

— Радуюсь, княже, что вижу тебя на Новгороде, — в наступившей тишине громко и отчетливо прозвучал тонкий, высокий голос владыки. — Да будет слава тебе и войску твоему, поразившему врагов земли нашей. Аз, смиренный архипастырь и настоятель дому святой Софии, в память победы твоей над войском вражеским, волею Господина Великого Новгорода, сказанною в грамотах веча и совета господ, нарекаю тебя именем Невский, да пребудет оно по вся дни славою тебе и потомству твоему...

— Слава!..

Не слышно последних слов владыки. Их заглушили громкие клики новгородцев и войска.

Три дня звонили колокола церквей и монастырей в Великом Новгороде. Праздновали новгородцы победу своих полков над шведскими крестоносцами.

На городских улицах с утра до вечера полно людей. На Буян-лугу, на Гулящей горке шапке негде упасть. Далеко разносились над Волховом песни голосовые; то протяжные, трогающие за сердце, то игровые, веселые. Не было конца забавам богатырским; пытали в забавах удалые головы свою силу. Чуть примолкнут песни, слышно перебор гуселюшек. Рожками и гуслями, звонкими сопелями зазывали людей скоморошьи ватаги. Не умолкая трещали голоса веселых петрушек.

Где бы ни собрались люди — на вольном ли воздухе, за чашей ли меду, — везде разговоры о походе. Да и как молчать, не сказать о горячей сече со шведами у невского рубежа! Ратники, бывшие в походе, сказывали о том, что сами видели, о чем от людей, от товарищей по походу слышали на пути. Переплетались в рассказах были с небылицами. Остер язычок у молодца, так всякое слово складно.

— Так-то и молвлю я, братцы милые, — начиналась речь. — Кто не видел битвы на Неве-реке, тому на ладошку не выложишь. Люто, во всю мочь и силу свою, бились наши полки. Первым начал сечу головной полк. По колено в крови стояли ратники. Солнце высоко поднялось, печет. В ту пору как выбежал берегом на поле полк правой руки с воеводою Спиридоновичем, день-то, казалось, остановился. Так вот! Неделю сказывай, не расскажешь дива, какое видели очи.

— Страшное было диво?

— Страшное ли? — вздохнул рассказчик. — Страшно вспоминать, а когда бились, страх поодаль стоял.

— Не страшно биться в сече, была бы сила да рука крепкая, — сказал стоявший близ рассказчика молодец в алом кафтане с наборным поясом; сказал и повел темной бровью.

— А что диво, Анфим, молви! — узнали люди в статном молодце Анфима, щитника с Рогатицы.

— Своими очами видел я диво, — щитник вышел впе-

ред, усмехнулся, глядя на раскрытые от любопытства рты слушателей. — Кто силою не обижен, тому легко в бою, а кто мал и неказист, тому свой топор в тягость. Бился в сече молодец удалой, не топором бился — стрелами меткими. Припадет на колено, натянет тетиву — ни одна стрелочка не падет мимо. Есть в Новгороде Великом искусники в стрелецких потехах, но метче стрелы, чем у того молодца, о коем сказываю, не знал я ни в Новгороде, ни инде.

— Уж не свей ли стрелец?

— Не свей. Небось дюжина свеев от его стрел пала на землю. В новгородском полку бился молодец. Пришел он из Карелы.

— Ой, Анфим, неужто там метче новгородских лучники?

— Может, стрелы завороженные у того молодца? Люди в Карелe не нашему, своему, лесному богу молятся.

— Заворожить бы твой язычок, Офоня, то-то бы ýкладно молвил.

— С Офоней говорить — решетом воду лить, — пробиваясь сквозь плотную толпу вперед, скороговоркой прочастил Омоско-кровопуск. — Кланялись бы Офониной чести, да язык у Офони на сыром месте. Молви, Анфим, — Омос остановился перед щитником. — Каким ремеслом промышляет тот молодец?

— Князь он тамошний. Охотник, метко бьет зверя.

— Коли так, то и дива нет. Глаз у молодца по звериному следу наметан.

Близ Мстиславова дуба на колоде сидит Игнат-гвоздочник. Он в красной рубахе с узенькой плетеной опояской; волосы расчесаны, борода ровная, словно кужель у прядеи-мастерицы. Лишек меду выпил вчера Игнат, нынче хоть и опохмелился, но голос у него осип; говорит Игнат покашливая:

— Шагал с нами в походе ратничек... Кх! Ростом — верста немеряная; я не мал, а он на полголовы меня выше. Смеялись над ратничком в походе: «Эко, мол, чадушко! Рос — с елками в бору мерялся, троим положи бог столько росту — не обиделись бы». Шел детинушка на встречу с недругом, а на плече нес не копье, не рогатину — игрушку, топоришко легонький. Лезвие у топора

изогнуто навроде молодого месяца. Только и виду у топоришка — ратовище, схваченное кольцами, длинное, как у рогатины.

— Откуда взялось экое чадушко? — усмехаются вокруг.

— Сказался со Мшаги, кузнец тамошний, — прокашлялся и ответил гвоздочник. — Ратники смеялись над его топориком, а он хоть окрысился бы на кого, скалил зубы вместе со всеми. О моем топорике, говорит, после битвы слово будет. А в битве, кто смеялись над ратником, прикусили язычок. Правду молодец молвил. При моих глазах махнул он топориком, вражий шелом рассек надвое. Не поломался, не погнулся топоришко, будто не железо рубил. Александр Ярославич видел в бою ратника, хвалил его. Добро бы, сказал, всем кузнецам такие, как у этого молодца, топоры ковать. Может, сила хитрая скрыта в железе, может, колдовство — не скажу про то, не ведаю.

— Хитры наши кузнецы! — прозвучал голос.

— Хитры-ы!

— Чьим копьем — заморских мастеров аль новгородского изделия — бился Ярославич с правителем свейским?

— Наших мастеров копье. Страшко ковал.

— Вправду?

— Почто врать? Страшково копье держал Ярославич. Правителя свейского с поля унесли замертво.

— Не сказка ли? Сам ты, Игнат, видел, как несли свея?

— Не сам, а знаю. Верные люди сказывали.

— Слыхали и мы от верных-то людей небылицы в лицах... То-то долгие, то-то гладкие.

— Дурак, коли не сумел отличить от вранья правду, — в толпе кто-то резко и грубо оборвал черномазого детину в серебряном поясе, напомнившего о небылицах. — В гридях болярских ходишь, а почто сам отлынил от похода, голову свою берег...

— Жаль небось головы-то, — засмеялись.

— А почто жалеть, коли пустая... Видел я, братцы, бой Александра с правителем Биргером... Не небылицу люди молвили, а быль.

Все глаза обернулись на того, кто сказал, что видел поединок. Узнали — Устин. Стоит он с нахмуренным челом, руку, оцарапанную шведским копьем, держит на рушнике, перекинутом через плечо. Он только что подошел к толпе, слушавшей рассказ гвоздочника, и, услыхав речь гриди, рассердился.

— Устин! Выйди-ка вперед, покажись! И о твоих подвигах рассказывают сказочки.

— От сказок я не вырасту, а в бою, как и все, бился.

— Видел поединок княжий?

— Привелось, близко был.

— Скажи, пал свей с коня?

— Пал. В чело шелома угодил ему копьем Ярославич.

— А Миша-ладожанин, сказывают, кораблики свейские ловил?

— Ловил. Целехоньких взял три кораблика, а много и по воде пустил. На большом корабле бился один с вражьей оравой.

На разные лады, по-разному складываются сказы о битве.

И воины и мирные люди с грустью вспоминали старого воеводу Ратмира. Видели Ратмира в битве, видели и лежащим в поле, среди павших от его меча шведских латников, и все же... Сил нет верить тому, что не покажется больше ни на улицах новгородских, ни на вечевой степени, ни на Буян-лугу бехтерец и кованый шелом воеводы. Вспоминали Ратмира и те, кто любили его, и кто врагом своим почитали, — вспоминали добром. В битве за Русь славною смертью пал витязь.

Храбро рубился в битве Гаврила Олексич. Молод, горяч, но слава Олексичу на Новгороде не за то, что мечом и копьем искусно владеет, что друг он князю, что отличал его воевода Ратмир среди других воинов. Храбрость не удивляла: славны храбростью и умением биться витязи новгородские! За то слава Олексичу, что сражался с воинами и оруженосцами Биргера, уносившими на ладью правителя, что, гонясь за Биргером, искупался в глубокой невской воде. На отрока Савву, из учебной палаты с Нередицы, показывали пальцами люди, говорили: «Это Савва... Борода еле проступила

у молодца, а в сече он, как муж. Опоры у Биргерова шатра подрубил».

Старосты ижорских людей Пелгусия раньше имени не слыхали новгородцы, а теперь оно у всех на устах. В летах Пелгусий, борода у него седая: дивно казалось, как Пелгусий с ватагою гулял на Невской протоке, как рубил и топил вражеские ладьи.

На исходе вторая неделя со дня встречи войска. Слава и почетное прозвище «Невский», которым встретил его Новгород, поднимали в душе Александра гордое сознание величия дела, которое совершили новгородские полки. Казалось, только теперь, в Новгороде, понял он значение победы над крестоносцами Биргера. После битвы и на походе, возвращаясь с ратного поля, Александр гордился победой, но то была гордость юноши, преодолевшего смертельную опасность, которая встала на его пути. Он молод, храбр, возвращается победителем из похода — чего же больше желать ему? До встречи с Биргером, как полагали люди и против чего не стал бы возражать Александр, сила его и власть опирались на силу и незыблемость власти отца, великого князя владимирского. Теперь слава сопутствовала Александру, новгородцы увидели в нем не только сына Ярославова, но сильного мужа, стоявшего во главе полков, защитивших от нашествия врага новгородские рубежи.

В первый же день по возвращении в Новгород Александр долго беседовал с ближним своим боярином Федором Даниловичем. Беседа касалась посылки гонца во Владимир, к князю Ярославу Всеволодовичу, с известием о победе. Александр высказал самонадеянную мысль, которую хотел выразить в грамоте отцу, что после Невской битвы Новгороду не грозит опасность нападения шведских крестоносцев, что урок, полученный ими на Неве, охладит пыл к походу на Новгород и у рыцарей-меченосцев и у римских попов. Александр не ожидал возражений Даниловича, говорил горячо; в голове его еще не улеглась память о дне битвы. Федор Данилович, ни разу не прервав, выслушал все, о чем сказал Александр, но вместо того, чтобы одобрить слова князя, заговорил хитро, будто заглядывая вперед:

— Истинно молвил ты, княже. Бегство свеев перед твоими полками — урок врагам Руси, но время ли нам кричать о том? Мыслю я, ливонские лыцари, а тем паче попы римские не оставят давних своих надежд о походе на Новгород. Войско лыцарское под Изборском. Поработили лыцари ливонские племена, смущают людей в нашей Водьской пятине. Орда не тронула Новгорода, но кто молвит, что не вернется хан, не пойдет боем и не потребует покорности?

— Не страх ли говорит твоими устами, болярин? — сказал Александр. — Хан далеко, ливонские лыцари ведают о нашей битве со свеями, нужда ли ожидать ливонцев к Новгороду?

— Тать и разбойник нападает, когда его не ждут, княже, — усмехнулся Федор Данилович. — Нам ли о том не памятовать! Вели нынче ехать мне во Владимир.

— Нет Ратмира, не будет и тебя в Новгороде, болярин Федор.

— Авось недолог сложится путь. О месяце сроку вернусь.

— Поезжай! Чаю, и батюшка рад будет видеть тебя.

Незаметно шли дни. После отъезда Федора Даниловича Александр был на совете господ в Грановитой. Бояре-вотчинники, старые посадники и тысяцкие, держали себя чинно, никто из них словом не нанес на князя. Не в пример прежнему, и между собой сидели тихо, не спорили, не бранились.

За мужество, оказанное в битве, Александр взял в младшую дружину отрока Савву. Чернец Макарий хотя и сетовал, что не увидит в учительной палате способного и прилежного ученика, но не перечил.

— Савва будет ладный отрок в дружине, — молвил. — Слух был, княже, о мире твоем с вотчинными болярами... Жаль, не пророк я, не предскажу, когда вотчинники вновь покажут свои когти.

— А если нет?

— Тому не бывать, — убежденно произнес Макарий. — Молчат, пока громка твоя слава, а попритихнет — вспомнят они о «старых грамотах»[1].

---

[1] Грамоты о власти и правах вотчинного боярства в Новгороде.

ХАНСКИЙ ПОСОЛ

Легче, чем с Федором Даниловичем и Макарием, дышалось Александру с Гаврилою Олексичем. Как и Александр, гордился Олексич победой над свеями, тем, что стар и мал знают его нынче на Великом Новгороде.

— Счастливо ты искупался в Неве-реке, Олексич, — вспоминал Александр. — Слава твоя затмила славу войска.

— Ради смеху слава.

— Полно! Где смех, там веселье и ласка.

— Кому меня ласкать, княже...

— Вот как! Уж не забыл ли ты хоромы на Нутной? — рассмеялся Александр. — Не заросла ли травой дорожка к молодой вдове?

— Не заросла, а...

— Коли не заросла, так веди в гости! — перебил Олексича Александр Ярославич. — Авось, веселое слово услышу, да и на вдову твою полюбуюсь... Пара ли молодцу? Не зазорно ли ближнему дружиннику моему бывать у нее в хоромах?

— Когда велишь, княже?

— Ввечеру нынче. Пожалуй, заранее кликни ей, припасала бы мед для гостей незваных.

Вечером, до полуночи, пировали в хоромах у Славновны. Нагрянула ватага дружинников, только ставь на стол еду да питье. Славновна убралась к приходу гостей, ходит по горнице белым лебедем, рада: ну-ка, сам князь с ближними переступил порог в ее горницу! Одно печалило Катерину Славновну: не остался сокол ее залетный ночь коротать в хоромах.

На другой день Олексич, еще ранние обедни не отпели попы, разбудил Александра.

— Вставай, княже! Весть тебе превеликая.

Спросонок Александр не сразу понял, что говорит Олексич.

— Отстань! Знать, вчерашний хмель не выветрился у тебя... Умойся студеной водой, отойдет.

— Не о хмеле речь, Александр Ярославич, — не уни-

мался Олексич.— Спал бы и я, да разбудили не вовремя. Ордынский посол прибыл на княжий двор.

— Бредишь. Откуда быть ему?

— Так-то и я думал, княже, пока своими глазами не увидел ордынянина. Сам конно и с ним полторы дюжины конников.

Как рукой сняло с глаз сонную одурь. Александр вскочил, шагнул к окошку, но оттуда не видно двора. Не зная, зачем посол прибыл в Новгород, Александр велел Олексичу принять его, звать отдохнуть с дороги, а после обеден провести в гридню, буде ханский посол сам того захочет.

Олексич вышел. Но не минуло и получаса, как он снова вернулся в горницу. Александр в домашнем кафтане, с непокрытою головой, распахнув створку окошка, смотрел на густую зелень кленов и лип, ограждающих княжий терем. На скрип двери он круто повернулся и, увидев Олексича, нетерпеливо спросил:

— Говорил с ордынянином?

— Говорил, княже. Хочет он видеть тебя.

— Уж не выйти ли мне навстречу? — усмехнулся Александр. — Сказал ты, что он не в Орде, а в хоромах князя новгородского?

— Не слушает он слов, грозит волей хана.

— А нам ли слушать ханскую волю! — потемнев лицом и с трудом сдерживая гнев, произнес Александр. — Новгород Великий и князь новгородский не просили милости хана, и страха у нас нет. Буду говорить с ханским послом, как сказал, после обеден. А пока пусть отдыхают ордыняне. Укажи им место на нашем дворе, где жить, и дай корм!

Как ни кричал и ни сердился посланец хана, Александр сдержал слово, не принял ордынянина. Разгневало его упрямство ханского посла, то, что грозил ордынянин ему, князю новгородскому, волей хана. Разве не слыхал он о битве на Неве? Был в Новгороде посол Биргера, грозил полоном и смертью. Правитель шведов поплатился гибелью своего войска...

Все утро Александр не притронулся к еде. Собрался было в терем к княгине, но на полпути передумал, не пошел. Даже там, в тереме у княгини, спроси она об

ордынянине, Александр не смог бы сдержать себя, выдал бы свой гнев и свою тревогу.

Готовясь к встрече с послом, Александр от души пожалел, что отпустил во Владимир ближнего боярина. Федор Данилович нашел бы, чем образумить ордынянина и принять его так, чтобы не пострадали ни слава, ни честь князя. Посоветоваться с Олексичем? Но он, как и все дворские, хорош дома, в домашних делах, но нет у него того спокойствия и рассудительности, которыми отличается Данилович. Среди бояр-вотчинников в совете господ и на владычном дворе есть умные головы, но не рано ли советоваться с ними, не узнав, какую весть шлет хан? Дадут совет, а после не стали б кичиться тем, что без них не смог князь говорить с ханским послом. Посоветоваться с гостиными людьми и с ремесленными, вече созвать, но и времени нет на то, и нечего пока сказать вечу. В конце концов Александр решил: «Послушаю, что молвит ордынянин, а сам молвлю, что молвится».

После обеден Александр вышел в гридню. Княжая круглая шапка покрывает его голову, синий кафтан туго перетянут княжим золотым поясом.

Окинув взглядом ближних дружинников, Александр прошел на свое высокое место и велел Олексичу ввести посла.

В парчовом распахнутом халате, из-под полы которого виднелась рукоять кривой сабли, в островерхой, жесткой, как луб, бараньей шапке, мягко ступая по ковру неподкованными, без каблуков, тонкими зелеными сапожками, посол приблизился к месту Александра. Он передал князю ханскую грамоту, потом, приняв от оруженосца саблю со сверкающей золотом и самоцветными каменьями рукоятью, поднял ее обеими руками и положил перед князем.

— Могущественный хан Бату, повелитель многих земель и многих народов, — начал он, — велел передать дар свой тебе, князь. Могущественный хан, покорив Русь, вступил ныне в землю угров; он послал меня в улус свой Новгород и к тебе, князь, чтобы сказать: почему Новгород не шлет своих послов к хану, не согревает сердца светом очей могущественного повелителя? Не поклонится новгородский улус миром, пошлет хан

войско, разорит непокорный улус, не оставит камня на камне от жилищ ваших. Решай, князь, быть ли улусу новгородскому и тебе покорными повелителю мира или положишь меч и огонь на город свой?

Пока говорил ханский посол, лицо Александра то бледнело, то яркая краска заливала щеки. Казалось, вот-вот вскочит он, гневным словом остановит посла, велит или бросить его в поруб или гнать из города. Но Александр молчал. Уже посол давно кончил говорить, Александр все еще сидел неподвижно, точно скованный словами ордынянина. Но вот он поднялся, наступил ногою на саблю, положенную перед ним ханским послом.

— Спасибо хану за то, что не забыл он землю нашу, — сказал. — Жаль, неведомо, с какой поры величается ханским улусом Великий Новгород? Не ослышался ли я или не ошибся ли ты словами, посол хана?

— Не свои слова, а повеление могущественного повелителя передал я тебе, князь.

— Известно ли хану, что недавно полки новгородские поразили и иссекли в битве сильное войско короля свейского? В той битве не просили мы у хана ни помощи, ни совета. О том, как быть, после скажем и ответ свой дадим хану. А тебе, послу ханскому, рад Новгород. Гости вольно!

ГЛАВА 5

ТУЧИ НАД НОВГОРОДОМ

Весть о приезде ханского посла разнеслась по городским концам. На торгу и в хоромах передают из уст в уста:

— Ханским улусом назвал ордынянин Великий Новгород, требовал дани.

— Ой, да как же? Кому дань-то?

— Им, улусникам... Орде окаянной.

— Врут. Статочное ли дело кланяться Орде?

— Истинную правду сказываю.

— Правда-то с кривдой — родные сестреницы. Молвишь правду, а ей тесно. Обежит все избы да снова

к тебе в дверь... Такая-то разукрашенная, что не признаешь.

— Побожился бы, да ведь душу на ладошку не выложишь.

— А улусом почто звал? Не улус Новгород — Господин Великий.

— То ханское слово.

— Неужто Ярославич без гнева слушал, как ордынянин поносил перед ним Новгород?

— Слушал.

— Не велел схватить ордынянина, не выгнал из города?

— Нет. Живет ханский посол на Новгороде без обиды.

Не знали новгородцы злее вести, чем эта. Боярин Стефан Твердиславич долго ломал голову над тем, что велел хан своему послу сказать Великому Новгороду. И обида тяжко давила и сомнения тревожили. Не легко подняться из дому, но все же собрался боярин к куму Лизуте. Хитер и умен боярин Якун, уж он-то рассудит; коротка ли, длинна ли речь — Якун Лизута каждое слово добела обсосет.

Тоньше думы и мысли яснее, когда на столе ендова с медом, когда первые чаши опрокинуты, первым заедкам оказана честь.

Начал речь Твердиславич издалека, посетовал, что на старости остался он в одиночестве. Знал бы о скором походе, не послал Андрейку на Ладогу.

— За грехи, знать, покарал меня бог, Якуне, — вытерев рушником сухие глаза, сказал Стефан Твердиславич. — Как услышал весть, что сгиб Ондрей в битве, чую, ноги подсекло. Один у меня был Ондрей, кому оставлю вотчины? Кому хоромы и все добро, кому имя свое передам?

— Почто о худом думать, Стефане? — Лизута привстал и, выражая сочувствие горю кума, придвинул ближе к нему ендову. — Пережил я, Стефане, эти горя: дочь свою, по грехам моим, схоронил в черный год и болярыня моя тоже вот... Страдает.

— Годов своих страшусь, Якуне. Не спохватился вовремя, как схоронил покойную болярыню... На Ондрия была надёжа.

— Годы не укор, Стефане. У старого дуба корни крепче, так сказывают.

— Куда уж! Корни в земле, Якуне. Сломит буря вершину, и корни сгинут.

— А ты не поддавайся. И я жалею Ондрия... Крестник мой. Да ведь из жалости кафтан не сошьешь... У кого коротка жизнь, у того и грехов меньше. Чист Ондрий предстанет, как голубь...

— Род, род мой угас, — продолжал сетовать Стефан Твердиславич. — Последний я Осмомыслович. Копил и приумножал добро в поте лица, а тут — все прахом! Горько думать о том, Якуне!

— Испей-ка меду!.. Хорош мед, крепок. Намедни с Мологи, из моей вотчины тамошней, привезли... Ты о житейском тревожься, Стефане, оно ближе. За житейскими тревогами отойдет горе.

— Тревожусь, зело тревожусь... К слову бы молвить: ордынского хана послишко нынче на Новгороде... Не пойму, почто терпим?

— Истину молвил, терпим, — Лизута, прищурясь, поднял глаза на кума. — Прежде иноземные послы Великому Новгороду били челом, а хан забыл о Новгороде, князю писал грамоту, и слово посла было князю.

— Ну-ну, как же так, Якуне? — притворно изумился Твердиславич, будто впервые услышал о грамоте.

— Не видел хан Новгорода, неведомы ему и обычаи новгородские, — ответил Лизута. Потом, склонясь вперед, точно из боязни, что кто-то может услышать его, зашептал: — Суздальские князья, Стефане, не ищут ли покрыть протори свои за счет Великого Новгорода?

— Можно ли так-то?

— Почему не можно? Почему бы иначе-то хану писать грамоту не Новгороду Великому, а князю?

— Растревожил ты меня, Якуне, своими речами, — Стефан Твердиславич неловко заерзал на лавке и, словно вдруг стало душно ему, расстегнул шубу. — Небось князь-то Александр не встанет супротив отца?

— Не жду того и не льщусь, — уклонился от прямого ответа Лизута. — Александр высоко голову держит. Которую неделю в городовых концах слышно его имя. Мыслю, Стефане: послишко-то ханский не на руку ли Новгороду?

— Не домекаю.

— А ты домекни! Александр молод. После битвы со свеями да как Невским всенародно назван, гордость его стала превыше разума. Хан в грамоте своей, слышно, извеличал Александра своим улусником. Любо ли этакое величание?!

— Не любо. Доведись меня...

— Сказывают, Александр то и сделал, — не слушая Твердиславича, продолжал Лизута. — Напомнил послу, как новгородские полки иссекли свейских крестоносцев. Вот и суди, Стефане: по гордости-то по своей примет ли Александр покорность хану?

— Не знаю. Не молвлю наперед.

— Не примет, — отвалясь на лавке, усмехнулся Лизута. — И на пользу это нам, Стефане.

— Чем?

— Кинь-ко умом! Не покорится Александр хану — от хана зло примет; окажет покорность — Великий Новгород не возьмет улусье. Вече созвоним, пусть Александр скажет, как он волю новгородскую за ханские посулы отдал. Не близко ли, Стефане, времечко, когда увидит Новгород княжий поезд за городским острогом?!

— Такое-то сталось бы!..

Неделя прошла, как живет в Новгороде ханский посол. Все эти дни Александр не видел его. Олексич передавал: сердится ордынянин, ждет ответной грамоты. Александр велел дать в подарок послу меха куниц и черных лис, не жалеть меду и мальвазеи... Пусть ждет.

Послание хана больно уязвило самолюбие Александра. Ему ли, гордому князю, признать себя улусником? При одной мысли об этом охватывал гнев. Но Александр помнил развалины городов русских, знал силу Орды и потому сдержал себя, не посмеялся в лицо ордынянину, не изгнал его и его конников из города.

Не из страха перед ханом поступил он так, не себя жалел. «Погибну, кто рад будет гибели моей? — спрашивал Александр себя. — Вотчинники да об руку с ними лыцари ливонские. Тем, что ляжем костьми, не отвратим бед. Жесток и силен хан. Вернется на Русь войско ордынское — разрушит оно Новгород. Кровью людской

потечет Волхов, пепел и камни останутся на месте славного города».

Душен и тяжел спертый воздух в горнице. Неподвижно стоят за окном клены и липы. Тронутая кое-где желтизной зеленая листва их бессильно поникла, словно увядшая. Доносится шум торга, и как будто вместе с этим шумом струятся в горницу запахи избяного дыма, перегретого дегтя, стоялых вод, — запахи изнывающего от жары города.

В переходе скрипят под ногами рассохшиеся половицы. В светлице княгини, куда вошел Александр, полумрак. Теплится огонек лампады перед темным киотом.

— Параша!

Княгиня поднялась навстречу. Просторный летник скрывает ее полноту. Жемчужные рясы ярко оттеняют вспыхнувший румянец щек.

— К тебе, Параша, спросить хочу...

— Что я молвлю, — улыбнулась княгиня.

— Ты сядь! Почто стоишь, — Александр осторожно обнял и усадил на мягкую лавку Прасковью Брячиславовну. — О большом деле хочу сказать, — продолжал он. — Трудно мне. Как вернулось из похода войско — весел я был, радовался и гордился тем, что от моих полков приняли поражение крестоносцы, что сам я поразил в битве правителя свейского. Думалось, ничто не в силах омрачить радость. Не верил я болярину Федору, когда, собираясь к батюшке, говорил он мне о новых вражеских кознях... И вдруг... Не стало у меня радости. Ордынский хан улусом своим назвал Новгород, покорности хочет. Скажи, Параша, улус ли Новгород?

— Ах, Сашенька, скажи тому послу, что ты князь... Ехал бы он прочь. И мне ли думать о хане? Видишь я какая... Скоро уж...

— Да, скоро, — как бы не поняв того, что сказала княгиня, хмуро повторил Александр.

— Не сердись, Сашенька! Не могу я о чужом думать. Не знаю, что будет со мной... И рада я и боюсь.

Александр молча обнял княгиню. Хотелось успокоить ее, сказать, что напрасно она тревожит себя, но как сказать об этом?.. Пришел, напугал речами...

Встревоженный вернулся Александр к себе. Как быть? Надо решить и сказать свое решение ханскому

послу. В открытую оконницу откуда-то издалека, будто с Волхова, доносится песня, где-то кричат лоточники; на дворе, у княжей вежи, играют в рюхи дружинники.

Александр постоял у окна, послушал. Город живет, как и жил. Александр развернул плечи и потянулся с такой силой, будто тяжел и тесен вдруг стал ему легкий домашний кафтан.

В горницу неслышно вошел отрок. Он помялся у двери, видя нахмуренное чело князя, и молвил:

— Болярин Федор Данилович возвернулся, княже.

— Данилович? Где он? — Александр поднял голову.

— Возок его на дворе... Видел болярина и голос его слышал.

— Иди к нему и скажи: как отдохнет, шел бы не в гридню, а, по-домашнему, в горницу.

ГЛАВА 6

РЕШЕНИЕ

Ближе к сумеркам, когда пора было зажигать свечи, в горницу вошел Федор Данилович. Истово перекрестясь в передний угол, поклонился князю.

— Поклон тебе, княже, от батюшки, князя Ярослава Всеволодовича, и от матушки-княгини, — сказал он. — Доволен батюшка победой твоей над свеями, вечную память молвил он воеводе Ратмиру. Прозвище Невский, нареченное тебе Великим Новгородом, великий князь принимает. Велел он так писать тебя в грамотах.

— Спасибо за поклон, болярин. Не ждал тебя скоро из Владимира.

— Путина была не гладка, Александр Ярославич, помаялся, — ответил Федор Данилович. — Тряско в возке, а я спешил, чтобы ордынского посланца застать в Новгороде. Великий князь Ярослав дал тебе грамоту.

Боярин достал из-за пазухи свиток с княжей вислой печатью и передал Александру.

— Здоровы ли батюшка с матушкой? Как живут люди на Владимире? — спросил Александр, принимая свиток.

— И батюшка, князь Ярослав, и матушка-княгиня, как уезжал я, пребывали в добром здравии. Матушка наказывала, впредь, как случится тебе быть в битве, берег бы себя... Обстраивается стольный Владимир: ограду поставили в кремнике, избы — в городе и на посадах рубят, торг стал людный, и обозы идут по дорогам. На пути видел много селений и займищ... Крепкие избы ставят жители, из кремневого лесу. Новые места обживают. Едучи, смотрел я, Александр Ярославич, и душа играла. Живет Русь! Не погибла. Страшное ордынское нашествие претерпела, а живет.

Александр развернул свиток. Медленно, останавливаясь и повторяя слова, чтобы лучше уяснить себе смысл их, читал он послание отца. Федор Данилович сидел молча. Глаза его внимательно следили за выражением лица князя. По тому, как легкая улыбка трогала губы Александра или вдруг сухо сдвигались брови, боярин видел — не всем доволен Александр в послании. Наконец он оторвался от грамоты, поднял взгляд на ближнего боярина и молвил:

— Пишет батюшка — не искать распри с ханом. Говорил ли о том он с тобою, болярин? Так ли, как надо, я понимаю послание?

— Так, княже, истинно.

— Хан — враг Руси! — сдвинув брови, глухо вымолвил Александр. — Грозит он гибелью Новгороду и людям новгородским... Легче мне поднять меч на хана, чем пить с ним чашу дружбы.

— Узнаю твой голос, Александр Ярославич, — с прежним спокойствием произнес Федор Данилович. — И я бы так молвил. Твое слово — слово витязя. Но слово витязя — не княжее слово, — боярин немного повысил голос, выдавая тем, что речь Александра его взволновала. — Честь и гордость князя в мудрости, в чести земли своей. То, что горько принять витязю, князю может стать нуждою неотъемлемой. Великий князь Ярослав не советует тебе искать распри с ордынянами, и дружба с ними не в пору. Но сильна Орда. Не настало время, не накоплены силы Руси, чтобы выступить противу.

— Не стать ли, болярин, нам улусниками ханским-

ми? — нетерпеливо, с обидой в голосе, перебил Даниловича Александр. — Не пойму тебя нынче.

— А я ведь не загадку, простое слово молвил, Александр Ярославич, — сказал боярин. — Хан далеко. Слышно, переступил он рубежи угорские. Грозит нам? Да. Но не он поднял сегодня меч на Новгород, а латинские крестоносцы.

— В чем твой совет? — все еще недовольно, но без прежней горечи, спросил Александр. — Отпустим с добром и волей ордынянина, что молвят люди? Не по праву ли назовут нас улусниками?

На губах Федора Даниловича показалась усмешка.

— Долга беседа предстоит, Александр Ярославич. Вели принести меду чаши. И я краснее молвлю, и тебе легче слушать.

Александр хлопнул в ладоши и велел отроку, вбежавшему на зов, принести мед.

— С юных лет твоих знаю тебя, Александр Ярославич, — начал боярин, пригубив чашу. — Быстр ты в делах и умом зорок, ведаешь без моего совета: постоим перед латинскими крестоносцами — обережем веру, язык свой и обычаи, не постоим — хуже ордынской брани примем беды от латынян. Жесток хан, не жалеет он крови, но то, что приняли от немецкого лыцарства на Западе славянские племена куронов, лютичей и прусов, по лютости своей горше ордынского разорения. Захватывая чужие земли, лыцари истребляют мужей, жен, старцев и младенцев; никому нет пощады. А церковь римская благословляет страшные дела их как подвиг. Отцы и учители церкви латинской, вроде цистерианца Бернара из Клерво, призывают к истреблению племен славянских, не подчинившихся Риму. Того ли ждать? Не лучше ли нам не злом отвечать хану, а крепить силу, искать свои выгоды, чтобы одолеть врага, который стоит у рубежа?

Федор Данилович умолк. Александр поднял голову.

— Сказывай все, болярин! Будет ли мир на Новгороде?

— Не всякий мир хорош, княже, — помолчав, снова заговорил Федор Данилович. — Прими ряду вотчинников, княжи на всей воле их — люб станешь всем, кто кичлив богатством своим и родом древним. Но затем ли

принял ты княжение новгородское, чтобы потворствовать хитростям вотчинников, у которых одна забота — не иметь головы над собой, жить в отколе, не держать ответа ни перед Русью, ни перед великим князем? Власть княжая выше власти боляр, Александр Ярославич. Князь ограждает вотчинные права от непокорных смердов и холопов, от тех, кто ищет греха против боярина своего, но суд судится княжей, а не болярской волей. Князю, а не болярам судить тяжбы и протори вотчинные, ведать кормление воеводское и блюсти войско. Не совету господ быть головою и владыкой на Новгороде, а князю. Но сильному князю не ведать мира с верхними. Опора ему не вотчинное болярство, а город, гостиные и ремесленные братчины. Опираясь на город, утверждали в Суздальской земле княжую власть противу старых боляр прадед твой, князь Юрий Владимирович, и дед Всеволод Юрьевич; и тебе так жить, Александр Ярославич.

— А посол ордынский? Отпущу его с миром — не люб стану и городу, гостиным и иным людям, — Александр повторил тревожившую его мысль.

— Может, и не люб, но тем ли решится спор? Встанет против тебя Новгород, будет искать брани, тогда не совет господ, а ты положишь гнев свой на Новгород. Года не минет — будут просить тебя новгородцы к себе на княжение, на твоей воле.

— Одумаются аль люб буду? — недоверчиво произнес Александр.

— Не одумаются и не люб, ливонские меченосцы тебя заступят.

— Не жду того, да и ты давно ли иное говорил, Федор Данилович?

— Противу твоей воли заступят, — повторил свою мысль боярин. — Не влюбе меченосцам встреча с тобой и твоими полками, а уйдешь из Новгорода — меченосцы станут у Пскова.

— Так ли? Помню, в былую пору, когда Орда воевала Владимир, ты, болярин Федор, советовал мне не покидать Новгорода. Говорил, что уйду с дружиною, а вотчинники сговорятся с ливонскими лыцарями, откроют им ворота.

— Говорил, Александр Ярославич, — согласился Федор Данилович. — И нынче сказал бы, да сила наша выросла и Новгород по-иному думает. Нынче поход свеев и то, чего ищут меченосцы, тревожит вотчинников, а особливо тревожит владычный двор. Меченосцы не закроют глаз на то, чем владеет святая София. Войдут в Новгород — встанут тогда их замки на вотчинных и владычных землях. Оберегая себя, поклонятся тебе вотчинники.

— Исполнится твое слово: честь и хвала тебе, Федор Данилович, — сказал Александр и, помолчав, добавил: — Но быть ли тому? Уйду из Новгорода, не станется ли горше рознь на Руси?

— Нет, Александр Ярославич. Не будет сильной княжей власти и единой воли на Руси, быть и розни. Дед твой, Всеволод Юрьевич, много положил трудов на укрепление Суздальской земли, на собирание под своим стягом земель дальних и ближних. Детям своим, внукам и правнукам завещал он продолжать дело его; был бы велик род Юрьев в потомках. Не люб тебе мир с ханом и мне не люб. Но прими, дай мирную грамоту, огради себя и Новгород. А как дать ту грамоту, вели мне о том говорить с послом хана. Улещу ордынянина. Дадим обещание, а после нам судить — на чьей воле быть миру.

— Хитро мыслишь, болярин.

— По делу толк, по делу и спрос, — ответил боярин. — Тебе, княже, оберегать и крепить княжее дело на Великом Новгороде. Ты не писал ряды, ныне волен принять ее по обычаю, волен отвергнуть. На даре с волостей живут в Новгороде князь и дружина по старым обычаям, и в даре обычай мы не преступили. Нет в земле Новгородской ни вотчин княжих, ни холопов.

— В том зло и печаль, болярин, что на даре с волостей живем в Новгороде. Не пора ли брать вотчины, холопов садить в них и половников? А поступим так — не миновать распри.

— Не миновать. Не владели князья вотчинами на Новгороде, — стараясь понять, что решил Александр, заговорив о вотчинах, сказал Федор Данилович.

— Да. Не к чести своей — из страха перед боярством не нарушали обычай. За мирные грамоты наши

и не понимая, что испугало его. — Черный мор миновал Новгород, пожаров все лето не слышно...

— Князь... Александр Ярославич уходит.

— На ловища? На Шелонь аль на Мсту?

— Не на Мсту. Не смейся, Онцифире, не о ловищах я... Уходит он из Новгорода; дружина с ним и дворские со княгинею... Уходит всем поездом.

— Нескладное твое слово, Никаноре, — подумав, молвил Онцифир. — Тихо было на Новгороде, ни споров, ни распри... Пустой слух небось?

— Не слух, Онцифире, правду сказываю. От княжего друга, воеводы Гаврилы Олексича, слышал.

— Не посмеялся ли над тобой Олексич?

— Нет, Онцифире, не посмеялся. Кольчужку я вязал ему. Час тому места побывал Олексич в кузне... Оставил у ворот коня, идет; вижу — встревожен, лицо будто огнем палит. Спрашивает: готова ли кольчужка? Через два дни, говорю, наденешь ее на себя, витязь. А он: «Ох, поздно, Никаноре! Дай к полудню завтрашнему!» Заупрямился я... И то молвить, не люблю наспешку клепать колечко. Олексич свое: «Сделай, Никаноре, к полудню, как прошу. Завтра князь поездом, с княгинею и дворскими уходит в Переяславль... Дружину берет с собой».

Онцифир с потемневшим лицом слушал Никанора. Недоверие, с каким он отнесся вначале к словам кузнеца, исчезло. Теперь он, видимо, размышлял: за что разгневался Ярославич на Новгород? Правда, на торгу и в городе по-разному говорили о приезде ордынянина. Многие желали изгнания его, но изгнание послов иноземных не в обычаях новгородских.

— Чем обижен Ярославич? — спросил он. — Молвил о том Олексич?

— Страшно верить, Онцифире, тому, что он молвил. Тот ли уж Ярославич нынче? Возгордился он победой над свеями, так возгордился, что будто не Великий Новгород слово имеет, а он, князь, словом своим решает и суд и волю.

— Смутна твоя речь, Никаноре, — вздохнул Онцифир. — Уходит князь Александр; не следует ли спросить его: был ты, княже, люб Новгороду, почто хочешь жить в нелюбе?

— Мир с ханом взял Ярославич, в том и распря, — резко, точно ему не хотелось или стыдно было упоминать о мире с Ордой, вымолвил Никанор. — Ввечеру вчерашнем начал Ярославич спор с болярами в Грановитой. Сказал, что берет за княжий двор вотчины Нигоцевича, кои нынче за святою Софией; сказал и о мире с ханом. Совет в Грановитой не принял слово князя. Ярославич не стал слушать боляр. «Не любо мое слово Новгороду, то и мне не люб Новгород», — сказал. Были прежде споры и распри у верхних с Ярославичем, душой я стоял за него, а нынче...

Онцифир поднялся с лавки, прошел к двери в горенку Васены, открыл, заглянул туда. Васены нет дома. Под ногами лучника жалобно, будто простонав, скрипнула половица. Онцифир вернулся к столу и, не садясь, срывающимся, глухим голосом сказал:

— Не сладкую весть ты принес, Никаноре. Недавно, как вернулось войско после битвы со свеями, слышал я от князя Александра доброе слово и обещание, что братчины людей ремесленных, как встарь, будут сами судить суд по делу и ремеслу. Неужто изменил слову своему Александр Ярославич? Забыл? Сказал мир с Ордою и суд свой о княжих вотчинах на Новгороде. В горнице, Никаноре, мы не высидим правды, надо людей спросить.

— Вече велишь звонить, Онцифире?

— Повременим. Сходим ко двору Василия Спиридоновича, проведаем, как гостиные люди мыслят.

...Слух об уходе князя и гневе его на Новгород только родился, но уже встревожил жителей. Тихо стало в городе, даже гости на торгу не кричат, как прежде, расхваливая товары. К первому слуху прилипли подслушья. Не о княжем уходе, не о распри князя с боярством вотчинным передают досужие языки... Мутная, мутная течет вода: «Уйдет князь Александр, не обсохнут следы его поезда, как за валом и столпием новгородского острога покажутся ордынские конники». Сказывают, прибежал кто-то из Заильменья, видел он там ордынское войско; движется оно к Новгороду дорогами и по бездорожью.

Шел Омоско-кровопуск к торгу. У Верхнего ряда обступили его люди.

— Где пропадал, Омос? — спрашивают. — Не видно тебя, голос твой забыли.

— Уж не за море ли ходил?

— Чай, и там нужда в кровопусках.

Отмалчивается Омос, не балагурит. Щиплет бороду.

— Есть ли, братцы, нынче язык у Омоса?

— Молви, Омос!

— Сказал бы, — Омос разрешил уста, — да слушать некому. Забежит слушок в одно ухо, хиленькой, тоненькой, будто на ладан дышит. А как вылезет из другого — баской молодец. Чуга распашная, лико румяное...

— Не смешна, Омос, присказка.

— Неведомо, о чем молвил.

— Молвил для себя. О чем говорю, то и дарю. Посмешнее присказка в колпачном ряду, у Офони-колпачника.

— Не замайте Омоса, князя Ярославича собрался он провожать из Новгорода.

— Нынче провожу, завтра колоколами встречу, — сердито напетушился Омос. — У умного серебро в голове, у дурака — ветер гуляет.

— Рыдать тебе, Омос, как Орда ввалится в Новгород, — шипя, огрызнулся чей-то голос.

— Моя голова одна, а одна голова не бедна. Кому рыдать, после о том молвим.

Василий Спиридонович с утра не выходил из хором. Ввечеру сидел Спиридонович, почетный гость, в Грановитой, слышал речь князя. Впервые, как сам помнит, будто чужому внимал. Насупясь, молчали бояре. В конце молвил Якун Лизута: «Гордостью вознесся ты, Александр Ярославич, выше Новгорода Великого мыслишь». Боярин Тулубьев, друг княжий, и тот отвернулся. Не принял совет господ мира с ханом; а наипаче тем обидел Александр Новгород, что сказал о вотчинах Нигоцевича, о том, что берет эти вотчины за себя. Не вотчинник Спиридонович, нет у него ни земель, ни холопов, а услышал — сердце охолодело. Доселе знал Новгород вольных князей; были у них дальние волости, за рубежами новгородскими, а тут — сядет на Новгороде князь, новгородский вотчинник...

От жары в горнице душно. Сбросил Спиридонович с плеч домашний кафтан, распахнул ворот рубахи. Жбан с квасом на столе, но и квас теплый, не идет в горло. Подул бы сиверко, не было б духоты. С полудня решил Спиридонович идти на торг. Авось на людях разойдутся черные думы. Собрался он, затянул поверх кафтана пояс сыромятный, только бы ступить на крыльцо, как навстречу ему гости: дядя родной по покойной матушке, Онцифир Доброщаниц с Лубяницы и с ним кузнец Никанор. Провел Спиридонович гостей в гридню.

— Какою судьбою, люди добрые? — спросил.

Онцифир откашлялся. Насупясь, будто сердит он на Спиридоновича, молвил:

— С докукою к тебе, Василий. Слухи недобрые тревожат.

— Да, время нелегкое.

— Что у гостиных людей слышно? — спросил Онцифир. — Принес мне сегодня весточку Никанор, а дорогою к тебе тоже слышали разные толки... О князе нашем говорят люди.

— Князь уходит из Новгорода.

— Слух аль правда?

— Правда, Онцифире. Слышал ввечеру слово его в Грановитой, и рад был бы не знать того, что услышал. Обиду учинил Новгороду Александр Ярославич.

— Сказывают, принял он ханское улусничество?

— Не улусничество, а мир с Ордой принял и о вотчинах княжих на Новгороде слово молвил.

— Быть ли тому, Василий Спиридонович? — не сдержав себя, вскочил Никанор. — Почто со своими бились, волю держали?

— Не быть.

— Коли так, Василий, то не время ли спросить Новгород? Пусть скажут люди новгородские свое решение.

— Скажут, — согласился с лучником Спиридонович. — Друг мне Ярославич, а нынче я противу него молвлю. Не примет Новгород княжей воли. Созвоним вече. Все улицы и все концы одной речью скажут: слово Новгорода о тебе, князь. Не люб ты нам, уходи!

РАССКАЗ СЕМЕНКА ГЛИНЫ

С того дня как была получена в Риге весть о походе шведов, Борис Олелькович не знал покоя. Он верил в победу шведов, верил потому, что, кроме него, боярина Нигоцевича, некому в Новгороде собирать войско, некому подать совет ратный. Победа князя Александра над шведскими крестоносцами испугала и изумила боярина. Точно свет померк перед ним. Не верил Борис Олелькович суздальским князьям: не их волей жить Новгороду! И то, что Александр собрал новгородскую рать под своим стягом, малой силой разбил шведов, никак не вязалось в думах Бориса Олельковича с памятью о юном княжиче, было противно всему, во что верил боярин, что служило отрадой ему в изгнании. «Ох, грехи, грехи! — размышлял Олелькович. — Правду люди сказывают: «Хорошая-то весточка пешечком бредет, а худая скачет на борзо́м коне».

И под Изборском не сладко. Ливонское войско у стен города, а город не склонился, не открыл ворот.

Весел был Нежила, когда выступали в поход меченосцы.

— К половине лета будем на Великой, осударь-батюшка, — несчетно раз повторял он. — К Спожинкам, даст бог, услышим звон у Троицы, а может, и у святой Софии.

Борис Олелькович и сам радовался походу фон Балка, но все же мягко, по-родственному, вразумлял зятя.

— Твоими бы устами, Нежила, да мед пить, — говорил он. — Не рано ли загадываем? Не близок путь до Новгорода.

— Ближе, чем думают о том в Риге, — отстаивал свое Нежила. — Командор фон Балк храбр, устоять ли кому противу него! Не пора ли, осударь, и нам браться за оружие...

Поражение шведов остудило Нежилу. Борис Олелькович молчал, не говорил с зятем; боялся — не поймет Нежила его дум. Гордиться бы боярину Нигоцевичу нынче силой Руси, свысока бы глядеть на заносчивых рыцарей, а он не рад победе. «Накрепко сядет в Нов-

городе Александр, — думал он. — Дождусь ли времени, когда откроется мне путь на Русь, к богатству, довольству прежнему?»

— Ох, грехи, грехи! — вздыхал боярин.

Неужто старость пришла? Не зорок стал Борис Олелькович, не находчив. Верил в то, что еле-еле держится на новгородском столе князь Александр, а он — крепче крепкого.

Как-то утром Борис Олелькович еще потягивался на перине, когда в горницу к нему постучался Нежила.

— Не гневись, осударь-батюшка, — поклонился он. — С доброй вестью к тебе.

— О чем весть? — насторожился боярин. — Не Изборск ли открыл ворота? — высказал догадку.

— Нет, не об Изборске молвлю... Поп наш, отец Симеон, возвернулся из Новгорода.

— Семен?! — боярин, точно подтолкнули его, спустил ноги на пол.

— В хоромах он. Ждет твоего повеления.

— Зови!

Борис Олелькович так обрадовался возвращению Семенка Глины, что, забыв и годы и степенство свое, готов был выйти ему навстречу. Нежила отступил за дверь. Оставшись один, боярин встал, выглянул в оконницу... На улице моросит муторный, мелкий дождь. Боярин отвернулся, надел домашний кафтан, окинул взглядом горницу. Взгляд его задержался на образе «Знамения».

— Милость божия, — промолвил. — Наконец-то вести из Новгорода... Ну, где Семен?..

Открылась дверь. В горнице показался исхудавший, с резко очерченными темными кругами глазниц Семенко Глина. Он, видимо, так спешил к боярину, что не успел снять ни скуфейки, ни крашенинного, с проторинами на локтях, дорожного зипуна.

— Отче Симеон! — боярин ступил навстречу.

Широко крестясь, Семен положил троекратный поклон перед «Знамением».

— Буди здрав, осударь-болярин, надёжа Великого Новгорода! — отмолясь, гнусаво, по-келейному, проголосил он. Дрожащими от волнения пальцами Семен извлек спрятанный на груди узелок, развязал его и поло-

жил перед Борисом Олельковичем черствую, жесткую, как черепок, заздравную просфору. — От святой Софии за твое здравие, осударь, проскурочка, — промолвил он. — Владыка архиепископ пожаловал.

Боярин принял просфору. Прикоснувшись губами к тому месту на ней, где оставило след «копие» владыки, положил дар на холщовый налойчик перед образом и сказал:

— Спасибо, Семен! Небось притомился на дальнем пути, не след бы тревожить тебя расспросами, после скажешь, но одно поведай: кого видел на Новгороде, передал ли мои грамоты?

— Не суди, осударь-болярин, — начал Семен. — За великою радостью, что довелось возвернуться здраву к тебе, забыл я молвить о делах новгородских. Жил я в Великом Новгороде милостью владыки. Принял меня в хоромах своих святитель, спрашивал о здравии твоем, взял грамоту и ответ дал.

Он спеша, так что оборвал крючки, распахнул зипун, порылся за пришитой изнутри тряпицей, достал из-за нее свиток.

— Хоронил и берег, осударь, — подавая свиток боярину, сказал он. — От владыки грамотка тут и от боляр.

— Каково жил в Новгороде? — спросил боярин, принимая свиток.

— Хорошо, так-то уж хорошо! Владыка архиепископ велел давать мне корм, житье положил тихое. Ждут, ой ждут тебя, надёжа-болярин, у святой Софии. Велика радость будет на Новгороде, как услышат там о походе твоем.

Боярин, не перебивая попа, развернул свиток, взглянул на грамоты.

— Приведется, Нежила, брать указку, — сказал он стоящему молча зятю. — Прочитаем ужо... От владыки грамота и от боляр Якуна и Стефана... Пресвятая-то богородица Знамения заступила меня, как в явление свое заступила Новгород от суздальских полков князя Андрея Юрьевича.

Борис Олелькович поднял глаза на образ и прослезился.

Положив свиток на налойник, рядом с просфорой, боярин обернулся к Семену и хотел было отпустить его,

но тут вспомнились черные думы, которые томили ночью. Насупив брови, молча, тяжелым взглядом уставился он в лицо попа, точно желая заранее знать: скажет тот или умолчит, не откроет правды.

— Видел ты, отче Семен, Новгород, слышал слово владыки и боляр, скажи... — начал он и помолчал, точно задохнувшись. — Правду скажи, не ври, — предупредил. — Велику ли власть держит ныне в Новгороде князь Александр? Небось петухом ходит?

Нежила с беспокойством взглянул на попа: а вдруг тот ненароком вымолвит неугодное слово в похвалу Александру?

Семен ответил не сразу. Он запахнул зипун. От зоркого взгляда его не укрылось волнение боярина, в ушах звучал встревоженный, запинающийся в словах, нетерпеливый голос.

— Очи мои не зрели и уши не слышали славы Александру, — смяв в руках скуфейку, сказал он. — О ту пору, как поход на свеев начался, ушел я из Новгорода, но в пути, будучи в земле Новгородской и на Пскове, поражен был толками о битве у Невы и льстивыми восхвалениями Александру. По первости не верил я славословным речам, темная вода их лилась и бурлила, не отличишь, в чем правда, в чем ложь. Во Пскове, в Мирожском монастыре, от тамошних старцев узнал я, осударь, истину. Сказал Новгород славу Александру; колокола звонили ему и Невским он возвеличен.

В глазах боярина вспыхнули желтые огоньки. Он тяжело дышал, но Семен, как бы нарочно, говорил медленно, тягуче, словно наслаждаясь тем впечатлением, какое речь его произвела на Бориса Олельковича.

— Как ты мог молвить мне этакое? — остановив его, прошипел боярин.

— Истину сказываю, осударь, — поклонился поп.

— Истину? — повторил боярин. — Вольно тебе, Семен, вводить меня в грех.

— Нет, осударь-болярин. — Семенко заговорил бойчее, скороговоркой: — Во Пскове, в Мирожском монастыре, от старцев тамошних и то слышал: коротка сталась на Новгороде слава князю. «Не люб» — поклонился ему Господин Великий. — Семен согнул спину и

насмешливо, не концами пальцев, а кукишем коснулся пола. — Бежал князь Александр Ярославич к родителю своему во Владимир аль в Переяславль. Нету нынче князя на Новгороде.

ГЛАВА 9

ПОД СТЕНАМИ ИЗБОРСКА

Утро встало сырое и ветреное. Намокший холст шатра хлопает на ветру, что луб — жесткий и ледяной. Командор фон Балк, проснувшись, долго ежился от неприятного, проникающего в самую душу озноба. Прошло три месяца, как войско меченосцев обложило Изборск. И стены городового острога не высоки и городишко — от ворот до ворот шаг шагнуть, а стоят изборяне крепко.

Запахнув плащ, командор откинул полу шатра. Серое небо висело так низко, что в мокрой и тяжелой мгле его терялись вершины березовой рощицы, зеленеющей неподалеку. Откуда-то доносились голоса. Фон Балк прислушался. Но голоса смолкли; их точно оборвал и унес ветер. За рощей плотной белой мглой стлался дым многочисленных костров и темнели шалаши воинов. Фон Балк направился к скрытому кустарником оврагу, на дне которого, по скользким, покрытым зеленой слизью валунам, бежал ручей. Неизменно, каждое утро, командор спускался к ручью и, освежая себя, плескался в знобкой воде.

Фон Балк поравнялся с кустами, скрывающими ручей. Хорошо утоптанная тропа, которая тянется вдоль опушки, ведет на торные пути к стану. Едва фон Балк вышел на нее, как впереди, на тропе, показался рыцарь. Белый плащ с красным крестом, нашитым на левом плече, и знаком меча показывал принадлежность рыцаря к братству меченосцев. Фон Балк остановился. Рыцарь тоже увидел его. Одолев скользкий косогор, рыцарь спешился, бросил повод оруженосцу. Тяжело переступая короткими, кривыми ногами, направился к командору.

— Благодарение пресвятой деве, что вижу тебя, брат командор! — непомерно тонким, высоким голосом выкрикнул он. — Проклятая страна! Лес и лес — ни жилья, ни пищи.

— Рад приветствовать тебя, брат, — приподняв руку, словно указывая путь, сказал фон Балк. Издали еще узнал он рыжую, словно обрубленную снизу, бороду Конрада фон Кейзерлинга, рыцаря из слившегося с братством меченосцев Ордена тевтонов. — Благополучно ли совершил ты свой путь?

— Милостью пресвятой девы...

Сухой, с обветренным безбородым и безбровым лицом, фон Балк на целую голову поднимался над фон Кейзерлингом. Взгляд серых холодных глаз выражал недовольство, как будто командор сердился на то, что появление рыцаря помешало ему спуститься к ручью.

Суровая обстановка шатра, куда фон Балк ввел Кейзерлинга, напомнила прибывшему, что он находится в жилище воина. Прямо против входа валялась на земле шкура медведя; она служила постелью командору. Дубовые чурбаши заменяли в шатре стол и сиденья. В рассеянном свете, проникавшем в шатер, тускло блестело распятие.

Фон Балк указал рыцарю место против себя.

— Откуда твой путь, брат Кейзерлинг? — спросил.

Кейзерлинг, морщась, не скрывая своего недовольства, тщетно старался удобнее расположиться на жестком сиденье.

— Из Риги, — вытянув наконец ноги, отекшие после долгого пребывания в седле, ответил он. — Князь-епископ велел передать тебе, брат командор, благословение свое и сказать, что смущен и опечален медлительностью войска. Епископ ожидает известия о вступлении твоем в Псков, но я вижу тебя еще у стен Изборска.

Ни один мускул не дрогнул на лице фон Балка. Он так прямо и неподвижно возвышался перед Кейзерлингом, что фигура командора напоминала деревянную статую.

— Известно ли князю-епископу, что шведское войско, не ожидая нас, выступило противу русичей и бежало, разбитое новгородским Александром? — погасив

еле заметную усмешку, скользнувшую по его губам, сухо произнес командор.

— О да! — тонкий голос Кейзерлинга взвился под верх шатра. — Русичи разбили шведов. Теперь никто не помешает братьям Ордена нести свет апостолической церкви и благословение святейшего отца в землю варваров и еретиков.

— Новгородский Александр напал на шведов там, где они не ждали его, — как бы не слыша восклицания тевтона, произнес фон Балк. — Русичи бились храбро, — продолжал он. — Александр новгородский показал в битве искусство воина. Что помешает ему теперь явиться к Пскову со своими полками? — При этих словах фон Балк так пристально уставился взглядом на тевтона, что рыжая борода того невольно дернулась вверх, будто коснулась огня. — Я страшусь не встречи с новгородцами, — говорил фон Балк, — а того, что в пешем войске нашем — воины-варвары из ливов, води и иных племен. Надежны ли они, а число их велико. Опора войску — копья и мечи братьев-рыцарей, которых довольно для того, чтобы удержать в повиновении и гнать в битву варваров, но мало для победы над войском Александра.

— Истина говорит твоими устами, брат командор, — шевельнулся на своем обрубке фон Кейзерлинг. — На щитах братьев нашего Ордена изображен меч — знак непобедимости и могущества. Жестока будет битва с полками Александра, но, милостью пресвятой девы, эта битва случится не скоро. Мы не встретим Александра и полков его перед стенами Пскова, у псковичей же мало войска. Известно и то, брат командор, что на Пскове и на Новгороде есть друзья нам.

— Александр выступит на помощь псковичам.

— Александра нет в Новгороде! — громко, придав голосу некоторое выражение торжественности, воскликнул Кейзерлинг. — Изгнан он новгородцами.

— Не ослышался ли я, брат Кейзерлинг? — недоверчиво промолвил фон Балк. — Справедлив ли слух, что изгнан Александр из Новгорода?

— Что сказано мною — не слух, брат командор. Александр изгнан. Новгородцы облегчают войску Ордена труды похода...

Речь Кейзерлинга прервало появление слуги.

— С какой вестью, Иоганн? — спросил командор.

— Новгородский боярин Нигоцевич прибыл из Риги к войску, — сказал слуга. — Просит он позволения видеть тебя, благородный рыцарь.

— Зови!

Фон Балк поднялся навстречу. Под Изборском и в Пскове имя Нигоцевича знакомо русичам.

— Хвала пресвятой деве, что вижу тебя, боярин, — когда Борис Олелькович вошел в шатер, приветствовал его фон Балк. — Прибытие твое к войску укрепит союз братьев Ордена с благородными русичами.

— Приветствую и тебя, лыцарь! — с трудом дыша от усталости и неудобства, какое причиняли ему кольчуга и меч, сказал Нигоцевич, коверкая русские и немецкие слова. — Не в гости прибыл я к Изборску, а союзником и другом князя Ярослава Володимировича.

— И заботы братьев нашего Ордена не о себе, боярин, — стараясь говорить мягче, ответил фон Балк. — Не выгод ищут благородные рыцари-меченосцы в походе, желают они восстановить справедливость: вернуть родительское княжение юному князю псковскому Ярославу.

— Спасибо на слове, благородный лыцарь.

— Восстановление справедливости и помощь в несчастии — священный девиз рыцарей Ордена, к духовному братству которого принадлежу я. Всякому, кто сомневается в том, братья Ордена готовы доказать истину силою меча. Орден меченосцев заступил тебя в изгнании, боярин, и твои враги стали врагами Ордена. Черных людей в Пскове и Новгороде Великом усмирит меч, а князем новгородским, как и ты, боярин, Орден не желает иметь Александра суздальского. Мы стремимся к миру и дружбе с Новгородом, а суздальцы издавна сеют вражду. В дружбе с Орденом Новгород найдет защиту от орд нечестивых язычников, которые вторглись на Русь и полонили ее. Дружба наша поможет развитию торговли Великого Новгорода с германскими городами, послужит к умножению богатства и славы новгородской. Меч братьев Ордена в твоих руках, боярин. Мы желаем иметь союз с вольным городом, а не с вотчиной суздальских и иных князей русских.

— Князя Александра нынче нет в Новгороде Великом, — подняв голову, с достоинством произнес боярин. — Бежал Александр от гнева святой Софии, — продолжал он. — Ни с Александром, ни с родителем его Ярославом Всеволодовичем не живал в мире Новгород.

— Благородный рыцарь Конрад фон Кейзерлинг, — Балк показал на рыжебородого рыцаря, находившегося в шатре, — утром нынешним прибыл из Риги и передал весть об изгнании Александра.

Нигоцевич, не обращавший до того внимания на молчаливого рыцаря, сидевшего в стороне, поднял на него глаза и от изумления онемел. Кровь багровыми пятнами подступила к его лицу, в глазах отразилась растерянность, но тут же вспыхнули они гневом.

— Знаю лыцаря, что сидит там, — мотнув головой в сторону Кейзерлинга, с трудом выдыхая слова, молвил Борис Олелькович, обращаясь к командору. — Обидчиков, как он, у нас, в Новгороде, не в горницу зовут, а бросают в поруб да в полынью.

— Что ты сказал, боярин? — Кейзерлинг непонимающими глазами уставился в лицо Нигоцевичу.

— То и сказал, не по пути с тобою, лыцарь!

— Как?! Ты, безумец, смел произнести обидное слово рыцарю пресвятой девы! — вскричал Кейзерлинг. Он вскочил и, опустив руку на рукоять меча, шагнул к боярину. — На псарне с шелудивыми псами место твое, а не в шатре благородного рыцаря.

— Такие-то лыцари, как ты, у меня в вотчинах свиней пасли, — прошипел Нигоцевич.

Фон Балк, не зная причины распри Нигоцевича с Конрадом фон Кейзерлингом, полагал вначале, что спорщики покричат, попетушатся, а потом он примирит их. Но когда Кейзерлинг схватился за меч, фон Балк, чтобы обуздать петухов, сказал громко и решительно:

— Именем пресвятой девы! Ты, рыцарь, и ты, боярин, оставьте вражду! Не знаю, что явилось причиной ссоры вашей, но не место ей между союзниками и друзьями. Чем рыцарь Конрад фон Кейзерлинг обидел тебя, боярин?

— Обрызгал он меня и грозил...

— А ты, брат Кейзерлинг?

— Не встречал боярина, не знаю его...

— А на пути нынче, — перебил Нигоцевич. — В низине, у озерка... Обогнал ты меня.

— Ах, там... — Кейзерлинг засмеялся. — Видел возок, крытый рогожей... Прости, боярин, не узнал.

В шатре вновь появился Иоганн. Он вошел так бесшумно, точно вырос у порога.

— Гонец из Пскова, благородный рыцарь, — произнес он, отвечая на немой вопрос фон Балка.

При этих словах Нигоцевич вздрогнул. Лицо его вытянулось, в глазах появился огонек изумления и любопытства.

— Пусти гонца, Иоганн! — произнес фон Балк.

— Слава Знамения богородице! — забыв о споре с рыцарем, широким крестом обмахнулся боярин. — Ждут нас на Пскове, помнят.

— Псков близок братьям Ордена меченосцев, — как бы объясняя появление гонца, произнес фон Балк.

В шатер, согнув спину, вошел гонец. Истертые хвосты лык рваными языками торчали из его разбитых лаптей. Широкий — не по плечу — сермяжный зипун тоскливо висел на тощем, костлявом теле. Прижимая к груди войлочный колпак, тяжелый и жесткий от дождя, гонец поклонился и, видимо, не зная, с кем говорить ему, молча косил глазами то на русского боярина, то на чужих рыцарей.

— С какою вестью ты прибыл из Пскова? — спросил фон Балк, морщась при виде неприглядной, забрызганной грязью одежды гонца, выдававшей, что путь из Пскова совершен не на коне, а пеше, тропами и проселками.

— Послан я от болярина Твердилы Иванковича со словом к Ярославу Володимировичу, князю псковскому, — все еще озираясь и тревожно кося глазами на рыцарей, ответил гонец.

— От Твердилы Иванковича? — встрепенулся Нигоцевич. — Хоромы коего на Полонище... Знаю болярина. Батюшка его, что посадником степенным сидел на Пскове, жив ли?

— Год уж миновал, как преставился старый болярин наш.

— Преставился... Царствие небесное болярину Ивану! — покрестился Нигоцевич, моргая глазами на верх

шатра. — Кумом был мне. А Твердила, молодой-то боярин, здоров ли? Как ныне люди живут на Пскове?

— Болярин Твердила Иванкович здоров, а живем на Пскове худо, осударь-болярин. Мало подвозу хлеба, на людей мор напал... Отпевать не успевают попы.

Гонец рад бы и дальше продолжать рассказ о горестях и бедах Пскова, но фон Балк остановил его.

— Что велел боярин Твердила сказать князю Ярославу Владимировичу?

— Не гневайся, лыцарь, но то, что наказал болярин, велел он передать из уст в уста князю.

— Князя Ярослава нет в войске, — строго, словно приказывая гонцу сказать обо всем, что велено в Пскове, оборвал фон Балк.

— Не страшись, говори, паробче! — посоветовал Нигоцевич. — Знаю твоего болярина... Поведай благородному командору все, что молвил бы князю.

Гонец помешкал. Видимо, сомневался он: передать ли слово Твердилы Иванковича рыцарям? Но совет Нигоцевича пришелся кстати. «Свой» боярин, знает он Твердилу Иванковича. Запинаясь и теряя слова, сказал:

— Болярин Твердила велел поведать князю Ярославу Володимировичу... Рать псковская с воеводою Гаврилой Гориславичем вышла из Пскова на помощь изборянам. Гонец, промолвив, покосился на длинную, прямую фигуру командора, безбровое лицо и плотно сжатые губы которого внушали страх. — И еще болярин велел поведать, — добавил гонец после небольшого молчания: — ждут на Пскове князя Ярослава Володимировича, найдет он там дружбу и помощь.

— Людно ли войско, что выступило к Изборску из Пскова? — спросил фон Балк.

— Четыре ста пеших ратников и до трех дюжин конных.

— Как вооружены они?

— По-всякому, лыцарь. И топоры, и копья, и рогатины видел я в войске Гориславича. Еще болярин Твердила велел поведать, что на Пскове городовая дружина и троицкая не поднимут меча на князя.

— Слава пресвятой деве! Скажешь благодарность князя Ярослава Владимировича и друзей его — рыцарей

Ордена меченосцев — своему боярину, — одобрил фон Балк весть, переданную гонцом. — Давно ли выступили псковичи?

— В воскресенье. Через день будут у Изборска.

— Все ли сказал ты, что велел боярин? — спросил рыцарь.

— Все... Все, что видел и слышал.

— Готов ли в обратный путь?

— Как повелит ваша милость.

— Хоромы зятя моего, болярина Нежилы Агафоновича, близ Твердилиных, кои на Полонище, целы аль разворованы? Не ведаешь о том? — вспомнил Нигоцевич, когда командор замолк.

— Целы, только... — начал было гонец, но фон Балк остановил его жестом.

— Пора отдохнуть гонцу, боярин, — сказал он Нигоцевичу. — Ввечеру, как будет время, спросишь и о хоромах. А ты, мужик, — фон Балк уставился на гонца, — выйдешь в Псков утром. Скажешь Твердиле боярину, скоро-де князь Ярослав Владимирович будет на своей отчине; велел-де он, князь Ярослав, ему, Твердиле, блюсти во Пскове княжее дело, не просить помощи у Новгорода и других городов. А как он, князь Ярослав Владимирович, с войском будет у Пскова, велел бы Твердила открыть ворота острога псковского. Князь Ярослав не ищет крови людей своих.

Гонец поклонился. Жестко хлопнула за ним намокшая пола шатра, будто прогрохотал заблудившийся гром. Борис Олелькович взглянул на застывшую прямую фигуру командора, вздохнул про себя: «Ох, грехи! Сидит, будто кость проглотил». Рыжий Кейзерлинг, обидчик давешний, закрыл глаза и вроде дремлет.

— Думал я, — начал Нигоцевич и помедлил, не зная, слышат ли его рыцари. — Пора открыть ворота в Изборске да трогаться к Пскову. Гонец от болярина Твердилы Иванковича недаром был...

— И наше желание, боярин, быть в Изборске, — косясь на Нигоцевича неподвижной деревянной улыбкой, усмехнулся фон Балк. — Но дерзко и зло бьются изборяне.

— Неслухи, эко ведь, — промолвил боярин, негодуя то ли на упрямство и храбрость изборян, то ли на рыца-

рей, бессильных сломить мужество защитников города. — Хитростью не оборем ли?

— Хитрость не сломит копья, боярин, меч о нее не зазубрится.

— Не зазубрится, правду молвил ты, благородный лыцарь, а, бывало, хитростью-то и в поле били супротивников и городовые стены ломали. Вели-ко рубить срубы сосновые, вроде изб, да чтоб выше они городовых стен были... Срубы поставим на каты, а внутри сядут воины. Ни стрела, ни копье им не страшны будут. Лес сырой, неокоренный — огонь его не возьмет. На катах подведем срубы к городу и начнем битву.

В безбровых глазах фон Балка затеплилось что-то живое..

— Совет твой умен, боярин, — помолчав, сказал он. — Может, так и поступим, но прежде отразим рать, что идет к Изборску от Пскова.

— Сказал бы и я о псковичах, посоветовал бы.

— Говори, боярин!

— Воевода Гориславич, который идет из Пскова с войском, не ведает, чаю, о Твердилином гонце к нам, идет без опаси. Суди вот, благородный лыцарь: не выйти ли навстречу ему, захватить на пути врасплох...

— Не знаем мы пути псковичей, — не отвергая совета, но, видимо, неуверенный в том, что удастся перехватить Гориславича, сказал фон Балк.

— Не ведаю и я пути Гориславича, но спросим о том у отрока Твердилина, — продолжал развивать свою мысль боярин. — Молвил он давеча: идучи-то сюда, будто обогнал псковскую рать.

Совет Нигоцевича пришелся по душе фон Балку.

— Пусть будет так, боярин, — согласился он. — Встретим псковичей. Брат Кейзерлинг, — фон Балк обратился к рыжебородому рыцарю, который сидел молча, прислушиваясь к тому, о чем говорили в шатре, — тебе предстоит совершить благородный подвиг.

— У стен этого сквернейшего из городов? — изумление Кейзерлинга, когда он произнес эти слова, было вполне искренним. — Не велишь ли мне раскидать их своими руками?

— Нет, — усмехнулся фон Балк. — Стены падут. А слышали мы, что на помощь изборянам идет псков-

ское войско. Близко оно. Возьми триста пеших воинов и десять конных, выступи навстречу. Где встретишь псковичей, там и порази их. На твоей стороне внезапность битвы и твоя храбрость.

В глазах Кейзерлинга вспыхнули и тут же погасли зеленые огоньки. Он приподнялся, поднял руку, будто ограждаясь от командора.

— Мне ли вести войско, брат командор? — произнес он внезапно охрипшим голосом. — Не будет ли обиды рыцарям, которые вместе с тобой делят труды похода?

— Имя твое, брат Кейзерлинг, выше обид. Готовь войско! Да поможет тебе пресвятая дева!

Фон Балк поднялся. Непокрытая голова его коснулась верха шатра, и оттого длинная, сухая фигура командора показалась Нигоцевичу и тевтону еще выше, еще нелюдимее.

ГЛАВА 10

НА ЗАЙМИЩЕ У ДАНИЛЫ

Медленно поправлялся Ивашко. С того часу, когда Семенко Глина взмахнул кончаром, не знал и представить себе не мог Ивашко, сколько дней и ночей провел в забытьи. Каждое вольное и невольное движение причиняло ему такую нетерпимую боль, что, сщемив зубы, он лежал неподвижно. Казалось, в груди у него пылает огромный костер. Ивашко глухо стонал, царапал грудь, оставляя на ней багровые следы ссадин. Измаявшись, снова впадал в беспамятство.

В первые дни, когда он понял, что жив, Ивашко не узнавал избы. Все вокруг казалось ему чужим, ненужным и незнакомым. И как будто от этих громоздких и ненужных вещей, окружавших его, исходили те непереносимые муки, от которых не было избавления. Иногда, в полузабытьи, Ивашко вдруг чувствовал вблизи чье-то дыхание; кто-то приближался к нему. Сознание ловило трепет теплой руки, касавшейся его лба.

Ивашко замирал. Боль в груди утихала. Он лежал неподвижно, вытянув тело, напрягая все силы свои, что-

бы не спугнуть ощущение сошедшей к нему целительной радости. В воображении возникал образ близкого, прекрасного лица. Васена! Но как только Ивашко вспоминал имя, сон исчезал. «Почему она молчит?» — думал Ивашко. Он ждал, долго ждал ее шепота. Нет, ушла.

Как-то утром Ивашко узнал Данилу. Займищанин подошел к нему и о чем-то заговорил. Ивашко видел Данилу, слышал его голос, но не понимал слов. Вскоре Ивашко узнал и Олёнушку. Она редко бывала в избе, но когда появлялась, Ивашко следил за ней взглядом. Он дивился перемене, какая произошла с девушкой с тех пор, как весною ушел с займища. Олёнушка вытянулась, стала как будто еще тоньше и стройнее, чем была прежде. Волосы ее не темнели больше спутанными кольцами вокруг смуглого, по-мальчишески плутовского, подвижного лица; они вились и мягкими волнами падали на плечи. Что-то новое, чего он не в силах был понять, отражалось в ее глазах.

Днем Данила убирал поле. Ивашке хотелось выйти к нему, стать рядом к стене спелой ржи и широко, во всю удаль, махнуть горбушей. Но где его сила? Сможет ли он когда-либо, как прежде, бродить в борах или в синем кафтане дружиничьем показаться в Великом Новгороде?

Оставаясь один в избе, Ивашко с нетерпением ожидал вечера, когда возвращались домой Данила и Олёнушка. Как ни коротки ночи, но Данила непременно зажжет лучину и посидит у огня. Прежде чем започивать, он откроет волок оконницы, и, чтобы ночная свежесть не утомила хворого, укутает его теплой овчиной.

Как-то Данила, поправляя изголовье, сказал, рассуждая сам с собою:

— Долго лежишь, молодец. Когда и встанешь, не ведаю. Погубил тебя Семенко...

Ивашко шевельнулся. На лице его отразилось изумление. Он взглянул на Данилу и неожиданно прошептал:

— Слышу... Слышу тебя...

— Узнал? — с заискрившимися глазами Данила склонился над Ивашкой.

— Голос твой слышу... Давно я так-то... на займище?

— Давно. Не чаял, очнешься ли!

Ивашко попытался приподнять голову, но тут же лицо его искривилось от боли.

— Пить, — когда отошла боль, простонал он.

Данила принес воду. Потрескавшимися губами Ивашко жадно прильнул к ковшу. С каждым глотком прохладной воды он чувствовал, как оживает ослабевшее тело. Вытянувшись, некоторое время Ивашко лежал неподвижно, закрыв глаза и наслаждаясь покоем. Внезапно он почувствовал голод. Это ощущение было так ново и неожиданно, что Ивашко даже обрадовался своему желанию. То, что он захотел есть, казалось, особенно прочно и неразрывно связало его с жизнью. Чувство голода с каждым мгновением становилось острее. Ивашко открыл глаза.

— Хлеба, — промолвил он. — Хлеба...

— Хлеба?.. Да ты, Ивашко, молодцом селюшки! — улыбаясь воскликнул Данила. — И слово молвил, и на еду потянуло; гляди, так-то скоро и на ноги встанешь.

— Чем отплачу за твою ласку, Данила? Второй раз избавил ты меня от беды, от смерти оборонил.

— Незачем о том говорить, Ивашко, — сказал Данила и нахмурил брови. — Гони-ко хворь да вставай! Когда принес раненого тебя в избу — не жилец ты, думал. Сила твоя да молодость обороли беду.

Сознание, что он жив, вновь среди друзей, приносило Ивашке облегчение. К нему вернулись и слух и память; стал он владеть речью. Но по мере того как восстанавливались силы, Ивашку чаще и чаще стала беспокоить мысль: как мог он, княжий дружинник, допустить, чтобы его перехитрил гулящий поп, приспешник перевета Нигоцевича? Преследуя Глину, Ивашко не предугадал его хитрости, и вот — не помешал бежать ему. Еле-еле сам не поплатился жизнью за доверчивость и простоту. Ивашко краснел от стыда при мысли, что скажут воевода Ратмир и князь Александр Ярославич, когда дойдет к ним весть о «бое» на Даниловой поляне. Последний отрок из княжей дружины посмеется над ним. И все же Ивашко не мог взять в толк: как случилось, что тщедушный поп, на хилость которого смотреть тошно, одолел дружинника?

Побывав на Мшаге, возвращался Ивашко в Новгород. Он спешил, боясь опоздать к походу, и все же не утерпел, заглянул на Данилову поляну. Хотелось увидеть займищанина и Олёнушку, похвалиться перед ними нарядом своим и конем. Недаром на займище у Данилы началось Ивашкино счастье; хранил за него витязь спасибо займищанину. С радостью в душе ехал он, а побывал на займище — из-за того не вернулся в Новгород. Лежит пластом и не знает, придется ли когда сесть на коня, бросить копье в бою или в потехе воинской? От грустных дум горько молодцу. Где теперь князь, где дружина? Не полегли ли в поле витязи, отражая врагов Руси? Редки, ах как редки вести в борах! Неведомо, когда доберется та, что поведает о битве новгородцев со шведскими крестоносцами.

Как-то Данила вернулся с поля, зажег лучину и стал собирать на стол снедь. Олёнушки в избе не видно. В бору она или на рыбном ловище. Ивашке показалось, что Данила невесел; хмуро и смутно у него лицо. «Неужто худая весть?» — подумалось.

— Чем таишься, Данила? Что слышно из Новгорода? Все ли на займище ладно? — спросил Ивашко.

— На займище живем, как и жили, а вести, паробче, всякие есть, рано тебе слушать их, — промолвил Данила, подойдя ближе к Ивашке. — Худая весть сердце гложет, а и хорошая встревожит. Твоя забота скорее бы хворь сломать, силу взять прежнюю.

— Может, правду ты молвил, — откликнулся Ивашко, — да на сердце тревожно. Лежу я, а думы разные, и близкие они и далекие... Что скажут обо мне? Не боя ли со своими испугался?..

— Смущаешь ты себя думами, Ивашко, — Данила зажег новую лучину и сел около светца. — Не ко времени. Так я молвлю: не ты виноват в своей беде. То и вины твоей, что не остерегся. Так ведь давно, со старины сказано: горькое без зову на порог, а сладкое — и волóк да не доволóк. Умный услышит, что сталось с тобой, — не осердится, а дурак что молвит, так его слово легче ветру. — Данила помолчал, как бы собираясь с мыслями. — Своев, паробче, сразили новгородцы. Верная о том весть. Князь Александр в славе вернулся с полками на Новгород.

— Правду сказываешь? — веря и не веря тому, что услышал, уставился Ивашко взглядом на займищанина.

— Правду. Что слышал, то и сказал, — Данила усмехнулся. — Худа ли весть, хороша ли, но без огня и дыму нет. А в том, Ивашко, что Семенко чуть не погубил тебя — меня вини. Не ждал я встретить тебя витязем. Увидел — забыл о попе, не разгадал его хитрости. Так-то вот и сталась беда.

— Тебя не виню, в мыслях того не имею. Хмуришься ты нынче, потому и спросил, что встревожило?

— Сказать ли? Нынче на дороге видел мужиков из владычной вотчины. Сказывают, встретили на устье кузнецов новгородских; за крицами шли кузнецы на Мшагу. Толкуют, будто князь Александр покинул Новгород, в Переяславле он. На Пскове, чу, лыцари... Может, правду молвили, может, врут. Слухи нынче дешевы.

ГЛАВА 11

КАТИЛОСЬ КОЛЕЧКО ПО БИСЕРУ

Лето приближалось к концу. Ивашко начал вставать и даже переступать по избе. Ноги его так отвыкли от движения, что на первых порах при ходьбе он растопыривал руки и ловил стены. Приучив себя держаться самостоятельнее, он стал выходить и на середину избы, и к затянутой сухим пузырем оконнице. Оттянув волок, жадно, точно впервые увидев, смотрел на зелень соснового подлеска, на бор, темнеющий за поляной, на все, что видел не раз, но что открывалось теперь перед ним как новое и невиданное.

Редко, реже, чем раньше, показывалась в избе Олёнушка; она пропадала в борах. Спросил как-то о ней Данилу, тот засмеялся и объяснил, что настала горячая пора бортничества. Теплое лето стояло нынче, говорил он, борти полны медом, а искать их — счастливее Олёны не найти никого в бору. Поздно возвращаясь на займище, Олёнушка наскоро ужинала, иногда перекидывалась словом с Ивашкой, иногда молча уходила. Спала она в прирубе, за сенцами, на мягком душистом

сене. На другой день после счастливого поиска Данила с Олёнушкой уходили в бор, брали мед.

Однажды, когда ни Данилы, ни Олёнушки не было на займище, Ивашко решил выйти на поляну. Он открыл дверь, придерживаясь за перильца, спустился по ступенькам вниз, перешел через двор к воротцам, распахнул их.

Ивашко едва удержался, чтобы не упасть. От пряных запахов леса и трав у него закружилась голова. Поляна показалась ему такой привольной и широкой, какою никогда еще не видел ее; словно не было у нее края. Солнце заливало ее своими лучами, яркими прозрачными искорками играло в рассыпанных по траве каплях непросохшей росы. На склоне, у соснового подлеска, точно золотые шарики, цвели поздние побеги дикого мака, а дальше, у лепетавшего немолчную песню осинника, среди начавшего уже блекнуть белого кипения ромашек, тянулись ввысь лиловые венчики луговых васильков. Ивашко сорвал цветок, поднес его к своему лицу.

— Ивашко! — услышал он вдруг тревожный оклик.

Перед ним появилась Олёнушка. В широко открытых глазах ее застыли изумление и страх. Точно Ивашко, выйдя за ограду, совершил что-то непоправимое.

— Почто ты здесь? — спросила.

— Душно в избе... А ты... Откуда? Рано нынче.

Олёнушка не ответила. Глядя на ее совсем темное от загара лицо, Ивашке вдруг захотелось посмеяться над страхами девушки, испугавшейся за него, но вместо того он лишь неловко усмехнулся и опустил глаза.

Почему-то живо представились ему яркий и светлый весенний день, пьяная смоль бора, полянка, точно зеленая ладонь, устланная травами и нежным мхом. На этой полянке Олёнушка стояла над сраженною стрелой большой, с ярко-красными надглазьями, черной птицей. Впервые тогда Ивашко испытал при виде Олёнушки незнакомое, радостно-томительное и тревожное чувство. Как будто в лице ее увидел он что-то, чего не ждал. После Ивашко часто искал встречи с девушкой, но, встретясь, не знал, что сказать ей. Не это ли заставило его весною уйти с займища?

Словно век миновал с тех пор. Необыкновенно, как

в сказке, сложилась Ивашкина судьба. Поднялся он до степени отрока и дружинника княжего. Александр Ярославич не гнушался им, отличал. Кто знает, вернется ли снова к Ивашке то, что было так недавно?

Ивашко зашел в ограду. Он не хотел ни о чем думать, но почему-то из головы не выходила сегодняшняя встреча с Олёнушкой. Как случилось, что девушка среди дня оказалась близко от займища? А сейчас она не пошла в избу; побранив Ивашку, исчезла так быстро, что ищи ее Ивашко — не нашел бы следа.

Время перевалило за полдни. Медленно поднимавшаяся за Шелонью туча внезапно хлынула теплым ливнем. Дождь загнал в избу Олёнушку. Вбежав, она остановилась посреди. Намокшая холщовая рубаха плотно облегала грудь и покатые, узкие — не по росту — плечи. Как бы почувствовав это, Олёнушка смутилась, опустила руки. Вдруг она засмеялась, в темных, как мокрые сливы, глазах ее вспыхнули прежние, знакомые Ивашке, горячие огоньки.

— Тоскуешь, братец? — перестав смеяться, сказала, не глядя на него. — Редко-редко слово молвишь. Тяжко тебе на займище?

— Нет, — не понимая, что встревожило Олёнушку, ответил Ивашко. — Не ведаю, оборю ли хворь?

— Оборешь, — решительно заявила Олёнушка и взглянула на него. — На ноги встал.

У Ивашки забилось сердце. Живо представились ему ночи, когда лежал он в забытьи, сны чудные... Стройная и легкая фигура девушки напомнила все, что переживал тогда...

— Помню, — сказал Ивашко, глядя на девушку, — ночью... В бреду... Будто кто приходил ко мне. Трогала чья-то рука... У меня исчезала боль в груди... Может, бредил я, но помню...

— Ты... знаешь, кто был? — словно бы испугавшись, спросила Олёнушка, отступив от Ивашки. Она приблизилась к оконнице, закрыла и снова открыла волок. Дождь на улице шумел не переставая.

— Нет. Боюсь верить... Сон был.

— Сон... Правда, Ивашко. Твои глаза видят не то, что надо, — будто рассердясь, строго промолвила Олёнушка и отодвинулась в куть, так что теперь Ивашко

лишь смутно угадывал ее облик. — Ты принес мне горе, не ведая принес... — она запнулась и помолчала. — Кто я? Знаю лишь поляну на Шелони и бор. Горько было весной провожать тебя, не радостно привелось встретить. Лежал ты, не узнавал никого... Тяжко было видеть такого. Тебе ли, княжему дружиннику, помнить о тех, кого нечаянно встретил? Не случись на займище попа, врага твоего, не задержался бы ты на поляне, уехал бы и не вспомнил о ней.

— Замолчи! — крикнул Ивашко, обрывая неловкую и несвязную речь девушки. — Дорог мне Данила, как на родителя смотрю на него, дорога мне и поляна на Шелони и бор. Ни в пути, ни в княжих хоромах не забывал я о займище. А ты... Не оборотень ли? — спросил усмехаясь. — С добром ли и лаской идешь? Почему я боюсь тебя?

— Боишься? — вдруг повеселела Олёнушка. — А чего? Не бранилась с тобою, братцем звала. Неужто не видишь меня, не знаешь?

— Вижу и знаю...

— Нет. Может, я и впрямь оборотень, как ты молвил? Паду вот перед тобой и обернусь черной куницей... Страшно? — Олёнушка засмеялась и подошла ближе. — Не бойся! Не оборотень я. У оборотней кровь студеная, а моя...

Олёнушка рядом, смотрит на него. Черные глаза ее стали вдруг такими глубокими и огромными, что, казалось, глубже их и огромнее нет омута на Шелони. Вдруг губы Олёнушки коснулись его щеки. Ивашко оторопел. Опомнился когда — девушка исчезла из избы.

Ивашко выбрался на поляну. Там никого не видно. Туча пронеслась, в небе вновь ярко горит солнце. Орошенная дождем поляна сверкает и искрится. Ветер тоже утих, и поэтому как-то особенно чутко и трепетно льется неумолкающий смех осин. Осины словно рассказывают о чем-то Ивашке. Даль поляны прозрачна и безлюдна. Темнеет бор. Вокруг все прежнее. Даже ястреб, который давеча парил в вышине, не исчез. Казалось, он всегда вот так, каким видит его Ивашко, парит в голубом небе.

Олёнушка! Ивашке вдруг вспомнилась морозная вьюжная ночь, когда, иззябший и голодный, набрел он

на займище. Как же было расти дочери лесовика, если не тем сорванцом, какою он встретил ее? Сама она не желала иного. И все, чего раньше не понимал Ивашко при встречах с Олёнушкой, что скрывалось в темной глубине ее глаз, чего он не мог разгадать, — внезапно раскрылось перед ним.

Он забыл о хвори. Теперь он не удивился бы и тому, если б почувствовал себя здоровым, сильным, прежним витязем.

ГЛАВА 12

СЧАСТЬЕ

Они шли медленно, и так же медленно возвращались силы. Олёнушка не заговаривала с Ивашкой. Она словно сердилась на него за то, что не сдержалась, открыла себя.

Вокруг поляны, как и прежде, немолчно гудит бор. Внизу, под обрывом, сверкает серебром привольная птица Шелонь; с высокого мыска за займищем далеко видно ее светлое лоно. Как ни захвачен был Ивашко своим чувством к Олёнушке, все же не мог не видеть того, что лето ушло и на смену ему с каждым днем ближе и неотразимее приближается осень. Блекнет зелень поляны, цветы осыпают последние лепестки; зато как ярко и нарядно выглядит в погожие дни окропленная желтым золотом зелень берез, а в притихшем, словно окаменевшем осиннике, занимается неугасающее, багряное пламя. Теплые дни теперь сменялись туманными, холодными ночами. По утрам тонкая серебристая пыль росы оседала на траве, на тонкой кудельке нежных, как пух, паутинок.

Рана зажила. Тягостной слабости, долго державшей в плену витязя, не стало. Пора ему вспомнить, что довольно гулять без дела. Ивашко сам ухаживал за конем; кормил его, спускался с ним к реке и там, ослабив повод, ждал, пока конь, фыркая и переступая ногами, пил. И внешне не легко узнать Ивашку. Он исхудал, но оттого казался стройнее и выше; светлая вьющаяся бородка делала его старше и серьезнее.

Как-то вечером пришел он к реке. В эти последние дни жизни на займище Ивашко часто бывал на берегу Шелони и подолгу сидел там, словно прощаясь с ее вольным простором.

Над бором, за Шелонью, низко-низко висит солнце. И небо, и песчаный берег, и громада сосен, раскрывших свои лохматые лапы, — все это, отражаясь в воде, дрожит и искрится. Небо, повергнутое в реку и сжатое берегами, кажется таким далеким, точно река не имеет дна.

Из камышовой заросли в устье оврага, нарушив покой вечера, поднялась утиная стайка. Свистя крыльями, птицы пролетели мимо. Едва стайка скрылась из виду, как неподалеку от Ивашки резко и сильно брошенный плоский камешек рассек воздух и, упав в воду лепешкой, защелкал по ней к тому берегу, оставляя позади набегающие друг на друга, ломающиеся круги.

— Олёнушка! — вырвалось у Ивашки.

Никто не отозвался. Как Ивашко ни всматривался в прибрежные кусты, там было тихо; ни одна веточка не качнулась. Ивашко обошел ивняжник, у которого стоял, заглянул в заросль ольшаника, ближе к камышам, и там никого. И все же он знал: где-то здесь, близко, притаилась Олёнушка. Кто, кроме нее, может незримо и бесшумно пройти бором, не спугнув ни птицы, ни зверя; это она знает каждую впадину, все укромные тайники в зарослях. Ивашко подождал, но Олёнушка не показывалась. «Ушла, — подумал. — Сказалась, что была, и скрылась». И оттого, что не встретил Олёнушки, перед глазами Ивашки померкла величественная красота реки, а золото облаков стало холодным и далеким. Он повернулся, чтобы уйти, но только начал подниматься вверх по обрыву, как навстречу ему из заросли ольшаников показалась Олёнушка.

— Ой, не зорок ты, Ивашко, — смеясь сказала девушка. — Рядом шел, а меня не видел.

— Я не искал, — будто оправдываясь, промолвил он.

— Искал ты и ждал. Почто скрываешь?

Она упрямо тряхнула головой. Венок из осенних листьев, украшавший ее волосы, рассыпался. Ловя листья, Олёнушка взмахнула руками, точно раскидывая вокруг себя сброшенное яркое оперение.

— Не искал, — повторил Ивашко и, спохватясь, умолк. Показалось, заговорит он, и Олёнушка исчезнет вместе с кружащимися вокруг нее осенними листьями. Но она не уходила, только улыбка сбежала с ее губ. Оставляя на песке следы босых ног, девушка спустилась вниз, тронула гладкую синюю глыбу вросшего в обрыв валуна, как бы примериваясь к его тяжести.

— Садись, Ивашко, — опускаясь на камень, показала она на место рядом с собою. — Долго ты стоял у реки... один. Открой, о чем были твои думы?

— Пора мне с Шелони, — сказал Ивашко. — А думы... Они как смола. Куда пойду, кого встречу? Темно у меня впереди...

— Ой, тебе ли говорить так? — строго, упрекая его, промолвила Олёнушка. — Будешь на Новгороде, в играх да потехах все темные думы развеются. В дружине на княжем дворе не в бору глухом.

— Дружина с князем, нет ее в Новгороде, а я... Споткнулся не вовремя. Не радости жду на Новгороде, суда княжего.

— Того-то и страшно?

— Да. И страшно и тревожно.

Олёнушка заговорила не сразу. Что-то похожее на след еле заметной морщинки упало на ее чело.

— Смелым витязем хотела я видеть тебя, Ивашко, — будто думая вслух, промолвила она. — Казалось, знаю тебя, все твои думы знаю, а ты таился...

— Я-то?! — Ивашко сорвал и смял в руке лепестки зверобоя.

— Чур, не обижайся, — не дала ему сказать Олёнушка. — Прост ты и неловок, не хочешь веселое слово молвить.

— Слов я не нахожу. Не видел тебя, и много-много было их, все бы сказал, а увидел... Сам не знаю, что со мной...

— Хочешь скажу?

— Молви!

— Не опускай очи, волком не обернусь. Не злая я, Ивашко, не сварливая, а хитрая... Хитрее тебя. О чем думаешь?

— Нет у меня дум.

— Ой ли! — на губах Олёнушки засветилась улыб-

ка. — Сердце боишься открыть. Может, не в пору тебе говорить со мной? Прежде сестрицей величал, а нынче чужая тебе стала; не сестрица витязю, дружиннику княжему.

— Ты... чужая? — Ивашко, казалось, не говорил, а слова сами собой вырывались из его груди. — Света ты мне дороже. Скажи слово — не покину Шелони.

— Полно! Зачем так-то.

— Затем, что одну тебя вижу перед собой.

— Знала, что так скажешь, — задумалась Олёнушка.

— А ты? Молви правду!

— Скажу, но дорогу тебе не заслоню. Не хочу, чтобы из-за меня забыл ты клятву перед стягом дружины, чтобы каялся в том после. Торный перед тобой путь, не сбивайся с него! И люблю тебя, и думы, и счастье девичье — все с тобой, но покуда какой росла, такой и останусь. А ты помни — тебя нашла я, тебя ждать буду. Ты мой... Вот...

Руки Олёнушки крепко обвились вокруг шеи Ивашки.

Солнце скрылось за бор. Игравшая голубым блеском река потемнела; над нею, словно дальний дымок, занимается туман. Вершины сосен на берегу, казалось, оторвались от земли и плывут в синюю даль по широкому приволью Шелони.

ГЛАВА 13

БЕС В РЕБРО

Весть о том, что Андрейка пал в поле, сраженный вражьим мечом, испугала боярина. Он ходил по горнице, что-то бормотал; никого из холопов, даже Окула, не пускал к себе. Жил Андрейка — не жаловал сына Стефан Твердиславич, редко видел в горнице; снаряжая на Ладогу, не думал, что прощается в последний раз. Древен и именит в Новгороде род Осмомысловичей, а придет Стефану Твердиславичу смертный час, некому передать ему имя свое и вотчины.

Жалел Стефан Твердиславич сына, но не только горе — обида тревожила. Словно бы провинился Андрейка

тем перед родителем, что не устоял в битве. И в хоромах пусто стало. На дворе ли, в переходах ли — встретит кого боярин — молча пройдет мимо, будто не видит. Пробовал Окул, как прежде, сказывать боярину о том, что случилось за день, кто в чем провинился, — Стефан Твердиславич не стал слушать ключника.

— Уйди, в другой раз молвишь! — помолчал чуть и спросил: — Как снаряжал ты, Окулко, Ондрия, по плечу ли кольчужку ему дал?

— По плечику, осударь-болярин, — осклабился Окул. — Сам он, соколик наш, выбрал себе мелкокольчатый бехтерец, и шелом, и копье — все по своей стати. Такой-то был витязь, так-то уж я любовался на него...

По сморщенному лицу Окула скатилась нечаянная слеза. Он потер закрасневшие веки, ссутулился, глубоко вобрал в плечи голову. Боярин постучал о стол суставами пальцев.

— В хоромах-то... жалеют болярича?

— Как не жалеть ясного сокола, осударь-болярин, — разлился было сладкою речью Окул, но Стефан Твердиславич оборвал:

— Ну-ну, жалеют... Холопья жалость! Свою не могу избыть.

Всю долгую жизнь свою перетрогал думами Стефан Твердиславич. Вспомнил, как он рос, как молодым был, как сосватал ему невесту батюшка, боярин Твердислав. Не люба была невеста Стефану Твердиславичу, но батюшка крепко держал закон в хоромах. Ослушаться Стефан Твердиславич не посмел. Жил с нелюбимой. Как померла она, будто ноша тяжкая упала с плеч. Второй жены боярин не ввел в дом, остался вдовцом. Сын рос... И имя свое и вотчины берег для него боярин. «Упрям был Ондрий, как и покойница, матушка его, не оберегся», — с обидою в сердце думал боярин об Андрейке. Словно бы в наказание за то, что жил Стефан Твердиславич вдовцом, не ввел в хоромы молодую боярыню, не стало у него наследника. «С молодой-то небось не один свет в глазах был бы Ондрий», — думал боярин. Здоровьем, силою своей хвалился Стефан Твердиславич, а не заметил, как растерял силу. Остался сиротою на старости. И братец его покойный не оставил

после себя племени... Жива Ефросинья, падчерица его, да с нее что спросишь?!

Казалось, по торному и знакомому пути шел Стефан Твердиславич, ни рытвины, ни овражка не было на пути, и вдруг споткнулся; открылась впереди пустота. Черным, как смола, туманом обволакивает она боярина.

Прошло лето, лист опадает с деревьев, пролились первые осенние дожди; с приходом осени притупилась боль. Не страшной казалась теперь боярину гибель сына, а как будто смертью своей Андрейка снял у боярина цепкие путы с сердца. «Не рано ли стариком я назвался?» — думал боярин, и в душе его занималось чувство, похожее на то, какое испытывает человек, долгие годы томившийся в заключении и неожиданно для себя узнавший волю. Стефану Твердиславичу чаще вспоминалась молодость, удаль, сила былая; хотелось потешить себя забавою молодецкой, показать, что не сирота он, волен жить так, как хочет.

С такими думами собрался Стефан Твердиславич на Мсту, в тамошнюю свою вотчину. По-молодому хотелось погулять на ловищах, заполевать красного зверя.

Скрипя и покачиваясь, катилась по размокшим дорогам тяжелая колымага. Покуда тряслась она по бревенчатым мостовым на городских улицах, Стефан Твердиславич сидел в возке, терпел муку, а как выбрались на простор — пересел на коня. Чем дальше уходил поезд от Новгорода, тем легче дышалось боярину; радовался он и гордился тем, что в свои годы не чувствует усталости, а как увидел впереди высокие, покрытые лесом холмы Заильменья, быструю многоводную Мсту, — точно влилась в грудь чаша живой воды. Без конца бы стоял он на крутом берегу, смотрел бы, как внизу, на огромных валунах, бурлит река; как, рассердясь, брызжет она клочьями белой пены, похожей на тяжкие хлопья рыхлого, мятого снега.

И не оттого ли, что настали погожие дни запоздалого «бабьего» лета, а внизу, под крутым обрывом, ярится неукротимая Мста, в голове Стефана Твердиславича промелькнула задорная, веселая мысль; прилипла она, как заноза. Не в гроб собираться ему нынче, а ввести в хоромы молодую жену. Сбудется так, не похилится в Великом Новгороде род Осмомыслов.

Недолго пробыл Стефан Твердиславич в вотчине, а сам не узнает себя: походка у него стала ровная, лицо покрылось румяным загаром, стан распрямился; и поясницу не ломит, и в суставах нет боли. Всем доволен боярин, одного и жаль — пустые хоромы ждут его в Новгороде. А то-то добро, если б встретила низким поклоном боярыня молодая, ввела бы в горницу, попросила хлеба-соли отведать.

При этой мысли улыбается и молодеет боярин. Чем не жених он? Богат, именит — слава о нем и богатстве его на весь Новгород. А что борода седая да на голове лунь — не беда. Честь и гордость девице, которую назовет Стефан Твердиславич своею боярыней.

Представляется ему светлица в хоромах на Пруской улице, а в светлице — боярыня молодая. Станом и красотой она — точь-в-точь Ефросинья. Давно приглянулась Ефросинья боярину, да по степенству своему зазорным считал он назвать боярыней безродную. И не хотел бы о ней думать, а думы льнут; чуть забудется — и, как живая, стоит перед ним девушка. «Ох, молодая она, пугливая», — усмехается боярин. В жар бросает его при мысли о том часе, когда, после венца, войдет он в девичью светлицу, поднимет фату и возьмет за белы руки боярыню нареченную. А она... Вспыхнет, как маковый цвет, робко и стыдливо спрячет на груди у него лицо. С мыслью об Ефросинье засыпает боярин, с мыслью о ней просыпается. Волен взять ее в жены; недаром по смерти братца Вовзы Твердиславича принял в хоромы девчонку.

Подумает боярин о том, как осчастливит он сироту, и еще желаннее и ближе ему Ефросинья.

«Ну-ну, — усмехнется. — То-то обрадуется, как услышит о счастье, какое привалило ее сиротству...»

В думах об Ефросинье одно смущало Стефана Твердиславича — его дородство. Ефросинья тонка и легка, как тополинка; пара ли будет с ним под венцом такая-то?

«Пара!» Назовет Стефан Твердиславич Ефросинью своей боярыней, через то и к нему вернется юность. Крепка и сладка будет чаша меду на свадебном пиру, которую примет боярин из рук молодой жены.

И на Мсте и на обратном пути к Новгороду тешил

себя молодыми думами Стефан Твердиславич. То он пускал коня вскачь, то ехал трусцой, — сам себе казался витязем. Непогода застигла в пути. Навалилась туча, ветер завыл голодной волчьей стаей, дождь с мокрым снегом студеными ременницами хлестал лицо... Но и в непогоду боярин не остановил коня, не пошел в возок... Ехал, подняв голову, впереди поезда.

В Новгород, к хоромам, прибыли затемно. Выбежал во двор Окул, засеменил навстречу боярину. В горнице Стефан Твердиславич сбросил намокшую от дождя одежду, спросил меду.

— Сказывай, Окулко, как жили без меня, — велел, осушив мед. — Чай, дым коромыслом в хоромах-то?

— Не суди, осударь-болярин, — низко-низко согнулся Окул. — Тихо было. И какой уж шум да игра, когда не стало болярича нашего!

— Ну-ну, кого нет, нечего вспоминать! — остановил боярин холопа. — Что-то горя да печали у тебя много нынче, Окулко, не в обонежскую ли вотчину захотел на житье?

— Твоя воля, осударь, — склонился Окул. — Не о себе у меня печаль.

— А я не жалую тех, кто чужой печалью живет. Глух и слеп холоп, когда до жалости падок. Не печалиться нам, а о жизни думать надобно. Услышу в кой раз еще постную речь, пошлю в Обонежье, как молвил. Здорова ли Ефросинья?

— Что ей станется, осударь-болярин! — растерянно, не понимая, чем он мог навлечь немилость, ответил Окул.

— Не обижали ее, не жалобилась?

— Нет, осударь. Живет Ефросинья твоею-то боярской милостью, как в раю.

— На владычном дворе что слышно?

— Худо там. Хворью страдает владыка, который уж день из келийки не выходит.

— Немощи одолевают старца. Близко, ой как близко к богу живет святитель... Отмолят попы.

Долго еще спрашивал боярин Окула. Тот, растревожась было, когда Стефан Твердиславич пригрозил обонежской вотчиной, успокоился. Понял, не время оказывать печаль о боляриче. И у боярина о доме появилась

забота, о городовых делах. Перевалило за полночь, когда, широко зевнув, боярин спросил:

— День-то какой завтра, Окулко? В пути да в вотчине забыл вроде.

— Воскресенье, осударь.

— Воскресенье... К обедне соберусь к святой Софии, разбуди!

— Как велишь, осударь-болярин.

Стефан Твердиславич поднял глаза в угол, где перед киотом Софии Премудрости теплилась «неугасимая», и, помолчав, молвил:

— Утром... Скажи Ефросинье — была бы дома. Навещу после обеден.

Ночью лил дождь, и утро забрезжило серое, точно не бывало никогда солнца, не дышала земля теплыми и пряными ветрами. И все же непогожее утро сереет лишь в полнепогоды; резок кажется ветер, но и он дует в полветра. Охрипшие от крика галки темной, трепещущей стаей вьются над крышами хором; не тому ли радуются, что вернулся из похода в вотчину Стефан Твердиславич?

Смутно и невесело на душе у Ефросиньи. Проснулась, а на улице ветер постукивает ставешком о стену светлицы, дождь шумит. Поднялась Ефросинья с перины; косу заплести не успела — явился Окул. Перед тем как войти, обругал он в сенях мамку Ермольевну за то, что не хотела открыть перед ним дверь... Ввалился непрошеный и — диво дивное — низко поклонился боярышне.

— Осударь-болярин наш светлый велел сказать тебе, болярышня, не ходила бы ты никуда. Как будет болярин от обедни — зайдет в светлицу, навестит.

— Почто нынче-то? — вырвалось у Ефросиньи.

— На то воля болярская, — торжественно возгласил Окул. — А ты, болярышня, не тревожься, с лаской прими! Не гневен болярин нынче. Вечером, как приехал из вотчины, слова худого от него не было и о тебе спрашивал.

Убрались в светлице. До полудня ждала Ефросинья боярина, и с полудня не выходила. Встретила Стефана

Твердиславича поклоном, а дума: о чем спросит боярин, что сам молвит? В светлице Стефан Твердиславич, как вошел, молча сел на скамью. Под грузным телом его скрипнула скамья всеми своими суставами. Долго молчал боярин, не спуская глаз с испуганного лица девушки.

— Обрадовать хочу тебя, Ефросинья, — наконец молвил он. Поднялся со скамьи, дохнул чесноком в лицо. — В жены тебя возьму, болярыней будешь.

Не поняла Ефросинья того, что услышала. Поплыло все у нее перед глазами, закружилось.

— Хо-хо! Вижу, рада. То-то счастье тебе! Окулко, Ермольевна, — боярин повернулся к дверце, около которой стояли, онемев от того, что услышали, Окул и мамка. — Поздравьте болярыню свою нареченную!

Не заметила Ефросинья, как прошел день, и ночью глаз не сомкнула. Излить бы горе слезами, а слез нет. Не хочется ни думать, ни вспоминать о боярине. Закроет глаза — мерещится девушке паперть у Власия. Огоньки лампад теплятся в полутьме, и он... Незнакомый, чужой. Нечаянно встретился он Ефросинье, нечаянно и расстались, а нет, кажется, никого ближе ей того молодца, не забыть Ефросинье его взгляда.

Под утро лишь заснула. И представилось ей: идет будто она по зеленому лугу, и вдруг, откуда ни возьмись, налетел черный коршун. Раскинул крылья, заслонил солнце красное. Клюв у коршуна железный, когти медные. Близко он. Вскрикнула Ефросинья от страха, а коршун обернулся перед нею боярином, говорит: «Будешь моей болярыней, Ефросинья!»

Очнулась, открыла глаза. Перед ней мамка Ермольевна.

— Как ночку спала, болярышня? Что велишь подать себе?

— Ничего мне не надо.

— Да что ты! Вчера ведь сиротой ты была, а нынче-то, осподи!

— Молчи, мамка, не вспоминай!

— Как не вспоминать, Христос с тобой! Станешь, болярышня ты моя красная, в хоромах богатых хозяйкою. А что муж не молод, оно и лучше: холить да бе-

речь тебя станет. Бог милостив к сиротам — гляди и не опомнишься, как станешь молодой вдовой.

— Уйди! Не хочу слушать глупые речи.

— Не слушай, а размыслить — размысли. Привалило тебе счастье, Ефросиньюшка!

ГЛАВА 14

ПОДВИГ КОНРАДА ФОН КЕЙЗЕРЛИНГА

Рыцарь Конрад фон Кейзерлинг выступил против псковичей. Начиная поход, Кейзерлинг сам удивлялся тому, что покорно склонил голову перед волей командора. Виноват в том русский боярин. Когда фон Балк сказал о походе, Кейзерлингу показалось, что боярин насмешливо взглянул на него. Уж не подумал ли, что тевтон страшится встречи с русичами? Кейзерлинг не закричал, не обругал боярина, — молча принял волю командора. Следуя теперь впереди войска, рыцарь сердился на себя за свою внезапную сговорчивость.

Кейзерлинг не любил фон Балка. Богатство и воинские подвиги, прославившие командора, вызывали у тевтона зависть к успехам соперника и обиду на то, что сам он не нашел случая оказать храбрость и достоинства свои. Фон Балк пришел в эту землю юношей в дружине монаха Мейнгарда, первого епископа ливонского. Замок Икскюль, возведенный Мейнгардом, явился первым источником истинной веры в стране язычников. Епископ Альберт, сменивший Мейнгарда, поставил город близ устья Даугавы, у выхода реки в море, назвал город Ригой, по названию холма Риге, на котором возвышался епископский замок, и основал духовный рыцарский Орден братьев-меченосцев. Папа Иннокентий III благословил Орден.

Меченосцы, захватывая земли, обращали в своих рабов живших на этих землях язычников — лэттов, ливов и эстов; строили замки, огнем и мечом распространяли свет апостолической римской церкви. К тому времени, когда меченосцы объединились с братьями древнего тевтонского Ордена — тевтоны не нашли в Ливонии ни зе-

Русь он, Конрад фон Кейзерлинг, станет обладателем неисчислимых богатств. Как владетельный сюзерен будет иметь подвластных себе вассалов и свое войско.

Скользким косогором спустились к мелкой, но быстрой речонке. За речонкой еловый бор поредел, строевой лес сменился молодым ельником. По сторонам дороги стали встречаться старые огнища, заросшие высокой поблекшей травой. Среди них встряхивали на ветру пожелтевшими листьями плотные, как стена, грядки березняков и осинников.

За кустами открылся погост. Крытые соломой избы темнеют бревенчатыми кокорами. Речонка, через которую переправлялись недавно, сделав крутой изгиб, зарылась в глубину широкого, с осыпавшимися склонами оврага; он тянется в стороне, недалеко от погоста. Улица, избы погоста словно вымерли — даже псы не лают. Фон Кейзерлинг остановил коня.

— Русичи враги нам, — тонко и высоко, точно меряясь силою с ветром и дождевыми струями, взлетел его голос. — Мы видим жилье их, но русичи дики и негостеприимны, хуже язычников. Горе грешникам и еретикам! — голос Кейзерлинга поднялся еще выше. — Гнев пресвятой девы покарает их. Зажгите жилье! — Кейзерлинг вытянул перед собой руку, показывая на погост. — Ни трубы, ни очага пусть не останется от жилищ варваров.

Наскоро из густых еловых веток воины соорудили шалаш, где рыцарь мог бы укрыться от дождя, но Кейзерлинг остался на коне. Подняв рыжую бороду, он смотрел вперед, на избы погоста, около которых, размахивая на ветру пылающими снопами соломы, суетились воины. Намокшие от дождей строения загорались медленно. Белый дымок занимался где-либо под застрехой, полз по мокрой соломенной крыше, темнел, становился плотнее и, наконец, пронзенный красными ножами пламени, взлетал ввысь. Дымом заволокло улицу. Прибиваемый дождем, он низко стлался над пожней. Пламя лизало стены изб, как живое, трепетало в раскрытых окнах. И чем сильнее занимался пожар, тем выше поднималась борода Кейзерлинга. Благородный рыцарь наслаждался зрелищем своего подвига.

Воины привели захваченных на погосте пленников.

Полуодетые, с непокрытыми головами, они испуганно жались друг к другу. Взор Кейзерлинга задержался на женщине, русые волосы которой плетеными жгутами обвиты вокруг головы. Она стояла к нему ближе других и, словно не видя ничего вокруг, укачивала на руках плачущего ребенка.

С треском и шумом, выбросив в мутное небо огненный столб жарких искр, рухнули стропила крайней избы. Пламя вспыхнуло ярче. Ребенок на руках пленницы не унимался. Кейзерлинг тронул коня, приблизился к женщине; не успела она отпрянуть — вырвал ребенка из ее рук.

— Отдай! — голосом, раздирающим сердце, схватившись за стремя рыцаря, крикнула женщина. — Не губи!

Резким движением Кейзерлинг освободил стремя. Пленница, забыв страх, тянулась к нему.

— Не губи!

Кейзерлинг высоко поднял руку, как бы дразня мать, и вдруг, будто вняв ее мольбам, бросил жертву наземь.

— В огонь! — крикнул он. — Всех! — Кейзерлинг показал на пленников. — Милость пресвятой девы очистит еретиков от ересей их.

ГЛАВА 15

РЫЦАРИ ВОШЛИ В ГОРОД

Воевода Степан Дементьевич вернулся от городовых стен в свои хоромы. Он только что обошел острог, беседовал с ратниками у бойниц и в стрельницах, побывал у отдыхающих после ночной сторожи. Если псковская рать, которую обещал привести Гаврила Гориславич, вовремя подоспеет на помощь, изборяне выдержат осаду. Стены крепки, день и ночь кипят котлы с смолой и водой, ратники городовые и ополченские не помышляют о том, чтобы склонить голову перед ливонской ратью.

В хоромах у себя Степан Дементьевич прошел в гридню и сел на скамью. Тело ломит усталость, после бессонных ночей слипаются глаза. Марфа Фоминишна,

обрадованная приходом мужа, наставила перед ним гору снеди. Степан Дементьевич приложился к ендове, взял на заедки кусок лукового пирога, но тут же опустил на руки голову и заснул.

У полного снеди стола Степан Дементьевич спал до вечерен. На вечернях прибежал гонец от воротной стрельницы с вестью. Марфа Фоминишна вышла к нему, спросила:

— Велика ли весть, паробче? Заснул Степан-от Дементьевич.

— Суди, осударыня, — поклонился гонец. — Послал меня сотник Лупп; грамоту велел отдать воеводе, а та грамота дана из лыцарского войска.

Марфа Фоминишна взяла у гонца свиток. Она по складам разбирала псалтырь, прочитать же наскоро выцарапанные письмена не смогла. Только и поняла два слова: «Болярину Степану...»

— Из лыцарского войска грамота? — переспросила.

— Оттудова, осударыня. Выбежал ихний ратник к воротной стрельнице, пустил стрелу. Стрела принесла грамоту. Сотник Лупп велел нести грамоту воеводе.

— Может, и впрямь важное что, — вслух подумала Марфа Фоминишна.

Не хотелось ей будить мужа, но все же решилась. И самой не терпелось узнать, о чем из вражьего стана пишут воеводе.

— Степанушка, очнись, осударь! — войдя в гридню, позвала она, тронув за плечо мужа. — Очнись! — боярыня наклонилась ближе. — Гонец...

— Гонец?! — встрепенулся воевода. — Не со Пскова ли?

— Нет, с грамотой к тебе от сотника Луппа.

— Что-то мелешь ты, Марфа, — зевнул воевода. — О чем писать Луппу? Видел его нынче.

— Не свою грамоту послал, лыцарскую.

Степан Дементьевич потер глаза, пригладил спутанные волосы; потянулся было за шеломом, но, оглядев наставленную перед ним снедь, спросил:

— Никак я заснул за едой-то?

— Заснул. Пригубить ничего не успел.

— То-то, чую, на еду охота... Давай грамоту, поглядим, кому до меня нужда.

Приняв свиток, Степан Дементьевич осмотрел его.

— Печать, зрю, Новгорода Великого... Гонец-то, который принес грамоту, тутошний?

— Тутошний, Тимша-мошенник.

— Знаю Тимшу. На торгу брал у него мошну и дома заказывал из сыромяти, с узором шитым, — сказал воевода. Повернув перед глазами восковую печать, привешенную к грамоте, прочитал вслух: — «Посаднек Новгородстей Борис». Не слышно давно на Новгороде посадника Бориса, — промолвил с недоумением.

Развернув и разгладив свиток, Степан Дементьевич вооружился указкой — острой, изогнутой волною дубовой палочкой с резным коньком на тупом конце и кольцом для пальца. Водя ею по строчкам, начал:

—«Болярину Степану Дементьевичу, воеводе на Изборске, пишет болярин Нов-Града Великого Борис Нигоцевич Олелькович...»

— Нигоцевич! — всплеснула руками Марфа Фоминишна. — У ливонцев он... Неужто вместе с латинами на землю свою меч поднял?

— Не диво, Марфа, — Степан Дементьевич оторвался от грамоты. — Не впервой переветы вкупе с ворогами идут на Русь. Поглядим, что он пишет: «Поклон тебе, болярину...» Гм, мягко стелет. «От меня и зятя моего Нежилы Агафоновича, болярина псковского. Почто ты, Степан Дементьевич, держишь город? Не со злом и не с поруганием пришло к Изборску лыцарское войско, а добра желаючи: помочь Руси скинуть ярмо нечестивой и поганой Орды, заступить Русь от пленения, утвердить права вотчинные на Пскове и Великом Новгороде, рушить насилие суздальское. Тебе ли, болярину, идти противу? Знал я родителя твоего, поныне добром его вспоминаю; верил он моему слову и тебе бы поверить. Войско лыцарское многолюдно, не откроешь ворота без крови, погибнет Изборск. Послушай совета, возьми мир! Грамоту сю пишу, желаючи твоего счастья. Отдашь Изборск — себя спасешь, воеводство свое и город. Порукой в том мое слово...»

Степан Дементьевич опустил указку и бросил от себя грамоту.

— Слышала, Марфа, что пишет перевет? — спросил. — Измены во мне ищет. Нет, Бориска, не бывать

тому! — Дементьевич в сердцах грохнул кулаком по столу. — Не хаживал я в измене.

— Страшно, осударь, — боярыня закрыла лицо руками. — Сожгут и разорят Изборск латыняне.

— А ты бабьим-то умом не велишь ли выйти за городовые ворота с поклоном к латинам? — нахмурился Степан Дементьевич.

— Нет, осударь, не велю, — ответила Марфа Фоминишна. — Баба я, а чужой лести не покорна.

В ночь над городом опустился туман. Белая мутная пелена его заволокла улицы, городовые стены, луга и леса вокруг. Опасаясь, что под прикрытием тумана враги могут незамеченными приблизиться к стенам города, воевода Дементьевич велел сотникам поставить сторожи в поле, впереди стен. Появится войско меченосцев — бежали бы сторожевые воины с вестью в город; сам Степан Дементьевич провел ночь на воротной стрельнице, не сомкнул глаз.

Перед утром со стороны Великой, миновав вражеский стан, прибежали в город трое псковичей. Воины привели их к воеводе. Псковичи открыли Дементьевичу, что шли они в полку Гаврилы Гориславича на помощь Изборску. Псковская рать переправилась через Великую ниже города и на пути, в лесах, неожиданно для себя, встретилась с войсками меченосцев. Много воинов пало в битве, погиб на поле и воевода Гориславич.

— В городе не слышно было о битве Гориславича, — сказал Степан Дементьевич, выслушав псковичей. — Давно ли бились?

— Позавчера, осударь-воевода, в сутках пути от Изборска. Засадою напали меченосцы. И конно и пешо.

— Почто меченосцы ходили далеко от города? — спросил Дементьевич. — Не измена ли черная дала им весть о вашем походе?

— Неведомо, осударь. В полку Гориславича все воины, кои вышли из Пскова, бились с меченосцами.

Горько было Степану Дементьевичу узнать о гибели псковской рати. Отпуская псковичей, принесших весть о битве, Дементьевич велел им отдыхать покуда. Теперь, когда пропала надежда на помощь Пскова, легко

ли будет защитникам Изборска отстоять город? Ох, тяжко на сердце у Дементьевича! Но о том, что тревожит воеводу, надо ли знать воинам?

Степан Дементьевич спустился со стрельницы и прошел в подклет, где, укрываясь от дождя, сидели и лежали ратники; одни из них спали, другие жевали хлеб, запивая его водой. Степан Дементьевич спросил: не найдется ли у кого сквалыжки хлеба. «Ночь долга была, зубы дела просят», — усмехнулся.

— Хлеб-от черств у нас, осударь-воевода, — сказал ратник, в котором Дементьевич узнал Тимшу. — Со вчерашнего дня дома не показывались.

— Давай и черствый, Тимша, такой-то слаще.

Взяв хлеб, Степан Дементьевич густо — добела — посолил его и только принялся есть, сверху, со стрельницы, прибежал сторожевой ратник.

— К тебе, Степан Дементьевич, — ратник остановился перед воеводой. — Никак замыслили что-то латинские крестоносцы... Срубы в поле и вроде ползут...

Следом за ратником воевода, спеша, поднялся на стрельницу. Впереди, ближе полуверсты, в поле изба. Срублена она без окошек, из неокоренных кряжей; над срубом нет ни стропил, ни крыши. Подальше, левее первой, другая такая же, и еще... Подняв над глазами ладонь, Степан Дементьевич смотрел на вражью хитрость. Ратник не обманул: избы двигаются. Покачиваясь на неровностях поля, они медленно ползут к городу.

«Срубы на катах, — догадался Дементьевич. — Внутри срубов воины».

— Не посрамим имени своего, други! — громко сказал Дементьевич, обращаясь к окружившим его воинам. — Стояли мы перед силой вражьей, постоим и перед хитростью. Гонцы, скликайте людей! Пусть в городе набат звонят, молебны служат попы... Кто из лука целить горазд — обвивайте стрелы смоленой посконью, зажигайте их и с огнем кидайте на срубы. Станут близко у стен недруги, будем лить на головы их смолу кипящую и воду. Пусть помнят, как встречали их на Изборске. Ратным людям всем — крепко стоять на стенах, не дремали бы копья и топоры.

Зазвонили набат. Горящая смоляная посконь, намотанная на стрелы, огненными птицами взвивалась в воз-

духе и падала на черные, мокрые срубы. Ветер раздувал пламя. Поле затянул густой дым, но сырое дерево не загоралось. Пригвожденная стрелою к срубам посконь сгорала, оставляя после себя языки копоти.

На защиту города поднялись все жители. Жены-изборянки жгли костры под котлами со смолой и водой, носили и складывали у стен камни.

Вражеские срубы подвигались ближе и ближе к городовым стенам.

В рукопашной битве пал воевода Степан Дементьевич, но сеча не затихла. Место воеводы заступил сотник Лупп.

— Не дадим врагу город! — кричал он, ободряя воинов. — Не посрамим имени своего!

Падали враги, но редели и ряды защитников Изборска. В городе занялись пожары. Низко стлавшийся по земле дым ел глаза. Изборяне бились на улицах, бились у каждого дома. Треск рушащихся в огне строений сливался с криками и воплями сражающихся. Пролитая кровь — своя и чужая — мешалась с грязью.

— Не посрамим имени своего! — разносится голос Луппа. Крик его подхватывали воины.

— Не посрамим!..

ГЛАВА 16

В РИМЕ

В день Невской битвы отец Биорн, спасаясь от копий и стрел новгородцев, задолго до конца сечи бежал на ладью и велел гребцам править к другому берегу реки. Ладья отвалила в тот момент, когда показалась на привольной воде рыбачья ватага Пелгусия. Седая борода предводителя рыбаков парусом развевалась на ветру. Отец Биорн и ругал и молил гребцов, чтобы жали на весла, вызволили его из смертной опасности. Челнок с двумя русичами погнался было за убегавшей ладьей, но скоро отстал. Отец Биорн молитвенно воздел руки и поблагодарил бога за то, что закрыл он глаза варварам и еретикам, повернул челн их в огонь битвы.

Топкий и вязкий берег, куда пристала ладья, зарос густой и плотной осокой, напоминающей камыш. Впереди, невдалеке, зеленеет лесок. Отец Биорн направился туда. Он был уже близко от спасительных зарослей, когда, неожиданно оступившись, упал. Точно незримый огонь обжег ногу. Она страшно отяжелела. Попытался встать, но боль была так невыносима, что казалась святому отцу хуже наказания божьего, принятого за чужие грехи. «Вывих, — мелькнула мысль. — Как выбраться из трясины?» Гребцы, переправившие Биорна через реку, бежали. Он ползком, измазав илом и рыжей болотной тиной одежду, в кровь изрезав осокой руки, все же приблизился к кустарникам. Место там оказалось суше. Отдохнув, Биорн готов был подать голос о помощи, но вдруг глаза его расширились от изумления; он увидел гребцов, которые бросили его в заросшей осокой топи.

Они бежали от кустов к реке. Отец Биорн предположил было, что беглецы вернулись с целью оказать помощь ему, но тут же, почти следом за ними, на открытый берег вывалила толпа язычников, жителей Саволакса. Видимо, скрываясь в кустах, язычники наблюдали через реку за битвой крестоносного войска, видели, как пристала к берегу ладья. Размахивая оружием, они гнались за убегавшими шведскими воинами.

Брошенную у берега ладью унесло течением. От страха отец Биорн закрыл глаза. Жарко, как никогда, молился он о своем спасении. Его не трогали вопли воинов, окруженных язычниками. Ни одной крупицы жалости не зажглось в его сердце. «Люди, павшие до того, что, спасая себя, бросили без помощи служителя церкви, недостойны жалости, — размышлял отец Биорн. — Смерть — заслуженная кара за грех, совершенный ими». И когда язычники удалились, он с облегчением вздохнул и, подняв к небу глаза, поклялся в том, что покинет землю озер, не осквернит ни тела, ни души своей пребыванием среди скопищ нечестивых. «Пусть грехи язычников падут на головы их», — шептал он.

Перед вечером разрозненные кучки шведских воинов, уцелевших в битве, переплыв реку, высаживались на топкий берег Саволакса. Из-за реки доносились

клики торжествующих победителей. Весь цвет шведского войска погиб в битве; жалкие остатки его, успевшие бежать с поля, были неспособны к сопротивлению.

В битве на Неве погиб Роальд. Лишившись верного слуги своего, потеряв веру в военное искусство и могущество Биргера, не оправдавшего возлагаемых на него надежд римской церкви, отец Биорн оставил войско и удалился в Упсалу.

Нелегко было святому отцу пережить неудачу, постигшую его; но и в горе своем он не потерял веры в то, что «свет Рима озарит заблудшую в ересях Русь». Как и прежде, в тайных думах своих отец Биорн видел себя первым католическим епископом Новгорода Великого. Он трудился над познанием языка русов и обычаев их.

Пробыв в Упсале до осени, отец Биорн отправился в Рим. Почти всю зиму жил он при папском дворе, где приобрел славу страстного поборника объединения с апостолической церковью отпавшего от нее Востока. Следуя учению цистерианца Бернара Клервоского, поборника насильственного приобщения к католической церкви славянских племен на Востоке, отец Биорн утверждал, что избавление Руси от ересей и признание русской церковью главенства святейшего престола совершится только силою меча. При папском дворе, в беседах со многими людьми, отец Биорн не встретил никого, кто противился бы призыву к новому походу на Русь.

Наступивший тысяча двести сорок первый год ознаменовался в Риме горестным событием. Скоропостижно скончался папа Григорий IX. За четырнадцать лет своего папства Григорий IX (в миру граф Сеньи) возвысил значение светской и духовной власти пап. Враг восточной церкви, папа Григорий IX был вдохновителем крестового похода на Русь. Избранный конклавом кардиналов новый папа Целестин IV (в миру граф Кастильоне), по примеру предшественника своего, провозгласил стремление папства вернуть в лоно апостолической римской церкви отпавшие от нее племена варваров на Востоке. Вскоре после торжественной интронизации[1] папы кар-

[1] В римско-католической церкви — церемония посвящения в сан папы.

динал Николо Риенци пригласил к себе отца Биорна и передал ему желание папской курии направить в Новгород легата Рима.

— Облеченный доверенностями святейшего престола, но движимый якобы лишь любознательностью своей и стремлением видеть великий северный город, легат апостолической церкви посетит Новгород, — сказал Риенци. — В Новгороде он найдет приют и покровительство ольдермена Готского двора. Для этого любекский и рижский епископы снабдят легата Рима доверительными грамотами. Когда епископ новгородский и князь выразят согласие начать переговоры с Римом, волен будет легат курии открыть доверенности свои, обещать Руси союз и помощь римской церкви и христианских народов Запада в борьбе с монгольскими ордами; легат курии будет иметь власть на создание в Новгороде униатской епархии. Ты, святой отец, участвовал в походе на Русь войска христианнейшего короля шведов, жил близко Новгорода. Готовясь к апостолическому подвигу среди отпавших от истинной веры русов, ты познал язык и обычаи варваров. Скажи: способен ли Новгород принять помощь Рима и истинных христиан, которую они готовы ему оказать?

С первых же слов, обращенных к нему, отец Биорн понял, что кардинал Риенци испытывает его. Отец Биорн сознавал опасность путешествия в Новгород и то, что эта опасность особенно усилилась после битвы на Неве. Но обещание военной помощи в борьбе с Ордой, как казалось отцу Биорну, должно усыпить недоверие к посланцу папской курии. Это подсказывало благополучный исход путешествия. Если бы выбор святейшего престола пал на него, Биорна из Упсалы, он сумел бы в Новгороде в полном блеске раскрыть свои таланты искусного дипломата и проповедника.

— Путь в Новгород опасен, монсиньор, но опасен не больше, чем путешествие из Упсалы в Рим, совершенное мною, — сказал отец Биорн в ответ кардиналу. — Люди на Руси полны заблуждений, но, по свидетельству шведских и иных ганзейских гостей, посещавших Новгород, доверчивы и гостеприимны. Я верю в успех миссии, верю, что Новгород не отринет желаний святейшего пре-

стола. Это облегчит труды крестоносного войска в стране отступников и еретиков.

— Слова твои радуют меня, святой отец, — с легкой, едва заметной усмешкой, промолвил кардинал. — Легат папской курии, в общении с русами, в особенности с князьями их и епископами, должен оберегать все, что говорило бы о воле церкви нашей. Легату курии, как апостолу Петру, верховному отцу римской церкви, предстоит располагать сердца людей, научить их не холодным умом, а душою и сердем постичь истинное значение помощи католических народов русам. В этом суть пребывания легата курии в Новгороде. Когда крестоносное войско войдет в пределы Руси — свершится тогда воля божия.

— Не испугает ли русичей то, что монгольские орды, вступив в западные христианские земли, разбили в Польше войско Генриха Благочестивого, разрушили Краков и иные города? — спросил отец Биорн.

— Не испугает, а возвысит доверие князей и епископов на Руси к помощи святейшего престола. Братья Ливонского ордена и все, кто пойдут с ними, рассеют недоверие и истребят упорствующих.

— О, если бы я знал, кто избран святейшим престолом на подвиг, указанный вами! — горячо, снедаемый любопытством, воскликнул отец Биорн. — Я готов разделить труды путешествия в Новгород. Скромные знания мои облегчат тяготы общения с еретиками. Откройте, монсиньор, имя избранника!

— Вы скоро узнаете его, — ответил кардинал и движением головы дал понять, что отпускает проповедника.

ГЛАВА 17

ВАСЕНА

Поздней осенью добрался Ивашко в Новгород. День был холодный и ветреный; низкие облака сыпали мелкой, похожей на туман, колючей изморосью. Слезливо щурились окошки изб. Жидкая, как опара, черная грязь тускло поблескивала на стланых мостовых, заполняя собою все выбоины.

Еще березы не сбросили с себя пожелтевшую листву, когда Ивашко узнал от Данилы об отъезде Александра Ярославича. Пока жил на займище, не верилось, что пусто на княжем дворе. Теперь чужим он показался ему. Мозглым воем скулит ветер под застрехами теремов, безнаказанно обнажает гордые клены и тополи. Опавшие листья узорным ковром устилают мощенный тесаными пластинами двор — ровный, как пол в горнице, шелестят под ногами на резных крыльцах притихших теремов.

Яков Полочанин, которого оставил Александр в Новгороде смотреть за хоромами, схватился за бороду и с изумлением уставился на Ивашку, когда тот появился на княжем дворе.

— Откуда пожаловал, молодец, где пропадал?

В годы, что прошли со дня смерти Любаши, белый снег осыпал бороду Полочанина. Не садится он теперь на коня. Стар стал. Не узнать в нем бесстрашного ловчего княжих охот, что, бывало, скакал впереди всех в поле, загоняя волчью стаю, или по следу красного зверя.

Ивашко рассказал Полочанину о встрече своей на Шелони с Семенком, о том, как обманул его поп.

— Не случись близко займищанина Данилы, не видать бы мне Новгорода, — закончил Ивашко.

Выслушал его Яков, позвал в хоромы.

— Располагайся как дома, молодец, — сказал. — Поживешь, а там, может, и князь будет.

Провел Ивашко в хоромах ночь, а когда рассвело — отправился на Ильину улицу, в кузню к Никанору.

Безлюден Новгород. Дождь ли разогнал жителей по теплым углам или иное что, но ни встречного, ни поперечного не увидел на пути. Пока Ивашко шел мощеными улицами, нога ступала крепко, в переулках же и на Ильиной хоть в ладье плыви. Скорее бы холода! Скует мороз осеннюю непролазную грязь, прикроет снегом, и оживет, заиграет зимним весельем Новгород. А нынче Ивашко по черному разливу непогодной осени еле добрался к Никанору.

В открытые воротца кузни слышно поскрипывание коромысла и громкие вздохи мехов у горна. Над золотом углей бьется жаркое синеватое пламя. Увидев

Ивашку, кузнец опустил мех, уставился взглядом на гостя.

— Ивашко! — будто не веря тому, что видит его, воскликнул он. — Жив молодец?!

— Жив, — широко ухмыляясь, откликнулся Ивашко. — Весь перед тобой.

— Откуда ты? Уж не из Переяславля ли?

— С Шелони.

— С Шелони?! — еще больше изумился кузнец. Горка огруженных к поддувалу углей потемнела; еле шает, поблескивая внутри ее, замирающий огонек. — Какая нужда загнала тебя на Шелонь?

— По лету, перед походом на шведов, был я на Шелони со словом княжим, а остался не своей волей. Хворь маяла.

— Уж не огневица ли?

— Огневица не тронула, острый кончар проколол вот тут, — Ивашко приложил к груди ладонь. — Недруг хитростью обошел. Лежал я после — ни рукой, ни ногой не мог ворохнуть, а вот поправился, силы накопил. Ехал в Новгород — тешился думой, что все горе мое перегоревано, а приехал... Нет в Новгороде ни князя, ни дружины.

— В Переяславле Александр Ярославич, — вспомнив, что и он виноват в уходе Александра из Новгорода, хмуро вымолвил Никанор. — Обиду он принял... Ждем Ярославича на Новгороде, да не дождемся пока. Сам-то, Ивашко, ты надумал что-либо? — спросил Никанор, помолчав.

— Коротки мои думы, Никаноре. Не вернется князь в Новгород, уйду в Переяславль.

Кузнец взялся за коромысло, качнул мех. В горне зашумело пламя.

— Осенью-то бездорожье на путинах, зима скоро, — снова оставив дутье, сказал он. — Дорога на Переяславль не ближняя, за Тверью, может статься, рыщут ордынские конники, а то и свои воровские люди, ладно ли будет идти одному? Другое бы я посоветовал.

— Твоему совету рад, Никаноре.

— Коли рад, так послушай. Живи-ко ты, молодец удалой, зиму на Новгороде Великом. С княжего двора не гонят тебя, а руки дела запросят — приходи в кузню.

Дождешься весны, тогда и будем думать, куда искать путь.

Осенняя непогода затянулась. Настасьин день справили, а и реки еще не встали. То дождь моросит не унимаясь, то целый день хлюпает тяжелыми шлепками мокрый снег, прибавляет воды. В Волхове поднялась мутная волна; взглянешь, не отражается в ней, как в летнюю пору, голубая твердь неба. Ручьи по овражкам, пересыхавшие летом, вздулись, шумят. На дорогах — черный кисель, в низинках колеса телег вязнут по ступицы. В эту слякотную осеннюю пору ни пройти никуда, ни проехать.

Ивашко остался в Новгороде. Протомился он с неделю на княжем дворе и, не выдержав, перебрался в кузню на Ильину. Веселее и легче стало. Никанор, как и в первую зиму, учил Ивашку хитрому кузнечному ремеслу, учил бить молотом и ручником, калить железо.

Не пришлось встретиться Ивашке на Новгороде и с Василием Спиридоновичем. На преображеньев день Василий Спиридонович ушел с ватажкою на Двину, на торг с двинскими боярами, задержался там.

— Двинские боляре ведут торг дорогими мехами, — сказал Ивашке Никанор. — Есть у них меха бобровые, чернокуньи, голубые лисьи, черные лисьи с серебряным дымом. Есть на Двине жемчуга скатные, изделия из рыбего зуба... На торгу в Висби ганзейские и франкские гости высоко ценят двинские изделия. Не выберется Спиридонович с Двины плавóм, вернется санной путиной.

В субботу Никанор засветло погасил горн.

— Клади молот, Ивашко, — сказал.

— Не рано ли, Никаноре? Солнце еще не село.

— Не рано. Пойду нынче на Лубяницу, к старосте Онцифиру. А ты, коли охота да воля, проводи меня. У меня дело к Онцифиру, а ты Васену повеселишь.

— Как же мне идти, Никаноре, незваному?

— Аль не хочешь показаться на людях?

— Нечего мне сказать у Онцифира.

— О чем спросят, то и скажешь, — усмехнулся Никанор. — Помню, был ты у Онцифира, мед пил из рук Васены. Не болярин староста Онцифир, а слава его велика

на Новгороде. Васена одна у него. Умна и хороша девица. Пойдешь со мною — не потужишь.

— Уволь, Никаноре.

— Воля с тобой, не тащу силóм.

Ивашко опустил глаза. Как сказать Никанору, что не безродному молодцу искать свою судьбу в хоромах на Лубянице. Неровня гость хуже чуженина. А Никанор не унимается.

— Томишься ты, Ивашко, — говорит. — Голову повесил. А удалому ли молодцу с тоской знаться! Гляжу вот я на тебя, и спросить хочется: всю ли ты правду о себе поведал? Все ли сказал о том, что сталось на Шелони?

— Не спрашивай, Никаноре! — промолвил Ивашко так решительно, что кузнец пожалел: не обидел ли молодца неловким словом. — Худого я не мыслю и дела худого за мною нет. Сам не пойму, так все хитро обернулось. Радость была у меня, Никаноре, и страшно мне ее потерять.

— Не пойму, в чем твой страх, Ивашко, — сказал Никанор и подошел ближе. — Не о том ли горюешь, что отстал от княжей дружины? Вижу, горько тебе, а ты не думай так, не на век. Не своей виной отстал. Будешь жить — будут и радости впереди и дни светлые.

Проводив Никанора, Ивашко закрылся в клети, лег на сенник. Толпятся в голове у него думы беспокойной ватажкой. Скользнет одна, а на смену притаилась другая. Не думы — колючий осенний дождь, что шумит в непроглядной тьме по тесинам крыши. И постель жестка Ивашке; словно не сенник под ним, а кленовая доска старого била. «И почему остался, не послушал Никанора? — спрашивал себя Ивашко, припоминая, о чем говорил кузнец, когда звал на Лубяницу. — Испугался встречи с Васеной?» Ивашке представился овраг у Нутной, весенняя гололедь... Вспомнилось, как нес на руках девушку. В думах о Васене Ивашко забыл и поляну в бору и то, как жил там. Вдруг вместо Васены встала перед ним Олёнушка. Далеко она, но образ ее казался таким светлым и близким, что Ивашко повеселел. Как рукой сняло тоску с сердца. Он и сейчас хотел бы думать о Васене, но Олёнушка неотступно стоит перед его взором. И кажется ему, что не Васену, а ее, Олёнушку, нес он на руках через овраг у Нутной; ее видел в облике

Васены, и оттого Олёнушка становилась еще дороже и ближе ему.

Не слыхал, как скрипнула калитка, пропуская Никанора. Не заходя в хоромы, кузнец толкнул дверь в клеть, где спал Ивашко, и окликнул:

— Эй, Ивашко, проснись-ко!

— Никанор?

— Я. Отгадай, кого встретил на Лубянице?

— Наверно, того, кто был у Онцифира.

— Не отгадаешь, — засмеялся Никанор. — Поклон принес тебе. Не поленись-ко, молодец, привстань да высеки огонь, тогда и скажу.

Ивашко нашарил огниво, ударил сталью по кремню и, когда затлел трут, зажег жирник.

— Кому нужда поклоны слать мне?

— Тому, кто тебя помнит, — Никанор поставил жирник выше, на полавочник. — Так дело было: сидим мы с Онцифиром, кладем слово за слово, вдруг крыльцо скрипнуло. Васена, думаю. Не видно было ее в горнице. А шаги вроде тяжелы для нее. Входит. Вижу — гость. Перекрестился он в красный угол и молвил: «Встречай, Онцифире!» Смотрю — глазам не верю.

— Незнакомый?

— Знакомый! Гость новгородский Василий Спиридонович.

— Спиридонович? — повторил Ивашко. — Вернулся с Двины?

— Вернулся. Хорош, сказывает, был торг у него с двинскими боярами. Весною, как сойдет лед, собирается Спиридонович со своими товарами за море, на торг в Висби. А тебя помнит. Услыхал, что в кузне ты у меня, обещал навестить.

...Рад был Ивашко встрече со Спиридоновичем. Как будто появление в кузне торгового гостя вернуло Ивашке то, что знал он в Новгороде. Вспомнили они весну, первую встречу свою на Буян-лугу; вспомнили и о том, как бывали на торгу и на гуляньях, как в княжей потехе камешки метали.

— Минет зима, откроются реки, пойдем, Ивашко, со мною на Готланд, — сказал Спиридонович. — Себя покажешь и людей посмотришь.

— А что скажет Александр Ярославич, когда вернется в Новгород? — спросил Ивашко. — Одна вина тяжка, а две вины он не простит.

— Александр Ярославич не рассердится за то, что уйдешь в Висби, — успокоил Ивашку Спиридонович. — С дорогими товарами будем за морем, в обратный путь возьмем то, что нужнее нам. Вернемся, спасибо услышим от Ярославича за хороший торг.

Зима. Снежные сугробы намело, что остроги городовые. На бойких улицах дороги укатанные, а в переулках темнеют лишь тропочки к избам. На перекрестках торчат из снега черные кукиши головней, указывают — не сбиться бы пешему с пути в сугроб.

В избах топят печи. Днем и ночью белым туманом виснет над городом дым, а в ясные утренники над избами тонкими, стройными столбами дым поднимается высоко к небу, будто подпирая его студеную, по-зимнему бледную синеву. Кружево обындевелых лип, берез, тополей так тонко и хрупко, что тронь его мимоходом — и оно зазвенит, рассыплется морозной пылью.

В праздники на холме за Власием зимнее гулянье с катаньями. Стрелою мчится с холма к Волхову ледянка, выскользит на лед, и по ровному полю его несет седоков до того берега. А свернет ледянка с накатанной дорожки — не успеешь моргнуть — перевернется она копылками вверх. Рыхлый снег глубок, еле на свет из него выберешься. Шум, смех, веселые крики вокруг. Щиплет щеки морозный ветер, леденит дыхание. Но разве придет кому-либо охота жаловаться на мороз!

Любят на Руси студеную зиму, да и как не любить ее! Чем крепче мороз, тем громче скрипит снег под полозьями, тем ярче щеки румянятся, громче разносятся в сизые дали голоса вольницы. Внизу, на льду Волхова, разметена дорожка, как ручеек. Темной, скользкой холстинкой вытянулась она по снежному лугу чуть ли не на полверсты. Разгонится молодец и — с разбегу — на лед. Скользит ледяная дорожка под ногами. А мороз сердится, того и жди — ущипнет щеку белыми рукавицами. Но молодцу все нипочем; шапка набекрень, шуба наброшена на одно плечо. Жарко!

Ивашко на льду. Мимо скользит ледянка.

— Приставай, Ивашко! — доносится оклик.

На ледянке Василий Спиридонович. Рядом с ним Васена.

— Узнаешь молодца, Васена? — спрашивает Спиридонович. — Лето и осень пропадал в борах на Шелони, смерть обнимала его, а молодец удал, вырвался.

— Узнаю. — Это сказала Васена. От мороза порумянела она, темные ресницы опушены инеем.

— Зову молодца с собой за море, а он упрямится; на море, говорит, не бывал, воды много, страшно.

— Ой ли, — улыбнулась Васена. — А мне-то казалось — ни воды, ни огня не страшатся княжие дружинники.

— Дружинники рядом с князем, — потемнел Ивашко. — А я... Бью молотом в кузне у Никанора.

— Вернется Ярославич — не обойдет тебя, — сказал Спиридонович. — А за море сходишь, цена тебе вдвое.

— Худой помощник буду за морем, Василий Спиридонович. Ни торг торговать, ни слова там не смогу молвить.

— О том и не прошу тебя. Путь дальний, не знаешь, кого встретишь; кому шапкой поклонишься, а с кем копьями переметнешься. Доведется копья да мечи брать, тут уж лучше тебя нет помощника. Не упрямься! Посоветуй ему, сестрица! — Спиридонович попросил Васену.

— Коли за тем дело, изволь, братец, — смеясь, как и Спиридонович, сказала Васена. — Но мне ли советовать? Поклонюсь ему и попрошу... За братца прошу, молодец!

Васена встала перед Ивашкой и, чего не ожидал он, низко-низко поклонилась.

— Упрям, — смеется Спиридонович. — Мои слова мимо ушей у него, а твоего совета, сестрица, можно ли ослушаться?

Ивашко смутился. Кровь прилила к лицу. Взглянул на веселую, улыбающуюся Васену, на Василия Спиридоновича и не утерпел, улыбнулся сам.

— Не вернется зимою князь — сяду с тобой на ладью, Василий Спиридонович, — сказал. — Погляжу море.

ГЛАВА 18

РАСПУТЬЯ

Тревожно в Новгороде Великом.

Ливонские рыцари, разорив Изборск, вступили в Псков. В дружбе с ними псковские и новгородские переветы. Князь Александр, как уехал после распри с вотчинными боярами в Переяславль, с тех пор вести не дает о себе, и не знает никто, вернется ли он на зиме в Новгород. На Покров прошел слух, что ливонские меченосцы собирают новый поход.

На Готском дворе торговые гости из Любека и Бремена отказались платить пошлины. На суде у тысяцкого при Иванской гостиной братчине любечане и бременцы жаловались на невыгодность для них торга в эту осень: свои-де залежались товары и новгородцы мало продают — цены высоки на все.

В совете господ оправившийся после боя на Софийском вече кончанский староста Славненского конца Никита Дружинич сказал:

— Немецких лыцарей ждут любечане и бременцы. На Готском дворе толкуют: придут лыцари — беспошлинно будем торговать в Новгороде; на колени встанет и поклонится нам Господин Великий.

— Пустые твои слова, Никита! — обрывая Дружинича, прикрикнул владычный боярин Лизута. — При дедах и прадедах не знали того, чтобы Господин Великий Новгород на коленях стоял перед иноземцами.

— Отворим ворота лыцарям, встанем на колени, — возразил Лизуте Сила Тулубьев. — В Пскове лыцари, недалеко.

— Встанем... Уж так-то встанем, — подхватил речь Тулубьева Никита Дружинич. — Князю Александру сказали: не люб, уходи! А кому вести войско, как придет беда? И ремесленные, и торговые, и все городовые люди желают Александра. О том бы я молвил, боляре: не пора ли засылать послов в Переяславль?

— Чай, и без послов не заказана Ярославичу дорога на Новгород, — насупив брови, точно слова Дружинича обидели его, отозвался Лизута. — Новгород зла ему не чинил.

— Справедливо, Якуне, — поддержал Лизуту Стефан Твердиславич.

— Не ты ли, болярин, слово держал перед Новгородом супротив Ярославича? — воскликнул Дружинич, возмущенный речами вотчинных бояр, старавшихся свалить на Александра вину за распрю. — Не ты ли кричал: «Пора Александру на Переяславль! Не люб!»

— Потише, помолчал бы ты, Никита, — пристал к спору боярин Водовик. — Не к году распря. Говаривали прежде: кто старое помянет, тому глаз вон!

— Горько слушать правду, болярин? — насмешливо бросил Дружинич, косясь на Водовика.

— Старое, какое было, прошло и быльем поросло, — начал снова Лизута. Он держал себя так, будто никогда и не помышлял о распре с князем. — Никак забыл ты, Никита, кто помог Александру собрать войско на свеев?

— Уж не ты ли, болярин Якун? — спросил Дружинич. — Животы надорвал от смеху Новгород, глядя на твою помощь.

— Не о пустом ли спор, боляре? — сокрушенно покачал головой и привстал с лавки Стефан Твердиславич. — Старых обид не перескажешь, а почто вспоминать их? Все ждем Александра Ярославича, да гордынею вознесся он перед Новгородом, не идет.

Замолчав, Твердиславич неторопливым взглядом обвел сидевших на лавках бояр. Мигали, дрожа, оплывшие от жары и духоты свечи. Сохраняя достоинство свое, Твердиславич опустился на место и сложил на животе руки.

— Хитро ты молвил, болярин Стефан, — нарушил молчание Сила Тулубьев.

— Не хитрость, правду молвил, — откликнулся Твердиславич.

— Не помолчать ли о правде-то? — Тулубьев насмешливо воззрился на Твердиславича. — Открыл бы ты, в чем гордыня Александра?

— А ты не догадлив? — выше поднял бороду Твердиславич. — В свейском походе легкая слава досталась ему, о том и сказываю. Врасплох налетели новгородцы на свейский стан, да и мало их было, свеев-то. Нынче грозят Новгороду не свеи, а лыцари-меченосцы. Сила

их не в пример свейской. Вот и сужу: не страшно ли Александру встретиться с лыцарями? Не потому ли сидит он в Переяславле?

— Что-то в походе на свеев не встречал тебя в поле, болярин, — припомнил Тулубьев.

— Не воевода я, на что мне поход! Ондрий мой на Неве кровь пролил...

— Не добром поминаешь сына, Стефане, коли хулишь битву, — поднялся Тулубьев. — Я видел Невскую битву, видел и след свейского копья принес. Вот, — Тулубьев распахнул шубу и поднял рубаху, показывая рубец. — Бились мы со свеями с утра до вечера, а ты, болярин, грязью кидаешь в ту битву. Не вернется Ярославич на Новгород, вперед скажу, поклонимся лыцарям.

Как ни противились верхние вотчинники тому, чтобы отправить послов во Владимир, но вторжение на Русь ливонских рыцарей, захват ими Пскова, а особенно слух, что замышляют ливонцы весною поход на Новгород, образумили бояр. Да и как противиться, если все улицы и концы городские сложились одной речью: «Пора звать князя Александра; без помощи суздальской не оборонимся от лыцарей». В середине зимы совет господ снарядил во Владимир владычного боярина Якуна Лизуту и боярина Силу Тулубьева. Чтобы не зазорно было Великому Новгороду идти с поклоном, дали послам грамоты не в Переяславль, к Александру, а к великому князю.

Ярослав Всеволодович принял грамоты, послам велел отдыхать и, покуда не позовет их, осмотреть церкви и монастыри во Владимире.

Через неделю Якун Лизута и Сила Тулубьев снова сидели в княжей гридне. Ярослав долго говорил с ними, сам указал на опасность, какой грозит Новгороду поход меченосцев, и обещал дать на княжение сына.

— Князь Олександро в Переяславле, — сказал он. — Позову его и спрошу. Не воспротивится, захочет принять поклон Великого Новгорода, молвлю: иди в Новгород, оберегай землю Новгородскую. Когда будет князь к Новгороду, грамотою своею повещу владыку и совет господ, а вас, мужи, и людей ваших не держу больше.

Хорошо у нас — будьте гостями моими, пойдете в обратный путь — в том ваша воля.

В беседе с послами Ярослав ничего не требовал от Новгорода, ничего не просил взамен обещания дать сына; не сердился и не вспоминал о старых обидах. Доброта князя встревожила Лизуту. Ни прежде, в княжение Ярославово на Новгороде, ни после, при князе Александре, боярин не имел мира с Ярославом Всеволодовичем. Кому-кому, а уж владычному боярину пора знать, что доброта и согласие в сношениях с Новгородом не в характере владимирского великого князя. Об опасениях своих Лизута сказал Тулубьеву. Тот, хотя и верил Ярославу, все же перед отъездом из Владимира молвил:

— Взять бы нам, Якуне, путь к Новгороду через Переяславль. Князь Александр в Переяславле, попытать бы у него — примет ли слово Великого Новгорода?

Лизута поморщился. Прищурив глаза, покосил ими вокруг, будто опасаясь, что кто-либо, кроме Силы Тулубьева, услышит его, и сказал:

— Добро бы так-то, Сила. Александр, чаю, послушает слово Новгорода, но как идти к нему? Грамоты наши писаны во Владимир. Будем на Переяславле, не станется ли то обидой князю Ярославу?

Из Владимира послы новгородские, взяв прямой путь, выехали на Дмитров.

Вскоре после масленицы в Новгород прибыл гонец князя Ярослава Всеволодовича. В грамоте, которую привез он, Ярослав писал владыке и совету господ, что дает он на княжение в Новгород своего сына Андрея Ярославича.

«Переждем распутицу, — писал он, — и как установится путь, князь Андрей выедет в Новгород; с ним будет и дружина его. А князь Александр не хочет идти на Новгород...»

Молча слушали бояре грамоту Ярослава, когда Лизута читал ее в Грановитой. Владычный боярин не скрывал своего удовлетворения тем, что вместо строптивого и упрямого Александра будет князем в Новгороде Андрей Ярославич. С Андреем, казалось Лизуте, легче ладить верхним людям. Не все сыновья Ярослава строптивы, как Александр. Андрей, сказывают, к делам не прилежен. Дать ему спокойное житье, сняв бремя забот

и дел княжих, он и рад этому. А будет Андрей смирен да послушен боярству вотчинному, то и останется на Новгороде, как старый Мстислав, до скончания живота. Окидывая взглядом сидевших на лавках бояр, Лизута видел, что и старый Воловик, и Никифор Есипович, и Степан Твердиславич, и другие вотчинники с посветлевшими лицами слушают грамоту. Им, как и Лизуте, любее Андрей.

— Владыка благословил меня прочитать сю грамоту, мужи новгородские, — закончив чтение, сказал Лизута. Он свернул ее, положил перед собой так, что княжая печать низко опустилась со стола на длинном витом шнуре. — Примет ли Господин Великий Новгород во князи себе Андрея Ярославича? — закончил Лизута и умолк, ожидая ответа.

Мигали свечи, освещая насупившиеся лица бояр. Тихо. Не ворохнется никто. Лизута начинал уже терять терпение, когда послышался голос боярина Водовика:

— Что думает владыка о князе Андрее, Якун? — спросил он. — Молод княжич, не избалован. Коли станет жить в мире...

— Не Андрея просили, будучи во Владимире, я и болярин Якун, — перебивая Водовика, громко сказал Тулубьев. — Юн княжич Андрей, приведется вести рать, будет ли удачлив в битве, как Александр? — добавил он.

— А я не молвил бы против великого князя Ярослава, как болярин Сила, — произнес Лизута. Он даже привстал немного, как бы показывая тем, что в Грановитой палате нужно слушать его слово, слово первого владычного боярина. — Не раз, мужи, дивились мы уму Ярославову, чаю, не смеха ради и нынче он думал, посылая на Новгород Андрея Ярославича.

— Прежде, болярин Якун, не слыхал Новгород похвал твоих Ярославу, не заступал ты его! — выкрикнул Никита Дружинич.

— Не я заступаю, а Великий Новгород, — ответил Лизута на слова Дружинича.

— Великий Новгород молвил слово свое о князе, болярин Якун. Новгород звал Александра.

— Звал, да возгордился Александр, не принял поклона. — Лизута сказал и, пренебрежительно, сверху

вниз посмотрел на своих противников. — То молвлю: не время, мужи, и не место спорить с волей великого князя. И владыка благословил назвать князем Андрея Ярославича.

— Против Андрея нет речи, Якуне. По мне — так: с княжим гонцом, который привез грамоту, и отписать нашу грамоту Ярославу, — подал мысль Водовик.

— Писать грамоту легко, а не пришлось бы после локти кусать. Примет Новгород князем Андрея Ярославича, закроет дорогу Александру, — стоял на своем Дружинич.

— Уж не сказать ли, Никита, Ярославу, что не хочет Новгород его воли? — поморщился на восклицание Дружинича Стефан Твердиславич.

— Моя речь не против воли Ярослава, болярин, — ответил Дружинич. — О том думаю: не грамоту писать нынче, а слать новых послов во Владимир, просить Ярослава отпустить в Новгород князя Александра. Ведает Александр обычаи наши и горазд в ратном деле...

— Не тебя ли, Никита, послать во Владимир? — насмешливо крикнул Якун Лизута, перебивая Дружинича.

— Почто меня? Послать большое посольство — и от бояр, и от торговых гостей, и от ремесленных братчин...

— Повремени-ко, Никита! — поднялся не вступавший до того в спор боярин Никифор Есипович. — Большому-то посольству в ворота не въехать и не выехать. Сборы будут долги. Не лучше ли на том решить: молвил владыка быть Андрею Ярославичу князем на Новгороде, о том и нам молвить. Встретим Андрея дружбой, а чтобы прилежен был Новгороду — в жены ему дадим новгородку. Не беден Новгород Великий невестами, не зазорно княжичу, только бы порадел...

— После скажем о том, Никифоре, — остановил Есиповича Лизута. — Будет Андрей люб Новгороду — и о жительстве его подумаем. Не пристало, мужи, совету господ перечить воле княжей да владычной. Может, Силе да Никите, по молодости их, непонятен старый обычай, но нам ли его рушить? Примем князя, поглядим... Не к лицу хулить Андрея, не зная его, не к лицу и брань с Ярославом.

КОМУ ГОРЕ, А КОМУ И РАДОСТЬ

Стефан Твердиславич готовился к свадьбе. Скоро введет он в хоромы молодую боярыню, а куда ни взглянет: то не исправлено, другое неладно. Припасены в медуше бочки с медами крепкими и мальвазеей, сокачихам на поварне дан наказ: готовить свадебные пироги, да такие, чтобы, глядя на них, ахнули люди на Новгороде. Из вотчин везут дичь и рыбу, девки-холопки шьют приданое молодой боярыне... Стефану Твердиславичу за всем надо досмотреть, где понукнуть, где указать, а ленивым да нерасторопным и ременницей пригрозить.

Крепка воля боярина в хоромах, не легка и рука у него, но одно тревожит — не весела нареченная. Зайдет Стефан Твердиславич в терем к Ефросинье, а она будто и не рада ему. Спросит ее о чем-либо боярин — ответит, не спросит — промолчит. Утешает себя боярин тем, не легко, чай, Ефросинье расставаться с девичьей жизнью. Таков старый обычай: девице до выданья, пока не покроют венцом голову, горе горевать да слезы лить. А как станет девица запорученная женою мужнею, тогда ей и песни играть и на людях быть не зазорно.

В воскресенье свадьба, а в пятницу у Стефана Твердиславича с утра разломило поясницу. Пересиливал он боль, не сказывал никому, но свалил полдень — боль стала сильнее. У боярина пересохло во рту, в голове угар, словно с похмелья. «Не от радости ли уж такое со мной? — думал боярин. — Не от счастья ли, что беру Ефросинью боярыней, трясет и знобит лихоманка?» Велел боярин Окулу настоять малиновый отвар. Выпил горячего питья, словно стало от того легче, заснул. А в ночь сильнее взяла хворь. Метался на перине Стефан Твердиславич, несусветное говорил в бреду. Представлялось: скачет будто бы он на коне полем, на охоте заячьей, потом бранился с кем-то... Звал к себе Андрейку. Тот, как живой, являлся перед родителем. «Довольно тебе, Ондрий, без дела баклуши бить, — ласково говорил боярин сыну. — На Красной горке оженю. Дочка у болярина Никифора — невеста тебе богоданная».

Окул всю ночь не отходил от боярина. Болело сердце

у холопа, когда слышал, как Стефан Твердиславич звал Андрейку. Нет Андрейки, остался он в поле, на берегу дальней Невы-реки, и невеста, что сулит боярин сыну, сидит в вековушах.

К утру боярин опамятовался, попросил квасу, выпил. Казалось, отпустила хворь. Послал Окула проведать Ефросинью, но когда Окул вернулся из терема боярышни, Стефан Твердиславич снова метался в бреду. Окул послал Тимка, воротного сторожа, чтобы нашел тот Омоса-кровопуска: послушать, что скажет ворожбец?

Без прибáуток, с нахмуренным ликом вошел Омос в горницу к боярину. Положил истовый поклон в передний угол, огляделся. На цыпочках, словно боясь разбудить хворого, подошел к изголовью боярина, прислушался к дыханию, потрогал голову. После, шепотом, наклонясь к самому уху Окула, как бы опасаясь, чтоб не подслушали его, молвил:

— В огневице болярин... Тучен он, тяжел... Дурную кровь надо открыть.

Страшно Окулу согласиться с тем, что предложил Омос, все же слова о «дурной крови» обороли страх. Хворь — не игра, не убережешься от нее ни висячим замком, ни дверью дубовой.

— Не огневался бы болярин, — с сомнением покачал головой Окул.

— Твоя воля, — насупился Омос.

Окул взглянул на Омоса, перевел глаза на боярина. Стефан Твердиславич молчит, но дышит тяжело, точно поднялся он на крутую высокую гору и не может перевести дух.

— С легкой руки... Делай, Омос! — решился Окул.

Омос открыл кровь. После этого боярин затих: не бредит, не мечется, но жар от него не отступил.

— Вчера здоров и весел был осударь-болярин, с чего бы ему нынче-то? — жаловался Окул Омосу. — Не наговор ли чей на него?

— Наговора не чую, — Омос отверг догадку Окула. — Может, гость у вас был нежданный аль чужой кто? С глазу пришла хворь.

— Не было никого чужих в хоромах, — терялся в рассуждениях Окул. — Да и болярин наш сколько уж времени хором не покидал, разве что в Грановитую...

— Виделся с кем болярин вчера, перед тем как почуял хворь? — приставал Омос.

— Утром он, как встал, меня кликнул, — сказал Окул, перебирая в памяти все, что делал боярин вчера. — Спрашивал: довольно ли меду у нас в медуше? После рухлядь да узорочье смотрел, велел кусок паволоки цареградской да оксамит нести в девичий терем, где холопки-девки приданое шьют болярышне. В тереме недолго был, видел болярышню свою нареченную, а как вернулся оттуда — спросил у меня отвару малинового. Выпил горячего и будто б заснул... С полуночи бредит и мечется в жару.

— С болярышней-то о чем говорил, она-то что?

— Не ведаю. Один был в тереме у нее осударь-болярин.

— Чай, горюет она, как узнала о хвори боярина?

— Ей ли не горевать! Ладилась под венец... Болярыней в хоромах стала бы.

— Хм... — хмыкнул, насупясь, Омос, помолчал значительно и сказал: — Спросить бы ее мне... По тайности.

Как назвал боярин Ефросинью своей нареченной, ни песен, ни смеха ее никто не слыхал в тереме. Лицо у нее осунулось, под глазами легла синева. Сядет Ефросинья на лавку к окошечку и, не шелохнувшись, надолго забудется так. Войдет в светлицу мамка Ермольевна, спросит о чем-либо — Ефросинья будто не слышит.

А как рада была Ермольевна счастью своей боярышни! Сирота безродная, ни приданого у нее, ни имени, а ну-ка сирота-то хозяйкой войдет в хоромы боярина Твердиславича. Слов нет, хороша Ефросинья, и лицом и станом — всем взяла. Как поднимет она темные ресницы свои да взглянет ясным взглядом, — каменное сердце тронет. Но на что и красота девице, когда в чужих хоромах, из милости коротает жизнь. Может, кто из посадских молодцов присватался бы... И вдруг — счастье! Сам болярин, Стефан Твердиславич, чей род и имя знамениты на Новгороде Великом, чьи богатства умом не осмыслишь, объявил Ефросинью своей нареченной.

От радости, что явилось счастье боярышне, проглядела Ермольевна горе Ефросиньи. «Как не горевать голубке о жизни девичьей?» — думала мамка, глядя на за-

плаканные глаза девушки. Спохватилась Ермольевна, да поздно. Поблек румянец на щеках у Ефросиньи, сама она как неживая. Заохала Ермольевна: ну-ка боярин увидит в горе нареченную, что скажет, какое наказание положит мамке? Ермольевна не знала, что делать, как спасти ей боярышню и себя от беды?

Потому-то не печаль принесла Ермольевне весть о недуге боярина. Собралась она поутру к ранней обедне, ко Власию; молилась и свечу восковую поставила перед образом «утешительницы» за то, чтобы не встал боярин наскоре, подержала бы его хворь.

Ефросинья была одна в светлице, когда пришел Омос. Не оглянулась она, не слыхала. Омос тихонько прикрыл за собой дверь, снял колпак, помял его в руках и вдруг разлился скороговоркой:

— Хорошо жила, весела была, о чем припечалилась, болярышня?

— Омос! — вздрогнула Ефросинья. — Давно не бывал.

— Давно, — подтвердил Омос, переминаясь с ноги на ногу. В светлице у Ефросиньи стал он иным, чем только что был в горнице у боярина. Стоит, притопывает, в глазах искорки. Недаром отговорил он Окула, не взял с собою к боярышне. — Ходит Омос не далеко, не близко, — завел он присказку, — слушает — запоминает, в чужую суму не заглядывает. Летал сокол над бережком, искал, сизокрылый, лебедушку. Не высоко живет она и не низко, не далеко и не близко, во резном терему за семью дверями дубовыми, за семью замками железными. Покружился сокол над теремом и полетел за синее море разрыв-траву искать. Вернется он — упадут замки железные, откроются двери дубовые; вызволит сокол лебедушку из неволи.

— Непонятна твоя сказка, Омос, — сказала Ефросинья. — Не люба, знать, соколу лебедушка; не летел бы он за море от любимой.

— Так ли? — усмехнулся Омос. — Сокол — птица быстрая, ни ветра буйного, ни стрелы каленой не ужаснется; не оглянешься, как снова он тут, снова кружит над теремом. Есть для тебя, болярышня, иная сказка у Омоса, да не знаю, захочешь ли ее послушать?

— Говори!

— Что скажу — не гневайся, не по сердцу слово — останови! Начиналась сказка на Великом Новгороде, не в болярских хоромах, не в веселом гулянье, а на божьей паперти; ни осенью, ни зимой — весною раннею, под спас-вознесенье. Ставила девица свечу восковую перед иконою, а как отмолилась, вышла на паперть — увидала доброго молодца. Хорош и пригож, силен и статен... Стоит он перед девицей, не может глаз от нее отвести. Не знает, что случилось с ним. Не речью ласковой — красою своей приворожила. Полюбил молодец ту девицу пуще жизни, пуще самого себя, да не знал — откуда она, чьего роду-племени?

— Где он нынче, тот молодец? — потупясь, спросила Ефросинья. — Жив он аль выдумал ты такого?

— Жив. Видел он Омоса, просил, как придет случай, сказать сказку о нем той, что сердце в груди зажгла.

— А ты... сказал? — спросила Ефросинья; у самой пламенем занялось лицо.

— Сказал. Сказал то, что слышала ты, болярышня.

— Не обо мне сказка.

— Не о тебе...

— Не знаю, кто он?

— Он-то? — хитро-хитро усмехнулся Омос. — Жаль, что не слыхала ты о славном госте Василии Спиридоновиче.

Ефросинья закрыла руками лицо. Омос довольно усмехнулся, попятился к двери и исчез, будто и не было его никогда в светлице.

Вернулась Ермольевна, застала боярышню в слезах.

— Что с тобою, красавица моя ненаглядная? — всплеснула руками мамка, сама готовая разреветься с горя. — Взгляни-ко на меня! Весточку принесла тебе.

— Оставь, не хочу слушать вестей.

— Ты послушай сперва, о чем молвлю, потом и гони мамку. Свадьбице нашей не быть скоро-то.

— Как?! — глаза Ефросиньи широко открылись от изумления. — Что ты молвила?

— Не быть, — повторила Ермольевна. — Хворь свалила болярина, никто не ведает, когда и встанет.

ПОСЛЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Шли обозом по Луге из Водской пятины торговые гости. Путь близился к концу. В сутках пути от Тесова остановила обоз разбойная ватажка. Глазам не поверили гости: не слышно было разбойных людей близ Новгорода.

Вооружена ватага топорами и копьями. Многие в тегилеях и шеломах. Окружив обоз, ватажники согнали в кучу гостей и мужиков обозных. Предводитель ватаги — толстый, рыжий воин в медвежьей шубе — что-то сказал. Гости переглянулись, не понимая. Так, вероятно, и остались бы они в неведении, что за люди схватили их на пути, если б среди ватажников не выискался молодец, который повторил русской речью слова рыжего.

— Благородный рыцарь фон Кейзерлинг благодарит вас, гости новгородские, за товары, кои доставили вы его войску. Товары ваши возьмем себе, а вы и мужики ваши вольны идти на все стороны.

— Поменьше бы врал, молодец, — ответил Матвей Гаврилович — плотный, широкоплечий, с густой бородой по пояс, староста обоза. — Где же благородство у лыцаря, когда он заодно с татями и разбойниками?

— Не тати и не разбойники перед тобою, гость, а войско рыцарей-меченосцев, — сказал молодец, задрав голову перед Гавриловичем. — Не мир нынче у благородных рыцарей с Новгородом, а война; товары, кои взяли мы, добыча войска.

— На войне войско в поле идет, а не на разбой.

Молодец передал рыжему слова Гавриловича, рыцарь рассердился. Резкий, как у ночной птицы, голос его чуть не оглушил новгородцев. Крикнув, он повернул коня и пустил его вдоль обоза. Воины, окружавшие пленников, бросились к ним, схватили Гавриловича; сорвав с него одежды, бросили на снег. Красными полосами расцвела спина от ласки мерзлых березовых прутьев.

Весть о появлении вблизи Новгорода рыцарского войска, о грабеже и позорном наказании, которому подвергся староста Матвей Гаврилович, достигла Новгорода. На первых порах не верили люди тому, что случи-

лось за Тесовом, но когда пострадавшие от разбоя гости добрались в Новгород, на торгу разнесся слух:

— Лыцари близко, а в Новгороде ни войска, ни князя. Голыми руками лыцари возьмут город. И воли и животов лишимся.

— Пропадем!..

— Заступила бы святая София!

— Зимой не пойдут лыцари к Новгороду.

— Пора звать князя Александра, — громко сказал Страшко-кузнец. Он посмотрел вокруг и добавил: — Мы, оружейные мастера, желаем.

— Были послы во Владимире. Князь Ярослав дал Новгороду сына, Андрея Ярославича.

— Князь Андрей принят верхними.

— И мы не спорим, — вновь послышался голос Страшка. — Не хулим Андрея... А почему люб Андрей верхним?

— Молод он, обид от него не имели, потому и люб.

— Правда истинная — молод, и обид не было, — подтвердил Страшко. — Сядет на княжее место, а характером он слаб. Вотчинники и вскружат ему голову, а суд и волю сами станут вершить. Кого звать князем, пусть скажет о том Великий Новгород!

— Не ищешь ли ты, Страшко, распри с Ярославом? — крикнули из толпы.

— Не распри ищу, а заступы Новгороду. Не хочу видеть латинских крестоносцев у городового острога.

— Сами соберем войско и отстоим Новгород, — неуверенно отозвался кто-то.

— Войску голова нужна, на то и звать Новгороду Александра...

Страшко продолжал бы речь, но его перебил набат, раздавшийся на Ярославовой звоннице. Притих торг. Не на пожар набат — созывает вечевой колокол людей новгородских.

— Вече звонят, — послышались голоса. — О князе слово будет.

— На уличанских бы вечах прежде молвить...

— Что на уличанских, то и на Ярославовом дворище. Одно слово нынче у Великого Новгорода: звать князем Александра Ярославича.

...Выли последние вьюги, завевая снегом дороги. И морозы задержались, стояли крепко. Пора бы таять снегам, но зима не сдавалась. О ту пору прибыли во Владимир послы Великого Новгорода.

И на этот раз послал Новгород во Владимир владычного боярина Якуна Лизуту и боярина Силу Тулубьева. Товарищами их пришли: от торговых гостей — Матвей Гаврилович, от ремесленных братчин — староста Онцифир Доброщаниц. Гаврилович не оправился еще после встречи с рыцарями у Тесова, потому и просило его вече идти во Владимир, показал бы он там рубцы свои Ярославу.

Ярослав честью встретил послов, выслушал просьбу их дать на княжение в Новгород Александра Ярославича и сказал:

— Добро, повременю посылать Ондрия. К Олександру в Переяславль наряжу гонца, позову во Владимир. Желает Новгород иметь князем Олександра, с Олександром и говорить вам, мужи. Крут он характером, но слово доброе крепче. Что скажет он, я не буду противу.

Утром, на четвертый день пребывания послов во Владимире, в горнице у них появился княжий боярин Федор Данилович. Он поименно, извеличав старших, приветствовал новгородцев.

— Не с княжим ли словом пожаловал ты, боярин? — подумав, что Александр не желает встречи, и потому смущенный и раздосадованный приходом Даниловича, спросил Лизута. — Ждали мы видеть во Владимире князя Александра Ярославича.

— В ночь нынешнюю вместе с Александром Ярославичем прибыл я на Владимир из Переяславля, — ответил боярин Федор. — Велел мне Александр Ярославич спросить: в чем нужда к нему у Великого Новгорода?

— Вече сказало: говорить нам о нужде Великого Новгорода с Александром Ярославичем, — молвил Сила Тулубьев. — А так-то почто? Не враги, чай...

— Князь Александр помнит и любит Новгород, — сухо произнес Федор Данилович, взглянув на Тулубьева. — И людей новгородских рад встретить. Не помнит он старых обид. Но чем поступится Новгород на волю князя? С какою рядой пришли вы, мужи новгородские, во Владимир?

— Не с рядой мы, болярин, пришли, а с нуждой, — не дав ответить боярам, громко сказал Онцифир Доброщаниц. — Просим Александра на Новгород. Пусть идет и княжит как прежде.

— Добро, Онцифире, а что ты молвишь, болярин? — спросил Федор Данилович Лизуту.

— То и молвлю, что сказано старостой мастеров оружейных, — ответил Лизута. — Не знаем, на чем будет воля князя?

— Сказало ли вече, что вольны вы писать грамоты с князем и целовать крест на тех грамотах, что воля ваша — воля Великого Новгорода?

— Сказало, — ответил Сила Тулубьев. — И грамоты вольны писать и крест целовать.

— На то дана грамота наша князю Ярославу, — добавил Лизута.

— Добро, — промолвил Федор Данилович. — Без обид и пристрастия послушайте, мужи, волю Александра Ярославича. Примет он княжение на Великом Новгороде, но желает судить суд на своей воле, без совета господ и посадника; желает, чтобы братчины людей ремесленных, как в старину, сами судили суд как судьи; и в том воля Александра Ярославича, чтобы без совета господ и посадника ставить князю воевод на кормление в городах и волостях новгородских, ставить на воеводство боляр княжих и некняжих, а также людей дворских, и дар князю иметь с волостей, как положено обычаем и старыми грамотами. Желает князь Александр Ярославич держать вотчины княжие в Новгородской земле. А чтоб не учинилось кому ущерба и обиды — отписать на князя вотчины изменника Нигоцевича и других переветов; сказать в грамотах, что волен князь искать земли на Терском берегу у Полунощного моря. На том, мужи, положил князь Александр Ярославич свое княжение на Великом Новгороде, на том положил принять грамоты ваши и целование и самому целовать крест. Он, князь, как и прежде, будет людно и в довольстве держать дружину, хранить мир и покорность господину смердов и холопов вотчинных, оберегать Новгород и землю Новгородскую от врагов Руси.

Боярин Федор умолк. То, что сказал он, смутило новгородцев. Ждали они, что Александр Ярославич скажет

о суде на своей воле, о даре с волостей, о ловищах звериных и рыбных, о торге княжем. На том и дали бы ряду. А быть ли в Новгородской земле княжим вотчинам, князю ли, а не совету господ давать кормления воеводам и ставить на кормления княжих бояр и дворских людей княжих — о том после решить бы. Федор Данилович не торопил их с ответом. Он распахнул шубу и сидел, вытирая вспотевший лоб.

— Примем ли, мужи новгородские, княжение Александра Ярославича на его княжей воле? — нарушив молчание, промолвил Лизута. — На том, что слышали от болярина Федора Даниловича? Нам решать, наши головы в ответе перед Великим Новгородом.

— Ремесленные братчины ждут князя Александра, примут волю его, — начал Онцифир, но тревожно прищуренный взгляд Лизуты остановил старосту.

— На мир с ханом есть слово Новгорода, — подал голос Матвей Гаврилович. С тех пор как встретился с разбойными рыцарями и принял позор от них, он говорил тихо, медленно выговаривая слова.

— Почто, болярин Федор, иметь князю вотчины на Новгороде? — спросил Лизута. — Старые князья княжили без вотчин и воевод не ставили на кормления своей волей.

— Твои вотчины останутся твоими, болярин Якун, — ответил Федор Данилович. — И твои вотчины, болярин Сила, — Данилович встретился взглядом с Тулубьевым.

— Мои вотчины в рукаве унести, — не сказал, будто обронил Тулубьев.

— Вотчины болярина Нигоцевича отписаны владычному двору, — продолжил начатую речь Лизута. — О том ведомо и тебе, болярин Федор, и князю Александру. Не в обычаях наших брать князю то, чем владеет святая София.

— И мы не рушим обычаи новгородские, болярин Якун, — сказал Федор Данилович. — Вотчины Нигоцевича отписаны на владычный двор, но остались они теми, какими и были. Не ждут ли они болярина-изменника? А почто иметь княжие вотчины на Новгороде? О том молвлю: не пристало сильному князю быть в кабале, княжить иноземцем наемным. Пора и о том вспомнить, болярин Якун, и вам, мужи: лыцари-меченосцы ищут

путей на Великий Новгород. Пойдут в Новгород, не придется ли святой Софии и старым вотчинникам поступиться своим добром? Любо ли будет владыке новгородскому взирать на лыцарские замки во владычных вотчинах? Тебе, болярин Якун, о том ближе знать. Не решим нашей ряды во Владимире — воля вам идти в Новгород. Пусть скажут слово люди новгородские и в городовых концах и в совете господ. Ввечеру нынче князь Александр Ярославич будет говорить с вами.

ГЛАВА 21

ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ

Чернец Макарий не ушел с князем в Переяславль. Александр звал его, но Макарий не согласился.

— Что станется с учебной и иконописной палатами? — сказал он. — Я зачинал их, ученики мои знают меня. Уйду, не завершив святого дела, — погибнет начатое.

— Будет ли все так, как сказал ты, отче Макарий? — выслушав чернеца, усомнился Александр. — И тебя и то, что делаешь ты, не любят на владычном дворе. Уйду из Новгорода, не стало бы помехи твоему делу?

— Спасибо на слове, княже, но не постыдно ли мне оставить незавершенным то, что почитаю делом своим?

— Верю, не легко оставить близкое сердцу, а будет ли у тебя мир с владычными попами? Не будет мира, чем оборонишься?

— Правдой моей. Авось не погибну, — усмехнулся Макарий. — Ни почестей, ни богатств не ищу я.

— В том и вина твоя перед владычными, — искренне жалея ученого книжника, бывшего наставника своего в книжном учении, сказал Александр. — Не ищешь ты почестей, не льстишь, не заискиваешь. Склонишься ли к тому, чтобы изгнать детей ремесленных мастеров из учебных палат, как велит патриарх и чего требовал у тебя монах Феогност? Ты не исполнил его веления. И моя в том вина. Вопреки воле владычных книжников, гордящихся не знаниями, а приверженностью своей ко

всему ветхому и потому готовых обвинить тебя в ереси, велел я быть учительной и иконописной палатам на Нередице, какими были они; и владыку архиепископа просил о том. Жалею, отче Макарий, что, занятый делом своим, мало бывал ты в Юрьевом монастыре. Юрьевский игумен друг родителя моего. Станется нужда — иди к нему; у игумена Нифонта найдешь утешение и поддержку.

То, о чем говорил Александр, прощаясь с Макарием, случилось раньше, чем наступила зима. Отрок Осип, ходивший вместе с Саввой в поход на Неву, владел искусством письменным. Возвратясь из похода, Осип принялся за списание евангелия. Макарий одобрил его труд.

Всю силу искусства своего вкладывал отрок в начатое дело. Писал он на тонких, ровно подобранных и разглаженных листах бересты. О труде отрока сведал игумен монастыря. Не веря в то, что кто-либо, кроме монахов и белых попов, способен к умельству списателя, — он изумился тому, что увидел, и промолвился о деле Осипа на владычном дворе. Владыка разгневался, наложил эпитимию на нередицкого игумена и воспретил списание книг мирскими людьми. В своем послании владыка ни словом не обмолвился о Макарии, как будто не искал на нем вины, но нередицкий игумен, озлобясь на чернеца, обругал его и не велел показываться в стенах монастыря.

Зимой, живя в Городище, Макарий не посещал Нередицу. Даже отроку Осипу, которого любил и способности к учению которого выделял среди других учеников, не велел бывать у себя до весны. Нередицкий игумен, изгнав Макария, не трогал списателя. Отрок оставался в монастыре. От него Макарий узнал, что в училищной палате на Нередице подвизается монах Феогност. Услышав об этом, Макарий горько усмехнулся.

— Книжник и схоласт, — сказал он. — Вырвет этот монах с корнем семя взошедшее. Остерегайся, паробче, его ума, продолжай труды свои, совершенствуйся в книжном чтении и искусстве письменном так, как велит совесть. Не вступай в открытую распрю. Зима прервала жизнь, но явится весна, и вновь откроются реки, зацветет земля, отдавая свои дары. Не смущайся временным бессильем своим, побеждает тот, в ком сильна вера.

Одиночество, в каком жил Макарий, казалось добровольным бременем, возложенным на себя чернецом. Когда-то он, ученый монах и книжник, искал наслаждения в размышлениях своих, в тишине одиночества, но жизнь поставила его ближе к людям. Тогда он по-новому, широко открытыми глазами увидел вдруг огромный мир, познал его страсти, тревоги и горечи. Макария манил этот мир. Он стремился войти в него и оставался все же тем, кем был, не решаясь переступить через узкий ручеек привычек и тишины.

Макарий хотя и не забыл совета Александра побывать в Юрьевом монастыре, но не скоро собрался туда. Прежде, посещая монастырь, он подолгу бродил в тенистой дубовой роще на берегу Волхова; входил в ворота ограды, смешавшись с толпою богомольцев. В монастыре он восхищался дивными формами каменного собора Георгия, построенного больше ста лет назад мастером Петром. Макария поражала широта замысла зодчего и искусство строителей.

С приближением весны чернец стал чаще посещать Юрьев. Пребывание его там стало теперь до того привычным, что юрьевские монахи приветствовали опального книжника как своего.

Макарий искал встречи с Нифонтом, но это не удавалось. Однажды, под вербное воскресенье, едва чернец появился в монастыре, как его позвали к старцу игумену.

Переступив порог келии, в скудном свете, проникавшем сюда сквозь узкую щель слюдяной оконницы, Макарий не сразу различил невысокую, плотную фигуру Нифонта, который сидел у грубо сколоченного стола. Раскрытая книга в почерневшем от времени кожаном переплете, лежащая перед ним, поблескивала откинутыми медными застежками. Подняв глаза на вошедшего, Нифонт легким движением руки велел ему подойти ближе.

Макарий, приблизясь, склонил голову.

— Благослови, отче игумен!

Нифонт размашисто, словно действуя от избытка сил, благословил чернеца и показал ему на скамью.

— Садись, инок! Слышал я похвальные речи уму твоему и возымел смелость, доколе не идешь сам, по-

звать к себе заносчивого книжника. Византию, Никею и Рим видел ты, горд, сказывают, но предо мной оставь свою гордость! Я прост и живу по-простому. Сам немощен, но, по грехам моим, пристрастен к людям, сильным духом и телом. Не книжник я, грамоте в монастыре обучился, но старик хитрый; со мною, инок, держи ухо востро!

При последних словах как-то особенно ясно и выразительно затеплились глаза старца. В скромном облике юрьевского игумена было что-то, что с первого взгляда располагало и влекло к нему.

— Не заносчив и не горд я, отче игумен, — сказал Макарий. — Не имею тайн, которые вынужден был бы скрыть от тебя.

— Помолчи! — Нифонт поднял руку, как бы ограждаясь от чернеца. — Не от заносчивости ли и от гордости затворился ты в хоромах на Городище, не видно тебя ни на владычном дворе, ни в монастырях.

— Не жалует меня владыка, зачем пойду туда?

— Что же, инок, один хочешь жить? Слышал я речи о твоем уме, а правда ль? Неужто не догадался, что один-то не проживешь. Сколько лет и зим обитаешь в Новгороде?

— Много.

— Много! — будто испугавшись этого слова, повторил Нифонт. — А кем пришел ты на Новгород, тем и остался до днесь. Будь ты поближе к владычным-то попам, сидел бы теперь игуменом да не где-нибудь, не в дальнем монастырьке, а в Великом Новгороде.

— Не ищу я власти, отче игумен, не гожусь.

— Кто тебя убедил в том, инок?

— Сам сужу. Ни кланяться, ни молить о милости не умею.

— Горд, горд, — как бы в раздумье произнес Нифонт. — Я вот тоже горд, не умею просить милостыни, а живу в Юрьеве, и не обижают меня... Родился-то где?

— В Суздале. В соборе у Рождества пономарем был родитель.

— Суздалец! Не любишь, чай, Новгород?

— Не люблю тех, кто забыл о благе земли отчинной, — резко, но откровенно промолвил Макарий. — Тех, кто подчинил душу свою стяжанию и злу. Как рукаву

не гулять без кафтана, так и Новгороду не жить без Владимира. Едина Русь.

Еле заметной улыбкой дрогнули уголки губ Нифонта, но глаза его были серьезны, голос прозвучал твердо, когда он сказал:

— Ты прав, инок, едина Русь. Много испытаний и бед пало на ее долю, но она живет; поднялась из огня и тлена. Ты книжник, а вот я спрошу тебя: что ты сделал для возвышения земли отчей? Мало сделал. Скуден твой ответ будет. Когда воин берет меч, идет в битву и проливает кровь за свою землю, я радуюсь его подвигу. Я вижу в том душу возвышенную и сильную. Мы не воины, но и не рабы трусости и празднолюбия. Слова и дела наши поднимают дух истины, вкладывают волю в сердца. В общении с людьми обретаем мы место свое и, общаясь с людьми, изощряем ум. Скажи, инок! Спроси себя и скажи: намерен ли ты погасить навсегда то, что даровано тебе от рождения и что приобрел сам? Не наслаждаешься ли ты в одиночестве гордынею перед другими, слабыми и меньшими тебя?

— Что делать, отче, научи!

— Научу, — просто, словно речь шла о самом обычном, сказал Нифонт. — Иди в люди! Не все они в единомыслии с тобою, а ты иди. Я стар, недолго осталось мне жития... Не хмурься, инок, не старайся показать, что не веришь. Говорю о себе не для похвальбы, а потому, что в мои лета не пристало колпак набекрень задирать. Куда уж! Князь Ярослав Всеволодович пишет мне о тебе... Хочет он видеть в тебе преемника моего. Присматривался я, инок, спрашивал... Хочешь ли знать, что думаю? — неожиданно спросил Нифонт у Макария. — Не скрою, и о том молвлю. Думаю, что обрел в тебе человека, которого искал, которому могу доверить то, что доверено мне. Не возражай! — заметив яркую краску, вспыхнувшую на лице Макария, Нифонт предупредил чернеца. — Обдумай все прежде, утвердись во мнении своем, тогда и скажешь. Хочу я, инок, познать в тебе друга своего и сына.

— Если бы я был достоин, отче игумен...

— О достоинствах не суди, — перебил Макария Нифонт. — Говорил тебе, что я старик хитрый, что говорю — знаю.

— Неприемлем я владычному двору.

— Юрьев монастырь не владычный дворь. Ты мне ответь, а не им.

Нифонт поднялся, размашисто, как и в первый раз, благословил Макария.

ГЛАВА 22

ГОСТИ НОВГОРОДСКИЕ

Весна шла ранняя. На Красную горку вскрылся Волхов. И как только прошел ильменский лед, по полой воде отплыли от Гаральдова вымола ладьи Василия Спиридоновича и Афанасия Ивковича.

Шведский поход на Русь прервал торговлю ганзейских городов с Великим Новгородом. Поражение на Неве обессилило шведов, они не помышляли о новом походе к русским рубежам, но все же, пользуясь тем, что вблизи моря нет новгородского войска, нападали на ладьи ганзейских гостей, шедшие к Новгороду. Шведы грабили товары, подвергали смелых мореходцев унижениям и бедам. Ливонские рыцари не пускали гостей в Новгород через Ригу и Колывань, заградили Лугу. Зимой на Великом торгу в Новгороде мало было заморских товаров, и свои товары скопились в боярских клетях и в гостиных братчинах.

Всю зиму новгородцы готовились к дальнему пути на остров Готланд, к городу Висби. Весной соберутся на торг в Висби купцы из Любека, из Упсалы, из далекого Лондона, из земли франков. Афанасию Ивковичу и Василию Спиридоновичу не впервые торговать с иноземными гостями, не впервые и морем идти. На Новгородском дворе в Висби будет чем потешить иноземцев. Не лежалый товар на ладьях. Везут новгородцы воск топленый, лен, меха бобровые, куньи, чернолисьи; везут жемчуг из Заонежья, резные изделия из рыбьего зуба, скань и сосуды серебряные с чернью. Есть на ладьях новгородских паволоки и парча златотканая из Византии и из-за Каспия, зеленый камень с Югры. Веслами и парусами осна-

щены ладьи, на каждой четыре пары гребцов. Припасены в ладьях и копья и топоры боевые, луки тугие и тулы с камышовыми стрелами. Спиридонович и Ивашко на передней ладье; в руках у них, поскрипывая уключинами, играют тяжелые весла.

Как отплывали из Новгорода, Васена пришла проводить братца. Много людей на берегу, но будь еще люднее толпа, Ивашко узнал бы опушенную бобром телогрею Васены. Васена улыбалась гребцам, махала рукой, желала им счастья в пути.

Миновали Ладогу. Ладьи спустились на озеро Нево. На Нево подняли паруса. Подгоняемые ветром, вспенили ладьи волны озера. Дивится Ивашко на голубую ширь, но и здесь, в осыпающихся гребешках волн, перед глазами его нет-нет да и покажется лицо Васены. И, как всегда, в памяти Ивашки образ Васены чудесно сливается с образом Олёнушки. Плеснет волна на борт, качнет ладью, и будто шепот рядом: «Береги себя! Скорее возвращайся в Новгород». В думах своих не заметил Ивашко, как ладьи пробежали озеро, втянулись в Неву.

Близко море. Показалась береза на берегу. Из-за болотного мелколесья издали видно ее. Круглая как шар, стоит она над самой водой. Светлая, только что распустившаяся зелень ее отражается в прозрачной тихой реке. Когда ладья поравнялась с березой, Спиридонович обнажил голову.

— Взгляни, Ивашко, на то место в устье, — показал он на песчаный мыс. — Тут, около березы, что стоит у воды, бился с врагами и пал воевода Ратмир. На лугу, где берег выше, рубились новгородцы со свеями, на реке Миша-ладожанин и ижорянин Пелгусий с воинами рушили свейские ладьи.

Голос Спиридоновича при воспоминании о битве зазвучал как-то по-особенному; и печаль и радость слышались в нем, скорбь о павших и торжество победителя. Точно Спиридонович вновь видел то, что было на берегу, когда он со своими ратниками, одолев топкие болота, ручьи и реки безыменные, из кустов, что тянутся вдоль низкого берега, выбежал на поляну.

Теперь на поляне тихо. Не звенят о броню мечи, не

играют на солнце острия копий. На берегу, на солнечном склоне холма, среди весенней зелени, желтеет холм над могилой павших. Он еще не покрылся травой, будто насыпан вчера. Не видел Ивашко битвы и того не видел, как бежали за Неву остатки разбитой шведской рати, но могильный холм так близко напомнил ему воеводу Ратмира, что казалось, — поднимется сейчас воевода, выйдет на берег и крикнет: «Ивашко! Забыл, как учил тебя копье метать? С разбегу! Сильнее! Эх! Не копье бы тебе, медвежатнику, в руки, а рогатину».

— Видел ты, Василий Спиридонович, как бился он? — спросил Ивашко, не называя имени того, о ком хотелось ему знать все.

— Да, — тихо, словно боясь заглушить голосом ровный плеск весел, ответил Спиридонович. — Жив он был, когда прибежал я, а вокруг, как снопы в поле, поверженные свейские латники.

Скоро грусть, охватившая Ивашку при виде места побоища, исчезла, потускнела она перед гордым сознанием силы и славы Руси. Синь могучей реки, разлившейся в пустынных и топких берегах, дубовые рощи на островках, оперившаяся первой зеленью береза, нависшая над водой, — безмолвные свидетели жестокой битвы с врагами — навсегда, казалось, сохранят память о подвигах русских воинов. Многие поколения сменятся на земле, но из века в век будет передаваться память о битве полков русских, повергших в прах кичливого, надменного врага.

Море встретило ладьи попутным ветром. Подняв паруса, понеслись они вперед. Солнечный блеск, отражаясь в воде, проникал далеко в ее прозрачную глубину и играл в ней, рассыпаясь радужными лучами.

На четвертый день плавания увидели новгородцы Готланд. Обойдя остров на виду у берегов, ладьи опустили паруса у вымола в Висби.

Почетно встретили в Висби гостей из Великого Новгорода. Не успели Спиридонович и Ивкович сойти на землю, как появился гонец бургомистра. Он поклонился, приветствуя гостей, и сказал:

— Мейстер Зингер, бургомистр славного города Висби, просит гостей, что пришли на ладьях из Новгорода,

пожаловать в городовую ратушу. Бургомистр и советники желают знать: благополучно ли совершили гости плавание, с какими товарами пришли, долго ли будут торговать в Висби?

Гонцу ответил Василий Спиридонович.

— Рады слышать мы о чести, какую оказывает нам почтенный бургомистр славного города Висби. Благополучно шли мы на ладьях и товары свои привезли. Как только ладьи станут к вымолу, мы будет в ратуше.

— Нужна ли стража для охраны ваших ладей, почтенные гости? — спросил гонец.

— Нет, стража на ладьях своя. Честность и справедливость торга в Висби известна в Великом Новгороде.

Проводив гонца, Спиридонович передал Афанасию Ивковичу и Ивашке то, о чем говорил гонец.

— Нынче мы отправимся в ратушу. Здешние люди выше всех добродетелей чтут цветистую речь и поклон лишний. Пусть вор, пусть нечестен на торгу, но сумел прикрыть себя вовремя поклоном вежливым да речью громкой в похвалу городу, обнадежен будет на торгу и правами и льготами. В ратушу пойдем в чугах распашных, а ты, Ивашко, в бехтерце мелкокольчатом; зноен день, а на головы наденем шапки темнокуньи. О торговых гостях судят в Висби по одежде богатой; обычая ихнего не нарушим.

— Правду молвил ты, Василий Спиридонович, — сказал Ивкович. — Но в ратушу иди один; товарищем возьмешь молодца удалого, — Ивкович показал на Ивашку. — А меня разбило дорогой; не то что в чуге да шапке куньей — в легком кафтанишке жарко.

В бороде Афанасия Ивковича пробивается седина. Лицо у него сухое, похожее на лики святителей, коих писал мастер Дмитрий в Нередицком монастыре; глаза Ивковича, когда-то синие, а теперь напоминающие поблекшие полевые васильки, смотрят так, словно вот-вот скажет он что-нибудь такое, над чем все посмеются. Любит Ивкович прикинуться простоватым, недалеким умом, любит пожаловаться на хворь и усталость, — но все это для людей. Не первый десяток лет ведет он торг с иноземцами, а не было случая, чтобы смог кто-либо обма-

нуть его или перехитрить. Бывало противник радуется: обошел-де хитрого гостя, а после, как решится дело, глядишь, выгоды и прибыль достались Афанасию Ивковичу. Торговал он в Висби мехами, воском и льном. Любил торговать на серебро чеканью или весом, избегал мены — товар на товар. «Менял, скажет, пробовал. Кто просится на мену, знаю — заваль сбыть ищет. Сверху малина, снизу — прости господи».

Когда Ивкович сказал о нежелании своем идти в ратушу, Спиридонович усмехнулся:

— Можно ли так, Афанасий Ивкович? Вместе на ладьях шли, вместе нам и честь давать бургомистру.

Настоял Спиридонович на своем. Потея от жары, медленно шли городом новгородские гости. Ивашко с двумя гребцами провожали их. Гребцы в легких зипунах с кожаными поясами. На улице ветер поднимает тучи пыли. Точно рыжий дым, вьется она над городом, липнет к потным лицам. От жары и пыли Афанасий Ивкович вконец обессилел.

— Не торопись, Спиридонович! — молил он. — Ох, сидеть бы мне, по моим-то летам, в Новгороде, на торгу, а я вот тащусь в чуге по этакой-то пылище. Сил нет.

— Отмучимся, Афанасий Ивкович, зато льготы и все, что надо для хорошего торга, будем иметь, — ободрял Ивковича Василий Спиридонович. — Не даром морем шли, и не соль, не сукна желаем погрузить в Висби на свои ладьи.

— Ох! — вздохнул Ивкович. — Возьмем ли желанный товар?

— Возьмем. И медь возьмем и олово.

— Не найдется меди, Спиридонович, рад будешь и сукну.

— Поищем. Не найдется у тутошних, с любечанами и франками поведем торг... Сукно да мальвазею с романеей пускай иноземные гости сами везут в Новгород.

— На словах-то гладко оно, — не сдавался Ивкович. — О страже только забыл ты молвить. Погрузим товар на ладьи, а стража когтями нас... Смел и удал ты, Василий Спиридонович, да на чужой земле мы, не в Новгороде. Не пришлось бы в обратный путь идти с пустыми ладьями.

— О! — Спиридонович взглянул в плутовато сузившиеся глаза Ивковича. — А на что же тогда хитрость твоя? Мне ли учить тебя! Слыхал я о том, как брал ты в Висби соленую рыбу, грузил на ладьи, а приходил в Новгород — в бочках не рыба, медь лежала. Не станем кричать на весь торг о том, какие товары грузим на ладьи.

В ратуше встретили новгородских гостей бургомистр и городские советники. На приветствие Спиридоновича бургомистр ответил длинной речью, восхваляя Новгород и новгородских гостей; отдал он хвалу и славному городу Висби и торговле Висби с Новгородом Великим.

— Через Висби ганзейские и франкские гости шлют свои товары на торг новгородский, — говорил он. — Через Висби посылает свои товары Новгород в западные города. На торгу у нас есть гости из Лондона. Пусть торг в Висби радует вас прибылью! Что привезли вы, славные гости? Есть ли на ладьях ваших воск и лен?

— Есть и воск, и лен, и меха куньи, — ответил Спиридонович. — Добрые меха. Для показа захватили с собою в ратушу...

Спиридонович велел провожавшим его гребцам положить меха перед бургомистром. Заблестело в руках золото куньего ворса. Бургомистр и советники, любуясь, встряхивали меха, гладили, дули на ворс, пробовали крепость мездры...

— В воске имеет нужду святая римская церковь, — налюбовавшись мехами, заговорил бургомистр. — Воском торгуйте беспошлинно. На лен и меха положим пошлины умеренные, без обиды.

Спиридонович умолчал, не сказал в ратуше о том, что привезли они в Висби парчу и паволоки византийские и из-за Каспия, не сказал о жемчуге и тонких изделиях из рыбьего зуба, о скани и зеленом камне с Югры. Не товарами хвалился, а восхвалял торг в Висби и город.

Уходили когда — усмехнулся и шепнул Ивковичу:

— Бургомистр и советники рады, что «забыли» мы меха в ратуше... Будем вести торг по-своему.

ПАПСКИЙ ЛЕГАТ

Ольдермен Готского двора в Новгороде любечанин Мундт с крыльца своих хором увидел крытый лубом возок. Появление возка не удивило любечанина: не редкость этакие возки на улицах Новгорода. Поравнявшись с хоромами Мундта, возок остановился. Сидевший на облучке, с вожжами в руках, возница повернулся и распахнул овчину. Из-под луба выглянуло круглое бритое лицо. Любопытствуя, кто бы это мог быть, Мунд спустился вниз. Вблизи лицо путешественника выглядело усталым.

— Вижу Иоганна Мундта из Любека? — необыкновенно звонким и в то же время каким-то мягким, ласкающим голосом спросил гость.

— Да. Чем могу быть полезен вам? — ответил любечанин, чувствуя настороженную неловкость под пристальным взглядом холодных, умных глаз путешественника.

— Благодарение пресвятой деве! — выбираясь из возка, провозгласил он. — Наконец-то я нашел в этом городе варваров того, чье имя слышал в Любеке. Но прежде чем говорить, почтенный Иоганн, не введешь ли меня в свой дом?

— Двери моего дома открыты для всех, кто нуждается в гостеприимстве, ваша милость, — промолвил Мундт, несколько удивленный слишком властным и требовательным, как показалось ему, поведением незнакомца.

Очутясь в горнице, гость освободился от дорожных одежд. Длинная темно-зеленая сутана из тонкого сукна скрадывала его рост, плотно облегая полноту фигуры. В правой руке гостя, когда он опустился в кресло, будто сами собой, очутились темные четки, украшенные перламутром; от розовой лысины, гладкой и блестящей, как будто исходило тихое сияние. Теперь, глядя на гостя, Мундт понял, что посетивший его дом незнакомец носит высокий духовный сан римской церкви.

Некоторое время гость сидел молча, вытянув вперед ноги, наслаждаясь отдыхом после долгого пребывания в неудобном возке. Отдохнув, он придвинул к себе ла-

рец, который принес с собой, достал из него свиток с восковой печатью на шнурке и протянул Мундту.

— Сын мой, — произнес он при этом, — пишет тебе епископ города Любека. Прочитай грамоту его и не удивляйся тому, что узнаешь.

Любекский епископ, посылая благословение свое, просил ольдермена Мундта оказать гостеприимство подателю грамоты. Епископ предупреждал любечанина, чтобы он ни о чем не расспрашивал гостя, но сам поведал бы ему все, что знает о Новгороде и земле Новгородской; оказывал бы ему помощь и покровительство.

— Почитаю счастьем дать приют в своем доме вам, святой отец, — сказал Мундт и, свернув свиток, поклонился.

— Благодарю тебя, сын мой, — ответил гость. — Радуюсь, что здесь, в стране варваров и еретиков, бог послал мне доброго христианина и верного слугу апостолической церкви. Да будет милость творца, создавшего мир и все сущее в нем, над тобою и над домом твоим! — гость поднял глаза на распятие, которое виднелось в углу горницы. — Мое имя — Густав Биорн из Упсалы. Прибыл я в Новгород, влекомый любознательностью своей и желанием видеть жизнь и обычаи русичей. С помощью божией надеюсь скоро и благополучно закончить здесь дела свои.

На пути в Новгород отец Биорн посетил германские города, а весенняя распутица, захватившая его в пути, вынудила остановиться в Риге, быть гостем рижского епископа.

В Новгороде отец Биорн с неутомимостью юноши стремился вознаградить себя за лишения, выпавшие на его долю во время путешествия. Он так, что все видели это, восхищался благолепием святой Софии, приходил в восторг от искусного софийского звона; восхищаясь, отец Биорн утверждал, что красот, подобных тем, какие нашел у святой Софии, не встречал ни в германских городах, ни в городах франкских.

Отец Биорн посетил владыку новгородского и владычный двор. Осмотрел стены и стрельницы Детинца, побывал в соборах новгородских и в монастырях; с верха белокаменной стрельницы городского острога на бе-

регу Волхова он долго смотрел на только что вошедшую в берега после весеннего паводка многоводную реку. Жажду свою все знать и все видеть отец Биорн объяснял желанием запечатлеть в памяти город и создания мастеров новгородских. Он искал и стремился познать каждое, пусть незначительное, новшество в хитростях искусников. Неутомимость святого отца удивляла ольдермена. За недолгие дни пребывания своего в Новгороде отец Биорн лучше узнал город, чем любечанин, встречавший здесь третью весну. Не укрылся от любознательных глаз святого отца и торг новгородский. В гостиных рядах отец Биорн поражался обилию товаров, множеству иноземных гостей. После, в беседах с Мундтом, он не скрывал того, что лишь здесь убедился в справедливости слухов о богатстве Великого Новгорода.

Но пребывание в Новгороде, разрушив многие прежние представления отца Биорна о Русской земле, удивило его и печалило. Люди, которых увидел он в Новгороде, ничем не походили на дикарей. В городе их, обнесенном валом и дубовым тыном острога, — величественные каменные соборы, каменные стены Детинца, мощеные улицы, чего отец Биорн не знал ни в шведских, ни в германских городах. И в монастырях и на торгу отец Биорн видел людей, владеющих искусством письма. На тонких листах бересты торговые и ремесленные люди писали красками или царапали костяной иглой письмена.

Однажды Мундт, возвратясь с торга, застал отца Биорна необычно встревоженным и возбужденным.

— Входи, сын мой, — встретил он Мундта, который, открыв дверь, задержался на пороге горницы. — Давно обитаешь ты в Новгороде, знаешь торг здешний, скажи: всегда ли обилен он товарами, каким я вижу его? Почасту ли рядом с новгородскими и ганзейскими торговыми гостями сидят на торгу гости из Византии и из-за Каспия?

— Нынешний торг беден в Новгороде, святой отец, — не зная о цели, с какой спрашивают его, пожаловался Мундт. — Мало иноземных гостей. Русские города, те, что к югу от Новгорода, разорены; мало гостей из гер-

манских городов и из Висби. Шведы и рыцари-меченосцы чинят грабежи и насилия на торговых путях. Прежде обильнее и богаче знал я торг здешний.

— Чинятся ли в Новгороде притеснения иноземным гостям, велики ли берутся пошлины? — продолжал спрашивать отец Биорн. — Охотно ли продают новгородцы свои товары иноземцам?

— Хуже стало, — откровенно признался Мундт. — Прежде новгородцы охотно давали и воск, и лен, и меха, и все, что имели, за серебро, сукна, соленую рыбу и мальвазею; ныне не все берут, с чем приходят гости из Ганзы. Новгородцы говорят: дайте нам железо и медь. Сами идут за море. Перед тем как прибыть вашей милости в Новгород, ладьи новгородцев ушли в Висби.

— Видел я на торгу железо кричное и изделия, видел кузни и кузнечных мастеров, — произнес отец Биорн и пристально посмотрел на Мундта, словно ища у ольдермена подтверждения своих слов и догадок.

— Да, — подтвердил Мундт. — Есть руда в здешней земле, варят железо кричное в домницах. Мастера-домники живут и в селениях, за городом. Кузнечные мастера сталь льют, куют мечи, топоры боевые, копья и рогатины, кольчуги вяжут. За новгородские кольчуги торговые гости берут в Висби и Любеке хорошую прибыль.

— Правду ли молвил ты о кольчугах, сын мой? — сухо спросил отец Биорн.

— Сказал о том, что сам видел, испытал и знаю, святой отец, — ответил Мундт. — Над войском новгородским, когда о прошлом лете выступало оно против шведов, как молодой лес поднимались железные копья, железом и медью сверкали шлемы и кольчуги воинов.

Отец Биорн видел войско русичей в битве у Невской протоки; билось оно копьями и мечами, топорами боевыми, стрелы пускало тучей; видел отец Биорн кольчуги русские, шлемы кованые, и все же ему казалось, что Мундт преувеличивает силы русичей. Русь, покоренная Ордой, лежит в пепле и развалинах. Если бы перед битвой на Неве Биргер послушался совета отца Биорна и выступил к Новгороду в одной рати с рыцарями-меченосцами, он, Биорн из Упсалы, не гостем вошел бы в дом святой Софии, а господином... Задумавшись, отец

Биорн не слушал, о чем еще говорит Мундт. Не знает и не видит любечанин ничего, кроме своего торга. Готов он торговать и с другом и с недругом.

В беседах с новгородцами отец Биорн говорил о себе как о любознательном путешественнике, восхвалял красоту города и всего, что он видел. Сопровождаемый Мундтом, он обошел вал и стены острога; никогда еще никто с таким тщанием, как отец Биорн, не осматривал стен Детинца, стен и острогов, окружающих монастыри. Любознательность его простиралась всюду. В беседах с владычными попами с ясным взором он отрицал воинственные замыслы Запада, сожалел, что церковь русская откололась от римского священства. Те же мысли об откол русской церкви от Рима отец Биорн затронул и в беседе с владыкой новгородским.

Владыка благосклонно, как показалось отцу Биорну, выслушал его и сказал, что церковь на Руси живет своими обычаями и не примет обычаев Рима. Возражение владыки дало отцу Биорну повод напомнить об унии церкви новгородской с Римом. Владыка не отклонил мысль об унии, но и не согласился с отцом Биорном. Он сказал, что в Новгороде Великом дела церкви решаются в согласии с волей веча и князя. Князь же новгородский далеко нынче, в Суздальской земле.

— Богат Новгород, обширна земля его, но владычествуют на ней люди, чуждые вере и обычаям Запада, — прервав наконец свои размышления, заговорил отец Биорн. — Горько помышлять об этом, но горше видеть утеснения, коим подвергаются в Новгороде гости из западных христианских городов, приверженных Риму. Скорблю о том, сын мой, скорблю и верую в милость бога всевышнего и помощь пресвятой девы, — повысил голос отец Биорн. — Настанет день, и, может быть, уж недалек он, когда свет апостолической церкви осияет Новгород, когда не иноземцами, а господами и властелинами придут на берега Волхова гости из Любека и из Висби...

— Сбудется ли слово твое, святой отец? — не зная, верить ли тому, что услышал, сказал Мундт.

— Я буду молиться за то, сын мой.

ГЛАВА 24

БУРЯ НА МОРЕ

Как ни спешил Спиридонович по окончании торга скорее отплыть из Висби, все же, в ожидании попутного ветра, новгородским ладьям пришлось задержаться в гавани. Наконец ветер подул с запада. Ладьи вышли в море. Неся полные паруса, они легко скользили по свежей волне. Гребцы не брались за весла. Небо было чистое; синяя дымка горизонта, казалось, отодвинулась так далеко, что терялась в блеске моря.

Людей на ладьях стало больше. Новгородские мастера братья Коровичи — Дементий и Петр, — строившие в Висби каменную церковь Троицы, окончив труды, ожидали попутных ладей, чтобы плыть в Новгород. Бургомистр и городские советники, довольные искусством мастеров новгородских, звали их остаться в Висби.

— Зачем вам идти в Новгород? — говорили им. — Не бегите от богатства и славы. Мы в Висби строим и церкви и палаты каменные, а в Новгороде к чему приложите свое искусство? Оставайтесь на Готланде! Счастье вам будет. Жен изберите себе. Наши жены не в пример новгородским — покорны и домовиты.

Звали к себе искусных мастеров и гости из Любека; как и в Висби, обещали богатство и почести. Новгородцы-зодчие не сдались на уговоры. Когда пришли в Висби ладьи Спиридоновича и Ивковича, Дементий и Петр прибежали на вымол.

— Возьмите нас в Новгород, — сказав о том, кто они, попросили гостей. — Гребцами сядем на ладьи или иное какое дело...

— Давно ли вы в Висби? — осведомился Спиридонович.

— Четвертое лето идет, — ответил старший из братьев — Дементий. — В Новгороде, в братчине строителей каменных и камнетесцев, знают род Коровичей. Много камня положено нами. Прадед наш мастер Петр строил Николу в Дворищах, Георгия в Юрьевом монастыре. Искусный из искусных был мастер. Мы строили нынче на Готланде и здешних людей учили строить.

— Любо нам знать, что на Готланде и в городах немецких ценят новгородских мастеров.

— Да, ценили и обещания давали, но мы с братом новгородцы, и нет нам города лучше и краше Великого Новгорода. Стосковались вдали.

— Взяли бы здешних красавиц в жены, то-то бы жили. Видели мы в Висби лебедей белых, — усмехнулся Спиридонович и подтолкнул стоявшего рядом Ивашку.

— Нет, не сравниться им с нашими, — улыбнулся на речь Спиридоновича младший Корович. — Дементия, — показал он на брата, — ждет в Новгороде жена молодая, я хоть и холост, да как вспомню хороводы на Буян-лугу, так и защемит сердце.

Первый день плавания был благополучен. Ночью шли под парусами, а к утру ветер вдруг затих. Холстины парусов бессильно повисли. Гребцы взялись за весла.

— Как заснуло все, не взбунтовалось бы море...

В голосе гребца, который посетовал на тишину, прозвучала тревога. Спиридонович посмотрел вокруг. На небе спокойно мерцали начинающие уже блекнуть звезды. Море лежало широкое и такое спокойное, словно ничто не в силах возмутить его синее лоно.

— Не кличь беду, Ромаш! — сказал другой гребец, ближе к Спиридоновичу. Гребцы, поднимая весла, глубже опускали их в воду и, отвалясь, с силою брали на себя, скрипя уключинами.

— Не придет беда, так не накличешь, — возразил Ромаш. — А придет — тяжко будет.

— Нажми на весла, други! — крикнул Спиридонович. — Скоро увидим Волхов.

Взошло солнце. Лучи его ярко осветили, словно зажгли, поверхность моря. Затишье, встревожившее гребцов, обеспокоило и Спиридоновича. Сам знал и слыхал от других, кто бывал на море, как ненадежна внезапная тишина. Вдали что-то блеснуло. Спиридонович присмотрелся; глаза его скоро различили птицу. Она летела навстречу вытянувшимся одна за другой ладьям.

— Чайка, — узнал Ромаш. — Знать, берег близко.

Не переставая играть веслом, Ромаш пристально всматривался вперед, в ту сторону, откуда летела чайка. Она пронеслась над ладьей. Это развеселило греб-

цов. Появление птицы напомнило им о земле, о том, что где-то недалеко, за сизой дымкой, повисшей над морем, скрывается берег; но берег чужой, неприютный. Прежде на пути в Висби и когда шли обратно в Новгород, приставали к здешним берегам, а с той поры, как появились из немецких земель ливонские рыцари и подчинили себе ливов и эстов, новгородцы держатся дальше от берега. Бывало, что рыцари захватывали и уводили ладьи.

— Глянь-ко туда, Спиридонович! — крикнул Ромаш и поднял руку, показывая вперед. — Что там?

Спиридонович приставил к глазам ладонь.

— Ничего, — сказал он. — На море ни ладьи, ни паруса.

— Туман поднимается.

— Не в глазах ли у тебя рябит, Ромаш? — усмехнулся Спиридонович. — Небо ясно, море блестит и играет.

Ромаш, взмахивая веслом, теперь с такой силой нажимал на него, что вода пенилась и с шумом лизала борт. Туманное облачко, на которое указывал он, росло, расползалось по горизонту. Теперь его видел и Спиридонович. Налетел ветерок и шевельнул безжизненный парус. Солнце сияло, но блеск его вдруг поблек, стал мягче, прозрачнее; солнечные лучи не проникали уже, как прежде, в темную глубину моря, а лишь скользили по его гладкой, неподвижной поверхности. Набежавшая издалека усталая волна, словно предупреждая об опасности, лениво качнула ладью. Прошло еще немного времени, внезапно парус сердито хлопнул и, расправляясь, стал наполняться ветром.

— Земля... Землю вижу! — крикнул Ромаш. — Буря идет, держи к земле, Спиридонович!

Вдали, выступая из воды, показалась темная полоска берега. Ветер, точно сердясь на скользящие по воде ладьи, быстрее гнал их. Там, где Ромаш увидел землю, теперь различалась покрытая лесом гряда прибрежных холмов.

Туча заволокла солнце. Как прозрачные стрелы, упали крупные капли дождя. Волны, вздымаясь, с яростным шумом рассыпали пенистые белые гребни. Ладьи разметало. Берег недалеко, но там, куда волны гнали ладью Спиридоновича, тяжелой, темной громадой высилась вы-

давшаяся вперед скала. Спиридонович и гребцы, которые находились с ним, не успели подумать об угрожающей им новой опасности, как огромная волна подхватила ладью и со страшною силой бросила вперед...

Голый песчаный берег заливает вода. Ни деревца, ни жилья вокруг. Когда Афанасий Ивкович, промокший, со слипшейся бородой, выбрался на твердую землю, он истово перекрестился и, с трудом шевеля посиневшими губами, пробормотал:

— Не одни ли мы остались в живых, Ивашко?

Он долго всматривался в затянутую мутной дымью дождя бушующую стихию моря. Казалось, огромная, неукротимая сила, которая таилась в морской глубине, вырвалась наружу. С берега волны казались еще выше. Острые гребни их накатывались на отмель и отступали, брызжа пеной.

— Скорлупки малой не видно на море, — сокрушенно простонал Ивкович.

— Не видно, — согласился Ивашко. — А может быть, их, как и нас, бросило на берег? — высказал он надежду.

В Висби Ивашко сел на ладью Афанасия Ивковича. Боялся тот идти морем без надежной защиты. Спиридонович посмеялся над опасениями Ивковича, но Ивашку к нему отпустил.

— Не жду и не надеюсь на то, Ивашко, что и другим удача, — заикаясь, с безнадежностью в голосе продолжал жалобы Ивкович. — Жаль Василия Спиридоновича, умен и силен был, помяни господи его душу!

— Не рано ли за упокой поминать, Афанасий Ивкович? — вздрогнув при напоминании о гибели Спиридоновича, хмуро пробормотал Ивашко. — Подождем.

— Двух чудес не бывает, — не унимался Ивкович. — На берегу мы, а какая это земля? Небось островишко песчаный...

Как ни убедительно было то, что сказал Ивкович, Ивашко не верил в гибель Спиридоновича. Мог ли представить он, что не увидит гостя на Великом торгу, не услышит голоса его у Ярославовой звонницы? Бросился бы сейчас Ивашко на поиски, да нельзя оставить Ивковича — еле жив тот.

ГЛАВА 25

ВЛАДЫКА

Александр выехал из Переяславля сразу же после буйства ростепели, когда еще не просохли дороги. Поезд тащился медленно, задерживаясь у переправ через реки и топи. На второй неделе увидели Торжок.

В Торжке Александр остановил поезд. Путь преградила не вошедшая в берега после весеннего паводка быстрая Тверца. Впереди, на пути к Новгороду, холмы Валдая. На реках и ручьях перед полой водой разобраны мосты и большей частью вновь не наведены. Александр оставил в Торжке молодую дружину с поездом и княгинею, наказав им не трогаться в путь, пока не просохнут дороги, а сам, чтобы не задерживаться понапрасну, со старой дружиной вышел налегке.

Теперь двигались быстрее. На третий день, с вечерними сумерками, вступили в Новгород. Стук копыт множества коней по бревенчатым мостовым встревожил жителей.

— Войско... Пресвятая владычица! Копий-то, копий!..

— Не князь ли Александр с дружиною?

— Он, Ярославич... И кони русские, и шеломы с еловками... Сам впереди. Посадка его, княжая.

Утром звонили колокола. Над городом кружились стаи испуганных галок; сполошный крик их разносился далеко по Волхову — громкий, неугомонный.

Александр Ярославич побывал у святой Софии. Узнав о недуге владыки — навестил владычный двор. Извещенный ближними попами о приезде князя, владыка сделал было усилие приподняться навстречу, но Александр быстро прошел вперед и опустился на колено.

— Благословен грядый... — начал владыка, простерев руку над головой Александра. — С приездом тебя, княже! В трудах и горестях встречает тебя Великий Новгород! Много страстей людских, много зла вокруг, и нет пастыря, который крепкою десницею защитил бы от бед.

— И я тревожусь о том, владыка.

— Будет ли твой приезд, княже, освящен миром, сменит ли Новгород ризы печали на ризы радости?

— О том он сам скажет, — стараясь говорить мягче, не повышая голоса, ответил Александр. — Я к людям новгородским зла не имею и шел не на ссоры и не на распрю.

Александр мало изменился за то время, что не был в Новгороде. В пути он загорел, волосы и борода его выцвели и посветлели от солнца. Казалось, вместе с ним покой и тепло вошли в горницу старца, и тот, почувствовав это, оживился.

— Близко войско лыцарское, княже, — сказал владыка, и взгляд его испытующе остановился на лице Александра. — Во Пскове лыцари, в Водской пятине нашей срублен ими город Копорье и другие городки. Зимою ватаги лыцарские были близ Тесова... Не придется ли Новгороду встречать лыцарское войско у своих стен? Не легко будет биться с ними, княже. Соберем ли достойную рать?..

— Опасность велика, владыка, — подтвердил Александр слова старца. — Вижу ее. Соберу рать. Посошных возьму и охочих. Карелу и ижорян позову. Старая дружина пришла со мной в Новгород, молодая осталась в Торжке с княгиней; как просохнут дороги, княжий поезд выйдет из Торжка. Батюшка, князь Ярослав, обещал Новгороду помощь низовыми полками. Многолюдно войско лыцарей, да на чужой земле оно. Соберется рать, выступим на Псков. Освободим Псковскую землю.

— А Орда, княже? Возьмет ли Русь меч противу язычников?

При напоминании об Орде лицо Александра потемнело. Перед глазами его возникли разрушенные города Суздальщины, заросшие крапивой пепелища погостов и займищ.

Уезжая из Владимира, в беседе с отцом Александр сказал, что под стягом великого князя готов идти против Орды. Ярослав выслушал сына, поморщил губы в улыбке и молвил:

— Слушал я тебя, Олексанко, и вспомнил: таким же, как ты, был и я когда-то. Удалью и силой своей хвалился. А прошли годы, понял: не всякого врага возьмешь удалью. Нынче откроюсь тебе, слушай, что молвлю, и помни: полна Русь гнева и ненависти, велика боль ее. Поднимется она, готовая биться с врагом. Думал я

о том, много ночей не спал... Храбро будем биться, но Орда сильнее. Многолюдством своим сомнет и порубит наши полки. Смел ты умом, Олексанко, скажи: какой избрать путь?

— Не ведаю, батюшка, — признался Александр. — Тяжко мне от твоего слова.

— Да, тяжко. А одною ли силой жива Русь? Нет, Олексанко. Жива она и мудростью людей своих.

Ярослав помолчал, подвинулся на лавке ближе к Александру и, как бы желая рассеять тревожное впечатление от того, что говорил раньше, продолжал:

— Когда враг на рубеже — не время бежать от битвы. Но когда враг — сильный и многочисленный — пришел в землю твою и войско твое разбито, сожжены и разрушены города... Время ли гибнуть тем, кто не мирится с позором плена? Не имут мертвые срама, молвил старый князь киевский Святослав Игоревич, но не славна смерть, если не преграждает она дороги врагу. Нынче Орда далеко, в Уграх. И не лезть нам очертя голову на рожон, а силу копить надо, большую силу. Да, Олексанко, силу! А на Руси? Каждый город своей головой думает. В том и корень всех зол. Дед твой, великий князь Всеволод, поднял свой щит выше всех князей русских, его делами сильна и крепка была Суздальская земля. И я верю, Олексанко, что вокруг Суздальской срединной земли сложится Русь, стяг князей суздальских станет стягом Руси, а великое княжение владимирское навсегда останется за родом нашим.

Эта беседа с отцом вспомнилась сейчас Александру в разговоре с архиепископом.

— Не удалью своей пришел я хвалиться перед тобою, государь-владыка, — подняв голову и оторвавшись от размышлений своих, вымолвил Александр. — Удали много на Руси, но горе нам, если употреблена будет она во зло.

— Хвала мудрости твоей, княже, — приподнявшись на изголовье, произнес владыка. Розовые пятна румянца, выступившие на впалых щеках старца, выдавали его волнение. — Слабы мы, но неизреченна милость творца. В страхе перед ордынским войском, ввергшимся ныне на земли королей польского и угорского, готовы западные христиане оказать нам помощь свою. Не обретем ли

выгод в союзе с ними? Римский патриарх ищет дружбы нашей...

Александр нахмурил чело. «О чем сказал владыка? — спросил себя. — Почто хитрит старец, говоря о выгодах союза с латинским Западом?»

— Войско латинских меченосцев на нашей земле, государь-владыка, — решив не скрывать своих мыслей, сказал Александр. — И ты, государь, и люди новгородские встревожены нашествием латынян. Римский патриарх благословил крестовый поход свеев; новгородские полки поразили свейскую рать. Ныне римский патриарх благословляет поход ливонских и иных латинских земель лыцарей. Какой помощи ждать Руси от латынян?

— Союз христианских народов против нечестивой Орды благословит бог и святая церковь его, — медленно произнес владыка. — Споры христианского Востока и христианского Запада — не преграда к совместной борьбе против язычников. Не сомневайся, княже, всякое бо сомнение есть шаг к бессилью. Не слухами и не старческими домыслами навеяно то, о чем говорю и что надлежит решить тебе, князю. Гостит в Новгороде папский легат, облеченный доверием, муж мудрый...

— Папский легат... В Новгороде? — не утерпел, спросил Александр.

— Да. Видел его аз и беседовал с ним о делах церкви.

— Чего он хочет?

— Не мне, обремененному недугами, доверит он свои тайны, — устало опустясь на ложе, ответил владыка. — Скромным путешественником явился он на Новгород, а живет у единоверцев своих на Готском дворе. Тщусь надеждой, княже, в старости моей видеть радость и мир над домом святой Софии и над градом нашим.

ГЛАВА 26

ПУТЬ В ГОРОДИЩЕ

Тревожные раздумья всю ночь беспокоили Александра. Изумляло его и настораживало то, что услышал он от владыки. Казалось, владыка искренне радуется тому,

что видит князя, и в то же время он говорил и держал себя так, словно не открыл Александру всех своих дум. И в недуге старец остался верен себе. Александр не сомневался в том, что владыка о многом говорил с папистом, но о чем сказано было, умолчал, ограничась похвалами латынянину.

«Не хитрость ли и обман скрываются под личиной любознательности паписта? — думал Александр. — Буду говорить с ним».

Рано просыпается Новгород. Алеет заря на востоке, а над крышами уже вьется дым, белыми струйками поднимаясь к небу. У колодцев, перекликаясь с шумными, бестолковыми стаями галок, скрипят «журавли», тянут из глубины бадьи со студеной водой, чистой, как слеза девичья.

Об эту пору улицами Торговой стороны мчались два всадника. Уличные сторожа, снимавшие решетки на переходах у Верхнего ряда, ворчали, приговаривая:

— Княжие дружинники... Скачут-то, осподи! Свои-то головы сломят — ладно, а ну как затопчут кого...

На Ильиной улице заливисто орут петухи, деловито квохчут и роются в дорожной пыли куры. Всадники мчатся, не сдерживая коней. Хлопая крыльями, обезумев, куры спасаются в стороны. Рябая, с черным хохолком, сбитая копытом коня, испустила предсмертный крик. Из ворот Никаноровых хором вылетела босая, в шитой мережками рубахе Мардальевна.

— Ах, погубители! — подняв хохлатку и грозя вслед всадникам, заголосила она. — Споткнулись бы кони у вас, сломать бы вам шеи беспутые!

— На кого кличешь беду, Мардальевна? — спросила выбежавшая на крик из соседних хором женщина. — Уж не воры ли?

— Дружинники княжие. Скачут улицей, как ошалелые... Хохлаточку погубили. На княжий суд пойду...

Когда выбрались за город, на Красное поле, передний из всадников придержал коня, подождал товарища и сказал, улыбаясь:

— Люблю, Олексич, когда конь мчится быстрее ветра. Рад ли ты, что мы снова в Новгороде?

— Рад, княже, — коротко ответил Олексич. — И мне

любо скакать на лихом коне, но теперь пойдем-ка шагом. Весточка у меня есть.

— Добрая ли? Уж не наведался ли молодец на Нутную улицу, к косящатому окошечку Катерины-свет? — рассмеялся Александр. — Жива ли она? Не забыла ли молодца?

— Не успел, княже, не наведался, — улыбнулся Олексич.

— Небось ждет. Не томи молодушку, Олексич, приголубь! Не звала бы обманщиком ближнего дружинника.

Олексича смутила речь Александра, но нечего возразить молодцу, не в чем и оправдываться. Он подогнал коня и, поравнявшись с князем, сказал:

— Вечером, как вернулись со владычного двора, говорил я, княже, с Яковом Полочанином. Сказывает он: Ивашко, дружинник твой, был на княжем дворе.

— Ивашко? — придержал коня Александр. — Где пропадал он? Почему бежал от похода на свеев? Спрашивал его Яков?

— Спрашивал.

— В трусости повинен молодец? — нахмурился Александр. — Почему Яков не схватил его? Жаловал я отрока, а он клятву и слово нарушил.

— Ни в трусости, ни в нарушении клятвы нет Ивашкиной вины, Александр Ярославич.

— Что ты молвил?

— Не повинен. Приспешник Нигоцевичев кончаром поразил молодца.

— Где? Почто поддался злодею?

Взгляд Александра был все еще хмур, но в голосе послышалось любопытство.

Олексич рассказал князю обо всем, что сам знал о походе Ивашкином на Шелонь, о встрече на займище и о том, как злодей хитростью обошел витязя, ранив его.

— Виноват или прав отрок — ввечеру, как вернемся в Новгород, спрошу сам. Где обитает он? — спросил Александр.

— По первости жил на княжем дворе, но скучал без дела. Ушел к мастеру Никанору на Ильину. Весной, после ледохода, сел гребцом на ладью Василия Спиридоновича.

— Что за поход? Куда ушел Спиридонович?

— На Готланд, в Висби. С товарами повели ладьи.

Александр некоторое время ехал молча. На лугах, раскинувшихся по сторонам дороги, трава начала обсыхать, солнце грело сильнее.

— Кто еще из торговых гостей ушел в Висби? — спросил.

— Афанасий Ивкович. Будет благополучен путь морем, в полулете вернутся в Новгород.

ГЛАВА 27

ИСКУССТВО ДЕДА ЛЕВОНИКА

Никанор был в кузне, когда скрипнули ворота и колеса застучали по мостовому въезду. Вскоре со двора окликнули:

— Принимай крицы, Никаноре!

Никанор доковал изделие, бросил его в лоток и тогда лишь выглянул из кузни.

— Кто прибыл, не Василько ли?

— Я, Никаноре.

— Хорош гость и ко времени, — довольный приездом Василька, Никанор показался на дворе. — Нужно мне железо кричное, хотел о том весть подавать.

Василько отпряг лошадь, привязал ее к телеге и повесил на передок сплетенный редкими петлями мочальный кошель с сеном. Никанор, стоя у телеги, осматривал крицы.

— Сам варил крицы, Василько?

— Сам, бранить не будешь. Воз железа тебе и дар от деда Левоника.

— Как живет старый?

— Крепок. Деду Левонику и сто годов — не годы. Свое изделие послал... Вот, любуйся, Никаноре!

Василько передал Никанору топор, скованный Левоником.

Топор Левоника не похож на те, что ковались в Новгороде, не похож и на иноземные. Широкое и тонкое лезвие топора посажено наглухо на длинное топорище с

проложенными по бокам двумя железными полосами и схваченное кольцами; топорище прямое, длиною оно напоминало древко медвежьей рогатины. Обушок топора вытянут клевцом и изогнут «к себе», на манер багорчика; лезвие округлено так, что напоминает серп месяца. Бородка лезвия прихвачена кольцом к топорищу, а острый носок рогом вытянут вверх.

Никанор с любопытством, со всех сторон, оглядел изделие, тряхнул на руке, помахал им.

— Топор как перышко, а топорище полпуда, — сказал. — Носок — хоть коли им заместо рогатины. Не пойму, в чем хитрость. Стоек ли топорик, Василько? Пробован?

— Пробован, Никаноре. По твоему уставу на пять слоев кован, — ответил Василько.

Они вошли в кузню. Никанор указал Васильку на железную плашку, валявшуюся близ кряжа наковальни.

— А ну, ударь! Поглядим, стоек ли?

— Пытал, Никаноре, у себя в кузне. Стоек, не гнется.

— То у себя, а то здесь.

— Не веришь, гляди!

Василько взял топор, поплевал на ладони и размахнулся. Со свистом сверкнуло широкое лезвие, рассекло плашку.

— Ни зазубринки, — обтерев с лезвия приставшую к нему землю, довольно произнес Василько. — Хорошо рубит.

Никанор снова осмотрел топор, поднял куски рассеченной плашки. На разрубе железо гладко блестело.

— Добрый мастер Левоник, — похвалил. — Ковал я топоры и плотницкие и боевые, но как этот — впервой вижу.

— Дед Левоник умеет колдовать над железом, — довольный похвалой Никанора, сказал Василько. — Он и название своему топору припас. Топоры, которыми лес валят в борах, мужики секирами называют. Левоник и говорит: моим-то не лес, а врагов валить; маховой, говорит, он, под стать секире. Велел и тебе сказать, что не топор ковал, а секиру.

— Не тяжел, а секиры стоит, — согласился Никанор.

— Наказывал мне Левоник, — продолжал Василько. — Отдай, говорит, игрушку мастеру Никанору и не

забудь, напомни: не на то дарю, чтобы изделие мое ржа ела, а чтобы размыслил мастер и оценил. Рубит, сказал, моя секира, как топор, вперед колет, как копье аль рогатина, а клевцом лыцаря в железах повергнет наземь, как багорчиком; закалена, сказал, секира на кремень, ни железо, ни медь от нее не укроют.

— Хитро кует, хитро и думает Левоник, — одобрил Никанор. — Перед свейским походом сковал я меч в дар Александру Ярославичу, а Страшко — перо к копью. С тем мечом и копьем Ярославич в бою был. Как вернулся в Новгород, молвил: хороши меч и копье, что скованы нашими кузнецами, лучше франкских. Ныне поглядит он на изделие Левоника; ни у ордынян, ни у лыцарей нет похожего топорика, да и хитреца небось нет под пару старому Левонику.

— Был бы в Новгороде Александр Ярославич, может, и впрямь показать бы ему изделие Левоника.

Никанор взглянул на кричника, хитро усмехнулся и подошел к горну.

— Качни-ко мех, Василько! — сказал.

Василько ловкими и сильными взмахами коромысла принялся качать мех. В горне вспыхнуло и зашумело синее пламя. Никанор пошевелил угли, огрудил их и вдруг спросил:

— Скажи-ко, Василько, день аль ночь на улице?

Василько с недоумением уставился на Никанора, не понимая, о чем тот спрашивает.

— Улицами ехал ты, неужто не разобрал? — переспросил Никанор.

— Разобрал, да не ведаю, к чему слово твое, Никаноре?

— К тому, мастер, что на глаз ты зорок, а вот на ухо туговат. Ехал на Ильину через Великий мост, мимо княжего двора... Не играют ли там песни дружинники?

— Вроде бы шумно было, Никаноре. Впрямь так...

— То-то. Не пусто на дворе, а где дружина, там и князь.

— В Новгороде?

— Со вчерашней ночи. Качни-ко сильнее мех, не жалей силушки! Не сковородник куем, перо к рогатине.

...В горнице, когда появились там Никанор с гостем, Аниса Мардальевна поставила перед ними ендову с

хмельным медом, разрезала пирог луковый и принесла в глиняной плошке жареную курицу.

— Не знала гостя, не припаслась, — сказала. — Мало разносолов на столе.

— Не гневи бога, хозяюшка! — засмеялся Василько. — Наставила снеди полон стол и жалуется — угощать-де нечем. А на столе и мед, и пирог, и курица в плошке...

— Ой, не напоминайте мне о курице! — потускнела лицом и жалостливо потерла глаза Мардальевна. — Уж такая-то она у меня хохлаточка-то была, красавица-то. Люди любовались, завидовали. Покоя из-за нее лишилась.

— Почто же ты, Аниса, извела ее? — спросил Никанор. — В плошке на столе и не хохлаточка петухом споет.

— Не серди меня, Никаноре! — Мардальевна перебила мужа. — Сказывала тебе: утром, спозаранку нынче, княжие дружинники гнали улицей. Уж, право, как оглашенные! Конем-то на нее... Вернулись на нашу голову.

ГЛАВА 28

ОСТРОВ САРЕМА

Огромная волна, подхватившая на свой гребень ладью Спиридоновича, бросила ее на выступившую в море темную скалу. Казалось, все кончено. Гребцы опустили весла. Но то, что произошло в следующий миг, не столько обрадовало, сколько изумило обреченных на гибель людей. Громада скалы словно расступилась. Ладья скользнула в узкую, как бы прорубленную в камне, темную щель и оказалась в защищенной от моря спокойной лагуне. Не веря в спасение, люди с недоумением оглядывались друг на друга.

— Кому не судьба утонуть в море, тот не утонет, — придя в себя, промолвил Ромаш. Он попытался усмехнуться, но никто не поддержал его. Молча подгребли к берегу. Наказав Ромашу, чтобы тот причалил ладью, Спиридонович поднялся на ближний холм.

Море бушевало, не переставая лил дождь. Впереди,

насколько хватал глаз, с ревом низвергались белые гребни волн. Нигде не видно и следа людей. «Погибли», — вспоминая Ивашку и Афанасия Ивковича, прошептал Спиридонович.

От места, где находился он, уходила вдаль цепь покрытых лесом холмов. К югу лес реже, там простиралась плоская, голая равнина. С вершины Спиридоновичу казалось, что земля, на которую волны выбросили ладью, медленно опускается и локоть за локтем исчезает в море.

Спиридонович поискал взглядом жилье; вокруг нигде не видно и признака погоста или займища. Если земля эта остров, то он, хотя и безлюден, все же не похож на те, каких много рассыпано в устье Невы-реки. Остров этот обширен; море на нем видно только с той стороны, где пристала ладья. Если же берег не островной, а принадлежит земле ливов или эстов, то не приведет ли судьба встретиться с рыцарями-меченосцами? Лучше бы увидеть в море ладьи шведов, чем на берегу рыцарей.

Спиридонович начал спускаться к лагуне, где оставил ладью. Не одолел он и половины пути, как неожиданно, из-за кустов, со всех сторон показались чужие люди. Босые, в лохмотьях и рубищах, они что-то кричали новгородскому гостю, но Спиридонович не понимал их языка. Кое у кого в толпе виднелись рогатины и топоры, большинство же было вооружено заостренными наподобие копий кольями и насаженными на древки косами. Поднимаясь на холм, Спиридонович не захватил с собою оружия. Он не знал, что за люди перед ним, чего они хотят от него?

Пока новгородец раздумывал, как избежать нежданной опасности, от толпы отделился высокий голубоглазый молодец, вооруженный рогатиной. Грубая посконная дерюга накинута на его плечи вместо одежды, лицо обрамляют тонкие, как лен, но спутанные волосы. Он что-то сказал своим, и вокруг наступила тишина. Спиридонович догадался: голубоглазый молодец — предводитель ватажки. Приблизясь к Спиридоновичу, молодец остановился, опустил рогатину и заговорил.

— Не понимаю, — потряс головой Спиридонович и подумал: «Холопы меченосцев. Что надо им?» Не смерть, не потеря товаров, коими нагружена ладья, страшили

Спиридоновича, а то, что может он изведать вражий полон.

Голубоглазый заговорил снова, Спиридонович молча смотрел на него. Молодец поманил кого-то из своих. К ним приблизился босой, с заросшим бородою лицом ватажник. Рваное рубище еле прикрывало тощее тело. В заскорузлых, жестких от мозолей руках он держал сухой заостренный кол. Ватажник посмотрел на Спиридоновича и молвил по-русски:

— По одёже и обличью сужу — ты, молодец, Новгородской земли житель?

Услыхав русскую речь, Спиридонович готов был обнять незнакомого, но вовремя спохватился: поймут ли его радость ватажники?

— Правду молвил, житель. Новгородец я. А кто вы? Почто грозите мне?

— Зачем ты пришел на наш остров? — спросил ватажник.

— Не своею охотой. Шли мы на ладьях из города Висби, а утром нынешним буря разметала ладьи. Где мы, какая и чья эта земля?

Ватажник передал на чужом языке то, что услышал от Спиридоновича. Голубоглазый молодец выслушал, подошел ближе.

— Это мастер Кууск, наш староста, — сказал ватажник, показывая на голубоглазого. — Он говорит, что мы рады видеть у себя, на Сареме-острове, гостя новгородского. Ливонские лыцари хитростями и насилием захватили нашу землю, а нас, свободных эстов, обратили в холопов. Не стало у нас сил терпеть тяготы холопства, мы взяли оружие, окружили лыцарские замки: или разрушим их, или погибнем. От русичей мы не знали зла. Мастер Кууск и народ наш просят тебя, гость, и товарищей твоих побыть на острове. Мы бедны, много бед приняли от лыцарей люди наши, но для друзей у нас найдется кров.

— Передай, житель, мою благодарность предводителю вашему и народу на Сареме, — сказал Спиридонович. — Не найдется ли на вашем острове искусного мастера, который осмотрел бы нашу ладью и исправил то, что повреждено морем?

— Где ладья и твои товарищи, гость?

— Внизу. Укрылись на тихой воде. Оттуда я поднялся сюда...

Гулом одобрения и сочувствия встретили эсты слова Спиридоновича. Окружив его, жали ему руки. Кууск велел передать Спиридоновичу, что у них есть мастера, которые осмотрят и исправят ладью.

Ни в Новгороде, ни в Висби Василий Спиридонович не слыхал о восстании эстов на Сареме против ливонских рыцарей. Между тем восстание началось весной, под Юрьев день. Эсты изгнали рыцарей с северной половины острова и с восточного берега; епископ Генрих бежал в Ригу. Лишь на юге острова прочно держался замок командора Эрнста фон Эльтона. Эсты оказались бессильными перед каменными стенами замка. То, что из беседы с мастером Кууском и жителями узнал Спиридонович о борьбе их с Орденом, и удивило и обрадовало новгородца.

— Знаем мы повадки лыцарей, но с вашим оружием, — показав на заостренные колья в руках окруживших его эстов, Спиридонович горько усмехнулся, — устоять ли противу мечей и копий?

— Правду сказал ты, гость, и не легко правду слышать, — ответил Спиридоновичу мастер Кууск. — Мало у нас оружия, неумелы мы в битвах. Не хитростями — кровью своей добываем свободу. И помощи нам нет. Если ты, как друг, пришел к нам — рады мы послушать твои советы.

Спиридонович проснулся и услыхал: кто-то зовет его по имени. Хотел открыть глаза, но веки были так тяжелы, что недостало силы разомкнуть их. Смутно, впросонье, припоминалась буря на море, скала, на которую волна бросила ладью, встреча с эстами... А после? Спиридонович оказался в курной избе. Ясно представил он гладкий земляной пол, очаг и глиняный горшок у огня. Промелькнуло в памяти лицо молодой женщины, крутящееся колесо прялки и зыбка около. Старик с гордым и суровым лицом. Были еще люди, они шумно приветствовали гостя. Спиридонович не успел понять, когда видел он все это, как вновь услышал потревоживший его сон голос.

— Проснись, Василий Спиридонович! Не ждал, не гадал, что встретимся.

Голос знакомый. Спиридонович открыл глаза. Изба та же, какая помнилась ему. Серый тусклый свет струится в узкую, затянутую сухим бычьим пузырем оконницу. Рядом... Афанасий Ивкович.

— Крепок был сон у тебя, Спиридонович, — говорит Ивкович. — Жаль было тревожить, да не утерпел.

— Ты... Афанасий?!

— Я. Все, кто со мной были, здравы. Пришли мы в здешний погост, а навстречу, глядим, Ромаш... От него о тебе узнали. Война, слышь, на островке-то. Не пора ли ладьи нам в море спускать?

— Ивашко с тобой? — будто не разобрав тревоги, прозвучавшей в голосе Афанасия Ивковича, спросил Спиридонович.

— Здесь он; на улице, с жителями. Есть тут один среди эстов, который русскую речь понимает. Родом он, сказывает, с Ладоги. Пристал как-то к Сареме-острову, обжился тут и не вернулся домой. Баба тутошняя у него, чада народились... Григорьем, сказал, его зовут.

На улице Спиридонович встретил Ивашку и не узнал молодца. За всю путину, как отвалили от Новгорода, Ивашко держался так, словно ничто не радовало его на море; тихий был, задумчивый. Не весел ходил он и в Висби, сторонился людей. Как-то спросил его Спиридонович: о чем у молодца грусть-тоска? Ивашко не открыл душу побратиму, сказал обиняком: не мне, мол, Василий Спиридонович, жить в чужой стороне, то ли дело на Новгороде. «Закончим торг, к половине лета будем дома», — утешил его Спиридонович, но Ивашко не повеселел.

Сегодня он иной. Казалось, не знал он моря, не ходил на ладьях в Висби, не видел бури морской, не знал и страха перед нею. Глаза у Ивашки блестят, резкие морщинки, бороздившие лоб, разгладились, на губах улыбка, во взгляде, в каждом движении его — удаль и лихость молодецкая. Позови его сейчас Спиридонович на поединок полюбовный — не отступит. Не поразился Ивашко и тому, что увидел Спиридоновича, словно заранее знал, что рассерженное море не причинит зла гостю.

— Ивашко! — позвал Спиридонович.

— Спиридонович! Ой, да рад ли ты, что пристали мы к берегу?

— Не знаю, чему радоваться? — усмехнулся Спиридонович.

— Счастливо пристали... Видел людей здешних?

— Видел.

— Худо живут, а люди смелые, добрую кашу заварили лыцарям.

— Какую кашу?

— Богатыри люди, — Ивашко еще раз похвалил восхитивших его эстов. — Ни жительства своего, ни жизни — ничего не жалеют в борьбе; всего дороже им их остров и воля. Но трудно им, — при этих словах лицо Ивашки потемнело. — У лыцарей мечи острые, копья и топоры боевые; сами в броне, а эсты бьются кольями вместо копий. Побьют их лыцари.

— И я о том думаю, Ивашко. Не многолюдством — хитростью и оружием выиграют лыцари битву.

— Что делать, Спиридонович?

— Пришлые мы люди, Ивашко. Что пользы эстам в похвале нашей.

— По-иному бы помочь.

— Как? Мы не в Новгороде Великом, сами в беде.

— То и добро, что не в Новгороде, Василий Спиридонович, — сказал Ивашко, и глаза его вновь заблестели. — Из Новгорода не достать Сарему, издалека жалели бы, а мы здесь. Слава бурному морю Варяжскому за то, что бросило оно к острову наши ладьи! Дозволь, Василий Спиридонович, тем, кто охочь из наших, удаль оказать, померяться силой с лыцарями!

— За кого просишь?

— Первее за себя. Я мечу копье, топором и мечом владею. Ромаш топором сечет и стрелы пускает метко... За всех прошу.

— Не к бою ли зовешь, Ивашко? — вмешался в разговор Афанасий Ивкович.

— Боя не страшусь, — Ивашко поднял глаза на Ивковича. — Где люди бьются за правду, там и наша воля.

— Наша воля — скорей ладьи на воду да плыть к своим берегам, — сказал Ивкович. Он сердито запахнул

полы чуги, задрал бороду и сверху вниз смерил взглядом Ивашку. — За чужое дело голову рад сложить.

— О себе ли нам думать! — вмешался в спор мастер Дементий. — Уйдем с Саремы, стыдно будет после показаться на Великом Новгороде. Есть в ладьях у нас копья, луки тугие, топоры и мечи... Я не торговый гость, не ведаю торговых обычав, а правде цену знаю.

— Легко тебе молвить, мастер, — глаза Ивковича сузились так, что казалось, не видят они света. — Пристало ли торговому гостю с пустой ладьей идти в Новгород? Да и в том беда: не лыцарскому ли войску дадим железо? Здешние люди не свычны владеть копьями; бегут с поля, а железо оставят.

— Будут владеть, не печалься, Афанасий Ивкович! — к изумлению Ивковича вмешался Спиридонович. — Враги эстов — лыцари; враги лыцари и Великому Новгороду. Дадим помощь — Новгороду от того не убыток. Море не взяло наши ладьи... Случись бы так-то, не видать нам Новгорода, да и Саремы не знать.

— Хо-хо-хо! Ай да Спиридонович! — смеясь, громко воскликнул Ромаш. — Не слово — серебро молвил. Дай и нам поглядеть на лыцарские хоромы, крепко ли стоят они?

— Твоя воля, Ромаш, — отозвался Спиридонович на восклицание гребца. — Не поперек дороги стою. Здешние мастера ладьи чинить будут, осмолят заново, а мы попытаем покуда, хорошо ли живется лыцарям на Сареме?

ГЛАВА 29

КОСА НА КАМЕНЬ

Кажется, все предвещало успех отцу Биорну. В Риме кардинал Риенци, напутствуя его при отъезде, ясно намекнул, что легату папской курии предстоит честь стать епископом Новгорода. Ливонское войско, вошедшее в Изборск и Псков, держит в своих руках ключи от рубежей Руси. Братья-меченосцы достигнут Новгорода прежде, чем новгородские воеводы соберут полки.

Отец Биорн уже помышлял об отъезде. Он хотел

быть скорее в Риге, свидеться с рижским князем-епископом и сказать, что время начать поход. Уверенность отца Биорна в успехе похода и силах Ордена была так велика, что ни в размышлениях своих, ни в беседах с ольдерменом Мундтом святой отец ни разу не усомнился в близком осуществлении своих замыслов. Приезд в Новгород князя Александра напомнил отцу Биорну о тех горьких муках отчаяния, какие испытал он в день битвы на Неве.

Весть о приезде князя в Новгород принес ольдермен Мундт. Любечанин только что вернулся с торга, был оживлен, обрадован удачами, каких давно не знали на Новгороде торговые гости.

— Князь Александр, — рассказывал ольдермен отцу Биорну, — вырос в Новгороде, но среди старых бояр и на владычном дворе есть у него недоброжелатели. Держат они себя ныне тихо. С людьми Александр горд, но не гнушается ни боярином, ни торговым гостем, ни людьми ремесленными...

— Жалует ли он иноземцев? — спросил отец Биорн.

— Бывали на суде у него наши гости, судил правдой.

Приезд Александра в Новгород обрадовал отца Биорна. Это предвещало скорое и успешное завершение его путешествия. «Если князь новгородский горд, храбр в битвах, — слушая Мундта, размышлял он, — то легко ли ему терпеть поругание от Орды?» Обещание помощи святейшего престола, о чем, открыв доверенности свои, будет говорить в беседе с князем отец Биорн, разве не явится доказательством выгод дружбы и союза Новгорода с католическими народами и католической церковью?

Не желая откладывать встречу с князем, отец Биорн сказал:

— Необходимо мне, почтенный Иоганн, видеть новгородского князя. Надеюсь на твою помощь. Побывай на княжем дворе и там через ближних бояр или иных людей передай о желании моем.

Живя в Новгороде, отец Биорн редкий день не бывал на торгу. И новгородцы и иноземные гости привыкли видеть розовое, всегда улыбающееся лицо святого

отца и его темно-зеленую сутану, плотно облегающую полное тело. Когда он останавливался у лавок, его встречали доброжелательными приветствиями. «Гости верят, что ваше появление приносит счастье их торгу», — сказал как-то ольдермен отцу Биорну. С тех пор Биорн стал чаще задерживаться у лавок и говорить с купцами; он усовершенствовал и свои познания в языке русичей. Останавливаясь у лавок иноземных гостей, отец Биорн расспрашивал о странах, откуда прибыли гости, долог ли был их путь в Новгород? Особенным вниманием святого отца пользовались гости из Византии и городов далекого Востока. Он спрашивал, какие препятствия испытали они на пути к Новгороду, спрашивал о реках, по которым лежал путь, о волоках, где перетаскивали ладьи посуху; спрашивал о жарких пустынях и караванных тропах в них, спрашивал так, словно готовился сам отбыть в дальний путь.

На следующий день после разговора с Мундтом о князе, посетив торг, отец Биорн остановился у лавки, в глубине которой неподвижно, точно высеченный из камня, сидел иноземец со смуглым, почти темным, лицом, на котором, напоминая обрызганное дождем спелое вишенье, блестели темные внимательные глаза. Концы белой паволоки, обвивающей голову гостя, спускались на плечи. Отец Биорн впервые увидел его в Новгороде. Гость невозмутимо взирал на отличавшую отца Биорна от всех людей на торгу одежду, на розовое лицо под круглой, вышитой узорным бисером, плотно облегающей темя бархатной шапочкой; смотрел так равнодушно и безразлично, словно никого и ничего не видел перед собою.

— Говоришь ли ты на понятном языке, мудрый человек? — спросил отец Биорн.

— Да, — коротко, не меняя выражения застывшего лица, ответил гость на языке русичей.

— Из какой земли прибыл ты на торг в Новгород?

На мгновение в глазах гостя вспыхнули живые, еле заметные искорки. Он сделал легкое движение рукой, словно хотел поднять ее, но тут же вновь замер в невозмутимом спокойствии.

— Земля моя называется Синд, — певуче растягивая звуки, не то небрежно, не то усмехаясь, произнес он.

— Она лежит там, — отец Биорн показал на восток, — за Каспием?

— Там. Далеко моя земля. Горы и жаркие пустыни отделяют ее; долог путь наш, но торг здешний знают и в Хорезме и там, где течет великая река Инд.

— С какими товарами пришел ты в Новгород? Я вижу паволоки и хитрые изделия из кости.

— А ты какой земли, гость? — спросил иноземец, и темное вишенье его глаз словно бы отразило в себе жар пустыни, блеск и глубину великих рек, о которых перед тем говорил он.

— Я, служитель бога единого, прибыл сюда из великого и вечного города.

— Как называется твой город?

— Имя ему — Рим, — важно, глядя на гостя, произнес отец Биорн.

— На Инде, в моей земле, свои города. Приходим мы к Новгороду с паволоками тонкими; нет нигде паволок, равных нашим. Есть у нас камни самоцветные и жемчуг, изделия из кости слоновой, сладкие ягоды... Изюмом называют их на торгу...

Речь дальнего гостя прервал ольдермен Мундт, неожиданно появившийся перед отцом Биорном.

— Что случилось, сын мой? — увидев ольдермена, встревоженно спросил отец Биорн.

— Боярин Федор, коего по воле твоей милости посетил я, говорил со мною...

— Сказал ты боярину, что время мне покинуть Новгород? Увижу ли я князя?

— Да. Боярин сожалеет о краткости пребывания здесь твоей милости и велел передать: ввечеру, как вернется князь из Городища, рад будет он говорить с тобою.

— Благодарение пресвятой деве! — отец Биорн молитвенно поднял к небу глаза. — Счастлива твоя весть, почтенный ольдермен. Вечером ты будешь сопутствовать мне, а теперь иди с миром к делам своим!

В княжей гридне зажгли восковые свечи. Желтоватое пламя их мягко осветило расписанные ярким узором своды, кованые лари в углу, волшебные краски драго-

ценного ковра, привезенного гостями из Хорезма. Ковер покрывал тесовый пол гридни. Нежная ткань его, напоминающая цветущий сказочный луг, заглушала шаги.

Город окутался сумерками, но теплый весенний воздух был так свеж и прозрачен, что в нем как-то особенно отчетливо и ясно выступали очертания хором. Островерхие шатры звонниц, уносясь ввысь, казались в вечерних сумерках легкими и невесомыми. Город затих. Над лесами, за Колмовом, золотилась заря. Облака поднялись выше и, словно не в силах бороться с разгорающимся блеском звезд, таяли, расплываясь белой паутиной в синеве глубокого неба.

Александр вошел в гридню. Домашний кафтан, надетый на нем, по вороту и полам обшит золотой тесьмой, талию перехватывает золотой пояс. На голове князя — низенький, круглый колпак, опушенный мехом горностая.

— Позови, Олексич, папского посланца, — сказал Александр вошедшему следом за ним в гридню Гавриле Олексичу. — Когда войдет папист — оставь нас; говорить с ним буду один и по-латыни. Пусть тешит он себя думой, что, принимая у себя в гридне, воздаем честь его уму и сану.

Олексич ушел. От горевших свечей пахло воском. Зеленая капля в золотой оправе серьги и драгоценный перстень придавали скромному одеянию Александра великолепие и торжественность. Как будто, принимая папского посла, Александр хотел изумить его простотою обихода своего и в то же время показать богатство русского князя.

Александр владел собой. Ни лицо, ни глаза не выдавали того, что скрывалось в душе. Быстрым умом он легко схватывал мысли других, но сам — и чувства и речь — подчинял своей воле. Он мог вовремя смирить в себе гнев, с невозмутимым спокойствием выслушивал то, что прежде повергло бы его в шумную радость или в отчаяние. Все это явилось к нему вместе с пониманием достоинства своего, ответственности за поступки и слова свои. Желая с глазу на глаз говорить с папистом, Александр надеялся вызвать его на откровенность, заставить полнее открыть тайные стремления свои и цель приезда в Новгород.

Введя в гридню Биорна, Гаврила Олексич, остановясь перед князем, почтительно произнес:

— Дозволь, княже, предстать перед тобой отцу Биорну, прибывшему из Рима; мужу зело ученому и мудрому, которого ты желал видеть.

Отец Биорн молча поклонился. Александр немного привстал в знак приветствия, но не протянул руки.

— Оставь нас, воевода! — сказал он Олексичу.

Когда Олексич направился к выходу, отец Биорн с недоумением взглянул на него, потом перевел глаза на князя. Он явно недоумевал: как будет изъясняться с князем варваров? Хотя отец Биорн и владел речью русичей, но не настолько, чтобы передать ею все, о чем хотел он сказать князю. Ольдермена Мундта, сопровождавшего святого отца на княжий двор, хотя любечанин мог облегчить беседу, не ввели в гридню. Но глаза князя смотрели приветливо, губы слегка улыбались. Это ободрило отца Биорна. Подождав, пока закрылась дверь за Олексичем, Александр показал святому отцу на покрытую пушистой медвежьей шкурой скамью против себя, приглашая его сесть.

— Рад случаю, который доставил мне удовольствие беседовать с мудрым книжником римской церкви, — громко прозвучала ласкающая слух латинская речь. Неожиданность латыни в устах князя до того изумила отца Биорна, что он не мог скрыть своего недоумения и растерянности. Молча, словно не понимая, смотрел он на князя. — Что привело тебя в землю нашу, святой отец? — спросил Александр.

Отец Биорн хотя и слышал от Мундта об уме новгородского князя, все же представлял его себе полудикарем, полуварваром. Готовясь к встрече, он пребывал в уверенности, что с первых же слов поразит Александра обширностью своих познаний, умением располагать к себе; пользуясь этими преимуществами, сможет внушить собеседнику необходимость установления главенства католической церкви на Востоке.

— О, я благодарю бога за то, что вижу тебя, король Александр! — торжественно начал Биорн, склонив почтительно голову. — От многих людей слышал я похвалы тебе и твоей мудрости; было бы несчастием для меня, смиренного служителя истинной церкви Христовой, уйти

из Новгорода, не познав радости видеть тебя и говорить с тобою.

— Доволен ли ты, святой отец, тем, что видел в Новгороде? — спросил Александр, видимо, тронутый вкрадчивой лестью, прозвучавшей в словах паписта. — Оправдались ли надежды твои?

— О да, король Александр! Любознательность и стремление видеть древний русский город, слава о котором достигла Рима, привлекли меня, и я не жалею о понесенных трудах. Благословение святейшего престола дало мне силы для преодоления опасностей и невзгод путешествия. Ныне я получил доказательства, что величие и красота Новгорода превосходят все слышанное мною раньше о древнем городе Руси. Я увидел наяву то, что выше похвал.

Александр слушал не перебивая. Пристальный взгляд его, казалось, читал то, о чем отец Биорн не договорил, восхваляя Новгород. По лицу князя, полному внимания, улыбке, показавшейся на его губах и как бы поощряющей собеседника к откровенности, отец Биорн видел: Александр ждет от него чего-то большего, чем лесть и похвалы. И все же, зная, что мудрая, подкупающая лесть способна смягчать и жесткие сердца, отец Биорн продолжал свою речь так же восторженно, как и начал. Он стремился рассеять недоверие к себе, придать словам своим задушевную откровенность.

— Верю в искренность сказанного тобою, святой отец, — когда папист умолк, произнес Александр. — Но о другом хочу молвить: ведомы ли римскому патриарху бедствия, какие приняла земля наша от монгольских орд хана Батыя, что кровью и муками своими Русь ослабила силу Орды? Что мыслят о том в Риме?

— Понятны мне слова твои, король Александр, — голосом, полным сочувствия, произнес отец Биорн. — Ты сказал то, о чем неусыпно печется святейший престол и непогрешимый преемник апостола Петра. Римская церковь молит бога о спасении Руси и избавлении ее от плена язычников.

— Так ли это, святой отец? — спросил Александр, не меняя ни позы, ни выражения своего лица.

— Не сомневайся в искренности сказанного мною, король Александр, — ответил отец Биорн, стараясь при-

дать сладчайшую убедительность каждому звуку своего голоса. — С вами наши помыслы и наши молитвы.

— Хочу верить тому, что слышу, святой отец. Право Руси ждать сочувствия себе и помощи от земель западных, но то ли мы видим? Давно ли послание римского патриарха — папы — провозгласило крестовый поход на Русь, как поход против язычников и варваров? Не слабость ли Руси побудила римского первосвященника поднять меч на отторжение исконных отчин наших?

Последние слова Александра смутили отца Биорна.

— Понятны мне горечь и упреки твои, король Александр, — сказал он, придавая выражение скорби своему внезапно потускневшему и опечаленному лицу. — Но что явилось причиной, побудившей покойного папу Григория Девятого издать буллу о возвращении Руси в лоно изначальной апостолической церкви? Злокозненные наветы византийской патриархии... В этом и горе и беды. Уклонившаяся от света истинной веры византийская иерархия ложью и наветами своими ограждает Русь от единения с апостолической церковью, руководимой святейшим престолом апостола Петра, первого епископа Рима. Но святая римская церковь не помнит зла, она несет прощение и грешникам, которые с искренним раскаянием приходят к ней. Нынешний папа Целестин Четвертый доверил мне, смиренному служителю церкви, сказать о том предстоятелям церкви новгородской и светским властителям.

— Принял и понял бы я слова твои, святой отец, если б не имелось доказательств иных дел, — перебил Александр речь отца Биорна. — На прошлом лете нам привелось остановить мечом поход свеев, переступивших рубежи наши; осенью ливонские лыцари захватили Изборск и Псков, разоряют зажития на путях к Новгороду. Это ли помощь нам в бедах и горе? Это ли козни восточного патриарха и заблуждения наши?

— Обида говорит твоими устами, король Александр, — оправясь от смущения, обрел прежнее спокойствие отец Биорн. — Святейший престол призывает христианнейших королей и воинов-крестоносцев не к захвату Руси и отторжению от нее того, что вручено богом, а к помощи и защите ее от язычников.

Александр помедлил. В свете мигающих от нагара свечей лицо отца Биорна и его гладкая, лишенная растительности голова приняли какой-то мертвенный, желтоватый блеск, словно посланец Рима сильнее, чем Александр, болел сердцем о горестях Руси.

— Непонятен мне твой язык, святой отец, — начал Александр и слегка усмехнулся. — Шведский правитель Биргер говорил проще. Здесь, в Новгороде, слышал я от посла его уверения, но не в дружбе. «Если можешь — сопротивляйся! — говорил мне посол Биргера, передавая его слова. — Я стою на твоей земле, пленю тебя и твою землю». Того ли и нынче ждать нам?

— Поход свеев — плод горького недоразумения, король Александр! — горячо, с чувством воскликнул отец Биорн. — Святейший престол осудил то, что совершено правителем Биргером именем христианнейшего короля, — подавив неловкость, вызванную напоминанием о походе шведов, продолжал он. — Но и в горьком плоде есть зерно радости, — последние слова отец Биорн произнес так многозначительно, словно рад был тому, что Александр напомнил о походе Биргера. — Битва на Неве прославила твое имя и возвысила Русь во мнении не только друзей, но и врагов ее.

— А Псков? Захват его Ливонским орденом меченосцев тоже плод недоразумения? — как бы не поняв лести, прозвучавшей в словах отца Биорна, сказал Александр. — Недоразумение и то, что, захватив Псков, ливонские лыцари срубили городки на нашей земле?

— О том я не ведаю, король Александр, не ведаю и того, какие воздвигнуты городки и где.

— Город Копорье в Водской пятине новгородской... Мы защищаем отчины свои, стоя на земле предков, не идем за ее рубежи, а лыцари-меченосцы «защищают» себя на нашей земле... Хочу знать: осудил их римский патриарх или закрыл глаза на то, что совершено ими?

— Я не воин, король Александр, и страшусь осуждать воинов, — отец Биорн благочестиво сложил на груди руки. — Я сказал истину: апостолическая римская церковь скорбит о бедах Руси, принятых от язычников, и молит бога, чтобы отвратил он беды ниспосланные. Пребывая в Новгороде Великом, убедился я, что ни Орда, ни лишения не сломили духа и силы Руси. Скла-

дывать ли ей оружие перед язычниками? О том желал бы я услышать слово твое, король Александр. Облекать ли себя в рубища и склонять голову перед ханами и идолами их или поднять меч и изгнать язычников?

— Если бы я спросил совета твоего, святой отец, что бы ты молвил?

— О! Я сказал бы то, что скрыто в моем сердце, — оживился отец Биорн. — Недостойно для христианина склонять голову перед неверными, — торжественно, словно произнося священную клятву, повысил он голос. — Бог вложил силу в твой меч, король Александр, и диавол, предстоящий в личине язычников, силою крестною поражен будет и повержен в прах.

— А жертвы, которые мы должны принести в борьбе, вознаградятся ли они?

— Напрасны сомнения твои, король Александр! Милость божия неизреченна. Готов я к тому, чтобы дать добрый совет, совет друга, и уверить тебя, что святейший престол благословит оружие твое, поднятое против неверных. Благородные рыцари пресвятой девы, христианнейшие короли, коих почитаешь ты ныне врагами своими, придут на помощь тебе, как союзники и друзья, плечо о плечо с тобою будут сражаться они против орд язычников.

Казалось, последние слова отца Биорна поколебали твердость Александра. Он размышлял. Довольный впечатлением, какое произвели его слова, отец Биорн терпеливо, не выдавая ни взглядом, ни движением того, что его волнует, ждал ответа. Восковые свечи потрескивали и дымились. Со двора доносились громкие голоса дружинников. Наконец Александр оторвал руку от подлокотника кресла, приподнял ее, как бы призывая к вниманию, и сказал:

— Слышал я совет мудреца, ради любознательности своей прибывшего в Новгород, или совет мужа, облеченного доверием, который высказал то, что поручено ему высказать?

— Слова мои подсказаны сердцем и желанием добра тебе и земле твоей, король Александр, — приложив руку к груди, мягко и задушевно произнес отец Биорн. — Но при отбытии моем из Рима я слышал их из уст того, кто имеет власть отпускать грехи и повелевать королями.

— И тебе повелено передать их в Новгороде? Так ли я понял, святой отец?

— Я отвечу — да.

— На торгу, если гость предлагает товар, то берет взамен другой товар или серебро, — сказал Александр. — Рука дружбы не ценится серебром; чем закрепятся слова твои, которые я слышал?

— Тем, что дает покой и счастье, — возгласил отец Биорн. — Дружба апостолической церкви и святейшего престола — это дар брату, дар любви и всепрощения.

— Дары приносят сильным, ища защиты их...

— И тем, кто ослабел в немощи, чтобы вернуть в сердца их мужество, веру в силы свои в битве с язычниками, с черными исчадиями ада и сатаны, — ответил отец Биорн.

— Дружба между людьми скрепляется пожатием руки, — заметил Александр. — Дружба между правителями — крестным целованием и грамотами. Какие обещания Рима будут подтверждены грамотами и клятвой?

— Те, что восстановят мир, послужат единству и прославлению церкви Христовой.

Как ни убедительно говорил папский посланец, Александр не верил его искренности. Он понимал, что папист хитрит; за лестными, но ни к чему не обязывающими словами его скрываются тайные намерения, исполнение которых и есть цель приезда его в Новгород. Биорн оправдывал папскую курию, старался доказать непричастность ее к походам шведов и ливонских рыцарей. Не верилось Александру, будто нынешний папа, от лица которого явился посол, искренне намерен оказать помощь Руси в борьбе с ордами Батыя. Но Александр промолчал о том, что думал. Он давно понял, что папский посланец смотрит на него, как на упрямого, но простодушного и недалекого в суждениях князя. Это было по душе Александру, он искусно продолжал начатую игру. По мере того как развивалась беседа, глаза его становились все более доверчивыми, речь звучала спокойнее и, что не могло скрыться от внимания посланца папской курии, Александр спрашивал и говорил не как русский князь, слово которого решает судьбу города, а словно бы лишь из любопытства к тому, что слы-

шит. Последние слова Биорна, казалось, полностью захватили внимание Александра.

— Те, что восстановят мир, — повторил он. — Но какие обязательства должен я возложить на себя, святой отец?

— Прошу позволения объяснить это, — потупив глаза, скромно произнес отец Биорн.

В ответ Александр чуть склонил голову.

— Прости меня, король Александр, если я отвлекусь к некоторым событиям, случившимся давно, но плоды которых мы пожинаем ныне, — начал отец Биорн. — Почти двести лет минуло с той поры, когда христианская Русь, впав в византийскую ересь, откололась от апостолической римской церкви и подчинилась восточному патриарху. Тяжкая кара ныне постигла Русь. О король Александр, не за грехи ли предков, не за заблуждения ли, исповедуемые и ныне церковью русской, обрушилась кара? Страшен гнев божий, но безмерна и милость. Святейший престол и апостолическая римская церковь, служителем которой предстою я, обладают неисчерпаемыми силами, способными защитить Русь, оказать ей помощь в борьбе с ордами неверных.

— Карою ли за грехи мерять беды наши, святой отец? — сказал Александр, не возражая, а как бы высказывая лишь вслух тревожившие его мысли. — Кровь и пепел городов наших — не это ли ослабило силу Орды и остановило руку хана Батыя, занесенную над городами западными?

Отец Биорн глубоко вздохнул, а когда заговорил, в речи его не слышалось больше ни льстивых, ни угодливых слов, какие расточал он, начиная беседу с новгородским князем.

— С грустью и смирением в сердце выслушал я, король Александр, слова твои, будто жертвы, понесенные Русью, ослабили орды хана. Справедливо то, что орды язычников не проникли далеко на запад, но что остановило их? Не жертвы и беды Руси, а отпор истинных сынов церкви Христовой не допустил язычников пройти путями Аттилы, древнего предводителя гуннов. Не чудо ли истинное совершилось? Не знамение ли веры надлежит видеть в том, что крестоносное войско западных христиан рассеяло язычников и гнев божий покарал

слуг сатаны! Ныне бог устами святейшего отца церкви, преемника апостола Петра и наместника Христа на земле, призывает вас: изгоните семена ереси, примите священство единой апостолической римской церкви, и милость божия посетит вас.

— Войско хана Батыя ныне в Польской и Угорской землях, святой отец, — выслушав отца Биорна, промолвил Александр. — Польская и угорская рати приняли поражение от Орды.

— Не все достоверно в слухах, которые смутили тебя, король Александр, — прикрывая улыбкой смущение, вызванное словами Александра, произнес отец Биорн. — Временное поражение польского войска Генриха Благочестивого и угорского короля Белы Четвертого не свидетельствует о слабости сил западных христиан.

— Король Бела бежал из своей страны, святой отец.

— Да, но уход короля Белы вызван не поражением, а волей и силой, — произнеся это, отец Биорн набожно возвел очи горé. — Скоро, король Александр, ты услышишь подтверждение слов моих. Ныне хотел бы я знать ответ твой на призыв святейшего престола. Примешь ли ты слова дружбы?

— Обычаи русские не сходны с обычаями западных народов и правилами римской церкви, — ответил Александр. — Наши попы знают свой язык, но мало среди них ведающих латынь; не примет Русь латинской обедни.

— В твоих устах, король Александр, латинская речь так совершенна, что, слушая тебя, я наслаждаюсь и радуюсь. Язык этот звучен и приятен богу, ибо это язык первых христиан, обращенных апостолом Петром. Но снисходя к тому, о чем только что говорил ты, святейший престол оставит Руси ее обычаи; церковь русская, как и ныне, будет иметь закрытый алтарь, двойное причастие, облачения и песнопения, сохранит свой язык. Ключом, который откроет Руси путь к спасению и миру, явится принятие священства и епископов от Рима.

— По обычаям своим Великий Новгород избирает епископа и не примет иного, — сказал Александр.

— Римская церковь не дерзает на установленное издревле право Новгорода Великого избирать себе епи-

скопа, — согласился отец Биорн. — Но, избранный по обычаям, он получит рукоположение в Риме.

— Дела церкви решаются на владычном дворе, святой отец. Ведомо ли владыке архиепископу о послании римского патриарха?

— О да, — заверил отец Биорн. — Владычный двор готов принять унию с апостолической церковью и признать главенство папы патриарха над церковью новгородской.

Александр на минуту закрыл глаза. «Так вот о чем беседовал с глазу на глаз владыка с посланцем Рима!» Сохраняя прежнее выражение лица, Александр спросил:

— Посетил ли ты наши монастыри, святой отец?

— Да. Довелось быть во многих, ближних к Новгороду, — ответил отец Биорн.

— С кем беседовал ты из старцев и книжников наших о делах веры?

— Того не мог я исполнить, король Александр. Доверенности свои вправе я открыть тебе и владыке, главе церкви вашей.

— Почему? — сказал Александр, нахмурясь и показывая тем, что он неудовлетворен ответом отца Биорна. — Беседы со старцами и книжниками помогают раскрытию истины. Если не отвергаешь совета моего — навести Юрьев монастырь. В Юрьеве найдешь чернецов, ведающих латынь. И еще, — отец Биорн почувствовал на себе острый и пристальный взгляд Александра, — кроме дел церковных, на каких грамотах должен князь новгородский дать целование и клятвы Риму?

— На том, чтобы жить в союзе и дружбе с западными христианнейшими государями и принять в Новгороде крестоносное войско духовного братства рыцарей-меченосцев.

— Я не ищу врагов там, где никто не угрожает нам, но меченосцы захватили Псков, они угрожают походом Новгороду, — Александр повысил голос. — Не обратят ли они свою помощь в беду нам?

— Неверие и подозрительность, король Александр, — сказал отец Биорн, — пусть уступят в сердце твоем место вере и доверию. Волен ты принять сказанное мною, волен отвергнуть, но не сомневайся в искренности намерений наших.

— Готов верить сказанному тобой, святой отец, — отвечая на уверения отца Биорна, промолвил Александр и поднялся, давая знать этим, что беседа окончена.

Отец Биорн склонил голову.

— О, какое истинное счастье познал бы я, поведав в Риме о расположении твоем, король Александр... — начал отец Биорн, но Александр усмехнулся, перебил его речь.

— На Руси называют меня князем, святой отец.

— Истинно, но не оговорился я, король Александр, — не согласился отец Биорн, и снисходительная, довольная улыбка осветила его лицо. — Милостию божией, святейший Целестин Четвертый, наместник Христа, по праву, врученному ему богом, возложит на тебя королевский венец и поставит тебя над всею Русью.

ГЛАВА 30

НЕПРИСТУПНЫЙ ЗАМОК

Замок рыцаря Эрнста фон Эльтона высится на холме, на юго-восточной оконечности острова. С севера и запада холм ограждает глубокая излучина реки, высокие каменистые берега которой создают неприступную преграду на пути к замку. Южный склон холма опускается к морю, врезающемуся в берег мелководным, спокойным заливом. Почти лишенный растительности песчаный мыс защищает бухту от штормовых ветров. Мыс, образовавший бухту, необитаем, но остальная часть острова — обширная, плодородная — издавна населена эстами.

Два десятилетия назад епископ Альберт благословил командора фон Эльтона в поход на Сарему. Благословение епископа утверждало право на захват острова и передачу его во владение рыцарей.

Переправясь через пролив, войско фон Эльтона вошло в южную бухту и высадилось на берег. Язычники эсты — жители острова — приняли рыцарские ладьи за ладьи торговых гостей, не оказали сопротивления им и не закрыли ворот городка, который виднелся на холме, неподалеку от места высадки. Столпясь на берегу, эсты

с любопытством рассматривали пришельцев. Фон Эльтон велел разогнать толпу. Воины начали теснить язычников. Эсты, не понимая намерений «гостей», не сопротивлялись, но и не уходили. Рассерженные неповиновением язычников, воины набросились на них: рубили мечами, кололи копьями. Ужас и смятение объяли непокорных. Успех первой победы определил судьбу острова.

Бой скоро утих. Оставшиеся в живых язычники бежали в леса. Фон Эльтон взошел на холм, к городку. Его поразила изумительная красота спокойной, позолоченной вечерним солнцем бесконечной синевы моря. Оно дышало ровными и мягкими всплесками. Прозрачные волны, набегая на влажный песок прибрежной отмели, лениво, с воркующим журчанием, скатывались с него. Над водой носились чайки. Как будто ничего не произошло на острове; все вокруг оставалось таким же спокойным, каким было вчера.

Окруженные глубокими рвами дубовые остроги и вышки рыцарских замков поднялись на Сареме и на соседних островах. Рыцари-меченосцы жестокими расправами над язычниками-эстами принудили их к повиновению. Попы, явившиеся следом за войском, приобщали эстов к лону католической церкви. Изгоняя языческие верования, меченосцы преследовали и язык эстов и обычаи их. Многие молодые язычники были схвачены и увезены в Ригу, в рыцарское войско; это войско предназначалось для завоевания новых земель на Востоке.

Неожиданной поэтому для рыцарей явилась весть о появлении в лесах, на севере острова, дружин восставших эстов. Попытки усмирить восстание не потушили, а лишь сильнее разожгли его. Разрушены и сожжены замки рыцарей фон Фалька, фон Гейдена, фон Левенвольда... Восстание перекинулось на Муху́ и другие острова. Но неприступный замок командора Эрнста фон Эльтона по-прежнему гордо возвышался на прибрежном холме. Каменные стены его напоминали восставшим о могуществе меченосцев, о незыблемости господства их над островом.

Командор фон Эльтон — седобородый, с густыми, как мох, бровями и водянисто-блеклыми, словно бы равнодушными ко всему глазами — в сопровождении укрывшихся у него в замке рыцарей фон Гейдена и фон Фалька

только что появился в пиршественной зале замка. Несмотря на преклонный возраст, фон Эльтон держался прямо; широкие плечи и тяжелые мускулы рук показывали окружающим не тронутую старостью силу рыцаря. Он был весело возбужден. Улыбаясь из-под седых усов, Эльтон остановился возле окна, откуда открывался вид на море, и сказал:

— Гонец от магистра Ордена, благородного рыцаря фон дер Борга, прибывший в замок, доставил весть, что командор Карл фон Эйдкунен направляется на наш остров с пятью ладьями воинов. С помощью брата Эйдкунена мы очистим наши владения от недовольных, установим покорность и мир среди рабов.

— Благодарение пресвятой деве! — подняв набожно глаза, воскликнул фон Гейден, маленький, сухой, сморщенный человек, при взгляде на которого терялось всякое представление о доблести рыцарей.

— Брат магистр и епископ требуют усмирить непокорных эстов ко дню святого Варфоломея, — продолжал фон Эльтон. — В этот день войско меченосцев выступит на Русь. Командор фон Балк, взявший у русичей Изборск и Псков, пронесет очистительный огонь до Великого Новгорода.

— Поход на Новгород?! — будто испугавшись вести, изумился фон Гейден.

— Да. Путь на Восток — путь славы нашей, благородный брат, — отвечая Гейдену, торжественно произнес фон Эльтон. — Новгород склонится перед силою Ордена, и меч тевтонов сотрет навсегда слово «Русь».

— Тяжелый труд предстоит брату фон Балку, — ни к кому не обращаясь и как бы не расслышав того, что сказано фон Эльтоном, заговорил рыцарь фон Фальк. — Не повторилось бы то, что принял Орден от новгородцев под Оденпе и на Эмбахе?

— Напрасные опасения, брат. Под Оденпе и на Эмбахе войско Ордена встретилось с сильным и многочисленным войском Ярослава, — отвел опасения фон Фалька командор. — Ныне Русь ослаблена язычниками и не сможет собрать войско. Мы примем покорность русичей, или они погибнут.

Никто не возразил тому, что сказал командор. Вера в силу и несокрушимость меченосцев, прозвучавшая в

его словах, была так велика, что казалось, все, о чем упомянул он, уже совершилось.

Стоило ли после этого тревожиться за исход восстания эстов на Сареме! Всякий раз, когда жители Саремы поднимали оружие против братьев Ордена, меченосцы жестоко подавляли восставших. Эльтон, стоя у окна, продолжал смотреть на море, как будто ждал, что вот-вот среди играющих гребешков волн покажутся ладьи фон Эйдкунена.

ГЛАВА 31

ПОБЕДА

Спиридонович вместе с Ивашкой побывал на путях к замку. Со стороны суши приблизиться незаметно к его высоким стенам большому числу людей невозможно. Глубокая впадина оврага, на дне которого течет быстрая каменистая речонка, охраняется спрятанными в кустах сторожевыми воинами. На вершине обрыва, у стен замка, угрожающе темнеют нагромождения каменных глыб. Они готовы с шумом и грохотом сорваться вниз, смести все с пути, раздавить и уничтожить. Если бы небольшому числу эстов и удалось проникнуть к стенам, то что они могли сделать? Высота стен в два роста; страшны они зубцами бойниц и неприступными стрельницами.

Вернувшись к себе, Спиридонович рассказал о том, что видели они с Ивашкой.

— Прямого пути к замку нет, — заключил он. — И окольного не нашли.

— Со всех ли сторон смотрели на замок, Василий Спиридонович? — спросил мастер Дементий.

— От берега до берега.

— А если подойти с моря?

— Не чайки мы с тобой, мастер.

— Чайки мимо летают, Василий Спиридонович. Слыхал я от эстов — морской берег у замка ровный, полого сходит. И в замке того не ждут, что придем с моря. Сядем в ладьи и попытаем.

— Может, и прав ты, — после небольшого раздумья промолвил Спиридонович. — Но то горько: а как не осилим? Обратного пути нет по берегу.

В ночь исчез Ромаш. Утром хватился Спиридонович — нет молодца. Спросил Ивашку, тот руками развел: «Ушел — не сказался». Искали Ромаша по всему стану. Немного погодя — новая весть: в стане эстов нет Григория. Тут Ивашко вспомнил — звал его Григорий на рыбное ловище. На том и решили: встретились Ромаш с Григорием на утренней заре и, не тревожа никого, ушли к морю. Ждали их до полудня, но полдень миновал, а молодцы не вернулись. Ходили эсты на поиски, побывали на ловищах — не нашли ни ловцов, ни следов их. Чем ближе вечер, тем сильнее стала тревога. «Ушли ночью к замку и очутились в лапах у лыцарей», — возникла догадка. «Ромаш изворотлив умом, неужто не уйдет от беды?» — думал Спиридонович.

Вернулся Ромаш в следующую ночь, на заре, под утро.

— Вставай, Василий Спиридонович! — разбудил он.

— Ромаш!

— Весь перед тобой. Добрую весть принес.

— Скажи прежде, где пропадал?

— На лыцарский замок смотрел. Не легкая к нему путинка.

— Нашел?

— Нашлась. А какова — тебе судить.

На востоке алеет заря. Ветер слегка колышет вершины деревьев, и в голубом свете наступающего утра густая листва их кажется влажной и живой.

— Той ночью пошли мы с Григорием к замку, — начал рассказ Ромаш. — Выбрались. Ходим около, прикидываем... Один путь — идти с моря. Григорий советовал: сбить большие плоты, перетащить их в ночь на песчаную косу, куда выбросило ладью Ивковича. Стражи лыцарской на косе нет. Людей на плоты дать столько, чтобы править могли, а вместо людей посадить чучела соломенные. Увидят из замка плоты — подумают: идет тьма войска. Выйдут лыцари навстречу, а как начнется бой на берегу, в тот час нам идти к замку с суши. На том и решили. Нынешней ночью пошли мы в обратный путь да по дороге надумали еще раз взглянуть на замок.

Шли осторожно. Григорию тут каждое дерево кланяется, каждая тропинка кума. Вдруг впереди чужой воин. Перебежал он полянку. Мы наперерез. Слова не подал, как спутали ему руки; живого с собой привели.

— Молодцы! — похвалил Спиридонович. — Где тот воин?

— В стане у эстов. Сказывает он, ждут будто в замке ладьи из Риги с войском... Высадится лыцарское войско на берег, захватит оно остров.

— Побоища ждать эстам от лыцарей? — нахмурясь, промолвил Спиридонович.

— Ждать. Войдут лыцари на остров — много прольется и слез и крови. Ни старцев не пощадят, ни жен, ни младенцев.

Опустив голову, Спиридонович долго сидел так, как бы не решаясь вымолвить вслух то, что думал. Наконец он встряхнулся, посмотрел вокруг и, повернувшись к Ромашу, громко, так, что тот даже вздрогнул от неожиданности, сказал:

— Ко времени твоя весть! Приведи ко мне пленного воина, а мастеру Кууску и старостам здешним скажи: будем совет держать.

Близко к полуночи на море показались ладьи. Они приближались к острову. Сиявшая в небе луна то открывала свой круглый лик, то пряталась в туманную зыбь пробегающих облаков. Командор фон Эльтон, услышав о приближении ладей, поднялся на стрельницу.

— Благодарение пресвятой деве! Брат Эйдкунен со своими воинами скоро пристанет к берегу.

Сказав, чтобы не тревожили сон отдыхающих воинов, фон Эльтон велел тем, что стояли на страже, зажечь факелы и спуститься с холма к берегу, указать ладьям место причала.

Число ладей, приближающихся к острову, оказалось больше, чем ожидали укрывшиеся в замке рыцари. Это развеселило командора. Он готов был благодарить бога за то, что магистр и князь епископ, встревоженные событиями на Сареме, увеличили число воинов, посланных с братом Эйдкуненом. Фон Эльтон не сомневался теперь, что непокорные эсты, поднявшие оружие против господ-

ства Ордена, скоро будут вынуждены к повиновению и наказаны.

Ладьи близко от берега. Фон Эльтон различал уже фигуры гребцов, поднятые вверх копья. В это время с берега донесся крик:

— Да хранит нас пресвятая дева!

— Смерть неверным!

— Смерть! — эхом донеслось с ладей.

Фон Эльтон спустился со стрельницы. Он намеревался достичь кромки берега в тот момент, когда гребцы бросят весла.

Во тьме ночи багряный свет факелов, которыми воины размахивали на берегу, показывая место причала, казался зловещим; во тьме он напоминал не то пламя пожара, не то отблески битвы. Фон Эльтон высоко нес седую голову; борода его, развеваясь от ветра, серебрилась в лунном блеске.

Он приблизился к берегу, как и хотел — одновременно с врезавшейся в песок первой ладьей. Находившиеся в ней воины высаживались молча, не отвечая на приветствия. В следующее мгновение произошло то, что нарушило радость и торжество встречи. Фон Эльтон замер, окаменев, не веря глазам. Воины его, только что пылающими факелами показывавшие путь ладьям, с воплями падали на землю, пораженные копьями.

— Святая дева! Измена!

Фон Эльтон повернул к замку. Там было еще тихо. Освещенные луной зубчатые стены резко выделялись на холме. Путь Эльтону преградил незнакомый воин. Близко от себя рыцарь увидел обрамленное вьющейся бородкой лицо.

— Прочь! — воскликнул он, поднимая меч.

Но в тот же миг выбитый сильной рукой меч рыцаря со звоном упал на прибрежные камни. Воин что-то сказал, Эльтон не понял его языка. К берегу пристали последние ладьи. Шум битвы усилился.

— Боже, сам Эльтон! — раздалось сзади. — Отдай его нам, Ивашко! Нет слов, чтобы сказать о зле и муках, которые приняли от него люди на Сареме.

Задержавший фон Эльтона Ивашко узнал голос Григория. Так вот кто его пленник, а ведь Ивашко только

что готов был отпустить строптивого старика, не желая единоборствовать с ним.

— Возьми! — крикнул он Григорию и побежал на холм, откуда доносились теперь крики сражающихся.

Уничтожив сторожевых воинов, эсты устремились к замку. Ворота были открыты. Рыцари и воины их, захваченные врасплох, беспорядочно метались в неосвещенных покоях.

Иоганн, сын старого Эльтона, и рыцарь фон Фальк, собрав вокруг себя воинов, преградили вход в замок. Вмешавшись в битву, Ивашко не замечал вражеских ударов, не почувствовал он и того, как оцарапало его чье-то копье. Оправясь от первого испуга и растерянности, защитники замка сражались с ожесточением.

К восходу солнца бой утих. Громкие крики воинов возвестили о победе.

В битве пал Ромаш. Он лежал во дворе замка рядом с поверженным рыцарем фон Фальком. О гибели Ромаша сказал Спиридоновичу мастер Кууск.

— Не жалея себя, бился он, — говорил Кууск, показывая на тело Ромаша. — Поразил рыцаря, но и сам пал.

— И нам враги лыцари, мастер, — промолвил Спиридонович, обнажая голову. — На Сареме бился Ромаш, но положил он живот свой за землю Русскую.

Спиридонович и мастер Кууск стояли близко от толпы пленных, впереди которых выделялся безоружный, со связанными руками, высокий старик. Это — командор фон Эльтон. Блуждающим взглядом он дико и непонимающе осматривался вокруг.

Из замка, толкая впереди себя позеленевшего от страха рыцаря фон Гейдена, показался Ивашко.

— Под периной нашел, — объяснил он. — Может, признают лыцаря?

Гейдена поставили рядом с Эльтоном.

— Пусть народ судит злодеев, — громко сказал Спиридонович. — Какой суд будет сказан, тот и исполнится.

— Смерть! — раздался голос.

— Смерть! Смерть!..

— За все беды, за кровь, за слезы детей наших пусть жизнью они ответят! — воскликнул мастер Кууск. И тут же десятки рук потянулись к врагам. Казалось,

еще мгновение, и они будут растерзаны. Но Спиридонович остановил эстов.

— Новгород Великий казнит своих врагов и преступников, свергая их в Волхов. Эту казнь заслужили и враги вашего острова. Бросим их в море, пусть изопьют воды с его дна.

ГЛАВА 32

ТУЧИ НА ЗАПАДЕ

Отпустив отца Биорна, Александр не покинул гридню; он велел Гавриле Олексичу послать отрока за боярином Федором. В гридне, взамен догоревших, зажгли новые свечи. Ярче заиграла роспись узорного потолка. Не в силах сдержать волнение, навеянное беседой с папским легатом, Александр шагал по ковру.

Он не хитрил, когда сказал отцу Биорну, что доволен беседой с ним. Стремление Рима склонить новгородскую церковь к принятию унии подтвердилось устами легата папской курии. Из слов его Александр понял и то, что на владычном дворе не враждебно отнеслись к беседам о союзе с Римом.

Папская курия готова оказать военную помощь Новгороду в борьбе с Ордой. Эта готовность особенно тревожила Александра. Слишком прозрачно сквозило в словах легата стремление прикрыть соглашением о помощи поход на Новгород ливонских рыцарей. «Войдут латинские крестоносцы в Новгород как союзники и друзья, а сядут в городе как враги. Настанет тогда час гибели нашей», — размышлял он.

Беседа с папским легатом и в том убедила Александра, что нельзя ждать медлительности от ливонцев. Войско их в любой час может начать поход. Пора остановить их... Выйти с полками и изгнать за рубеж. Пусть римский поп утешает себя тем, что достиг в Новгороде удовлетворения своей «любознательности».

Вызволить Псков из ливонского плена — с этой мыслью Александр возвращался в Новгород. Сегодня, после беседы с папским легатом, Александр хотя и не

изменил своего намерения о походе на Псков, но его сильнее, чем прежде, взволновала мысль о городках, срубленных рыцарями в Водской пятине... «Не оттуда ли меченосцы ищут ныне путей к Новгороду?» — спрашивал он себя.

Год назад, вскоре после разгрома новгородцами шведов, командор фон Сакен, с благословения епископа, собрал в Раковоре войско и выступил берегом Варяжского моря. Войско фон Сакена проникло далеко в глубь Водской пятины. Фон Сакен искал путей к Неве, чтобы оттуда, соединясь с остатками разбитого шведского войска, двинуться к Ладоге и, заняв ее, отрезать новгородцам путь к морю.

Войско фон Сакена находилось уже неподалеку от места битвы новгородцев со шведами, когда рано начавшиеся осенние дожди и потучневшие хляби болот преградили путь. Фон Сакен отошел к рыбацкому погосту Копорье. Оценив удобство места, командор решил не только перезимовать тут, но построить город. Гонец, посланный в Ригу, вернулся с благословением епископа. Фон Сакен объявил пленниками жителей всех окрестных погостов и займищ. К весне неподалеку от широкой, но мелководной бухты поднялись стены города. Отсюда открывался новый путь на Восток.

Чем больше думал Александр о проникновении меченосцев в Водскую пятину, тем яснее становился ему вражеский замысел: нарушить торговлю Руси с ганзейскими городами, держать Новгород в постоянном страхе вражеского окружения. Выступит новгородское войско на Псков, а меченосцы начнут поход к Новгороду от Копорья — по Луге, и от Ладоги.

«А не случится ли, что Литва возьмет союз с меченосцами?» — встревожила новая мысль. Опасность этого союза перед Новгородом возникла не сегодня. Зимою еще великий князь Ярослав писал о том в грамоте полоцкому князю Брячиславу. В ответной грамоте Брячислав заверял великого князя, что он друг стольному Владимиру и Новгороду, готов закрепить грамотами и крестным целованием союз и дружбу с ними; а с Литвой он нынче в мире и будет препятствовать союзу ее с меченосцами.

Бесшумно открылась дверь. В горницу вошли Федор Данилович и Олексич. Александр молча указал Даниловичу на скамью у стола, недалеко от княжего места, Олексич сел поодаль.

— Ведомо тебе, болярин, о римском попе, что прибыл в Новгород? — спросил Александр.

Федор Данилович не спеша, как все, что он делал, погладил бороду. Когда-то черная как смоль борода его теперь была словно посыпана снегом.

— Ведомо, княже, — невозмутимо, будто появление папского посланца в Новгороде не должно вызывать ни удивления, ни любопытства, ответил боярин. — О том лишь жалею, не привелось услышать речи паписта, когда был он на княжем дворе и говорил с тобою.

— И я жалею о том, — поняв упрек, брошенный Федором Даниловичем, сказал Александр. — Знаю твой ум и ценю советы твои, но владыка архиепископ, открыв мне тайну о римском легате, предварил: с глазу на глаз может папист дать мне доверенности свои.

— На то, что говорил он с тобою, не в обиде я, княже, — промолвил боярин. — С тайными доверенностями пришел легат, пусть он и пребывает в мысли, что тайны его, кроме тебя, никому не ведомы на княжем дворе.

— Папист сказал больше, чем я желал знать, — нахмурясь, продолжал Александр. — Мудр и хитер поп. Язык его сладок, как мед, и остер, как жало змеиное. Убеждал он, что римская церковь и папский престол не скорбят ни о чем так глубоко, как скорбят о бедах наших, что римская церковь и папская курия готовы оказать помощь Новгороду и всей Руси в борьбе с Ордой. В том даны и доверенности курии легату.

— Чего хочет Рим за свою помощь Новгороду? — спросил боярин.

— Немного, — усмехаясь, ответил Александр. — Папский престол ищет унии с церковью нашей. А будет союз наш с папистами, благо тогда открыть Новгороду без боя ворота войску крестоносцев.

— Открыть ворота латинским крестоносцам? — повторил боярин Федор. — Не обещал ли папист тебе, княже, венчание королевским венцом?

— Да.

— Короны ли жалеть римским попам, когда взамен явятся они на Русь со своими полками. То, что они называют союзом и дружбой, нам на Руси рабство и плен.

— Ты что молвишь, Олексич? — Александр окликнул воеводу, который молча слушал беседу.

— То, княже, — встрепенулся Олексич, — не нам помышлять о дружбе с Римом.

— Не помышляю и я о дружбе и не открою ворот меченосцам, — сказал Александр. — Правду молвил болярин Федор: не о благе Руси печалятся в Риме, не помощь Новгороду готовят паписты, а плен.

Сказав это, Александр поднялся, распахнул створу окна. Над затихшим городом нависло сумрачное серое небо. Ни звездочки на нем, ни просвета. Где-то, на торгу должно быть, верещит трещотка решеточного сторожа; ветер набежал, прошумел липами за оградой двора.

— Дозволь, княже, молвить о другом слово, — нарушил молчание Федор Данилович. — Из Тесова весть зело обидна.

— О чем? — не оборачиваясь, спросил Александр. — Не пожаром ли спалило Тесов?

— Нет, уберегли от пожара, — ответил боярин и помолчал, как бы не зная, продолжать ли дальше речь. — От Копорья, от городка, что срубили меченосцы в Водской пятине, войско их поднялось на ладьях по Луге... Грабят погосты, скот берут, полон гонят. Вчера поутру набежали на Тесов. Воеводские ратники и посадские люди оружием бились, отстояли город...

— Тесов воевали меченосцы? — переспросил Александр. Он быстро повернулся и недоверчиво взглянул на Даниловича. — Могло ли так быть, болярин? Далеко Тесов от Копорья; если правду ты молвил, что бились тесовцы с латинами у стен города, то не из Пскова ли прибежали воры?

— Из Копорья, княже, — повторил свои слова Данилович. — Не догадками и не ложью тревожу тебя. Посылал я своих людей в Тесов, видели они воеводу тамошнего и ливонцев, кои пленены тесовцами. Сказывают ливонцы, что были они в Копорье, в полку командора фон Сакена; от Копорья шли на ладьях морем до устья Луги, оттуда, вверх по Луге, к нам. И о том слышно,

Александр Ярославич, будто фон Сакен послал гонцов своих к свейскому правителю, который стоит с войском в земле Суми. Сговорятся меченосцы со свеями — в половине лета жди их на Ладогу.

— А мы собрались походом на Псков... Тот ли путь избрали? Что ты скажешь, болярин?

— Не воин я, — ответил Данилович. — Сужу по-своему.

— Как судишь, так и скажи!

— Не бил я врагов мечом, не ходил в походы, Александр Ярославич, а хитростью, бывало, не уступал чужеземцам, — сказав это, Федор Данилович, обжигая пальцы, оправил светильно нагоревшей свечи. — Копорье — злое бельмо на очах Руси. Не оттуда ли тщатся меченосцы закрыть нам путь в ганзейские города, чтобы мы со своими товарами не ходили в Ганзу и Ганзе чтобы не пробиться к нам? Новгороду Великому до́рог открытый торговый путь, не менее до́рог он Суздальской Руси и всем низовым городам.

Александр слушал не перебивая. После того, что он передумал, речь Федора Даниловича не казалась новостью; то, что сказал Данилович, подтвердило лишь догадку Александра о тайных замыслах меченосцев.

— Непонятно твое слово, болярин, — изумленный тем, что услышал от Даниловича, высказал сомнение Олексич. — Ливонцы далеко от Невы, будет ли туда их поход — неведомо.

— Так ли далеко, воевода? — взглянув на Олексича, усмехнулся Федор Данилович. — Мудро поступим, если предугадаем чужие замыслы. Добра нам от меченосцев не ждать. Темны, как ночь, дела их. В стороне Копорье, но через него лежит наш путь к Пскову.

— Полно, болярин! — пользуясь молчанием Александра, воскликнул Олексич. — Выступим на Копорье, положим труды на поход, а сила меченосцев в Пскове. Там их искать нам. Побьем у Пскова латинских лыцарей, бегут они тогда из Копорья без боя.

— Куда они побегут из Копорья? — спросил Данилович. — Молви о том, Олексич!

— Псков — голова, а Копорье — хвост, болярин; где голова, туда и хвост повернет.

— Может, так станется, а может, и не так, — сказал Федор Данилович. — Ударишь по голове, а хвост, как у змеи, извернется стороной, да и обовьет тебе ноги.

— Стращаешь догадками, болярин, — промолвив это, Олексич взглянул на Александра. — Хуже не было бы...

— Горькие слова молвил болярин Федор, но молвил правду, — прерывая Олексича, произнес Александр. Нахмуренные брови его при этом жестко сомкнулись. — О том и нам думать, Олексич, — Александр бросил взгляд на ближнего воеводу. — Выйдут меченосцы к Ладоге, затворят путь в Ганзу, полонят ижорян и Карелу... Ждать нам тогда большого похода на Новгород. И от Пскова, и от Копорья, и от Ладоги...

Александр помолчал. Олексич приподнялся было, точно хотел возразить князю, но, не найдясь, что сказать, опустился на место. взглянул на Федора Даниловича. Боярин не шелохнулся, но взгляд его, устремленный на Александра, показывал, что Данилович понял мысль князя и одобряет ее.

— Сбудется замысел меченосцев, — продолжал Александр, — как злые осы будут жалить они людей наших, нарушат покой и мир. Твое слово, Олексич, слово воина. Так и я мыслил. Но не в пиру, не за чашами хмельными решать нам спор с меченосцами — в битве. Будем готовиться к ней. Новгород сказал поход на Псков... В Пскове городовые стены высоки, войско меченосцев, что стоит там, людно. С малой силой не решим боя. Будем собирать полки, а покуда... Скорым походом возьмем поле. Не по голове ударим латынян, отрубим хвост у их рати. На том решим, — голос Александра зазвучал тверже. — Воеводам Силе Тулубьеву и Никите Дружиничу с сотником Устином — сидеть в Новгороде. Собирать им большой полк. Тебе, болярин Федор, оружие, припас хлебный и иной готовить. Всех кузнецов на Новгороде и окрест поставь к горнам; лучникам, щитникам, бронникам, седельникам и всем ремесленным укажи править свое ремесло. Порочным мастерам вели рубить пороки стенобитные, чтобы, доведется коли, не кулаками бить в стены на Пскове. И еще, болярин, пиши грамоту в Полоцк, князю Брячиславу. Держал бы он в мире Литву и не пускал лыцарское войско на свою землю. Я с дружиною и полками выступлю на Тесов. В городе скажем — идем

на Псков. От Тесова же — пешее войско на ладьях, конное берегом — возьмем путь вниз по Луге, на Копорье. Там не ждут нас. Прежде чем командор Сакен облобызается со своями, нападем и иссечем его рать, разрушим город, а после, всеми полками, выступим на Великую[1].

ГЛАВА 33

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ОТЦА БИОРНА

От весеннего Иванова дня до Купалы короток шаг — месяц не обежит своего круга. Дни жаркие; чуть посвежеет ветер — над городом клубятся облака рыжей пыли.

Об эту пору отец Биорн готовился к отъезду из Новгорода.

Беседа с князем Александром рассеяла его тревоги. Он убедился в том, что новгородский князь умен и душевно расположен к обещаниям Рима. Больше всего святого отца радовало то, что Александр не отклонил мысль о союзе Новгорода с Ливонским орденом. А разве могла укрыться от взора Биорна внезапная краска радости, залившая лицо варвара при упоминании о власти святейшего престола венчать союзника своего короною апостола Петра? В беседе с князем легат папской курии, казалось, достиг всего, чего он желал. Александр примет союз с Орденом, а решение об унии предоставит владыке и монастырским книжникам.

Мог ли предположить святой отец, что горечь тревог рассеет его радость, а свет надежд, сиявший ему, померкнет.

Александр выступил в поход на Псков.

Биорн находился в Детинце, когда, окруженный воеводами, князь слушал напутственное молебствие у святой Софии; Биорн видел, как Александр Ярославич сел на коня. На улицах Новгорода, провожая уходящее войско, толпились жители; звонили колокола. Под своим стягом, не понукая коня, с поднятым забралом шелома, ехал Александр впереди войска.

---

[1] Великая — река, на которой стоит Псков.

— На Псков!

— На Псков!

Неслись крики над рядами воинов. Блестела на солнце медью и железом броня, жаркими лучами сверкали поднятые вверх острые наконечники копий.

— На Псков!

— Вызволим из полона младшего брата Великого Новгорода!

— Изгоним злодеев и татей с нашей земли!

Миновал еще день.

В горестях, которые переживал отец Биорн, одна мысль успокаивала его: погибнет войско новгородское у стен Пскова. Много копий в полках Александра, много телег с припасами стучало колесами по мостовым, но рать Александра меньше числом рати мечеиосцев. В Пскове войско командора фон Балка укрыто за каменными стенами и острогами города. Как был бы счастлив отец Биорн услышать радостную весть о позоре и поражении новгородцев!

В канун отъезда отца Биорна из Новгорода ольдермен Мундт сказал святому отцу, будто новгородское войско, достигнув Тесова, повернуло с торного пути в леса.

— Где ныне войско — неведомо, — говорил Мундт. — Люди сказывают: нет на путях к Пскову ни телеги войсковой, ни копья. Хитрость ли то князя Александра, или, устрашась встречи с войском Ливонского ордена, Александр повернул на кружной, дальний путь.

В словах Мундта отцу Биорну почудилось скрытое восхваление новгородского князя. Не пытаясь даже как-либо объяснить то, что сказал ему Мундт о походе, отец Биорн поднялся; когда заговорил — у него дрожали губы.

— Оставь похвалы лжецам! — воскликнул он. — Горе и беды восстанут на еретиков, плач и стенания наполнят город нечестивых. Если бог по милосердию своему даст мне силы вновь увидеть Новгород и землю Новгородскую, это сбудется в день торжества веры и апостолической церкви.

В горестном одиночестве отец Биорн покинул Новгород. Как и при въезде его сюда, никто из горожан не приветствовал крытый лубом возок, который, скрипя и стуча колесами, плыл по бревенчатым мостовым. Лишь

Прокопко-юродивый при въезде возка на мост преградил путь и, грохоча медным шаркуном, выкрикнул:

— Калачи-калачики, пряжьё маковое! Дай калачик Прокопу! В рай пущу, медом угощу...

В городе звонили к обедням колокола и, вторя им, катясь по мостовой, стучали колеса. За воротами окольного города [1], когда пропала мостовая, дорога стала мягче. Скоро она выбежала на простор поля; миновав поле, исчезла в березовых рощах за Аркажей.

Отец Биорн не находил слов для осуждения легкомыслия, с каким доверил он князю истинные цели приезда своего в Новгород. Вероятно, до беседы с ним князь на самом деле ожидал встретить в лице отца Биорна любознательного иноземца, с которым и хотел говорить. Легата папы Целестина подкупила юность князя, доверчивость и простота его взгляда. Казалось, Александр новгородский жадно внимает каждому слову прибывшего из Рима мудрого книжника, и в первой же беседе отец Биорн, не таясь, открыл доверенности свои. Мог ли он полагать, что князь Александр, юный и неопытный, каким он казался святому отцу, проявит себя умнее и дальновиднее легата папской курии? Теперь отец Биорн нисколько не сомневался в том, что Александр с первых же слов понял истинное значение обещания помощи святейшего престола и, поняв это, не выдал своих чувств, говорил то, что хотелось услышать от него его собеседнику. Его движения, лицо, взгляд — все показывало, будто Александр польщен предложениями Рима. И ничто в мире не могло бы так глубоко и больно удивить и поразить отца Биорна, как поразило и удивило его то, что он, Биорн из Упсалы, обойден юным князем в искусстве хитрости.

Из последних слов ольдермена отец Биорн хотя и узнал, что на путях к Пскову нет новгородского войска, все же он опасался — не является ли этот слух проявлением новой хитрости Александра. Поэтому, направляясь в Ригу, отец Биорн избрал дальний, кружной путь — через Русу и Царьгород [2]. От Царьгорода путь к Риге

---

[1] Земляной вал, окружавший Новгород.

[2] Царьгород (Герцих) — город на Даугаве.

ладьею по ливонской реке Дюне, как называют ее рыцари-меченосцы.

За время пребывания своего в Новгороде отец Биорн полною мерой испытал и почувствовал, как тяжка и печальна в стране неверных участь служителя истинной церкви, не имеющего власти карать грешников. Вынужденный положением своим легата папской курии к общению с еретиками, отец Биорн не изменил себе. Он остался тем же, кем был: непримиримым врагом погрязших в грехах вероотступников. Святое правило: «Лучше сжечь живьем еретиков и язычников, чем дать им коснеть в заблуждениях»,— оставленное католической церкви отцом и поборником ее блаженным Августином, так же непогрешимо, как и то, что еретики и язычники — суть слуги сатаны.

Досадливо было воспоминание, что не навестил он при отъезде владыку архиепископа. Незадачливая встреча с князем и поход новгородского войска насторожили святителя. Отговорясь хворью, владыка не принял легата папы и ограничился тем, что через ближнего попа послал архипастырское благословение.

По мере того как отец Биорн удалялся от города еретиков, отступала и острота горестей. Теперь он более спокойно, без излишней страсти вспоминал обо всем, что видел в Новгороде, что изумляло его взор, чего не понимал он.

Как ни горька неудача, постигшая его в Новгороде, но отец Биорн не жалел о трудах путешествия.

Он видел Русь, видел многочисленные доказательства знаний и способностей русичей, умельства их в торге и ремесле. В пути отец Биорн встречал приветливость и гостеприимство смердов и займищан, находил ночлег и пищу.

Шумели вокруг нетронутые леса, богатые птицей и красным зверем, многоводные реки изобиловали рыбой; видел отец Биорн возделанные поля и людей, которые трудились на них. Смерды и займищане жили в рубленых избах, имели домашний скот, утварь... Одежда их походила на ту, что носят на посадах и ремесленные. На окраинах погостов отец Биорн наблюдал дымящиеся домницы: вотчинные холопы и вольные смерды варят и куют кричное железо. И тут, вдали от Новгорода, отец

гие улицы. И если не успевали вовремя сбить огонь, новый столб черного, густого дыма вздымался ввысь. Набат не умолкал; звонили в городских концах, в пригородах и монастырях.

У Свиных ворот городская стража схватила двух посадских, — те бежали от пожарища.

— Воры... Подлая чадь! — набросился на них с бранью сотник стражи боярин Нежила. — Вы поджигали Застенье?

— Не ведаем того, болярин.

— Мало вам милостей от вольного Пскова, — не слушая посадских, кричал Нежила. — Это что? — Он сорвал с пояса у одного из схваченных огниво. — Почто брал? Почто огонь положил?

— Овчинники мы, болярин.

— То-то, овчинники... Красного петуха пустили.

У ворот показались ливонские воины. Передний, поставив перед собой копье, спросил Нежилу, указывая на посадских:

— Кто они?

— На пожаре... — задохнулся Нежила. — Огонь положили.

Вокруг собралась толпа.

— За что их, братцы? — спрашивали вновь подошедшие. — Воры аль кто?

— Воры... Гляди, как полыхает Застенье. На поджоге, чу, молодцов накрыли.

— Осподи Исусе Христе, злодеи-то!..

— Да это наш... Лука Тронтилов, — указал кто-то из толпы на посадского, с пояса которого Нежила сорвал огниво. — Овчинник. Смирный мужик. Из дому-то выбежал, когда зазвонили набат.

— А ты помолчи! — толкнул говорившего рябой молодец в холщовой, измазанной красками рубахе. — Видишь? — показал глазами на Нежилу. — Свои... Переветы. Злее ливонцев они. Те поговорят, а эти... Не пожалеют, ввергнут в огонь.

— Долго ли терпеть будем? — послышался тревожный шепот.

— Недолго, — хмуро проворчал рябой. — Скоро будет к Пскову новгородский Александр с полками, изгонит он из Пскова лыцарей и переветов.

— Скорей бы! Не жизнь, а тошнехонько.

Посадских, обвиненных в поджоге, приволокли на Оврагову улицу, где пылали хоромы. В толпе, окружавшей шествие, кто ругал «поджигателей», кто жалел их. Женщины плакали, утирая рукавами глаза.

— Развяжите злодеев! — велел Нежила городовым стражам. — Они положили огонь на Пскове! — выкрикнул он, повернувшись к толпе. — За то злодейство велю сечь им руки и ввергнуть в пламя.

Тронтилов, который стоял до того не шелохнувшись, опустив голову, вдруг с силой извернулся, отбросил от себя державших его стражей, бросился в сторону и крикнул:

— Люди псковские! Не ведаем ничего мы...

Он не успел скрыться в толпе. Стоявшие вокруг ливонские воины скрестили копья. Нежила, побагровев от гнева, подбежал к овчиннику и плашмя, с силой, ударил его мечом. Окровавленного овчинника бросили на землю, рядом с оттащенной от пожарища плахой.

— Руки ему секи! — крикнул Нежила. — Пусть видит вольный Псков, как поступают с теми, кто вверг в беду город.

Утром пожар утих. Колокола, точно устав от набата, безмолвно висели на звонницах. Высоко стояло солнце, жарко палило оно, но на улицах не видно людей. У ворот Детинца и у Проезжих — в Середнем и Окольном острогах — ливонская стража.

С того дня как изменой боярина Твердилы Иванковича ливонские рыцари захватили город — вече не звонят на Пскове. Боярин Твердила волей командора фон Балка поставлен посадником, но городовые дела вершит командор. Ярославко, сын изгнанного из Пскова князя Владимира, объявлен князем, но не идет на Псков, жительствует в Ливонии.

Бояре псковские держатся за свои вотчины. Тех, кто вместе с Твердилой Иванковичем переметнулся к меченосцам, рыцари не тронули. Вотчинное боярство — опора меченосцам в Пскове. Те из бояр, что не пошли за Твердилой, бежали в Новгород; их ливонцы переняли на Опочке и перебили.

С войском меченосцев прибыл в Псков и боярин Борис Нигоцевич. Поселился он в хоромах зятя своего

Нежилы, на Полонище. При вступлении в Псков командор фон Балк сказал Борису Олельковичу, что братья-меченосцы недолго пробудут в городе. Весной, как спадут реки, придут в Псков из Ливонии новые полки, и крестоносное войско выступит к Новгороду.

ГЛАВА 35

ПЕРЕВЕТЫ

Боярин Нигоцевич принимал гостя. За то время, какое минуло со дня приезда его под Изборск, Борис Олелькович похудел и постарел: прибавилось морщин на его лице, голос стал глуше. Ходил теперь боярин медленно — уставал и томила одышка. Пора бы искать покоя, а он, как и прежде, быстр и смел мыслями.

Гость его — посадник псковский, боярин Твердила Иванкович. По возрасту Твердила годится в сыновья Олельковичу. Кряжистый, с крутыми плечами и бесцветным плоским лицом. Радовался он или печалился — лицо его оставалось неподвижным. В беседе с Нигоцевичем он только что сказал о приезде в Новгород князя Александра.

— Возвернулся, о-ох грехи! — вздохнул Борис Олелькович. — Доколе Новгород Великий станет терпеть суздальцев? Верна ли твоя весть, Иванкович, не с ветру ли?

— Верна, болярин. Вернулся Александр...

— Давно?

— В неделе с троицына дня.

— А мы сидим в Пскове... Не привелось бы из Пскова на Ригу искать путь?

— Нет, не выступит Александр... Не тронут его — не выступит, — проскрипел Твердила. — Войска у него мало, да и Новгород, чай, не родная матушка.

— Смел он, Иванкович, настойчив, — говоря это, Нигоцевич размазал ладонью пролитый на столе мед, будто подтверждая своим жестом справедливость того, что сказал. — Враг он мне... Враг непримиримый. Все же, коли по душе молвить, по-русски удал Александр и умен по-русски!

— Не перемочь ему силу лыцарскую.

— У лыцарей велика сила, Иванкович, знаю, но тревожусь: подступит к Пскову Александр, не нашлись бы в городских концах друзья ему?

— Не будет того, болярин, — потемнев, дернулся плоским лицом Твердила. — Псков — не Новгород. Руки будем рубить, уши, носы и языки резать всем, кто слово нанесет противу Пскова и лыцарства. Был Псков младшим братом Новгороду Великому, да вырос. Нынче Псков — сам Господин Великий.

— Ох, грехи, грехи! — протянул Нигоцевич, не то с сожалением, не то с упреком уставясь на Твердилу. — Не дело молвил ты, Иванкович! Издревле, от прадедов поставлено, что быть Пскову пригородом новгородским. Отколется Псков от старшего брата и господина, — продолжал он, и сухие щели морщин при этих словах резче обозначились на похудевшем лице, — потеряет вольность, станет холопом у лыцарского крыльца.

При последних словах Нигоцевича у Твердилы побагровели щеки, но он сдержался, не дал воли гневу; лишь губы его покривились насмешливо.

— Крепка, ой крепка старая-то спесь в тебе, Борис Олелькович! — повысив голос, произнес Твердила, словно говорил с ровней себе, а не со старым посадником новгородским. — Богат и велик Новгород, не скажу супротивного, но по богатству своему и хвастлив. Запамятовал ты, болярин, что сам-то Господин Великий под рукой у суздальцев, а вольному Пскову с Суздальской Русью не по пути.

Прежде, когда в силе и чести был Борис Олелькович на Великом Новгороде, сказал бы ему кто-либо из младших бояр то, что услышал он от Твердилы, — выгнал бы Олелькович дурака из хором. Теперь другие времена: боярин Твердила в чести у рыцарей, а Борис Олелькович силен только памятью о своих вотчинах да тем, что сидел на верхнем месте, близ владыки, на совете господ в Грановитой. Приходится нынче Борису Олельковичу и горькое слово без гнева выслушать и с младшим боярином псковским говорить, как с кумом.

— Бог рассудит Великий Новгород в распре с суздальцами, — тяжело выдавливая слова, промолвил боя-

рин. — А лучше ты молви-ко, Иванкович, князь Ярослав Володимирович, чьи права заступали лыцари, сулится к Пскову, аль как?

— Сулится быть летом, — отвернулся и, не глядя в глаза Борису Олельковичу, ответил Твердила. — Скоро увидим его на Великой.

— Так ли? — усомнился Олелькович. — Прости мне, болярин, простое слово; стар я, чтоб льстить. Не слышу что-то о сборах Ярославка; не собирается ли уж сесть на княжее место у Троицы благородный лыцарь Балк? Смотрю, и сдается мне — не Ярославка заступили лыцари в Пскове, а свои нужды. Не стал бы вольный Псков младшим братом не Новгороду Великому, а Риге?

— Нет! — чуть побледнев, громко воскликнул Твердила. — Почто неладное гадать, болярин? Псков жил в мире с меченосцами и нынче клялся на вечную дружбу с ними.

— Дружила овца с волком, клялась не обижать и не нападать на него, жить в мире, а наутро — остался от овцы шерсти клок да копытца.

— Орден меченосцев и тебе защита, болярин, — в ответ на насмешку огрызнулся Твердила. — Не лыцарской ли милостью живешь нынче в Пскове, а, не ровен час, будешь и в Новгороде. Худо, болярин, что не веришь ты слову командора.

— Верил, Иванкович, да вот чудо — не все тайные думы его мне ведомы. И ты поверил, а что слышу? Отрекся ты от Новгорода. Немудрящего князька обещали Пскову лыцари, и того не везут. Дружба дружбой с лыцарями, Иванкович, но холопом на старости своей быть не хочу.

— Явится у стен Пскова Александр новгородский с полками — переметнешься? Уж не так ли, болярин? — спросил Твердила, и взгляд его облил холодом Бориса Олельковича.

— Не переметнусь, — нахмурился Нигоцевич. — Худо знаешь ты, Иванкович, болярина Бориса Нигоцевича. Враги мне суздальцы, и останутся они врагами моими до скончания живота.

— Не пришлось бы, болярин, раньше времени пить чашу, — начал было Твердила, но закончить угрозу ему

помешал Нежила. Он, шумно распахнув дверь, вошел в горницу, где сидели бояре. Не снимая шелома, приблизился к столу и тяжело опустился на лавку.

— Что слышно в городе, Нежила? — изумясь необычному поведению зятя и растерянному виду его, спросил Нигоцевич.

— В городе тихо, — ответил Нежила и потянулся было к питью, но, не притронувшись к ендове, опустил руку. — Князь Александр разбил меченосцев в Копорье. Командор фон Сакен пал в битве, остатки войска с лыцарем Тидеманом бежали на ладьях в Колывань.

— Откуда твоя весть, сотник? — вскочил Твердила и уставился застывшими глазами на Нежилу.

— Слышал весть от лыцаря Кейзерлинга.

Нежила помолчал, взглянул на потемневшее лицо тестя, на руки Твердилы, которыми тот оперся о стол, и добавил:

— Кейзерлинг был в Копорье, бежал оттуда. Сказывает он, будто Александр соединился с новыми полками, которые пришли из Новгорода... Нынче идет к Пскову.

ГЛАВА 36

ПСКОВ

«Новгородское войско в Порховском городке...» — на Старом и Новом торгу, в городе и на посадах передается весть.

И страх и надежды вызывала она у псковичей. В Пскове ливонские рыцари, с ними войско новгородских и псковских переветов. Не миновать боя у Окольных стен и у Середних городовых; а затворятся ливонцы в Детинце — отобьются. Измором Детинец не осилить. Велики там запасы хлеба и вода есть.

— Александр новгородский побил ливонцев в Копорье, передают. Не миновать побоища у Пскова.

— Топоры бы брать, помочь новгородцам.

— С топором-то тебя, Володша, ливонцы аль стража городовая свергнут в Великую.

— Меня свергнут, другие останутся, — Володша бросил на говорившего укоризненный взгляд и сдвинул на затылок колпак. — Одна смерть на роду.

— Чей это молодец? — спросил стоявший в толпе Семенко Глина. Безбровое лицо его высохло и осунулось, крашенинный подрясник мешком висит на плечах.

— Который?

— Тот, с русыми кудрями. — Семенко указал на Володшу.

— Каменного мастера Володшу Строиловича не знаешь? — обернулся к Семенку молодец в холщовой, испачканной красками рубахе, который недавно жалел овчинника. — Чей ты? — спросил.

— Ничей, божий, — хихикнул Семен. — Душу спасаю, по миру хожу.

Вечером в хоромах Строиловичей собрались братья Строиловичи — Володша и Борис, Лушен и Никита Ларионовы, краскотер Антош Лосков и Филипп Соломнич, звонец от Троицы. Теплится, трепещет, как мотылек, пламя восковой свечечки; свет ее так слаб, что еле-еле можно разобрать лица сидящих у стола.

— Новгородская рать близко к Пскову, в Порховском городке, — говорит Володша. — Ливонскую стражу в Порхове побили. Молвлю я, братаны: не Псков идут воевать новгородцы, а изгнать из Пскова латинских меченосцев, злодеев наших, очистить от них землю псковскую.

— За Псков?

— Да, за Псков, за нас, идут биться новгородцы. Пусть переветы дрожат от страха, а мы... Вороги нам ливонцы. Разве мало испили от них зла? Боляр наших Алфея Сенковича и Власия Колотиловича, не взявших измены Пскову, ливонцы извели в Опочке; люди наши — кои пили воду со дна Великой, кои гниют в порубах. Недавно на пожаре в Застенье болярин Нежила лютой казнью сгубил Луку-овчинника... Наше дело, братаны, постоять за вольный Псков! То ли слово я молвил?

— То, Володша, — отозвался Филипп Соломнич. — Возьмем кто топор, кто копье... Станем рядом с новгородцами.

— Постоим за Псков! — привстал Лушен Ларионов. От голоса его дрогнуло пламя свечи.

— Почто шумишь, Лушен? Свои люди в горнице, а чьи уши за окошком — неведомо.

— Голос у меня неспособный, Володша, — проворчал Лушен и сел.

— То бы еще я молвил, — начал снова Володша и при этом встряхнул головой, отбрасывая со лба непокорные кудри. — В ночь нынешнюю мы уйдем к новгородскому войску. А тебе, Филипп, — Володша поднял глаза на Соломнича, — иное, трудное дело... Не страшно ли пролить кровь за правду?

— Не страшно, — ответил Соломнич. — Укажи, где стоять?

— В бою воину, когда бок он о бок с друзьями и побратимами, легче пролить кровь, иное дело одному выйти против ворога, положить жизнь свою, но через то приблизить победу. Пойдешь ли на трудное дело, Филипп?

— Пойду, — твердо ответил Соломнич. — Клятву положу в том.

— Ты останешься в Пскове. Как подступят к городу новгородские полки и начнут битву, зазвони набат у Троицы, подними Псков! Всполошит набат жителей, даст им смелость, а ливонцам и переветам погибель.

— Исполню все, как ты молвил, Строилович, — повеселел и порумянел лицом Соломнич. — Знаком путь на звонницу у Троицы, зазвоню. И беда не грозит мне. Схватят коли да спросят — язык у меня свой. Скажу: Псков поднимал на новгородцев. Не тронут меня, а пошлют и других звонцов в колокола бить.

...Часу во втором пополуночи у хором Строиловичей остановилась городская стража. Привел ее боярин Нежила. Рядом с ним поп Семен.

— Эти хоромишки? — спросил у него Нежила.

— Эти, осударь. Давеча следом шел за Строиловичем и через людей пытал.

— Добро.

— Своими ушами слышал, осударь, как подбивал Строилович людей бежать к новгородцам.

— Не отрезал бы кто тебе ушей, отче Семен, — посмеялся Нежила и велел ломать ворота.

Стражи навалились на створу, сорвали ее с подпятника. Дверь в сени заперта. В хоромах тихо, словно в

пустых. Стражи выломали дверь. Они перерыли и перекидали все в горнице, в подклетях, на истопке[1]. Не нашли ни Володши, ни Бориса. Глухая старуха, мать Строиловичей, только трясла непонимающе головой, когда ее спрашивали. Нежила, рассердясь, толкнул ее. Старуха упала, ударилась обо что-то в темноте; она долго лежала не двигаясь и стонала.

— Ушли, — зло прошипел Нежила, убедясь в бесплодии поисков. — А ты, отче, где был до полуночи? — спросил Семена. — Не сказал вовремя о Строиловичах?

— С вечера тут я был, осударь, — лебезил Глина, терзаясь за неудачу доноса. — Смотрел... Люди шли к Строиловичам.

ГЛАВА 37

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Выступив походом на Копорье, Александр не давал в пути покоя воинам. Ладьями вниз по Луге шли без отдыха. На полпути, чтобы не оказать заранее себя меченосцам, воины бросили ладьи, двинулись пеше; шли по бездорожью, лесами. Путь на Копорье указывали жители попутных погостов и займищ. Погода стояла сухая, в болотинах, во мхах не замочишь ноги. Одолев путину, войско появилось у стен Копорья.

Выступая в поход, новгородцы ожидали, что найдут в городе вал и тыновой острог из соснового «столпия». Сделать пороками проломы и вырубить «столпие» не составило бы великих трудов. Но оказалось, город срублен на высоком скалистом холме. На валу, за рвом, городовая стена — наполовину каменная, наполовину из срубов с заборолами.

Полдня метали пороки тяжелые камни в срубы, лучники обвивали смоленой ветошью наконечники стрел, зажигали и бросали зажженные стрелы. В городе начался пожар. И когда в стенах образовались проломы — начался бой. Упорно бились ливонцы; бились на валу, у

[1] На чердаке.

городовых стен, в городе с вошедшими в проломы русскими воинами. Больше половины ливонцев пало в битве; пал и командор фон Сакен. Его поразил в поединке, разрубив мечом, Гаврила Олексич. Малочисленные, расстроенные толпы крестоносцев, бежав из боя, спустились к морю и ушли на ладьях в сторону Колывани. Александр велел разрушить и сжечь город, чтобы лишь жалкие развалины да смешанная с прахом зола напоминали о твердыне рыцарей на Води.

Княжий гонец, который привез в Новгород весть о победе, передал воеводам Тулубьеву и Дружиничу указ Александра — выступать с полками на Шелонь и двигаться к Порховскому городку.

Слух о походе новгородцев на Псков достиг фон Балка. Это встревожило командора, но все же он не верил и не мог верить тому, будто Александр, повоевав Копорье, выступил к Пскову. Будь новгородцы у Порховского городка, о чем передавали слухи, рыцарь Гиршфельд, который сидит с войском в Порхове, послал бы с вестью гонца на Псков. О том, что новгородцы у Порхова, фон Балк слышал с утра, но наступил вечер, рыцарь Гиршфельд не слал гонца. Это успокоило тревогу Балка. На ночь, не из боязни внезапного нападения новгородцев, а лишь для страха псковичам, он велел усилить стражу у ворот Детинца и у окольных стен.

Слухи о приближении новгородцев не замирали. Фон Балк, чтобы рассеять их, утром велел посаднику Твердиле снарядить людей и указать им идти до Шелони. Встретят на пути новгородское войско — немедленно бежали бы в Псков. Миновал еще день. Гонцы Твердилы не вернулись.

Ночью Псков обезлюдел. На улицах не видно жителей, только проходили изредка городские стражи; у ворот, опираясь на копья, дремали ливонские воины.

Не погасла вечерняя заря, как уже занялась утренняя. Первые солнечные лучи ласкали окропленные росой тесовые крыши хором, когда к фон Балку пожаловал посадник Твердила Иванкович. Он запыхался от быстрой ходьбы. Наглухо прикрыв за собой дверь в гор-

ницу, без поклона, с каким Твердила всегда входил к командору, он вымолвил:

— Гонец... На Шелонь ходил... Сказывает: о полудню новгородское войско будет к Пскову. Ходили на Шелонь трое, вернулся один, коня загнал в пути, от Лисского волока бежал пешо.

— А двое где?

— Ушли к новгородцам, — не сказал, словно выдохнул Твердила.

— Трусы! — рассердился фон Балк; длинная сухая фигура его заметалась по горнице. — Ливонские воины и братья Ордена охраняют Псков от Орды, от разбойных и враждебных Пскову новгородцев, а трусливые, как сурки, псковичи скрываются в норы свои, спасая животы. Не встанет Псков против новгородцев — сожгу город, а трусов как врагов Ордена велю бросить в огонь. Велико ли войско твое, боярин?

— Дружина псковская будет биться бок о бок с твоими воинами, благородный лыцарь, — уклоняясь от прямого ответа, пообещал Твердила.

— Велика ли дружина? — резко, так, что Твердила отшатнулся на скамье и вобрал в плечи голову, выкрикнул фон Балк. — Где рать Великого Пскова, кою обещал ты? Не вижу твоих полков, боярин. Пируешь и бражничаешь, а на то ли дана тебе власть посадничья?

— Что в моих силах, я все... — начал Твердила, оправдываясь, но фон Балк остановил его:

— Собери войско! Хватай всех, кто может топор или копье держать. Уклоняющихся и трусов не милуй. Верных себе десятников избери — они глаза твои в войске. Или к вечеру нынче будут собраны твои полки, или не быть тебе в посадниках.

...Ночью на стан новгородского войска прибежали из Пскова братья Строиловичи, Лушен и Никита Ларионовы и Антош Лосков. Их привели к воеводе Гавриле Олексичу. Псковичи рассказали воеводе, что в Пскове ждут новгородское войско и князя Александра. Когда начнется битва — зазвонят набат у Троицы; псковичи возьмутся за оружие.

— Не станется ли набат в помощь ливонцам? — спросил Олексич.

— Нет, воевода, — ответил Володша Строилович. — Много бед принял от ливонцев Псков, нынче рад будет биться рука об руку со старшим братом своим Великим Новгородом.

Олексич сказал о прибежавших псковичах князю. Александр велел привести их. Володша Строилович сказал князю то, что говорил Олексичу, и добавил:

— Знаем мы, княже, пути и овраги вокруг города, знаем, где слабы и ненадежны городовые стены. Проведем твои полки, куда укажешь.

Открытое лицо, смелый и правдивый взгляд серых соколиных глаз, искренность, звучавшая в голосе Володши, понравились Александру.

— Возьму вас в войско, други, — сказал он. — Зазвонят набат, поднимется Псков против врага, легка будет и битва. А тебя, молодец, — Александр пристально взглянул на Володшу, — о том спрошу: побежит войско меченосцев из Пскова, где, на каких перекрестках, легче пути ему затворить?

— Из Пскова меченосцам пешо один путь, княже: на Лыбуты и Изборск, — ответил Володша. — Пошли войско на Завелицкое поле, закроет оно дорогу. А побегут лыцари на ладьях по Великой, к озеру, чтобы там достичь устья Омовжи, и тот путь загодя бы перехватить. Займи Степанковский луг на Великой, не пустишь вражьи ладьи.

— Кто проведет войско на Завелицкое поле и на Степанковский луг? — спросил Александр.

— Кому велишь, княже, тот и проведет. Всем нам знакомы пути.

...Новгородское войско приготовилось выступать к городу. Перед тем как тронуть полки, Александр собрал воевод.

— Нынче войско наше станет у стен Пскова, — сказал он. — Брать нам Псков так, чтобы враги не ушли живыми из города. Велю: полку воеводы Тулубьева в ночи, не дожидаясь зари, идти на Завелицкое поле, перенять дорогу на Изборск. Проведет полк скрытыми оврагами и рощами, — Александр взглянул на псковичей, — этот молодец, — показал на Антоша Лоскова, высокая фигура которого выделялась среди прибежавших к войску псковичей. — Встать скрытно на поле и не пу-

Радостно забилось сердце командора, когда он увидел сверкающие копья и доспехи своих воинов; плотные ряды их, точно подхваченные бурным ветром, устремились вперед.

Всадники, которых видел командор впереди рыжего облака пыли, повернули коней; унеслись куда-то направо, исчезнув за зеленым кружевом березовой рощицы на пологом склоне дальнего холма. Новгородцы замешкались, но не повернули вспять.

— Пусть же они погибнут! — вслух произнес фон Балк, не отрывая глаз от равнины, где, построясь клином, шли на конях рыцари; за ними, не отрываясь, бежали пешцы.

Противники сблизились. Как бы соизмеряя силы, ливонские воины и новгородцы остановились друг перед другом. Ветер донес на Снятную гору шум голосов и бряцание оружия. Фон Балку знаком этот шум. Там, грозя друг другу оружием, бранятся, выкрикивая ругательства, воины враждебных ратей. Фон Балк даже изменил себе. Он стоял теперь не прямо и неподвижно, а склонясь вперед и вслушиваясь в каждый звук. Тонкие прямые губы его кривились в усмешке. Вот-вот, опустив копья, ливонское войско сблизится с новгородцами. «Пора!» — не вытерпел, крикнул фон Балк. Голос его как будто достиг ушей воинов. «Deus le volt!» — донесся оттуда клич крестоносцев. «Так хочет бог!» — эти слова папы Урбана II, возглашенные им на соборе в Клермоне, перед первым крестовым походом, давно стали боевым кличем духовных рыцарских братств. Издали нельзя уловить, кто начал сражение; рыжее пыльное облако наглухо скрыло поле, где сошлись противники.

Битва началась, как и предполагал фон Балк, боем крестоносцев. Командор стоял на прежнем месте, опираясь на меч. За облаком пыли он хотя и не видел, но ясно представлял себе все, что совершается на поле. Смяты ряды новгородцев, воины их бегут...

— Пресвятая дева! — вдруг раздался возглас позади командора. — На поле новгородские всадники.

У фон Балка вытянулось лицо. Он тоже увидел всадников; кони их, расстилаясь над землей, приближаются к месту сражения. Должно быть, всадников увидели и воины, бившиеся с новгородцами. Пыль, клубившаяся

над полем, и шум сражения начали приближаться к городу. Глаза фон Балка отказывались верить тому, что открылось перед ним: бегут ливонские воины! И не кучка всадников, не малочисленный передний полк, над которым в лучах солнца недавно сверкали серебристые зайчики копий, а огромная, неисчислимая темная лавина новгородцев преследует бегущих и поражает их.

...Зазвонили набат у Троицы. Ветер подхватил звон и разбросал его по многочисленным звонницам церквей и монастырей. Тихий, казалось, опустевший Псков ожил. Ватаги жителей, вооружась копьями, топорами, а кто и ослопиной, хватали и секли посадничью стражу, с боем поднимались на городские стены, сбрасывая оттуда ливонских воинов.

Со Снятной горы, где недавно стоял фон Балк, установленные новгородцами пороки мечут тяжелые камни. Скрипят, расползаясь, рубленые ряжи окольного острога, образуя проломы. Со свистом сверлят воздух стрелы ливонских лучников, льется со стен смола, но ни стрелы, ни жестокий бой уже не в силах остановить наступающих. Нарастает шум битвы, поглощая в едином непередаваемом гуле и набат псковских церквей, и звон оружия, и клики сражающихся.

К исходу дня победители вступили в город.

ГЛАВА 38

СУД

Командор фон Балк с небольшим числом воинов вырвался из города и бежал. Псковские и новгородские переветы-изменники, сражавшиеся рядом с меченосцами, перебиты, а кто живы — переловлены. Пленены в битве боярин Нигоцевич и посадник псковский Твердила Иванкович.

Посадника Твердилу схватили дружинники Гаврилы Олексича. Не в лисьей шубе, не в златотканом кафтане, не в броне, а в старой дерюге, наброшенной поверх рубища, как последний холоп, плыл он в ладье к Псковскому озеру; на воде и схватили Твердилу. Нигоцевича

и сотника Нежилу пленили воины Силы Тулубьева. Ох, кипятился боярин! Кричал он, ногами топал: как-де смеет подлая чадь позорить его, боярина, старого посадника новгородского!

Воевода Сила Тулубьев, признав боярина, подошел к нему и насмешливо поклонился:

— Буди здрав, Борис Олелькович! Из каких краев, с каким делом пожаловала твоя милость к нашему войску?

— Не зубоскаль, Сила! — хмуро буркнул Нигоцевич. — Милости у тебя не прошу; воеводой ты стал нынче, да мне-то глядеть тошно на твое воеводство.

— Думал я, Борис Олелькович, живучи в дальних краях, разучился ты поносить чужую честь, ан нет! Не к добру наука. Волен я казнить тебя, как изменника-перевета, но не буду... Князь Александр и войско новгородское пусть увидят именитого вотчинника во здравии.

— Не искал и не ищу видеть князя, и встречать его нет мне нужды! — выкрикнул Нигоцевич. Он выпятил грудь, высоко поднял голову и глядел на Тулубьева так, как, бывало, глядел на него, младшего боярина, в Грановитой. — И о каком ты князе сказал, Сила, не пойму.

— Полно, болярин! — остановил Нигоцевича Тулубьев. — Не первый год знает Новгород, да и ты, князя Александра Ярославича.

— Не ему ли велишь бить челом?

— Зачем велеть — сам поклонишься.

— Не поклонюсь.

— Характер тешишь, Борис Олелькович, — глаза Тулубьева строго и взыскательно смотрели из-под нахмуренных бровей. — Почто боем ты шел, поднял меч противу Великого Новгорода? Утрись стыдом, болярин! С ливонскими латинами шел ты, а не ливонец и не латин по корню. Отчизну свою забыл, честь потерял; в холопьих сенях стоял у лыцарей.

Сила Тулубьев отвернулся от Нигоцевича. Сперва, как увидел его, Сила подумал было: не с повинной ли явился боярин. А «повинную голову меч не сечет» — вспомнил воевода старую пословицу. Потому-то и обратился он к Нигоцевичу без вражды, шутливым словом.

Но Нигоцевич как был, так и остался врагом. Не по нужде и принуждению принял измену — по черной совести, по дружбе с меченосцами. Не хотелось больше Силе ни говорить с ним, ни видеть его. Велел он воинам крепко держать боярина и всех, кто схвачены в его дружине.

...Новое утро золотится над Псковом. В городе потушены пожары; схоронили воинов, павших в битве, убрали тела врагов.

В церквах и монастырях звонят колокола. Лихие звонцы стараются каждый по-особи, звонят с хитрыми переборами, по-праздничному. Разбит враг, ясный день занялся над Псковом. Еще осталось горе, не на всех лицах высохли слезы, а на Гремячей горе кружится хоровод девичий, льются песни голосовые. Невдалеке от хоровода, взявшись за опояски, пробуют силу и ловкость свою Володша Строилович и Филипп Соломнич. Будто и не был в бою Володша, будто не звонил Соломнич набат у Троицы, не поднимал псковичей. Вчера сидел в Пскове командор фон Балк, давал волю свою городу, а сегодня нет во Пскове ни фон Балка, ни его воинов. Трусливо, спасая себя, бежал командор. Сегодня даже *юродивый Васенька и тот спутанную бороду расчесал*, вериги закрыл новой рубахой... Не грозит никому Васенька, песен не бранит игровых. Ходит он и так весело посматривает, будто готов сам ввязаться в веселые игрища.

В первом часу пополудни колокола зазвонили еще громче; напевнее и хитрее заиграли переборы подголосков. Звонят у Троицы, у Спаса на Старом торгу, у Егория в Печках; звонят в Мирожском и Медведевом монастырях... Стараются звонцы от всего умения — словно огромная, ликующая песнь разливается над городом, над всеми концами его...

— Князь... Александр новгородский.

— Он... Ярославич.

— Невский... В собор к Троице идет, — из уст в уста передается на улицах.

— Ой, девоньки! Сказывают, не видано нигде молодца пригожей Александра-князя... Глазком бы взглянуть!..

В бехтерце и шеломе, но без копья и меча, едет Александр впереди дружины. Конь под ним идет шагом.

«Слава!» — несется клич. Он то утихнет немного, то разнесется и разольется с новой силой.

На дворе у Троицы — помост, крытый сукном, вокруг помоста старые дружинники с Гаврилою Олексичем. Под «славу» и приветственные крики Александр поднялся наверх, снял шелом и поклонился народу.

— Люди псковские! — По всему двору и над Великой разнесся его голос. — Ливонские лыцари-меченосцы, по примеру союзников своих свеев, начали крестовый поход на Русь, захватили Псков и землю Псковскую. Ныне враг лежит в прахе. В битве на Пскове псковские люди бились плечо к плечу с новгородскими полками. Рядом с собою видели мы храбрых и смелых мужей псковских. Слава Володше Строиловичу! — возгласил Александр. — Первый он с товарищами пришел в стан новгородцев. Слава всем, кто бились с врагом! Дружбою своею сильны Псков и Великий Новгород, дружбе нашей навеки слава!..

Дальше хотел говорить Александр, но ликующие клики толпы, окружавшей степень, заглушили его речь. Кричали псковичи, кричали новгородцы, выкликивая славу храбрым витязям. Люди обнимались, лобызаясь друг с другом. Не было человека в Пскове, которого не захватила бы всеобщая радость; не было человека, который не стремился бы как можно громче, ощутимее выразить все, что переполняло сердце. Александр, поднимая руку, призывал к тишине, но это никого не успокаивало. Крики людей звучали еще громче.

Долго не давали Александру воины и жители Пскова продолжать речь, но когда он заговорил, то уже не торжеством победы, а гневом звучал его голос.

— В битве на Пскове пленили мы изменников Великого Новгорода и Великого Пскова, тех, кои вместе с врагами, латинскими меченосцами, подняли оружие на Русь, из-за выгод или из ненависти шли против братьев своих. Без злобы, правым судом будем судить переветов. Ни жалость, ни уважение к уму, ни дружба — ничто не тронет наши сердца, ибо нет горше и презреннее врага, чем тот, который взял измену и поднял оружие против Отчизны. Правый суд, по совести и чести своей скажем переветам, в воздаяние за злодейства их и измену.

По знаку Александра на степени предстал перед Псковом боярин Твердила Иванкович. В дерюге и рубище, в чем был он схвачен дружинниками при бегстве, Твердила потерял сановитость свою и спесь. При виде его по толпе, окружавшей степень, пробежал гневный гул. Опустив голову, Твердила стоял перед князем. Осунувшееся, с ввалившимися глазницами, плоское лицо его казалось безжизненным.

— Болярин Твердила, — начал Александр. — Известно мне и всему Пскову, что, взяв измену, открыл ты латинским меченосцам ворота города, принял посадничество и жил в дружбе с врагами Пскова, рядом с ними стоял в битве. Скажи: не облыжье ли то, в чем винит тебя Великий Псков?

Твердила молчал. Дерюга упала с его плеча; теперь он выглядел еще жалче.

— Молчишь. Страшна правда. За вины твои сужу тебя, болярин Твердила Иванкович: хоромы и все имение твое на Пскове, по грамоте моей, отписать в казну Великого Пскова; и вотчины твои отписать в казну Пскова, кроме той, что лежит между Лугою и Псковским озером. Ту вотчину отписать на великого князя. А тебя, болярин Твердила, за измену твою Отчизне, за то, что черной жестокостью своей губил лучших мужей псковских, за все козни злые противу Пскова и земли Русской сужу не нашей — чужой казнью; пусть тебя, болярина Твердилу, повесят на забороле у Свиных ворот; да видит Псков, кто вверг его в беды, казни и горести. Тот ли суд сказан изменнику и вору Твердиле, мужи псковские?

— Тот, тот!..

— Позор перевету!

— И самого и хоромишки его огнем бы спалить!..

— Суд сказан, а хоромы палить не велю. Хоромы — дань казне псковской. Псков и волен решить.

У Твердилы подогнулись колени, он силился что-то сказать, но слов не было, только тряслась голова. Не увели — унесли его со степени. На место Твердилы поставили перед князем боярина Нигоцевича.

Выпятив грудь и подняв бороду, Нигоцевич стоял перед Псковом. Словно не на суд княжий за преступление тяжкое поставлен он, а сам вышел судить всех.

Лицо Александра потемнело.

— Встретились с тобою, Борис Олелькович, — сказал он, как бы на привет боярину.

— Да, привел бог, — отчетливо и громко вымолвил Нигоцевич, не называя имени князя. — По грехам своим, признаюсь, не ожидал того.

— Приняв измену, ждал ты, болярин, что в Новгороде Великом сядешь степенным посадником, как сел на Пскове Твердила, друг твой. За тем ли измену брал и жил в дружбе с врагами Руси?

— В том, что молвил ты, вины не ведаю.

— Почто шел в битву? Почто поднял меч противу Великого Новгорода?

— Противу Новгорода и земли своей не поднимал я меча. За старое болярство, за права болярства вотчинного противу суздальского княжения и тебя, князь, стоял я и стою, — не опуская головы, ответил Нигоцевич.

— Так ли? Не меня, князя новгородского, поносишь ты своим словом, болярин, а великого князя, поносишь то, что делаю я во славу Отчизны. Умен ты, знаю, но ум твой злоба затмила.

— Если в том вина моя, что тебя обидел, прости! Не обиды искал я, а воли старой, чести нерушимой болярства и всех людей верхних.

— Не покрывай черного дела пустой речью, болярин! — сухо, смотря прямо в лицо Нигоцевичу, произнес Александр. — Мы не в Грановитой, а на степени в Пскове, перед войском и народом. За обиды твои мне — не сержусь, простил бы их, но не предо мною вины твои — перед Русью, перед Новгородом Великим. Переметнулся ты к латинским крестоносцам, звал переветов-изменников противу Новгорода. За то, за измены твои, сужу тебя, и вин этих не прощу и не дано мне прощать их. Примешь, болярин Борис, ту же казнь и позор, что и изменник Твердила. Но в последний свой час, Борис Олелькович, если сохранилась в тебе честь и капля любви к Отчизне, скажи: кто в Новгороде Великом одною думою с тобой мыслит, кому ты слал грамоты и чьи ответные грамоты принимал в Риге?

Нигоцевич побагровел, хотел что-то молвить, но только беззвучно хлебнул губами. Кровь медленно-медленно отлила от его лица. Оглянулся кругом. В тысячах глаз,

устремленных на него, прочитал он тот же приговор, какой сказал князь.

— Спрашиваешь о чем — не скажу тебе, князь. Нет у меня близких на Новгороде, некому передавать поклон мой.

— Суд сказан, да исполнится он!

По тому, как острые уголки морщин собрались над переносьем Александра, как потемнел его взгляд, видно было — не легко дались ему эти последние, решающие слова. Они обрекли на вечный позор имя перевета Нигоцевича. На какой-то короткий миг Александру вспомнилась юность, те дни, когда боярин Нигоцевич поднимал Новгород, искал бед князю; вспомнился наказ отца и наставления воеводы Ратмира: будь непримирим и тверд в суде над врагами Руси! Александр искал в памяти хотя бы ничтожную искорку, которая, не угасая, умалила бы вину боярина Нигоцевича. Нет! Все доброе и простое, что думал о нем Александр, Нигоцевич погасил изменой. Враг он — упрямый, не кающийся, озлобленный и жестокий в своем упорстве.

Сказан суд боярину Нежиле, переветам, что шли в дружине Нигоцевича и в городской страже боярина Твердилы. Каждому сказан суд по вине его. За измену и бой рубили переветам уши, после свергали в Великую, за меньшие вины драли прутьем и отпускали.

Три дня над Детинцем, над концами и пригородами Пскова, не умолкая, звонили колокола. На забороле стрельницы у Свиных ворот висели на позорище туши бояр Твердилы Иванковича и Бориса Нигоцевича. И кто бы ни шел мимо — плевал и отворачивал лицо от того смрада.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 1

У РИЖСКОГО ЕПИСКОПА

Ладья быстро скользила вниз, к устью, по широкому приволью реки. Сосновые рощи, окаймляющие берега, иногда сменялись лиственным лесом. Ярко блестела на солнце светлая зелень берез и осин; старые дубы и клены высоко поднимали свои богатырские груди; они, точно великаны, возносились среди буйного племени мелколесья. Над водой, мимо ладьи, то и дело пролетали чайки. Свежий ветерок гнал навстречу веселую зыбь.

Простор и безмолвие реки успокоили горе отца Биорна, охватившее его при известии о внезапной кончине папы Целестина IV. Одиночество располагало к размышлениям. Но не судьбы католической церкви, утратившей своего верховного архипастыря, не цели, к которым стремится она, утверждая свое мировое господство, трогали отца Биорна. Размышляя, он снова и снова спрашивал себя: что явилось причиной преждевременной смерти папы? Недавно еще, во время пребывания Биорна в Риме, здоровье папы не вызывало тревог — был он бодр, полон энергии и жизненных сил. С деятельностью папы Целестина он, Биорн из Упсалы, связывал свои честолюбивые замыслы.

В Риме отец Биорн явился свидетелем большой и сложной битвы, прикрытой внешним благочестием, которая после смерти Григория IX сопровождала избрание папы. Противником кардинала Кастальоне, будущего папы Целестина IV, выступал кардинал Сини-

бальдо — хитрый, бессердечный старик с мутными, как непогодливое небо, глазами, орлиным носом и тонкими бескровными губами. При папском дворе кардинал Синибальдо считался наиболее вероятным и достойным преемником Григория IX. И когда конклав, собор кардиналов, избиравший папу, предпочел Синибальду кардинала Кастальоне, — это вызвало у многих изумление и растерянность. Кардиналу Кастальоне недоставало твердости характера и решительности Синибальда, который в исполнении желаний своих не знал преград.

В Риге князь-епископ радушно принял отца Биорна. Из того, что сказал епископ о кончине папы Целестина, отец Биорн понял, что, как и он, епископ теряется в догадках. При дворе же епископа шепотом передавали, что в смерти папы виноваты враги его и завистники, что папа Целестин «принял яд». О том, что говорили при дворе, видимо, знал и епископ, но он высказывался осторожно, предпочитая, чтобы отец Биорн сам разобрался в истине.

В беседе с отцом Биорном епископ сказал, что до избрания нового папы верховенство над церковью принял кардинал Синибальдо, и напомнил, что кардинал, как и предшественники его, преследует святую цель: возвеличение католической церкви.

— Если будет угодно богу, — говорил епископ, — кардинал Синибальдо огнем и мечом откроет путь к спасению язычникам и еретикам, всем заблудшим и погрязшим в грехах.

— Сохранит ли святейший престол преемственность в сношениях с Востоком? — спросил отец Биорн.

— Преемственность в сношениях с русской церковью? — повторил епископ, и при этом лицо его покрылось непроницаемым облаком сокрушения и грусти.

— Да.

— Надежды, что русская церковь признает над собой главенство святейшего престола, не оправдались, — с глубоким вздохом произнес епископ. — Не мне говорить о причинах, которые привели Русь к вражде и ненависти к католическим народам и католической церкви. Ты посетил Новгород, святой отец, убедился в том, что призыв дружбы воспринят на Руси, как призыв вражды и лжи. То, что совершилось в Копорье и у

Пскова, — епископ не сказал прямо о поражении войска меченосцев, — не есть ли доказательство той истины, что приверженная к восточной патриархии русская церковь не отринула своих заблуждений и ереси, но сохраняет и усугубляет их. В нашей ли воле остановить святое дело возвращения отступников в лоно истинной веры! — подняв к небу глаза, воскликнул епископ. — Можем ли мы изменить путь, указанный нам вселенскими отцами и соборами? То, что не утверждается проповедью и словом мира, утверждается мечом.

В словах епископа так ясно прозвучал призыв к походу на Русь, что у отца Биорна не осталось сомнений: новый крестовый поход не осужден а, может быть, даже указан папской курией.

— Русь сильна и обширна, — после недолгого размышления заговорил он. — Новгородские полки разбили на Неве войско христианнейшего шведского короля, в Копорье и Пскове приняло поражение от новгородцев войско братьев-меченосцев... Сможет ли новый поход стереть горестную память о поражениях?

— Не голос ли страха слышу из твоих уст, святой отец? — усмехнулся епископ. — Не утверждаешь ли ты непобедимость русичей?

— О нет! — отверг подозрение епископа отец Биорн. — Не страх заставил меня вспомнить о неудачах шведов и братьев Ордена. Я видел Новгород, видел там многое, о чем молчат на католическом Западе, молчат, не зная, или на что закрывают глаза, чтобы не знать.

Никогда еще отец Биорн не говорил так откровенно и искренне, как в этой беседе с епископом. Рассказав о богатстве Новгорода и земли Новгородской, об удобстве торговых путей, связывающих Новгород с западными городами и землями на Востоке, об искусстве мастеров новгородских, он поведал и о беседах своих с епископом и князем Александром.

— Слова мои — истина, — заключил он свою речь. — Я хотел, чтобы ты, господин мой, знал правду о русичах и о земле их.

— Верю твоей искренности и тому, что сказанное тобою справедливо. Оно подтверждает то, о чем говорят

— Маршал Ордена, благородный рыцарь фон Балк, будет рад, если ты, святой отец, испросив благословение папской курии, вернешься к войску и возложишь на себя труд проповедника и учителя истины в земле еретиков и язычников.

Слова епископа насторожили отца Биорна.

— Путешествие в Рим возьмет много времени, — произнес он. — Кардинал Риенци, высказывавший мне свое благоволение...

— Кардинал Риенци, — прервав отца Биорна, сказал епископ, — друг и советник кардинала Синибальдо. В грамоте, полученной мною, указывает он, что доверенности святейшего престола, врученные тебе, утратили силу.

— Я не завершил своей миссии в Новгороде, — опустив глаза, растерянно высказал свое недоумение отец Биорн. — Поход новгородцев на Копорье оборвал мое пребывание в стране русов.

— Поход новгородцев не ставится тебе в вину, святой отец, — отталкивающий и неприятный холодок резче прозвучал в голосе епископа. — Но в Риге недоброжелатели твои утверждают, что, будучи в Новгороде, ты стремился установить мир с русской церковью. Это приемлемо для веры и церкви, но неприемлемо для братьев Ордена.

— Союз с Новгородом и принятие им помощи западных христиан, прежде всего братьев-меченосцев, облегчил бы Ордену установление своего господства на Руси, — взволнованно произнес отец Биорн, начиная понимать хитрую игру епископа, видимо не желающего дальнейшего пребывания отца Биорна в Риге.

— Церковь понимает чистоту намерений твоих, святой отец, — сказал епископ. — Но рыцари грубы, в своей борьбе с Русью они опираются не на слово истины, а на меч. Отбыв в Рим, ты успокоишь умы, и когда возвратишься с доверенностями папской курии, я буду счастлив вновь принять тебя.

Растерянный и преисполненный печали отец Биорн оставил епископа. Казалось, рушится все, что так долго и настойчиво создавал и лелеял он, к чему стремился при дворе правителя шведов, что побудило его совершить путешествие в Новгород. Чего достиг он? Порица-

ния, вражды и подозрений завистников. Будущее рисовалось ему настолько мрачным, что он готов был закрыть на него глаза.

Через несколько дней, полный душевной скорби и тяжких предчувствий, отец Биорн покинул Ригу.

ГЛАВА 2

СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ КУЗНЕЦЫ

На княжий двор прискакал гонец, привез грамотку от Александра Ярославича. Писал Александр княгине: жив, здоров-де; из Пскова прогнали рыцарей, изменникам и тем, кто шли с ними, воздали кому что положено. Скоро буду на Новгороде.

Княгиня улыбалась, читая грамоту, а глаза туманились слезами.

— О чем князюшка пишет? — глядя на княгиню, встревожилась Евпраксеюшка.

— Едет он, мамка... Близко.

— Едет... А у нас-то радость! У Васеньки четыре зубка прорезались. Такой-то уж удалый, такой-то богатырь растет.

— Не ворожи, мамка, раньше времени!

— Не ворожу, сущую правду сказываю. А личиком Васенька в матушку, осударыня. Гляжу на него, как на тебя такую-то глядела. Ахти! — Евпраксеюшка всплеснула руками. — За делом ведь шла да сказать забыла. Намедни велела ты, осударыня, серебряных мастеров звать... Пришли Тимош да Барабец с Холопьей улицы... Желают они видеть тебя и послушать, что скажешь. Изделия свои принесли. Думала, заговорит меня Барабец. Ох, говорок! Пустить их, осударыня, аль сказать, что нынче нам не до них?

— Пусти... Погляжу, что принесли.

Тимош вошел первым. Был он сух и высок. Изрытое крупными оспинами лицо его казалось оттого морщинистым; редкая борода, цветом напоминающая лежалую солому, торчала на подбородке спутавшимися клочьями. Ступал он неловко, косолапя, невпопад шевеля руками;

так и казалось, заденет за что-либо, уронит, переполошит всех в тереме. За Тимошем появился Барабец — краснощекий, живой, улыбающийся. Шел он, немного согнувшись, легко ступая, будто не касаясь ногами пола. В горнице Барабец обогнал Тимоша. Пока тот пытался сломать в поклоне свою сухую спину, Барабец успел коснуться рукою пола.

— Здрава буди, княгиня-матушка! — заслоняя собой Тимоша, начал он, довольный тем, что может говорить за двоих. — Сказали нам, хочешь ты, осударыня, видеть серебряных мастеров, а в Новгороде Великом всякий укажет: нет лучше серебряников, чем Коров Барабец и Тимош Яковлевич с Холопьей. Старая наша улица и ремесло у нас старое. Мои и Тимошевы прадеды серебро и золото лили. Что велишь, княгиня-матушка: показать тебе изделия, кои мы принесли, аль новое, по твоей воле укажешь?

— Знаю о вашем умельстве, — сказала княгиня, выслушав бойкую речь мастера. — За тем звала вас: нужна мне чаша серебряная, литая, с травами, зернью и изображениями, еще нужна пряжка золотая на плечо к княжему корзну. Князь Александр Ярославич возвращается из похода.

— Только вели, осударыня, будет чаша с зернью и травами, с таким хитрым узором, какого на земле не видано. Никто не льет серебра лучше моего, а Тимош хитер и искусен по золоту.

— На пряжке, осударыня, положу я узор в голубом поле. Посредине витязь с копьем острым. В узоре — лалы, будто цветы, кругом — витой ободок из золота...

Тимош сказал это так громко и так неожиданно, что княгиня вздрогнула.

— Ой, батюшка! — заворчала Евпраксеюшка на Тимоша. — Телом ты сух, а голосок как из бочки... Гляжу на тебя и не верю: откуда взялось, что ты, этакой-то нескладной, на тонкие узоры мастер?

— Мне люб твой узор, — улыбнувшись на мамкину воркотню, сказала княгиня Тимошу. — Делай, как умеешь, не жалей ни золота, ни камней самоцветных!

— Довольна будешь, осударыня-княгиня, нашими изделиями, — снова начал Барабец. — Вели показать, что принесли. Есть у меня скань и серебро с зернью. Мелче

и ровнее зерни, какую я лью, не привиданю ни в земле франков, ни за Каспием. У Тимоша колты золотые с узором и травами, бусы с яхонтом...

— Погляжу, порадуюсь вашими изделиями.

На стольце перед княгиней мелким серебряным песком засверкала зернь на перстнях и лунницах, бусы сканные, камни самоцветные. На колтах, что положил Тимош, на одних — тонкий, как волос, золотой узор на синем поле, на других — зеленое поле с узором и золотая птица Сирин. Разбежались глаза у княгини. Примерила она колты с Сирином, серебряную лунницу с зернью...

— Погляди, мамка, ладно ли?

— Уж так-то ладно, осударыня, молвить нельзя лучше, — похвалила мамка. — Хвастали мастера своим умельством и, по чести молвлю, не зря хвастали. В славном Полоцке не найдешь мастеров лучше. Возьми уж эгакую-то красу!

ГЛАВА 3

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Звонят колокола в церквах и соборах. От Спасских ворот Детинца тронулся крестный ход. Золотым шитьем сверкают на солнце хоругви. Кажется, все, кто в силах на ногах стоять, спешат сегодня на Гзень, к Духову монастырю, встречать войско.

Ивашко пошел на Гзень вместе со Спиридоновичем. Рад он, что увидит князя, и тревога на сердце: какова-то будет встреча? Спиридонович весел; да у всех сегодня, кого видит Ивашко, лица веселые. И колокола звонят по-особенному — громко, речисто; говор людской как в большой праздник.

Вдали, над полем, поднимается пыль. «Идут, идут», — слышны голоса. Спиридонович пробился вперед. Спешить бы и Ивашке, но помешал ему Василий Сухой. Зачем он здесь? Скажет Васька худое слово — стерпится ли оно? Больно Ивашке в нынешний день затевать брань на людях!

А Васька усмехается, словно рад Ивашке.

— Не гневайся, молодец! — молвил. — Нет у меня к тебе зла. Если и ты без обиды — помиримся.

— Я не сержусь, — ответил Ивашко. — Коли нет у тебя зла, незачем и волками жить.

— Вправду так?

— В истинную.

Войско приближалось. Играют белые молнии на остриях копий княжей дружины, на железе и меди шеломов и кольчуг. Точно вылилась где-то из берегов полноводная река, и нескончаемый поток ее, извиваясь по дороге, движется к городу.

— Станется новый поход, — слышит Ивашко рядом голос Сухого, — пойду в княжее войско. Как речисто делаю переборы на звоннице, так буду и в поле стоять. Страха нет у меня и силы не занимать.

Тесно на Гзени. Куда ни глянь — всюду шубы и зипуны, кафтаны и рубахи холщовые, телогреи и летники. Не весь ли город собрался? Рябит в глазах от кик с рясами, от зерни оплечий; колты с травами, витые — змейкой, сканные с чернью — искрятся, горят на солнце.

...Александр остановил коня, снял шелом, поклонился народу. Воины узнавали родных и близких своих, обнимались, лобызали друг друга после разлуки. Попы служили молебны, дьяконы махали кадилами, курили ладан. Одно у всех на устах: с позором бежали из Пскова перед новгородским войском ливонские рыцари.

— А в Пскове, чу, была радость! Три дня колокола звонили.

— Легко ли молвить, из полона Псков выручили. А бывало, шумел Псков: не старший-де брат вольному Пскову Великий Новгород. Вот и пустили лыцарские полки на Завеличье поле. Научил злодей Твердила псковичей уму-разуму.

Пробиваясь в толпе ближе к тому месту, где стоял князь, Ивашко нечаянно толкнул витязя в запыленном бехтерце и шеломе с помятым и погнутым еловком. Витязь осердился.

— Кто тут медведем ходит? — окликнул.

Ивашко оглянулся.

— Олексич! — узнал он.

— Ивашко! — раскинул руки витязь. — Ты ли? А я-то думаю, кто толкается по-медвежьему?

— Нечаянно я...

— Весь Новгород встречает войско, и день хорош, — когда обнялись, заговорил Олексич. — Новгород славой встретил войско наше, и я, Ивашко, ладу свою увидел, — он ласково взглянул на Катерину Славновну. Рядом стоит она, порумянела, улыбается на витязей. — Будем на княжем дворе, там и место и время найдем перемолвиться.

— Буду ли я на княжем дворе? — тревожно вырвалось у Ивашки.

— Что ты молвил? — не понял Олексич.

— Не ходил я в походы с дружиной... Осердится Александр Ярославич, и мне стыдно.

— По чьей вине не ходил?

— И по чужой и своя есть.

— В чем твоя вина — скажешь князю, а перед походом нынешним Александр Ярославич о тебе спрашивал.

Побывали в городских концах княжие гонцы, оповестили:

— Князь Александр Ярославич зовет людей новгородских, и старших и меньших, выпить чашу меду крепкого, послушать складные переборы гусельников, на игры, на забавы скоморошьи взглянуть...

Выкатили бочки из княжей медуши, поставили столы со снедью. Кто придет — для всех готов сытный и сладкий кусок. На столах — и дичь жареная, и рыба разварная в широких пошóвах, и пироги луковые, и кулебяки по шести локтей. Кто мед пьет — тому меду полная чаша; молодух да девиц красных велел Александр одарить сладкими пряниками, орехами каленными. Кто стар, кого ноги не несут, для тех обряжены столы на своих улицах, вблизи от жилья; а у кого кудри вьются, да кто на веселье охоч — тем идти на Буян-луг. На Буян-лугу песни игровые заводят, гусли серебряными струнами вызванивают переборы.

На белом камне старый Лугота. Тесно вокруг. Играет Лугота славу старым походам, славу старым князьям, славу нынешним витязям. А за славой повел он песнь о птице-синице, о теплом море, куда птицы слетелись стаями.

Гой ты, малая птица,
малая птица-синица!
Скажи нам всю правду,
скажи нам про вести людские,
кто у вас на море большие?..

Долго хвалилась птица-синица вестями людскими, под песнь ее звенели струнами гусли. Не устает рука Луготы, рад он потешить Великий Новгород. Громче, громче звенят гусли, играет Лугота, долгих лет своих не чует за плечами.

Сова — то на море болярыня...
То-то высокие брови!
То-то хорошая походка!
То-то желтые сапожки...
Воробьи на море холопы...

Умолк, но не расступается толпа вокруг гусляра. Лугота поднял вверх очи, будто увидел что-то на белом парусе облачка, перебрал струны, усмехнулся и завел сказание по-старинному, как деды сказывали.

Благословите, братцы, ста́рину сказать,
ту старинушку стародавнюю...

И будто не гусли на коленях у Луготы, а шумит вешний теплый дождь над Буян-лугом. Но вдруг подул ветер, бросил пригоршнями серебряные ногаты на Волхов.

Как во стары годы, годы прежние,
во те времена первоначальные...

Ведет Лугота сказание, струны звенят по-нынешнему, частыми переборами. И вдруг тряхнул он головой, сказание стародавнее обернулось веселой песней:

Во те времена первоначальные,
а и сын на матери снопы возил,
молода жена в припряжке шла;
его матушка обленчива,
молода жена разрывчива.
Уж он матушку подстегивал
молоду жену поддерживал
он вожжинкою варовищной.
Изорвалася вожжиночка —
он березиной...

Близ Волхова девичий хоровод. Играют девицы песню хороводную; под их песню — ноги сами ходят.

По подворищу дорожка не торна,
по подоконью дорожка широка,
широка, торна, пробита до песку,
до того песку, до синя камешку...

Откуда ни возьмись — закружился в хороводе Омос-кровопуск. На себя не похож он: на голове колпак поярковый с полями широкими, красная рубаха по колено, пояс плетеный...

Ты мука, мука, мука,
Ты овсяная мука;
Мелко вытолчена,
Чисто высеяна...

Набирает скороговоркой. Люди добрые, Омос-от в девичий хоровод ввязался!

На Гулящей горке — скоморошья ватага. Тесно вокруг. По-соловьиному заливаются рожечники.

Веселись, честной народ,
Скоморошина идет!..

На кругу молодец. Ростом со звонницу, а головы нет. Похоже «чудище» на бабу в задранном поверх головы жестком сарафане. Поднялся сарафан лубяным котлом, не гнется, не морщится.

— Петрушка, петрушка! — раздаются выклики.

Толпа вокруг петрушки сдвигается плотнее.

— Покажись, петрушка!

— Не показывается... Онемел...

— Шш...

— Вот и я...— раздался тоненький-претоненький, трескучий-претрескучий голосишко, и над краем лубяного сарафана показался петрушка. Нос у него красным стручком, брови как смоль, на висках рыжие кудерьки. На войлочном колпаке перо гусиное...

В княжей гридне пирует Александр с ближними дружинниками. Давно не знал того Новгород, чтобы сидели в княжей гридне старые посадники, именитые вотчин-

ники, гости торговые, старосты кончанские и старосты ремесленных братчин. Никто из бояр не погнушался княжим зовом. Только Стефана Твердиславича не видно за княжим столом. Не по охоте остался он у себя в хоромах, по нужде. Хворь держит. Как услыхал он, что сталось в Пскове с кумом Борисом Олельковичем — опустил голову. Тяжелее обуха весть. Не то диво, что перенес ее Стефан Твердиславич, то диво — жив остался.

Александр на красном месте. Синий кафтан опоясан золотым поясом, из-под круглой, опушенной бобром княжей шапки рассыпались на плечи кудри. По левую руку Александра — Гаврила Олексич, боярин Сила Тулубьев, воеводы, которые ходили в поход; за ними торговые гости, первыми — Василий Спиридонович и Афанасий Ивкович; по правую руку князя — боярин Федор Данилович, владычный боярин Якун Лизута и старые посадники... Рядом с кончанскими — старосты ремесленных братчин.

От свечей и железных каганцов, что горят вдоль стен, — жарко и душно. Будто бы не от меду выпитого, а от жары нестерпимой раскраснелись лица пирующих. Перевалил за дюжину счет круговым чашам, но гости, хоть и развязались у них языки, ведут себя чинно, — ни спора, ни брани в гридне.

— Не слышу что-то голоса Спиридоновича, — спросил Александр. — Хозяин не ласков аль место не по чести гостю?

— Спасибо за память, княже, — откликнулся Спиридонович. — Рад веселью да...

— Кисел квас за морем, Спиридонович? — засмеявшись, перебил гостя Олексич.

— И квас не кисел, и торг хорош был.

— Скажи нам, Спиридонович, как за море плавал! И мне с дружиною, и болярам именитым любо о том послушать. За морем твердят, будто воды боятся новгородцы, под парусом не умеют ходить, а ты с парусом шел, и не один — с товарищами. Скажи, где был, с кем торг вел? — спросил Александр.

— Правду молвил ты, княже: любо знать Новгороду Великому, как гости за морем торг вели? — пристал боярин Лизута; он вытер пот и чуть-чуть распахнул шубу.

— Не хитрое дело сказать, княже, где были мы с Ивковичем и ватагой. Вниз по Волхову, по весенней воде спустились к Ладоге, оттуда, мимо тех мест, где в прошлом лете бились со свеями, вышли в море. И у меня на ладьях, и у Афанасия Ивковича товар лежал дорогой: меха пушистые, воск и лен. Торговали мы в городе Висби, на земле Готланд. На обратном пути, как плыли в Новгород, пристали к берегу Саремы-острова.

— Почто? — поднял брови Александр. — На Сареме ливонские лыцари, — нахмурился он и так взглянул на гостя, словно ждал от того новой, нежеланной для себя вести.

— Не своею волей пришли на Сарему, княже. Буря выбросила ладьи на остров.

— Что видели там? Подобру ли ушли к Новгороду?

— Как улеглась погода, подняли мы на ладьях паруса. А остров велик, и людей на нем много; эстами называют они себя. Живут тамошние люди худо, но, сказывают, покуда не явились к ним ливонские лыцари — мирно и хорошо жили. Лыцари пришли с оружием, многих эстов побили, а тех, что остались, крестили в римскую веру...

— Страшное сказываешь, Василий Спиридонович, — промолвил боярин Лизута. — Речь не по празднику.

— Что поделаешь, болярин, о чем спросили, о том и речь.

— Сказывай, Спиридонович, не обидно твое слово, — прервал гостя Александр Ярославич. — Что сталось с эстами, тем же грозят лыцари и Великому Новгороду. Да не бывать тому!

— Как один, все поднимемся, княже, дубье и ослопины возьмем, а не пустим лыцарей! — распалясь, крикнул во след слову князя боярин Лизута.

— На Великом мосту биться дубьем, болярин, а не с железными лыцарями, — пряча усмешку, отозвался Александр на слова Лизуты. — И в Копорье и в Пскове потому бежали лыцари от новгородских полков, что наши копья были длиннее, а мечи острей. Терпят ли эсты свои беды? — Александр возвратился к рассказу гостя. — Как случилось, что лыцари отпустили вас с острова подобру?

Лизута промолчал. Он тронул локтем сидевшего рядом Водовика, как бы напоминая: в гостях-де мы нынче, обиду стерпим.

Водовик не шелохнулся. Или хмель крепко ударил ему в голову, или не хотел он виду подать, что понял Якуна. Оплывшие свечи мигали, играя причудливыми тенями на расписных стенах гридни.

— Сказывай, не томи, Спиридонович! — поторопили с нижних скамей.

— Терпели эсты беду, — продолжал Спиридонович. — Добры они, миром жили прежде. На острове рыбы много, дичь... Янтарь ловили в море... Все, что у эстов раньше своим было, отдавали они в замки. Росла обида, перебродила она через край. От лыцарских замков, перед которыми эсты снимали колпаки, остались черные головни... Когда буря привела к берегу наши ладьи, только замок Эльтона высился на холме...

— И поныне стоит он? — нетерпеливо спросил Александр.

— Стоит, — ответил Спиридонович и споткнулся на этом слове, не зная, как сказать о том, что случилось на Сареме. — Только одолели эсты... И лыцари и войско их пали в битве...

— А ты, Спиридонович, видел ту битву?

— Привелось, княже.

— Уж не сражались ли вы с лыцарями? — усмехнулся Александр, смотря на смущенное лицо гостя. — Говори, не опускай глаз!

— Помогли эстам, княже, — признался Спиридонович. — Много добра и оружия нашлось в замке.

— А командор Эльтон... Бежал?

— Нет, никому из лыцарей не нашлось пути с острова.

— Велика ли ваша корысть, Спиридонович? — не утерпел, спросил торгового гостя боярин Лизута. — Что положили в ладьи?

— Не для корысти бились мы, болярин, — Спиридонович, вспыхнув от обиды, взглянул на Лизуту. — С врагами своими, лыцарями ливонскими, за Великий Новгород бились мы на Сареме; пусть и вины наши судит Новгород.

— Не горек ваш бой Новгороду, Василий Спиридонович, — успокаивая гостя, произнес Александр. По довольной улыбке, осветившей лицо князя, понял Спиридонович, что не сердится Ярославич. — Одолели вы лыцарей, — продолжал князь, — в том и честь вам. Будучи на Пскове, слышал я о битве на Сареме. Недруг молвил о том, и печаль была в его слове. Не поверил я, да и вы, когда бились, не ведали, что боем своим помогли нам одолеть лыцарей. Помощь из Риги командору фон Балку, что в пути была, повернула вспять. Эй, отроки! — прерывая себя, Александр хлопнул в ладоши. — Наполните чаши до краев медом пенным, чтоб никто не пил в полчаши!

Он подождал. И когда в чашах запенился мед, поднял свою. Мелкой зернью, травами яркими, узором чеканным сверкала она.

— Пить чаши досуха! — возгласил Александр. — За смелых и храбрых гостей новгородских, за то, чтобы стоял Великий Новгород и впредь торгом своим и силой!

Он осушил чашу. Со звоном покатилась она по столу.

— Скажи, Афанасий Ивкович... Был ты за морем, а видал там чаши искуснее этой?

Ивкович дотянулся к чаше, поднял ее, полюбовался на зернь и травы, сказал:

— От сердца молвлю, княже, не приходилось.

— Нет за морем лучше наших искусников, — похвалился Александр. — Делал чашу серебряный мастер Коров Барабец с Холопьей улицы.

Сильнее ударил в головы хмель. Ярче вспыхнули свечи в гридне, голоса пирующих стали громче: каждому хотелось сказать то, что таилось на сердце. Кто-то крикнул «славу», кто-то тянулся с лобызанием к Спиридоновичу; боярин Лизута заспорил с Гаврилой Олексичем, степенство свое забыл: распахнул шубу, лицо как в огне. Сила Тулубьев пристал к Онцифиру, твердит о шеломах да кованой броне.

— Наша броня лучше, — не соглашался Онцифир.

— Лучше ли? — развел руками Сила. — В кованой броне лыцарь сядет на конь и сидит, что город. Ни копьем его, ни мечом не тронешь; хоть пороки ставь да мечи каменьем.

Онцифир смеется.

— Город-то он город, болярин, а падет этот «город» на землю и не встанет... Что баба каменная. Ни руки ему, ни ноги не поднять. Против кистенишка аль засапожника не оборониться. Наша кольчужка прочна и легка, рукам в ней вольно.

— А почто, Онцифире, лыцари не вяжут кольчужек? — не унимается, спрашивает Сила.

— Спросить бы у них о том, болярин. Вязали бы небось, да тянуть и клепать колечко умельство надобно. Из четырех колечек на одном две заклепочки; не всякому мастеру доведется их заклепать. Недаром на торгу дороги кольчужки...

Солнце встало над Ильменем, в городе к заутреням зазвонили, а в княжей гридне свечи не гаснут. Кажется, только начался пир. Молодым не в тягость веселье, а как ударили гусляры по струнам, и у старых огонь пробежал в жилах. У боярина Водовика два зуба остались во рту, но и он забыл годы. Пролил на стол мед, песню вспомнил:

...Где пиво пьют, там ночку ночуют,
где пьют медочик, там целой годочик,
где пьют квасочик, тамо часочик,
где пьют водицу, там дай молодицу!..

Якун Лизута с Афанасием Ивковичем тянут свою:

...Там ли живет, да за Ильменем,
бела, румяна перепелочка;
не матушка мне, не тетушка, —
а ее люблю, за себя возьму...

Не видно конца пиру.

ГЛАВА 4

БЕДА НА БЕДУ

Не пил мед Стефан Твердиславич на пиру в княжей гридне. Уж он ли не крепок был, не силен, не именит, а свалила хворь — железом приковала к перине. Не то что со двора — через горницу не переступить. Ослаб он, речь попуталась. Но как ни тяжко боярину, а мысли его о земном.

«Переживу, перетерплю беду, — думал Стефан Твердиславич. — Встану, снова свет увижу. Невеста моя нареченная небось убивается... Легко ли молвить — под венец готовилась...»

Позвать бы Ефросинью в горницу, сказать ей о том, что, кроме нее, не введет он никого в хоромы... Ох! Легко ли ей видеть боярина, жениха нареченного, в тяжких немощах... Слезы будет лить после.

— Береги, Окулко, болярышню! — наказывал он Окулу. — Ни в чем не ведала бы она нужды.

Тоскливо плетутся дни в хоромах. Боярин головы не поднимает, лежит колодой неподвижной, а Окул... Сегодня с ног сбился ключник. Взыскать бы с кого вину, а с кого? Сам виноват в беде. Точно бес смутил черную душу Окула, — размяк он, пожалел. Обошла и спутала разум его старая Ермольевна. Ведь как она подкатилась; ни в одном глазу Окул не приметил у нее ни хитрости, ни преступного лукавства. Поверил, а теперь вот не знает, как и молвить боярину о том, что сотворилось. «Добро бы одна, так нет! Болярышню, невесту богоданную смутила».

Утром, раным-рано, явилась Ермольевна к Окулу и сказала:

— Собираемся ко Власию с болярышней, к обедне... Вели-ко открыть ворота.

— Ко Власию... Что ты, старая! Дома икон у вас нету? Почто болярышне ножки топтать! — возразил он.

— Своим-то иконам, батюшка, и в будни намолимся, а нынче какой день?

— День как день...

— Безбожник ты, Окул! — ужаснулась Ермольевна. — Тяжко будет тебе, как приведется давать ответ за житье свое.

— Спросят и отвечу, не к тебе приду кланяться. А чем особенный день нынче — не припомню.

— Где уж тебе, — насмешливо, не сердясь, усмехнулась Ермольевна беззубым ртом. — Спас-преображение на горе Фаворе нынче... В этакой-то день грешно домато... Домашняя-то молитва не дойдет ко престолу.

— Болярышню я сохраняю. Отпустишь, а ну как неладное?

— Махонькая она, слава тебе господи! У болярышни у нашей в мизинчике больше ума, чем у нас с тобой в голове. Слышал? Свое счастье она знает.

— Проведает болярин, что из хором ходили, что молвит?

— А что ему молвить? — нахохлилась Ермольевна, сердясь на упрямого ключника. — Самому-то не грешить бы тебе, Окул, а о том думать: как болярышня наша станет болярыней в хоромах, не вспомнила бы тогда она невзначай, что в велик день в церковь божию ты ее не пустил.

Наговорила Ермольевна и будто зельем опоила Окула. Размяк от бабьей речи. «И впрямь, не дите болярышня, — подумал. — Не сглазится, чай, оттого, что послушает, как попы поют».

— Ладно, велю открыть ворота, а ты, Ермольевна, помни: отпоют обедню — немедля домой! — наказал он.

— Куда же еще-то! Не на Гулящую горку побежим.

Колокола отзвонили «на выход», пора бы Ермольевне с боярышней дома быть, а их нет. «И поделом, не слушал бы старую дуру!» — ворчал Окул про себя. С каждой минутой тревога его усиливалась. И в терем он не раз забегал, и за ворота выглядывал. Когда уходили — Окул видел их из переходца: оделась боярышня не по-праздничному. Голубой летник на ней да плат белый. Ни жемчугов не надела, ни бус, ни колтов золотых. «Ох, беда! — вздыхал Окул. — И куда завела старая колдунья?» Шумно и людно на улицах. Не хотелось Окулу давать огласку своей тревоге, а как скроешь? Позвал к себе рыжего Якуна, воротного сторожа, спросил:

— Открывал ты, Якунко, утром ворота болярышне, как пошла она к обедне с Ермольевной?

— Открывал.

— К дому-то нет?!

— Не пускал их, не видел.

— Ты... Вот что, Якунко: беги туда, в церковь ко Власию, спрашивай у людей: не видел ли кто девицы в голубом летнике? Не найдешь следу — в хоромы не жалуй! — пригрозил Окул.

— Найду, не иголка, чай, — ощерил Якун в ухмылке кривые зубы.

К вечерням звонили, когда вернулся Якун в хоромы. Увидев его, Окул еле вымолвил:

— Где болярышня, Якунко?

— Болярышня где — не ведаю, а след ее отыскал, — ответил рыжий. — У Власия ее видели. Как обедню отпели, вышла она на паперть, дарила нищую братию. Ермольевна в сторонке стояла. Спустилась с паперти болярышня, подошел тут к ней молодец... Кто он? Не дознался. Поговорили они будто и не к дому пошли, а на Великий мост...

— О! — простонал Окул. — Пес ты, злодей ты, Якунко! Надо бы и тебе следом, на торгу спрашивать.

— Был я на торгу... И на Буян-лугу и на Гулящей горке... У людей спрашивал и сам смотрел: нет ни болярышни, ни Ермольевны.

— Иди ищи! — прохрипел Окул. — Тимка возьми с собой... Вернется старая колдунья, велю драть ее батожьем.

Глаза Окула сверкнули такой жестокой ненавистью, что даже Якунко попятился к дверце. Сухой, с обострившимся носом и ввалившимися щеками старик был страшен.

ГЛАВА 5

НОЧНОЙ ЗВОН

Боярин Якун Лизута проснулся у себя в горнице. В ушах шум, в висках ломота, как от угара. Потрогал голову — цела. Позавчера на Гзени, у Духова монастыря, встречали войско; звонили колокола, сказывал Новгород славу Александру. Не жаловал боярин Якун князя Александра и не скрывал того, но весть о черной смерти кума Бориса Олельковича сдула прежнюю прыть.

Ах, не слышать бы лучше Якуну про Свиные ворота во Пскове, не знать бы о том, что висели на тех воротах изменники-переветы — псковский Твердила и новгородский Нигоцевич. Будто сейчас лишь понял Лизута: молод Александр годами, а рука у него жесткая. В Новгороде против совета господ устоял, не устрашился он казнить Бориса Олельковича и тех, кто шли за Борисом.

Как ни мутна похмельная голова, а словно ледяные пиявки ползут между лопаток у боярина. Грех да беда с кем не живут. «Смириться надо, — решил Якун. — Не по времени распря».

Как встречали войско на Гзени, Лизута и молебен слушал и «славу» кричал князю. А вчера на пиру сидел в княжей гридне. Дознаться бы теперь, когда домой он вернулся? Рассказывал о чем-то на пиру гость Спиридонович... О том будто, как ходили они с Афанасием Ивковичем на торг в Висби, о битве вроде твердил... А с кем бились гости — не удержалось в памяти. Князь чашу поднял... Чью славу пили? Велика чаша была и мед крепок. Выпил боярин — гридня закружилась перед глазами.

А шум в ушах не умолкает. По вискам бьют железные молоточки — тук, тук... Вспомнился почему-то княжий воевода Гаврила Олексич. Смотрит будто Олексич на боярина из темного угла горницы и насмешливо щурит глаза. «Может, поспорил я с ним?» — попытался вспомнить боярин. Ох! Будто осенний мозглый туман съел память.

В горнице темно. Вечер, знать. Дождик на улице... Слышно, как царапается он в слюдяную оконницу. И в голове боль, и плечи ломит. Не пора ль боярину знать меру в питье! Небось не ковшами — бочками не измерить, сколько на своем веку выпил он меду и мальвазеи заморской, но, как сегодня, никогда не терял памяти.

— Тьфу, окаянная пропасть! — рассердился боярин. — Как же это я? Эй! — вскочил и затопал ногами по тесовому полу. — Никак все умерло в хоромах...

— Что повелишь, осударь-болярин? — в горнице неслышно появился ближний холоп.

— Огня! Уморить меня собрались в темнище.

В переходе послышался торопливый шепот. Скоро ближний холоп внес зажженную свечу в медном подсвечнике, поставил и застыл в поклоне. И потому ли, что свет озарил горницу, или потому, что увидел склоненную голову холопа, Лизута затих; обмял пальцами растопившийся на свече воск, спросил мягче:

— Спал-то я... много аль мало времени?

— К обедням звонили, как пожаловал ты в хоромы, осударь-болярин. А теперь-то ночь. Скоро, чай, заголо-

сят первые петухи. Владычный служка прибегал... Будили тебя, осударь, не добудились.

— С чем он?

— Звал к владыке... — Начал холоп, но, увидев, как ощетинились мохнатые брови боярина, запнулся.

— По делу звал-то? — спросил Лизута помедлив.

— Владыке-архиепископу будто худо нынче, — со вздохом произнес холоп. — Сказывал служка — ближних попов не узнает. В утре будто схиму восприимет.

— Как? — от изумления у боярина широко открылись глаза, словно впервые услышал он о болезни владыки. — Неужто и эта напасть за грехи наши! Немедля беги на владычный двор, проведай...

Весть, что владыка готовится принять схиму, и огорчила и удивила Лизуту. Боль в голове забылась. Древен летами владыка, но сохранил он юношескую ясность ума, зоркость духовную. Неужто владыка чует близость конца? «Не два века жить ему», — размышлял, бывало, Лизута, и все же ничто, казалось, не предвещало последнего часа архиепископа. Кончина владыки не пройдет бесследно для первого владычного боярина. Изберет Новгород нового архиепископа, а каков-то будет новый?

Лизута мысленно прикинул: кто явится избранником? Прикинул и не нашел достойного. Евстафий — игумен Антониева монастыря — безволен и тих, книжник Феогност, которому благоволил владыка, умен, настойчив, смел, но он грек... Новгород не примет грека. Нифонт, игумен юрьевский, достоин, но привержен суздальцам. Юрьев — княжий монастырь, а Нифонт друг Ярослава владимирского. Тревожно, ох тревожно! Не сталось бы так, что другой, кто и местом и вотчинами ниже Лизуты, сядет в Грановитой первым владычным боярином.

Лизута надел домашний кафтан, расчесал бороду. Холоп принес жбан со студеным квасом. Боярин взял жбан, отпил. Это освежило голову. Теперь он узнал знакомые стены горницы, сундук на лавке в углу, под образом, голубые и зеленые изразцы печи. Громче и тревожнее доносится с улицы шум дождя. Острые струйки его настойчиво бьются в слюду оконницы. Если бы не страх, что может унизить тем степенство свое, вышел бы

сейчас боярин так, как есть, из хором, подставил бы дождю непокрытую голову. Вспомнил он, какое наслаждение, бывало, испытывал, когда босоногим сопляком месил ногами лужи.

И как будто от дум этих потянуло боярина к еде. Росинки у него во рту не было с той поры, как вернулся из княжей гридни. И только бы Лизуте велеть принести еду, как плотная, непроницаемая тьма за оконницей гулко ухнула. От гула ее, ворвавшегося в горницу, заколебалось пламя свечи.

Лизута вздрогнул.

— Звонит святая София, — прошептал он, поднимая глаза в угол, где, еле мерцая, теплится огонек перед киотом. — Боже ты мой, осподи!

Не хотелось боярину верить тому, о чем вещал разнесшийся в неположенный час звон большого владычного колокола. А звон не утихал. Медленный, упругий, будто каменный, наполнял он тягостными звуками сомкнувшуюся над городом ночную тьму, врывался во все ее уголки, звал к скорби. Лизуте казалось, что все люди, как и он, слышат в этот час не звон большого владычного колокола, а горе, слезы и плач Великого Новгорода. Представился боярину сонм попов и игуменов в покоях владыки, черные ризы их, тягостное, разноголосое пение, колеблющееся пламя восковых свечей... «Неужто отойдет владыка, не доживет до утра?»

— Что делать? — вздыхал Лизута.

От страха у него потемнело в глазах. Он переживал такое несказанное смятение, словно не владыке, а ему, Якуну Лизуте, предстояло покинуть мир.

— Одёжу мне! — не крикнул, а высоко и тонко провизжал он. — Скорей! Осподи, прости меня, раба твоего, болярина! — молился Лизута. — Сподоби меня принять благословение святителя твоего!

Никогда еще с такою неловкой поспешностью, как сейчас, не надевал Лизута сафьяновые сапоги; с трудом запахнул он узкий кафтан; пояс был тесен, но Лизута не замечал ничего — даже не обругал помогавшего ему холопа.

Забыв посох, боярин спустился во двор; не разбирая пути, не обходя луж, тускло поблескивавших в темноте, поспешил в Детинец.

ВЕСТИ БОЯРИНА ФЕДОРА

Солнечные лучи разбудили Александра. Он потянулся спросонок, открыл глаза. Княгини в опочивальне не было. Александр удивился тому, что не слыхал, как поднялась она. Солнце уже высоко над городом, а никто не потревожил сон, не постучался в опочивальню. Александр, стараясь не шуметь, надел мягкие сафьяновые сапоги, тонкий домашний кафтан, усмехнулся так, словно собрался совершить что-то неположенное, и осторожно, на цыпочках, пошел к двери, которая вела в светлицу княгини.

Но княгини не оказалось и у себя. Александр постоял у пялец, где белело брошенное рукоделье, поднял его, поглядел на хитрый узор, вышитый на паволоке. Александр находился сегодня в том спокойном, счастливом настроении, когда хочется делать добро, ни на кого не сердиться, не помнить зла.

Из светлицы княгини сквозь прозрачную слюду оконницы видно стену Детинца и над нею, в ясной лазури неба, жаркое сияние золотых шеломов святой Софии.

Вспомнились недавние дни: торжество встречи войска на Новгороде, когда вернулось оно из похода к Пскову, кончина владыки; длинные, утомительные службы над гробом старца архиепископа, печальный обряд похорон. Возбуждение, в каком пребывал Новгород в эти дни, теперь улеглось. По праву своему и обычаям избирает Новгород архиепископа. Кто из попов избран, тот и будет поставлен. Новгородский владыка — глава совета господ, решает судьбы города. Александр хотел одного: чтобы вновь избранный владыка не питал козней противу Суздальской земли, был другом ему. Боярин Федор сказал вчера, что многие люди в Новгороде желают видеть главою дома святой Софии юрьевского игумена Нифонта. Это совпадало с желаниями Александра.

Сегодня все складывалось так, будто впереди ожидает удача. Утро встало ясное и солнечное; хорошее настроение, в каком проснулся Александр, его не поки-

дало. «Где же Параша?» — спохватился он, отвлекшись от дум.

Положив на пяльцы княгинино рукоделье, Александр осторожно, как и давеча, приблизился к двери новой горенки, потянул за скобу. Дверь открылась не скрипнув. Княгиня в белом летнике сидела перед окном и кормила Васеньку, Евпраксеюшка прибирала люльку. Она что-то рассказывала княгине, а та, занятая своим делом, будто не слышала, что говорит мамка. Не замеченный ими, Александр подошел сзади к княгине, обнял ее.

— Ай! — воскликнула княгиня, увидев мужа, и улыбнулась. — Сашенька! Напугал нас. Мамка, возьми Васеньку!

— Подожди, мамка! — Александр отстранил Евпраксеюшку, когда она подошла к княгине и хотела взять у нее сына. — Дай взглянуть на него!

— Взгляни, взгляни, князюшка, взгляни на сыночка. Выросли уж мы, четыре зубочка у нас.

Александр наклонился к Васеньке. Он и гордился тем, что у него есть сын, и в то же время никак не мог привыкнуть к этой мысли.

— Дел у меня много, мамка, — не сердясь, а будто оправдываясь в том, что редко видит сына, сказал Евпраксеюшке. — Некогда сидеть в тереме.

— То-то вот, некогда, — ворчливо отозвалась мамка. — Взял бы сыночка-то, приголубил.

— А и верно! Дай, Параша, подержу его.

— Что ты, уронишь! — испугалась и обрадовалась княгиня.

— Не уроню.

Взяв на руки сына, Александр, к изумлению своему, оробел. Ему казалось, что каким-нибудь неловким движением он причинит ему боль. И Васенька, только что покойно лежавший на руках матери, вдруг сморщился — в горенке раздался плач.

— Что ты! Ну что ты? — Александр попытался успокоить сына. — Вот я покачаю тебя...

Он начал легонько подбрасывать Васеньку на руках, тот закричал еще громче. Это совсем озадачило Александра. Он растерянно оглянулся, не зная, что делать. Княгиня и мамка улыбались, наблюдая за ним, как будто

их радовала его беспомощность. Вдруг ребенок дернулся так сильно, что еле не выскользнул из рук отца.

— Дай-ка его мне, князюшка! — торопливо подбежала Евпраксеюшка. — Видно, и впрямь не твое дело нянчиться с младенцем. Покраснел-то он у тебя...

Евпраксеюшка взяла Васеньку из рук Александра. Какими-то несказанно мягкими и нежными движениями, прибаюкивая, стала покачивать, приговаривая:

— Обидели Васеньку! Батюшка пришел... Васенька не хочет к нему. Руки у батюшки жесткие... О-о-о!

Как ни неудачна оказалась попытка подержать на руках сына, Александр все же был доволен. Словно желая постигнуть тайны мудрой науки обращения с детьми, он наблюдал за мамкой. Княгиня все еще улыбалась, обрадованная тем, что Александр заглянул в светлицу к Васеньке, держал его на руках. Она вспомнила растерянное лицо Александра, когда он старался и не мог успокоить сына. Это радовало ее. Как будто от того, что Александр оказался не в силах выполнить то, что так нетрудно и легко удавалось ей, стал он еще ближе. Она подвинулась к мужу и молча прижалась к нему.

Александр долго пробыл с княгиней. Время уже перевалило за полдни, когда он вышел в гридню. На пути встретился Олексич.

— Тебя ожидаю, княже, — сказал он. — Все приготовил к поезду на Шелонь, когда выезжать скажешь?

— Довольно ли взял припасов, Олексич?

— Три подводы с припасами пойдут.

— С тебя спрошу, если придется голодными в борах жить, — усмехнулся Александр. — Выедем завтра, поутру.

В гридне ожидал Александра боярин Федор.

— Буди здрав, княже! — поднялся он навстречу. — Скажи, чтобы лишние кто не топтались в гридне. Дело есть и вести важные.

— От батюшки? — живо спросил Александр. — Не стряслось ли что нынче во Владимире?

— Из Владимира не принимал гонцов, — ответил боярин. — И из иных не всякую скажешь вслух.

— Быть так, — Александр подал знак, чтобы никто

не входил в гридню, покуда будет он беседовать с боярином.

Федор Данилович начал не сразу. Он подождал, пока опустела гридня, и тогда лишь достал из-за пазухи свиток, развернул было его, но вдруг, словно вспомнив о чем-то более важном, сложил его вновь и сказал:

— О болярине Стефане Твердиславиче слово, княже.

— Недужит он, знаю. Худ стал?

— Худ. Но слово не о хвори его. Жила в хоромах у болярина Стефана девица... Падчерицей покойному братцу Стефанову она приходилась. Вознамерился болярин взять ту девицу за себя в жены. К свадьбе готовились, и нежданно, в последний час, застигла его хворь. Руки и ноги отмерли. Девица осталась в хоромах невестой, а в недавнем времени вдруг исчезла. Пошла с мамкой за обедню ко Власию, и обе будто канули в воду.

— Слышал о том, — перебил Александр боярина. — Нашли девицу?

— Нет. А с болярином Стефаном хуже беда — речь у него смешалась.

— Руду бы открыть...

— Открывали... Не жилец он, сказывают, но не о нем слово...

— О ком? Не слышу о других.

— Шум будет у вотчинных. Болярские люди не нашли девицы, а мне стало ведомо...

— На то и ближний ты, Федор Данилович! Тебе ли не знать! — усмехнулся Александр.

— В Новгороде она, здоровехонька. Увел ее молодец удалой...

— Не из дружины ли нашей удалец? — высказал подозрение и нахмурился Александр. — Что увел девицу — его дело, лишь бы подобру и охотой шла с ним; но за то, что молчал, накажу. Будут толки на Новгороде: княжие-де дружинники чужих невест бесчестят... Кто он по имени?

— Не из дружины молодец. Торговый гость Василий Спиридонович.

— Спиридонович? — лицо Александра посветлело. — Чужую невесту увел?.. Не думал о нем такое. Ну, пошумят, побранятся вотчинные, а княжий двор в стороне. Гости торговые сами дадут ответ, да небось и бо-

ляре не все скажут за Твердиславича; ему ли, хворому, владеть молодой женой!.. Пошли, болярин, отрока в хоромы к Спиридоновичу, пусть явится гость на княжий двор, спросим его: где прошел науку чужих невест красть? А какова та болярышня, украденная? Видел ты ее? Хороша?

— Чернява, но стройна и румяна... Зовут Ефросиньей.

— Где схоронил болярышню Спиридонович, не в своих ли хоромах?

— Нет, не у себя. Живет она на Лубянице, по родству Васильеву, в хоромах старосты Онцифира.

Услышав, где скрывается Ефросинья, Александр усмехнулся.

— Как пошлешь отрока к Спиридоновичу, болярин, — сказал он, — передай заодно: седлали бы коней, ввечеру поеду на Лубяницу. Со мною быть Олексичу и Ивашке; еще двум отрокам на конях. Есть у тебя, Федор Данилович, еще дела неотложные?

— Да, — Федор Данилович развернул свиток. — Недобрую молвлю весть.

— Не хотелось бы мне слушать недоброе, да не обойдешься, знать. Не скрывай, говори прямо. Грамота у тебя... Откуда она?

— Из Риги, тайная грамота. Поутру нынче принес гонец. Пишут и на словах гонец передал: зло замышляют в Риге. И епископ и лыцари...

— Когда же уймутся они? — перебивая боярина, воскликнул Александр. Он с шумом отодвинул кресло, на котором сидел, прошел к двери, вернулся и сел на скамью, ближе к боярину Федору. — Давно ли в Копорье и Пскове бились с ними, не пошла, знать, им впрок наука.

— Не гневайся, Александр Ярославич, с терпением выслушай то, о чем молвлю, — сказал боярин. — В Риге меченосцы о своем благе думают, мы тоже подумаем о своем.

— От кого грамота, верный ли тот человек, Федор Данилович? — после небольшого молчания спросил Александр.

— Нам он верен. Мною послан туда... Знают его в Риге как гостя из Преслава болгарского, от Русского

моря. В почете живет он в Риге и в речи немецкой сведущ.

— О чем довел в грамоте?

— Рать собирают ливонцы, кричат о большом походе на Русь.

— Не пугают ли нас большим-то криком, боярин? — усомнился Александр. — Велика ли их сила? Что пишет о том гость из Преслава?

— Пишет — озлоблены лыцари за поражения, принятые от тебя, шумят о походе по всем землям германским и датским. Тати и разбойники, кои не славы ратной ищут в битвах, а добычи, собираются в лыцарское войско. Пройдут по нашей земле — страшно молвить, сколько прольется крови, сколько слез и бед принесут они.

— Не будем и мы сидеть да ждать сложа руки, боярин, — выслушав Федора Даниловича, сказал Александр. — Мы стоим в Пскове и не собирались уходить оттуда. Большую рать собирают лыцари, но мы шума о том не поднимем. Пусть утешаются в Риге тем, что походом своим захватят нас врасплох. Завтра соберемся на Шелонь, а ты, Федор Данилович, гостю из Преслава дай слух, что князь не думает о походе, ушел с ближнею дружиной гулять на ловища. К нашим выгодам слух будет. И, не медля, снаряди гонцов с грамотами в Карелу, на Обонежские земли, в Устюг Великий, в Бежичи... Собирались бы посошные ратники и шли в Новгород. Вернемся с Шелони — пойду с малой дружиной во Владимир, спрошу у великого князя помощи Новгороду низовыми полками. А уйду — ты, Данилович, о том передай слух в Ригу, что князь во Владимире, возвернется когда на Новгород — неведомо. Не раньше весны. Думали бы и судили епископы и лыцари о беспечности нашей.

— Сделаю так, как велишь, княже, — сказал боярин. — Напишу грамоты. Оружие у ремесленных, кое сделано будет, не возьму до времени на княжий двор, велю хранить у себя. Гостиным людям молвлю: готовили бы крупу да сухари, куделю дали бы на тегилеи, железо и медь, у кого отыщутся. Соберется войско, было бы чем его снарядить.

— Делай все, как указано, Федор Данилович! И о том нынче твоя забота — не пришел бы в дом святой

Софии чужой поп. Явится чужой — распри и коварства будут, до них ли нынче! Желаю я видеть владыкою новгородским юрьевского игумена Нифонта.

— И я не ведаю попа достойнее Нифонта, — согласился Федор Данилович. — Поезжай на Шелонь, княже; ты свое делай, а я свое.

ГЛАВА 7

КЛЮЧНИК ВЛАДЫЧНОЙ ВОТЧИНЫ

Семенко Глина объявился на Шелони. Не худым попишком, каким пробирался когда-то он из Риги в Новгород, явился на Шелонь Семен, а правителем — ключником владычной вотчины. Привез его в вотчину ближний владычный ключарь Феогност; холопам и ратникам владычного полка, сторожившим вотчинное добро, наказал он: слушаться во всем Семена, а кто ослушается — судим будет владычным судом.

Вотчинная усадебка, где поселился Семен, окружена рвом, над которым, на валу, высится острог с рублеными стрельницами по углам. Внутри острога — хоромы островерхие с клетями и подклетями; рядом — церковка деревянная. От ветхости церковка покосилась, и издали казалось — кланяется она кому-то. По зимам церковка отапливается по-черному, отчего лики в иконостасе до того потускнели от копоти, что нельзя отличить один от другого.

Глина обосновался в верхней светелке; внизу, над клетями, жили стражи и работные холопы. Жизнь в хоромах боярина Нигоцевича научила Глину боярскому обиходу. В светелке у него, на лавке в переднем углу, тяжелый ларец, окованный железом, лавки покрыты сукном, на полу разостлан мягкий войлок. Поселясь в вотчине, Глина сбросил крашенинный подрясник и скуфейку, надел белую рубаху из тонкого холста, с красной обнизью, малиновый суконный подрясник. Поверх подрясника — пояс сыромятный; выцветшую скуфейку заменил колпак, отороченный куницей. Бесцветное лицо

его пополнело, а серые глаза не выражали больше осторожности и тревоги.

Богаты рыбные ловища на Шелони, много красного зверя и пчелиных бортей в борах. Холопы и смерды-половники, что живут в посадах и займищах на владычной земле, ловят рыбу и зверя, ищут борти, сеют жито на пахоте, льны на огнищах. Зимой, как только установится санный путь, скрипят обозы по дороге на Новгород; везут мужики во владычные закрома зерно, мягкий и белый, как серебро, тонкопрядый лен, бочки с медом самотечным, прозрачным, как янтарь; везут воск, меха лисьи, куньи, бобровые, горностаевые; везут дичь мороженую, зайцев, окорока кабаньи. Не перечесть добра, которое идет с Шелони ко владычному двору. Владычными указами взято в вотчину святой Софии все Зашелонье, до Полисти.

Против владычного слова в Новгороде Великом ни князь, ни бояре в совете господ не судят суда. Да и кто понесет навет или жалобу на дом святой Софии! Ратники владычного полка сожгут жилье непокорного смерда, а самого бросят в поруб.

В первые дни владычества своего в вотчине Глина сидел тихо. Он не показывался за воротами острога: смотрел добро, что сложено в клетях, бранил работных холопов, но ни к кому из них пальцем не прикоснулся. По вотчине разнеслась весть о доброте нового правителя.

Как-то вышел Семен за острог. Остановясь на берегу Шелони, он обнажил голову и потер ладонью лысину. Пора летняя, люди — кто на пахоте, кто в борах. Неподалеку, в тени дубка, усмотрел Семен холопа. По древности лет посажен был тот вязать метлы березовые; в молотьбу, как начнут вороха веять, подкидывая лопатами на ветру зерно, нужны будут метлы.

Семен подошел к древнему.

— Вяжешь? — спросил.

— Вяжу, — холоп доверчиво взглянул на ключника. — Теплынь-то какая нынче, создатель, благода-ать! Вяжу метлу и любуюсь вот на реку — блести-ит на солнышке, как налитая. А косточки у меня ломит, чую, уж не к дождю ли?

— Нужен дождик-от?

— Как не нужен, создатель! Лен зацветает, дай-ко помóку ему — на пол-локтя прибавится стебелек; не падет дождика — поубавится ленку.

— Меня знаешь, старче? — Глина спросил и выше закинул голову.

— Знаю. Ключник ты на вотчине. Хвалит тебя народ, милостив, бают.

— А как сам думаешь?

— Мне-то о чем думать, создатель! Добер к народу — и ладно.

— Давно ли обитаешь на Шелони, старче?

— Давно. Рожден здесь и помирать тут буду.

— Далеко ли отсюда устье Мшаги? Слыхал о такой реке?

— Слыхал и оком ее зрел, — беззубо усмехнулся древний. — Как пойдешь отсюдова вниз по Шелони, — он показал в сторону бора, который темнел за излучиной реки, — и полдня не будет пути до устья.

— Искусные домники, сказывают, есть на Мшаге?

— Есть. В Медвецком погосте. Хитрецы там, ох хитрецы, создатель! В Новгород возят крицы и сами куют изделия.

— Погост тот... далеко от устья?

— Почто далеко, недалечко. Топор, коса ли горбуша кому потребна, бегут к медвецким кричникам. Вольный погост у них.

Семенко Глина, как бы забывшись, постоял, любуясь сверкающим лоном реки. За нею раскинулся поемный луг, а дальше, на холме, виднелись избы погоста.

— Чья земля там? — спросил, показывая на луга.

— Вольная, Великого Новгорода. А туда, вверху по Шелони, была вотчинка болярина Нигоцевича. Сам-то болярин за рубеж ушел, а земельку не унес.

— Не твоего ума дело, старче, судить болярина, — нахмурил брови Глина. — Может, знавал ты Данилу-бортника, чья поляна и займище на Шелони?

— Слыхал, — не понимая, отчего потемнело лицо ключника, ответил древний.

— Нынче жив Данила?

— Что ему станется, создатель! Мужик крепкой.

Глина вернулся в ограду. На колоде у клети, в ко-

торой топили воск, стоя на коленях, пластали березовые поленья двое работных холопов. Глина подошел к ним. Работных не испугало внезапное появление попа. Казалось, они даже были довольны тем, что его видят.

— Горит ли огонек под котлами, отроки? — спросил Глина. — Много ли кругов воску налили?

— Не зажигали нынче, — ответил тот, что был ближе.

— Дивно слово твое... Почто не зажигали?

— Дровишки пластаем. Поглядеть бы тебе, ключник, на котлы да на печи в клети: старое все, худое. Зажжем — дыму полно, от угару голова мутится. В аду слаще. А страху... Только и ждешь — не спалить бы.

— Дивно, дивно, отроки! — словно бы удивясь тому, что услышал, сказал Глина. — Встань-ко!

Холоп поднялся. На ногах он оказался так высок, что голова Глины еле достигала ему плеча. В синих, спокойных, как лазурь, глазах работного не отражалось ни беспокойства, ни удивления.

— Что велишь? — спросил он попа.

— Эко вырос ты, отроче, — глядя на него, промолвил Глина. Пропитанная воском, темная от копоти холщовая рубаха холопа топорщилась лубом. — Поднимико, отроче, сю булыжинку, порадуй! — Глина показал на выступавшую из утоптанной луговины серую шапку камня-дресвяника.

Холоп ухмыльнулся, приблизился к камню, потрогал — не поддается. Тогда он поплевал на ладони, нагнулся и, рванув камень к себе, выворотил его. На месте, где лежал камень, зияла влажной землей яма глубиной по колено.

— Есть силушка, — одобрил Глина. — А теперь, отроче, сбегай к овражку, наломай черемушника. А как принесешь сюда, тут вы, отроки, за безделие свое постегаете друг дружку. Сперва он, — Глина показал на холопа, стоявшего поодаль. — Он послабее тебя, ну и начнет, а после, как скажу, ты постегаешь. Да без хитрости, отроки, во всю силу, а то осержусь. Крестили-то каким тебя христианским именем?

— Нефедом, — ответил силач. Наивная белозубая

ухмылка все еще не исчезла с его лица, но лазурь, оживлявшая глаза, поблекла.

— Нефед... Даст бог — упомню. Иди, ломай черемушку!

Нефед исчез. На тесовой крыше церковки мирно воркуют два сизых голубя. Оставшийся у восковарни холоп, почуяв недоброе за ласковой речью Глины, тряхнул взлохмаченными волосами.

— За какую вину твое наказание нам, ключник?

— Что ты, отроче, какое же наказание? — с силой хлопнув себя по шее, куда присосался слепень, осклабился Глина. — Утро долгое было, а вы ни круга воску не налили. Постегаете друг дружку — обоим польза от того и обиды не будет. Коли б я стражу велел постегать вас, наказание было бы, а я не велел. Зачем? Кто умен, тот и без стража поймет, как радеть владычным холопам дому святой Софии.

Глина, сказав это, обнажил голову. Лысое темя его лоснилось на солнышке. Терпение, которое проявлял он, дожидаясь возвращения Нефеда, удивило холопа. Ни тени гнева или другого неприязненного чувства не отражалось на лице попа.

— Молви, отроче, свое имя! — велел.

— Семеном зовут люди.

— Ишь ты, тезка мой. А по прозвищу?

— Лузга.

— Семенко Лузга... Что же ты, раб божий Семен, глазищами меня ешь? — Глина внезапно оборвал сладкую речь, с лица его сбежала улыбка. — Благословением владыки архиепископа преподано мне блюсти вотчинку святой Софии и людей, обитающих в ней.

— Почто к прутьям-то приговорил?

— Мой суд — божий суд, — наставительно произнес Глина. — Далеко ты от бога живешь, отроче. В писании сказано: «Кого люблю, того наказую». Мое место близко к богу. Все, что содеяно мною, ему видно. А рабу приличествует в смирении и со страхом исполнять волю наставников.

Долго поучал поп стоявшего перед ним в угрюмом молчании Лузгу. Первая заповедь холопа, говорил он, — преданность господину, вторая — смирение, третья — по-

слушание. Воля наставника — милость, а боль — наказание за грех.

Вернулся Нефед. Он молча бросил перед Глиной гибкие прутья черемушника и застыл, растерянно опустив руки. Глина взглянул на него. Что-то жесткое и хищное на мгновение сверкнуло в глазах попа. И как бы боясь выдать себя, он наклонился, выбрал прут; пропустив его сквозь сжатый кулак, оборвал листву.

— Бери, отроче! — Глина протянул Лузге гибкую, упругую черемушку. — Не играй, силу окажи. Подивись, каков он, — указал на Нефеда. — Верзилище перед тобой. А ты, Нефеде, — Глина тронул плечо холопа, — не запамятовал ли, что велено? Скидывай портовье, припади брюхом на мураву и лежи. Похлещет тебя Семенко Лузга, а как скажу я «довольно» — ты возьмешь черемушку и вернешь Лузге то, что от него принял.

Жадный взгляд попа словно впился в распластавшееся на зелени лужайки сильное тело Нефеда. Всякий раз, когда прут, извиваясь и свистя, опускался, оставляя после себя зловещий ярко-багровый рубец, оно вздрагивало, плотнее приникало к земле. Холоп молчал. Точно не по нему, а по разомлевшей от зноя земле, вымахивая руку, хлестал Лузга. Ни страдания, ни боли — ничего нельзя было прочесть в широко открытых, немигающих глазах мужика. Обида за позорное наказание, затаенная ненависть к бездушному ключнику слились в его взгляде и, остекленев, застыли в нем.

Глина упивался сознанием своей власти. Он наслаждался тем, что Нефед, от одного взмаха руки которого не осталось бы мокра на том месте, где стоит ключник, — этот Нефед покорно лежит в прахе. Наказывая холопа, Глина словно мстил ему за его силу, за давешний смелый и открытый взгляд... Глина желал одного: чтобы все во владычной вотчине и подле нее страшилось его слова и взгляда.

Когда на теле Нефеда багровые рубцы слились в одно припухшее и обрызганное кровью зарево, Глина молвил:

— Остановись, отроче! Ишь как ты его украсил... Теперь сам скидывай одежонку, погляжу, как он тебя.

УВЕДЕНКА

Опускается роса. В открытый волок оконницы льется прохладный вечерний воздух. Солнечные лучи, замирая, последними, уже не греющими бликами играют на крышах хором.

Ефросинья одна в горнице. Вот-вот скроется солнце, окунувшись в вершины бора, темнеющего синим отрогом на плоских холмах за Ситенкой. Васена убежала с девушками по малину за Нелезень. Ермольевна с утра ушла на Липну, пора бы уж ей обратно... Васенька обещал вчера быть нынче к полудню, а вот уж и вечер, друга милого все нет; и вести не дал о себе.

Грустно Ефросинье. Радость и счастье испытала она, вырвавшись на волю из хором Твердиславича. Боярышней жила там, а был ей терем хуже кельи в дальнем монастырьке. Сушит девушку страх. Не боярина страшно, а больно, что друга нет близко. «Разлюбил, может, потому и нет, — думает Ефросинья. — А я-то жду, убралась, как на праздник, душу свою отдала ему, счастье девичье».

Над березами, что шумят за тыном, вьются голуби. «Если тот, белый, опустится на березу — любит Васенька», — загадала Ефросинья. А белый голубь взвился так высоко, что на миг будто растаял в синем небе. Но вот он появился вновь, сделал круг и... опустился. «Любит, — развеселилась Ефросинья. — Любит».

— Фрося, лада моя... Да не одна ли ты? — услыхала жаркий шепот.

Хотела крикнуть Ефросинья от радости и не смогла.

— Васенька! — прошептала еле слышно. — Ой, как долго ты... Время-то позднее.

— Отгадай, где был я? — Спиридонович усадил Ефросинью рядом с собой.

— На торгу... С гостями заморскими пировал, — лукаво промолвила Ефросинья. — Сладкий мед пил и забыл про меня за чашей.

— Нет, лада моя, не губил я меду, не пировал на торгу... На княжем дворе задержался.

— Уж не болярин ли, ворог мой, жаловался на тебя князю? — испугалась Ефросинья.

— Болярин, ворог твой, колодой лежит, — отверг Спиридонович догадку Ефросиньи. — Иное случилось. В полудни, когда собрался я на Лубяницу, явился в хоромы ко мне Афанасий Ивкович, торговый гость; на паях с ним продавали мы воск иноземцам на Готский двор. Афанасий Ивкович расчеты вел с ними. Задержал он меня до второго часу. Только простились — прибежал отрок ближнего княжего болярина с наказом, велел-де князь Александр Ярославич быть гостю Спиридоновичу на дворе княжем. Ох, и бранил я себя, что не успел вовремя уйти на Лубяницу. И то знаю, без важного дела, без нужды не позвал бы Александр Ярославич. А почто звал — догадайся!

— Где уж мне, — встревожилась Ефросинья.

— Умна ты, подумай!

— Не за море ли идти велит? — помолчав, спросила.

— Нет, Фрося, не пойду за море, пока не войдешь ты хозяйкою в мои хоромы. О тебе говорил князь и бранил меня.

— За что? Чем я провинилась? Уж не тем ли, что от смертной беды спаслась?

— Нет, князь тебя не винит. Бранил меня Александр Ярославич за то, что увел я чужую невесту и не пришел после на княжий двор, ни князю, ни ближнему болярину не сказал о том, что сделал, заступы не попросил. Несчастье-де положил на болярышню-уведенку, а венцом не покрыл. Проведают, сказал, дворские Твердиславича, где укрывается болярышня, суда просить будут.

— Ах, не видать мне счастья! — кровь отлила от лица Ефросиньи. — Неужто вернут меня в хоромы к болярину?

— Не будет того, — Спиридонович обнял и привлек к себе девушку. — Ну улыбнись, моя лада, подари взглядом ласковым! Скажу еще весть, какой не ждала ты. Ввечеру нынче обещал быть здесь, в хоромах у Онцифира, Александр Ярославич.

— Что ты?! — пуще испугалась Ефросинья. — Увидит меня.

— Не слепой, чай, — улыбнулся Спиридонович на восклицание девушки. — А ты, Фрося, не пугайся, прямо

в очи ему смотри!.. По дружбе придет Александр Ярославич, и тебе и мне пожелать счастья.

— Страшно, Васенька. Спросит он меня, а что скажу? Слов-то я не найду.

— Князь — друг мне, — продолжал успокаивать девушку Спиридонович. — О чем спросит, на то и ответ будет.

— Лучше бы так-то... Почто ты звал князя, Васенька?

— Не звал, поклянусь в том. Его на то воля. «Буду, сказал, нынче у Онцифира на Лубянице, а потом...» Передавать ли, что он молвил?

— Не таи, сказывай!

— Посмеялся над тем, что чужую невесту увел я из хором боляри́на Стефана, да и пообещал: рад уж или нет, говорит, ты, Спиридонович, а погляжу на твою болярышню. Мила и хороша девица — чашу меду из рук ее осушу и крепко поцелую красавицу, не по душе станется — не обессудь, не пригублю чаши.

— Ой! — щеки Ефросиньи залил яркий румянец. — От стыда сгорю. Не сказывать бы князю, где живу.

— И в том не моя вина. Не от меня князь узнал о твоем жительстве.

— Как узнал? — спросила Ефросинья, и не столько от испуга, сколько от любопытства девичьего дрогнул ее голос. — Холопы болярские не нашли, а князь не видел меня и не искал... Не колдун ли уж?

— Колдун, — засмеялся Спиридонович. — И не диво, Фрося, ему все положено знать.

...Тихо, словно крадучись, выползла из-за Ильменя темная, как ночь, грозовая туча. Никто не ждал ее. Будто невзначай, далеко-далеко поиграла молния и вслед ей перекатился гром; похоже, что в дальнем конце улицы кони перебрали копытами бревенчатую мостовую. Туча заволокла полнеба. Резкий порыв ветра качнул березы за тыном, похлопал в жесткие ладошки тополей на дворе. Гром прогрохотал ближе.

Александр Ярославич готовился занести ногу в стремя, когда стоявший поблизости Олексич сказал:

— В пору ли нынче идти на Лубяницу, княже? Дождь застигнет в пути.

— А ты, Олексич, как болярышня красная, — Александр насмешливо взглянул на воеводу. — Дождик тебе страшнее стрел вражьих.

Дождь и в самом деле застиг в пути. Первые редкие крупные капли его падали устало и тяжело, словно не решаясь тревожить утомленную дневным зноем землю. Александр припустил коня. Длинным рыжим хвостом заклубилась позади пыль — дождь не успел прибить ее. Осадили коней перед хоромами Онцифира.

— Стучи в ворота, Ивашко! — велел Александр.

Едва он вымолвил, как блеснула молния. Огненный шар, вырвавшись из темных недр тучи, осветил город. Будто вспыхнули на миг бревенчатые палисады хором, узкий, как игрушечный, мост через пересохший ручей, деревья, зеленый шелом одноглавой церковки... Еще через мгновение, когда и улица, и все вокруг снова окунулось в непроницаемый мрак, раздался такой оглушительный треск, что Александр невольно пригнулся в седле, но тут же выпрямился и окликнул:

— Не слышу стука, Ивашко. Аль не нашел пути на двор?

Ивашко, ведя в поводу коня, стоял у ворот, когда вслед за ослепительным блеском невиданного им огненного шара, упавшего, казалось, где-то рядом, раздался оглушительный треск. Вздрогнула и заколебалась под ногами земля. Ивашко прижался к коню. Сколько раз встречал он грозу в борах и в поле, встречал в одиночестве, вдали от жилья, но никогда не видел молнии, похожей на раскаленный белый камень, брошенный пороком, не слыхал грома страшнее того, какой рассыпался над городом. Ослепленный молнией, Ивашко не видел ничего перед собой в сгустившемся мраке. И хоромы, и тын, окружающий их, и улица, и всадники — все отступило куда-то. Дождь тоже усилился. Холодные и острые струи его, как прутьями, секли лицо.

Голос князя заставил очнуться Ивашку. Шагнув вперед, он толкнул ворота. Не запертые изнутри, они распахнулись настежь.

— Никак ждали нас, княже, — сказал.

...В горнице полумрак. Желтый огонек жирника еле освещал стены. Васена и Ефросинья скрылись в светлицу. Напуганные внезапной грозой, они, прижавшись

друг к другу, молча сидели в темноте, вздрагивая и замирая при каждой вспышке молнии. В горнице Спиридонович рассказывал лучнику о сегодняшней встрече с князем. Онцифир, слушая, изредка переспрашивал Спиридоновича, а когда тот передал, за что разбранил его Ярославич, Онцифир посмеялся:

— Сведали княжеские о твоих хитростях?

— Сведали...

— То-то. Думать бы тебе раньше, Василий, глядишь, Ярославич-то добром помог бы. Говоришь, обещал сам быть?

— Обещал. Гроза разразилась не ко времени.

— От болярышни не скрыл? Знает она, что князь будет?

— Не скрыл...

Сверкнула молния. От громового раската огонек жирника вытянулся, мигнул и погас.

— Близко ударило, Василий, — тревожно прозвучал в темноте голос Онцифира. — Не стало б пожару...

— Дождь шумит, погасит.

— Ветер силен, на таком ветру, как сейчас, и дождь не помешает огню.

Со двора донеслись голоса. Кто-то вбежал по лестнице, повозился в сенях, шаря скобу. Распахнул дверь.

— Жив ли, Онцифире? — раздался громкий голос, в котором и Онцифир и Спиридонович узнали голос князя. — Укрой от непогоды гостей нежданных!

— Добро пожаловать, княже! — ответил Онцифир. — Не в пору дождь, промокли гости.

— Не гонишь, так не скупись, Онцифире, зажигай свечи! Непривычно в темноте беседу вести.

Спиридонович высек огонь. Онцифир достал из ларца восковые свечи, зажег их и поставил в железные подсвечники. Теперь, когда свет озарил горницу, она стала и шире и приветливей.

— Меня и дружинников моих, — Александр показал на вошедших вместе с ним в горницу Олексича и Ивашку, — гроза застигла, да и видеть хотел я тебя. Живет будто бы в хоромах твоих девица, бежала из болярских хором; сирота она, а роду болярского, дальняя родня болярину Стефану Твердиславичу. Не то горе, что ушла девица из хором, но ушла-то, сказывают, не своею охо-

той; силой, без согласия, увел девицу удалой молодец. Нынче живет она уведенкою подневольной, не женой, не невестой молодцу. Может, ты, Онцифире, поведаешь, правду ли я молвил?

Нарочитая серьезность, с какою говорил Александр, развеселила Онцифира. Не сердится князь на Спиридоновича, не сердится и на то, что живет боярышня в хоромах на Лубянице, но хочет посмеяться над торговым гостем и над уведенкой-боярышней.

— Прости, княже, вину, — начал Онцифир. — Правду ты молвил. Живет в хоромах у меня девица... Кто она — не ведаю. Потому живет, что просил Василий Спиридонович заступить ее от ворогов. Обманул он — его и суди.

— Во всем моя вина, княже, — сказал Спиридонович и умолк... Олексич и Ивашко поджимали животы, еле сдерживаясь, чтоб не расхохотаться.

— Хвала тому, что повинился ты, — произнес Александр все так же серьезно, как и начал. — Придется звать в горницу болярышню, у нее спросить: своей ли волей пришла на Лубяницу? Молвит, что не своей, что силой уведена, — велю отпустить, вольна будет идти куда хочет. Если ж охотою шла — на то поглядим: пригожа ли девица? А ты, Онцифире, коли принял гостей, то вели нести чаши меду пенного; авось гости смелей будут, а хозяин тароватее.

ГЛАВА 9

ВЛАДЫЧНАЯ ГРАМОТА

Неспроста Семенко Глина разведывал пути к Медвецкому погосту. Ближний владычный ключарь Феогност, когда ставил Глину в вотчину, наказал:

— Не преминь побывать на Мшаге, отче Симеоне, не пожалей трудов. Близко от устья, где Мшага впадает в Шелонь, есть погостишко на правом берегу Мшаги. Старыми грамотами Новгорода Великого все Зашелонье — до Полисти и Псковской земли — дано святой Софии. Правый берег Мшаги нынче прими, отче, в владычную вотчину, дань возьми и все, что указом владыки положено давать смердам-половникам.

Как ни вознесся Семенко Глина, все же не забыл он Даниловой поляны и займищанина-бортника. В прошлом году, когда шел из Риги гонцом Нигоцевича с грамотами к владыке и боярам новгородским, напал он на поляну в борах. Горд был в ту пору Данила, не устрашился.

После той встречи много бед пережил Глина, но горше беды, что привела к гибели боярина Нигоцевича, не знал поп. Не миновать бы и ему казни, но перед битвой у Пскова боярин Нежила рассердился на Семена, пригрозил, что велит страже схватить его. Спасибо, заступил старый боярин. Глина вовремя бежал из Пскова.

В Новгороде он спасался от лишних глаз в келийке софийского пономаря. Жил, никого не видя. Ни искорки света не было впереди, одно оставалось: своею волей свергнуться с Великого моста в мутный Волхов.

Как о счастье помышлял Семен Глина о дальнем монастырьке, где мог бы преклонить главу до конца дней. Об этом желании своем сказал он владычному ключарю, книжнику Феогносту. Феогност выслушал просьбу попавшего в беду попа, потом спросил, как жил прежде. Отпуская Глину, Феогност напутствовал:

— Молись угодникам новгородским, отче Симеоне! Исполнится просимое тобой.

Глина молился и ждал. На третий или четвертый день после беседы с Феогностом в Говоркову келию прибежал служка владычного двора. Войдя, он остановился у порога. Глина поднялся с лавки. Отрок молчал, словно не замечая в сумраке келии ее обитателя.

— Зрю, пономаря искал видеть, отроче? — спросил Глина. — Нету его. С первого часу утреннего во храме.

— Тебя, отче, Симеоном зовут? — спросил отрок.

— Симеоном, истинно.

— Велено тебе, отче Симеоне, быть ныне на владычном дворе.

В тот день решилась судьба Глины. Нищим и угнетенным скорбью вошел он на владычный двор, а уходя, так высоко держал голову, что сам себе удивился. Он обрел несравнимо больше того, чем искал. Ближний ключарь именем владыки благословил Глину на подвиг не в дальний монастырь, а в ближнюю владычную вотчину правителем вотчинным.

Ранним утром, когда над рекой стелется белый туман, с холма, от Медвецкого погоста, не видно поемного луга за Мшагой. Кажется тогда, что не над землей, а над этим белым зыбким морем темнеют вершины соснового бора; вот-вот вместе с туманом вознесутся они в простор голубого неба, рассеются там.

Рёдко-редко, но случается так, что туман не густеет; легкой, прозрачной дымкой вихрится он над водой реки. Тогда, в ясное раннее утро, от дуба, с окраины погоста, видно устье Мшаги и широкое раздолье Шелони. В час, когда восходит солнце, оно словно поднимается из вод — ярко-оранжевое, огромное. И чем выше оно, тем ярче отражаются лучи его в реке; горит и переливается тогда ее серебряный блеск, открывая перед взором всю непередаваемую красу лесных далей.

...Сопровождаемый двумя ратниками вотчинной стражи, прибыл Глина в Медвецкий погост. На въезде, у дуба, он остановил возок и велел ратнику найти старосту погоста.

Усевшись в тени, Глина задремал. Из прогона выбежал Путко. Увидя попа, парнишко испугался было, но, поняв, что поп застыл в дреме и не замечает его, подкрался ближе. Окажись не поп, другой кто-то на месте Глины, Путко исхитрился бы напугать сонного. Но попа пугать грех, к тому же и не один он у дуба. Путко с опаской посмотрел в сторону ратника, который, поставив к ноге копье, стоял у возка. Ратник стукнул о землю концом ратовища, погрозил:

— Не торись, паробче, где не положено!

Путко скрылся за углом избы и — стрелою к кузням.

Дед Левоник и Василько, стоя у зажженной домницы, дули в два меха. В то время как один мех дышал, открывая зев, другой шел вниз. Сильная струя воздуха непрерывно, со свистом, шумела в поддувале.

В кузне жарко. Ручьями льет пот с лиц кричников, но домница, когда зажжена она, не любит отдыха; остановишь дутье — крица остынет.

Прибежал Путко.

— На погосте... чужой поп и ратники, — запыхавшись, с трудом вымолвил он, остановясь в воротцах.

— Не гнался ли уж за тобой поп? — засмеялся Василько. — О чем он тебя спрашивал?

— Поп не спрашивал, а ратник копьем грозил.

— Откуда взялись?

— Не знаю. У дуба они.

Здесь, в кузне, Путко не чувствовал страха, с каким бежал сюда. Дед Левоник, оставив дутье и берясь за тяжелые клещи, сказал:

— Проездом кто-либо... Готовь молот, Василько!

Когда брызжущая огненными звездами крица упала на наковальню, Путко забыл, что видел на погосте. Все его внимание сосредоточилось на том, как Василько бил молотом мягкое пористое железо. Дед Левоник одной рукой поворачивал клещами крицу, другою выстукивал дробь ручником. Раскаленное железо казалось Путку таким легким, что так вот и взял бы его, подбросил на ладошках, как надутый пузырь. Не впервые Путко у домницы, знает он все: и как заложить уголь и руду, и как зажечь домницу, и как тяжелыми кожаными мехами, на верху которых лежат плотно и неподвижно камни, дуть в поддувало, и, когда сварится крица, как ковать ее. Но всякий раз при виде раскаленного железа Путко забывал все на свете и не отводил глаз от наковальни, ожидая, когда откованная крица, посинев, защипит в лотке.

Дед Левоник размазал по лицу пот, поправил на голове сбившийся в сторону ремешок, придерживающий волосы; поманив Путка, шершавой, как терка, ладонью взъерошил ему вихры.

— Напугал тебя поп?

— Не боюсь я... — увертываясь от деда, затараторил Путко. — Поп спал, а ратник копье поднял и так, о землю...

Путко попытался изобразить, как стучал копьем ратник, но тут из погоста донесся набат. Кто-то спеша неистово грохал колотушкой в кленовое било.

— Вече звонят, — сказал Василько. — Не тому ли попу припала нужда?

— Попу ли, иному ли, а бьют в било изо всей мочушки, — усмехнулся Левоник. — Ты ступай, Василько, а я в кузне приберусь, после приду взглянуть.

...На полянке, у дуба, собираются жители. Пришедшие толпятся в сторонке, с недоумением и любопытством присматриваются к дремлющему на обрубке в тени

попу. Глина будто не видит никого. У возка, подняв вверх острия копий, стоят ратники.

— Почто набат нынче? — спрашивают те, что замешкались и подходили позже. — Безо времени вече.

— Скажут небось.

— Не попа ли слушать?

— Может, и его. Послушать не грех. Скажет о «страшном суде», обругает старых богов, а после... Может, церковь станут рубить в нашем погосте?..

— Поп этот, братцы, ключник из владычной вотчины с Шелони, — сказал только что подошедший кривоногий мужик в овчинном треухе. — Тамошние люди сказывали... Гнида, бают.

— Мы не вотчинные, своим уставом живем.

Глина не показывал виду, что понимает нетерпение жителей. Он наслаждался тем, что может, сколько вздумается ему, заставить их ждать его слова. Прищуренный зоркий взор его с нарочитым равнодушием скользил по лицам смердов. «Домники, — думал он. — Искусные хитрецы кричного ремесла, а молвлю слово — ниц падут передо мной. Волею владычной и накажу их и помилую». С той поры как стал он правителем владычной вотчины, во всем, что бы ни сделал он, чего бы ни пожелал, Глина чувствовал полную свою безнаказанность. Его воле вручены судьбы холопов, половников и подлых смердов. «Велика сила указа владыки, — думал Глина. — Что велено владыкой, в том и князь не властен».

Насладившись созерцанием встревоженных его появлением жителей погоста, Глина поднялся с обрубка, на котором сидел; оглянув притихшую толпу, поманил ее ближе; потом медленно и степенно извлек из-за пазухи свиток, развернул его.

— Братие! — начал он так, словно готовился объявить жителям погоста великую радость. — По соизволению божьему, владыка архиепископ Новгорода Великого и пятин новгородских указал сею грамотою, — Глина умолк и торжественно, как святыню, поднял развернутый свиток, чтобы все видели печать и пергамен. — Указал, — повторил он, — сказать смердам, жительствующим в погостах и на займищах между Мшагой-рекой и Верхней Шелонью, что земля и леса тутошние, и озера, и прочие иные угодья даны в вотчину святой Софии.

О том указано в старых грамотах Новгорода Великого. Указал владыка исполнить старые грамоты. Со дня нынешнего велено вам давать дому святой Софии издольщину от трудов своих: половину всего добытого, выращенного и сделанного. Кои пахотцы — те дают издольщину хлебом, льном, медом и воском; кто ловок в ловищах звериных и рыбных — дают святой Софии дань рыбою, мехами куньими, лисьими, бобровыми, а по нужде — малую долю векшей чистой; домники и прочие хитрецы — крицами железными и своими изделиями ремесленными. Отныне, братие, благословение владыки, милость и благодать да пребудут с вами! И честь вам великая и радость; во спасение душ ваших с кротостью и смирением примите половничество дому святой Софии. Аминь.

Глина умолк. На лужайке у дуба наступила тишина; даже ветер, недавно еще шелестевший в листве, и тот затих. Торжествующий взгляд попа скользил по хмурым лицам смердов. Осмелится ли кто-нибудь из них молвить противное?

Молчание нарушил дед Левоник. Он снял и снова надел на волосы ремешок, ступил ближе к Глине.

— Сказан нам указ владычный, — промолвил он. — Послушать бы и указ Новгорода Великого, княжью грамоту на дань владычной вотчине...

— Не князю ведать то, что дано святой Софии, — возвысив голос, Глина оборвал Левоника. — Указ владыки сказан, и смерд, который воспротивится воле владычной, примет наказание телесное, а паки проявит непокорство и грех — взят будет за то в холопство и в вечную кабалу.

— Мы несли дань Новгороду и князю, — невозмутимо, не моргнув глазом на угрозу попа, продолжал дед Левоник. — Не пала бы владычная дань купно с княжей?

— Нет нашей воли на владычный указ, — раздался из толпы голос Василька. — На вольной земле живем, вольным ремеслом промышляем. Деды наши не знали кабалы, почто нам брать половничество да холопство владычной вотчины?

— Зрю, боек ты, отроче, зело боек, — как бы в поощрение Василька произнес поп. — Кто ты?

— Домник я и кричник, — выступил вперед Василько. — А искусен ли, пусть другие о том молвят.

— Греховное слово и язык непотребный навострил ты своей искусностью, но я не гневаюсь, — Глина пристально уставился на Василька, как бы любуясь им. — Ни хитрости твоей, ни искусства кричного я не порушу. Не противно святой Софии твое искусство. А за непокорное слово велю отрокам моим постегать тебя перед миром; и старца сего, — Глина показал на деда Левоника. — Бог простит мне, о славе его пекусь. Эй, отроки! — он поманил стражей. — Поучите говорунов!

...Солнце скатилось далеко за полдни, когда возок Глины запылил из погоста. Даже ворона не каркнула ему вслед, ничье лицо не проводило улыбкой. Наказание, принятое кричниками, всем завязало уста. Возок выкатился за околицу, когда в ветвях дуба показался Путко. «Гнида!» — крикнул он слово, оброненное кем-то, и сердито потряс кулачонком во след возку.

Слышал Семен Глина крик Путка или ветер не донес голос парнишки, но, оглянувшись, сказал ехавшим верхами позади ратникам:

— Будем у вора Данилки, не жалейте силушки, отроки! Хитер злодей.

ГЛАВА 10

ШЕЛОНСКИЙ ГОРОДОК

Александр проснулся рано. Не надевая кафтана, он подошел к оконнице и оттянул волок. Вдали, за бором, алела заря. Над рекой, тихим лоном которой любовался вчера Александр, висел туман. От обильной росы, выпавшей за ночь, казалось, что трава на лугу, за тыном городка, подернулась инеем. Со двора доносились голоса: ловчие и дружинники чистят коней, готовят ловецкую снасть.

Утренний холодок, врываясь в горницу, зазнобил тело. Напрягая мускулы, Александр вытянул руки и с силой взмахнул ими. От свежести ли раннего утра,

оттого ли, что провел ночь в городке и что перед глазами расстилаются бескрайние дали шелонских лесов, — Александр почувствовал себя так, как будто век жил тут.

За окном становилось светлее. Яркое полыхание зари блекло и рассеивалось. Облака золотились. Туман, стлавшийся над рекой, лег ниже, плотнее; в холодной белизне его затрепетали чуть заметные розовые отблески, как бы возвещая собой о наступлении дня.

Горница, в которой спал Александр, не отапливалась. Гладко выструганные скоблями круглые бревна стен пахли смолой и сухим мхом, которым проконопачены пазы. На столе, в щипке подсвечника, торчала наполовину сгоревшая желтая восковая свеча; справа и слева — вдоль стен — видны похожие на широкие лавки тесовые полати с разостланными медвежьими шкурами. На них спали Александр и Олексич. Александр не слыхал, как поднялся Олексич; видимо, он затемно покинул горницу.

Со двора донесся топот коня. Скрипнули подпятниками дубовые воротины в ограде. Кто-то выехал в поле. В оконницу видно дорогу к борам. Она тянется лугом, по берегу. Когда всадник показался на ней, Александр узнал Ивашку. Крупной рысью Ивашко пересек луг и скрылся за крайними деревьями бора.

Вчера, как прибыли в городок, Ивашко просил позволения навестить займище бортника на Даниловой поляне. Смутно помнится Александру поляна, и видел ее зимой, но осталось в памяти, что место там привольное. «Будем в борах, сам погляжу на займищанина, — подумал и довольно усмехнулся Александр. — Так ли радушно поставит он на стол мед сотовый перед князем, как радушно и не скупясь ставил его перед незнакомым гостем?»

Александр надел кафтан, затянул на талии кожаный пояс. Он готовился покинуть горницу, когда со двора вернулся Олексич.

— Хорошо утро, княже, — сказал он, прикрывая за собой дверь. — Велел я седлать коней.

Александру показалось, что воевода чего-то не договорил. И лицо у него встревоженное, словно бы молодец не на ловища собрался, а в поход дальний.

— Невесело смотришь, Олексич, — сказал Александр. — Не гонец ли из Новгорода?

— Гонца не слышно, а здесь, в городке, дворский Клим сказывает: люди на Шелони худо живут.

— Голод, аль мор, аль пожары лютые?

— Не голод и не мор. Хлеб уродился и пожаров не было. Владычные вотчинники тяжкой данью обложили смердов. Зажитья рушат.

— По чьему указу? — голос Александра прозвучал глухо. — Ведомы ли рубежи владычной вотчины?

— Были ведомы. При старом князе Мстиславе Владимировиче дана святой Софии вотчинка в Зашелонье. Полтораста годин минуло с той поры... Владычными указами округлилась вотчинка: вся земля от Шелони до Полисти стала вотчинной. Владыка Спиридон недавно, перед кончиной своей, указал не по Шелони вести рубеж вотчинный, а по Мшаге. Вольные смерды, зажитья которых за Мшагой, обижены указом. Отцы наши, говорят, деды и прадеды не знали холопства. А правитель вотчинный, поп Семен, лютует. Велит смердам двойную дань давать вотчине. Кто из смердов бойчее был да противился, тех, сказывает Клим, томит правитель в порубах в вотчинном городке.

— Уши и носы резал?

— Может, и резал, — ответил Олексич. — О попе Семене Клим не молвил доброго слова.

Александр помолчал. Не жаловал он самоуправство вотчинных правителей, но заступать ли ему смердов перед домом святой Софии? Заступишь — много шуму вызовет это на владычном дворе. И слух будет о княжей милости к смердам — половникам и кабальным; жди после непокорства в других вотчинах владычных и боярских. Ему, князю, придется тогда усмирять непокорных, охранять вотчинные права.

— Не время, Олексич, иметь нынче распрю с владычными, — сказал он. — В вотчинах святой Софии судит владыка. Будем в Новгороде, скажу о том, что сталось на Шелони.

— Владыка не избран, княже, а тот, кого изберет Новгород, послушает ли гладкого слова? — усомнился Олексич. — О владычных и монастырских вотчинах давно недобрая слава; тяжко в них холопам и смердам.

— Тяжко, но не нам заступать непокорство холопье, — строго, нахмурив брови, Александр оборвал воеводу. — Княжая власть утверждает мир в вотчинах, а ты заступника холопьего непокорства хочешь видеть во мне. Довольно судить нам о делах вотчинных, пора в поле.

— Не повременить ли с полем, княже? — опустив глаза, вспыхнул Олексич, обиженный последними словами князя. — Не время иметь распрю с владычными попами, сказал ты. А выйдем в поле — беда станется.

— В чем? — коротко спросил Александр, все еще хмурясь. — Зверя и дичи в борах много.

— О том и Клим сказывает, — подтвердил Олексич. — Но шли-то мы, княже, на вольные земли, а пришли во владычную вотчину.

— Оставь пустые речи, Олексич! Не к лицу тебе.

— Пустые ли, княже? — Олексич помолчал, точно не в силах вымолвить то, что знал. — Указом владыки, о котором сказывал я, все боры на Шелони от Мшаги до Псковской земли и Полисти отписаны на святую Софию. И городок, где стоим мы, и все вокруг — вотчинное, а на вотчинных землях охота князю не велена. Горше того, вотчинка перевета Нигоцевича, что была на Верхней Шелони, которую, как и иные Нигоцевичевы, по указу твоему и Новгорода, надлежало отписать на князя, и эта вотчинка взята ныне во владычную.

— Кем? Кто мог совершить это? — приблизясь к Олексичу, спросил Александр.

— Поп Семен, правитель владычной вотчины. Взял по указу владыки.

— Молчи! Негодный слух сказываешь...

— Не слух, княже, — резко произнес Олексич. — Лжецом я не был. Смерды бегут ныне из той вотчины. И не их, не смердов заступишь, а себя, когда спросишь вотчинного попа о лютости его, беззакониях и зле.

— Спрошу, — коротко, сдерживая гнев, сказал Александр. — Нынче же будем гулять в борах на Шелони. И о том спрошу, кто без слова моего и Новгорода взял во владычную кабалу вотчину Нигоцевича. Указу о том не быть!

ШУМИТ ЗЕЛЕНАЯ ДУБРОВУШКА

Не дымят домницы на Мшаге. Дед Левоник не поднимает головы; все тело у него болит и ноет от милости владычного ключника.

Василько не показывается из избы. Обида и стыд душат кричника: как мог стерпеть наказание?! Ни в сердце, ни в думах своих Василько не имел страха, а тут безмолвно, как последний холоп, лег на землю. Марина — жена Василька — ходит с красными, наплаканными глазами. Встретятся с нею люди — жалеют:

— Не кручинься, Маринушка! Век долог, чего не бывает... Василько-то, он-то что сказывает?

— Молчит, — шепчет Марина, словно боясь, что услышит ее Василько и осердится на болтливость. — Как случилось с ним горе, с того часу и со мною слова не молвил.

— Еще бы! На весь край слава мастеру, легко ли ему стерпеть позор?

— Охти! Что-то будет? Неужто и впрямь кабала?

— Поглядим, может, оно зря...

— Чирей не сядет зря. Как змей этот поп... Кончину бы ему непоказанную!

На третий день Василько с утра пропал из дому. Марина не объявила о том на погосте. «Небось в борах», — утешалась догадкой.

Василько вернулся поздно, уже в сумерках. Молча размотал на ногах оборы, сел к столу. На исхудавшем лице его резко обозначились скулы, борода спуталась; ласковый и веселый взгляд кричника опустел, стал жестким. Смотрит Василько и будто не видит ничего вокруг.

Марина собрала еду.

— Плюнул бы ты, Василько, на попа! — не вытерпела, сказала она. — Гляди-ко, что с тобой сталось... На себя не похож.

— Забыл бы, Маринушка, да не могу, — сказал и глубоко вздохнул Василько. — Грызет тут, — он приложил руку к груди. — Места не найду.

— Не убыло ведь тебя.

— То-то что не убыло, — горько усмехнулся Василько. — Лучше бы мне, как в поход на свеев ходил, голову положить на поле.

Стукнула калитка, и вслед заскрипели ступеньки лестницы. В избу вбежал Путко.

— Путко! — дивилась Марина позднему приходу парнишки.

— К Василько я. Дед Левоник послал.

— Встал он?

— Встал нынче... С займища от устья бочешник приходил, скобель да топор просил ковать. Сказывал бочешник-от: в городок на Шелони сегодня княжий поезд прибыл. Снасть ловецкую привезли.

— А князь... в городке? — оживился Василько. — Видел его бочешник?

— Небось видел.

— К добру бы весточка! Вутре схожу на устье.

— Ох, горе! — вздохнула Марина. — Зачем идти-то, Василь?

— Может, князя увижу... Пожалуюсь на владычных.

— Хуже не сталось бы. Нам ли, смердам, жаловаться! От владыки кто заступит?

— Попытаю, — промолвил Василько. Взгляд его снова стал жестким. — Чем я виноват? И не о себе я, Марина, молвлю, скажу о том, что на погосте было. Собирался, скажу, ты, княже, поглядеть наши домницы, видеть мастеров наших — воля твоя, полюбуйся! По умыслу деда Левоника кузнецы в Новгороде секиры нынче куют, уж не за то ли, не за искусную ли хитрость мастера наградил его позором владычный поп?

— Скажет ли князь противу владычных?

— С какой поры мы холопы? — не слушая Марину, будто размышляя вслух, продолжал Василько. — Испокон веку вольный погост наш. Земля наша не вотчинная и грамот кабальных на нас нет. Самовластье учинил поп.

— Сердце тревожится, Василь, — Марина утерла слезу. — Не новую ли оно беду чует? А ну как схватят тебя... Княжие-то порубы глубже владычных.

— Авось не схватят, а хоть и так — скажу правду. Утром, на свету, пойду в городок.

...Княжие ловчие садились на коней, когда у городка появился Василько. Увидев сборы, он оробел. В походе на свеев Василько близко видел князя. Александр говорил с ним. И здесь, в городке, случись то до приезда на погост вотчинного попа, Василько смело подошел бы к Александру Ярославичу. Но не искусным мастером явился нынче Василько в городок, а холопом владычным; не изделие свое принес он — обиду на попа, правителя вотчинного. Если б только ему поп нанес обиду, может, стерпел бы Василько, но почто ввержен в позор старый Левоник?

Из ворот городка выезжали ловчие. Василько узнал их по сетям и капканам, притороченным к седлам. Он искал взглядом князя, но его не видно. Васильку вспомнились слова Марины: «Нам ли, смердам, жаловаться? От владыки никто не заступит». Все же, как ни тяжко было Васильку сознавать свою безысходность, он не уходил. Пропустив ловчих, в городке не закрыли ворот. Василько подошел ближе. Он хотел войти внутрь, но остановил страх. А вдруг князь пройдет мимо, не узнает?

Пока Василько стоял, теряясь в раздумьях, из ворот появился плотный, с пышной окладистой бородой пожилой ратник. Серый из грубого домашнего сукна кафтан, надетый на нем, еле достигал колен; ратник шел, слегка переваливаясь и так крепко ставя ногу, словно заранее угадывал каждую неровность пути.

В ратнике Василько узнал дворского Клима. Клим, увидев кричника, остановился.

— Василько! — окликнул. — Что ж ты, мастер, по-за городу бродишь, аль забыл дорогу в ворота? — Клим засмеялся.

— Князя Александра Ярославича хочу видеть.

— По-за городу не живет князь, — начал было Клим, но, увидев похудевшее, озабоченное лицо кричника, спросил: — Слышно, Василько, и ваш погост не обошли владычные?

— Не обошли. Долгую память оставили.

— Не о том ли князю твоя речь?

— И да и нет. Не о себе хочу молвить, о деде Левонике, о жителях наших, — ответил Василько. — Знаешь ты хитрое искусство Левоника... Нынче не поднимает он головы. Лютовал над мастером владычный поп, зло

лютовал. Не заступит князь — сгибнет кричное дело на Мшаге, погаснут домницы, зарастет крапивой и осотом место, где крицы варили.

— Невеселую ты весть молвил, Василько, — сочувственно сказал Клим. — Князь в городке, но собрался он — и все княжие — на ловища в боры. Кони стоят оседланные. Ни князь, никто из ближних княжих не знают тебя...

— Князь меня знает, — перебил Василько Клима. — Как походом противу свеев шли, говорил он со мною.

— Коли так, — сказал Клим, — пойдем в город; не в седле князь, то подойди, спросит — молви слово.

Клим зашагал к воротам, Василько направился следом.

В городке, перед въезжей избой, оседланные кони, около них — дружинники. Князя еще нет — он замешкался в горнице. Велев Васильку ждать на дворе, Клим направился к крыльцу. Но только ступил он на лестницу, навстречу показались Александр и Олексич. Клим поклонился.

— Дозволь, княже, слово молвить.

— Говори! О чем слово?

— Не о себе, княже. Кричный мастер Василько из Медвецкого погосту со Мшаги прибежал в городок. Хочет он сказать тебе о тамошних домниках.

— Василько... Помню мастера. Лихо он со свеями бился и хитро железо кует. Где он?

— Ждет твоего слова.

— Зови!

Александр спустился с крыльца. Клим, отыскав глазами кричника, стоявшего в стороне, у угла клети, поманил его. Василько подбежал и, кланяясь, коснулся рукою земли.

— Рад видеть тебя, мастер, — сказал Александр. — Какою вестью порадуешь? Дымятся ли ваши домницы, много ли секир и копий сковали?

— Прости, княже, не обрадую тебя вестью, — заговорил Василько и, как бы стыдясь взглянуть в лицо князю, опустил голову. — Горе нас посетило...

— Не хворь ли маяла? — спросил Александр, глядя на осунувшееся, с резко обозначившимися скулами, не-

улыбающееся лицо кричника. — Где твоя удаль? Не узнаю тебя.

— Не о себе пришел говорить я, княже, — Василько поднял голову, ободренный последними словами Александра. — За Левоника, мастера искусного из искусных, прошу. Хвалил ты, княже, хитрое изделие его; велел другим кузнецам ковать секиры, как та, что придумал и сковал дед Левоник. А нынче не шумит у нас горно в кузне и домницы не дымятся. Левоник молвил правду в лицо злодею, за то опозоренный и исхлестанный лежит он...

— От кого позор принял мастер? — опустив брови, Александр строго взглянул на кричника.

— От попа, правителя вотчины владычной.

— Почто о себе молчишь, Василько? — вмешался Клим, дополняя слова мастера. — Люди сказывают, княже, что Василько первым принял позор.

— Правду ли молвил Клим? — Александр взглянул на Василька.

— Правду, княже, — ответил кричник. — Велика нам обида от правителя вотчинного. Деды и прадеды наши вольными жили, вольное и ремесло наше. Нынче земля на Мшаге стала вотчинной, а мы холопами-половниками владычного двора. Платили мы дань Новгороду, нынче всю дань с лихвой велено нести в вотчину.

Известие, принесенное Васильком, хотя и взволновало Александра, он все же сдержал гнев.

— Не время, друг, гасить домницы, — молвил Василько. — А чтобы знать правду, пошлю на погост воеводу... Поглядит на ремесло ваше.

ГЛАВА 12

ПРИШЛА БЕДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА

Не встало солнце, когда Ивашко оседлал коня и выехал в боры. Довольный тем, что князь позволил навестить займище Данилы, Ивашко ехал, не обращая внимания на ветки, хлеставшие его по лицу, не страшась встречи с лихим зверем. Одна мысль, казалось,

такая же огромная, как и окружающий его бор, захватила дружинника: скоро он увидит Данилову поляну, высокий берег Шелони за займищем... Почему-то думалось, что там, на берегу реки, найдет Олёнушку.

Ивашко спешил. Он рад был сойти с коня, бежать рядом. И гул бора, и голоса птиц, и радужный блеск солнечных лучей, прорывающийся к земле сквозь густые вершины деревьев, — все напоминало Олёнушку. Ивашко представлял себе ее лицо, ее смех. Словно бы сейчас лишь, очутясь в бору, он понял, как мила и дорога ему девушка. Она казалась похожей на сказку, чудилась во всем, что видели глаза, что ловил слух. Где-то далеко-далеко мелькнул перед ним облик Васены. Васена, может быть, красивее и лучше Олёнушки, но всякий раз, когда бы Ивашко ни вспомнил Васену, Олёнушка заслоняла ее. Ждет ли она сегодня? Не скроется ли в бору, когда будет он на поляне?

На займище у Данилы встретился Ивашко с попом, Семеном Глиной. Где теперь обретается черный перевет? Пал он или живет, сеет новое зло? Ивашко спрашивал Олексича о переветах, схваченных во Пскове с изменниками Твердилой и Нигоцевичем. Олексич сказал, что не слыхал о попе Семене и не видел его.

Мысль о попе-перевете омрачила радость, какую переживал Ивашко в это утро. На взлобке, где он ехал, вековые ели и сосны так близко подступали к дороге, что внизу потемнело, словно опустились сумерки. Конь пошел шагом. И как будто от этой непролазной глуши бора смутная, необъяснимая тревога сжала сердце витязя. Чем ближе была поляна, тем сильней становилось беспокойство.

Овраг. Ивашко признал ручей, у которого они с Данилой встретили князя. Старая ель на высоком берегу лежит валежиной, с вывороченным корневищем. Буря свалила ее. За ручьем Ивашко поднялся на холм. Плотный березняк на старой гари разросся так густо, будто хотел затопить все вокруг зеленым своим половодьем.

Скоро, за березняками, тропа свернет на поляну. Ивашко пустил было коня рысью, но остановил и снова поехал шагом. Сердце билось так сильно, что, повинуясь какому-то безотчетному чувству страха, он старался отдалить час встречи. Увидел бы сейчас Олёнушку,

он не нашёлся бы что и сказать ей. Но дорога впереди пуста. Зеленые березки, светло улыбаясь, склоняют навстречу всаднику гибкие свои вершины. Вот и тропа. Она заросла и почти неприметно вихляет между деревьями.

Выехав на поляну, Ивашко задержался у опушки. Прошло некоторое время, прежде чем он различил впереди редкий осинник. В осиннике, вспомнил Ивашко, колоды с пчелами... Поле от опушки до осинника засеяно житом. Неубранное жито перестояло и спуталось. Это изумило витязя. «Не хвор ли Данила? — промелькнула мысль. — Как случилось, что пропало добро?»

Осинник... Ивашко даже остановил коня. Тому, что открылось перед ним, Ивашко не поверил бы, если б не видел своими глазами. Борти, за которыми ухаживал Данила, которые оберегал он, валялись на земле, темнея пустыми дуплами. Будто медвежья ватага побывала в осиннике, разрушила все и истребила. Ивашко тревожно оглянулся вокруг. Он словно ждал, что вот-вот покажется бурая туша огромного зверя; шарахнется в испуге конь, понесет в сторону...

Но вокруг пусто. О чем-то лепечут торопливо осины. Лепет их немного успокоил витязя.

Туда ли приехал он? Та ли поляна перед ним, которую он стремился видеть? Займище исчезло. На месте его торчат обгорелые пни тына да полуразрушенный остов печи. Горело недавно. На месте пожарища еще не пробивается трава. Ветер раздувает сухую золу и, когда вскидывает ее, то кажется, что пожарище дымится. Около нет ни Данилы, ни Олёнушки.

Ивашко сошел с коня, пустил его на траву, а сам, добравшись к обрыву Шелони, посмотрел вниз. Медленно-медленно катятся воды реки. Они то подергиваются искристой рябью, то замирают.

Постояв на обрыве, Ивашко, спохватясь, приложил ко рту сложенные в трубку ладони, крикнул:

— Э-эй! Данила-а!

Никто не отозвался. Ивашко повторил крик. Нет ответа. Время небось уже к полудню. Роса просохла, и солнце пекло жарче. Ивашко кричал, бил в сухую доску, которую нашел на обрыве, — ни Данила, ни Олёнушка не отзывались.

Должно быть, после пожара лесные жители нашли приют в ближнем погосте. Ивашко вспомнил, как ночевал в Ступинке перед выходом своим на поляну, вспомнил метель, глубокие снега в бору... Где шел он тогда? После той, памятной ему метельной ночи, когда бежал с заезжего в Ступинке, Ивашко не видел погоста и не разведал к нему пути.

Потерялось всякое представление о времени. Покинув пожарище, Ивашко выбрался на дорогу и, понукая коня, тронулся вперед. Он ждал, что вот-вот бор поредеет и впереди раскинутся поля, окружающие погост. Но лес не обрывался. Дорога то взбегала на холмы, то спускалась в низины. Ивашко сердился на глушь и безлюдие бора. Ни займища, ни лесной избы не встретилось на пути. Лес и лес, будто нет вокруг ни людей, ни жилья.

Путь преградила неширокая, но обрывистая речонка. Ивашко спустился по косогору. Вода в реке хотя и темна, но колеи, оставленные возами, вели к бору. Конь ступил на плотное песчаное дно. Фыркая и разбрасывая в стороны брызги, одолел быстрину. Ивашко оглянулся на оставленный берег и чуть не вскрикнул от неожиданности.

На верху косогора, откуда Ивашко только что переправился, он увидел старца. Старец бос. Холщовая рубаха, надетая на нем, еле прикрывала тело рыжим рубищем. На груди старца и позади, перекинутые через плечо на лямках, желтели пузатые катыши березовых лык. Ивашке бросились в глаза темное от загара голое темя старца и редкая, спутавшаяся борода, прикрывавшая грудь. Старец, видимо, тоже удивился появлению всадника. Он стоял неподвижно; приложив козырьком над глазами ладонь, старался рассмотреть молодца.

— Тутошний, старче? — окликнул Ивашко. — Аль дальний, неприкаянно бродишь по миру?

— Тутошний, с вотчинного погосту... А ты-то, создатель, не наш будто?

— Из Великого Новгорода.

— То-то, дивлюсь. Не гонцом ли на вотчину?

— Нет. А чья вотчина близко?

— Землица и все это, — старец повел рукою во-

круг, — святой Софии. Вот, как поедешь прямо... Версты за три будет вотчинный городок.

Голос старца доносился так слабо, что Ивашко с трудом разбирал слова. Он подождал, надеясь, что старец спустится вниз, к реке, но тот не двигался. Как застыл на краю обрыва. Чтобы не тревожить его, Ивашко переправился обратно через реку. Сбивая вниз мелкие камешки и сухие комья земли, конь легко вынес его по косогору вверх. Поднявшись, Ивашко спешился и коснулся рукою земли.

Вблизи старец выглядел еще древнее, чем казался издали. Он был очень худ. В прорехи рубища просвечивало желтое дряблое тело. Ладонь, из-под которой смотрел он, темнела заскорузлыми узлами мозолей; кривые и жесткие пальцы топырились в стороны, словно сухие корневища.

— Очи мои худо зрят, — заговорил старец. — Не разберу вдалеках-то. Рядом коли — вижу: конь у тебя добрый и одёжа справная. Дивлюсь, создатель... Уж не болярич ли?

— Нет, старче, не болярич, — ответил Ивашко. — Знал я в борах на Шелони Данилу-бортника, знал и займище его на поляне. Ехал нынче к нему. Нашел поляну, а нет на ней жительства. Займище пожар спалил. Может, был слух в вашем погосте о беде займищанина. Слыхал о том, где Данила — скажи.

Старец смотрел куда-то за реку. Слышит ли он Ивашку? От яркого солнечного света туманятся у него глаза.

— Ноженьки что-то устали, создатель, — промолвил он, как бы отвечая на свои, понятные только ему мысли. — Ты уж не обидуй на старого, — повернулся он к Ивашке. — Сяду я... Да и сам-то разнуздай коня, пусти его на траву, пусть покормится. Может, короток, а может, и затяжлив сказ мой будет. По одёже зрю — не ремесленный ты и не смерд, а и не болярич, сказываешь.

— Не болярич, — подтвердил Ивашко. — Родился в дальнем погосте, сиротою рос и холопью долю изведал... Случаем в здешних борах пало мне счастье. Ныне вольный я, отрок княжей дружины.

Ивашко разнуздал коня и пустил его на траву. Ста-

рец снял с плеча катыши лык, положил на землю и сел сам.

— За весть мою, ежели дознается ключник вотчинный, что открыл ее незнакомому, помирать мне в порубе, — начал старец, когда Ивашко вернулся к обрыву. — Тяжко, создатель, ох тяжко в вотчине! Девятой десяток годков на белом свете живу, а такого-то, что повидал нынче, не знавал. Силен и увертлив я был смолоду, на медведя с рогатиной хаживал, а дожил вот, иссякла сила. О-ох, создатель! Знаю я Данилу, на займище бывал у него... Так-то вот. Пожар, баешь, спалил займище? Спалил, создатель. И жительство и самого Данилу спалил.

— Как?! — вскочил Ивашко. От страшной вести к лицу его прилила кровь. — В пожаре сгорел Данила?

— Ох, создатель, ты слушай! Не спустá занялся пожар, не от своего уголька и не от божьей грозы. Положил огонек ключник наш вотчинный, поп Симеон. Горек ключник людям. И холопы вотчинные и смерды не знали аспида хуже. Сладко скажет, с молитвой да со знамением, а от слова его у людей не слезы — кровь льется. Ключник вотчинный был со стражами на займище у Данилы. Поляну Данилову в вотчину взял, займище спалил, а самого жителя привезли в тенетах в вотчинный городок. Люди, кои видели займищанина, сказывают: хлестали его стражи ременницами, ухо правое резали, а после ввергли в поруб. Жив аль нет он нынче — не ведаю. Если и жив, то осужден на погибель.

— Давно ли то сталось, старче? — с трудом выговаривая слова, спросил Ивашко.

— Да никак вторая неделя пошла. В порубах-то вотчинных небось десяток мужиков, а может, и поболе заживо гниет. Не приведи того никому, создатель! Адова жизнь настала. Промолвит кто слово насупротив, не приглянется, поп и скажет: о божьем пекусь, бог меня простит. Положит наказание — и не придумаешь такого.

Узнав об участи Данилы, Ивашко еле сдержался, чтобы не вскочить на коня и не скакать в вотчинный городок. Но он вовремя спохватился. В одиночку Данилу не спасешь, а свою голову загубить недолго. Никто и знать не будет, где сложил ее, а князю в городок дадут

весть: в бору, мол, лютые звери растерзали дружинника. «Скорее к князю, — подумал Ивашко. — Скорее передать ему обо всем, что сам видел на поляне и что услышал от старца. Александр Ярославич обмолвился вчера, что помнит Данилу и его займище; узнает о беде Данилы — заступит. Но старец, поведав о судьбе Данилы, не сказал, где Олёнушка. Неужто и ее застигла беда?» Вся радость, все светлые надежды, с какими ехал Ивашко утром на поляну, исчезли. Он то вздрагивал от приступа гнева, то его охватывало отчаяние. Старец сидел неподвижно. Понял ли он, какую нестерпимую боль причинил своею вестью дружиннику?

— Олёнушка... Дочка Данилы... О ней... слышно ли? — стоном сорвалось с губ Ивашки.

— Помню... Была у Данилы на займище девчоночка, — ответил старец. — Только не ведаю, что с нею. Бежала она аль сгубили ее на пожаре? В вотчину привезли Данилу одного. О-ох, создатель! Велико, зрю, горе тебе.

Голос старца напомнил Ивашке, что не время мешкать. Скорей в городок! Сухой лист не поднимется так над землей, как вскочил Ивашко.

— Спасибо, старче! — сказал. — Об одном прошу: помолчи на погосте о встрече нашей, не спугни змею... Пусть не прячется она в нору.

— Дай те Христос, создатель!

Когда Ивашко скрылся из виду, старец, проводив его, посмотрел из-под руки на солнышко, вздохнул, поднял тяжелые катыши лык и перевесил их через плечо.

ГЛАВА 13

НА ЛОВИЩАХ

Александр хотел захватить на ловищах росу. Чувство восхищения, с каким он, проснувшись, любовался красотою раннего утра, нарушил своим рассказом Олексич. Александр с трудом сдержал гнев, услыхав о беззакониях, творимых правителем владычной вотчины. Но если Александр мог еще терпеть произвол владыч-

ного двора в вотчинах и на землях Великого Новгорода, то можно ли было без гнева слушать о том, что вотчина Нигоцевича в Верхней Шелони, отписанная на князя и ставшая, как и другие вотчины боярина-перевета, княжей вотчиной, не избежала разбоя. На первых порах Александр готов был без суда владыки жестоко наказать вотчинного правителя. Прошло несколько минут. Александр все же подавил недовольство, велел Олексичу готовить выезд в боры.

На дворе задержала беседа с Васильком. Когда выехали из городка, солнце поднялось высоко, обсыхала роса. «Не быть удаче», — подумал Александр. Ветерок, тянувший с реки, освежил лицо. Туман рассеялся. Александр дорогою узнавал знакомые места, вспоминал время, когда бывал тут; но тревожное волнение его не оставляло. Как решился вотчинный правитель захватить то, что принадлежит князю, как смел он нанести обиду искусным ремесленным мастерам на Мшаге? По его вине на Мшаге погасли домницы. Лютость вотчинного правителя причинила ущерб княжему делу. «Не нарочно ли вотчинный поп учинил злое, чтобы унизить то, что дорого мне? — думал Александр. — Кто направил его руку?»

И в борах, на ловищах, одна за другою преследовали сегодня неудачи. Под Александром споткнулся конь и захромал, ушел из сетей кабан, когда казалось, что зверь пойман и нужно только взять добычу; отрок ловчий повредил руку... Александр отправил его в городок с наказом дворскому Климу — скорее найти костоправа.

Не скрылось солнце, когда Александр велел трубить сбор.

На пути в городок он подозвал Олексича и сказал:

— Пойдешь с отроками в вотчинный городок, Олексич. Что молвить тебе попу, правителю вотчинному, после наказ дам. А как побываешь в вотчине, до отъезда в Новгород навестишь на Мшаге домников. Скажешь им волю: отныне быть их погосту княжим погостом. Вели, чтобы жарче горели домницы. Дадут много железа — от дани обелю и не смердами велю называться, а посадскими жителями.

Не давая отдыха ни себе, ни коню, Ивашко ехал по лесной дороге. Расставшись со старцем, он острее почувствовал бездонную глубину своего горя. Кажется, самое страшное, что бы ни сказал старец об Олёнушке, не могло сравниться с неизвестностью. Погибла ли Олёнушка лютою смертью на пожарище, или ее, связанную и обессиленную, бросили в сырой поруб? Ивашке представлялись мучения Олёнушки; он видел ее окровавленною, видел руки врага, которые тянутся к ней... Вотчинный ключник, чье появление принесло гибель Даниле и Олёнушке, почему-то казался Ивашке похожим на огромную хищную птицу. И если налетал ветер и под его порывами бор по сторонам дороги гудел, то будто слышался в этом гуле свист черных крыльев, злобное карканье, похожее на сухой треск сломанной бурей и рушащейся на землю лесины.

Что сказать князю? Как примет Александр Ярославич весть о злодействе вотчинного правителя? Мало ли гибнет на Руси смердов и холопов от воли правителей монастырских и боярских вотчин! Заступит ли князь Данилу? Если не заступит... При этой мысли Ивашку вновь охватывало желание — повернуть коня в вотчинный городок, раскидать тын и все, что встретится на пути. Но рассеивался перед взором мутный туман, впереди возникал слабый-слабый свет надежды. Жив Данила. Князь Александр справедлив, поможет спасти от лютой смерти лесного жителя. Тогда из уст Данилы Ивашко услышит правду об Олёнушке. Искать ли ее молодцу, или на веки вечные останется ему только память о ней?

Солнце скрылось за синюю даль бора. Над ясною гладью Шелони занимались легкие и прозрачные дымки вечернего тумана, когда Ивашко въехал в ворота городка и спешился у въезжей избы. Усталый конь тяжело дышал, хлопая боками; в пахах и на груди его белыми клубами мылилась пена.

— Эко, молодец, коня-то упарил, — громко сказал дворский Клим, подходя к Ивашке. — Разводить его надо.

Ивашко взглянул на Клима, будто не узнавая.

— Князь... вернулся ли? — спросил.

— Почивает у себя в горнице.

Клим подошел ближе и пристально взглянул в лицо дружинника. В сумерках вечера лицо Ивашки казалось серым, словно от него отлила кровь.

— Не зверь ли поцеловал тебя, молодец? — спросил Клим. Голос его прозвучал тревожно. — Коня умаял, да и сам... Иди отдыхай, а к коню отрока кликну.

...Александр, вернувшись в городок, не выходил из горницы, и никто его не тревожил. В городке тихо. Ловцы спали, кто на сеннике, кто во въезжей избе. Кроме Клима, Ивашко на дворе никого не встретил. Хотелось ему скорее рассказать князю о пожарище на Даниловой поляне, о том, что слышал в бору от старца про горькую участь займищанина. Но почивает Александр. Мрачные думы снова сжали сердце Ивашки. Он сел на выступок крыльца и привалился к стене.

На дворе потемнело. В глубокой синеве неба зажглись звезды. Над рекою высоко поднялась луна. От света ее по двору легли длинные резкие тени. Всхрапнул под навесом и стукнул копытом чей-то конь. Ивашко не заметил, как у него закрылись глаза. Утомленное долгой ездой, горем и волнением, тело его словно оцепенело. И вдруг открылся перед ним ясный день. Ивашко увидел берег Шелони, знакомую, плотную стену ольшаника и там, в зелени его, Олёнушку. Она говорила что-то, но ветер относил слова. Ивашко попытался приблизиться к ней, но у него отяжелели ноги; нет сил их поднять. «Олёнушка!» — крикнул он и сам не услышал своего голоса. Ждал, что девушка, увидев его, подойдет ближе, но кусты ольшаника внезапно превратились в цепкие нити перевесища. Олёнушка пыталась рвать их руками, но нет, цепкие нити опутывают ее плотнее. Что-то тяжелое и темное навалилось на Ивашку. Он очнулся и открыл глаза.

Луны не видно — она скатилась за избы городка. Рядом, на крыльце, воевода Олексич.

— Ивашко, проснись, друг! — тормошa за плечо дружинника, говорит он. — До избы-то, знать, ноги не донесли тебя?

— Вечер еще? — спросил Ивашко осматриваясь.

— Не вечер, друг, уже светает. К коням я вышел, а дворский Клим, встретив меня, сказал, что ты вечером не в себе был, будто пьян.

— Нет, Олексич, капли не губил хмельного. Слово у меня князю на вотчинного правителя, — Ивашко поднялся и стряхнул наконец с себя сон. — Спалил вотчинный правитель займище Данилы; самого займищанина вверг в поруб, Олёнушка... Не ведаю, где она. Уберегла себя от ворога и позора или...

— Иди в горницу, — велел Олексич. — Александр Ярославич уже поднялся. Гиевен он нынче, Ивашко. Вотчинку в Верхней Шелони, что отписана на князя после злодея Нигоцевича, обманом и воровством захватили владычные. Велел мне Александр Ярославич ехать в вотчинный городок, взыскать вину. Кстати придется и твоя весть. Скажешь о Даниле, а как будем в вотчинном городке — поищем займищанина.

Недолго спрашивал князь Ивашку, оборвал рассказ. Лицо его вспыхнуло, как от чаши крепкого меду.

— Садись на конь, Олексич! — сказал. — Не мешкая скачи в вотчинный городок. Спроси правителя того, что княжую вотчинку разорил, кто указал ему брать дань и половничество с княжих смердов на святую Софию? Погляди людей в порубах; кои понапрасну ввержены, тем скажи волю. Займищанин и дочь его, коли живы отыщутся, пусть идут к дворскому Климу и живут в городке до времени.

С первыми лучами солнца Олексич и Ивашко выехали из городка. Оба они в броне и шеломах. За ними полдюжины младших дружинников подняли вверх копья.

ГЛАВА 14

РАСПЛАТА

Долог показался Ивашке путь во владычную вотчину. Когда перебирались вброд через реку, на которой встретился вчера житель из вотчинного погоста, Ивашко оглянулся на обрыв, точно ждал, что снова увидит там высокую, покрытую рыжим рубищем фигуру старика с катышами березовых лык, перевешенными через плечо. Сегодня на обрыве никого не было. За рекой,

с полверсты, дорога шла мелколесьем, потом перевалила через голый холм, на самой вершине которого, обнявшись ветвями и словно сторожа путь, зеленели три старые березы. Могучие стволы их, просвечивая сквозь зелень листвы, казались несокрушимыми. За холмом начался плотный молодой ельник. Он так близко подступал к дороге, что всадникам пришлось следовать по одному, гуськом. Ивашко то и дело поднимал руку, чтобы отвести от лица колючие ветки.

Перебрались через вязкую низину. Ноги коней почти до колен покрылись липкой черной жижей. За низинкой по сторонам дороги темнеют, как монахи, обгорелые пни старых огнищ. Заросшие высокими, стройными осотами, бурьяном, ивановым цветом, кустами ивняка, огнища напоминали поле старой битвы. Отсюда дорога выбежала на берег Шелони; на пологом холме стало видно тын и валы вотчинного городка. Ниже городка, на берегу, показались избы погоста.

Время полдень. Ворота городка открыты. При въезде дружинников остановили стражи.

— Откуда и с чем пожаловали в вотчину святой Софии? — спрашивают.

— Не мне, воеводе княжему, отвечать вам, — насупил брови Олексич. — Здесь ли правитель вотчинный?

— Утром в городке был... Небось в хоромах.

— Найди и позови его! — велел Олексич одному из стражей.

Ивашко не слушал, о чем говорил Олексич со стражами; остановясь поодаль, он с любопытством осматривался вокруг. Избы городка срублены из кряжевого леса — не гниет он от старости, лишь крепнет. По виду строений Ивашко старался определить, под которым из них поруб, куда брошен Данила. «Не здесь ли Олёнушка?» — думал. Не терпелось скорее открыть клеть. Он лишь мельком взглянул на попа в малиновой рясе, который показался во дворе со стороны церковки.

Вдруг Ивашко вздрогнул. Неожиданно и невероятно было то, что услышал. Вот говорит Олексич. Он резко бросает слова. В ответ ему звучит трескучий, словно вышелушенный голосишко. Семенко Глина! Его голосом говорит вотчинный поп. Но в мыслях Ивашки не вяжется дорогая малиновая ряса с покрытым дорожной пылью

крашенинным зипуном и выцветшим ликом попа, какими они запомнились с давней встречи на Даниловой поляне. У этого лицо розовое, борода гуще, непокрытая голова гладка. Нет, не Семенко это. Ивашко отвернулся. Но вот, отвечая Олексичу, снова заговорил поп. И что это? Ивашко ясно видит, как сползает с попа малиновая ряса, а вместо нее на плечах у него знакомый крашенинный зипун, подпоясанный вытертым добела кожаным поясом... На щеке, около уха, темнеет бородавка. Он!

Слышит Ивашко — спрашивает Олексич:

— Чьей волей брал княжую вотчину?

— Вотчинка болярина Нигоцевича была за Новгородом, а взять ее за святую Софию указал владычный ключарь. Мог ли я ослушаться повеления?

— Вотчины перевета Нигоцевича отписаны на князя, — сказал Олексич. — Кто нарушил волю князя и Великого Новгорода — молвишь о том на суде княжем. Еще знать надобно: чьею волей позорил ты, отче, домников на Мшаге?

— Божьей волей, болярин. За непокорство их. Указом владыки отписан погост во владычную вотчину...

— Божьей волей сжег ты и займище на поляне? — нахмурился Олексич.

— Не Данилкино ли? Не о нем ли речь? — поп презрительно скривил губы.

— Да. Где нынче Данила?

— Беглый холоп он вотчинный, болярин.

— Ложь! — не стерпел Ивашко и, выступив вперед, показал на вотчинного правителя. — Знаю его, Олексич... Семенко Глина, перевет и пособник Нигоцевичев.

— Бог с тобой, отрок! — отшатнулся Глина.

При взгляде на Ивашку розовое лицо его побагровело. Словно на злого духа, внезапно явившегося перед ним, смотрел поп на витязя. Всего мог ожидать он, но чтобы явился перед ним тот, кого считал давно погибшим, — это и изумило Глину и наполнило его ужасом. В вотчинных делах Семен не видел большой вины; все, что делал он, делал к прославлению вотчины по указу владычного ключаря. Только правителя вотчинного видит в нем и княжий воевода, но Ивашко...

— Тот, что был на Пскове, о котором спрашивал ты? — Олексич взглянул на Ивашку.

— Он. След от его кончара ношу.

— Не обознался?

— Нет. Он, Семенко Глина, ворог и перевет, который ходил из Риги в Новгород с вестями от Нигоцевича, — повторил Ивашко обвинение. — Ушел от казни, пролез в щель и закопался. Не чаял я, что встречу его в вотчинном городке. Где Данила? — гневно и требовательно произнес Ивашко, подступая к Глине. — Вели, Олексич, открыть порубы!

Из сырой, с гнилыми осклизлыми стенами, лишенной света ямы вотчинные холопы извлекли Данилу. Он исхудал до того, что стал не похож на самого себя. Правое ухо обрезано, и на месте его гноится рана. Узнав Ивашку, бортник скорбно усмехнулся.

— Ивашко! — промолвил он еле слышно. — Ты... Не ждал, ох не ждал я, что белый свет увижу. Не сказать, сколько мучений принял... Проездом-то не видел займища?

— Видел... А ты... Молви всю правду: где Олёнушка?

Данила закрыл глаза и некоторое время лежал так. Глубокая боль отразилась на его исхудавшем лице. Ивашко молча, со все возраставшей тревогой смотрел на бортника.

— Сказал бы, да сам не ведаю, — наконец прошептал Данила еле слышно. — У тебя хотел спросить. Семеновы стражи схватили меня в поле...

— С тобой не было Олёнушки?

— Нет. На займище осталась.

— Искал я ее на поляне, звал, — Ивашко опустил голову, будто стыдясь перед Данилой того, что не может ничего сказать ему об Олёнушке. — И займища нет, — добавил он. — Спалили его.

— Ох! — простонал Данила. — Останусь ли я жить, Ивашко, видишь, как изукрашен? Из могилы достал ты меня, спасибо! Родным знал тебя раньше, сыном своим видел... Почто упустил я злодея, когда он в избе у меня хлеб-соль рушил! Вина моя в том... И перед тобою вина и перед Олёной. Найди ее, Ивашко, заступи!

Данила приподнялся. В горе своем о дочери он за-

был о боли и страданиях, принятых им. Только бы знать, что ни хитростью, ни злодейством не погубил ее Семенко.

— Люблю я, Данила, Олёнушку, люблю больше жизни! — признался Ивашко и не стыдился того, что сказал. — Не сердись на мою речь!

— Не сержусь, — просто вымолвил Данила. — Верю тебе, но не знаю, увижу ли вас вместе?..

— Будет так, — ответил Ивашко, успокаивая Данилу. В эту минуту Ивашко верил в то, о чем говорил, и говорил искренне. — Ныне князь велел везти тебя в княжий городок на устье...

— Помнит он обо мне?

— Помнит. А злодея твоего будет судить за его вины.

И Семенка Глину спрашивал Ивашко о том, что сталось с Олёнушкой. Где она? С божбою отвечал поп:

— Не ведаю. Бог попустил... Пусто было займище:

В городке, когда вернулись из вотчины, Гаврила Олексич рассказал князю про вины вотчинного ключника.

— Бросить его в Шелонь! — прервал Александр рассказ Олексича. — Заслужил он казнь своими злодействами.

— В том, что слышал ты, княже, не все вины попа, — сказал Олексич. — Опознан в нем друг перевета Нигоцевича Семенко Глина. По прошлому лету был он из Риги на Новгороде с вестями и грамотами Нигоцевича. Те, кто знали Семенка, бывшего прежде попом в Нигоцевичевой вотчинке, кто принимали перевета и читали грамотки, — укрыли его, поставили правителем вотчины святой Софии в Зашелонье.

— Правду ты молвил? — спросил Александр.

— Истинную, княже. Перед свейским походом встретил Ивашко попа Семенка Глину на займище у бортника Данилы, схватил было злодея, но перевет обошел молодца, ранил его тяжко. Ивашко и опознал его нынче... И сам перевет признал вину.

— Займищанин... гостем принимал попа?

— Старая распря и вражда между ними, княже. Займищанин рассказал Ивашке правду о Семене. По тому сказу Ивашко искал попа на Новгороде и на Шелони.

За старую распрю, за то, что Данила знал о нем подноготную, Семенко схватил его. Из темного поруба достали мы займищанина...

— Жив?

— Жив. Привезли в городок.

— А сказал перевет, кому носил на Новгород поклоны и грамоты Нигоцевича?

— Молчит, ни одного имени не открыл.

— Таится. — Александр помолчал. — Не станем, Олексич, мутить Шелонь. Собери попа и отправь в Новгород к болярину Федору, авось тароватее будет с Даниловичем. Завтра проведем день на ловищах, а ты навестишь домников в погосте на Мшаге. Послезавтра в Новгород. Весть оттуда добрая: избрал Новгород владыкой игумена Нифонта.

ГЛАВА 15

БОЯРИН СТЕФАН ТВЕРДИСЛАВИЧ

Тяжко боярину! Встать бы ему сейчас, как прежде, побывать всюду в хоромах, окинуть все своим оком, пощупать добро, кое привезено из вотчин. Нет, крепко взяла хворь, не стрясешь. С горя не мил стал боярину и свет божий. Позвал он Окула, велел закрыть ставешки.

Ввечеру заходил Омоско-кровопуск, на воду шептал, в третьераз отворил дурную кровь.

— С легкой ли руки твоя ворожба, Омос? — сказал боярин кровопуску. — Пласточком лежу, не чую помощи.

— Моя рука легкая, осударь-болярин, — скороговоркой ответил Омос. — Для хвори, осударь, ворота на вход широко распахнуты, а на выход — ушко игольное. На разум, осударь, хворь скораста, на ножки бегаста; бочком, бочком да шмыг в коротечко! Недоглядели, пустили ее в горницу. Черным оком хворь посмотрела, на приступочек села... Кш!.. Проваленная!

Омос топнул ногой, помахал полой на дверь.

— Ну-ну, ворожи! Вроде бы легче стало.

— Ворожба — не божба, к сердцу доходчива, к доб-

рому делу прилипчива. Силен ты, осударь-болярин. С легкой моей руки, да гляди-ко, на бабье-то лето молодцом встанешь.

Будто и впрямь полегчало в тот день Стефану Твердиславичу. Как ушел Омос, квасу боярин попросил у Окула. Испил.

— Не с таганца ли принес? — поморщился.

— На холодке стоял, осударь.

— Не ври, Окулко! Хвор лежу, так вольно меня обманывать. Что нынче в хоромах?

— Горем горюют хоромы, осударь. На что уж тяжелы на думу мужики работные, и те слезы ронят, жалеючи тебя. Только и спросу: не полегчало ли осударю-болярину?

— А ты сказал бы, что полегчало.

— Сказываю, осударь. То-то бы встать тебе да пройти ноженьками, как прежде...

— Ну-ну, не юли! — строже промолвил боярин. — Что в Новгороде слышно?

— На Новгороде все по-старому, осударь. Утречком нынче за ранней обедней стоял я... Проскурочку за твое здоровье принял...

— Ох! — вздохнул боярин. — Только и слов у тебя, что о проскурочках... Юлишь, Окулко! Вроде бы сказываешь, а слушать нечего. Открой-ко ставешок, на белый свет погляжу.

Окул протопал к оконнице.

— День-то нынче благодать, осударь! Теплынь.

— Суеты много у тебя, Окулко... Ступай, один побуду.

То, что Стефан Твердиславич велел открыть ставешок, обрадовало Окула. За дверью он постоял в переходце и истово перекрестился: «Угодники-святители, избавиться бы от немощей болярину нашему, — беззвучно шептали губы. — В хоромах-то — все-то, все-то пошло бы по-прежнему. Хоть и глупый мужик Омос, а может, на живую руку наворожил».

Выбрался на крыльцо, зорко окинул взглядом дворище.

— Якунко! — позвал Якуна, воротного сторожа. Когда подбежал тот, спросил: — Тихо у тебя?

— Тихо. Ворота не открывал никому, только шел Омос по твоему зову.

— Вели Тимку стоять вместо тебя, а ты... В жерновую клеть пойдем!

...Боярин Якун Лизута сегодня с утра собирался навестить кума Стефана Твердиславича, но Лизуту задержал владычный ключарь, книжник Феогност. Недобрую весть принес он. Во владычной вотчине на Шелони, по указу князя, побывал воевода Гаврила Олексич с княжими дружинниками. Открыл воевода порубы; смердам, кои несли наказание там, дал волю, а правителя вотчинного попа Симеона велел спутать тенетами.

— Благословением владыки и по твоему совету, болярин, поставил я попа на вотчину, — сказал Феогност. — Места тамошние далеко от Новгорода, княжие люди не заглядывают в вотчины владычные...

— Чем Семенко раздразнил княжих? — наморщив лоб, хмуро спросил Лизута.

— Не ведаю, болярин.

— Хм... Чай, не полезли бы воеводы зря-то?

— Не стало нашего заступника и молитвенника владыки Спиридона, болярин, вот и обрели силу княжие, — молвил Феогност и, помедлив, добавил: — Опознали будто в попе Симеоне гонца, который был от болярина Бориса Олельковича к владыке почившему.

— Опознали? — встрепенулся Лизута. — Не казнен?

— Нет. В Новгород привезен.

— Хм... Во владычной вотчине жил поп, не князю судить его, а владыке. Твоя забота о том, отче Феогност.

— При почившем владыке так бы и сталось, болярин. Не князь, а владыка судит попов, нынче же страшусь того, — вздохнул Феогност. — Нифонт, что в прошлое воскресенье вошел в дом святой Софии, княжий угодник. Не приняв хиротонии [1], он попрал все, что уставлено из старины. Четвертый нынче день с воскресенья, а на владычном дворе стенания и вопль.

— Как же оно сталось, отче Феогност, что избрание возвело Нифонта? — спросил Лизута. — Ждал я иного.

— Не приложу ума, болярин... Все было так, как должно.

---

[1] Обряд посвящения в епископы.

— Тебе, владычному ключарю, наблюсти бы.

— Увы, не владычный ключарь я нынче, болярин Якун. В утре нынешнем призвал меня Нифонт и молвил: время-де, отче Феогност, отбыть тебе к митрополичьему двору. Не гоню, сказал, но не вижу и нужды оставаться тебе в Новгороде. Ответил я, что задержался здесь лишь по воле и просьбе покойного владыки. Уйду. А как буду на митрополичьем дворе, слезно стану молить владыку митрополита, не давал бы хиротонии Нифонту.

— Как стоит Новгород, не бывало того, чтобы владыка митрополит ставил архиепископа дому святой Софии, — отвечая на последние слова Феогноста, сказал Лизута. — Кто избран Новгородом, тому и блюсти нас.

— Мирские выборы епископа — сугубая ересь, болярин, — недовольный возражением Лизуты, резко произнес Феогност. — Нарушается ею преемственность священства, восходящая от апостолов.

Несмотря на неприязнь к Нифонту, Лизуту удивило и обидело неуместное обвинение в ереси обычая Великого Новгорода избирать себе епископа.

— Не нами уставлен обычай избирать владыку, не нам и нарушать старину, — возразил он Феогносту. — Обычай наш не ересь, он одобрен восточными патриархами.

«Худ Нифонт, да свой», — так думал Лизута. В душе он был даже доволен тем, что Нифонт отрешил от владычного двора хитрого и себялюбивого монаха. «Не ко времени Феогносту быть в Новгороде».

Только после обеда собрался Лизута навестить кума. Немощен боярин Стефан, но о том, что сталось с Семенком, должно и ему знать: Стефан Твердиславич посылал с Семенком грамоты Нигоцевичу и у себя в хоромах принимал попа. А ну как повинится Семенко? Ох, не миновать беды. Восхвалил бы Якун Лизута князя за то, если б он там же, в городке на Шелони, узнав о Семенковом переветничестве, велел обрезать уши попу и свергнуть в Шелонь. Добро бы так. А доведется попу говорить с болярином Федором, устоит ли?

В горнице Стефана Твердиславича все еще открыт ставешок. Хворь и маята отступили. Мысли боярина складываются о житейском. «Не рано ли помирать со-

брался? — думает. — На живую бы руку, глядишь, в осени-то и встану».

— Почиваешь, Стефане? — голос Лизуты заставил Твердиславича очнуться от дум.

— Не сплю, Якуне, — сказал. — Давно не видел тебя.

— Время, Стефане, трудное нынче... То одно, то другое — не вырвешься. А тебе-то пора бы уж молодцом гулять, бросить немощи.

— Чую, легче, может, и встану... Ставень велел открыть. Владыка, чу, избран.

— Избран, Стефане... В минувшее воскресенье.

— Юрьевский Нифонт... Спервоначалу-то ахнул было я, как услышал, а после, думаю, может, переживем.

— Княжий друг Нифонт, Стефане... Нынче книжник Феогност, грек, что о прошлом году послан на Новгород митрополитом, жалобился: гонит его Нифонт, велит идти к митрополичьему двору.

— Круто берет старец. Собирается Феогност?

— Собирается. Да оно и краше так-то, Стефане. Хитер и себялюбив монах! Как бы не пришлось из-за его-то дел ответ держать перед Новгородом?

— Ну-ну, ответ держать за монаха попы будут. Ереси аль иное что сотворил — попам каяться, недосмотрели почто! В чем его винишки?

— Ко времени ли молвить о том, Стефане?

— Ко времени все, что скажется, — пожевав губами, произнес Твердиславич. — Легче мне да и дело мое не поповское, сторона.

— И наше есть дело, Стефане, — хмуро пробурчал Лизута. — Семенка, попа, что прибегал из Рыги от боярина Бориса Олельковича, помнишь?

— Не объявился ли он?

— Объявился. Прибежал из Пскова. Ключарь владычный Феогност поставил Семена правителем в вотчинку святой Софии в Зашелонье. Оно бы и любо. Жил бы Семенко тихо, ну и жил бы, а он округлил к святой Софии Нигоцевичеву вотчиннишку, коя рядом с владычной. Александр сведал о том, что сделано Семенком, разгневался... На княжее-де добро покусился поп. Указал взять Семена на княжий двор.

— Нам-то что до того, Якуне?

— Не нам. За вотчинные вины мы не ответчики, другого страшусь: почуяли княжие перевета в Семенке... Не покаялся бы поп?! Перед походом на Неву болярин Федор Данилович намекал мне о послишке Нигоцевичевом; чаю, с Даниловичем придется говорить Семенку.

— Что делать, Якуне?

— Покается Семенко, приведется тогда и нам, Стефане, давать ответ Великому Новгороду на суде княжем. Крут Александр Ярославич, в Пскове Бориса Олельковича Свиными воротами пожаловал. И владыка Нифонт нам не заступник...

— Ох, почто ты!..

Стефан Твердиславич вздрогнул. Перекосив рот, он дышал тяжело, с хрипом. Лизута, наблюдавший за ним, оторопел.

— Стефане! — позвал он. — Может, отведем беду... Сердит князь, да без нас, вотчинных, не княжение. Будет худо — уйдем и запремся в вотчинах, а вотчинные права князь не рушит.

Стефан Твердиславич молчал. Один глаз его вдруг приоткрылся и, словно подмигивая, неподвижно уставился на Лизуту. Рука, лежавшая на груди, сползла вниз и бессильно повисла. Лизута поднялся, постоял над неподвижным телом кума.

— Окулко! — крикнул он. — Окулко, зови, кто там... Преставился болярин Стефан.

ГЛАВА 16

КНЯЖИЙ ПОГОСТ

После того как Василько побывал в Шелонском городке и говорил с князем, дед Левоник хотя еще и не выходил из горенки, где лежал, но все же воспрял духом. Вернувшись из городка, Василько зашел к мастеру, рассказал обо всем, что видел и о чем говорил с ним Александр Ярославич.

— Домницы не велел гасить, — заканчивая рассказ, сообщил Василько и утер выступивший на лице пот. —

Железа больше велел ковать... Обещал послать на погост к нам своего воеводу смотреть кузни и домницы.

— А сказал ли князь о владычных вотчинниках? Останется ли им путь на погост? — спросил Левоник.

— Нет. Не отверг Александр Ярославич владычных, но по лицу его видел я — гневен. Не любо ему, что правитель вотчинный погасил домницы.

— Что ты надумал, Василько?

— Буду варить и ковать крицы.

— Не дойду я в кузню, — вздохнул дед Левоник. — Как дуть будешь...

— Сколько силы хватит... Путка позову, пора ему обыкать ремеслу.

— Пора, — согласился Левоник. — Двенадцатый год парнишке.

Миновал день. Жизнь в погосте текла привычно и, казалось со стороны, неизменно. И этот и еще день Василько пробыл в кузне. Он разломал остывшую домницу, отобрал годные камни, замесил глину. К концу второго дня вывел новую домницу с трубою поверх крыши; полегоньку начал просушивать.

Стояла пора жнитва. Выстоявшуюся в «суслонах» и «бабках» рожь возили к овинам и хлестали — ломкую и сухую — о тесаные колоды и доски. Зерно выливалось полное, тяжеловесное. Подкидывая лопатами на ветру, веяли вороха. Вечерами, когда люди возвращались с напольных работ, в избах гудели жернова. Хлеб, испеченный из свежего зерна, был темен, но душист и сладок. На лугах, по Мшаге, расстилали околоченный лен. Он ложился ровными светлыми рядами, а по закраинам стлища, близ вересков и ивняжников, кругами и полукружьями.

Вечером в горенку к деду Левонику заскочил Путко.

— Василько в кузне, — с порога крикнул он. — Зажег домницу.

— Зажег?! — приподнялся Левоник.

— От смолья чад над кузней черный-черный...

— Сам-то, Путко, черный ты, как уголь, — рассмеялся Левоник. — Шел бы в кузню, присматривался, что да как? Наш род ремесленный, из старины мы домники, и тебе пора привыкать.

— Я был в кузне, — обиженно отозвался Путко. — Помогал Василько домницу глиной мазать, руду и уголь сыпали...

— Ишь ты, мастер, — Левоник любовно посмотрел на внука. — Перенимай, Путко! Помни, что говорю: великое дело ремесло.

Днем, когда засыпали рудой и углем домницу, Василько не предполагал оставаться на ночь в кузне. Но с наступлением вечера не утерпел: нарубил из старых сосновых пней вязкое и пахучее «смолье», заложил его в печь. Резкими ударами кресала о кремень высек огонь. Вскорости над кузней показался дымок; вначале он был еле-еле заметен в вечерних сумерках и, уплывая, терялся в хлопьях тумана, занявшегося над рекой.

Василько приладил к поддувалу сопло меха, не спеша, как бы нехотя даже, качнул коромысло. Домница зашумела. Размеренные движения Василька становились все тверже, увереннее. Над печью показалось синеватое пламя. Оно осветило темные, прокопченные стены кузни, облизало багряным языком гладкое железо наковальни. Василько теперь ни о чем не думал. Он прислушивался к дыханию печи: чем ровнее и сильнее дутье, тем скорее сварится крица, тем ковче и крепче будет в закалке железо.

В погосте прокричали третьи петухи. Василько сбросил колпак; лоб у домника взмок от пота. Сильно и глубоко вздохнув, в последний раз сжалось уставшее чрево меха. Кто-то подошел к кузне и остановился в темных воротцах. Василько не оглянулся. Уж не дед ли Левоник? Вот-вот прислушается он к шуму домницы, выйдет к наковальне и возьмет изымало...

— Устал, Василь? — как бы отвечая на мысли Василька, прозвучал голос. — Всю-то ночку, один-то у домницы.

По голосу Василько узнал Марину.

— И тебе не спится? — спросил он и усмехнулся. — Не помогать ли пришла?

— Отчего не помочь? — Марина вошла в кузню. Вспыхнувшее пламя осветило ее зардевшееся улыбающееся лицо. — Что велишь, то и сделаю.

Неожиданное появление в кузне Марины обрадовало кричника. Исчезла усталость. Рослая, с сильными плечами и румяным лицом, Марина стоит возле наковальни. Василько чувствует на себе ее вызывающий взгляд; вот она поправила выбившуюся из-под повойника темную прядку волос, улыбнулась... Васильку кажется, не от раскаленной домницы исходит жар, наполняющий кузню, а от этой близкой ему, сильной, красивой женщины.

— Сможешь ли? — любуясь Мариной, с ласковой насмешливостью сказал Василько. — Бери молот! Поднимешь?

Марина не ответила. Взяв молот, она легко, чуть изогнув стан, взмахнула и ударила по наковальне.

— Гож? — спросила.

— Попробуем...

Василько взялся за изымало — тяжелые, чуть не полупудовые клещи, с крючьями в зеве; разбил летку домницы, вложил в лётку клещи, повернул их и выбросил на наковальню крицу. Раскаленная добела, она пузырилась, шипела, сыпля блестками искр. Марина взмахнула молотом.

— Так, Маринушка! Сильнее! Бей, пока не остыла...

Не опуская клещей, Василько одной рукой поворачивал крицу на наковальне, другой постукивал ручником, вперемежку с молотом Марины.

— Сильнее бьешь, легче после железо ковать, — говорил он. — Довольно, Марина!

Бросил изымало, взял из рук Марины тяжелый молот и, на всю силу, удар за ударом, доковал сплющившуюся крицу, которая не сыпала больше искр, не блестела, а напоминала плотную, огромную жабу, невесть как попавшую на наковальню и распластавшую на ней свое рябое, посиневшее тело. Закончив, Василько бросил крицу в наполненный водой лоток. Коснувшись воды, крица зло фыркнула, зашипела и опустилась на дно. Василько подошел к Марине.

— Спасибо, Маринушка, помогла.

— А кто смеялся надо мной? — подбоченилась Марина. — Кто? Не ты ли, Василь? Баба, мол, ей ли знать кузню! А коли я жена кричника? Не отступлю перед ремеслом. Надо будет, зажгу и домницу, сама стану железо ковать.

— Станешь. С твоею-то ловкостью да умельством...

— Ой, Василь, — внезапно Марина точно сбросила с себя все, что привело ее в кузню, заставило взять молот и ковать крицу. В глазах ее потух вызывающий блеск, гордое выражение лица сменилось озабоченностью. — Дома-то чадо у меня... Как да проснулось? Шла к тебе только поглядеть, а тут уж и солнышко встало.

Василько хотел было что-то еще сказать, но Марина его не слушала. Она бежала так легко, поднимаясь в гору, словно никогда не видела крицы, не ковала ее.

В ту ночь, когда Василько зажег домницу, деду Левонику не спалось. В полуночи поднялся он с сенника и, хотя при движении чувствовал боль в теле, добрался к окошку. Кузни не видно, ее скрывает высокий берег Мшаги, но по тому, как на вершинах деревьев у реки отлунивают красноватые отблески, Левоник догадался: Василько не ушел от домницы. «Не в два ли меха дует?» — подумал, представляя себе рослую, сильную фигуру Василька в ксжаном с прожженными оконцами переднике, освещенную багряными отблесками пламени. «Золотые руки у мастера... И такого-то удалого молодца да в холопы...»

Утром, когда рассвело, Левоник почувствовал себя еще крепче. Он впервые после наказания, принятого от вотчинного попа, выбрался на улицу. Не терпелось узнать, сварил ли Василько крицу, не остыла ли домница? По времени пора бы отдыхать мастеру.

Около крыльца раскинулась резными листьями старая рябина. Левоник в юности сам посадил ее. Из-за князька избы выползло солнце. Яркие лучи его упали на лужайку перед крыльцом, рассыпались и засверкали белыми искорками в капельках росы. Помолодел, шелестя листвой, дуб у околицы. Сколько годов стоит он? Далеко ушли годы Левоника, а он от юности помнит дуб таким же, каким видит его сейчас.

«В самую бы пору быть на погосте княжему воеводе», — вспомнив обещание князя послать воеводу, подумал Левоник. Он снял с головы войлочный колпак, опустился на ступеньку крыльца. Из-за угла избы показался Олекса, сосед Левоника. На плече у Олексы, будто обнимая его, белеет рукояткой серп.

— Мир деду Левонику! — остановившись, сказал Олекса. — Утро ясное, солнце играет на вёдро, и ты нынче на улице.

— Выбрался. Чего им, старым-то костям, сенник мять.

— Правда, деду! А у меня к тебе малая просьбица.

— Смогу в чем — не откажу.

— Насечь бы серп заново.

— Повремени — насеку. Буду выходить в кузню и насеку. А велика нужда, так Васильку молви!

— Уж лучше ты... Ровён зубок на твоих серпах.

— Отдышаться-то все не могу... Не добром будь помянут правитель вотчинный!

— Нету его нынче.

— Как нету?

— Слух есть... — начал Олекса и запнулся, как бы опасаясь того, что поп где-то рядом. Не просохшая на лужайке роса щипала босые ноги, и мужик то и дело переступал ими; тканая опояска на рубахе съехала вниз, отчего живот его казался выпуклым. — Ввечеру, на поздне́ уж, — понизил он голос, — Калина, ступинский кожемяка, шел мимо. Обночевался у меня. Шел-то он из владычной вотчины. И такие нежданные россказни сказывал — диво берет.

— Ох, Олекса, чую, наплел тебе кожемяка, — недоверчиво промолвил дед Левоник. — Язык у него долог; у людей слово, у него два. Бывало, завернет в кузню — чего-чего не наскажет; со всего свету соберет вести, а говорит так, будто сам все видел. В иной раз покажу ему горячие клещи из горна и молвлю: не прижечь ли, Калина, язычок, заболтался он у тебя? Скажешь так — не обидится. Ха-ха, хи-хи — зальется. Ты, говорит, Левоник, и угодникам-то божьим не веришь, а мне и подавно.

— Враль кожемяка, слава о том по всей волости, — согласился Олекса. — Может, правду молвил, может, язык почесал: будто попа, правителя тамошнего, нету больше в вотчинке.

Воевода Гаврила Олексич сошел с коня на лужайке у дуба. На улице погоста — ни души. Люди словно попрятались. Если бы не куры, хлопотавшие в дорожной пыли посреди улицы, Олексич подумал бы, что погост

нежилой. Осматриваясь, он увидел старика, который сидел на крыльце крайней избы. Олексич его окликнул.

Старик приставил к глазам ладонь, посмотрел на воеводу; видимо, удовлетворенный тем, что к нему обратился витязь, поднялся и подошел ближе.

— Шли мы в Медвецкий погост, туда ли выбрались?

— Туда. Погост наш Медвецким зовут.

— Жив ли в вашем погосте мастер Левоник?

Услыхав свое имя, Левоник пристально взглянул на воеводу. Статный молодец в кольчуге и шеломе, стоит он, держа в поводу коня. Через плечо витязя, на кожаной перевязи, меч с оправленной в литую медь рукоятью. Поодаль три отрока в кольчугах оперлись на копья.

— Сам-то чей, витязь? Кому нужен мастер Левоник?

— По указу князя Александра Ярославича прибыл я на погост ваш говорить с домниками и кричными мастерами.

— Княжий воевода?

— Так зовусь.

— А и молод ты, витязь, по бороде не признал бы. Левоник-то я, осударь-воевода, — открыл себя мастер. — Да вот с той поры, как побывал на погосте правитель вотчинный, ноги меня худо носят. Впервой нынче из избы выбрался.

— Прости, мастер, — Олексич шагнул ближе к Левонику. — Не встречал тебя раньше. И людей на погосте не видно...

— Хлеба́ убирает народ, — объяснил Левоник безлюдие улицы. — Разве что старосте молвить, звонили бы в било.

Левоник, довольный тем, что княжий воевода назвал его по имени, обрел прежнее достоинство кричника. Он вернулся к избе, постучал в подоконницу и позвал:

— Путко! Выбеги, голубок, дело есть.

Подождал. Когда Путко появился на улице, что-то сказал ему. Путко, сделав крюк, чтобы взглянуть поближе на княжих дружинников и на коней их, побежал вдоль улицы. На обратном пути к воеводе Левоник шагал бодро, не опираясь на палку. Остановясь, он поправил на волосах ремешок.

— Ремесло наше старое, осударь-воевода, — заговорил он. — Родитель мой кричником был, от него и я перенял мастерство. По двенадцатому году научился я светцы и ухваты гнуть, а когда двадцатый пошел — отпятнался[1] я от родителя. Топорами с отпятнышем моим избы рубили плотники; косы и скобли ковал. Ныне страшусь, осударь, захиреет ремесло на Мшаге. Читал нам владычный указ поп вотчинный...

— Свой указ читал он, а не владыки, — сказал Олексич. — Примет кару поп за то, что сделал.

...На лужайке, у дуба, собирались люди. Они стояли поодаль, с любопытством и страхом взирая на княжего воеводу, который говорил с дедом Левоником. У всех было в памяти недавнее появление в погосте Семенка Глины, позор, принятый домниками. «Не с боем ли и княжий воевода пришел?» — тревожила опасливая мысль. Но воевода мирно беседовал со стариком, не ругался, не грозил. Вот он сказал отрокам, чтобы отвели на луг коней.

— Будем смотреть кузни и домницы, а кони голодны, — молвил.

Увидев подошедшего Василька, позвал его.

— По здорову ли жив, кричник? Знал тебя воином на походе и в битве со своями, нынче, коли не осердишься за любопытство, погляжу на твое ремесло.

— Велишь зажечь домницу? — спросил Василько. — Аль изделие ковать?

— И на домницу погляжу и на то, как куешь, а раньше скажу людям погоста указ княжий. Пусть и мужики и женки — все слышат.

С опаской приближались люди к воеводе. Олексич поднялся на колоду, подождал. И когда стало тесно на лужайке, поднял руку и произнес:

— Указал князь Александр Ярославич сказать свою волю людям погоста, всем большим и меньшим: берет он погост ваш, все земли и угодья ваши за себя. — Олексич помолчал, оглянулся вокруг на насупившиеся лица жителей. — Быть погосту вашему отныне княжим погостом, — продолжал он, — а ремесленным мастерам — ма-

---

[1] Отпятныш — клеймо мастера на изделии; отпятнался — не отцовское ставил клеймо, а свое, стал мастером.

стерами княжими, а всем людям вашим именоваться не смердами — людьми посадскими. Кричному мастеру и домнику Василько быть старостой погоста. За ремесло и умельство ваше указал князь Александр Ярославич обелить княжих домников и всех кричных мастеров от дани на князя и на Великий Новгород. Воля вам продавать изделия и крицы, как продавали раньше на Великом Новгороде, и пошлин за тот торг с вас не брать. Оружие, кое сковано будет, нести на княжий двор, как несут мастера Великого Новгорода. Велел князь Александр Ярославич указ свой скрепить своею княжей грамотой. И пребудет так на вечные времена.

ГЛАВА 17

НЕТ ЧИСЛА ВОЙСКУ

У подножья холма, за зарослями дубняка, расцвеченного редкими березками и темно-зелеными купами черного ольшаника, раскинулось озеро. Светлая лагуна его напоминает изогнутый рукав; она отделяет Венденский холм от лесной гряды. За озером хвойный бор. Острые, точно еловки шеломов, вечнозеленые вершины елок поднимаются так высоко, что, кажется, трогают бегущие мимо облака. В низменных местах, на берегах озера, непролазная стена ивы и лозняка; заросли перистых камышей угрожающе шелестят поднятыми вверх черными пальцами, словно предупреждая, что никому из жителей заозерья и прочих зажитий не дозволено находиться тут, в заповедных угодьях замка, каменные стены которого возвышаются на холме.

На склоне, вдоль берега ручья, десятка два лет назад стояло ливское селение Кесь. Много поколений ливов жило на этой земле. Они поклонялись своим богам, искали борти, владели рыбными и звериными ловищами, возделывали землю. Как и соседние племена лэттов и эстов, жили они вольно, торговали с полоцкими и новгородскими гостями и гостями из-за моря.

Орден рыцарей-меченосцев, укрепясь в Риге, огнем и мечом подчинил себе вольные племена. Ливонская зем-

ля покраснела от крови, жители ее превратились в данников и рабов Ордена.

В год битвы меченосцев с новгородским войском князя Ярослава Всеволодовича на реке Омовже рыцарь фон Балк, проезжая мимо селения ливов, поднялся на вершину холма. Вид озера внизу, окружающие леса, зелень лугов в долине показались ему привлекательными. Фон Балк сказал стоящим поблизости воинам:

— Этот холм и все, что видят вокруг глаза, отныне принадлежит мне. Тут будет мой замок. Страшен станет он для врагов и всех, кого поразит гнев пресвятой девы.

Фон Балк велел сжечь Кесь, жителей селения выгнать в леса, за озеро. Гордо и величественно поднялся на холме его замок.

Войско меченосцев, готовящееся к новому крестовому походу на Русь, собиралось в окрестностях замка. В долине, по берегам озера, виднелись наскоро сооруженные шалаши воинов, белели рыцарские шатры. В замок ежедневно прибывали новые дружины пеших воинов и конные рыцари из земель германских. Многие из них не знали родины; их влекла жажда захвата новых земель, рабов и рабынь. Необозримы пространства Руси, неисчислима добыча, которую сулил поход.

Фон Балк принимал гостей. В замке его собрались большебородый фон Вирт, фон Пален с Оггера, Иссерсон из Унгании, феллинский фогт фон Рорбах, фон Гиллешмидт, фон Бломберг... К празднику Успения в замок прибыл из Риги фон Кейзерлинг.

Стан войска вокруг замка раскинулся так широко, что дым от разложенных в долине костров застилал даль; раздавалось ржание коней, клики воинов.

Перед самым отъездом из Риги Кейзерлинг видел князя-епископа и говорил с ним. На похвалу епископа ратному искусству фон Балка, ставшего ныне маршалом Ордена, фон Кейзерлинг намекнул епископу о неблаговидности бегства маршала из Пскова. Епископ, ограждая, как понял Кейзерлинг, своего ближнего вассала от наветов, позорящих честь рыцаря, сказал:

— Пути истины непредуказаны, благородный рыцарь. Псковские и новгородские воины, находившиеся в войске Ордена, бежали с поля. Не позор и не вина

маршала в том, что он сохранил себя, а заслуга его перед Орденом.

Не оправившийся от раны, полученной в битве у Пскова, Кейзерлинг ходил прихрамывая. Убедясь в многочисленности и силе крестоносцев, собравшихся к замку маршала, недоверчивый и завистливый тевтон вынужден был признать превосходство фон Балка. Прямая, точно облеченная в незримую железную броню, высокая фигура маршала, его голос, резкие повелительные жесты — все обличало воина, не ведающего страха в битвах, которому недоступны чувства прощения и жалости. Суровая простота сочеталась в нем с гордым презрением к соблазнам мира. Среди братьев Ордена фон Балк пользовался славой хранителя рыцарских обычаев и рыцарской чести.

Мрачные покои замка, каменные зубчатые стены, кроме боевых амбразур не имеющие никаких украшений, как нельзя лучше соответствовали облику и характеру фон Балка. Выбеленные известью стены, холодная сырость, пронизывающая здесь все, еще больше усиливали неприютность жилья. Нигде не было видно ни ковров, ни окованных железом и медью ларей. Пищу подавали в глиняной посуде, для питья ставили оловянные чаши. Лишь изобилие еды и питья заставляло рыцарей забывать о неудобствах жилища маршала.

Строгий обет безбрачия, даваемый меченосцами при посвящении их в рыцари Ордена, лишил замок того обаяния, которое способна дать женщина. В первые дни жизни своей в замке фон Кейзерлингу даже казалось, что нога женщины не переступала порога этих холодных покоев. Но после рыцарь убедился, что в замке есть уголок, где стучат берда ткацких станов, крутятся колеса самопрялок. В этот уголок никому, кроме властителя замка, нет доступа.

Фон Кейзерлинг с нетерпением ожидал начала похода.

Ночь. В покое фон Балка горят восковые свечи. Пламя их освещает стены, некрашеный стол и дубовые скамьи. В открытое окно доносятся шум и голоса воинов. У стола, облокотясь на него, дремлет рыцарь фон Кейзерлинг. От свечи, мигающей перед ним в железном подсвечнике, рыжая борода тевтона кажется охваченной

пламенем. Фон Балк, широко ступая длинными, словно не гнущимися в коленах ногами, ходит из угла в угол. Шаги его подкованных железом сапог гулко отдаются на каменных плитах пола.

Вслед за легким стуком открылась дверь, и в покой вошел рыцарь фон Пален. Он бесшумно приблизился к столу и, остановясь около, скрестил на груди руки.

— Рыцари, собравшиеся в войско, и воины недовольны нашей медлительностью, брат маршал, — сказал он, подождав, пока фон Балк поравняется с ним. — Я был у костров... Спрашивают: почему тратим время на житье здесь?

— Поспешность — не храбрость, благородный рыцарь, — резко прозвучал в ответ голос маршала. — Войско наше велико, — остановившись перед Паленом и глядя на него с высоты своего роста, продолжал фон Балк. — В Дерпте полки датского короля, к нам прибывают рыцари и воины из германских и иных христианнейших земель. Вести, полученные из Руси, благоприятствуют походу. Завтра объявим войску, что выступаем в Дерпт...

— Готовится ли Новгород к встрече с войском святого креста? — спросил Пален.

— Скудны о том вести, брат. Но то ведомо, что Новгород не сможет остановить крестоносцев. Князь Александр бежал...

— Истинна ли эта весть? — недоверчиво произнес фон Пален. — Об Александре новгородском в войске говорят, что он храбр... Ты, брат маршал, в битве у Пскова видел его.

— Александр хитер, — подняв голову, сказал фон Кейзерлинг. Тонкий, высокий голос его так громко разлился под сводами покоя, точно провизжала на ржавых петлях давно не отмыкавшаяся дверь. — Когда лиса притворилась мертвой — ее убивают, не дав показать зубы. Сможем ли поступить так с новгородским Александром и его полками?

— Там мой ответ, брат Кейзерлинг, — показывая на темную щель окна, усмехнулся фон Балк.

Кейзерлинг не тронулся с места. Устало зевнув, он подвинул к себе свечу и застыл, как бы любуясь ее огоньком. Фон Пален взглянул в окно, на которое пока-

зал маршал. Там черной пустыней расстилалась над землей ночная тьма. Небо заволокли тучи. Не видно звезд. Исчезла во тьме и роща на склоне холма. Но ближе ее, и вправо, и дальше за нею — в долине — огни костров. Их так много, что стан войска невозможно охватить глазом.

— Лиса притворилась мертвой, — не скрывая насмешливой улыбки, кривившей его губы, повторил фон Балк, — но ей ли испугать стаю волков? Волки разорвут ее прежде, чем она скроется в свою нору. Александра нет в Новгороде, это облегчит нам труды похода. Мы не задержимся в Пскове, не повторим прежней ошибки нашей, а немедленно выступим к Новгороду. И да поможет нам пресвятая дева!

ГЛАВА 18

В СТОЛЬНОМ ВЛАДИМИРЕ

В первый же день по приезде во Владимир Александр поведал отцу причину своего посещения. Ярослав, выслушав сына, одобрил его за то, что, готовясь к походу, пришел за помощью.

— Мудро, зело мудро поступил ты, Олексанко, хвалю, — сказал Ярослав. — О том, что латинские меченосцы и папские епископы готовятся к походу на Новгород, писали мне из Полоцка и из Литвы. Большую собирают рать. В германских землях бездомными лыцаришками хоть пруд пруди. Гордятся они гербами своими, а за душой — ничего. На плечах железные латы, а под латами у иного рубище, от какого у нас, на Руси, юрод отвернулся бы. Папский двор желает подчинения себе церкви русской, а наипаче того — десятины с доходов наших, а ливонским меченосцам нужна земля наша и рабы. Потому лыцари и союзники Риму. Войска у меченосцев соберется много, в битве лыцари стойки, встречался я с ними на Омовже, помню; но и ты, Олексанко, силой не беден. Помощь дам Новгороду. Соберу рать и половину дружины молодшей отпущу с тобой.

— Страшно опоздать, батюшка, — выслушав отца, сказал Александр. — Вовремя бы встретить латынян.

— Да, медлить некогда. Рад я тебе, Олексанко, как гостю, но удерживать не стану. Едучи во Владимир, что велел ты делать попутным воеводам на Торжке, в Твери и на Дмитрове?

— Велел собирать людей ратных и оружие ковать.

— Добро, хвалю. Отдохнут кони — завтра ступай в Переяславль, собирай там войско. Я пошлю нынче гонцов с грамотами в Ростов Великий, на Суздаль, в Ярославль — велю слать ратников. К Спожинкам, через неделю, буду ждать тебя во Владимире. Выступишь на Новгород с дружиной и конным войском. Пешая рать пойдет следом. С нею пошлю воеводу Чуку и Андрейку... Велик вырос отрок, пора ему дело ведать. На походе и в битве ты, Олексанко, наблюди брата! А теперь, с пути-то, небось устал, иди, отдыхай!

— Хотел я нынче быть в Боголюбове, батюшка, — сказал Александр. — Матушку навестить.

— Иди, — усмехнулся Ярослав. — Мать рада будет. И Андрейка при ней, в Боголюбове. Скажи ему, что пойдет в поход с тобою.

Выйдя от отца, Александр велел седлать коня.

— Дружине быть во Владимире, — указал. — Два отрока пойдут со мною.

Выехав из Детинца, повернули коней к Медным воротам.

На немощеных, с пробитыми колеями улицах города за всадниками тянулся непроглядный хвост пыли. Ветер сносил пыль, и она бурым налетом оседала на листьях репейников, на облепленных повиликой кустах крапивы и на гордо несущих раскрывшиеся лиловыми огоньками головки свои серебристых осотах. Пышные заросли пустотравья покрыли во Владимире незастроенные печища и пустыри. Но они оживали. После ордынского пожара первые избы рубили кое-как, наскоро, лишь бы крыша была да тепло. Приняв владимирское княжение, князь Ярослав не жалел трудов, отстраивал стольный город.

Новые хоромы рубят крепко, обносят тыном. В Детинце высятся соборы, заделаны проломы в стенах. И в том, что город закрывает раны свои, Александру каза-

лось, было знамение возрождающихся сил и величия Руси.

Холмы, за которыми временами светлеют плеса Клязьмы, золотящиеся жнивьем убранные поля, кустарники на пути и величественные рощи, избы возрожденных погостов — все радовало взор.

«Постарел батюшка», — неожиданно явилась мысль. Помнил Александр отца черноволосым, не знающим удержу силе, а теперь в бороде у него много седины, плечи стали сутулее, только глаза светятся прежним огнем и волей. Ни словом, ни намеком не пожаловался Ярослав на бремя, возложенное на него. Много ума, хитрой мудрости надо иметь, чтобы восстанавливать разрушенные и сожженные города и веси. В княжих делах Ярослав неуклонно следовал примеру старых князей суздальских.

Во власти великого князя Ярослав, как и отец его, князь Всеволод Юрьевич, видел силу, способную объединить русские земли. Он укреплял эту власть и стремился упрочить ее за своим родом. Силой, хитростью — ничем не пренебрегал Ярослав, возвеличивая Суздальскую Русь над другими русскими землями. В сношениях своих с удельными князьями он опирался на сильную и многочисленную дружину; во внутренних делах княжества заботился о развитии торговли и ремесла.

Разрушенный ордами Батыя княжий двор в Боголюбове опустел. Развалины его и сохранившаяся часть здания виднелись с дороги. Камни развалин успели зазеленеть мхом; кое-где, в щелях между камнями, пробивалась трава; гибкая, тонкая березка, будто озорная девчонка, взобравшись на остаток стены срединной части здания, играла на ветру зелеными кóсами. Александр представил себе боголюбовский двор, каким знал его в юности, до нашествия ордынян... Болью и тоской сжалось сердце.

Можно ли витязю, которому мила земля своя, без душевной скорби и гнева взирать на следы позора и поражения, принятого от врага? Ненависть жгла сердце. Хотелось поднять копье, настигнуть ворога и отомстить за совершенное им злодеяние. Не чувствуя боли, Александр до крови кусал себе губы, пальцы его сжимались в кулаки. Но чем выше и сильнее ненависть, тем свя-

щеннее чувство ее, тем глубже и величественнее мудрость, порождаемая волей к сопротивлению. Побеждает не внезапный порыв, не слепое стремление искать гибели себе ради мщения, а мудрое, расчетливое спокойствие, разумное сохранение сил и разумный выбор места и времени, чтобы, подняв меч, поразить врага.

«Отразим латынян, — думал Александр. — Накопим силы и тогда... Доживу ли до часа, когда восстанет Русь и поднимет меч на Орду?»

Княгиня Федосья Мстиславовна жила в построенном Ярославом летнем городке на берегу Нерли, вблизи от ее впадения в Клязьму, на полпути от развалин боголюбовских палат князя Андрея Юрьевича к каменному собору Покрова.

Миновав освещенную предзакатным солнцем и начавшую уже золотиться березовую рощу, Александр выехал к Нерли и остановил коня. Впереди, на холме, ярым обрывом спускающимся к реке, сливаясь с зеленью деревьев и трав, поднимались стены городка. Над ними, как бы венчая их, взлетел ввысь пестро окрашенный резной петух на князьке княжего терема. Александр представил себе мать, то, как она выйдет к нему навстречу. Не передать, какою лаской и счастьем осветятся ее глаза. Александр улыбнулся и пустил коня шагом.

В воротах городка показался высокий черноволосый юноша. Он посмотрел из-под руки на приближающихся всадников и вдруг, забыв, что он уже не юнец, а воин, стремительно побежал навстречу.

— Сано! — кричал он на ходу. — Сано!

— Андрейка!

Александр спрыгнул с коня, поспешил к брату и горячо обнял его.

Недолго пробыл на этот раз Александр в Переяславле, в городе, где он родился и где не раз жил. Переяславль и Переяславльская земля с городами Дмитровом, Тверью и Торжком отданы ему отцом в удел как старшему сыну, каким остался Александр после смерти брата Федора. Живя в Переяславле, Александр всегда чувствовал себя как-то особенно хорошо. Здесь он забывал о вражде и наветах новгородских бояр-вотчинников,

здесь он был своим, ближним князем. Переяславль и переяславльские города не знали вотчинников, с какими пришлось бороться Андрею и Всеволоду Юрьевичам в Ростове Великом и Суздале, и что ныне знал Александр в Новгороде. Переяславль — княжий город; поставленный князем воевода правит княжее дело, суд и городовую казну.

В этот приезд, увидев Переяславль, Александр не испытал, как бывало, довольства и радости. На Торговой стороне, в слободах и в Кремнике из уст в уста передавались слухи о скором походе.

Боярин Домаш, воевода переяславский, с почестьем встретил князя. В горнице воеводы Александр, едва притронувшись к чаше, сказал:

— Вели трубить в трубы, Домаш! Собирай городовое ополчение и нынче же шли гонцов в волости с указом: боярам и дворским людям явиться конно, с дружинами, а с волостей гнать посошных ратников, по одному от двадцати сох... Не медли, медлить нет времени. Найдешь ли оружие в Переяславле для всех, кто соберется в Переяславский полк?

— Мало, княже, не обружим всех посошных.

— Твоя в том вина: почто кузнецы не ковали копья и рогатины; лучники, щитники, кольчужники древоделами и бочешниками стали, рыбу ловили да промышляли зверя? Отдай ратным все оружие, что соберешь, остальные пусть идут в полк без оружия; даст им Новгород. Тебе, болярин Домаш, велю быть воеводою и вести переяславское войско. Поведешь прямыми дорогами — на Дмитров и Тверь. В Дмитрове, на Твери и в Торжке примешь попутно в полк тамошних ратников. Пойдет с тобою и тверской воевода болярин Кербет. Выступай немедля, как соберешь войско.

— Смерды хлеба убирают, княже, время ли брать посошных?

— Не время, знаю о том. Но пустим на Русь латинских крестоносцев, хуже будет: спалят они зажитья, мужей наших побьют, жен и детей возьмут в полон. Станут владеть и землею нашею и людей наших обратят в рабов и холопов своих, как обратили в рабов ливов и эстов. Народ наш не потерпит нашествия латынян. Все запасы

хлеба, какие есть у тебя, кроме того, что нужно оставить на прокормление, шли обозами в Новгород... Не будем загодя вешать головы, с верой в силу свою выйдем в поле.

Протрубили трубы. Городовым людям Александр сказал то, что говорил Домашу, и в тот же день уехал на княжий двор в Городище, где обычно жил он, бывая в Переяславле.

Окруженные валом и высоким тыном княжие хоромы в Городище поставлены на высокой горе. Оттуда, с вершины ее, открывается радующий взор обширный вид на озеро и окрестности. Старый княжий двор в Кремнике, построенный еще князем Юрием, Александр не любил за мрачность, за то, что в горницах и гридне пахнет нежилью, гнилым деревом. Но не живя там, Александр все же охранял хоромы. Прошлой зимой он велел перекрыть тесовые крыши на теремах, починить крыльца и сени.

Опускался вечер, когда Александр прибыл в Городище. Было так тихо, что даже листва на деревьях казалась застывшей и сонной. Солнце, скрываясь за дальние холмы, золотило последними лучами вершину горы, а внизу, над озером, уже сгущалась тень. Александр, отдав коня отрокам, не пошел в хоромы; он направился в рощицу, что раскинулась на крутом склоне к озеру, вблизи от ограды.

Вокруг — необъятный простор. Темно-синее лоно озера внизу похоже на огромную зеленую чашу, наполненную чистой, чуть-чуть дымящейся влагой; в глубине чаши отражается небесный свод. Холмы, окружающие озеро, утопают в ожерелье рощ и лугов. На равнине, по берегам Трубежа, темнеет город. За развешанной на шестах и козлах паутиной сетей — избы рыбацкой слободки, а за рекой — Кремник, темный, деревянный, с белеющей внутри ограды церковью Спаса.

И кажется Александру, что просторы, раскинувшиеся перед ним, это и есть Русь — его отчизна. Она дорога ему так же, как дорога любовь матери, как дороги свет и мир его желаний и радостей.

Стало темно. Чаша озера затянулась белыми дымками тумана. Александр вошел в хоромы. Только теперь

он почувствовал усталость. На столе в горнице приготовлена снедь. Александр в полусне пожевал что-то. И не взошла луна, когда он уже крепко спал, вытянувшись на прохладной перине.

После обедни в соборе у Успения владыка служил попутный молебен уходящему в Новгород конному войску. Оно выстроилось на соборном дворе, в Кремнике. Впереди войска — Ярослав, рядом с ним Александр и Андрей. На особом ярко-красном коврике — княгиня Федосья Мстиславовна с младшими детьми. Позади отроки дружины Ярослава, которые уходили с Александром, и конное боярское войско.

Молебен служился истово, по всему чину. Но вот затрезвонили колокола. Александр подошел к отцу.

— Пусть будет счастлив твой путь, Олександро! — промолвил Ярослав, обнимая сына. — Станем ждать вестей от тебя. Как будешь после битвы с латинскими меченосцами на Владимире, чаю встретить славой и колокольным звоном.

— Спасибо, батюшка! — ответил Александр на пожелание отца. — Не положу я меча перед врагом, не опозорю Руси.

— Верю. Помни, что говорил тебе. Не на забаву идешь. Не поддавайся на хитрость вражью, будь смел и искусен в битве, береги дружину и войско! Не стану учить тебя, как вести бой, — дальний совет не всякий хорош, а ты быстр умом. Дед и прадед твои крепко хранили и берегли славу Руси — не посрами костей их!

Со слезами обняла сына княгиня Федосья Мстиславовна. Брату Андрею, при прощании с ним, Александр сказал:

— Скоро жду тебя, брате милый, на Новгород. Поспешай, не задерживайся в походе. Большою силою идет враг, преградим ему путь вовремя.

Простился Александр с ближними дружинниками отца и воеводами. Старый Чука, когда Александр подошел к нему, отступил назад и молвил:

— Дай-ко взгляну на тебя, Александр Ярославич! Пожалуй, нынче-то и не подниму тебя, как бывало. Ведь ты на коленях у меня сиживал, сказки да побасенки

слушал. А теперь-то, господи мой! Воин ты и князь Невский. За ум и храбрость твою прими, княже, поклон!

Чука поклонился Александру, касаясь рукою земли. Постарел воевода, но плечами, как и был, широк он и крепок. Александр обнял его и троекратно, как с отцом, облобызался с ним. Не отпуская, Чука приподнял его на руках.

— Поднял, княже! — ухмыляясь и гладя усы, воскликнул он. — Знать, годится еще на что-нибудь Ерофей Чука. Счастливый и добрый путь тебе, Александр Ярославич!

Александр на коне. Медью и серебром блестит на нем бехтерец. Позади его подняли копья полтысячи конных воинов. Зазвонили колокола. Под звон их, провожаемое напутственными возгласами городовых жителей, войско Александра тронулось к Золотым воротам.

ГЛАВА 19

ВЕСТЬ С МАЯТЫ

Боярин Водовик оженил сына. Шумно отпраздновали свадьбу. И не сказать, сколько снеди съедено, сколько питья выпито. Не пересыхали на пиру ендовы с медами крепкими; запивали меды пивом хмельным и заморскими мальвазеями. Не жалел Водовик добра для гостей званых. Сам он выбирал невесту сыну. Сладилась желанная свадьба, а сладилась — не разорвешь.

Высоко держит бороду Водовик: шутка ли, породнился с именитым боярином Никифором Есиповичем!

Невеста — одна дочь у Есиповича. Преставится родитель — все богатство ей, и хоромы и вотчины. Опасался Водовик, задумав сватовство. А ну как заупрямится Есипович? Молоденек, скажет, женишок у тебя. Дочке моей с Улитина дня четвертной годок пошел, а женишку?.. Как его по имени-то? Лушко? Впору ли под венцом стоять? «Правда, — вздыхал Водовик. — Ох, правда!» Не в бровь, а в глаз ему слово о молодости сына. От сердца молвить, так и впрямь чуть ли не в матери годится Лушку невеста. Не она, богатство ее приманчиво. Лицо и годы оно красит. Славен был на Новгороде боя-

рин Стефан Твердиславич, царствие ему вечное, а ведь он спал и видел взять Улиту, дочку Никифора Есиповича, за своего Андрейку. Ошибся Твердиславич; по гордыне ли своей, по глупости ли и упрямству послал он Андрейку в войско. Остался б жив Андрейка — мужем Улиты, желанным зятем вступил бы он в хоромы боярина Никифора.

«А чем не жених Лушко? — продолжал Водовик свои думы. — Четырнадцатый год отроку». Вспомнилось боярину, что и его по четырнадцатому году оженил родитель. Невесту взял... Забыл уж Водовик, какой год шел в ту пору его боярыне — не то двенадцать, не то одиннадцать минуло. Моложе его была она.

Молода, а радость ли в том? Помнит, ввели невесту в дом, а ее ни наряды, ни муж, с которым под венцом стояла, не радуют. Год прожил с женой Водовик и не знал, зачем она взята ему батюшкой? Лишь после году люба стала боярыня и хороша.

Женится Лушко на Улите, она-то небось не станет ходить дурой. С лица Улита рябовата, телом зато пышна; не придется Лушку учить ее жизни замужней. Когда юн и не сметлив муж, к разумной жене ему легко привыкать. Поспит она ночку, а утром-то встанет ласковая; накинет на плечи плат паволочитый, украсит себя колтами золотыми, жемчугами скатными, смарагдами, яхонтом, — то-то мила, то-то люба покажется. Муж-то молодой себя самой ей дороже. Возьмет она его на руки, прижмет к груди...

— Тьфу! — отплюнулся Водовик и облизал губы. Своя молодость, сила былая вспомнились боярину.

Есипович не отказался от жениха. Рад и он пристроить дочку. Столковались о приданом и хлопнули по рукам. Назван Лушко женихом Улите. Не спрашивал его Водовик, люба ли невеста: зачем спрашивать, когда люба родителю! На свадебном пиру, сидя бок о бок с Улитой, Лушко не поднимал глаз. Ростом он ей по плечо, черноволос и сух — в батюшку. Злые языки шептали на все лады, будто не по невесте жених, зелен. Невеста-де зре́ла и перезре́ла в девках.

После пира боярин Водовик неделю ходил как в чаду. На людей он смотрел так, словно бы и впрямь слилось с его богатством богатство Есиповича. Наведа-

лись в хоромы торговые гости, Водовик в горницу не пустил их; передал свое слово через холопов: волен-де продать товар, волен не продавать. Надумаю вести торг — позову.

И как нынче не поважничать Водовику! Сына оженил на первой невесте в Новгороде, от запасов воска и хлеба ломятся у него клети; мехов, которые и серебра дороже, полные сундуки; хоть самому снаряжать ладью да плыть на торг иноземный.

Раздумавшись о богатстве своем, Водовик спустился с крыльца и велел открывать клети. Захотелось ему — не мерой, не весом — глазом хотя бы прикинуть, сколько хранится в клетях запасов. На воск и хлеб боярин взирал молча, только в глазах играли огоньки довольства, но когда начали открывать сундуки с мехами куньими — боярин похолодел. Тронуты меха молью. Облезла плешинками шерсть, из сундуков несет плесенью.

— Кто допустил этакое? — тряся кулаками, боярин подступил к ключнику. — Сгноили добро!

Он схватил мех, тряхнул. Осыпаясь, закружилась в воздухе шерсть.

— На что смотрел? На что сундуков не открывал, не сушил рухлядь[1]?

— По твоему указу, осударь-болярин, — оправдываясь, молвил ключник. — Не велел ты открывать, не велел никого пускать в клеть...

— Ох! Сгноили добро, а вину рады свалить на меня. Пора бы всех вас, виноватых, гнать в дальнюю вотчинку... Скорей беги на торг, — оборвал себя боярин. — Зови тамо Офонаска Ивковича. Не за серебро, а пусть хоть за грамоту долговую берет скорей рухлядишку. Обрадуется, поди, Офонаско моей беде. Он прибыли рад, чужое-то горе ему не горе.

Лица не было на боярине, когда он вернулся в хоромы. Прошел в горницу, сел на лавку. И горницу словно подменили сегодня — темно показалось в ней, неуютно. Где-то, за изразцовой печью, верещит сверчок. Не новую ли беду накликает? Забыл боярин о пережитой недавно радости. Не за то ли свалилась беда, что выбрал за сына рябую девку?

---

[1] Рухлядь — меха.

Постучал о пол. Когда вбежал холоп, велел принести квасу. Пил через край из полведерного жбана.

— Что стоишь, пес? — отставив жбан, уставился на холопа. — Какую еще весть припас? Сказывай, терзай своего болярина!

— Береста с Маяты от ключника Моки, из вотчинки тамошней...

— Где оно?

— Прими, осударь!

Холоп с поклоном подал боярину свернутые наподобие свитка тонкие гладкие листки бересты, завязанные прядкой мягкого льна; концы прядки припечатаны воском. Боярин сорвал печать; освободив бересту, развернул ее. Прочитав первые слова: «Осподину моему, осударю...» — Водовик поднял глаза и сказал холопу:

— Ступай! Кому нужда ко мне, пусть повременят... Не тревожили бы, покуда читать буду.

Оставшись один, он достал из-за образа указку, разгладил на столе бересту и, водя указкой по криво расползшимся строчкам, принялся читать вслух:

— «Осподину моему, осударю-болярину; поклон тебе, осударь, от холопишки твоего от Моки Душильца, ключника вотчинки твоей осударевой на Маяте коя, близ Мокрого погосту, поклон тебе земной, осударь, от меня и людишек твоих здешних. Не огневайся, осударь, жито и лен огнищевый уродились в вотчине, на земельке твоей, каких не бывало. Смерды-половники, и кабальные, и пашенные[1] людишки кои, везут дани довольно... Опричь, осударь, Мокрого погостишку и тех, что жительствуют на Верхней Маяте. Жалобятся смерды тамошние: градом-де в лето нынешнее хлеба и льны у них побило, со всего-де поля, что писано за погостом, и пол-окова[2] не собрали жита, а льну и совсем не собрали; что взяли пу́танки, ушло в отрепи да в куделю. Твоею милостью, осударь, указал я тем ленивцам, что не оберегли ни своего, ни болярского добра, не собрали хлеба, то и вина в том ихняя, указал им: везли бы дань в острожек вотчинный, как положено, всей мерой; у кого-де не будет дани, тому целовать дери в кабалу и покрывать боляр-

[1] Холопы, посаженные на землю.

[2] Оков (кадь) — мера сыпучих тел, равнялась четырем четвертям или восьми осьминам.

ской убыток в зиму, пушной рухлядью. И положил я, осударь, за осьмину жита давать по пяти дюжинок векши аль по полдюжинке черных куниц. Пушной-то рухлядью смерды обелят должишко и дерн в кабалу поцелуют. Божья милость станется через то твоей вотчине. Прости меня, осударь, холопишку своего, коли что не так, не по доброте твоей к смердам вотчинным и прочим коим, сотворил суд; не о себе, о вотчине пекусь. И иное дело есть у меня — о половнике твоем Емельке, котсрый о прошлом году в княжий поход бегал, а ныне возвернулся. Того же погостишку житель Емелька языком отрок востер, а к делу не падок. И тое лето и нынче не дал он дани тебе, осударь, и, сказывают, другим смердам не велел давать. С неделю тому места, привел я злодея Емельку в острожек, надел колодки на непокорца и в поруб вверг. Твоя милость, осударь, скажи свой, осударев, суд. А я пригрозил Емельке, но ушей и носа не резал; добро бы покарать неслуха на страх смердам...»

Боярин положил указку и вытер вспотевший лоб. Нелегко далось ему чтение грамоты, нацарапанной костью на листках бересты. Но то, что прочитал он, его удовлетворило. Казалось, живи боярин сам в вотчине, и он поступил бы так же, как поступил Мока. Упоминание в грамотке о том, что ввержен в поруб неслух Емеля, совсем развеселило Водовика. Даже забыл он о тронутых молью мехах, о том, что не его цену примет Ивкович, а свою даст.

В былые годы Водовик каждое лето наезжал в вотчинный острожек на Маяте; не страшно было ему тогда трястись по лесным дорогам, а вот нынче... Не то, не то стало. Стар. В его лета кости покоя ищут.

Помнит он пологий холм, на котором темнеют постройки вотчинной усадебки. Как островок, возвышается холм над заливной поймой. Маята — река неглубокая. Русло ее прячется в заросших ветляком и ольшаниками низменных берегах. Не замоча ног жители усадьбы переходят Маяту по круглым, облизанным древностью валунам. Летом река тиха, но весной, вздувшись полыми водами, Маята буйствует. Она затопляет тогда всю пойму, подбирается к палисаду вотчинного острожка, угрожая смыть его, раскидать по бревнышку, унести и выплеснуть в полную чашу Ильмень-озера.

В вотчине боярина Водовика все междуречье — от Маяты до Холовы и ко Мсте. Лесами, лугами поемными, пашнями, ловищами звериными и рыбными — всем богата вотчина. Смерды — половники и кабальные — поднимают пашни и залежи, сеют и убирают жито; в лесах жгут огнища под лен, ловят красного зверя, ищут борти, гонят смолу и деготь.

Блюсти вотчинное добро поставлен боярином ключник Мока Душилец. Счет потерял он годам, живя в вотчине; облысел здесь и борода побелела.

На язык Душилец не боек, и не зол будто бы, но и милости от него никому нет. Пожалуется ему смерд на бе́ды и нищету свою, просит повременить с данью боярину, Душилец выслушает все, что скажет смерд, не оборвет, а, выслушав, молвит: «Добро. Нищ ты, паробче, целуй дерн в кабалу!» Молвит мягко, как бы соболезнуя, лишь косые глаза его при этом разбегутся в стороны — один на Маяту, другой на Холову.

Ходит Душилец прихрамывая, одно плечо у него выше другого. И зимой и летом носит зипун из черной крашенины, стеганный на кудели; подпоясывает его тонким варовишным плетешком; на голове — войлочный колпак, из-под которого, закрывая шею, словно бармица из-под шелома, выбиваются серые косички.

— О-ох! Вспомнил вот, и будто сам побывал в вотчинке, в острожке тамошнем, — вздохнув, вслух произнес боярин. — Лучше и бережливей Моки не сыщешь холопа ни среди своих, ни среди чужих. Верен. И на глаз зорок, и умом не обижен, и смердам не потатчик.

Боярину даже пришла мысль, чем бы ему наградить верного слугу, но, подумав, спохватился: не в пользу рабу награда. Доверен раб у своего господина, тем и счастлив и награжден превыше меры.

В ответной грамотке на писание Душильцево указал боярин ключнику помнить о боярской милости, с пущим рачением и берегой править вотчину. «Смерды, кои нерадивы болярину своему и по лености аль по упрямству не несут дани, богом уставленной, — в твоей они воле и божьей, — писал боярин. — Искать тебе на них дань и наказание положить. Для ихней же пользы возьми в кабалу ленивцев; а кто из половников либо кабальных людишек помыслит о бегстве от болярина своего — вра-

зуми и укажи, что нет ныне воли Новгорода Великого не токмо кабальной и пашенной чади, но и смердам-половникам искать себе иного господина. Сидеть на земле смердам крепко. Ослушника Емельку не обеляй от колодок. Наказание ему на разум. При оказии же, коя случится, под крепким бережением пошли вора и дурака в Новгород; скажу ему суд за все неправды и за ослушничество его».

Написав, боярин покрестился на образ. На лице его отразилось удовлетворение, точно гору с себя свалил. «Отдам нынче Офонаске пушную рухлядь, то-то радость будет ему превеликая», — вспомнил о давешнем своем решении боярин и крикнул холопа, чтобы сведать — не явился ли в хоромы Ивкович.

ГЛАВА 20

КРАСНЫЙ ПЕТУХ

В Мокром погосте на вылете в поле в куриной избенке обитали старая Домушна с сыном Емелей. Стены избенки наполовину врыты в землю; соломенная крыша с перекошенными ребрами почерневших от времени жердей напоминает издали брошенное на пустырь разоренное воронье гнездо. Щель волоковой оконницы на красной стене сквозь натянутый на полозок сухой бычий пузырь пропускала внутрь так мало света, что при входе в избу еле можно было различить темное чело печи, напыльник над ним и закопченный брус воронца, поддерживающий тесины полатей. Пол в избе земляной; он застлан соломой. Осиновое дупло, словно обгорелый пень со старых огнищ, возвышается над крышей. Когда в избе топится печь, от дупла стелется по ветру рваная холстинка дыма.

Вход в избу скрыт сложенной из дерна и соломы клетью. Дверь, когда тронешь ее за скобу, немилосердно скрипит деревянными подпятниками; скрип ее слышно на весь погост.

Домушна — сухая, тощая, с впалой грудью; ростом она по плечо сыну. Рядом с Емелей нельзя и предположить, что это она родила и вырастила ладного и стат-

ного молодца. Не далеко ушли годы Емели, но он и дива много успел повидать и сам пережил диво. Году не минуло с той поры, когда в порубе у Душильца давили Емеле шею колодки. Княжий воевода, перед походом на Неву неожиданно появившийся в вотчине, снял колодки с Емели. Слова не промолвил Душилец. От страха перед воеводою замерла черная душа. Воевода горяч и молод, немногим старше Емели; молвишь перед ним невпопад — сам наденешь колодки, что давал другим. После Емеля шел в княжем полку, сечу великую видел. Высоко держал он голову, возвращаясь в Мокрый погост. А вернулся — хуже прежнего доля. Домушну, пока Емеля ходил в поход, взял Душилец в острожек; там и померла она, не дождавшись сына. И хотя ни слава битвы, ни доблесть ратная не трогают Моку Душильца, все же Емелю он не тревожил, словно забыл о нем.

Худо жилось Емеле в одиночестве. Люди его сторонились, знали: в опале молодец. Хотя Душилец не наведался к Емеле и к себе не звал его, но за дружбу с опальным спасиба не жди; не простит ключник того, что против воли его Емеля охотою пошел в княжий полк.

Зима стояла морозная. На святках морозище трещал особенно люто. Днем в застывшем бледно-голубом небе низко, над самой землей, тускло пылало холодное солнце. Казалось, оно дыханьем своим наряжало в пышный серебряный иней ветви обнаженных деревьев. По ночам же, когда небо темнело и вспыхивало дрожащими россыпями звезд, — мороз становился еще крепче; громко щелкал по углам изб, леденил все, что встречал на пути.

Мороз! В ком не взбунтуется сердце, когда, выйдя на простор из теплой избы, почувствуешь, как загустевший, ошеломляюще-звонкий воздух схватывает дыхание, инеем оседает на бороде и усах, застывает льдинками на ресницах? И хочется тогда широко-широко взмахнуть необъятными крыльями рук и не бежать, а плыть по сухому певучему снегу, смотреть и смотреть на его чистую, покоряющую все хрупкую белизну. Еле ощутимый ветерок, как ножами, сечет лицо, отчего кровь горячее бурлит в жилах. Бесшумно вспыхивают и бегут навстречу голубоватые дымки поземки, словно дыхание без-

молвной и неподвижной в зимнем торжественном сне родной земли. И в эти звездные ночи — не вся ли Русь раскрывается перед очами? Это она — сильная, неповторимая, гордая, неприступная. А звезды... Они казались Емеле крупными и яркими, точно глаза... Ах, нет! О чьих глазах вспомнил Емеля, не поведает он того и звездам.

И на святках Емеля не ходил в хоровод, не выворачивал зипуна, не бегал, как прежде, по погосту с ряженными. Днем был он в лесу, а вечером замкнулся в избе. Сбросив тулупишко, он положил было лучину к светцу, чтобы теплом и светом скрасить жилье, но передумал, не высек огня. Без сна, в думах горячих, кутаясь в дерюгу, провел ночь. Утром, как забрезжил рассвет, собрался он выйти на улицу. Толкнул дверь, она не подалась. Чудно! Нажал сильнее плечом — не скрипит, словно прихваченная наглухо. Догадался — святки. В ночь кто-то залил притвор водой. Затащат дровешки на крышу и поставят их у князька вверх оглоблями, опустят в трубу веник или сноп соломы, приморозят дверь... Ночью постучится «краскотер». Ведро у него с болтушкой из золы и сажи. Открой не поопасясь, «краскотер» мазнет по лицу смоченной в болтушке мочалой. Шутки, игры, ряженые, гаданья девичьи — всем богаты святки.

Вырубив лед, Емеля открыл дверь. В клети, куда он вышел, растопырилось чучело соломенное. Обряжено чучело в старый-престарый сарафан и повойник; два уголька вместо глаз. Емеля вспыхнул... «Хозяйка»! Подворожили, принесли холостому. Когда б раньше так, при живой матушке, ох и посмеялся бы Емеля. Подкинули молодцу «хозяйку», вправе он спросить у любой девушки на погосте — не она ли несла чучело, не ее ли звать-величать, суженой называть? А нынче? Ему ли судьба искать невесту!

Спустя время, Емеля узнал, что подкинуть ему «хозяйку» уговорила подружек Горынька. Она с подружками и воду лила в притвор, чтобы мороз, удалой молодец, льдом схватил, как железом. Верил и не верил тому Емеля, но спрашивать у девушки, дознаваться о правде не хотел. Не невеста ему Горынька, и он ей не жених.

Горынька из большой семьи: внучка она Тимофея Прокудовича. Изба Прокудовича посредине погоста, об-

ширная, как хоромы; на окошках у нее узорные наличники, тесовое глухое крыльцо на пузатых, как бочки, столбах... Семья в избе неделеная. Прокудович в ней двадцать третий. Сядут за стол — в чашке от ложек тесно.

Беден Емеля, но бедность, говорят, молодцу не укор. До того, как побывал он в порубе у Душильца, веселее Емели не было молодца на погосте. В порубе, а особливо после того, как свет повидал на походе в княжем полку, задумывался над своей жизнью Емеля, и всякий раз тошно становилось ему от своих дум.

Кто он? Молодец без роду. Жил с матерью, не зная родителя. Пригулыш. Ему ли искать невесту? Спросишь, а она в ответ: хорош, скажет ты, Емелюшка, да прививаться-то у тебя не к чему.

Миновала зима, лето идет к концу. Мочи не стало жить в Мокром погосте. Хлеб и лен выхлестал град. Белый мох да сосновую кору сушат люди; добро, коли птицу аль зверя в лесу добудешь. Кусать нечего, а Душилец от дани боярской не обелил погост, велит нести все, что положено. Не принес дани — целуй дерн в кабалу и обещайся покрыть к Рождеству долги пушной рухлядью; да чтобы меха были исправные: векша без рыжинки, куница и лиса — безызъянные.

Глухо шумят леса. В темные ночи не то шорохи, не то шепот чей-то слышно. Полны хлебом клети в вотчинном острожке боярина Водовика. Корми до нови весь народ вотчинный — не убудет половины запасов. Но не то что к клетям — к воротам острожка нет доступа смердам. Разве только позовут кого стражи к Душильцу. В ту пору и увели в вотчинный острожек Емелю. Никто не провожал его на погосте; ни слова доброго, ни пути не пожелал молодцу. Лишь за околицей, на тропинке к ключевому колодчику, опустив на землю коромысло с полными ведрами, стояла Горынька. Не посмеялась она, слова не молвила, будто застыла; вправду так или померещилось Емеле, но видел он слезы на лице девушки. О чем скорбит она? Неужто и у нее горе? Емеля опустил голову. Не оглянулся больше. Стыдно стало ему судьбы своей. А думы... Страшно их. Как огнем жгут. Казалось, ни поруб дубовый, ни колодки — ничто не сломит его. Все переживет, все муки перетерпит.

Бросив в поруб Емелю, Душилец послал береста боя-

рину; знал, чем обрадовать. Посетила беда смердов, пусть они и несут тягости. Жили половниками, все же на своей воле, а с бедой-то кабальными станут, холопами пашенными.

Даже ростом прибавился Душилец; глаза хоть и не прямо смотрят, но и не разбегаются, как прежде, на Маяту и Холову.

В тот день, когда проводил гонца с грамоткой боярину, перед вечером побывал Душилец у ворот острожка, наказал воротным — не спали бы, не считали б ворон, а посматривали; проверил замки у клетей — винтовые, еле ключ повернешь в каждом. Вернулся в горницу, лег почивать. Ночью никто не тревожил. Проснулся Душилец на восходе; показалось, шумят на дворе. Оттянул волок оконницы, выглянул. У крыльца толпятся стражи. Душилец окликнул:

— Почто шум, молодцы? Кто побывал у острожка?

— Никто, тихо было, но утречком...

— Не томи! Сказывай!

— Омелько ушел...

— Какой бес тебе молвил? — осердился Душилец на стража.

— Не бес... Дверца в клеть сорвана и колодки брошены.

Душилец в чем был выбежал на крыльцо и — скорее в поруб. Нет Емели. Потрогал дверь. Ох! Недосмотрели. Подгнила она.

— Скорей! — выбежав во двор, крикнул стражам. — По всем дорогам скакать, по всем погостам и займищам спрашивать. Осень, в лесах не присохнет вор. Отыщется... Гнать к острожку в колодках, а в чьей избе отыщется — и того смерда гнать. Не поймается Емелька, быть тогда на суде болярском всем, кто стояли в стороже.

День минул и второй — не нашелся Емеля. Из верхних погостов на Маяте смерды прогнали стражей, боем грозили. На ночь Душилец велел стражам копья брать, глядеть зорко, не смыкая глаз.

Дождь начался с вечера. Небо затянули облака. Душилец зажег свечу, разгладил береста и сел писать грамотку боярину. Рука дрожала, когда царапал весть об уходе Емели и о том, что сталось со стражами вотчинными на Верхней Маяте.

Время приближалось ко вторым петухам, когда Душилец закончил писание. От долгого труда ломило поясницу. Встал, прошелся по горенке, открыл волок оконницы. На дворе темно. Вытяни вперед руку — не увидишь ее во тьме. Дождь не перестает. Слышно, как он шепчется с тесинами крыши, шумит в листве тополька. Только этот шум и нарушает безмолвие. Душилец собрался уж закрыть волок и погасить свечу, как вдруг ему показалось, будто телеги скрипят где-то. Прислушался. Нет, не слышно. Потянулся к волоку, тут снова раздался скрип... Близко, за самой оградой. Послышались голоса, кто-то забарабанил в ворота.

«Никак гонец от болярина», — подумал Душилец и крикнул в темноту:

— Эй, кто на воротах? Открой! Не держи гонца под дождем!

Ворота открылись. «Боже ты мой! Что на дворе-то?» Крики и брань. Зажглись смоченные в смоле и привязанные к кольям пучки кудели. На дворе люди... Много людей. Они бегут мимо хором к хлебным клетям. В отблесках горящей смолы лица их страшны и багряны. «Адово пламя!» — у Душильца опустились руки при этой мысли. От клетей донесся стук топоров, треск ломающегося дерева.

«Смерды! — наконец догадался Душилец.—Тьма их».

— Подводы гони! — сквозь шум донесся в оконницу чей-то истошный крик.

— Свой берем хлебец.

— Нашим пóтом он полит...

— Клади огонь под совиное гнездо!

— Браты, мужики родимые, не вывезем добра.

— Сами не вывезем, спалит красный петух.

В страхе Душилец забыл об опасности, грозящей ему, и не помышлял о бегстве. Казалось, раскаленные гвозди приковали его к месту. Ватага смердов, вчера еще послушная ему, ломавшая перед ним колпаки, страшившаяся слова и взгляда его, сегодня обезумела. Подобно Орде, почуяв силу свою, ворвалась в острожек. Гибнет все, все гибнет.

Зарево, пылавшее на дворе, разгорелось ярче. Душильцу казалось, что пылает все небо, и оттуда, из этого

зловещего смятения дождя и пламени, с грохотом вырываются жаркие огненные стрелы; они падают на землю, поражают ее, обрекая на муки смердов, поднявших меч на своего господина. Не оттого ли громче и безумнее звучат их крики? Душилец смежил глаза. «Сон», — мелькнула мысль. Разве может быть наяву то, что в страхе померещилось ему? Хотелось скорее проснуться, сбросить мучительное оцепенение, встать и увидеть, что острожек стоит, как и стоял, что ночь темна и безлунна и что не гневный, рвущий душу шум доносится со двора, а ласковый шорох дождя. Нет, не сон...

«Где стражи?» — вспомнил Душилец, опамятовавшись. Неужто и холопишки вотчинные, коим благоволил он, заодно со смердами? Ах, как слеп он был, не отвел вовремя злую руку, потворствовал... Мало резал ушей, мало неслухов томил в колодках. Только бы пронесло, заступил бы Спас многомилостивый, дал бы волю и силу спросить ответа у подлой чади... Внукам и правнукам закажут они навсегда жить в мире и послушании боярину, своему господину, и правителям, поставленным от него. «Новые срублю порубы, пудовые колодки надену, на цепь прикую!» — еле шевеля губами, шептал Душилец.

Шум и стук в переходце, возле горенки. Кто там? Чужие люди аль стражи схоронились, оберегая от злодеев хоромы? «Осподи, купина неопалимая, заступи и помоги! — взмолился Душилец. — Покарай!..» — Он поднял руку, чтобы положить на себя крест, и отшатнулся. От резкого толчка с воющим визгом распахнулась дверь горенки, кто-то вбежал... Емеля! Душилец, отстраняясь от видения, отступил в глубь горенки. Емеля в разорванной рубахе, без колпака. За ним еще люди...

— Вот он, косой хвост болярский! — увидев Душильца, крикнул Емеля. — Забился в угол, дрожит, черная душа...

Емеля подбежал к Душильцу, поднял его и бросил на пол...

Острожек на холме спален дотла. Вотчинные холопы, принесшие в Новгород весть о буйстве смердов, ничего не знали о Душильце; не видели его ни на пожаре, ни после. «В хоромах был ключник, знать, и погинул он

вместе с хоромами», — говорили они. Боярин Водовик сгоряча приговорил было к казни холопов, но, спохватясь, велел только держать их крепче в порубе: пускайде молятся и сказывают, кого из смердов видели на пожаре; кто начинал буйство, кто ломал клети, брал хлеб и иное добро?

Весть о буйстве в вотчине боярина Водовика разгневала князя. Не друг ему Водовик, но смердам ли идти боем на права вотчинные? Посылая тиунов и полста отроков молодой дружины на Маяту, Александр Ярославич строго-настрого наказал посланным: разыскать смердов, кои жгли и воровали острожек. Всех, кто были на пожаре, сечь нещадно, а о ком сведается, что хлеб аль иное добро брали, аль огонь положили, тех ковать цепью и в колодках гнать в Новгород. «Свой суд скажу им», — погрозил он.

Неделю пробыли тиуны на Маяте. Душильца не нашли, и никто из смердов о нем не обмолвился. Говорили после, что в буйных погостах не осталось мужиков несеченых. Некогда тиунам разбираться было в том, кто прав, кто виноват, и, чтобы виноватого не обойти, секли всех поголовно. И то счастье — не бросили никого с камнем в омутки на Маяте, уши остались целыми и языки. Емелю и еще десяток мужиков после сечения взяли в колодки.

Суд им будет сказан на Великом Новгороде.

ГЛАВА 21

В ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЕ

Володша Строилович загнал коня. Конь пал на пути, в бору, недалеко от Ракомского погоста на Ильмене. До Новгорода от Ракомы около дня пути. В летнюю пору Володша не задумался бы — не медля пошел в Новгород; но теперь дни коротки, путь Володше незнаком и боры темны; поопасился идти ночью без попутчиков.

На заезжем дворе, куда забрел Володша, ночуют обозные. Ведут они на Новгород обоз с солью из Русы. Большебородый, кряжистый, с узловатыми руками му-

жик, сидевший у светца, спросил Володшу, когда тот, положив на полавочник овчинный колпак и не снимая кафтана, сел на лавку:

— Почто не разболокаешься, паробче? В избе тепло, и щей нальет хозяйка, ежли охота есть да мордка за пазухой. Бабы здешние тароватые, уважают прохожих и проезжих... А может, в путь спешишь глядя на ночь?

— Спешу, — ответил Володша. — Нет ли попутчиков на Новгород?

— Сам-то дальний?

— Дальний. Из Великого Пскова.

— Уж и великого, — рассмеялся обозный; зажег от огарка новую лучину и вщемил ее в светец. — Что нынче ни городок, то и великий. Мы свою Русу, в отличие от великих, старой зовем. А идем мы с солью на Новгород; обночуемся вот, коней покормим, да после третьих петухов и тронемся. Приставай, коли нужда. Как нынче живут у вас на Пскове?

Володше не хотелось раскрывать подноготную перед незнакомыми. Скажешь, а бог знает, как поймут тебя. Ответил неопределенно:

— Живут, хлеб жуют.

— То-то... Слушок есть, паробче... Вон Лукмашка, — обозный показал на молодца с вьющимися льняными волосами и бородкой, притенившей подбородок. Молодец сосредоточенно и неторопливо разматывал оборы лаптей. — На торгу он здешнем был... Будто Псков ваш снова лыцарское войско обложило. Ты, этак-то, пешо всю путину?

— Нет, конь пал в бору.

— Та-ак. Вижу, одёжу не истрепал и сапоги не сносил. Как звать тебя по-христиански-то?

— Володшей.

— А меня Мосеем. Спроси на Русе, всяк покажет Мосея. Про слушок-то — врут аль бают правду о лыцарях?

Слезившиеся с надворья глаза Володши, привыкнув к теплу, отошли. От горящей лучины приятно пахло жилым дымком. Володша осмотрелся. Высокий черный потолок заезжего венчал выскобленные бревенчатые стены. В красном углу, на божнице, темнел неразличимый

лик иконы, на столе опрокинута, после хлебова, большая деревянная миса и рассыпаны хлебные крошки. За стеной, в хозяйской горнице, ревет чадо.

— Близко лыцари к Пскову, — сказал. — По то и гонцом иду.

— Не врут, — помотал головою Мосей. — Беда вашему Пскову, — сочувственно продолжал он. — Мы-то, в Русе, далеко, а у вас что ни год, то и ярые гости.

— На рубеже живем, — сказал Володша. — Не устоим мы, гляди, и к вам пожалуют. Тронутся латинские меченосцы на Новгород, не обойдут Русу. Спалят город. Мужей посекут, а женки полон изведают.

— Не сладкое ты слово молвил, паробче, бе-да-а!

— Сказывают, велико нынче войско у лыцарей... Надёжа Пскова на помощь Великого Новгорода.

— Злой народ латинские лыцаришки, — подумав, промолвил обозный. — Не унимаются. На Руси-то, знать, всем придется браться за топоры. Лукмашка, слышал, что человек молвил? — Мосей обернулся к сыну. — Никак тебе идти в войско.

Лукмашка встал, потянулся. Володша залюбовался его высокой, складно сложенной фигурой.

— И пойду, татко, не устрашусь, — произнес он. — Не на задворках живу.

— Слышал, сынок мой что молвил? — довольно усмехнулся Мосей. — В тоегодний мясоед оженил его: Бабу взял хорошую, огонь! Ладно живут.

Владычные служки зажгли свечи в Грановитой. Собрались в палату старые посадники и тысяцкие, кончанские и уличанские старосты, старосты гостиных и ремесленных братчин. Владыка Нифонт известил всех и позвал на совет.

Непривычно старым боярам многолюдство в совете господ. Точно и не совет нынче. В ожидании Нифонта вспоминается боярам выход в Грановитую покойного владыки. Введут его, поддерживая под плечики, черные попы... Муха не пролетит в торжественной тишине. Медленно-медленно поднимутся темные крылья владычной мантии, благословляя совет, и тонкий, высокий голос, словно внезапно вспыхнувший свет, озарит палату.

При владыке Нифонте не стало прежнего благолепия. Опередив черных попов, он, без их помощи, просто и неожиданно взошел на владычное место и, не садясь, поднял руки со сложенными двоеперстиями.

— Во имя отца и сына... — возгласил скороговоркой, не повышая голоса. — Начнем совет, мужи, — продолжал он. — Со тщанием и мудростью молвим слово свое, и будет слово наше словом Великого Новгорода.

— Князю быть бы в совете господ, владыка, — подал голос боярин Никифор Есипович. — Ладно ли ему в стороне-то?

— Князь Александр не в стороне от совета, боярин, — сухо, прежней скороговоркой, рассеял Нифонт недоумение Есиповича. — Княжей просьбой созван совет.

...Александр собрался в Грановитую, но на выходе его задержал Гаврила Олексич.

— Гонец из Пскова, княже, — войдя в горницу и не скрывая тревоги, сказал он.

— Где гонец и что он сказывает? — спросил Александр.

— Велишь позвать?

— Зови!

Александр опустился на скамью. Олексич вышел и скоро вернулся, пропустив впереди себя псковича. Переступив порог, молодец остановился, склонил голову.

— Подойди, паробче! — велел Александр. — Какие вести шлет Псков?

— Выслушай, княже...

Гонец приблизился. Теперь, когда свет озарил его, строгое выражение сбежало с лица Александра. Он улыбнулся.

— Володша Строилович! — перебил он речь гонца. — Рад видеть тебя на Новгороде. Гостем велишь себя величать или не до гостьбы молодцу?

— Тяжко во Пскове, княже, — ответил Володша. — Как уходил я, ливонское войско снова подступило к рубежу нашему у Талабского озера. Не стоит ли оно теперь на Завеличьем поле?

— Правду молвил? — нахмурясь и как бы не веря тому, что услышал от Володши, промолвил Александр. — Кто видел ливонцев на рубеже?

— Наши жители, которые прибежали в Псков от озера, и сторóжи с рубежа дали весть. Идут ливонцы и конно и пешо.

— Удержат ли псковичи город, если подступят к стенам его ливонцы? Вывелись ли на Пскове изменники-переветы? Что ты молвишь, Володша?

Александр спрашивал, не повышая голоса, нахмуренное лицо его было спокойно, только синие огоньки то вспыхивали на миг, то гасли в потемневших глазах.

— Весь Псков поднялся, княже, противу ливонцев, — отвечая, Володша, как бы стыдясь за старое, опустил глаза. — Но устоим ли перед силой? Вече сказало: молить Великий Новгород и тебя, Александр Ярославич, приди на помощь!

Дожидаясь князя, бояре в Грановитой перекидывались редкими словами. Владыка Нифонт, обеспокоенный тем, что Александр не пришел вовремя, как обещал, велел ближним попам послать отрока на княжий двор, проведать — где князь? Отрок встретил Александра в пути и, не задерживаясь, вернулся в Грановитую с вестью. Узнав, что князь близко, владыка приподнялся.

— Князь Александр Ярославич жалует, мужи!

Вступив в палату, Александр на миг задержался у входа. Словно и его поразило многолюдие собравшихся. Следом за князем в палату вошли боярин Федор и Гаврила Олексич.

Поднявшись к княжему месту, Александр не опустился на него. Обрамленное вьющейся бородкой лицо было серьезно. В красном коротком кафтане с золотым поясом и в круглой, опушенной черной куницей, княжей шапке, с тульей того же цвета, что и кафтан, Александр стоял, опираясь о столец, как бы спрашивая взглядом сидевших на лавках бояр: будет ли то, что скажет он, словом совета?

Тихо стало в Грановитой. Тревожило всех — о чем молвит Ярославич: о делах ли вотчинных, о своих ли обидах? Знают нынче новгородцы крутой, не признающий преград, характер своего князя. Сломал он старые

боярские обычаи, которыми уставлено было жить князю в Новгороде на дар с волостей, указанных в ряде, и ведать войско. Александр судит суд без посадника, на своей воле; даны ему вотчины в Новгородской земле, и сам он, указом своим, отписал в княжие вотчины земли на дальнем Терском берегу; дворских людей своих ставит в волости на кормление воеводами.

— Мужи новгородские! — прозвучал наконец его голос; и в том, как это молвил Александр, в еле заметном движении руки, во взгляде его чувствовалось то особое выражение сознания силы своей, которое присуще людям ясного ума и твердой воли. — Видел я нынче гонца из Пскова и слышал его речь, — продолжал он. — Тревожна она. Войско латинских крестоносцев вновь у Завеличьего поля. Псковичи взяли оружие. И нам, мужи, пора вспомнить о враге. Сложим руки — ждать нам тогда к Рождеству, а может и раньше, голодных лыцарей у Кромного города. Волею Новгорода собирал я рать, был во Владимире у великого князя с докукой о помощи против латынян. Полтысячи конных воинов отпустил со мной из Владимира князь Ярослав. Воеводы Домаш и Кербет идут с Переяславским полком; на пути к Новгороду владимирское пешее войско с братом Андреем Ярославичем и воеводой Чукой. Идут с Низу подводы с хлебом. Остановить ли нам вражеские полки на рубеже, как делали встарь, или войску нашему, переступив рубеж, гнать латынян и иссечь их на их же земле? На то, мужи, будет ли слово и воля Великого Новгорода?

— Княжее слово — наше слово, мужи, — поднялся с лавки боярин Сила Тулубьев. После недавних походов к Копорью и Пскову посажен Тулубьев тысяцким на Новгороде. — Переступят рубеж латыняне — разорят погосты и городки, прольют кровь мужей наших, сожгут зажитья и полон велик угонят.

— На моей памяти который уж раз изгоняем лыцарей, мир свой им даем, а они, как мухи на межени — гонишь в дверь, они в окошко, — не обращаясь ни к кому, словно бы говоря сам с собой, вздохнул Водовик. — Недавно, когда в вотчинке моей на Маяте...

— Переступим рубеж! — перебив Водовика, горячо, как бы стремясь показать этим, что не верхних бояр, не именитых вотчинников, громко нынче слово в Грановитой, воскликнул Никита Дружинич. — Переступим, — повторил он. — На том, мужи, хочу я слова Великого Новгорода.

— Тьмы войска у лыцарей, подумать бы, — сказал боярин Никифор Есипович. — Поход легко молвить, а не пришлось бы после чесать голову.

— Мы с думой, а лыцари к нам с кистенями да копьями, — сказал Дружинич. — То-то ладно будет Новгороду.

— У тебя, Никита, рука легкая, — Есипович насмешливо поклонился в сторону Дружинича. — Тебе что на игрище, что в поле на встречу с ворогом. Не кашей, чаю, встретят тебя латыняне за рубежом.

— Со своими и лыцарями в Копорье и Пскове на своей земле бились.

— Добро бы дома, на теплой лежанке, встречать и бить гостей незваных, — засмеялся Дружинич.

— И я молвлю: зря ты, Никита, смешишь людей, — косясь на Дружинича за то, что перебил тот давеча его речь о пожаре на Маяте, заговорил Водовик. — Со старины сказано: дома пни помогают, а на чужой земле пути неведомы.

— Не князю ли решить, мужи, как встречать и как провожать латинских крестоносцев с Русской земли? — призвав к тишине, промолвил владыка. — На поле, где сойдутся рати, там зорче глаз, а нам... Не молвить бы издалека-то, сослепу, себе на позор.

— Послушаем твое слово, княже, — впервые за нынешнее сидение открыл уста боярин Якун Лизута.

Александра не изумило, что сегодня в совете господ не громки голоса старых вотчинников. Владыка Нифонт, при всей кажущейся простоте своей, умен и хитер. Не потворствует он вотчинникам. Не стало в Грановитой и Стефана Твердиславича, боярин Лизута еле обмолвился словом. Владыка Нифонт сам ведет совет. Не вмешиваясь в споры, с тихой добродушной улыбкой смотрит он на бояр, но слово его, взгляд умных, проницательных глаз прекращают шум. И сейчас — растерянные взоры

бояр обращаются к Александру: ему вести войско, ему и решать.

— Коротко слово мое, мужи, — произнес Александр и помолчал, как бы сознавая всю важность и ответственность того, что он сейчас скажет. — Нет у нас времени ждать. В походе и битве — не страх, не сомнения, а ум зоркий, мужество и выносливость воинов решают спор. Изгоним ливонских лыцарей и иных латынян и все войско их с нашей земли... Изгоним, и если сохранится сила их, переступим рубеж. На том слово мое, и пусть оно будет вашим словом, мужи новгородские!

— Великий Новгород с тобою, княже! — раздался громкий голос с нижних мест, где сидели старосты гостиных и ремесленных братчин.

— Твое слово, княже, твоя и воля!

— С тобой Великий Новгород!

— Положим животы за святую Софию!

Поднялся владыка. Воздев руки, призвал он к успокоению.

— Не бранью и не кулачным боем устрашают врага, мужи, — сказал он; на этот раз голос его прозвучал громко и властно. — Тяжкое испытание предстоит людям нашим, — продолжал он в наступившей тишине. — Встанем на защиту земли дедов, и память о делах наших славою останется на века. Веди полки, княже! — владыка повернулся к Александру. — Смел и благословен будет путь твой. Так говорит Великий Новгород!

Ненависть к врагам земли своей неудержимо, как вешнее половодье, разлилась шумом и горячими кликами новгородцев. Александр молча слушал все, о чем говорили в палате, призывая к защите родной земли. Плотно сдвинулись к переносью темные брови князя, строг и жёсток его взгляд, но на губах блуждает улыбка. Он ждал слова Новгорода и ждал этого слова таким, каким услышал.

Александр опустился на свое место, подождал, пока бояре и старосты братчин, утирая пот и откашливаясь, рассаживались вновь по лавкам, потом, призвав к тишине, заговорил просто, словно бы ища совета.

— Новгород собирает полки, — сказал он. — Нам думать, мужи, как снарядить войско, чтобы не нуждалось

оно ни в чем и не теряло времени на долгие сборы, — Александр слегка усмехнулся, произнеся это, и взглянул в сторону Дружинича. — Начнем поход, когда достигнут Новгорода Владимирский и Переяславский полки. Нынче же к вам, оружейные мастера, первое мое слово: дайте оружие войску — и новгородцам и тем, кто придут безоружны, чтобы не с косами и дрекольем шли воины в битву, а с мечами и копьями. Спрашиваю тебя, Онцифире, — Александр поискал глазами старосту братчины оружейников. — Есть ли оружие у мастеров оружейных?

— Есть, княже. Запасы у мастеров велики, — ответил Онцифир, показав на свет белую бороду. — Куда нести оружие — укажи!

— Куда нести — распорядят болярин Федор Данилович и староста кончанский Никита Дружинич. Им велю ведать оружейное дело. Второе мое слово к вам, вотчинники новгородские и гости торговые. Нужны припасы войску и хлеб. Что есть у кого в кадях — объявите о том. Обозы с хлебом идут с Низу, надо принять их, слать хлеб следом за войском. Примите заботу о том на себя ты, болярин Никифор Есипович, и ты, славный гость Афанасий Ивкович! Пусть ваше слово и ваш ответ будет перед Новгородом и перед Русью за то — сыто ли войско.

— Не легко исполнить, княже, что велишь, — выступив вперед и не скрывая того, что доволен указом княжим, сказал Никифор Есипович. Он даже как будто помолодел, бороду выше поднял. — Но грех и позор не сделать того, что сказываешь. Хлебом нынче богат Новгород, полны сусеки в клетях... Так ли я молвил, Афанасий Ивкович?

— Так, болярин, — выступил вперед Ивкович. — И у торговых гостей в клетях есть и рожь и пшеница, толокно будет, крупу дадим и соль. А подойдут с Низу обозы — войско и городовые люди не сведают нужды.

Допоздна горели свечи в Грановитой. Поход сказан. Много забот и много дел неотложных нынче у Великого Новгорода.

ОЛЁНУШКА

Вечер. Над рекой клубится густой белый туман. Бор гудит тихо-тихо, словно засыпая.

Олёнушка возвращалась на займище. Весь день, с утра, бродила в борах. Ушла далеко. Пробиралась через лесную чащобу, без пути и дороги, по каким-то еле различимым приметам угадывая направление. За плечами лук и стрелы, но то ли удачи не было, то ли не искала ее Олёнушка — идет она сегодня без добычи.

Близко поляна. Неожиданно опахнуло резким запахом гари, словно костер запалили неподалеку. Олёнушка остановилась. «Лес горит...» — мелькнула догадка. Но нет, воздух кругом чист, ни зверь, ни птица не мечутся в тревожном страхе. И утром, когда уходила в боры, не было гари. День простоял ведренный, гроза давно не пугала... Сам собою не занимается огонь в бору.

Запах гари потянул резче. «Уж не огнища ли?» — возникла мысль и тут же отпала: огнищам гореть не время.

Впереди открылась Шелонь. Девушка, не взглянув на реку, припустилась бегом вдоль берега.

На поляне, на месте займища, тлеют и дымятся не остывшие еще головни. Ни избы, ни тына, ограждавшего займище, — ничего нет, все слизнул огонь. Ближние деревья пожелтели, опаленные жаром. Выбежав на поляну, Олёнушка не сразу даже поняла, что случилось. Тишина, нависшая над местом пожарища, точно сковала ее. Девушка стояла на опушке бора, не решаясь подойти к дымящемуся печищу.

«Где татко?» — наконец спохватилась она. Данилы нигде не было видно. Олёнушка позвала его. Данила не откликнулся. Олёнушка позвала громче, но на крик ее только эхо отозвалось за Шелонью. Не помня, что она делает, Олёнушка подбежала к тлеющим печищам:

— Татко! Татко!

Нет, не отзывается Данила.

Стало темно. Бор вокруг поляны шумит, как всегда; и так же, как всегда, прежними знакомыми голосами

лопочет осинник. Всю ночь Олёнушка просидела около пепелища. Настало утро, а Данила не вернулся. «Где татко?» — тревожно думала девушка. Она не представляла себе того, что Данила мог покинуть ее одну в борах. Куда мог скрыться он?

Приближался полдень. Пожарище уже почти не дымилось. Начавшийся ветерок раздувал кучи остывшей золы, поднимал и кружил ее в воздухе, как поземку. Олёнушка перебралась на обрыв высокого берега Шелони, посмотрела на сверкающую приветливым блеском реку, но и это не успокоило. Девушку охватило чувство какой-то внезапной пустоты. Чувство это было и неприятно и страшно. Она спустилась с обрыва к самой реке. Вот здесь, на этой лужайке, она была с Ивашкой. Давно, скоро год минет, как ушел Ивашко в Новгород и с той поры вести о себе не дал. Берег внизу, кажется, и не изменился. Как и тогда, навис над водою зеленый ивовый куст, плотный и путаный ольшаник зеленой стеной скрывает за собой овражек. Вот камень, на котором сидели они. Желтый песчаный обрыв после нынешнего весеннего паводка стал еще неприступнее. Неужто Ивашко забыл займище на поляне, забыл, как жил здесь?.. Горько, ах как горько думать об этом Олёнушке! Верила она Ивашке, потому и отпустила его; верила, что вернется. Всюду она пошла бы за ним, ничего не страшилась бы. Теперь вот одна осталась, одна на всем белом свете; ни добра у нее, ни пристанища. Никто, даже татко не ведает ее горе. Только дальние боры знают тоску Олёнушки, только им поведала и рассказала она, как тяжко жить забытой. И кто она? Дикая, чудна́я девчонка, которая поверила, что ее любит княжий дружинник. Тяжко теперь Олёнушке вспоминать о том, что говорила она Ивашке, как хвалилась собой, умельством своим и смелостью. Ничего-то, ничего у нее не осталось.

Олёнушка поднялась на поляну, обошла вокруг пепища, заглянула на дальнее полько, где золотится дозревающее жито. В осиннике увидела она упавшую колоду с ульем. Встревоженно и сердито гудят пчелы; не медведь ли побывал у колод? Нет! За упавшей колодой свежая колея. Трава около примята и истоптана...

Кто посетил займище? На траве Олёнушка увидела

темные пятна застывшей крови. С кем боролся Данила? Ах! Все помутилось в голове. Олёнушка забыла о пожаре, спалившем займище, забыла об Ивашке, обо всем, о чем недавно думала у реки...

Свежий след колес уходил к езжей дороге. Олёнушка пошла по нему. За плечом у нее лук и стрелы, огниво и кремень у пояса; то и несла, что было с нею, что сохранилось от пожарища.

...До осенних дождей Олёнушка жила в бору. Страшно было идти к людям. Случай помог узнать, что Данила увезен во владычный вотчинный городок и там замучен злодеем. Борти искали в бору вотчинные жители; высокий мужик, которого называли Нефедом, вечером, сидя у костра, говорил о злодействах попа Семена, вотчинного ключника. Вспоминал Нефед о наказании, которое сам принял, и о Даниле молвил. Олёнушка не вышла к вотчинным, не показалась им, хоть и хотелось ей знать все, что было с татком.

С того дня не ведала она покоя. Винила себя в беде Данилы. Не поддайся своему горю девичьему, не ходи она в тот горький день в дальние боры, оберегла бы и родителя и займище. Олёнушкина стрела заставила бы умолкнуть злодеев. Без оглядки бежали б они прочь от займища. Много раз сторожила Олёнушка на езжей дороге злого ключника, бродила и около городка, ждала — не покажется ли?

Исхудала она. Смуглое и без того лицо ее потемнело еще больше, глаза ввалились... Резко выступили обтянутые кожей скулы.

Как-то, близко осени, Олёнушка весь день бродила вблизи от вотчинного городка. Никто не показывался оттуда: словно все вымерло. Олёнушка взобралась на вершину старой сосны. Ворота в ограде закрыты, но на дальнем поле есть какие-то люди. Олёнушка давно не ела хлеба. Еда ее — ягоды да печеная тетёра... Горькая, без соли.

Спускаясь с сосны, Олёнушка ободрала о сучок ногу. Полила кровь. На земле разыскала подорожник, сорвала лист и, приложив к ране, завязала оторванной от рубахи тряпицей.

— Откуда, создатель, этакое чудо явилось в вотчинке? — неожиданно раздалось сзади.

Олёнушка вскочила. Первым ее желанием было скрыться в зарослях, но, взглянув на говорившего, задержалась. На полянке стоял высокий старик в рубище, с седыми космами волос на висках, босой. Опираясь обеими руками на посох, старик, склонив немного голову, смотрел на Олёнушку.

— Углядел я тебя на сосенке... Высоко сидела. Чья ты?

— Ничья.

— Все мы ничьи, создатель, — сказал старец. — Не в вотчинку ли идешь? Ай кого видеть надо?

— Надо.

— А ты молви, не бойся! Может, кого надо, того и укажу.

— Правителя вотчинного, — расхрабрилась Олёнушка.

— Почто тебе правитель — не ведаю, да вишь ты, нету у нас нынче правителя. Увезли его княжие.

— Увезли? — как стон вырвалось у Олёнушки.

— Увезли, создатель. Мир и покой настал в вотчине. А ты... Испугалась будто? Уж не родня ли попу?

— Не родня...

— Не родня, так и бог с ним. Сама-то, видать, лесным делом живешь?

— По-всякому.

— Многие люди маются этак по-всякому-то! Пристала бы к вотчинке. Не сытно, а кусок хлеба будет.

— Я вольная, — выпрямилась девушка.

Грустная шла Олёнушка бором. Опоздала, другие люди сведали вины злодея. Бранила она себя, почему не дозналась раньше, что нет попа в вотчине; не сидела бы тогда в борах понапрасну. Одна хотела биться с ним, на себя хотела принять вину за наказание врагу. Побоялась спросить Олёнушка у старца о судьбе Данилы. Если знает старец, как окончил свою жизнь татко, слишком тяжко было бы слушать ей, тревожить свое неостывшее горе. Холодно и страшно показалось Олёнушке сегодня в бору. Надеждой на встречу с злодеем-правителем жила она. Берегла, холила стрелу, от до-

Олёнушка закрыла глаза, вытянулась и лежала не двигаясь, словно ждала, что вдруг проснется, и мигом исчезнет все — и горенка, и теплая постель, и воспоминание о добрых людях.

Кто-то вошел в горницу. Олёнушка прислушалась.

Некоторое время была тишина, потом вошедший тихим-тихим голосом молвил:

— Гляди, Путко, спит гостья.

— Спит, — сказал другой голос. — Может, в кузню сбегать, сказать деду Левонику.

— Погоди, как встанет и сбегаешь. Откуда она?

— Дед Левоник не сказывал и будить не велел...

— Не сплю я, — сказала и открыла глаза Олёнушка. У постели она увидела статную, красивую молодицу в повойнике и рядом подростка-парнишку. Тот стоял ближе и, высоко подняв выцветшие брови, во все глаза смотрел на девушку.

— Не спит, — произнес он шепотом.

— Проснулась, так здравствуй, дéвица, — сказала красивая молодица, ступив ближе. — Кто ты — не спрашиваю, а меня зовут Мариной. Проведать тебя пришла и одёжу вот... Возьми-ко! Не по росту, может, да сгодится покуда.

— Где я? — спросила Олёнушка.

— В Медвецком погосте, в избе у деда Левоника, — ответила молодица.

— В вотчине владычной? — от испуга Олёнушка изменилась в лице.

— Нет, — усмехнулась молодица на испуг девушки. — Княжий погост наш. Живут у нас вольные пашцы: дед Левоник и другие еще с ним крицы варят в домницах, куют железные изделия. Ой, милая, да как исхудала ты! — когда Олёнушка выбралась из-под тулупа, сочувственно воскликнула Марина. — Как по имени-то?

— Олёна...

— Возьми одёжу, Олёнушка, — Марина протянула девушке узелок. — Перенарядись! От твоей-то одёжи, вижу, только тлен остался. Банька у меня нынче истоплена, ишь ты, зацвела вся... Дед Левоник добрый. Мой Василь племянником ему доводится. Коли раньше обижена была, так у нас в погосте обиды не бойся. Живи!

ГЛАВА 23

ЗИМА В БОРАХ

Снег выпал на сухую землю. Рано разгулялись метели в борах. На Спиридона-поворота, когда, по старой примете, «солнце — на лето, а зима — на мороз», у погостов и займищ, вдоль перейм, точно сыпучие горы, встали сугробы. Замело снегом овраги. Лес застыл в тяжелом белом убранстве. Ночью щелкнет мороз хрупкой ременницей и со звоном ухнет; разнесется далеко-далеко раскатистое эхо, осыпая с деревьев иней.

Об эту пору Данила пришел на поляну. Он поправился после «гостьбы» у Семенка Глины. Живет теперь займищанин в городке, в избе у дворского Клима.

Когда Олексич с Ивашкой привезли в городок Данилу, видел он князя. Александр Ярославич сказал ему:

— Помню твой приют, житель, и твой сладкий мед сотовый. Поляну твою помню, и дружинники мои хвалят место. До весны будущей живи в городке; корм будет тебе. А как поправишься да стают снега, иди к себе, на поляну. Но не займище поднимать будешь, руби городок. Клим соберет мастеров — вал сыпать будут, ставить ряжи и столпие. Ратных людей пошлю в городок на жительство.

Сегодня на пути к поляне Данила устал. Снег лежит рыхло, лыжи в нем глубоко тонут. И отвык лесной житель от дальней ходьбы. На поляне постоял он у засыпанного снегом печища, прошел к обрыву Шелони... Как будто не изменилось ничего в бору. Сколько раз видел его Данила таким вот, в снегах и инее, как сегодня. И больно, ах как больно сжалось сердце лесовика! Вокруг все свое, близкое, но нет займища, не дымится среди снегов высокая труба из обвитого берестой осинового дупла с черной, прокопченной кровелькой наверху. Поляна пуста. Нет и Олёнушки. Приведется ли когда-либо свидеться с нею?

Горе, какое переживал Данила, напомнило ему молодость, напомнило иные края и иные дни.

В боярских хоромах ближним холопом жил он. Ловок и пригож был. Недаром полюбила его Агаша; лучше и краше ее не знал он никого на свете. Любил Данила

Агафьюшку пуще себя; ни жизни, ни добра — ничего не жалел. Стала она женой Даниле. Не знал он выше радости, не знал счастья полнее. И в этой радости настигла беда.

Приглянулась Агаша боярину. Но Данила молод, силен был, характер у него неуступчивый.

По первой пороше выехал боярин в поле. Много дичи, зайца и красного зверя в угодьях вотчинных. Полевали до вечера. Утомились кони, люди еле держатся на ногах. Данилу ни усталь не берет, ни голод не тревожит. Злоба душит боярина, одна у него дума: встретить молодца на узкой просеке, не уйти тогда удалому от медного кистеня.

Близко вечер. Зверь пошел на покой. Пора трубить сбор. И только боярин поднял рог, откуда ни возьмись — сохатый. Взыграло сердце при виде драгоценной добычи. Пустил боярин коня. Зверь из виду не уходит и догнать себя не дает.

Долго длилась погоня. Кажется, немного еще и — добыча рядом, на бросок копья. Догнал бы боярин зверя, но на пути неожиданно легла река. Зверь со всего маху — на лед. Молодой ледок зыбится, потрескивает под широкими копытами. Не успел боярин оглянуться — зверь на другом берегу. Отряхивается, мотает башкой.

Взвился повод. Не достиг конь и половины реки, лед хрустнул, не выдержал тяжести всадника. Барахтается боярин в полынье.

Крикнуть бы — кричать некого, заползти бы на лед... Тонок, ломается. Тело у боярина цепенеет от холода, намокшая одежда тянет ко дну. Окунулся боярин, хлебнул воды. Ох, тяжко! Очи закрыл туман. В последний раз взглянул на берег, а там... Данила.

Размотал он веревье, бросил в полынью. Схватил конец боярин, топором не разрубить пальцев.

На берегу снял с себя Данила кафтан, отдал боярину, коня своего подал. Остался на морозе в одной споднице.

К полудню, на другой день, пришел к Агаше. На ней лица нет. Истосковалась, чего-чего не передумала с тех пор, как прискакал боярин с поля на Данилушкином коне. В ночь ездили люди, искали Данилу — не нашли. На заре мороз окреп, деревья опушились серебряным

мхом. Другой на месте Данилы жизнь потерял бы, он перемог. Вошел в избу, поздоровался с Агашей, квасу выпил. К вечеру хворь сломила дуб.

Надолго приковала она Данилу к лавке. Исхудал. Поднимет руку — сама себя на весу не держит.

Тогда-то и увели Агашу в хоромы к боярину.

Что сталось с нею в ту ночь? На шестом месяце она тяжелой ходила. Вернулась из хором тучи темнее.

Данила оборол хворь. Просветлели у него очи. А как встал он, повинилась ему Агафьюшка тайной. Данила не упрекнул ее, взглядом не обидел.

А боярин забыл об Агаше. Не заглядывает горе в его хоромы. Треххвостка-ременница, как пруток витой; страшно горю показаться непрошеному.

Однажды пировал боярин с вечера до полуночи, похвалялся:

— А и что мне надобно, то и мое.
А и что хочу, то и съем,
а и что задумаю, то и сделаю.
Нет пути мне заказанного,
нет зелья запретного.
С мужней женой ночь пересплю,
девицу красную — в терема возьму...

Утром нашли боярина на пуховой перине с разбитым теменем. Хватились спустя — нет нигде в хоромах Данилы и Агафьюшки. След их потерялся.

Далеко бежал Данила, на Шелонь. Берег он Агафьюшку, глаз не спускал с нее. Родила она дочь, но сама не перенесла, отдала душу.

Счастье нашел Данила в дочери. Олёнушка выросла. Знал бы, откуда грозит лихо, — уберегся...

Голубым пламенем вспыхивает на поляне легкая поземка. Снег чистый. Не от его ли блеска слезятся у Данилы глаза? Медленно, будто нес на плечах тяжкую ношу, возвращался он в городок.

На третий день Данилу снова потянуло в боры. Не сиделось ему и не лежалось в избе. Там, на поляне, острее и больнее переживал он горе. Казалось, вместе с ним тоскует об Олёнушке старый бор; покрытая льдом и засыпанная снегом река хранит чистую память о девушке;

даже заячьи тропы и лисьи следы на поляне вычерчивают на снегу ее имя.

— Стану валить лес, — собравшись на поляну, сказал Данила дворскому Климу. — Весною начнем рубить городок — лес понадобится.

— Дело молвил, Данила, — одобрил Клим. — Не страшно ли тебе в борах одному? — спросил.

— Нет, не страшно. Родной мне бор, а страшно ли жить в родной избе? Поставлю шалаш, утеплю снегом, костер зажгу... Будет хлеб на исходе — прибегу в городок. Рыбу даст река, дичь половлю перевесищем.

На поляну Данила пришел перед вечером. Выбрал место, невдалеке от обрыва Шелони, свалил старую корягу-сосну со сломанною молнией вершиной; возле нее сложил из плотных еловых веток жительство. Стены жилья до самого верху закидал снегом, «пол» устлал молодой хвоей. Дотемна он успел нарубить сушняку на ночь и про запас. Покончив с работой, у входа в шалаш, где лежит смолистая коряга-сосна, сложил горку сухих веток. На работе он разогрелся. Сняв рукавицы и развязав опояску, расстегнул овчинный тулуп. Не спеша, как, бывало, делал на займище, высек огонь, раздул его и зажег костер. Хитер лесной житель! Недаром свалил он корягу, недаром жилье поставил с нею рядом. Комель коряги в два обхвата. Затлеет он — не погаснет неделю.

Растопил в котле снег, вскипятил воду и, размачивая в ней замерзший хлеб, поснедал. Ночь прошла тихо. Ни одной ночи в городке Данила не спал так крепко, как заснул на поляне. Встал раньше солнца и вышел в бор.

Прекрасен бор в раннее зимнее утро! Прямые стволы сосен, уходя ввысь, подпирают небо. Они так высоки, что вершины их, нависшие над гладкими, будто обточенными стволами, кажутся вырезанными искусной рукой и легкими, как пух. Внизу лежит снег. Желтые усики сухих игл, серые чешуйки лишайников, разбрызганная шелуха изгрызенных векшами шишек только полнее отражают его синеватую белизну.

Данила выбрал дерево, стукнул по нему обушком. Гулко раскатилось эхо, откликнулось вдали и стихло, рассыпавшись замирающим звоном. Стройный ствол сосны вздрогнул так чутко, точно струна под пальцами

гусляра. Ломая сухие веточки, обрушились вниз сорвавшиеся с вершины охапки снега. Данила прижался к стволу. Когда снежный ливень утих, Данила снял тулуп, свернул его мехом внутрь, положил в сторонке на зеленый куст можжевельника; отоптал снег вокруг ствола, поплевал на ладони и занес топор.

Рубил он истово, размеренными взмахами. Замерзшая древесина золотистыми щепами летела в стороны. От спины Данилы поднимался пар. И когда сосна с треском и шумом рухнула, ломая подлесок, Данила разогнулся, вытер рукавом пот. Передохнув, стал разделывать дерево на кряжи.

В первый день Данила свалил две сосны и разделал их. Комлевые кряжи он засек топором по срезу и, вбивая по щели один за другим клинья, разделал на пластины. Обтесал пластины на тес.

Вечером, пожевав хлеба, Данила долго сидел у костра. Ночью бор темен. Треснет от мороза дерево, осыплет снег. Шорохи бегут вокруг. Даниле не страшно. Не покидают лесовика думы об Олёнушке. Все мысли около нее. Знать бы, что с нею? Ждать ее или оплакивать потерянную.

Вспоминает Данила приезд на поляну Глины. Внезапно, налетом, под сладкие Семенковы речи подкрались к Даниле вотчинные стражи и спутали его. Он не видел, как горело займище, ничего не видел. И представляется Даниле, как напугалась Олёнушка, как бежала от злодеев...

Иногда вспоминался Ивашко, но и он теперь далеко; Ивашко ушел в поход с князем. Новгородское войско, сказывают, изгнало латинских меченосцев за рубежи. Теперь оно стоит в Пскове.

Всю неделю Данила пробыл в бору. Лицо его обветрело, потемнело от дыма костра. Вернувшись в городок, он принес с собою запах сосновой щепы и хвои, запах костра, дым которого прокоптил насквозь и тело и одежду лесовика.

— Жив? — увидев Данилу, смеясь, воскликнул Клим. — Ни мороз, ни зверь не тронул.

— Зверю до меня нет нужды, — усмехнулся и Данила. — Повыли было волки ночами, да идти на костер

они не охочи: и какой толк! Живым я не дамся. И мороза у костра не страшно; жилье теплое, снегом укрыто.

— Валил сосны?

— Валил. Лес у поляны — по три кряжа из сосны, — похвастал Данила. — Прямослойные комли колол на пластины, тес тесал.

— Знать, горит у тебя топор в руках, — сказал Клим.

— Не чужой я в лесу, каждой сосне сват... И сердцу в борах легче.

— А я, Данила, припас тебе весточку. Велика ли она, мала ли — тебе судить. Может, по сердцу будет.

— О чем? — Данила с испугом и надеждой уставился на Клима.

— Были в городке люди из Медвецкого княжего погосту, сказывали побасенку... Осенью будто, недели две, почитай, жила в погосте у них пришлая девица, Олёной звали. Тосковала будто, слезы тайком лила, а о чем тоска — не открыла. Не осуждали люди девицу. Жила она у деда Левоника. По первым заморозкам ходила, сказывают, в боры. Наряжалась паробчиком. И до того ловка будто, что и хитрого зверя исхитряла.

— Нынче-то что с нею? — спросил Данила и вскочил с лавки. Глаза его пристально смотрели в лицо Клима, голос дрожал.

— Не торопи! — рассудительно, как бы не замечая нетерпения Данилы, сказал Клим. — Седни нету Олёны в погосте. Шли мимо полки на Псков, Олёна обрядилась паробчиком и ушла в войско. Перед уходом поведала о себе, сиротой сказалась. На погосте не видели ее после...

Данила тяжело, точно ноги перестали держать его, опустился на лавку. Опершись локтями о колени и охватив ладонями голову, долго сидел так.

— Спасибо, Клим, — наконец промолвил. Влажные глаза его искрились. — И верю тому, что ты молвил, и страшусь верить. Правда ли? — он еще помолчал. — Вутре побегу на погост, разузнаю.

Сказал и с такой надеждой взглянул на Клима, что тот не вытерпел, молвил:

— Есть ниточка, Данила, а по ней, гляди, и клубочек найдется.

СТРЕЛЕЦКАЯ ПОТЕХА

Недели за две до великого поста Переяславский полк воевод Домаша и Кербета достиг рубежа Псковской земли на Суболическом[1] берегу Чудского озера. Полк привел Кербет, воевода Домаш остался в Пскове, с князем. В погостах и рубежных городках после бегства меченосцев от Пскова жили новгородские ратники и карелы.

Белая равнина озера, раскинувшись в стороны, уходит в непроглядную даль. С запада к самому берегу подступает лес. Он покрывает окрестные холмы. Избы погоста до того занесены снегом, что издали кажется — и погост и все вокруг замерло в глухом снежном омуте. Только дымки, которые вьются над крышами, показывают, что избы обжиты, что в них есть люди.

На некрашеном столе ендова с медом, хлеб, нарезанный ломтями, холодная дичь. У стола — Кербет и Василий Спиридонович. Изба, где сидят они, просторная, с широкими лавками; тесовый пол выскоблен и выметен чисто. Опечек, залавочник, столбушка — вымыты с дресвой добела. На широкой, сбитой из глины и выбеленной известью печи, свесив вниз голову, будто прислушиваясь к тому, о чем говорят у стола, лежит белый, как лунь, старец; на лавке — в кути — молодица. Она прядет лен. Крутнув ладонями веретено и вытянутыми пальцами поддерживая его на нити, молодица далеко и высоко отводит руку. Веретено жужжит, кружась, как волчок. Левой рукой молодица точно и расчетливо тянет волну из бородки кужля. Тонко вырезанная на прялке «берегиня» венчает сказочными цветами солнечный круг[2].

— Скоро спадут холода, молвил мне Александр Ярославич, — рассказывает Кербет Спиридоновичу. — А как спадут холода, выйдем в поле, поищем рать меченосцев.

— Не рано ли, воевода, начинать поход? — усомнился Спиридонович. — Лыцарская рать в Юрьеве, бишь в

---

[1] Ливонский берег.

[2] Детали народной резьбы по дереву.

Дерпте по-ихнему. Город окружен валами и тремя острогами. Осилим ли?

— О том и я сказывал князю, Василий Спиридонович, — ответил Кербет. — Не нам, мол, идти к Юрьеву, а ждать, когда весною меченосцы придут к нашему рубежу. В зимнем походе, в глубоких снегах, возы с хлебом и другим припасом не поспеют за войском. Александр Ярославич взглянул на меня, да и молвил: потому, что глубоки снега, лыцари и не ждут нас. Легче искать их. От жданья, сказал, кровь стынет, а добра нет. Начнут поход лыцари, не приведется ли взять битву не к нашим выгодам, а там, где укажут меченосцы.

— Начнем поход, где встретим лыцарей? Что о том молвил Александр Ярославич?

— Не открыл он мне своих замыслов, — ответил Кербет, — но молвлю: не будем силу пытать у стен города.

Беседа продолжалась долго. Скоро зажигать лучину. Спиридонович спохватился.

— Нацеди-ко медку, молодушка, — попросил он молодицу. — Ендова высохла.

Молодица отставила пряслицу, обдернула белые рукава рубахи. Кербет, глядя на нее, покрутил ус. Она скоро вернулась, неся перед собой полную ендову.

— Испейте нашего медку, осудари! — сказала, кланяясь воеводам. — Не стар мед, да чист. Сами борти искали, по своему обиходу варили.

— Как тебя звать, молодица? — спросил Кербет.

— Анной, — улыбнулась она. Ее круглое румяное лицо с зачесанными назад волосами, прикрытыми шитым повойником, раскраснелось, как опаленное.

— Жена мужняя аль вдова?

— Мужняя. Мужик-от в ватажке... На озере рыбу ловят для войска, а дома я да батюшка-свекор, — повела она глазами в сторону печи. — Стар он, по старости не ходит на озеро.

— Стар, а чужие разговоры любит послушать, — Кербет снова покрутил ус. — Очей не спускает с нас.

— Не слушает он, осударь, — улыбнулась Анна. — Глухой. Рядом молвишь слово — не поймет.

Молодица принесла из угла под полатями светец, поставила его к передней лавке, недалеко от стола; поло-

жила на лавку, за светец, беремя нащепанной лучины и позвала свекра.

— Батюшка, посвети воеводам!

По движению губ, по жесту, каким молодица показала на светец, свекор понял ее.

— Посвечу, — откликнулся. — Не тяжело... Посвечу.

Он опустил на приступок ноги. Потом слышно было, как кресал огонь. Скоро в светце вспыхнула лучина, осветив избу желтоватым дрожащим светом. Запахло тонким, щекочущим ноздри дымком березы. В сенях скрипнули половицы. Открылась дверь, и в избу хлынуло облако морозного пара. Из него выступил кто-то облепленный снегом, в тулупе и меховой шапке. Старик поднялся навстречу.

— Снежищем-то тебя загваздало, осподи! — сказал он. — Как из сугроба вылез. Постой, опахну!

Он смахнул снег со спины и плеч вошедшего. Тот снял тулуп, положил на полавочник шапку, предварительно хлестнув ею о косяк, чтобы сбить снег. В свете лучины на вошедшем сверкнули железные кольца кольчуги, надетой поверх кафтана.

— Садись, Володша! — пригласил Спиридонович, узнав гостя. — Испей меду, теплее станет.

— Не так холодно, как снежно на улице, — сказал Володша, садясь ближе к столу.

В обросшем бородою, высоком и статном воине не легко было узнать прежнего Володшу Строиловича. Осенью, явившись с вестью из Пскова в Новгород, Володша до похода жил на княжем дворе. Князь Александр не забыл того, как перед битвой у Пскова Володша Строилович готовил выступление псковичей против меченосцев, указал легкие подступы к городу и храбро сражался в битве. На походе Александр Ярославич поставил Володшу сотником лучных стрельцов в полку Спиридоновича.

Нацедив чашу, Володша выпил мед и заел куском дичи.

— Где побывал, Володша? Не жалуются ли на глубокие снега да на безделье твои лучные молодцы? — спросил Спиридонович, когда Володша принялся за еду.

— И псковичам и новгородцам не привыкать к снегам, Василий Спиридонович, — ответил Володша. —

А побывал я на стане у карелы... Поспорили мы с князем Тойво.

— Ладен ли спор? — насторожился Спиридонович. — Карелы друзья нам.

— Князь Тойво моих ратников унизил, Василий Спиридонович, — объяснил Володша. — Сказал он: нет стрельца метче карела. Карел-де в вороний глаз стрелит; снимет стрелою векшу с дерева — мех не попортит. Меткие стрельцы карелы, ведаю, но обидно, Василий Спиридонович, хвастовство. Вот и молвил я: новгородцы и псковичи не хуже карелы кладут на тетиву стрелу. Поговорили так и поспорили.

— Чем спор решился? — голос Спиридоновича все еще звучал строго.

— Завтра выберем стрелецкое место и выйдем с лучниками лучшими из лучших. Тойво своих, я своих. На том будет и суд спору.

— Добро задумали, — похвалил Володшу молча слушавший его рассказ Кербет. — На ту потеху и я пошлю своих умельцев... Славу сказывают за этакой спор.

— К стрелецкой потехе и я не прочь, — усмехнулся Спиридонович. — Потеха — не брань. Каюсь, иначе думал.

...К утру в трубе сильнее заскулил ветер. Точно волчья стая обложила погост. Ветер поднял снег. Каруселью закружилась в поле метель.

Володша, проснувшись, накинул на плечи тулуп и выглянул на улицу. От того, что увидел, замерло сердце. Не ветра испугался он, не снега, а подумал: отложит воевода потеху.

— Вьюга играет? — спросил Спиридонович, когда Володша вернулся в избу.

— Играет, — сердито буркнул Володша. — С ног валит. Чую, не выйдет Тойво на потеху.

— И впрямь! Ветер забросит стрелы куда нипопадя.

— Не страшна воину непогода, Спиридонович, — вмешался Кербет. — Страшна она тому, кто в избе сидит. На озере ветер силен, шальную стрелу занесет в мету; выйдем в бор, там ветер не будет помехой.

— Быть так, как воевода Кербет молвил, — согласился Спиридонович. — Как рассветет, поищем поляну.

...Белое покрывало снега закутало вековые ели. На поляне снег глубок, только черный обгорелый пень, точно замерзший великан, тоскует в одиночестве. Близ полудня поляна ожила. Собрались лучные стрельцы Новгородского полка Василия Спиридоновича, переяславцы и карелы. Отоптали дорожку к черному пню, воевода Кербет отмерил шаги: лететь стреле сто локтей. Князь Тойво затесал на пне мету и обвел середину углем — перстень, «вороний глаз».

Уговор положили: и новгородцы, и карелы, и переяславцы ставят стрельца по выбору своему; каждый из выбранных положит на тетиву по три стрелы. Тот победитель в потехе, чья стрела поразит круглый перстень в середине меты. Отстреляются трое и не коснется ничья стрела перстня, выйдут еще трое по кличу: у кого рука легка и глаз меток, выходи померяться искусством стрелецким!

Спиридонович метнул жребий. Первая стрела досталась переяславцу, вторая карелу Ивайнену, третья новгородскому лучнику Осипу Скоромничу.

Воевода Кербет хлопнул в ладоши и крикнул:

— Переяславского полку стрелец Евтифий Истома, тебе место стрелецкое.

Евтифий выбежал к опушке, на стрелецкое место. Он в легком кафтане, будто вокруг не снег, а зеленый луг. Пал на колено, наложил стрелу. Запела стрела и вонзилась в мету. Три стрелы наложил на тетиву Евтифий, все стрелил в мету, но «вороний глаз» не оперился.

— Карельской дружины стрелец Ивайнен, тебе место! — возгласил Кербет.

Ивайнен — в меховом тулупчике и треухе. Скользнул он на бегу, словно на лыжах. Пал на колено. Легка и тонка стрела камышовая! Обтер ее, согревая, положил на тетиву. Три стрелы пустил Ивайнен — все в мету, но «вороний глаз» цел.

— Новгородского полку стрелец Осип Скоромнич! — позвал Кербет.

Скоромнич вышел не спеша, вперевалку. Лук и стрелы у него своими руками деланы, по своей силе натянута тетива. Первая стрела Скоромнича тронула краешек

перстня. Он бросил на снег шапку, припал к кибити. Рядом с первой в мете — вторая. И после третьей — цел «вороний глаз».

Утоптан снег на поляне. Кому холодно — греются плечо о плечо, хлопают рукавицами. Прикидывают стрельцы глазом мету, примеряются. Не легко за сто локтей положить стрелу в черный перстень.

Вышел вперед воевода Кербет, поднял руку.

— Кто, стрельцы-молодцы, искусен стрелу целить, чей глаз меток, чья рука верна — выходи на круг, по совести, полюбовно, за честь свою постоять.

Выступил переяславец в тегилее и шишаке. Борода в кольца свилась, в руке лук и три стрелы оперенные. Встал перед Кербетом.

— Дозволь, осударь-воевода, пустить стрелочку. У себя в борах и под Берендеем веверицу собирал, птицу на лету метил.

— Как зовут тебя, молодец, где жительство?

— Зовусь Кипреяном, Михайлов сын, а живу на Ровдогоре погосте.

— Стрели, да не позорь Переяславля!

Вышел князь Тойво.

— Дозволь мне, воевода, стрелить!

— Стрели, князь. Глаз и руку свою сам ведаешь.

После Тойво встал перед Кербетом отрок: ни бороды у него, ни усов. И в тегилее он тонок и худ; лоб до самых бровей скрыл овчинный колпак. В руке лук и стрелы.

— Дозволь стрелить, осударь-воевода! — молвил.

Кербет молча осмотрел молодца.

— Не впервой ли, паробче, лук в руке держишь? — спросил насмешливо. — Где рос?

— На займище, близко Великого Новгорода, а лук держу не впервой, стрелу на волю не целил.

— Твой стрелец, Василий Спиридонович, тебе и слово, — Кербет позвал Спиридоновича. — Дозволишь?

У Спиридоновича, когда он увидел лучника, потемнело лицо. Хотел прогнать дерзкого: юн, по всему видно, не гож. Но вспомнил: по уговору, тот из полка стрелит, кто первым выйдет охотою и слово скажет. Взглянул на Володшу. Усмехается Строилович, будто рад стрельцу.

Нахмурясь, с сердцем, махнул Спиридонович рукавицей: пусть стрелит!

Первым вышел на стрелецкое место переяславец Киприян. Три его стрелы в мете, а черный перстень не тронут.

Положил на тетиву стрелу князь Тойво. Вырвавшись из-под руки, осою зазвенела она, ужалила края перстня. Три стрелы метнул Тойво — все они — венчиком — в «вороньем глазу».

— Метко целил, слава стрельцу удалому! — возгласил Кербет славу.

— Слава! — разнеслось эхом.

На стрелецком месте новгородец. Пал на колено, положил стрелу. Поразила оперенная «вороний глаз» в сердцевину перстня, меж стрел Тойво. Вторую стрелил — расщепила стрела первую, третью — стрела в стрелу.

Поднялся отрок, лицо его залилось кумачом.

От изумления воевода Кербет не сразу слово молвил. Ждал он — пустит отрок стрелы мимо меты, а стрелы у молодца, как заколдованные, одна к другой льнут.

— Уж не ворожбец ли ты, паробче? — усмехнулся Кербет. — Не видел я глаза зорче, не знал стрелы метче... Слава стрельцу!

— Слава!

Отрок стоит как вкопанный, не шелохнется. Опустил голову, щеки пылают, будто стыдно ему славы, стыдно переяславского воеводы и Василия Спиридоновича: того стыдно, что смеялись над ним, что нехотя пустили на стрелецкое место.

— Как тебя зовут, молодец? — спросил Спиридонович.

— Олёнко, — ответил, не поднимая глаз.

— Чем промышлял, живучи дома?

— И бортями и на ловищах... Сирота я, воевода.

— Телом ты не силен, а стрела верна, — похвалил Спиридонович. — Скажу о тебе, Олёнко, и о стрелецком умельстве твоем князю Александру Ярославичу. Не в борах промышлять с твоим умельством, а быть отроком в дружине княжей.

русскому провожали незваных гостей... Не пенились чаши на том пиру, а кружились у гостей головы. Бежали они от Пскова, заперлись за валами и острогами Юрьева. Ждут весны, чтобы выступить новым походом. Приспело и нам, други, решать, как встречать гостей?

За чашами пенными речь Александра прозвучала неожиданно. Не легка загадка. Воеводы искоса поглядывают друг на друга, как бы спрашивая: что сказать князю?

— Переступим рубежи, — подал голос Гаврила Олексич и замолчал, точно опасаясь, что кто-нибудь поднимется и попрекнет: скоро-де решил Олексич, послушал бы других. Но так как никто не отозвался, Олексич продолжал тверже: — По зиме, пока снега не развело распутицей, выйдем к Юрьеву, разобьем пороками стены города, иссечем латинское войско. Вторым Копорьем станет мечеиосцам Юрьев.

— Горячо твое слово, Гаврила Олексич, страх горячо, — отозвался Сила Тулубьев. — Выйдем к Юрьеву, легка ли станется битва у городовых стен?

— В глубоких снегах труден путь войску, а пройдем — во славу ли прольем кровь? — поддержал Тулубьева воевода Домаш.

— Ждать весны, воеводы? — недовольный тем, что услышал, выкрикнул Гаврила Олексич. — Сложить нам руки и почивать? Сами-де придут ливонцы, почто искать их! Тихи воеводы, ох тихи! В Пскове и на рубеже большой силой стоит наше войско...

— Войско велико, не ошибся Олексич, — с усмешкой, как, бывало, унимал он споры на торгу, сказал Василий Спиридонович. Он, оставив на рубеже воеводу Кербета, утром нынче прибыл в Псков. — Станем полками у Юрьева, а стены в Юрьеве крепки, размечем ли их? Я молвлю: не у стен Юрьева биться нам с ливонцами, а в поле.

— В Копорье и Пскове у стен их били, — не то возражая Спиридоновичу, не то напоминая о недавней битве, промолвил псковский боярин Иван Колотилович. После изгнания меченосцев из Пскова Колотилович посажен псковичами в тысяцкие.

— Не все войско ливонское сидело во Пскове, боярин, — с прежней усмешкой ответил Спиридонович. —

Сидел во Пскове передний полк, да сторóжи, да дружины изменников-переветов. С железным полком лыцарским ни в Пскове, ни в Копорье мы не переведались. А как началась битва у псковских стен — набат звонили у Троицы, на улицах псковичи бились с вражескими воинами. Небось памятуешь о том, Колотилович? Юрьев — не Псков. Не зазвонят набат в Юрьеве.

— Все рады в поле биться, а выйдут ли меченосцы из города? О том молви, Василий Спиридонович! — сказал Олексич.

— Позовем, да коль хитро — выбегут. За поражение свое, принятое у Копорья и Пскова, злы лыцари, а злоба — не честь и не храбрость. Голову она дурманит. Дурманная-то голова не поопасится, с завязанными глазами около пролуби ходит.

— Хитро, ой хитро молвил новгородский воевода! — неожиданно выкликнул слушавший спор князь Андрей Ярославич и засмеялся. — Заодно поведал бы, где пролубь припас меченосцам.

Юное, с еле пробивающимся пушком бороды лицо князя Андрея раскраснелось; глаза искрятся, сверкают задором и смелостью. Впервые привелось быть в походе Андрею Ярославичу, и теперь после выпитого меду все ему нипочем, все кажется легким и исполнимым. Не труды похода, не жестокая битва с сильным врагом представляется ему, а игра да потеха. Увидят меченосцы русские полки и — бегут из Юрьева, как бежали из Пскова. Андрей готов идти в битву хоть наутро. То, что Александр медлит, советуется с воеводами — сердило княжича. И сейчас не над Спиридоновичем смеется он, а над медлительностью Александра, над осторожностью, с какой Александр готовится к походу. Андрей не смотрел на брата, но чувствовал — Александр недоволен им. Но он, Андрей Ярославич, тоже князь, и его слово — княжее слово. Чтобы показать свою независимость, то, что не Александром, а великим князем Ярославом поставлен он воеводою Владимирского полка, Андрей похвастал:

— Новгородским воеводам впору торг торговать, не к спеху поход им. Суздальские полки возьмут на щит Юрьев.

— Почто хвалишься перед битвой, княжич? — взглянув на Андрея, хмуро проворчал сидевший рядом с ним, не принимавший до того участия в споре воевода Ерофей Чука. — Не похвальбами, а делами своими ищут победу витязи.

— То витязи, Чука, а не гости торговые, — выкрикнул Андрей. Он привстал было, но пошатнулся и тут же сел на свое место. Вдруг показалось ему, что лица всех, кто сидит перед ним, отодвинулись, перед глазами поплыл туман. Потом из тумана выступило лицо Чуки. Оно близко-близко и такое же спокойное, каким видел его Андрей в начале пира. Андрей почувствовал: кто-то положил ему на плечо руку.

— Выдь из-за стола, Андрейка! — громко прозвучало над ним. — Мед осилил тебя. Завтра разбужу. За слово глупое прощения попросишь у моих воевод. Заупрямишься — отошлю к батюшке. Олексич, проводи князя Андрея в его горницу!

Кто молвил? Кто приказывает ему, князю? Ах, это брат... Александр. Андрея охватила досада. Хотел крикнуть, что не властен Александр сказывать свою волю сыну Ярослава, но не крикнул, только промычал что-то и уронил на стол голову. Потом подняли его... Рядом раздался чей-то смех. Смеются над его слабостью. И сквозь этот смех в самое ухо Андрею кто-то шепчет: «Не пристало витязю пьянеть от чаши хмельной». Андрей рассердился. Он крикнул так громко, что, казалось ему, заглушил криком шум пира: «Не пьян я. Не страшна мне чаша... Завтра выступлю со своим полком на Юрьев...»

Тихо стало вокруг. И гридня исчезла.

— На Юрьев идти не страшно, княжич, — говорит кто-то рядом. Кто молвил? Ах да-а... это Олексич. Олексич хорошо сказал на пиру, речь его понравилась Андрею.

— А что... Что страшно? — спросил.

— Страшно отвечать князю Александру Ярославичу, — Олексич почему-то не засмеялся, будто не в шутку слово молвил.

— И я князь... — начал было Андрей, но тут ему представилось разгневанное лицо брата, его глаза под сурово опущенными бровями. Оно живо напомнило Анд-

рею лицо отца. И говорит Александр, когда разгневается, как отец, и взгляд у него, как у отца... Андрей увидел, что он не на пиру, а у себя в горнице. Свеча горит на столе. В горнице только он да Олексич.

— Охмелел ты, княжич, — говорит Олексич. — Наговорил невесть что... Огневался на твои речи Александр Ярославич.

— Что... я молвил?

— Не время вспоминать о том. Почивай!

Наступали сумерки. Звезд еще не видно, но над Запсковьем высоко-высоко заблудился в синем просторе одинокий серпик месяца. На дворе толпятся воины. Оттуда доносятся смех, шум, веселые выклики.

Оставив Андрея, Олексич не пошел в гридню к пирующим; он миновал переход и выбрался на дворовое крыльцо. Там оказался сотник Устин. Подставив студеному ветру непокрытую голову, Устин стоял возле перилец и смотрел на забавы воинов.

— Устин! — позвал Олексич. — Аль и тебе показалась тяжела пенная?

— Не чаша тяжела, Олексич, — оглянулся Устин. — На ногах я крепок. Любуюсь на потеху молодецкую... Эй, Васюк! — вдруг крикнул Устин. — Не позорь княжих секирников! Удал молодец, — Устин похвастался перед Олексичем.

— О ком речь?

— Новгородец наш, Василий Сухой... Охальником жил на Новгороде, а явился в секирный полк — стряхнул старое. С псковичем Антошем Лосковым борется... А перед Антошем трех молодцов на спину положил.

Олексич узнал Сухого. Доброго слова не слыхал себе Сухой на Новгороде, стоеросом звали, а нынче Устин его хвалит. В толпе воинов, окружавшей борцов, видно Савву, Игната-гвоздочника, Лукмашку... Лукмашка пришел из Русы. Ростом он ровня Сухому и силы доброй. По одному отбирал Устин ратников в секирный полк. Все они высоки, под стать своему сотнику, силачи. Устин гордился их удалью.

В гридне, когда Олексич вернулся туда, давешний спор утих. Князь Александр спрашивал у псковичей — Ивана Колотиловича и Володши — о ближних путях из Пскова на Юрьев, об озере на рубеже.

— От Юрьева к озеру, — услышал Олексич голос Александра, — коль идти прямо, где будет достигнут берег?

— На Узмени, княже, — ответил Колотилович. — Близ Вороньего Камня.

— А где Теплое озеро?

— Узмень люди называют Теплым озером. Идет она от Чудского озера до Талабского[1], что подступает к Пскову.

— Широка ли Узмень и крепок ли лед? — спросил Александр. — Замерзает ли она, если зовут ее Теплым озером?

— Ино место на Узмени версты на две от берега до берега, ино на семь верст считают. Мелка вода на Узмени; когда лето — тепла, по то и зовут Узмень Теплой. А замерзает Узмень раньше Чуди и Талабского, лед крепок... О сю пору на нем город руби с валами и стрельницами, — ответил за Колотиловича Володша.

— Лесные ли места на Узмени по русскому берегу?

— Разно, княже. От устья Желчи — по берегу Чуди и на мысу близ Вороньего Камня, где починается Узмень, там боры, а к Талабе — низкий берег... Болот много и места не лесные. Береза там, осинник да ива. Жилье редко встретишь.

— К Вороньему Камню хаживал ты, Володша?

— Бывало, хаживал. Перед походом ливонским ладьями шли на Омовжу, к Юрьеву. У Вороньего Камня сушили весла. Отмель там, галечник, а на островишке бор. И не сказать, княже, сколько живет на островишке ворон — тьмы тем. Поднимутся — небо закроют. Корму вороньего на островишке много. Погонит ветер волну, она и плеснет рыбу... Далеко, на галечник. Вода уйдет, а рыбе некуда. Тут и кормится птица. Жительства на Вороньем Камне нет. Избенка там стояла в бору на ловище Олфея Сенковича с Желчи... А после ливонского похода пропала и та избенка.

— Городок бы срубить на Вороньем-то Камне, княже, — посоветовал Иван Колотилович. — Мимо Камня путь из Омовжи и на Желчу и на Теплое озеро, к Пскову.

---

[1] Псковское.

— Поглядим место, Колотилович, — сказал Александр. — По болотам на русском берегу, пока снег да лед, чаю, пройдет конь?

— Родителя моего братан попом живет в погосте на Желчи, — привстав и неловко, точно боясь, что его обличат в неправде, сказал Филипп Соломнич. — Ходил я на погост, там с брательниками двоюродными на ловищах бывал у Узмени. Брательники искусны на лыжах; и на Вороний Камень и куда велишь — все тропки им ведомы.

— Далек ли, Соломнич, путь к погосту?

— На добрых конях в день осилим. Завили вьюги путину, а в борах слежня осталась и приметы есть.

— Добрый совет, други, услышали мы от Соломнича, — промолвил Александр, обращаясь к воеводам. — Пора на озеро посмотреть, пути знать к нему. Не по веселой бы масленице дальние снега мять, да времени мало, пировать некогда. В утре завтра пойдем на Узмень. Идти со мной Олексичу... Кровь у него горячая, авось остынет в снегах, — усмехнулся Александр, намекая на то, что говорил Олексич на пиру. — Идти и тебе, Чука, и тебе, Домаш, и тебе, Спиридонович... Володша с Филиппом Соломничем путь укажут. На Желчи поищем братанов Соломнича. Тебе, Сила, — Александр повернулся к Тулубьеву, — с Иваном Колотиловичем быть во Пскове, блюсти войско и город.

— Идти бы и мне с тобою, княже, поглядеть на Узмень, — поморщился Сила Тулубьев, недовольный тем, что велено ему оставаться на Пскове.

— И я рад видеть тебя с собою, болярин, — сказал Александр, — да войску глаз нужен. Пусть люди на Пскове празднуют масленицу, как положено, не рушьте веселья их.

ГЛАВА 26

СОВЕТ ВОЕВОД

Власий Соломнич — одногодок Филиппу; такой же, как и Филипп, неповоротливый с виду, с длинными руками и заросшим бородою лицом. Глеб — розовощекий, гибкий юноша с русым пушком на подбородке и голубыми

глазами — внешне мало чем напоминал брата. Был он чуть ли не на десяток лет моложе Власия. Славились братья как искусные ловцы и охотники; бывали Соломничи и за Чудским озером и за Узменью на Суболическом берегу; знали они леса, ручьи и овраги на своей и ливонской земле, от озера до Юрьева.

Встретясь с братьями, Александр долго, со тщанием выпытывал у них тайны о лесах, укрытых местах. Он хотел знать каждый овражек, каждый мысок, — все, что могло скрыть от взгляда, быть приметой.

Бором, по бездорожью, Соломничи провели князя и воевод к устью Желчи. Оттуда, левее устья, берег круто изгибался к западу, и, сужаясь, озеро переходило в Узмень.

Александр остановился на берегу. Изрезанный заливчиками и отмелями берег покрыт лесом. Лес подступал к самому озеру; занесенный снегом, он казался диким и непроходимым.

На белом просторе озера виден островок. Он будто поднялся из ледяных недр, чтобы скрасить собою молчаливое однообразие снежной пустыни.

— Вороний Камень, княже, — показывая на островок, сказал Власий Соломнич.

— Ливонцы знают озеро? Если приступят к нему и поищут русский берег — куда ляжет путь их? — спросил Александр.

— Легкий путь на русский берег через Узмень, княже, — ответил Власий.

— Там, где уже она и близко сходятся берега?

— Нет. Где узко — топи на берегу нашем и жилья нет. Лучше путь вблизи от Чудского озера, на виду Вороньего Камня, за теми борами, — Власий показал на лесную гряду, уходящую вдоль берега к западу. — Место высокое, и к Желчи близко оттуда и на Псков недалеко езжая путина.

— Ведомы тебе, Власий, тропы на своем берегу и на вражьем; будет нужда — проведешь ли войско от рубежа за Талабским озером прямыми путями к Юрьеву? — спросил Александр.

Власий помедлил. Он подозвал к себе брата, о чем-то спросил его, затем посмотрел на озеро, как бы ища разгадку на его снежном просторе, и сказал:

— Ведомы пути и мне и Глебу, княже. Велишь, проведем войско.

— Встретится в поле войско латынян — будет битва, — напомнил Александр, желая испытать мужество Соломничей.

— В борах живем, княже, — поняв сомнения Александра, просто ответил Власий. — Двое мы. Где один не знает — другой подскажет. И кабана и медведя брали. У Глеба слух тонок, а я следы и приметы лесные читаю, как свою ладонь.

— Верю тебе, Власий, — сказал Александр и улыбнулся. — В чьем полку быть вам — укажу. Теперь оглядим места по берегу и Узмень.

...В пути Василий Спиридонович сказал Александру о споре сотника Володши Строиловича с князем Тойво и о стрелецкой потехе у озера.

— Метки стрелы у князя Тойво, — похвалил карела Спиридонович. — За сто локтей три стрелы пустил в перстень на мете. После Тойво вышел новгородец... Трижды натягивал тетиву, стрелил три стрелы: все — стрела в стрелочку, в сердечко перстня.

— Ведаю о стрелецком искусстве князя Тойво, — сказал Александр. — Но кто нашелся искуснее? Правдой ли суд сказан потехе?

— Воевода Кербет судил, княже.

— В чьем полку сказан стрелец? — спросил Александр. — Где он постиг искусство стрелецкое?

— Сказан в моем полку, княже, — ответил Спиридонович. — До похода нынешнего в борах жил на займище, близ Новгорода. Зверя и птицу промышлял.

— Коли так-то искусен в стрелецком бою молодец, как сказывает Спиридонович, взять бы тебе, княже, искусника в отроки на княжий двор, — посоветовал Чука.

— Правду молвил воевода Чука, Александр Ярославич, — поддержал Чуку Спиридонович. — На то я и поведал тебе об отроке.

— Стрелецкие умельцы не обуза в дружине, — сказал Александр. — Но дозволь, Спиридонович, прежде взглянуть, какова борода у умельца, пристало ли ему быть в молодших?

— Не по бороде суди, княже. Юн и безбород отрок.

— Чьего он роду? Вольный житель аль чьей кабалы? Коли с родителем живет, даст ли его мне родитель?

— Вольный. И родителя, сказывает, у него нет.

— Буду на рубеже, позови молодца. Увижу его — спрошу.

Дорога не наезжена. Кони идут шагом, ниже колена оседая в снег. По сторонам дороги молодь березовая и осинник. Солнце обнажило деревья от снега и инея; рябят они над снежной целиной иссиня-лиловыми, путаными перевесищами. Опустив гибкие ветки, березы как бы напоминают, что скоро зацветут темно-желтыми кистями весенних сережек. Среди березняков глаза издали различают осины. Стоят они гордо, выпрямив серебристый стан и упрямо топыря вверх, как сухостой, редкие сучья.

После шумного веселья на масленице в городе тихо. Вечером пусты улицы. Псковичи отдыхают от праздничных игр и гуляний. Ноют ушибы и синяки, болят головы.

Три дня пробыл Александр у озера. Возвратясь в Псков, вечером он позвал к себе ближних воевод. Сила Тулубьев, едва вступив в гридню, начал было сказывать, как жили в Пскове на масленице; Александр остановил его.

— Не Псков и не веселая масленица нынче тревожат, Сила, а поход, — молвил он. — Долго гостим в Пскове. Небось уж псковичи косо посматривают на новгородцев, и поделом: пришли-де конно и людно, назад не идут и вперед не трогаются. Не весело, други, слушать правду горькую! Ныне проведали мы места на Узмени и на озере, знаем путь к Юрьеву по ливонскому берегу...

— Сойдут снега, латинские меченосцы попытают путей к Пскову, — опасливо молвил Иван Колотилович.

— Правду слышим от Колотиловича, — насупился Ерофей Чука. — Сойдут снега, переступят меченосцы рубежи наши.

— Не пора ли начать поход? Не к тому ли твоя речь, Чука? — спросил Александр. — Что думают воеводы?

— Тебе решать, княже, — ответил Чука и так посмотрел на Александра, словно собирался бранить его.

— Пора! — коротко подал голос Олексич.

— И я, как Олексич, рад походу, — приподнялся Сила Тулубьев. — Но подумать бы, как держать осаду Юрьева?

— Тяжел поход в снегах... Возы отстанут. Стены крепки у Юрьева и рвы...

— Не о битве у города мыслю я, други, — нетерпеливым движением Александр остановил воевод. — О том думать нам: возьмут ли меченосцы битву там, где укажем?

— Переступим рубеж, выбегут меченосцы навстречу... — начал Спиридонович, но его перебил Гаврила Олексич:

— А где велишь ждать их, воевода?

— На путях к Пскову.

— Пойдут ли они к Пскову? Не поищут ли иных путей?

— Где? Не по-сорочьему ли?

— Есть другие пути, Василий Спиридонович, — пристал Сила Тулубьев. — Есть.

— Не слыхал что-то.

— Есть, — повторил Сила. — Прямехонькие, и не к Пскову они ведут, а к Великому Новгороду. Скажи-ка о том, Иван Колотилович!

— Правда ли?

— Да, есть пути, — ответил Колотилович. — Бывало, немецкие гости спускались на ладьях по Омовже к озеру и оттуда не на Псков шли, а вверх по Желчи. Из Желчи, волоками, на Лугу. Из Луги путь к Новгороду не труден.

Слушая речи воевод, Александр вспоминал слова отца, которые слышал от него, будучи во Владимире. «Настал, Олексанко, час взять победу над латинскими крестоносцами, — говорил Ярослав. — На тебя пала доля отсечь жадную руку папистов, преградить им путь на Новгород, на землю нашу». И тогда и теперь Александра

не страшила и не страшит встреча с меченосцами, но когда начать поход? Сейчас ли, пока снег плотен и лед на озере крепок, или повременить, ждать весны?

Враг силен, войско его многолюдно, и не играми тешиться собралось оно в Юрьеве. Начнут первыми поход рыцари, труднее будет биться с ними. Лучше самим идти на Юрьев, как советует Олексич. Но к выгодам ли Руси сложится битва с многолюдным войском латынян у городских стен? Устоит город — бесчестие примет тогда русское войско. Не зазвонят колокола ни в Новгороде, ни во Владимире... А рядом Литва, за Невой шведские полки, они угрожают Ладоге. Хватит ли сил отразить новое нашествие?

Александр окинул взглядом воевод. Глаза его задержались на лице брата Андрея. Он рядом с Чукой. После пира на масленице Александр не видел брата. Видимо, Андрей помнит свою вину; насупясь, он сидит молча, опустив голову. «Судить ли его? — подумал и тут же решил: — Окажет себя Андрей воином в битве, на том ему и прощение».

— Долго медлим мы, — начал Александр, и по тому, как сказал это, стало ясно — решение им принято. — Но медлить не время, — продолжал громче. — Выступим в поле, други!

Он остановился, помолчал, как бы собираясь с силами, чтобы вымолвить главное, о чем должны знать воеводы.

— Выступать переднему полку воевод Домаша и Кербета. Готовы ли к тому переяславцы, Домаш? — спросил воеводу.

Нахмуренное лицо Домаша прояснилось. Как будто опасался он до того, как услышал речь князя, что не ему, а кому-то другому велит Александр первым выступить за рубеж.

— Готовы, княже, — ответил он. — Если приведется сложить головы...

— Знаю, Домаш, что молвишь, — остановил Александр воеводу. — Не легко будет, но чем меньше падет воинов в походе и битве, тем выше слава. Путь Переяславскому полку на Юрьев, — Александр произнес, наконец, нужное слово. — В походе идти не берегом озера, а

борами, как короче; идти без возов, хлеб и иную снедь для воинов искать по вражьим зажитиям. В попутных замках лыцарских тревожить хлебные клети и медуши, кои не пусты. Кто воспротивится — гость ли чужой, смерд аль холоп лыцарский, — карать супротивников без жалости. С полком пойдут братья Соломничи — Власий и Глеб; укажут они удобный и скрытый путь войску.

— Где велишь ждать большой полк, княже? — спросил Домаш, пользуясь тем, что Александр замолчал.

— Не жди! Иными путями, не на Юрьев, выступит большой полк. И новгородцы, и ты, Чука, и брат Андрей, и ты, Сила, и ты, Спиридонович, и псковичи, и карелы — начнут поход позже, со мною, и пойдут ближе к озеру. А тебе, Домаш, и Кербету, переступив рубеж, идти с шумом. Сведав, что невелико войско ваше, меченосцы преградят путь. В обычае лыцарском искать победы над слабыми. А вам принять битву, но, не дав иссечь войско, отходить к озеру, к большому полку. Остановятся ливонцы, не станут преследовать, снова повернуть вам на Юрьев. Дразните, сердите их, как сердят в берлоге зверя ловцы-медвежатники. Не победы искать Переяславскому полку, а храбрость и искусство свое оказать.

— Любо мне слышать слово твое, Александр Ярославич, — сказал Домаш. В загоревшемся взоре его сияло удовлетворение и гордость. — Спасибо молвлю за войско, и за себя, и за воеводу Кербета. Перехитрим лыцарей. Мы, переяславцы, люди шумливые, то-то раздолье будет в походе! Нашумим так, что в Риге услышат, не токмо в Юрьеве.

— Шуми! — улыбнулся Александр. — Но при встрече с врагом не теряй головы буйной! За ту вину судить буду, и жалости от суда моего вам не ждать. И о том скажу, воеводы: легко пролить кровь в битве, тяжело взять победу. Пусть покричат в Юрьеве о слабости нашей, о томлении нашем в снегах... Того и желаем мы. Схороним в сердцах гнев и ненависть, окажем свою слабость: всеми полками уклонимся от встречи. Возрадуются лыцари. Любо им будет «гнать» нас, искать победы, а мы... Станем там, где ливонские полки обретут гибель.

ГЛАВА 27

В ЮРЬЕВЕ

Каменные стены окружают замок князя-епископа. Замок высится на холме, где великий князь киевский Ярослав Владимирович, названный мудрым, в тысяча тридцатом году поставил городок — Юрьев. В тысяча двести двадцать четвертом году ливонские рыцари, захватив городок, переименовали его в Дерпт. Издалека видно замок князя-епископа. Городок обнесен тремя острогами, с валами и рвами; замок епископа дерптского как бы знаменует своей неприступностью могущество рыцарей братства меченосцев.

В середине зимы в Дерпт прибыл магистр Ордена рыцарь Бернард фон дер Борг. Он привел рыцарей из земель германских. Все рыцари, прибывшие с магистром, пришли конно, с отроками и оруженосцами. Ни князь-епископ, ни магистр Ордена, ни рыцари, собравшиеся в Дерпте, не сомневались в успехе похода на Русь. В Риме, при дворе папы-патриарха, полагаясь на многолюдность и силу крестоносного войска, возглавляемого меченосцами, говорили о Руси как о покоренной земле. Ждали только весны, чтобы выступить к Пскову.

Поэтому весть о походе новгородского войска и о том, что новгородцы, перейдя рубеж, вступили на землю Ордена, явилась настолько внезапной, что вызвала при дворе епископа сумятицу и недоумение.

— Голод ведет русичей, — неслись слухи в войске и городе. — Шайки их ищут хлеб и живность, сжигают зажитья, убивают и гонят в полон жителей...

Гонец рыцаря фон Кейзерлинга, стоявшего со своим полком близко от рубежа, подтвердил весть о походе новгородцев. Гонец передал, что новгородцы идут без возов, прямыми путями на Дерпт. Сила их невелика. Часть конного и пешего новгородского войска, с возами и припасами, перешла рубеж ближе к озеру и не идет вперед, а держится близко от рубежа, не уклоняясь от озера.

Прибытие в Дерпт магистра Ордена лишило маршала фон Балка первенствующего положения в войске. Фон Балк выглядел теперь еще суше и молчаливее, чем

был прежде. Он гордился тем, что собрал многочисленное войско, какого никогда до того не знали меченосцы. Двадцать пять тысяч воинов стояло в Дерпте, среди них — тысяча конных рыцарей в тяжелой броне, с гербами на щитах и оруженосцами; десять тысяч пеших кнехтов в легких латах, вооруженных длинными копьями, топорами, луками и самострелами; многочисленные холопьи полки. Гордясь тем, что им сделано, фон Балк не скрывал своего недовольства присутствием в войске магистра.

Бернард фон дер Борг и пришедшие с ним рыцари предпочитали не выступать навстречу новгородцам, а ждать их, закрывшись в городе. «Стены Дерпта крепки, запасов хлеба довольно, — говорили в окружении магистра. — Подступят новгородцы — найдут себе гибель». Все это не отличалось от прежних замыслов и самого Балка. Осенью, отступая от Пскова, он ожидал, что, преследуя крестоносцев, новгородцы подступят к городу, и готовился к битве. Но теперь, лишась прежнего положения в войске, когда зимнее бездействие утомило воинов и вызвало ропот воинственных рыцарей, фон Балк оказался во главе недовольных.

Рыцари не желали ждать. Осторожность магистра и стремление его встретить новгородцев у стен города воспринималось как трусость. «Трусы ждут врага, прячась за стенами, — передавалось в войске. — Нам ли позорить себя! Выйдем из города навстречу еретикам и поразим их!»

— В поход! — этот клич звучал всюду — на улицах, у городских стен, в замке епископа.

Рыцари и кнехты обвиняли фон дер Борга в том, что по его вине крестоносное войско обречено на бездействие, которое на пользу русичам; слышались голоса, что пора-де не магистру быть во главе войска, а, как положено, маршалу Ордена фон Балку.

Воинственные настроения разжигались слухами о слабости новгородцев. Никто не знал, где возникали слухи, но им верили. В войске говорили, что новгородцы идут к Дерпту не дорогами, а по глубоким снегам, что, устрашась битвы, они рассеются и бегут при первой же встрече с крестоносцами. Говорили о том, что варвары русичи страдают от холода, так как худо одеты; у них

мало оружия; даже в конной дружине князя у воинов нет лат. Епископ Генрих, не желавший видеть новгородцев у стен города, принял сторону недовольных. Он упрекал фон дер Борга в нерешительности, требовал изгнания еретиков, ступивших на землю Ордена.

Новый гонец Кейзерлинга принес в Дерпт весть о победе, одержанной над русичами. В войске быстро распространился слух, что после короткой битвы крестоносные воины, не понеся потерь, рассеяли и истребили две шайки еретиков.

— Новгородцы ищут себе гибели, — сказал большебородый фон Вирт, узнав о победе Кейзерлинга. — Поразим их и к весне будем в Пскове.

Успех Кейзерлинга поколебал магистра. При всей осторожности своей он стал склоняться к мысли о том, что дальнейшее пребывание в городе и вынужденное бездействие вызовут новое, более сильное, чем раньше, недовольство рыцарей и вольных кнехтов. Не лучше ли настичь новгородцев на походе, разбить их и по следам бегущих войти в Псков?

При всей неприязненности своей к фон дер Боргу маршал фон Балк не мог нарушить обетов рыцарских, выйти из повиновения магистру Ордена. По священному долгу рыцаря фон Балк не мог указывать магистру и давать советы свои, если магистр того не потребует. «Многочисленно войско святого креста, — размышлял фон Балк. — Оно стремится к сражению». И при встрече с магистром Балк не стерпел, нарушил правило. Он напомнил о слухах, которые волнуют войско.

— Еретики русичи слабее и малочисленнее крестоносцев, брат магистр, — сказал он. — У Пскова при встрече с ними нас было мало, а их много, и мы отошли. Но русичи не знают встречи с железным полком, не испытали силы нашей. Братья Ордена и рыцари, кои пришли из других земель, ищут битвы. Русичи на пути к Дерпту. Епископ Генрих требует изгнания еретиков.

— Так ли малочисленны и слабы русичи, как о том говорят в войске, брат маршал? — спросил магистр.

— Слухи достойны сомнений, благородный брат, — выпрямив длинное туловище, резко произнес фон Балк. — Но есть иные вести о русичах, достойные доверия. Городовая стража схватила прибежавшего в Дерпт

псковича. Называет он себя Филиппом, дьяконовым братом. Пришел в Дерпт добровольно. И сказывает он: худо войско новгородское, неспособно к бою. У половины воинов копья, у остальных то, что промыслили сами. Битва у городских стен нанесет ущерб городу, это огорчит епископа Генриха. Выйдем навстречу русичам и возьмем битву к выгодам нашим.

— Что говорит схваченный русич? Велико ли войско на путях к Дерпту? — спросил магистр. — Гонцы Конрада Кейзерлинга передают, что некоторое число русичей конно и пешо, с возами, перешли рубеж ближе к озеру. Они идут берегом, минуя Дерпт...

— О да! Спрашивал я о том русича. Сказывает он, что у озера войска мало. К Дерпту идет большой полк. В твоей воле, брат магистр, остановить и истребить еретиков.

Фон дер Борг помолчал. Потом, сложив набожно на груди руки и стараясь придать особенную силу и выразительность своему голосу, произнес:

— Пусть совершится то, что сказал ты, брат маршал! Полста рыцарей с оруженосцами и пять тысяч пеших воинов с командором фон Виртом и рыцарем фон Рорбахом выйдут из города к брату Кейзерлингу. Ты, брат маршал, возглавишь переднее войско. На удобном для себя месте прегради путь русичам. Следом за тобою выступит из города все войско. Разбив русичей, не остановимся мы, а милостью пресвятой девы будем преследовать бегущих, пленим князя Александра и его воевод. Иди, брат, и не медли, а я обрадую вестью епископа Генриха. Ему святейший престол, посланием своим, поручил ведать дела церкви на Руси и заботу о приобщении еретиков русичей к истинной вере.

ГЛАВА 28

ТОРЖЕСТВО КРЕСТОНОСЦЕВ

Большой полк княжий, продвигаясь вдоль Узмени, находился в трех переходах от места, где Узмень сливается с Чудским озером. Вести от воевод Домаша и Кербета, шедших с переяславской ратью левее, прямы-

ми путями к Дерпту, были благоприятны. Братья Соломничи, которые вели переяславцев, хорошо знали все скрытые места на пути, точно всю жизнь прожили на ливонском, а не на своем берегу озера.

Меченосцы, обманутые хитростями и искусством Домаша и Кербета, не смогли установить численности Переяславского полка. То им казалось, что переяславское войско невелико, то вдруг оно возрастало в числе. Сторóжи переяславцев, выдвинутые вперед и разбросанные в стороны, меченосцы принимали за полки и отступали перед ними. При встречах же с более многочисленными силами меченосцев русские воины исчезали, создавая впечатление бегства. Рыцарь фон Кейзерлинг, войско которого стояло на путях Переяславского полка, терялся в догадках.

Переяславская рать приближалась к речке Лутсне. Из того, что рассказывали о Лутсне Соломничи, воеводы знали: берега речонки круты и обрывисты. Перед вечером, близко Лутсны, встретилось зажитие. Люди, жившие тут, напуганные слухами о приближении русичей, бежали. Расположась в жарко натопленной горнице, воеводы беседовали с Соломничами, как лучше перейти через Лутсну. Бой на переправе даже с небольшими силами врага был бы не к выгоде переяславцев.

Ночью воевод разбудил отрок:

— Помилуйте, осудари, — войдя в горницу, сказал он. — Филипп Соломнич вернулся. Сказывает: важные у него вести.

Филипп Соломнич, ступив в горницу, где ждали его Домаш и Кербет, споткнулся о порожек. Кербет, которого появление молодца привело в веселое настроение, глядя на высокую, с крупными, тяжелыми руками фигуру Соломнича, едва не достигавшую головой матицы, рассмеялся:

— Рос ты, Филипп, знать, глядя на звонницу. Облака тебе подпирать впору. Ну, удалой молодец, сказывай! Побывал в Юрьеве?

— Побывал, осударь. Видел и лыцарей и их войско.

— Пустил о нас худой слух? — спросил Домаш.

— Все, как велено, — ответил Филипп. — Да и без

меня много толков было в Юрьеве о нашем войске, а хуже того, что я молвил, никто не сказывал. Лыцарь, командор ихний, который о тоегоднюю зиму и лето сидел на Пскове... Ох и верзилище он... Выше меня. Спрашивал он и о Пскове и о войске нашем. Знают теперь лыцари, что голодны мы, в снегах тонем, что оружие у нас наполовину косы да дубье, что воины наши страшатся встречи с крестоносцами, а пуще всего — с железным полком лыцарским. Три короба наплел я вестей. Отпустили меня. А приняли как торгового гостя, дьяконова брата, который «согрешил» на Пскове и бежал под заступу лыцарей... Повинен я...

— В чем? — усмешка, с которой слушал Кербет, сбежала с его лица. — В чем вина?

— В том, осударь, не мои ли басни подняли лыцарей... Начали они поход.

— Поход? Вышли из города?

— Да. Выступили и конно и пешо. За передним полком готовятся всею силой выйти навстречу нашему полку. Ног я не чуял — бежал, чтобы сказать о том. Передних обошел стороной у Лутсны...

— Слава Спасу многомилостивому! — широко перекрестился воевода. — Не судить нам тебя, Филипп, а славу молвить. Посылали в Юрьев — опасились: сделаешь ли то, что велено? Сделал ты, как надо, и голову удалую сберег.

— Как мог, так и сделал, — Филипп смутился от похвалы.

— Хитро и умно сделал. А вот как из горенки-то пойдешь — наклонись пониже. Перед лыцарями не кланялся ты, а перед притолкой — бог велел.

...Утром Переяславский полк выступил к Лутсне.

— Исполним наказ князя нашего Александра Ярославича! — говорили воеводы воинам. — Будем стоять крепко. Пусть латинские крестоносцы мнят себе, что перед ними не передний полк и не сторожи наши, а все войско русское. Отцы наши не страшились врагов, не положим и мы хулы на их славу.

С утра до полудня длилась битва на Лутсне. Много врагов пало в сече, не мало и переяславских воинов сложило головы. Снег под ногами сражающихся алел от

своей и чужой крови. К полудню на помощь меченосцам подоспели из Дерпта новые полки. Как ни стойко держались переяславцы, но дрогнули, начали отходить.

Князь Александр поднялся на голый отлогий холм и, отъехав в сторону, остановил коня. Мимо шло войско. Впереди конный полк лучных стрельцов, за ним, точно сухой острый лес, покачиваются в лад с шагом коней копья княжей дружины. За дружиной идут карелы Тойво и новгородские полки с воеводами Силой Тулубьевым и Василием Спиридоновичем; за новгородцами — владимирское пешее войско с воеводою Чукой и псковичи с воеводою Иваном Колотиловичем. Позади скрипят возы с хлебом и припасом; замыкают войско владимирские легкие конники с князем Андреем Ярославичем.

С холма, на котором стоит Александр, сквозь голый редкий лесок видно белую гладь Узмени. Здесь она широка; еле-еле вырисовывается темная полоска лесов на другом берегу. Берег, где идет войско, низок и пустынен. Лишь мелкий кустарник и редкие гривки березняков нарушают однообразие его.

Александр узнавал лица многих ратников, шедших мимо. Среди пеших секирников издали выделяется фигура «стоероса» Василия Сухого; рядом с ним Лукмашка. Они идут следом за сотником Устином. Близко к ним — Емеля и Игнат-гвоздочник. Широкие лезвия секир, насаженные на длинные, схваченные железными кольцами ратовища, устрашающе поблескивают на солнце. Александр невольно улыбнулся, представив себе, что испытают меченосцы в битве при встрече с секирным полком. Не знают крестоносцы секир, не видели их у себя, в западных землях. Кузнецы русичи придумали и сковали хитрое оружие, и название у него русское. Александр собрался было сойти с коня, чтобы, идя пеше, поговорить с воинами, но рядом с ним появился Гаврила Олексич.

— Глеб Соломнич, княже, — сказал он. — Прибежал гонцом от воеводы Кербета.

— Где Соломнич? — спросил Александр.

— В голове войска. Притомился он. Я велел ждать тебя на месте.

Соломнич, когда Александр приблизился к нему, по-

клоном встретил князя. Не сходя с коня, Александр спросил:

— Где воеводы Домаш и Кербет? Цело переяславское войско?

Александр не видел Соломнича после выступления из Пскова и теперь в уставшем, с рассеченною щекою воине не сразу смог признать молодца, который, вместе с братом своим Власием, ходил по тропам близ Узмени, когда смотрели на масленице берега озера.

— Бились мы, княже, на реке Лутсне, — сказал Глеб, отвечая князю. — Всею ратью выступили из Юрьева навстречу нам латинские крестоносцы. Воевода Домаш пал в битве, воевода Кербет идет к большому полку.

Голос Соломнича звучал так сокрушенно, точно ждал молодец, что князь осердится и осудит гонца за горькую весть о поражении Переяславского полка. Александр, кусая губы, некоторое время молча смотрел на Глеба, потом спросил:

— Велика потеря в войске?

— Велика, княже, — ответил Соломнич. — Большою силою шли меченосцы, долго бились... Мы полегли бы на поле, не отступили, но воевода Кербет велел отходить.

— Жаль Домаша. Муж добрый и честный пал в битве... Есть ли вести из Юрьева, от братца твоего Филиппа? — спросил Александр.

— Вернулся Филипп к войску, княже. Он сказал о походе лыцарей.

— Удал молодец! А ты устал, зрю... Олексич! — Александр позвал ближнего воеводу. — Укажи проводить Глеба Соломнича к возам, вели дать ему корма вволю и тулуп теплый. Кровь он пролил... Не шел бы с воинами на походе пешо.

Разбив переяславскую рать, войско меченосцев не повернуло назад, к Дерпту, а, преследуя русичей, двинулось за ними. Воевода Кербет, пользуясь тем, что воины его шли налегке, без поклажи, опередил врагов. Кербет вел свое войско к озеру. Упорство, с каким сражались русичи в битве на Лутсне, подтвердило уверенность рыцарей в том, что в этой битве они встретились с большим полком новгородцев. И то, что русичи не бе-

жали к рубежу, под защиту псковских городских стен, а поспешно отходили к озеру, лишь показывало бессилье и неспособность Александра и его воевод избежать разгрома и истребления своих полков. Меченосцы не ожидали больше сопротивления от разрозненных сил русичей.

ГЛАВА 29

НА РУССКОМ БЕРЕГУ

Войско подошло к устью Узмени. Впереди открылась необозримая ледяная гладь Чудского озера, на которой, как бы сторожа горло Узмени, темнеет бор Вороньего Камня.

Князь Александр делал все, чтобы убедить меченосцев в слабости своих полков, в том, что он страшится битвы. Сторожи, шедшие позади войска, наблюдали за движением рыцарей. Гонцы передавали, что ливонцы недалеко, идут по следам. Александр торопил воинов. «Пусть в отходе полков наших рыцари видят бегство, пусть спешат, ищут битвы», — говорил он.

Солнце светило по-весеннему, но лед на озере был крепок. Не задерживаясь на ливонском берегу, новгородцы по льду перешли Узмень.

Русский берег, куда переправилось войско, острым мысом круто поворачивал на восток. Сосновый бор, начинаясь на холме мыса, тянулся берегом Чудского озера до оврага, рваной подковой огибал обширную, покрытую редкими голыми кустами равнину и на горловине Узмени снова подступал к берегу. За оврагом, в глубине равнины, бор, а впереди ровное, покрытое снегом, ледяное поле Узмени — Теплого озера.

В то время, когда на масленице ходили к озеру, Александр Ярославич приметил и оценил выгоды русского берега для встречи с меченосцами. Хитрость удалась. Отступая, новгородское войско вело за собой крестоносцев.

За Узменью, на вражеском берегу, задымили костры; оттуда доносился шум и воинственные клики. В это время Александр, остановив полки, объезжал с ближними

воеводами выбранное им место для встречи с рыцарской ратью. Для расположения чела войска Александр указал берег глубокого, засыпанного снегом оврага, отделяющего от бора прибрежную равнину.

— Станет чело впереди оврага, а на равнине раскинем тверди, то-то будет потеха лыцарям, — сказал он и велел рубить лес.

Срубленные на опушке лохматые ели, со ссеченными на половину длины сучьями, воины волокли на равнину и сплошным рядом, ершами, складывали на снег, вершинами к Узмени. Острые, как копья, сучья переплетали кольями. Забросанные рыхлым снегом тверди легли колючим препятствием на пути врага.

Позади чела, среди редких кустов на берегу оврага, Александр велел поставить возы и там же валить деревья, как на твердях.

Ночь. Лениво порошит снег. Осмотрев место предстоящей битвы, Александр сошел с коня. Он сел на срубленное дерево, неподалеку от пылавшего костра. Вокруг расположились воеводы.

— Меченосцы ищут победы, — начал он. — Утром войско их перейдет Узмень. Искусны в бою лыцари, жестока будет сеча, но отступать ли перед врагом?

— Куда отступать, княже? — подал голос Сила Тулубьев. — Некуда нам отступать... Будем биться с лыцарями, оградим от нашествия ворогов города и веси наши.

— Хорошее слово молвил Сила, — снова начал Александр. — Отступая, мы привели к Узмени вражьи полки. Примем их боем. А теперь помыслим, как обратить хитрости меченосцев на их же головы? Меченосцы, как и встарь, на Омовже, нападут свиньею, клином острым. Не изменят они себе. В голове свиньи — железный лыцарский полк. Он ударит в чело...

— Укажи, княже, стать в челе моему полку! — вскочив с дерева, на котором сидел, нетерпеливо выкрикнул Сила Тулубьев.

— Не новгородцам, а псковичам стоять в челе, княже, — хмуро взглянув на Тулубьева, заявил Иван Колотилович. — Много зла причинили Пскову латинские меченосцы, нам первым и биться с ними.

— Всем полкам, где указано будет, стоять крепко и

сохранять выгоды наши, — произнес Александр, успокаивая своих воевод. — Ведаю, все рады первыми встретить врага, но наипаче того забота: не дать меченосцам расстроить войско.

Умолкнув, Александр окинул взглядом расположившихся около костра, на сваленных деревьях и прямо на снегу, на охапках веток своих воевод. Он как будто выбирал среди них достойного, кому доверить честь первому принять на себя бой железного рыцарского полка.

Против Александра, около самого костра, воевода Чука. Он держит над жаром намокшие рукавицы и так поглощен своим делом, словно не слышит ничего и не видит вокруг. Отблески пламени отсвечивают на кольцах его кольчуги. Вот он повернул лицо. Взгляд его встретился со взглядом князя. И хотя Чука не промолвил ни слова, Александр понял, чего хочет от него воевода.

— Стоять в челе тебе, брате, — громко и неожиданно для всех произнес Александр. Услышав это, князь Андрей вздрогнул; густая краска смущения и радости залила его лицо. — Тебе и воеводам Кербету и Чуке, — добавил Александр. — Вам и начинать бой.

Чука не шелохнулся. Спокойствие его как бы выражало, что он заранее знал слово князя. По храбрости и умельству пешего боя мало супротивников суздальцам, кому же и ныне, как не им, начинать битву и принять на себя первые копья железного рыцарского полка. Князь Андрей вскочил, шагнул было к брату, словно хотел обнять его, но сдержался.

— Спасибо тебе, брате! — только и смог вымолвить он, поняв, что, отпуская его в чело, Александр простил ему хвастливые пьяные речи, которые наговорил молодой князь на пиру в Пскове.

— Стойки в пешем бою суздальские полки, — как бы объясняя причину решения своего поставить в чело суздальцев, сказал Александр. — Стойки и мужественны, — добавил он. — И о том ведаю: переступив Узмень, рассечет чело лыцарская железная свинья. Пусть все будет так, как желают лыцари, к чему привыкли они, побеждая в битвах. Пусть и ныне, начиная бой, верят они в победу над нами, как верили в нее после битвы на Лутсне с переяславцами. Поможем их вере, и в том будет

хитрость наша. Разорвав чело, лыцари не повернут коней, не навалятся всею силою направо и налево, как умеют и как задумано ими. Спутается клин свиньи, потеряет голову, очутясь среди возов и древесищ, приготовленных нами позади чела. Лыцарским коням впору будет коим ноги ломать, коим, прорвавшись сквозь возы и древесища, ломать шеи и себе и всадникам, валясь в овраг. Полкам суздальским стать перед боем так, чтобы лишь малое число воинов находилось в темени чела. Пусть не задерживаются и сильнее горячат коней лыцари. Замешкается в возах и древесищах голова свиньи — тогда суздальцам всею силою, справа и слева, начать бой. Багор сбросит лыцаря с коня, а с поверженными, чтоб не портить лат, добро управляться засапожниками.

— Будем биться, княже, как умеем, — отозвался Чука. — Пешцы наши бывали в битвах с конным войском. Сядем на голову свинье.

— Пусть изведают меченосцы силу оружия нашего, — дополняя то, что сказал Чука, промолвил Александр. — Но не чело, други, решит исход битвы, а полки правой и левой руки и засадный. Там окажи свое мужество, Сила! — Александр улыбнулся в сторону Тулубьева. — И ты, Спиридонович!

Полку воеводы Тулубьева и карелам князя Тойво Александр велел быть правой рукой, полку Василия Спиридоновича и псковичам Ивана Колотиловича — левой. Воеводе Тулубьеву велел стать в укрытиях на мысу у Чудского озера, Спиридоновичу — в борах на Узмени. Дружине и секирникам указал стоять в засаде, за мысом, на льду Чудского озера, в стороне Вороньего Камня.

— Закроем все пути меченосцам, — указав, что делать воеводам, заключил Александр решение свое к бою. — Будем биться так, чтобы не уйти лыцарям ни в боры, ни к своему берегу, иссечем войско их, некому было б нести весть о побоище в Юрьев, то бишь в Дерпт по-ихнему. Тому лишь пощада наша, кто сложит оружие, примет плен. Тяжкий день предстоит, пусть отдыхают воины, но сторóжи держите крепко, зорко смотрели бы они вперед, чтоб не врасплох встречать меченосцев, не им бы будить нас.

НОЧЬ ПЕРЕД БИТВОЙ

Ночью в войске никто не спал. Мутные облака сыпали редкий, по-весеннему ленивый и, казалось, теплый снег. Далеко впереди, на льду Узмени, конные сторóжи. Они наблюдают за вражеским берегом и за тем, не прошел бы кто через Узмень непрошеный.

На открытой равнине, впереди твердей и за твердями, горят костры, но в борах, где расположились в укрытиях полки правой и левой руки, нет огней. Издали кажется, что тут, на равнине, собралось все русское войско.

У тлеющей колоды, на охапке еловых лап, брошенной на снег, отдыхал Ивашко. Не отрывая глаз смотрел он на бегающие огоньки. Вот раздался легкий треск. Из щелки, будто просеченной острым ножом на тлеющей поверхности колоды, вырвался язычок яркого пламени, а рядом зашипела обуглившаяся древесина, потемнела, и, вместо пламени, со свистом, точно из надутого сухого бычьего пузыря, когда проколешь его, показался белый рожок дыма. Тревожные проносились мысли в голове витязя. Вспомнилось прошлое — чистое приволье Лачозера, страшная боярская клеть, Олёнушка... В эту ночь, перед битвой, как-то особенно горько было сознавать, что не нашел ее; даже вести о ней не услышал. А искал он всюду. И на пути, когда шли походом к Пскову, и зимою, на Пскове. Побывал он в Запсковье, на Полонище; ходил на Мирожу, в Медведев монастырь; искал на Крому, в Застенье... Казалось, не погибла она, близко где-то.

Промелькнул в памяти образ Васены, но лицо ее, как всегда, когда бы ни думал о ней, покрывалось туманом и уходило все дальше, дальше... Поздно, ах как поздно понял Ивашко, кто люб ему! Ведь казалось, нет никого лучше и краше Васены, в думах о ней искал счастье, и вдруг Олёнушка... Стройная, как елочка на подлесье, с темными вьющимися волосами, черными глазами, скрытыми под длинными густыми ресницами, какой знал он ее на займище, взяла себе его думы.

— Что не весел, витязь, опустил буйную? Зову тебя — не дозовусь.

От неожиданности Ивашко вздрогнул. Рядом Спиридонович. Редко видел Ивашко его на походе.

— Старое вспомнилось, Василий Спиридонович, — сказал.

— О матушке родной аль о красной девице?

— Матушки нет у меня... Ни матушки, ни родителя. Мал был, когда сиротою остался, не помню.

— В утре битва, не по времени тревогою жить, — промолвил Спиридонович, и не понять: утешает он или укоряет Ивашку.

— Не страшусь битвы, — тихо, словно про себя, сказал Ивашко. — Вспоминается, что случилось на займище... На Шелони... Не легко и знать о том, Василий Спиридонович.

— А ты не сдавайся, не снимай шапку тоске, — сказал Спиридонович. — Вернемся в Новгород — поглядим... Авось найдем, что желаешь.

— Не найти, — помолчав, вздохнул Ивашко. — Знаю о том — не найти, а вот чудится — жива Олёнушка. Смелая она, Василий Спиридонович. Ночь ли, непогода ли, зверь ли лесной — ничего не страшится. Нет лучника, который сравнился бы с ней в стрелецком умельстве; легче и хитрее ее в бору никто не подойдет к красному зверю...

Ивашко умолк. Показалось, не слушает его Спиридонович: смотрит он в сторону и улыбается чуть.

— Не слушаешь ты, Василий Спиридонович, — сказал Ивашко. — Свои у тебя думы.

— Да. Есть у меня дума, Ивашко. Ждет меня в Новгороде жена молодая. Недолго жил с нею, а счастье узнал великое... Но, слушая тебя, не о себе думал. Метко стрелу пускает Олёнушка, молвил ты, а так ли метко, чтоб поспорить с искусными умельцами?

— Поспорила бы, — ответил Ивашко, не понимая, почто спрашивает о том воевода.

— Росла она на займище, в борах?

— Да.

— Не мастер я загадки загадывать, Ивашко, — продолжал Спиридонович. — Было бы в Новгороде да случись на пути Омоско-кровопуск, хитрую загадал бы.

Перед масленицей, на рубеже, поспорили новгородцы с карелами: кто метче стрелу стрелит? Была потеха стрелецкая. Побил всех в стрелецком умельстве князь Тойво: три его стрелы перстеньком пали в «вороний глаз». После Тойво выбежал молодой новгородец, Володшиной сотни. Три стрелы в сердечко Тойвина перстенька стрелил...

— Хорош стрелец, — похвалил Ивашко.

— Так-то! Знать, не складна сказка.

— Складна, да к чему она?

— К тому, что юн отрок. Ни бороды у него, ни усов. Сиротой сказался, а зовут его Олёнком.

Ивашко вскочил, толкнул впопыхах ногою колоду. Пламя вспыхнуло ярче.

— Олёнком, — повторил он шепотом. — Правду ли ты молвил?

— То молвил, что слышал из уст отрока.

Внезапная догадка и поразила и испугала Ивашку. Олёнушка... Неужто и впрямь, как на займище: она рядом где-то, знает и видит все, а сама не сказалась.

— Юн отрок, — между тем продолжал свой рассказ Спиридонович, — не в походе быть бы ему, а сидеть дома, за спиной у родителя. Нынче Володшина сотня в сторóжах на Узмени, а коли привела судьба — встретишься.

Александр не велел ставить шатер; коротка ночь, сон не ложится на веки. Отпустив воевод, он остался один у костра. Вокруг, на снегу, темнеют густо набросанные ветки ельника. Те, что лежат ближе к огню, оттаяли, пахнут прелой хвоей и смолью. Чука, дольше других воевод задержавшийся у костра, был неразговорчив; с полуночи и он ушел на стан суздальских ратников. Брат Андрей тоже коротает ночь со своими воинами.

На душе Александра тревожно. Ночь и бор скрывают стан войска. Утром меченосцы перейдут на русский берег и начнут битву. Александр не думал сейчас ни о поражении, ни о жестокости предстоящей сечи. Он давно готовился к битве с железными рыцарями, и теперь час этой битвы приближался.

Меченосцы — суровые воины; если что и можно поставить в вину им, так это заносчивость их и самонадеянность. Они жестоки и непримиримы. Воинское искусство свое ставят так высоко, словно ни в западных, ни в иных землях нет ему равного.

Где бы ни бились меченосцы, они неизменно начинают битву, нападая «свиньею», как прозвали русские ратники клинообразное построение рыцарского железного полка. Александр не сомневался, что и на этот раз меченосцы останутся верными себе и поступят именно так, как поступали всегда. Поле битвы, которое избрал он, как нельзя лучше отвечало выгодам новгородцев. Перейдя Узмень, рыцарские полки окажутся на равнине, позади их останется запорошенная снегом гладь озера. Каждое движение вражеской рати будет открыто воинам Александра, тогда как сами русичи скрыты бором, невидимы.

Все, что делали меченосцы на подходе к Узмени, соответствовало желаниям Александра. Казалось, он предвидел все, что обеспечивало успех его войску в предстоящей битве. А если меченосцы разгадали его замысел? Устоят ли русские полки под напором рыцарской железной «свиньи»? Не устоят — много прольется крови. Александр старался представить себе все, что могло случиться в битве. И самое тревожное, горькое чувство, какое переживал он, был не страх встречи с сильным и храбрым противником, даже не опасность поражения, а страх того, что меченосцы, разгадав его замысел, не примут боя; не переступив Узмень, повернут вспять и уйдут к Юрьеву, под защиту городских стен. Дать врагу безнаказанно уйти с поля, избежав битвы, — что может быть позорнее!

Некоторое время Александр прислушивался к шуму и крикам, которые ветер доносил с того берега. Нет, не к уходу готовится войско крестоносцев. Оно торжествует победу. Пусть! Тем беззаботнее перейдут крестоносцы Узмень...

Лицо князя снова омрачила тревога. Перейдя Узмень, не оставят ли рыцари сильные сторóжи на озере? Тогда потерпевшее поражение на русском берегу войско их сможет бежать с поля. Пополнив силы, меченосцы станут угрожать новым походом. Быть ли тому? Затем

ли он вел полки, чтобы дозволить латынянам и впредь безнаказанно тревожить русские рубежи? Пусть крестоносцы кровью своей ответят за преступные свои замыслы, за те беды, кои принесли они Руси.

Александр позвал отрока.

— Найди, паробче, воеводу Василия Спиридоновича, — сказал он. — Передай: глядел бы он на Узмень. Пойдут лыцари да оставят сторóжи — хватал бы он те сторóжи, чтобы не нашли крестоносцы вольного пути на свой берег.

— Сделаю, как велишь, княже.

— Иди!

Мысли Александра перенеслись в Новгород. Боярин Федор писал недавно, что в Новгороде тихо. «Старые вотчинники молчат, не чинят преград». И о том писал Федор Данилович, что взял он за княжий двор все вотчины Нигоцевича, указал рубежи вотчинные; смердов и холопов обложил данью. «Кроме нигоцевичевых, взял я, княже, за тебя вотчинку на Мсте покойного болярина Стефана Твердиславича. Вымер род болярина, и наследников у него нету. Хороша и людна вотчинка. В совете господ боляре молчали, а владыка Нифонт благословил писать грамоту. Добро бы, княже, и на Пскове отписать за княжий двор вотчины боляр-переветов...»

Вспомнив о грамоте боярина и о том, что писал он о княжих вотчинах, Александр повеселел. «И в том прав Федор Данилович, — подумал он, — что советует поискать вотчин на Пскове». Будут отписаны за княжий двор вотчины псковских бояр-изменников, еще громче и требовательнее станет голос князя на вечевой степени и в Грановитой палате.

Что делает княгиня? «В горнице с мамкой Евпраксеюшкой смотрят наряды и узорочья», — подумал Александр и, усмехнувшись своей думе, собрал разбросанные около ветки сырого ельника, бросил их на костер. На минуту огонь как бы потух. Ветки расправились на жару, зашипели. Потом среди густой зелени смолистых игл показались струйки белого дыма. Дым становился все плотнее, гуще. Наконец яркими красными язычками прорвалось пламя. В темную глубину ночи взвился столб искр. Но обгорели иглы, и пламя исчезло.

На какие-то мгновения возник перед Александром образ Любаши — его первой любви. Ах, как любила его Любаша! Любила не задумываясь, не желая ничего иного. Много времени прошло с той поры, изменилась жизнь, изменился и сам он... Нет, не время предаваться грусти. Настанет утро, и поле огласится звоном оружия, кликами сражающихся. Твердым надлежит быть, быстрым в решениях. Ему и войску его сказать ныне: быть ли в Новгороде ливонским меченосцам. Не быть! Александр стряхнул грусть, навеянную памятью о Любаше. Князь он и воин, ему стоять перед врагом и ему первому бросить в бою копье.

Ветер раздул костер. С шумом вспыхнули просохшие на жару ветки ельника. Пламя осветило серебро шелома и обветренное, обожженное весенним солнцем лицо Александра. На щеке у него, под левым глазом, точно старый рубец, обозначилась полоска копоти. В спутавшейся бороде застряли еловые хвоинки.

Александр собрался было встать, размять ноги, но, взглянув на костер, снова замешкался. В струйках дыма, теряющихся в глубине бора, неожиданно возникло девичье лицо. Чье оно? Лицо это чем-то напомнило Любашу. Те же глаза, тот же чистый высокий лоб, яркие губы... Где видел ее? В Новгороде или во Пскове?

Уже и костер догорает в протаявшем на снегу ложе. Давно исчез из глаз незнакомый образ, но Александр не в силах его забыть. Чье лицо вызвала память? И не было, кажется, сейчас иной, более неотложной заботы, чем эта нежданная, так непрошено возникшая перед ним.

— Пора, княже, — раздался рядом голос Чуки.

— Пора? — вскочил Александр. — Идут... крестоносцы?

— Крестоносцы на своем берегу, на озере тихо, — невозмутимо, будто стоял он не на берегу Узмени в ожидании битвы, а на княжем дворе во Владимире, промолвил Чука. — Полки тебя и слова твоего ждут.

— Иду. Вели подать коней!

Александр занес ногу в стремя. Конь покосился на костер и фыркнул, вздрогнув всем своим телом. И тут

Александр вспомнил... Видел девицу на Новгороде, когда смотрел «боярышню-уведёнку». Дочь лучника Онцифира... Имя ее не запомнилось.

— Пойдем к новгородцам, Чука, к полку Василия Спиридоновича, — сказал. — Спросим, видят ли они Узмень?

ГЛАВА 31

УТРО

Отлогий мысок, сломанной подковой врезавшийся в озеро, напоминает волнистый снежный сугроб, накиданный зимними вьюгами. Дальше, на берегу, темнеет бор. В ночной мгле нос мыска выглядит голым, но, присмотрясь, можно различить на нем выступающие из-под снега верхушки зеленых вересков и спутанную паутину ивняжника.

Время близко к рассвету. Мутное небо, не унимаясь, сыплет мелким снежком. Вражий берег утих. Кажется, что и лес, и озеро, и все вокруг успокоилось в предутреннем сне.

Неожиданно на самой оконечности мыса, около вересков, показался ратник. Отряхиваясь или стараясь согреться, он размашисто похлопал себя рукавицами и остановился, вглядываясь в сгустившуюся предрассветную мглу. Длинный, стеганный на кудели тегилей и лохматая баранья шапка делали фигуру его необыкновенно тучной и неповоротливой.

— Что видно, Лукмашка? — раздался голос, исходивший откуда-то, словно бы из самой глубины снежного бугра.

— Темно, не разберу. Тихо будто.

— Скоро светать станет. Теперь гляди в оба!

— Может, твои глаза зорче, Емеля?

— Погляжу...

Из снежной норы у вересков показался еще ратник. Он так же высок, как и Лукмашка, но у этого на голове шишак, поверх кольчужки накинут нагольный тулуп. Когда ратник повернулся к ветру, полы тулупишка распахнулись. Поглядев на озеро, он проворчал:

— Не разберу ничего, темень.

— А вдруг через Узмень-то крадется чужое войско? — тревожным шепотом предположил Лукмашка. — Не пора ли к воеводе?

— Постой, начнет светать — усмотрим. Костерочик бы теперь впору, Лукмашка, самый бы махонький.

— Лежанку бы тебе, Емеля, на сторóжу, то-то бы! — рассмеялся Лукмашка.

— Не привык я к лежанке, не в хоромах жил, — хмуро отозвался Емеля.

— Сказывают, за буйство тебя судил князь?

— Судил, но не за буйство, а за то, что волю я свою заступил, — ответил Емеля.

— От кого?

— От ключника нашего, правителя вотчинного. Много он крови чужой выпил, не счесть, сколько мук от него претерпел народ. Теперь-то нету злыдня.

— Убрали?

— Сгиб. Пожар был в ту ночь в вотчинном острожке. Душилец не выбежал из огня.

— Не ты ли ему в том помог? — усмехнулся Лукмашка.

— Может, помог, может, нет... Забыл. В колодках привели меня в Новгород. Ждал — скажут: надевай, Емелька, камень на шею. Погулял ты на усадьбе вотчинной у болярина Водовика, испей теперь Волхова! Так бы и сталось. Голодный, в колодках стоял я у княжего двора, суда ждал... А тут... Не судьба, знать, мне пить Волхов. Увидел меня Савва, отрок княжий. Как ходили на Неву — встречал его на походе и в битве. Спросил он, за что терплю наказание, а потом молвил: «Не вешай, Емеля, головушку! В Волхов путь долог, авось минуешь». Молвил так и ушел. Ласковое слово его было, а мне, Лукмашка, не принесло оно утешения. От колодок да от дальней ходьбы кости у меня ломило, очи свету не видели. Но, гляжу, вернулся Савва, и вместе с ним сотник Устин. Остановился сотник поодаль, посмотрел на меня и сказал: «Жаль, Емеля, губить такого молодца, как ты; по росту да по силе в секирники гож». Не понял я тогда его слов, а Савва, как услышал, что молвил сотник, подошел ко мне и шепнул: «Жив будешь».

— И жив, — сказал Лукмашка. — Не последний воин ты в секирном полку.

— Да. Князь судил меня, но Душильца не вспомнил. Ждал я камня либо другой горькой беды, а вместо того Александр Ярославич велел мне идти к Устину и наказал: «Ростом ты люб сотнику и кровью горяч... Прими секиру, мужеством воина сними вину. На том прощение тебе и воля».

Александр Ярославич объехал войско. Он говорил с воинами о предстоящей битве, указывал, что делать полкам при встрече с врагом, как ставить щиты, биться пешим воинам с конными; велел держать наготове не только мечи, топоры, секиры и копья, но и багры, коими впору-де валить с коней закованных в тяжелую железную броню рыцарей.

— Настал час, други мои, — говорил он воинам. — Латинские крестоносцы конно и пешо идут по льду озера к нашему берегу. Они преследуют нас, верят тому, что мы бежали, устрашась силы их. И пусть верят. На погибель им это. Мы не опустили мечей, не бежали перед латинами, а к выгодам своим отошли сюда, за Узмень, и готовим встречу им, какой не ждут. Не страх и не слабость покажем в битве, а силу великую, удаль русскую! Пустим на берег, окружим, постоим за Русь, за землю отцов и дедов наших. И не ждать лыцарям пощады, возьмем войско их на щит, гибель обретет оно...

Громкие голоса воинов заглушили речь Александра.

— С тобой мы, княже!

— Не посрамим земли отчей и имени своего!

И, словно устрашась кликов новгородцев, побледнела ночная тьма. Над белой равниной озера задымился легкий туман. Солнце еще не встало, когда у дальнего берега Узмени показалось войско крестоносцев. Черною несокрушимой силой идет оно, точно готовясь затмить собою свет грядущего дня, заполонить воды и землю, истребить все, что встанет на пути.

Горе русичам! Не ушло их войско, задержалось на рубеже — примет оно тогда позор и смерть вдесятеро горшие, чем приняло вчера, в битве на Лутсне.

В голубоватой дымке тумана можно стало различить с русского берега острый клин железного рыцарского полка. Закованные в броню, в рогатых шеломах и шеломах-бочках, с крестовиной спереди, с закрытыми броней мордами коней, словно невиданные страшные чудовища, поднявшиеся из ледяных глубин озера, приближаются железные всадники.

Ветер качнул вершины деревьев и испуганно зашептался с ними. Бор на мысу и вокруг поросшей редкими кустами поляны на берегу Узмени кажется безлюдным. Тихо в русском стане. Войско крестоносцев близко к берегу. Передние рыцари подняли щиты и опустили копья к бою.

На бугре, у опушки бора, который тянется от Узмени по берегу Чудского озера, стоит Александр. Взгляд его устремлен на приближающееся по льду Узмени войско крестоносцев. Вслед за железным полком показались ряды пешцев; идут вольные немецкие и датские латники, за ними холопьи полки. Лица латников открыты. Копья, боевые топоры, тяжелые самострелы в руках воинов играют холодным устрашающим блеском. Справа и слева пешие полки ограждены конными рыцарями — по одному и по два в ряд. Войско крестоносцев так многолюдно, что, когда голова его достигла русского берега, задние полки терялись далеко где-то в зыбкой дымке нерассеявшегося тумана.

Позади Александра князь Тойво и ближние дружинники, впереди которых воевода Гаврила Олексич. Александр стоит опираясь на меч, лицо его спокойно, оно лишь порозовело от тянущего с озера резкого утреннего ветерка. Князь Тойво рядом с Александром кажется еще ниже ростом; если бы не борода и усы, то нельзя было бы и признать в нем зрелого по годам, мужественного воина. Широко расставив ноги, Тойво будто врос в снежный пух, глубоко покрывающий землю. Олексич еле сдерживает нетерпение. Он то приподнимет к глазам ладонь, всматриваясь в приближающиеся рыцарские полки, то повернется к своим дружинникам. Кажется, вот-вот с уст его сорвется боевой клич и, забыв обо всем, даже о близости князя, молодой воевода ринется навстречу черной силе, надвигающейся с озера...

— Пора, княже, — приблизясь к Александру, произнес он. — Вели начать... Пора!

— Нет, Олексич, рано, — не оглянувшись на воеводу, остановил его Александр. — Далеко от лыцарей тверди, пусть идут меченосцы ничего не страшась.

— Не сдержим, иссекут они суздальцев, кои там, в челе нашего войска, — Олексич показал рукой. — Крестоносцам и конца нет.

— Конец свой найдут они в битве, — перебив Олексича, строго произнес Александр. Приподнял руку и быстрым, едва уловимым движением опустил забрало. Постоял еще так. Дождавшись, когда передние конники рыцарского железного полка, вытянувшись на берег, подступили к твердям, не повышая голоса сказал, обращаясь к Тойво: — Настало время, брате, потешить тебе лыцарей. Перейми их на твердях, окажи умельство в стрелецком искусстве! Вместе с тобою велю пускать стрелы и конным лучникам.

Над вершинами бора, позади русского стана, показалось солнце. Оно было огромное и багряное. Косые, не греющие лучи его, скользнув по обнаженной снежной целине, бесчисленными огоньками вспыхнули и заиграли на железе брони и оружии крестоносцев.

Когда передние рыцари достигли твердей, забросанных снегом колючих ершей сваленных древесищ, кони, шедшие до того ровно, путаясь в ершах, зло вздыблювались, прядали в стороны, падали на колени. Ряды всадников смешались. Снег на твердях закраснел от крови. В это время на чистое поле между твердями и кустами, скрывавшими чело русского войска, выбежали карелы. Вслед за ними с правой и левой руки показались конные новгородские лучники. Они сомкнули строй перед задержавшейся на твердях головой рыцарской «свиньи». И в то же мгновение сотни стрел железными осами взвились в воздухе навстречу меченосцам. Стрелы со звоном бились наконечниками о броню, вонзались в шеи, бока, ноги коней, сломанными стрекозами падали наземь.

Ослепив стрелами рыцарей, лучные стрельцы так же внезапно скрылись в борах, как и появились. Этот бой и явился началом битвы. Никто из стрельцов не пал на поле. Движение меченосцев стало медленнее. Тверди и

горячий дождь метких стрел изломали и нарушили казавшийся несокрушимым клин железного рыцарского полка.

На поле, на той стороне его, где, скрытый чащей бора, стоял полк левой руки воеводы Василия Спиридоновича, под замешкавшимся лучником споткнулся конь. Всадник спешился. Рыцарь в рогатом шеломе, преследовавший лучника, устремился на пешего. Ах, не уйти лучнику от беды! Рыцарь близко, тяжелое копье его вот-вот настигнет и поразит отрока. Да и не бежит стрелец. Он припал на колено, поднял лук и, наложив на тетиву стрелу, замер. Рыцарь понукает коня. Снег у опушки глубок, грудью разваливает его конь. На поляну, из-за ближних кустов, выбежал секирник Василий Сухой. Подняв секиру и что-то крича, он спешит к лучнику.

Поздно! Не пронзит копье отрока — конь затопчет копытами. Но вот, кажется в самый последний миг, стрела лучника сорвалась с туго натянутой тетивы. С визгом всверлилась она в узкую щелку на лице рогатого шелома, поразила в глаз меченосца. Словно обессилев под невыносимой тяжестью лат, рыцарь откинулся на спину коня. Копье его, падая, все же коснулось пером отрока. Конь поднялся на дыбы, стряхнул с себя всадника. Тот не смог высвободить ногу из стремени; миновав раненого лучника, вися головою вниз, буровил снег.

Высоко задирая ноги, проваливаясь в сугробах, Сухой настиг рыцаря, взмахнул секирой. Освободившийся от седока конь скрылся между деревьями. Сухой поспешил к отроку.

Лучник лежал вверх лицом, вытянувшись на снегу, но был жив. Когда Сухой наклонился над ним и окликнул, отрок открыл глаза.

— Счастье твое, паробче, что стрела метка, — сказал Сухой. — Промимь стрелочка — не подняться бы тебе. Зверем шел лыцарь. Кричал я, звал, а ты оглох будто, не слышал. Не бежал-то неужто нарочно?

— Не знаю. Страшно было, когда он близко с копьем...

— То-то. Ноги, поди, не несли с перепугу. И в том удача — стрела не улетела на ветер.

— Я птицу стрелю в глаз.

— О-о! Ловок...

Сухой поднял раненого и на руках перенес к бору, где, ожидая своего часа, стояли секирники. Уложив отрока на охапку еловых веток, брошенную на снег около догоравшего костра, снял с себя овчинный тулуп.

— Лежи! — укутывая раненого, сказал он. — Не поддавайся страху, не погибнешь. Княжие секирники мы, не оставим. Как тебя по имени-то?

— Олёнко, — прошептал отрок.

Обессилев от боли, он вытянулся и закрыл глаза.

ГЛАВА 32

ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ!

За твердями, на опушке бора, стеною щиты воинов. Большебородый фон Вирт первым достиг чела русичей. Страха он не ведал. Кованая броня надежно укрывала рыцаря от стрел и копий. Фон Вирт обнажил меч.

— Так хочет бог! — воскликнул он.

«Есть ли сила, способная противостоять бою железного полка меченосцев? Русичи — трусы», — что иное мог подумать фон Вирт, когда воины, стоявшие в челе русского войска, не приняли боя, не пали, исколотые копьями и иссеченные мечами рыцарей! Русичи в страхе расступились, спасая жизнь.

Но, разорвав чело русичей, меченосцы не повернули коней. Случилось то, чего не предвидели и не могли предвидеть обрадованные легкой победой на Лутсне рыцари духовного братства креста и меча. Кони их замешкались в возах, намеренно или случайно оказавшихся позади чела. За возами преграждала путь засека сваленных древесищ. Меж возами, в сучьях древесищ, словно в тенетах, бились рыцари. Близко от себя фон Вирт увидел фон Палена и фон Мегдена. Вокруг них сбились толпою оруженосцы. Они, покинув коней, рубили мечами сучья древесищ. Дальше, немного в стороне, вздыбился над возами гнедой конь командора фон Эйдкунена. Командор бьется с окружившими его пешими русичами. Тяжелый меч его красен от крови. От гнева на

дерзость русов пот выступил на челе большебородого рыцаря. Фон Вирт поспешил на помощь Эйдкунену. Он уже близко от командора. Вот-вот русичи или бегут или лягут на поле.

— Так хочет бог!

Но что случилось с командором Эйдкуненом?

Над головой его взметнулся длинный шест багра. Падая, кривым и острым железным зубом своим багор со звоном скользнул по шелому. В следующее мгновение, словно не вынеся обрушившейся на него тяжести, фон Эйдкунен выронил меч, поднял руки, как бы пытаясь удержаться за что-то, и повалился с коня. Что было дальше — фон Вирт не видел. Огибая лежащее на земле древесище, конь рыцаря оступился на снежном козырьке, нависшем над пропастью обрыва. Купаясь и барахтаясь в студеной снежной лавине, и конь и всадник скатились вниз.

Пешие русские воины приняли бой железного полка. Было так, что, когда, пробившись через тверди, голова рыцарской «свиньи» приблизилась к челу русичей, суздальцы, стоявшие там, расступились, без боя пропустили передних рыцарей, создав впечатление своей слабости. Рыцари приняли за победу свою то, что было хитростью суздальцев.

Багор свалил с коня командора фон Эйдкунена. Упав, рыцарь завяз в снегу. Хотел было подняться, но надетые на нем латы тяжестью своей придавили к земле. Лежа на животе, в поисках опоры, рыцарь беспомощно бился руками и ногами, напоминая огромного, но уже не страшного паука. К нему подбежал воин в тегилее и шишаке, вооруженный топором. Он тронул ногою рыцаря, плюнул:

— Не топорщись, грибок, полезай в кузовок! — полунасмешливо, полупрезрительно скаля зубы, воскликнул он. — Не лыцарь — чурбаш еловый. Навесил железа на себя — год не перековать столько в кузне. Топором бы сечь, да топора жалко, хватит жадному волку засапожника.

Воин выдернул нож, поднял его, но поразить не успел. Остановил оклик случившегося близко воеводы Кербета.

— Не спеши, паробче, живым возьми лыцаря, — положив руку на плечо воина, сказал воевода. — Первым он бой начал, первый и полон примет. Плен лыцарю горше смерти.

Биться баграми не по душе князю Андрею. Достойно то пеших воинов, а не его, витязя. Он разгорячил коня.

— Стой, Андрей Ярославич! — крикнул Кербет. — Не время тебе биться...

Андрей не слышал голоса воеводы. Конь вынес его вперед. На поле, прямо перед ним, рыцарь. Лицо рыцаря наглухо закрыто железным забралом; темнеют лишь узкие щелки глазниц. Замерло сердце витязя. Молод Андрей, а ему ли занимать удали, прятаться в бою за чужие спины.

Фон Пален, который, только что выбился из цепких тенет древесищ, сваленных новгородцами, не уклонился от встречи. Рыцарь храбр и смел. В поединках на игрищах и в битвах не раз копье его пронзало чужую броню, не раз поднималось оно, торжествуя победу.

Сразились. Копье Андрея пробило щит рыцаря, но легкое ратовище, дрогнув в руке, сломалось. Сам Андрей не усидел на коне. Закрыл бы навек глаза витязь, если бы посеребренное зерцало не оберегло грудь.

Но и рыцарю некогда торжествовать победу. Не успел он вовремя ни остановить, ни повернуть коня. Палена окружили разгневанные переяславцы. На их глазах пал с коня Андрей, помнили они и вчерашнее поражение свое на Лутсне, где пролил кровь воевода Домаш.

Кто-то схватил под уздцы коня. Шест багра лег на плечо, повернулся и изогнутым клевцом, словно жгучим, острым серпом, схватил шею.

Напор крестоносцев ослабел. Рыцарь фон Мегден, бившийся неподалеку от Палена, чтобы избежать страшного багра русичей, бросил меч и, спешась, положил щит перед русскими воинами.

Следом за железным полком меченосцев вытянулись на русский берег пешие кнехты и холопьи полки. Позади их, на льду Узмени, точно город, несокрушимая стена заднего рыцарского полка. Во главе заднего полка крестоносцев — магистр Ордена, благородный рыцарь фон дер Борг. Рядом с магистром маршал фон Балк, командоры Конрад фон Кейзерлинг и Людвиг фон Гирс. По-

зади войска крестоносцев, на открытой равнине озера, виднеются кое-где пешие и конные рыцарские сторóжи.

На льду озера, близ Вороньего Камня, скрытый бором от поля сечи, ожидал слова князя засадный полк. В засадном полку старая дружина, а рядом, ближе к берегу, молодая дружина князя.

— Нет смелее суздальцев в пешем бою против конного войска, — сказал Александр. Он был на том же холме, откуда наблюдал за движением крестоносцев по озеру. Похвалив суздальцев, Александр обернулся и позвал Олексича: — Не пора ли, Олексич, тебе плечи размять?

— Пора! — воскликнул воевода. — Вели, княже!

— Возьми молодую дружину...

— Иду на помощь суздальцам, — не дослушав Александра, перебил его Олексич. — Тяжко им биться с железным полком...

— Нет, не с передними лыцарями искать тебе встречи, Олексич, иное велю. Лыцарские сторóжи на льду Узмени охраняют латынянам путь к своему берегу. Иди с дружиной на озеро, секи вражеские сторóжи, лови конного и пешего — всех, кто пойдет к нам от вражьего берега, кто побежит к себе с поля. Закрой пути и стой крепко. А ты, витязь, — Александр взглянул на Ивашку, стоявшего среди ближних дружинников, позади Олексича, — вели трубить в трубы! Пусть выйдут на поле полки правой и левой руки. Не ведают меченосцы силы нашей, пора им испытать бой с новгородцами. А затрубят трубы, скачи к секирному полку, скажешь Устину — пора!

Солнце поднялось выше и ярко осветило поле. Окрашенный кровью снег заиграл, переливаясь ослепительными радугами.

Точно грозная победная песнь раздались звуки труб. И не затихла песнь, а темный и лохматый бор, казавшийся холодным и безлюдным, вдруг ожил, ощетинился копьями, засверкал железом шеломов и кольчуг. Поднятые щиты скрывали лица воинов.

Крестоносцы, не ожидавшие увидеть справа и слева новгородцев, остановились. Новгородцы тоже не начинали битву.

— Пресвятая дева!

— Так хочет бог! — разнесся над полем крик крестоносцев.

— За Русь!

— За святую Софию!

— За Великий Новгород! — ответили новгородцы боевым кличем. Цепь рыцарей, ограждавшая крылья пешего войска крестоносцев, поредела. Оттесняя от пешцев рыцарей, новгородцы окружали их. Сброшенные с коней железные всадники барахтались на снегу. В пылу сечи их попирали ногами свои и чужие воины.

Выше и выше поднималось солнце. Яркие лучи его распустили снежный наст; он стал притаивать. Бор, окружающий поле битвы, недавно еще, в ночной мгле, казавшийся глухим, непроглядно темным, теперь ожил, повеселел, заискрился звонкой зеленой смолью.

Воевода Тулубьев бился пеше. Разгорячась в битве, вырвался он вперед. Сердце не знает устали, не отмахалась рука, но, кажется, тяжелее стал меч; много вражьей крови пролил он, притомился. А вокруг никого из своих; куда ни глянь — вражьи копья перед очами. Неужто не постоять за себя Силе Тулубьеву? Неужто придется ему лежать рядом с поверженными чужими воинами на окровавленном, истолченном тысячами ног людей и коней, разволгшем на солнце снегу? Стоек в бою Сила, остер его меч; высоко поднимается он. Отпрянут латыняне, но некогда богатырю перевести дух; не пóтом — кровью обливается он под кольчугой. И когда близкой-близкой казалась гибель, пришли на помощь воеводе Филипп и Власий Соломничи с псковичами. Разметали они рогатинами латинских латников. Сила Тулубьев опустил меч, полой кафтана, выступавшей из-под кольчуги, утер пот.

— Спасибо, други! — сказал он Соломничам. — Вовремя поспели вы, угомонили черное воронье. В одних не осилить бы.

Ржут кони. От звона железа и криков воинов разносится гул далеко, по всей необъятной пустыне озера. Так и кажется — всколыхнется оно, дробясь взыграет ломкими ладонями льдин; треск и скрежет их заглушит шум сечи.

Но нет, не обезумело озеро, мало еще пролито крови. И солнце не меркнет. Лизнет лучом поднятый меч, и полыхнет булат словно белая молния. Не пора ли садиться на коней засадному полку, выйти из-за укрытий? Пора! Но медлит Александр. Нет его слова дружине. Не копья засадного полка позади пешего войска крестоносцев на льду Узмени, а рога и бочки рыцарских шеломов. Задний рыцарский полк заградил путь на озеро своим пешцам.

Ранен воевода Василий Спиридонович. Не уберегся от копья рыцаря. Разорвана кольчуга на правом плече, снег под Спиридоновичем обтаял от горячей крови. А рядом новгородцы, бьются они с латинскими латниками, страшно бьются.

Ивашко спешил к сотнику Устину со словом князя. Время выйти на поле секирному полку. На пути к Устину Ивашку остановил Василий Сухой.

— Постой, витязь, скажи: долго ли нам жданками тешиться?

— Васюк! — обрадовался Ивашко, узнав Сухого. — Где Устин?

— Там! — Сухой показал в глубь бора. — Тяжко ждать, витязь, ноги морозит в снегу стоючи. Секирники мы, а секира-то — вот она, — Васюк поднял секиру, — страшусь, не заржавела бы.

— Не заржавеет. То ладно, Василий, что встретил тебя не на торгу, не на Буян-лугу, не охальником, а секирником княжим. Удачи тебе в бою!

— Спасибо! — отозвался Сухой. — Охотой пришел я в секирный полк. Нет больше Васьки, каким знал ты меня на Новгороде, где озорничал я с безделья, силу свою не знал куда избыть. Смерти я не страшусь, витязь, и головы перед латинами не склоню. А после авось встретимся, как погуляем в поле... Может, и на круг выйдем, силой похвалимся... Полюбовно.

— Буду стоять перед тобой, Василий, — ответил Ивашко и понукнул коня. На ходу он повернулся и крикнул: — Встретимся коли — поиграем.

Сухой стоял еще на том месте, где говорил с Ивашкой, когда услышал громкий голос сотника:

— Пора, други! — звал сотник. — Пора и нам размять кости! Пусть изведают лыцари наш секирный бой!

Молча, без единого крика, словно бы стремясь сберечь для себя каждую каплю ненависти своей к врагам отчизны, выбежали на поле секирники. Солнце обожгло поднятые над головами их широкие лезвия секир.

— С пешцами бьются полки правой и левой руки, — передал Ивашко Устину слова Александра, — тебе, Устин, биться с латниками, а наипаче с лыцарями, теми, что шли в голове свиньи и, потеснив суздальцев, повернули коней на новгородцев.

На поле Устин остановился, поднял к глазам ладонь. Прямо бьются пешие воины, в глубине поля, где начинало бой чело русского войска, сомкнувшись конь о конь, теснят новгородцев рыцари переднего полка; на Узмени, близко от берега, позади латинского пешего войска, видно копья заднего полка меченосцев. Его сила цела. Задний рыцарский полк в последний час выйдет на поле, чтобы решить исход битвы. Глянул Устин в ту сторону, забилось у него сердце: сразиться бы секирникам с задним полком... Но наказ князя — биться Устину с передними. Нарушишь наказ — не простит Александр Ярославич. «Авось тепло станет и задним лыцарям, как выйдет на Узмень княжая дружина», — подумал Устин, утешая себя.

— Вперед, други! — подняв секиру, призвал он. — Не склоним головы перед латинскими лыцарями!

Василий Сухой приметил на бегу рыцаря в черной броне. Поднимая меч, бьется рыцарь с новгородскими ратниками. И мечом сечет и конем топчет.

— Возьмем, Лукмашка, латынянина! — крикнул Сухой. — Людства-то гляди сколько посек...

Рыцарь вовремя приметил бегущих к нему секирников. Хриплым гортанным голосом он крикнул что-то, принял от оруженосца копье и пустил коня навстречу. Не отклонись Сухой, не спасла бы его от копья кольчуга. Увернулся, мимо скользнуло рыцарское копье. Ярость пуще огня обожгла новгородца. Взметнув секиру, уцепил он клевцом за броню. Но стоек рыцарь, не поддался, усидел на коне. Оставив копье, занес меч, готовясь опустить его на Сухого. Лукмашка подоспел на помощь. Не голову врага поразила Лукмашкина секира, а точно хрупкую ветку отсекла она по локоть руку

рыцаря. Рука и меч пали под ноги коню. Еще миг — и черный рыцарь вывалился из седла.

Не знали рыцари секирного боя. Не ведали они, что есть на Руси кузнец Левоник, который перехитрил своим ремеслом мастеров иноземных. Ни латы, ни рогатые шеломы не укрывают от лезвия секир. Обложенные железными полосами и схваченные кольцами ратовища не страшатся меча. Клевцом секиры, как багром, валят секирники наземь всадников.

...Передав Устину наказ князя, Ивашко, не в объезд, а прямо, в поле, направил коня. Горько витязю быть в стороне, небось и его встретит удача. Не вода течет в жилах у молодца. И только выехал он из бора, навстречу несут ратники воеводу Василия Спиридоновича. Остановился Ивашко.

— Неужто пал Спиридонович? — спросил. — Кто погубил воеводу?

— Жив он... Не уклонился от копья. Крови много вытекло. Видишь лыцаря, — показывая, ратник вытянул руку, — тот, что как жердь на коне, он...

Что еще говорил ратник, Ивашко не слышал. Одно желание у него в груди, одна мысль: только бы не ушел злодей, только бы сразиться с ним, отомстить за друга...

В то время, когда новгородские полки воевод Силы Тулубьева и Василия Спиридоновича, вступив в битву, начали теснить крестоносцев, магистр Ордена, рыцарь фон дер Борг, сказал:

— О, не происки ли дьявола хитрость варваров-русичей! Железный полк рыцарей пресвятой девы поразил чело их, но русичи не бегут. Новые полки их справа и слева упрямо бьются с крестоносными воинами. Брат маршал, — фон дер Борг обернулся к маршалу фон Балку, — возьми рыцарей с оруженосцами их, тех, что были с тобою в Пскове, помоги переднему полку!

— Малым числом не сломим русичей, брат магистр, не лучше ли начать бой заднему полку, — возразил магистру фон Балк.

— Нет, задний полк — опора крестоносного войска. Без времени начав бой — откроет он путь к бегству пешим воинам. Не того ли и ждут русичи? Иди, брат маршал! Да поможет тебе пресвятая дева!

Начав битву, маршал фон Балк встретился с воеводою Василием Спиридоновичем. Пешо, плечом к плечу со своими воинами бился Спиридонович. Пот и кровь от царапины на лбу заливали ему глаза, потому и не заметил вовремя воевода рыцаря, не уклонился от копья. Обессилевшего от раны вынесли его с поля. Сражаясь, фон Балк казался неуязвимым ни для копий, ни для стрел новгородцев. На коне он напоминал неприступную стрельницу, возвышающуюся над полем. Вот-вот еще усилие и — побегут новгородцы. В этот миг и увидел его Ивашко.

— Остановись, лыцарь! — крикнул он. — Нету тебе пути мимо.

Фон Балк принял вызов. Если бы не забрало шелома, скрывавшее лицо рыцаря, увидел бы Ивашко насмешливую улыбку меченосца, его презрительный взгляд.

Копье фон Балка с такою силой ударилось о грудь Ивашки, что у того свет потемнел в очах. Если бы не бехтерец, который вязал ему Никанор перед походом, то, упав с коня, не поднялся бы он на ноги. Не усидел на коне и его противник. Вскочив, они пеше стояли друг против друга. Огромный, в сверкающей броне фон Балк как гора перед Ивашкой. Вспомнились тут молодцу шумный Буян-луг, богатырские потехи полюбовные. Фон Балк обнажил меч, и только бы взмахнуть им, Ивашко схватил рыцаря в охапки. Всю силу свою отдал он бою. В тяжкой броне рыцарь неловок и неповоротлив. Принял его Ивашко «на себя», оторвал от земли, приподнял. Всей тяжестью, плашмя, рухнул рыцарь наземь. Ноги его, прикрытые железными надколенниками, длинные и неподвижные, вытянулись на снегу как сухие жерди.

— Возьми меч, твой пленник, — сквозь зубы произнес фон Балк, сдаваясь на милость Ивашке.

— Лежачего не бьют, говорят на Руси, — довольный своей победой, воскликнул Ивашко. — Возьмите лыцаря, други! — велел он подбежавшим пешим воинам.

Солнце скатилось к западу. Тени деревьев стали длиннее, мягкий снег совсем разволг и, тая, лип к ногам.

Битва не затухает. Поредело войско меченосцев, попятилось оно к берегу. Много пало и новгородцев. Чьи

руки выносливее, чья воля сильнее? Колеблется счастье. Магистр фон дер Борг рещил, что настала пора биться заднему полку меченосцев.

— Поразим варваров, пленим землю их! — подняв меч, воскликнул магистр. — Так хочет бог!

— С нами пресвятая дева!

Клич меченосцев далеко разнесся над озером, многократное эхо подхватило его в борах. В заднем полку больше ста рыцарей-тевтонов с холопами и оруженосцами. Имя тевтонов — знамение победы, копья и мечи их несут смерть врагам Ордена.

И только бы им начать бой, как со стороны Вороньего Камня из-за выдавшегося вперед мыса, показались копья княжей дружины. Позади крестоносцев, обтекая их, вышел на Узмень засадный полк русичей. Впереди засадного полка князь Александр Ярославич.

— За Русь! За землю отцов и дедов! — доносится его голос.

Задний рыцарский полк, готовившийся нанести последний удар новгородцам, остановился.

— Русичи... Конное войско их.

— Позади, близко...

Смятение в войске крестоносцев. Пешие латники, отступая, толпами бегут на Узмень. Не грозою стоят теперь позади рыцари-тевтоны, словно закрылись у них глаза на бегущих; не о помощи своим воинам в битве думы, о том лишь, как оберечь себя от копий княжей дружины. Не время медлить, вот-вот замкнется круг.

Перед Александром рыцарь на рыжем коне. Не на жизнь — на смерть поединок. Сразились на всем скаку. Копье Александра сбросило рыцаря с коня. Падая, рыцарь потерял шелом. Оказавшийся неподалеку фон дер Борг узнал в поверженном Конрада фон Кейзерлинга.

Недолго, но жестоко бились тевтоны. Не считали в битве, сколько пало рыцарей, сколько русских витязей пролили на лед свою кровь. Магистр фон дер Борг с окружавшими его рыцарями вырвались из сечи, направили коней к ливонскому берегу.

— Чука! — крикнул Александр оказавшемуся вблизи его воеводе. — Возьми отроков, преследуй и порази трусов.

Не жалея сил, бился Чука. Разорвана у него кольчуга, по лицу струится кровь, но он не покинул поля.

— Иду, княже, — только и сказал, поняв мысль Александра.

Резвы кони княжих дружинников. Все меньше и меньше расстояние между ними и бежавшими с поля рыцарями. Уже темнеют впереди боры ливонского берега. Достигнут их меченосцы — унесут свои головы.

Над ледяной равниной озера внезапно возник непонятный, точно налетевший откуда-то с дальних берегов, глухой гул. Так, ломая подлесок, падает сваленная бурей вековая сосна. Озеро колыхнулось. На льду показалась вода. Играя на солнце зеленой весенней рябью, широкими полыньями разливалась она издалека, откуда-то из-за Воронього Камня. Еще миг — и лед треснул, колыхнулся и обломился. Бежавшие с поля конные рыцари, оруженосцы их, пешие воины очутились в воде.

Ни одно сомнение, ни одна робкая мысль о поражении не тревожили крестоносцев в тот утренний час, когда они начинали битву. Но, ступив на рубеж Новгородской земли как победители, они приняли в битве смерть и позор поражения.

Озеро, белая ледяная пустыня его, беспощадно довершило гибель. Крестоносцы гибли в воде. Кое-кто из них, спасаясь, выбирались на шаткие льдины, но при первом же толчке льдины с шумом переворачивались, погребая под собою и людей и коней их. Лишь магистру, скакавшему впереди, с небольшим числом воинов удалось спастись от гибели и достичь берега.

Чука остановил дружину. Пораженные тем, что случилось, в недоумении переглядывались дружинники, протирали глаза. Лед на Узмени, казалось, был крепок. Давно ли не дал он и трещинки при движении русских полков. Утром перешло по нему войско меченосцев. Теперь, преследуя врагов, Чука искал битвы с ними, но с кем биться? Враги исчезли. Их поглотило озеро.

— Повернем коней, други! — промолвил наконец Чука. — Тот, кто утонул, не поднимет меч.

К Чуке подскакал Гаврила Олексич. Воины его, как и велел Александр, рассыпавшись по озеру, разили рыцарские сторожи и перехватывали крестоносцев, бегущих с поля.

— Многих ли лыцарей пустил за Узмень, Олексич? — показывая на ливонский берег, спросил Чука.

— На том берегу нет их, ни конных, ни пеших, — похвастал Олексич. — Иных побили на льду, иные бросили копья и приняли полон. Там, у островка, — Олексич показал в сторону Вороньего Камня, — тучи их, полоненных. А на прямом пути, где бежали лыцари...

— Обломился лед, — досказал Чука. — Видели мы их горе.

— Броня у лыцарей тяжела, не выдержал лед, — сказал кто-то из дружинников. — Мы искали боя, а они хитры, в озеро скрылись.

— Жаль, не переняли магистра, — пожалел Олексич. — Взглянуть бы, высоко ли теперь держит голову тевтон?

Темнеет поле от тел павших. С нахмуренными лицами, опустив копья, новгородские ратники сторожат пленных рыцарей, кнехтов: немцев, датчан — всех, кто шли на Русь, кто несли ей плен и беды. На поле подбирают раненых, собирают оружие, ловят рыцарских коней.

Александр оглядел пленных. Было их до двух тысяч воинов и больше полуста рыцарей. Позвал Ивана Колотиловича.

— Проводи, Колотилович, эту ораву на Псков, — велел воеводе. — Веди не задерживаясь. У вас, на Пскове, жгли они избы, терзали жителей, пусть теперь возьмут топоры и рубят хоромы взамен тех, кои спалили. В том и добро им будет. И лыцарей не обижай. Храбро бились они мечами и копьями, научи храбрецов тесать тес и бревна класть.

Будто теперь лишь, когда закончилась битва, когда враг разбит и иссечен, воины поняли значение победы, одержанной ими. Новгородцы, суздальцы, псковичи, карелы, ижоране кричали славу, поздравляли друг друга, обнимались и лобызались. Точно огромная семья, сплотившаяся вокруг стяга Александра, воины жили одной думой, одним счастьем. В единстве их была слава Руси, сила ее, знамение торжества победы, одержанной над врагом.

— Гибели нашей искали латинские крестоносцы, — говорил Александр, обращаясь к победителям. — Грозили нам полоном и вечным рабством. Но не славу обрели себе, а позор и побоище. Храбро бились лыцари, велика была их сила, многолюдно войско, а ныне лежит оно в прахе, — Александр простер руку, указывая на поле битвы. — Память о победе нашей останется на вечный страх врагам Руси. Вам, други, слава! Храбрым витязям — новгородцам, суздальцам, псковичам — слава!

— И нам слава, витязь, — пробравшись сквозь плотную толпу воинов к Ивашке, сказал Василий Сухой. — Обнимемся!

— Слава!

Они обнялись. После Ивашко отступил от Васюка и усмехнулся:

— Оставили тебе, Василий, лыцари на плечах буйную голову, знать, придется кому-то из нас целовать мать сыру-землю на Буян-лугу.

— На Буян-лугу не страшен бой, витязь, — улыбнулся и Васюк. — Оборешь — не обижусь, но стоять буду крепко. А нынче к тебе я с вестью.

— Какая весть? О чем?

— Дельце малое. В битве стрельца раненого вынес я из сечи. Слово у него есть к тебе.

— Чьего полка стрелец? Кто он?

— Новгородец будто, а кто и чьего роду — не ведаю. Тяжела рана у отрока, витязь... Копьем колот. Хочешь видеть — поспеши!

На берегу, недалеко от места, где ждали битвы секирники, лежит раненый воин. Закутан он в овчинный тулуп. Раненый неподвижен, ни слова от него не слышно, ни стона. Неподалеку Лукмашка и Емеля. Они наломали гору сухих веток и пытаются разжечь костер.

— Вот он, — Сухой показал Ивашке на тулуп. — Погляди, может, признаешь.

Ивашко склонился над раненым. Сердце в груди билось так сильно, что он не сразу решился откинуть полу тулупа, закрывавшую лицо.

Костер запылал. На пути Ивашко не спросил у Васюка, куда ранен стрелец, и теперь осторожно, чтобы не причинить боли воину, отодвинул полу тулупа. Увидев

стрельца, Ивашко забыл обо всем, что пережил только что, перестрадал что и передумал.

— Олёнушка! — воскликнул он и отшатнулся, испугавшись своего голоса. — Олёнушка! — повторил тише. — Отзовись! Открой очи!

Олёнушка лежала неподвижно. Слышит ли она? Опустившись на колени, Ивашко смотрел на ее лицо — побледневшее и осунувшееся.

— Олёнушка, — шептали его губы. — Почто не открылась мне, зачем таилась?

Он склонился над ней. Губы его горячим поцелуем прижались к ее лбу.

Горе Ивашки тронуло секирников. Васюк Сухой сидел у костра и, ломая сухие ветки, подбрасывал их в огонь. Он смотрел, как вспыхивающее пламя тянулось вверх, напоминая что-то давнее, полузабытое, но близкое и родное сердцу. Лукмашка распахнул тегилей, оторвал от рубахи тряпицу и, смыв снегом запекшуюся на руке кровь, сосредоточенно перевязывал зиявшую на ладони глубокую ссадину. В бою с латниками он схватился рукой за вражеский меч; хотя и одолел врага, но и свою кровь увидел. Емеля оказался ближе к Ивашке. Он не мигая, удивленным взором смотрел в лицо девушки. Это лицо напомнило ему погост на Маяте, Горыньку, стоявшую у дороги, когда вотчинные стражи вели его в острожек к Душильцу. «О чем лила слезы Горынька? — снова и снова спрашивал себя Емеля. — О чем?»

Лежавшая до того неподвижно Олёнушка шевельнулась. Она приподняла руку, словно бы желая опереться на нее, и открыла глаза.

— Ивашко! — прошептали губы. — Ты?

— Я... Я это! Слышишь меня?

— Да. Не чаяла так-то встретить... Видела тебя в войске, ждала — узнаешь... Татку злодей замучил...

— Нет, жив Данила, вызволили его, — Ивашко заговорил быстро-быстро, не сводя глаз с лица девушки.

— Жив татко? — повторила она. — Правду молвил?

— В княжем городке на Шелони Данила...

— И я буду жить. Ах, Ивашко, как хочется жить! Не оставляй меня! Возьми с собой!.. Любишь?

— Люблю! — стараясь вложить в это слово все чув-

ства свои, сказал Ивашко. — Жизни ты мне дороже, и счастья без тебя нет.

— Рада я... Верю тебе, Ивашко. Вот и боли нет, раны не чую. Встану сейчас.

— Нет, Олёнушка, не тревожь себя, — остановил ее Ивашко. — Придет время — встанешь, а теперь-то...

Осторожно, точно боясь уронить драгоценную ношу, Ивашко поднял девушку. Она улыбнулась, положила руку на его плечо и закрыла глаза.

Вдали, над озером, ярко-ярко пылал закат. В наступивших сумерках, на холме, у опушки бора, освещенный алым пламенем зари, золотился над полем победный стяг войска русского.

ЭПИЛОГ

После длительного и трудного путешествия в Каракорум[1] князь Александр Ярославич возвращался к себе, в Новгород. В Каракорум выехал он еще весной вместе с братом Андреем, а теперь наступила осень. По разбитым и набухшим грязью дорогам княжий поезд тащился медленно, с частыми остановками и задержками на переправах через реки и топкие болотища.

Не легко Александру было согласиться на это путешествие. Тревожили горестные воспоминания о внезапной кончине отца. Не прошло еще и трех лет с той поры, когда Ярослав Всеволодович, подчиняясь настойчивому требованию великого хана Гуюка, выехал к нему, в Каракорум. Ярослава сопровождали до полусотни дружинников и послы золотоордынского хана Батыя. Многие из людей князя погибли в пути, не вынесши путешествия по жарким и безводным пустыням.

В Сарае, столице Золотой Орды, хан Батый, дружески относившийся к Ярославу, предупреждал его об

[1] Каракорум — город, основанный в 1220 году Чингисханом. В XIII веке был столицей государства монголов и местопребыванием великого хана. Развалины Каракорума находятся в верхнем течении реки Орхона, в Монгольской Народной Республике.

опасности, угрожающей при дворе великого хана. «В Каракоруме, — говорил Батый, — властвует не хан, а наибы, близкие к ханшам Огуль-Гамиш и Туракине. Ханши — враги мне. То, что я поставил тебя отцом князей русских, вызовет к тебе зло и ненависть ханш. Берегись их, князь, не слушай хитрых и льстивых речей, помни: не желают они видеть на Руси сильного князя, рады будут посадить своего, послушного им, как овца, и глупого, как баран».

Хан Гуюк без почета принял русского князя. А когда позвал к себе, ханша Туракина подала Ярославу отравленную чашу. Он выпил яд. Это было в последний день сентября тысяча двести сорок шестого года.

В те черные дни прибыл в Новгород гонец ханши Туракины. Ханша звала Александра в Каракорум. «Хочу подарить тебе землю отца твоего», — писала она в грамоте. Александр не поехал. «После злой гибели отца моего не радость ждет и меня у великого хана, а смерть или плен вечный», — сказал он.

Через год после битвы с меченосцами, в тысяча двести сорок третьем году, войско хана Батыя, находившееся до того в землях сербских и угорских, повернуло на Русь. В приволжских степях Батый основал ханство Золотую Орду и поставил город Сарай — столицу нового ханства. Но Батый не вышел из повиновения великому хану, жившему в Каракоруме. Он объявил Русь своим улусом и потребовал от русских князей покорности и приезда их в Сарай. Ярослав первым из князей исполнил требование хана, поехал на поклон к нему.

После внезапной кончины его княжение владимирское принял по старшинству, как обычаем положено, брат Ярослава Святослав Всеволодович. Батый не противился этому, но великий хан не признал нового князя и потребовал приезда к нему, в Каракорум, Александра и Андрея Ярославичей.

Когда Александр прибыл во Владимир и встретился со Святославом, тот сказал ему:

— Великий хан зовет тебя, Александр, и брата твоего Андрея к себе. Волен ты поступать, как хочешь, но страшусь, не сталось бы с тобою в Орде того же, что сталось с отцом твоим, а моим братом Ярославом.

— Я князь новгородский, — ответил Александр, —

а Новгород не данник Орды. Не приму воли великого хана.

— То правда, Александр Ярославич, Новгород не данник, нет в нем ханских баскаков, но не примет он воли хана — навлечет тем беды ордынского нашествия и на себя и на другие русские земли. Ты молод, имя твое высоко на Руси. Сможешь ли отвести от себя и от Руси руку хана?

— Не знаю. Горько мне.

— Да, не легко нести иго; тяжко оно земле нашей, всем людям русским, но время ли браться за меч и искать гибели? Послушай моего совета, Александр Ярославич, иди к великому хану, но прежде навести Сарай. Хан Батый высоко ставил отца твоего. Ты заступил Русь от латынян, а Батый не враг сильных. Его совет не лишним будет тебе в Каракоруме.

Снести ли унижение гордому князю! Но Святослав прав. Пусть смирится гордость. Ей ли быть ценою горя и бед! Покорность хану — не гибель Руси. Так раздумывал Александр. И кажется, только теперь понял он, как далеко загадывал Ярослав, отвергая союз с папистами, приняв мир и покорность Орде.

Не пробыв и недели во Владимире, Александр и Андрей Ярославичи выехали в Сарай, а оттуда в Каракорум, к великому хану.

Перед самым приездом Ярославичей в Каракорум умер хан Гуюк; опираясь на приверженных ей наибов, ханша Огуль-Гамиш захватила власть. Принимая Ярославичей, ханша оказала Андрею предпочтение перед братом. Скоро это было подтверждено тем, что ханша отдала Андрею княжение владимирское и назначила его великим князем. Александр вел себя так, словно бы и не заметил обиды, нанесенной ему. Он казался простым, откровенным, в то же время ограниченным и наивным; жил так, как будто не испытывал ни тревоги, ни беспокойства за свою участь.

Князь Андрей готовился к отъезду во Владимир, Александр оставался в Каракоруме, все еще не ведая о том, что решит о его судьбе великая ханша. Накануне отъезда Андрея Александр принял участие в состязании ханских богатырей и в борьбе победил близкого вели-

кой ханше богатыря Убилая. Это испугало друзей князя. Андрей Ярославич, встревожась, как бы месть ханши за поражение Убилая не обратилась и на него, владимирского князя, в гневе обрушился на Александра с упреками за то, что он сделал.

— Жаль тебе, брате, княжения владимирского, страшишься потерять его? — спросил Александр.

— Нет. Княжение владимирское дано мне по праву.

— И будешь княжить во Владимире, — усмехнулся Александр. — Ханша благоволит тебе и из-за моей вины не обидит.

Опасения Андрея оказались напрасными. Убилай и не думал мстить Александру за поражение, принятое от него. Встречаясь с ним, называл его теперь богатырем, другом своим.

Вот уж неделя прошла с той поры, как уехал из Каракорума Андрей Ярославич, еще одна минула. Медленно, убийственно медленно тянулись дни. На людях Александр был, как и раньше, весел и беззаботен; глядя на него, никто и подумать не мог о том, какие муки переживал он, томясь безделием ханского плена. Он не просил ничего себе и не искал милости; ничем не унизил себя. Наконец, точно наскучив испытывать терпение Александра, великая ханша позвала его к себе.

— Не пришел ты, князь, по первому зову нашему, — сказала она. — Горд ты и смел, но я не сержусь, отпускаю тебя. Даю тебе Киев и всю Русскую землю.

Как ни горьки обиды, принятые им в Орде, все же, возвращаясь на Русь, Александр переживал чувство невыразимой радости. Он вырвался из плена, снова будет среди своих людей, услышит родной говор, увидит землю отцов, ее леса, реки... Увидит города русские.

«Даю тебе Киев и всю Русскую землю», — сказала ханша. Он без улыбки не мог вспомнить теперь эти слова. Киев разрушен, земли киевские держит за собой ныне Даниил галицкий, великое княжение владимирское отдано брату Андрею, — где же земля Русская, отданная Александру ханшей? Не хотела ли ханша поссорить его с братом и галицким Данилой, сказав о Киеве и всей Руси?

В Сарае, куда, возвращаясь из Каракорума, прибыл Александр, Батый принял его как сына своего друга.

Оказал ему почет не в пример тому, как встречал Андрея.

— Все скоро решится, князь, — сказал он. — Решится и то, по плечу ли глупой ханше власть великого хана. Иди в Новгород и будь тем, кем ты есть.

Во Владимире при встрече с Александром Андрей как будто даже удивился скорому возвращению брата. Держался он неприступно, стараясь показать, что ныне он великий князь и что Александр должен слушать голос его, как прежде слушал голос отца.

Он долго откладывал последнюю беседу с братом. Но когда потерявший терпение Александр велел передать, что уйдет в Новгород не простясь, Андрей позвал его.

— Не покорности и рабства для Руси ищу я, брате, — после первой неловкости и когда принесли чаши, сказал Андрей. — На то принял я великое княжение, чтобы вызволить отчую землю из ордынского плена. В великой ошибке повинен и ты, брате, когда, живя в Новгороде, отринул помощь латынян в борьбе против Орды, как отринул эту помощь и покойный батюшка. По его стопам идешь ты, страшишься хана. Знаю и я, в одиночку никто из нас не переможет Орду, но когда сильные князья хитро и умно обопрутся на помощь латынян, Орда отступит. Освободится Русь и не будет надобности ни тебе, ни мне ехать на поклон в Сарай или Каракорум. — Напомнив Александру об унижении, принятом им в Каракоруме, Андрей продолжал: — В дружбе и единомыслии со мной брат Ярослав Ярославич; дружбы и союза ищет Даниил Романович, князь сильной Галицкой земли. Я, брате, принимаю его дружбу. Наступит санный путь — буду в Галиче, у Даниила. Там закрепим союз наш свадебным пиром: дочь Даниилову беру за себя. И о том молвлю тебе: зло Руси не от Каракорума. Далеко от нас Каракорум. От Золотой Орды, оттуда зло. Как были мы в Каракоруме, молвил я великой ханше, что желаем иметь над собой не Батыя, а великого хана. Смеялась она. Соберем войско, выступим против Батыя... Великая ханша его не заступит. На том и будет конец нашему покорству Орде и конец данничеству.

— Нет, брате, ни тебе, ни Даниилу Романовичу не спасти Русь. В Галицкую землю труден путь ханскому войску, поэтому галичанам и легче вести спор с ханом, а мы близко к Орде. Выступим — не победу возьмем, примем новое, горше прежнего, разорение и опустошение. Зальется кровью земля Русская. Не на похвальбе, не на союзе с папистами сложится сила Руси, а на дружбе земель наших. Ведал я домогательства папистов. Не того ли ищут они, чтоб толкнуть нас против ордынян, обессилить? Покуда ордыняне будут заливать кровью Суздальскую, Рязанскую и другие близкие к ним земли, ливонские меченосцы или иные латыняне безнаказанно войдут в Псков и Новгород, а может, и в Полоцк и в Смоленск. Страшное дело совершится. Погибнет Русь и не поднимется никогда.

— Страх говорит твоими устами, брате! — с насмешливой улыбкой, выслушав Александра, воскликнул Андрей. — Ты храбр в битвах, но тебя ли вижу ныне? Не Батыевы ли речи улестили тебя? А не пора ли нам ведать о том, что слаба Орда, что растеряла она силу свою на Руси, в ляхах и уграх? В дружбе со мной обретешь славу себе и славу Новгороду.

Холодно расстались братья. Весной, когда Александр уезжал в Орду, Прасковья Брячиславовна ходила на сносях. Вестей от нее с тех пор не было. На пути из Орды, едва переступив русский рубеж, Александр послал в Новгород гонца, наказав ему с вестью от княгини быть во Владимире. Хотя княжий поезд двигался медленно и во Владимире задержались дольше, чем надо, гонец не вернулся. И все же, как ни спешил Александр скорее быть в Новгороде, он послушался совета прибывшего из Ярославля дяди Святослава Всеволодовича. Прощаясь с Александром, Святослав посоветовал ему идти в Новгород не прямым путем, через Дмитров, а через городок Москву.

— Воевода Чука рубит острожек там и двор княжий, — сказал Святослав. — Навести его, погляди, что сделано. Место на Москве доброе.

Перед вечером уже, на третий день пути из Владимира, переправились через Учу и вскоре достигли Верхней Клязьмы. Александр остановил поезд, велел зажи-

гать костры. Вокруг — ни погоста, ни займища, лишь зеленеют пустотравьем небольшие печища на горке.

От Клязьмы до Москвы — пути один переход. Чтобы появление княжего поезда не застало Чуку врасплох и не испугало жителей, Александр велел Ивашке, ближнему дружиннику своему, ехать вперед.

— Утром будешь на Москве, — сказал. — Оповести Чуку, что следом за тобой приду поездом.

Ивашко выехал в сумерках. Моросил мелкий липкий дождь. На пути то и дело встречались полные водою мутные озерки и лывины. Дорога шла бором. Во тьме конь спотыкался о корневища, — Ивашко не понукал его. На рассвете увидел Яузу.

Переправляться пришлось вброд. Мост, когда-то перекинутый через реку, сожжен. На месте его торчат из воды обгорелые сваи. За Яузой снова начался бор. Чем ближе Ивашко подъезжал к городу, тем зорче осматривался вокруг. Место глухое — и зверь набежит и воровская чадь позарится на коня.

Бор окончился неожиданно. Ивашко только что перебрался через неглубокий овражек и поднялся по косогору на холм, как за поворотом открылась широкая, светлая поляна. Она обжита. Клочьями желтеет жнивьё убранных пашен. Впереди, у самой дороги, займище.

Новые срубы займища обнесены тыном. Не успел Ивашко поравняться с хороминой, из ворот, навстречу ему, выбежал житель. Он без колпака, синий из посконной крашенины зипун неуклюже сидел на его широких плечах.

— Жалуй на перепутье, витязь! — позвал он Ивашку. — На заезжем у меня и тебе и коню есть место. Сбитню ли горячего, меду ли цеженого — только спроси. Отдохнешь и одёжу обсушишь.

Ивашко остановил коня.

— Велик ли остался конец до Москвы? — спросил.

— Не велик, — ответил займищанин. — Поляна эта, — он обвел рукою вокруг, — Кучково поле, а как минешь вон тот лесишко, — показал рукою на островок осинника впереди, пылавший осенним багряным пламенем, — за ним и Москва.

— Верста будет?

— Может, верста, может, и боле... Повели ввести коня.

У Ивашки с вечера не было ничего во рту; не прочь бы он обжечь губы горячей похлебкой, запить сбитнем... С сожалением взглянул на ворота заезжего, сказал:

— Рад бы, житель, к тебе, да гостить некогда. Приведется в другой раз быть — не гони.

Отказ изумил займищанина. Измок и продрог молодец на дожде, а не сошел с коня.

— Издалека ли путь на Москву держишь? — полюбопытствовал.

— Из стольного Владимира.

— Прямой к нам из Владимира путь... Людно ли нынче на Владимире, что на пути видно?

— Велик Владимир, шумно и людно там — на торгу ли, в городе ли. И на пути часты стали погосты и займища; огнища жгут люди, землю пашут... Старые-то печища, что остались от глумления ордынского, зарастают ино репьем, ино лесом.

— Пашут землю, так и хлеб будет, — решил займищанин. — И Москву палила Орда, не жительство — пустыри остались. Кто ушел на Синичку аль на Яузу, тот и жив. А теперь-то взгляни: город срублен, изоб много и торг есть... А ты, витязь, не с княжей ли грамотой из Владимира идешь к нашему воеводе?

— Не с грамотой, а со словом князя новгородского Александра Ярославича... Будет он нынче поездом на Москве.

— Князь Александр... близко? — не то удивился, не то испугался займищанин; сказав, он посмотрел на бор, где терялась в чаще дорога на Владимир.

— Ввечеру поезд был на Клязьме. Идет князь к себе, в Новгород, а на Москву поглядит на перепутье.

Ивашко подобрал поводья и тронул коня.

— Остановись, витязь, послушай! — займищанин придержал коня под уздцы. — Путь к Москве близок, а намаешься не знаючи. В том осиннике, — показал вперед на дорогу, — озерцо топкое. Время — не лето, дожди, прямо не пройдешь. Ты спустись ниже, на подгорье, на займище мое. В низине Моховое болото и река... Неглинка. Туда не ходи. По подгорью, возле болота, есть

тропочка. Пойдешь по ней и как увидишь на перекрестной дороге мост через Неглинку и кузни по взгорью — ты мимо них; пересеки дорогу и по пустырям поднимись в гору. Там будет тебе сосенничек, а за ним — улица и торг. Минуешь торг, тут и есть новый Кремник.

Ивашко послушался совета. Спустясь за займище, к заросшему ивняжником и тощими лесинками болоту, он разыскал тропу. Вьется она вдоль берега среди обгорелых пней и гривок разнолесья. Должно быть, по подгорью когда-то выжигали огнища; гарь их теперь покрылась молодыми зарослями березняков, ольшаника, осины. Среди них, словно вехи, темнеют редкие сосны и елочки. На полянках, около кустов, поймища иванова цвета, рыжего быльника, крапивы, малинников. Направо, по обережью Неглинки, гривы черного ольшаника, внизу — колючий можжевельник, ива. Сквозь стену ольшаника просвечиваются плеса реки.

Ивашко перевел коня на рысь. Тропа то ныряла в овражки, то вилась, огибая кусты. Скоро впереди показался мост. Неопериленный зыбкий настил его, изогнувшись горбом, навис над топкой и, казалось, неподвижной рекой.

Влево от моста, вдоль перекрестной дороги, темнеют кузни. Над прокопченными, низкими срубами их зеленеют поблекшей травой дерновые крыши.

Дорогой, только что миновав мост, тянется полдесятка упряжек с волочащимися по грязи бревнами. Лошади, выгибая спины, тяжело месят грязь. Обозники нукают на них, чмокают губами; сами, подхватывая под запряг, помогают плечом.

За пустырями, как и говорил займищанин, на Кучковом поле, стеной разросся молодой сосенник. Миновав его, Ивашко увидел тесовые шатры изб. Показались люди. Они останавливались, с опасливым любопытством провожали взглядами ехавшего скорой рысью всадника. Улица вывела Ивашку к торгу. По открытому полю, от изб до рва Кремника, тын которого высится впереди острым столпием, тянутся ряды крытых берестой и лубом лавок. Невелик торг на Москве, не то что в Великом Новгороде. Голоса гостей, сбитенщиков, квасников, лоточников, казалось Ивашке, звучат глухо, теряясь под серой тяжестью мокрого осеннего неба.

На валу огородные мастера рубят воротную стрельницу. Проезд открыт. Конь звонко перебрал копытами круглые мостовины над рвом. В проезде стрельницы Ивашку опахнуло сладким смолистым запахом свежей щепы. Миновав ворота, он очутился в Кремнике.

Началась Москва при прадеде Александра, князе Юрии Владимировиче, сыне великого князя киевского Владимира Мономаха. Князь Юрий поставил хоромы на Боровицком холме, обнес их тыном. Он любил свою московскую вотчину, часто бывал и жил на Москве.

При сыновьях Юрия, князьях Андрее и Всеволоде, рядом с Кремником выросли посады. Приходили и селились ремесленные мастера. Стали на Москве железо ковать, кожи мять, бочки и иное, что потребно, делать.

Москва росла, богател торг. Приходили в Москву и новгородские, и рязанские, и смоленские, и низовые гости; не обегали торг московский гости из ганзейских городов и из Византии. Но вторглись на Русь орды хана Батыя. На пути от Рязани к стольному Владимиру прошли через Москву ордынские конники. После набега их остались на месте города и посадов обгорелые пепища.

Недолго пустовало место. Возвратились на старые пепелища бежавшие в боры от нашествия ордынян жители. Князь Ярослав Всеволодович, по примеру отца своего, звал на селитьбу в Москву людей. Перед последним отъездом своим в Орду послал воеводой на Москву Ерофея Чуку.

Ерофей Чука умен и на дело горяч. В Кремнике срубили княжие хоромы, поставили городовой тын. На Пресне и Чечере валили сосны. Из комлей — в обхват — плотили столпие, рубили стрельницы. Росли и новые избы на посадах.

В тот час, когда Ивашко добрался к Кремнику, воевода ругался с мастерами-мостниками, которые воздвигали мост в Чертолье, через непроезжий овраг. Ряда была у Чуки с мостниками — открыть езду по мости к Спожинкам; миновали Спожинки, а по мосту как не было езды, так и нет.

— Где у вас совесть, отроки? — стыдил мужиков-мостников Чука. — Почто ряду брали? На дворе осень,

дороги развезло, а мы из Кремника ворот не открыли в Чертолье. В объезд, через Моховое болотище, через Неглинку, мимо кузниц, гоним коней на Пресню. Можно ли так?

— Воля твоя, болярин, строим — не ленимся. Не наша вина в том, что нарушили ряду, — теребя бороду, оправдывался перед Чукой староста мостников. — Лес нам не подвезли вовремя, долго сваи били... Земля в Чертолье крепче камню...

— То-то бы ленились, — продолжал недовольно ворчать Чука. — Молвлю я вам, молодцы удалые, так: не откроете езду по мосту к Покрову, сидеть вам в порубе. На хлеб да на воду посажу, квасу не велю давать...

На взгорье Боровицкого холма, по Неглинке, тын ставили нынешним летом. Острог его то поднимается вверх, обходя глубокие промоины и овражки на склоне, то сбегает к самому низу, ко мхам. Берег Москвы-реки, от устья Неглинки до Яузы, между рекою и взгорьем, зарос тощим редким хвощом и осокой. И летом не пересыхают на берегу зыбкие, ржавые родники, теперь же, когда моросят осенние дожди, нет ни прохода по берегу, ни проезда. Возвращаясь с Чертолья в Кремник, Чука думал: «Не худо бы по топи, вдоль острога, настлать мостовую... Не худо бы, а не дошли руки».

Над Чертольскими воротами стрельница срублена без углов, с резными кокошниками. Высокой иглой возносится над нею шатер; на вершине его поскрипывает на железном штыре зеленый прапорец.

Чука полюбовался на стрельницу. Хоть и ругался он с мастерами, но про себя гордился их искусством. В стрельнице Чука заглянул в боковые подклеты — там полно щепы. Рассердился, позвал воротных сторожей.

— О-ох, люди добрые! Небось ведь спины у вас болят от безделья, — встретил он прибежавших на зов воротных. — Сколько времени лежать щепе?.. Все подклеты захламлены. Нынче же носите щепу на топь, к реке! Приду после да найду что — не помилую!

Пока он шумел с воротными, из хором прибежал отрок.

— Гонец к тебе, болярин, — запыхавшись, еле вымолвил он.

Чука поднял бороду, взглянул на отрока и махнул воротным: идите, мол!

— Откуда гонец? — спросил.

— От князя Александра Ярославича.

— От князя Александра?! — всплеснул руками Чука.

— Будет нынче он на Москве.

От Чертольских ворот, из-за сосен, что шумят по взгорью в ограде, не видно княжих хором. Они на холме. Тропа от ворот к хоромам огибает рощу. Срублены хоромы из дуба. От хором, с высоты холма, как на ладони луга и болота Замосковья; видно дальние леса, посад за торгом, по Яузе. По внешнему виду княжие хоромы мало отличаются от посадских изб, только и особицы — слюдяные оконницы да резной теремок над крыльцом поблескивает медным гребнем. Когда Чука обогнул рощу, Ивашко рассказывал что-то стоявшим около него отрокам. Тут же, у крыльца, оседланный конь. Завидев воеводу, Ивашко пошел навстречу. Не дожидаясь, пока воевода спросит его, поклонился:

— Князь Александр Ярославич послал меня к тебе, воевода. Идет он поездом из стольного Владимира на Великий Новгород. Нынче будет в Москву.

— Где ты оставил поезд?

— Ввечеру на Клязьме.

— Спасибо, молодец, упредил, — сказал Чука. — Честью встретим Александра Ярославича. Иди в дружиничью избу, отдыхай; коня твоего уберем, не имей заботы.

Чука послал гонцов на посады, велел оповестить уличанских старост о том, что скоро будет на Москве князь новгородский Александр Ярославич. У заезжего двора на Кучковом поле — дозорные молодцы. Строго-настрого велел Чука дозорным: как покажется княжий поезд — одному бежать с вестью в Кремник, остальным провести поезд объездами к городу.

Весь день Чука провел на ногах. Рад он встрече с Александром, и грусть трогает сердце старого воеводы. «Ох, времечко, — вздыхает он. — Пора, знать, старикам по углам сидеть, любоваться на то, как молодые орлы летают». Чука жил и состарился в Ярославовой дру-

жине, все походы делил с князем; бился он и со строптивыми князьями, и с половцами, и с Ордой, и с ливонскими рыцарями. В последний раз Чука был с Александром в ливонском походе.

В суете заглянул воевода на поварню: боялся, как да мало снеди напекут и наварят. Кажется, все ладно. Велел дать себе щей да крылышко жареной ряби, и только успел обсосать пальцы, как на дворе начался сполох:

— Едут, едут... На посаде поезд.

Чука бросил еду, поспешил навстречу.

...Александр остановил коня. Спрыгнув наземь, он шагнул к Чуке, обнял его.

— Не узнаю Москвы, Чука, — сказал. — Перед ливонским походом и после был здесь, видел черные пожарища да землянки жителей, а ныне город срублен и посады, и торг людный...

— Хорошо ли, худо ли — не обессудь, княже! — ответил Чука. — Но по старому-то обычаю русскому не красно на улице вести разговор с гостем; лучше и краше слово в гридне, за чашей меду крепкого.

— От чаши не откажусь, — усмехнулся Александр. — Сядем за стол — и еде и меду окажем честь.

В гридне Александр спрашивал Чуку об угодьях княжих на Москве, о городовом жительстве, о лесах, что вековыми раменьями раскинулись вокруг, о реках и путях торговых. Говорили чуть ли не до полуночи. Под конец, когда Чука остался с глазу на глаз с князем, он сказал:

— Не сладкое слово хочу тебе молвить, Александр Ярославич, не огневайся, выслушай! Тяжко иго ордынское, а не стало на Владимире князя Ярослава, тяжелее давит оно. Мы, на Москве, не изведали всего зла, но вокруг... Стон людской и плач. Людей ремесленных, женок и детей малых гонят в полон ордыняне. Во Владимире ныне князь Андрей, а ему ли быть ровней со старыми князьями? Ты уйдешь в Новгород, а князь Андрей... Как он будет? С кем он?

— Не ведаю о том, Чука, — помолчав и как бы не решаясь сразу открыть то, о чем думал, произнес Александр. — Назван я ханшей князем Руси, а не слова ли это пустые? Была Русь раздробленной, ею и осталась.

И не о благе Руси — о «Русском улусе» слышал я речи в Орде. Молвлю, Чука... Тайные думы свои тебе поведаю; ты не суди меня, не прими в обиду. Нет предела ненависти моей к Орде; ни крови своей, ни жизни — ничего не жаль мне за то, чтобы сбросить плен, а время ли брать мечи? На счастье ли Руси прольем кровь людей наших? Нет! Римские паписты тоже зовут нас на борьбу с ханом, сулят свой союз и помощь. Скажи, не себе ли ищут они добра? Князь Ярослав перед отъездом в Орду, где принял кончину, отверг домогания паписта Карпини...

— Видел я того паписта, Александр Ярославич, — воспользовавшись тем, что Александр помолчал, промолвил Чука. — Хитрый он, скользкий. И в Орде был Карпини, сговаривался там с ханом противу Руси.

— Помню, слышал о том от батюшки, — сказал Александр. — По прошлому лету двое римских легатов-епископов навестили Новгород. Послание от папы Иннокентия Четвертого передали мне. Я слушал их, читал папское послание. О том же были их речи, о чем прежде, перед походом ливонским, сказывал папист Биорн. Улещали обещаниями помощи своей и союзом, а взамен-де примите учение Рима, подчините Риму церковь русскую. Молвил я легатам-епископам: «Свою веру знают люди на Руси и учения Рима не примут». То, чего домогаются от нас паписты, горше нам плена, горше данничества... Гибели нашей ищут латыняне. Ввергнув нас в битву с Ордой, сами они без боя перейдут наши рубежи. Ты, Чука, был другом отцу моему и друг мне, тебе и знать: не подниму я меча на хана, не время, не приму и союз с папистами. Ныне заступят Русь от Орды не кровь и меч, а мир с нею. В мире мы сохраним землю свою, обретем силу. Будет так — расправит Русь плечи, склонится Орда перед мечом русичей.

Чука не спал ночь, но утром поднялся, как всегда, рано. От бессонницы у него кружилась голова. Чука облился студеной водой, велел принести кислой капусты, поел. Чем больше думал воевода о том, что слышал вчера от Александра, тем яснее становилось ему, что прав, ох как прав Александр Ярославич. Чука даже

повеселел оттого, что понял это. «Высоко и далеко летают молодые орлы, — думал он. — И тому быть орлом над орлами, который выше и дальше летит, зорок глазом, не бьется головой о камни». Вспомнив, что ему, пока не поднялись гости, надо побывать у мастеров на Воротной и в Чертолье, Чука надел стеганую епанчу, вышел на двор.

Над Москвою поднялось солнце. Оно светило по-осеннему — мягко и тихо. Чука заглянул к навесам, посмотрел, задан ли корм коням. От навесов прошел к Воротной стрельнице. Мастера тесали венцы. Чука поздоровался, осмотрел, что сделано вчера, спустился вниз. Обогнув угол хором, он неожиданно, к изумлению своему, увидел князя.

Александр стоял перед хоромами на вершине холма, у самой кручи, где холм обрывается над рекой. Внизу, по подгорью, белело заостренное столпие палисада, за ним — топкий, покрытый ржавыми лужами родников, непроезжий берег. На мыске, у устья Неглинки, над самой водой склонилась старая черемуха. Она наполовину осыпала поблекший лист. Темный, узловатый ствол ее четко выделялся на сизой поверхности разбухшей от осенних дождей реки.

За рекой, в Замосковье, раскинулись поймы заливных лугов. Посадами выстроились пузатые стога. В лучах утреннего солнца поблескивают озерки и налившиеся водою болота. Вдали темнеет глухой бор. По всему Замосковью не видно жилья, только у самой опушки дальнего бора по дымку, который стелется над поймой, можно различить чье-то займище.

— Рано поднялся, княже, — приблизясь к Александру, сказал Чука. — Аль худо ночь почивалась?

Александр оглянулся.

— Не худо. Крепко спал у тебя, на новоселье, да вот вышел и любуюсь на угодья. Богата ими Москва.

— Истинно ты молвил, княже, бо-га-а-ата! — протянул Чука, и в голосе его прозвучала гордость. — На срединном месте заложил город прадед твой, князь Юрий; во все концы пути от Москвы. Приходят к нам люди, поглядят, полюбуются и, смотришь, избы рубят. Есть у нас пашни широкие, луга заливные, леса раменные. Торговые гости реками и волоками со всех сторон

идут... Не городку бы стоять на холме нашем, а городу, не сосновый бы Кремник тынить, а рубить дубовые стены с осыпями и заборолами, с тайниками и стрельницами каменными.

Александр молча слушал воеводу. Казалось, вставал перед глазами князя разбросавшийся вокруг каменных стен Кремника большой город, с палатами пышными, соборами златоглавыми.

— Доброе место, — как бы отвечая на свои мысли, промолвил он.

— О том и моя речь, — довольный тем, что услышал от Александра, отозвался Чука. — Князя сильного надо Москве. Принять бы тебе, Александр Ярославич, город под свою руку.

Александр не ответил. Он оглянулся вокруг, точно хотел запечатлеть в памяти то, что в думах о Москве возникло перед его взором. Внизу, под кручей, за палисадом, играет серебряной рябью река, чья-то ладья поднимается вверх, к устью Всходни. От хором с ведрами на коромысле прошла мимо высокая, стройная молодица. Она поклонилась князю и стала спускаться по тропе к Неглинке.

...На крыльце хором появился Ивашко. Он потянулся, радуясь солнечному прохладному утру. В это время из проезда Воротной стрельницы выехал всадник.

— Савва! — воскликнул Ивашко, узнав гонца. — Ждали мы тебя во Владимире.

— Из Новгорода гнал я во Владимир, да опоздал. Ушли вы, — спешившись, ответил гонец. — Пустил и я коня следом. Весточка есть у меня тебе, Ивашко.

— От Олёнушки? Здорова она?

— Здорова. И Олёнушка и дочка.

— Спасибо, Савва, за весть, — Ивашко обнял гонца.

— Где князь? В хоромах?

— Нет, на воле. У кручи он, — показал Ивашко.

Увидев гонца, Александр ступил навстречу.

— Поклон тебе, княже, от Великого Новгорода, — начал Савва, но Александр перебил:

— Поклон после, Савва; сказывай, что велела княгиня!

— Княгиня велела поздравить тебя с сыном Даниилом Александровичем...

— А сама?

— На крыльцо вышла, как я уезжал, и молвила, что ждет тебя на Новгороде. А вот грамота болярина Федора и воеводы Гаврилы Олексича.

Александр взял свиток. Не развертывая его, снова окинул взглядом Замосковье. Солнце поднялось выше, дымок, стлавшийся недавно над дальними пожнями, теперь растаял.

— По сердцу мне Москва, Чука, — задумчиво, не оборачиваясь к воеводе, промолвил он. — Гостил бы дольше, да пора, время быть на Новгороде. Ныне словом скажу, после скреплю грамотой и печатью своей: на Москве принял я весть о рождении Данилки, так и быть ему князем московским.

Стук топоров, доносившийся со стороны строящейся Воротной стрельницы, слился с шумом и говором торга. В воздухе разлились запахи сладкого избяного дыма. Скрипят, низко кланяясь тонкими шеями, колодезные журавли. Стая галок взвилась над Кремником; будто приветствуя утро, покружилась над рекой и звонкой, сполошной тучей упала на луга Замосковья.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

А к с а м и т — мягкая пушистая ткань из шелка или льна, иногда украшенная золотым или серебряным узором.

Б а с к о́ й — нарядный, красивый.
Б е з г о д а — плохие времена, несчастье.
Б е л ь — белка, то же — веверка, веверица, векша.
Б е х т е р е ц — кольчуга с медными или бронзовыми пластинками в виде чешуи.
Б и л о — сухая деревянная доска, заменяющая колокол.
Б о р т ь — дупло, колода с ульем; бортник — занимающийся поиском бортей в лесу. В XIII веке бортничество — одна из видных профессий на Руси.

В е ж а — надстройка на здании, башня; в ином значении — шатер (половецкие вежи).
В е́ р е д — чирей.
В и д о́ к — свидетель.

Г р и д и — в Новгороде — служилые люди, близкие боярам-вотчинникам.

Д о м н и ц а — сыродувный горн для производства кричного железа, имел широкое распространение в древней Руси.

Е л о в е ц, е л о в о к — приподнятое вверх острие древнерусского шлема.
Е н д о в а — металлический или деревянный сосуд в виде большой чаши с рыльцем.
З а ж и т ь я — населенные пункты, жилье.
З а й м и щ е — жилье поселенца (хутор, заимка) на вновь осваиваемой земле.
З е м л я С у м и, С у м ь — Финляндия (финское — Суоми).

Зернь — украшение в виде круглых зубцов (зерен) на золотых и серебряных изделиях.
Зыбильно — гибкий шест, укрепленный под потолком; к длинному концу шеста подвешивалась детская люлька (зыбка).

Кандило — церковный подсвечник для многих свечей или лампад, чаще — висячий.
Каптур — головной убор старой женщины.
Кибить — деревянная дужка лука, стягивающаяся тетивой.
Кика — головной женский убор.
Кокоры — кочки; пни, вырубленные с корнями.
Колты — височные кольца из золота, серебра.
Корзно, корч — плащ, застегивающийся на плече. Отличие княжеской власти.
Кормление — воеводство. Послан на кормление — назначен воеводой города или волости.
Кричник или домник — мастер по производству кричного железа; кузнец.
Крица — кусок пористого железа, полученный в домнице из болотной руды; уплотнялась путем проковки.
Куть — место перед печью, кухня. Название сохранилось поныне в крестьянском быту северных областей.

Легат — в католической церкви — уполномоченный папы римского.
Лен — наследственное земельное владение, поместье.
Летгола — новгородское название прибалтийских племен лэттов, ливов.
Луб — сухая кора липы. Лубяные изделия бытуют поныне.
Лунница — золотая или серебряная пластинка в форме неполной луны с орнаментами из скани и зерни. Женское украшение.

Мальвазея — общее название виноградных вин.
Медуша — подвал для хранения хмельных напитков (меда, браги и т. д.).
Мордка — мех головы белки. В Новгороде имела хождение в качестве мелкой монеты.

Нево — древнее название Ладожского озера.

Озык — одно из народных названий лихорадки.
Олуй — пиво.
Ольдермен — старейшина иноземного торгового двора в Новгороде.
Ослопина — дубина (палица); утолщенная часть иногда оковывалась железом с выступающими шипами.
Острог — городская ограда, укрепление.
Охапки — вид борьбы, когда борющиеся охватывают друг друга руками за талию. Взять в охапки — захватить вытянутыми руками (охапка сена, охапка дров и т. д.).

Паут — овод.
Паволока — шелковая ткань.

Перевет — изменник.
Погост — село. Мелкая административная единица в Новгородской земле.
Пожни — сенокосные угодья.
Половники — крестьяне, жившие на земле вотчинников-бояр и работавшие «из доли» урожая. В XIII веке в Новгородской земле их прикрепляли к вотчинным владениям.
Помóка — дождь, выпавший вовремя.
Пороки — древнерусские стенобитные машины.
Протори — потери. Юридический термин сохранился поныне (протори и убытки).
Пятина — Новгородская земля делилась на пять областей — пятин: Шелонская пятина, Бежецкая и т. д.

Ратовище — древко копья или рогатины.
Ряда — договор.
Рясы — жемчужные украшения на женском головном уборе.

Светильно — горящий шнур в лампаде или свече.
Свеи — шведы.
Селюшки, селюшный — сегодня, нынешний.
Скань — металлические филигранные изделия из скрученной (сканной) проволоки или сетчатые из тонких пластинок.
Смарагды, лалы — древнерусские названия драгоценных камней — изумруды, рубины.
Сопель — древний народный музыкальный инструмент.
Сподница — рубаха.
Столпие — вбитые стоймя в землю столбы, составляющие ограду.
Сулóй — заквашенный овсяный настой.

Тверди — препятствия, например сваленные ершами в сторону противника деревья.
Тегилей — стеганная на кудели, иногда с железными прокладками, одежда воинов.
Тиун — доверенное лицо князя, судья.
Тул или колчан — кожаный или деревянный футляр для стрел.

Узорочье — украшения, главным образом из металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

Чуга — верхняя одежда.

Шаркун — бубенец.
Шаять — тлеть. Шающие угли — то же, что тлеющие.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1. Возы с Обонежья 7
Глава 2. В жерновой клети 11
Глава 3. Воля 13
Глава 4. На Даниловой поляне 19
Глава 5. Тропы нехоженые 26
Глава 6. Господин Великий Новгород 32
Глава 7. Сны долгие, дела тяжкие 37
Глава 8. В путь-дорогу 40
Глава 9. Воевода Ратмир 47
Глава 10. Голубиная вежа 53
Глава 11. Чернец-книжник 59
Глава 12. О том, чему нет названия 69
Глава 13. Любаша 79
Глава 14. Беда без победков не ходит 85
Глава 15. Слово Великого Новгорода 90
Глава 16. Полоцкая княжна 97
Глава 17. Лесовики 103
Глава 18. Весна в борах 107
Глава 19. Гость 111
Глава 20. Словами не передать, мыслями не обнять . . . 118
Глава 21. Буян-луг 123
Глава 22. Онцифир Доброщаниц 129
Глава 23. Дым коромыслом 132
Глава 24. Княжий суд 137
Глава 25. На Великом торгу 147

Глава 26. Не сказка — быль 153
Глава 27. Гости 155
Глава 28. Легенда 160
Глава 29. Княжая потеха 164
Глава 30. Катерина Славновна 171
Глава 31. Боярская беседа 175

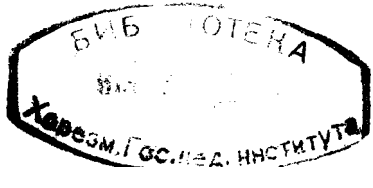
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1. За Варяжским морем 185
Глава 2. Гость из Висби 191
Глава 3. Отец Биорн торжествует 194
Глава 4. Вече у святой Софии 198
Глава 5. Тревожная ночь 202
Глава 6. Княжие бояре 208
Глава 7. Тихое утро у омута 215
Глава 8. Князь и монах 219
Глава 9. Сторожевой городок на Волхове 226
Глава 10. Дуют ветры с запада 233
Глава 11. В хоромах Стефана Твердиславича 237
Глава 12. Мстиславов дуб 241
Глава 13. На Великом мосту 244
Глава 14. Совет господ 248
Глава 15. Княжее слово 253
Глава 16. Крепка рубашка — топор не берет 258
Глава 17. У Онцифира на Лубянице 265
Глава 18. Вече 270
Глава 19. В стане врагов 276
Глава 20. Перед походом 279
Глава 21. Хитрость Федора Даниловича 283
Глава 22. Домники 287
Глава 23. Василько 291
Глава 24. Железная крица 294
Глава 25. Нечаянная встреча 298
Глава 26. Большой полк 303
Глава 27. На берегу Невы 307
Глава 28. В походе 312
Глава 29. Перед битвой 319
Глава 30. Встреча 323
Глава 31. Битва 329

Глава 1. Боярин Нигоцевич 343
Глава 2. Рыцарь фон Балк 347
Глава 3. Победители 350
Глава 4. Ханский посол 357
Глава 5. Тучи над Новгородом 360
Глава 6. Решение 365
Глава 7. Не люб Новгороду 370
Глава 8. Рассказ Семенка Глины 375
Глава 9. Под стенами Изборска 379
Глава 10. На займище у Данилы 388
Глава 11. Катилось колечко по бисеру 392
Глава 12. Счастье 396
Глава 13. Бес в ребро 399
Глава 14. Подвиг Конрада фон Кейзерлинга 406
Глава 15. Рыцари вошли в город 409
Глава 16. В Риме 414
Глава 17. Васена 418
Глава 18. Распутья 426
Глава 19. Кому горе, а кому и радость 432
Глава 20. Послы Великого Новгорода 437
Глава 21. Юрьев монастырь 442
Глава 22. Гости новгородские 447
Глава 23. Папский легат 453
Глава 24. Буря на море 458
Глава 25. Владыка 462
Глава 26. Путь в городище 465
Глава 27. Искусство деда Левоника 468
Глава 28. Остров Сарема 471
Глава 29. Коса на камень 477
Глава 30. Неприступный замок 491
Глава 31. Победа 494
Глава 32. Тучи на западе 499
Глава 33. Последнее слово отца Биорна 505
Глава 34. Пожар в Застенье 509
Глава 35. Переветы 512
Глава 36. Псков 515
Глава 37. Перед рассветом 518
Глава 38. Суд 524

Глава 1. У рижского епископа 533
Глава 2. Серебряных дел кузнецы 538
Глава 3. Хороший день 540
Глава 4. Беда на беду 549
Глава 5. Ночной звон 552
Глава 6. Вести боярина Федора 556
Глава 7. Ключник владычной вотчины 562
Глава 8. Уведенка 568
Глава 9. Владычная грамота 573
Глава 10. Шелонский городок 579
Глава 11. Шумит зеленая дубровушка 583
Глава 12. Пришла беда, отворяй ворота 587
Глава 13. На ловищах 593
Глава 14. Расплата 597
Глава 15. Боярин Стефан Твердиславич 602
Глава 16. Княжий погост 607
Глава 17. Нет числа войску 615
Глава 18. В стольном Владимире 619
Глава 19. Весть с Маяты 626
Глава 20. Красный петух 632
Глава 21. В Грановитой палате 639
Глава 22. Олёнушка 648
Глава 23. Зима в борах 654
Глава 24. Стрелецкая потеха 660
Глава 25. Веселая масленица 667
Глава 26. Совет воевод 673
Глава 27. В Юрьеве 680
Глава 28. Торжество крестоносцев 683
Глава 29. На русском берегу 688
Глава 30. Ночь перед битвой 692
Глава 31. Утро 698
Глава 32. За землю Русскую! 704
Эпилог 718

Краткий словарь малоупотребительных слов, встречающихся в тексте . . . . . : 735



СУББОТИН
Анатолий
Александрович

ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ

М., «Советский писатель», 1963, 743 стр.

РЕДАКТОР А. А. ЛАНДА
ХУДОЖНИК Н. И. ГРИШИН
ХУДОЖ. РЕДАКТОР В. И. МОРОЗОВ
ТЕХН. РЕДАКТОР В. Г. КОММ
КОРРЕКТОРЫ: Л. И. ЖИРОНКИНА
и Л. А. МАТАСОВА

Сдано в набор 15/I 1963 г. Подписано в печать 4/VI 1963 г. Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 23 1/4 (38,13). Уч.-изд. л. 37,87. Тираж 100 000. Зак. № 55. Цена 1 р. 24 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10.

Типография № 5 УЦБиПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10, издательство „Советский писатель".